



Андрей  
Левандовский  
Прощание  
с Россией

Андрей Левандовский

Андрей Левандовский

ПРОЩАНИЕ  
С РОССИЕЙ

Исторические очерки



Издательство Ивана Лимбаха  
Санкт-Петербург  
2011

УДК 94 (470) «1800/1917»

ББК 63.3 (2) 5

Л 34

*Издано при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям  
в рамках Федеральной целевой программы  
«Культура России»*

Л 34    **Левандовский А. А.** Прощание с Россией: Исторические очерки. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 672 с.

**ISBN 978-5-89059-151-7**

В книгу известного ученого Андрея Анатольевича Левандовского вошли очерки, охватывающие двухсотлетний период российской истории: от царствования Екатерины II до перестройки. Это книга о трагическом пути России; о тех, кто пытался переменить гибельный вектор развития страны: это и государственные деятели (М. М. Сперанский, П. А. Столыпин) и «мастера тихой работы» (Т. Н. Грановский, С. Н. Трубецкой, А. Н. Энгельгардт). Их портреты — живые и запоминающиеся, поскольку автор является не только исследователем, но и мастером литературного стиля.

Одна из глубинных тем, объединяющих очерки в единое целое, — историческая судьба мифа о власти, включая и революционную и перестроечную его имитации. Именно это делает книгу обращенной не только в прошлое, но и в будущее.

© А. А. Левандовский, текст, 2011

© Н. А. Теплов, оформление, 2011

© Издательство Ивана Лимбаха, 2011

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Все те, кто получил образование при советской власти, учась при этом хоть сколько-нибудь серьезно, наверное, согласятся со мной: история России и в средней школе, и в вузах преподносилась сугубо телеологически, то есть как процесс, изначально имевший одну-единственную цель: победу этой самой власти в октябре 1917 года. При всем своем ложном пафосе и предельной, нескрываемой навязчивости эта «октябрьская телеология» внедрялась успешно не только в сознание, но и глубже... С этим мы росли, становились людьми, приобретали опыт и знания, неизбежно накапливая все больше претензий к «победителям», — сути дела это, в общем, не меняло. До поры до времени... Вся наша советская жизнь проходила под триумфальной аббревиатурой ВОСР — Великая Октябрьская Социалистическая Революция.

Но вот советская власть, победа которой «диктовалась всем ходом исторического развития» и альтернатив, якобы, не имела, развеялась как дым, оставив после себя руины... Сейчас мы в попыхах вяжем концы, пытаемся возродить то, что сгинуло в 1917 году — потеряв семьдесят исторических лет и миллионы соотечественников. И по мере того, как выясняется, что победа большевиков была не закономерным и органичным этапом в развитии страны, а грандиозной катастрофой, вывихом, флюктуацией, — безапелляционное утверждение: «Иначе быть не могло!» преобразуется в горький вопрос: «И как же мы дошли до жизни такой?»

Бот вопрос, на который я пытаюсь ответить в этой книге. Специфика ее в том, что состоит она из отдельных очерков,

разнообразных по тематике, написанных в разное время — с 1987 по 2010 годы — для самых разных изданий. И когда Издательство Ивана Лимбаха неожиданно сделало мне любезное предложение — попытаться собрать все это воедино, у меня были серьезные сомнения: собирается ли? Вроде бы, полный хаос... Но, вы знаете, собралось. Получилась довольно-таки цельная книга о том, что для меня всегда было самым главным в истории — о трагическом пути России к своей гибели, о тех, кто вел ее по этому пути, о тех, кто пытался ее спасти... Я, как в этом, надеюсь, убедится читатель, бесконечно далек от стремления восхвалять, обличать и тем более объяснять, как надо было действовать в той или иной ситуации. Повторюсь: я всего лишь пытался добросовестно и последовательно ответить на вопрос: как это случилось? Как мы простились со старой Россией, многоцветной, бесконечно разнообразной и противоречивой, так много обещавшей — и беспощадно отвергнутой в 1917 году большевиками?..

В заключение не могу не выразить глубокую признательность студентам и студенткам исторического факультета МГУ, без сотрудничества с которыми мне просто не удалось бы собрать и подготовить к изданию эту книгу. Огромное спасибо Соне Рыбиной, Насте Грибановской, Вите Кириллову, Матвею Каткову. Особая благодарность Кириллу Гнатюку, организовавшему этот сложный процесс.

# КОРЕНЬ ЗЛА (ПРОЛОГ)

Если попытаться судить объективно и здраво, — что нам, земнородным, вообще дается нелегко, а в отношении нашего исторического прошлого, может быть, в особенности, — трудно уйти от впечатления: крепостное право в той тяжкой форме, в какой оно сложилось в России, было неизбежным также, как и неразрывно связанное с ним самодержавие. Во всяком случае, это была жестко определенная плата за будущее...

Ведь надо иметь в виду, что в результате татаро-монгольского нашествия Русь оказалась в положении гибельном, аналог которому нелегко найти в мировой истории. Потеряв свои наиболее плодородные и перспективные в хозяйственном отношении юго-западные и западные земли, захваченные Литвой, она была оттеснена в северо-восточный медвежий угол Европы, на бесплодный суглинок, в дремучие леса и болота. Под стать почве был и климат — суровый, резко-континентальный, с морозной зимой и знойным, нередко засушливым летом; в отношении амплитуды колебаний средних температур зимы и лета Московскую Русь вообще не с чем сравнивать. На этих широтах условия для земледельческого хозяйства хуже только в Сибири — так там его вплоть до присоединения к России и не существовало.

А ведь Русь только земледелием и держалась — при всей скучости его плодов. Никаких особых природных богатств на ее территории не было; дороги же к судоходным морям перекрыли соседи-враги. И на фоне этого хозяйственного неблагополучия — бесконечные феодальные усобицы. И главное горе — многовековое иго, сопряженное с регулярной выплатой дани:

те немногочисленные излишки, которые давала русская земля, уходили в Орду; нередко же приходилось отдавать и самое необходимое, то, без чего сложно было выжить.

Обращаясь к этому тяжелейшему периоду в нашей истории, начавшемуся в XIII веке, поражаешься тому, что из такой ямы вообще удалось выбраться... Хотя платить, конечно, пришлось дорого. «...Россия была спасена; она стала сильной, великой — но какой ценой? Это самая несчастная, самая побощенная из стран Земного шара; Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни». Конечно же, на Земном шаре были и остаются страны, куда несчастней, чем Россия, — простим А. И. Герцену, автору этих строк, публицистический перехлест, вспомнив, в частности, что написаны они в 1850 году, в эпоху жестокой реакции. Перед рассветом ночь кажется особенно темной... Зато Герцен четко и ясно определил цену, уплаченную Россией за возможность двигаться вперед. Платить пришлось подчинением, причем с каждым веком все более безоговорочным, двум беспощадным деспотам-близнецам: самодержавию и крепостному праву.

Сейчас совершенно очевидно, насколько взаимосвязаны эти явления, как подпитывали они друг друга. Великокняжеская, а затем и царская власть, собрав воедино северо-восточную Русь, стремилась всеми силами обезопасить ее границы, расширить пределы, пробиться к морям... На все это нужны были силы и средства, чтобы эти силы содержать. Между тем звонкой монеты в казне постоянно не хватало: скучные земли, собранные под властью Москвы, не стали от этого богаче и плодородней. Зато этих земель было много и постепенно становилось все больше; они, по меткому определению В. О. Ключевского, надолго составили единственный реальный капитал московских князей.

Землю стали давать в обеспечение службы. Именно в обеспечение: получив из рук власти поместье, хозяин-помещик должен был служить с него «конно, людно и оружно» — то

есть не только по первому требованию власти являться на службу, но и обзавестись за свой счет боевым конем и оружием, привести с собой определенное количество пеших ратников. При скучных урожаях, низких ценах на хлеб (земледелием занималась подавляющая часть населения, более или менее обеспечивавшая себя всем необходимым) и постоянных служебных отлучках хозяина — все это было тяжким испытанием, не выдержав которое помещик неизбежно терял землю и выбывал из своего относительно привилегированного сословия. Чтобы избежать этого, ему волей-неволей приходилось выжимать максимум возможного из работавших на него земледельцев.

Между тем при обилии земель народу на Руси было относительно немного. Естественно, что свободные земли как магнитом притягивали тех, кому стало худо на обжитых. Ну, а если кого пугала целина — южные, открытые кочевникам степи или заволжские лесные дебри, — те и на земле обетованной могли поискать лучшей доли, переходя от хозяина к хозяину, из дворянского поместья на боярскую вотчину. Как остроумно заметил другой русский историк, С. М. Соловьев, земледельческая масса в те времена представляла собой «жидкое тело» — чем больше на нее давишь, тем скорее она утекает...

Многим, если не большинству помещиков подобное положение дел грозило хозяйственным разорением и социальной погибелью. Естественно, они вопили, и столь же естественно, что власть эти вопли услышала. Не могла не услышать. Ведь она сама сознательно и целенаправленно создавала дворянское сословие как свою самую надежную военную и социальную опору и должна была заботиться об его, хотя бы относительном, благополучии. С конца XV века свобода земледельца в передвижении в поисках лучшей доли начинает ограничиваться и постепенно, шаг за шагом, сводиться к нулю — знаменитое Соборное уложение 1649 года окончательно запрещает крестьянам переходить с места на место.

Крестьянский труд, таким образом, становится подневольным, что развязывает помещикам руки: «жидкое тело» структурируется, твердеет, теперь на него можно давить вплоть до полного изничтожения. С другой стороны, проводя крепостнические меры, власть наводит необходимый для себя порядок, «дисциплинируя» основную массу населения, облегчая себе и полицейский контроль, и сбор податей.

Еще раз отметим, что путь, по которому пошла Русь, представляется тяжелым, воистину тернистым, но — исторически оправданным. За счет крестьянской свободы было создано великое государство, которое сумело справиться со всеми внешними врагами, невероятно раздвинуть свои пределы, пробиться к морям. Однако, заложив в основу величия подневольный труд основной массы собственного трудового населения, государство стало приобретать все более деспотический характер, стремясь все сферы народной жизни подчинить своему контролю и руководству. И не было у него в этом деле помощника более надежного и верного, чем поместное дворянство. Получив от власти землю и даровую, по сути, рабочую силу, дворянское сословие безоговорочно поддержало все ее самодержавные устремления. Именно опираясь на дворянство, последние Рюриковичи и первые Романовы не только успешно решали внешнеполитические проблемы, но и преодолевали сопротивление своим равногородским боярством, подавляли крестьянские волнения, диктовали свою волю городскому населению. Наконец, именно дворянство послужило главным рычагом Петру I в его грандиозных преобразованиях, ознаменовавших окончательную победу самодержавного строя в России.

Повторяю, во всем этом сложном двуедином процессе несложно отыскать внутренний смысл; более того — он кажется настолько ясным, что возникает даже соблазн сказать: «Иначе было нельзя...» Условия, в которые попала Русь, требовали максимального напряжения сил всего ее населения. И госу-

дарственная власть, приняв на себя роль жестокого, нередко беспощадного организатора, сумела-таки их напрячь — до почти полного изнеможения, но зато, с государственной точки зрения, с блестящими результатами. К тому же в этом диктате долгое время сохранялось некоторое подобие социальной справедливости. Да, понятие «государево тягло» стало одним из определяющих в русской жизни, — но это тягло, в той или иной степени, тянули все сословия: и черный люд городов, и купечество, и даже боярство. А главными тяглецами, от которых в значительной степени зависели успех или неудачи в решении жизненно важных задач, стоявших перед страной, наряду с крестьянами-земледельцами были те же дворяне-помещики. Только первые решали эти задачи в процессе каторжного труда на помещичьей земле, обеспечивая своих хозяев всем необходимым; вторые же — на службе, прежде всего военной. И была эта служба обязательной, постоянной и в высшей степени обременительной; проходила она в изнурительных походах и кровопролитных сражениях. Кто рискнет назвать легким это «тягло»?

\* \* \*

Именно благодаря крестьянскому труду и дворянской службе власть и смогла вывести страну из медвежьего угла на мировой простор, сумела превратить ее в великую державу, богатую и сильную. В XVIII веке в ее распоряжении были уже и плодородные черноземные земли, и богатейшие залежи полезных ископаемых, и контроль над многими важнейшими торговыми путями. Ее голос на равных зазвучал в хоре тех, кто решал судьбы мира. Казалось, что теперь народ, на протяжении многих веков отдававший государству все возможное, вздохнет свободней.

Однако именно XVIII век, окончательно разрешивший многие жизненно важные вопросы государственного бытия,

стал временем наибольшей социальной несправедливости в истории России. Именно тогда, продолжая максимально укреплять собственные позиции, власть, прежде всего в лице Екатерины II,сыпала благами лишь одно из двух определяющих сословий, причем в значительной степени за счет другого. Крестьянство же не только не получило ничего, но и потеряло то немногое, что имело, вплотную приблизившись к положению быдла — рабочего скота.

В самом деле, дворянство в XVIII веке окончательно закрепляет за собой землю в собственность; а главное, такой же безоговорочной дворянской собственностью становятся и крепостные. Мы отмечали выше, что в прикреплении их к земле, несомненно, был определенный государственный смысл. Но ничто не могло оправдать превращение живых людей в товар, предмет купли-продажи. Против этого протестовал даже русский язык: ведь если вдуматься, то от обычной фразы из диалога гоголевских героев, самых обычных представителей дворянского сословия дореформенной России: «А почем купили душу у Плюшкина?» — веет духом, поистине, сатанинским. Будто черные маги собирались и обсуждают богопротивное таинство — приобретение чужих душ... А чего стоит, семантически, такое распространенное в то время определение крепостного крестьянина — то есть, христианина, подобия Божия — как «крещенная собственность»...

И в то же время, по мере того как крепостное право становится все более всеобъемлющим и бесчеловечным, дворянство в 1762 году получает долгожданную свободу: Манифест о вольности дворянской снимает с плеч его представителей «тягло» обязательной службы, давая им самим возможность определить свою судьбу, выбрать свой жизненный путь.

Казалось бы, можно только порадоваться тому, что в XVIII веке на Руси стали, наконец, появляться относительно свободные люди. Но, как справедливо заметил в свое время В. О. Ключевский, подобными действиями государство в кор-

не искажало саму идею «государева тягла», которое тянут все сословия во имя общего блага. В самом деле, раньше дворянам давали землю и прикрепляли к ней крестьян во исполнение обязательной и весьма обременительной службы государству. Теперь же эта служба становится необязательной — многие помещики полностью посвящают себя хозяйственным делам. В то же время за нее начинают платить деньги, как правило, достаточные для обеспечения жизненных нужд служащих. Тем самым из государственной необходимости крепостное право превращается в систему привилегий, причем привилегий злостных, если вспомнить, что они покоились на рабском труде и искажении человеческого облика основной массы населения. И, кстати, все это было отлично понятно самому подневольному населению: когда пришла пора отмены крепостного права, крестьяне искренне рассчитывали получить волю наряду со всей, в том числе и барской, пахотной землей, исходя из того, что помещикам она ни к чему: «Господа Государю служат, и он им за это жалование платит; с них и довольно...»

В то же время с XVIII века государство уже не просто опирается на крепостную систему — оно сливаются с ней. Система государственного управления России, оформившаяся в общих чертах в правление Екатерины II, имела всего три административно-территориальных уровня. Первый — центр, столица, где находились высшие органы власти во главе с императором. Второй — губерния, со своей столицей и местными органами власти под началом губернатора. И третий уровень — уездный, где главную роль играл капитан-исправник со своими помощниками — земскими заседателями. Дальше властная вертикаль продолжения не имела. Естественно возникает вопрос: каким образом несколько человек могли сколько-нибудь упорядоченно осуществлять властные функции по отношению к населению целого уезда, в каждом из которых, по самому скромному счету, обитало тысяч двадцать человек?

Ответ на этот вопрос предельно четко дала сама власть устами внука Екатерины Николая I, заявившего как-то: «У меня сто тысяч даровых полицмейстеров», — что было совершенно справедливо. Столь же справедливо звучала бы подобная фраза и в отношении судей или податных чиновников, поскольку все эти государственные, по сути, дела в отношении крепостных крестьян — наведение и поддержание повседневного порядка, разбор спорных дел, сбор податей и проч. — все это находилось в руках у помещиков. Официальные представители власти не более чем контролировали (и то, как правило, весьма условно) все эти процессы, появляясь в поместьях в исключительных случаях. Государственная система таким образом последовательно и органично переходила в крепостную, составляя с ней, по сути, единое целое.

К началу XIX века крепостное право достигло своего апогея, а государство окончательно приобрело самодержавный характер. Вся эта чрезвычайно цельная, как видим, система предельно упрочилась, разрослась, приобрела навыки в борьбе с недовольными, прежде всего с крестьянством. Этих «темных» разобщенных мужиков, не имевших ясного представления о стране, в которой они живут, власть беспощадно разгромила при подавлении пугачевщины, взяв их затем, в тесном сотрудничестве с помещиками, под самый жесткий, беспощадный контроль. Самодержавно-крепостническая система, отложенная к концу XVIII века, подмяла или, точнее сказать, вобрала в себя основную массу трудового населения страны. В это время она казалась всемогущей и совершенно несокрушимой, производя впечатление жуткого монстра: поистине «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй...»\*

2001

---

\* Страна из «Телемахиды» В. К. Тредиаковского, взятая А. Н. Радищевым в качестве эпиграфа к его «Путешествию из Петербурга в Москву».

Часть I

ВЕЛИКИЕ НАДЕЖДЫ



# 1.

## ЦЕНА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Однако чудище русского деспотизма носило зародыш своей погибели в собственной груди. Крестьянство и черный городской люд, обездоленные самодержавной властью и крепостным гнетом, самостоятельно противостоять им были не в силах. Но именно в конце XVIII века, когда эта беспощадная система подавления народных масс, казалось бы, достигает совершенства, она начинает порождать себе противников в среде, на которую работает, которой создает все возможные преимущества и привилегии. Взять Радищева, с поразительной смелостью бросившего вызов неправедному строю жизни и той власти, которая стояла на его страже. Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» вполне заслужил оценку, выставленную ему разгневанной императрицей Екатериной: «Бунтовщик, хуже Пугачева!». Взять публициста и издателя Н. И. Новикова, бесстрашно разоблачавшего пороки, порожденные русской действительностью и не побоявшегося жесткой публичной полемики с самой Екатериной. Взять, наконец, их преемников — декабристов, среди которых были представители аристократии, офицеры высоких чинов, люди, прекрасно устроенные материально, наслаждавшиеся достатком, семейным счастьем, великолепно организованным бытом. Это ведь потомственные дворяне, обласканные властью, принадлежавшие к одному из самых привилегированных социальных слоев Европы. По нынешним понятиям им разве что птичьего молока не хватало; все пути были для них открыты... И они выбрали себе путь: в Петропавловскую крепость, на сибирскую каторгу, в пеньковый ошейник государевой виселицы... Зачем?!

Этот вопрос волновал уже современников, наблюдавших со стороны за совершенно безнадежной борьбой этого ничтожного меньшинства — «горстью непокорных» назвал декабристов Николай I в своем манифесте, посвященном событиям 14 декабря 1825 года, — выступавшего по существу против своего собственного благополучия, против своих собственных привилегий. Действительно: зачем?! Один из самых умных и ловких карьеристов тех времен, граф Ф. В. Ростопчин, ничем не брезговавший в борьбе за место под солнцем, как нельзя лучше сформулировал этот вопрос, ухватив самую его суть. Узнав о восстании на Сенатской площади в своей подмосковной усадьбе, этот знаменитый острослов, уже находившийся на пороге смерти, сказал примерно следующее: «Всю свою долгую жизнь я прожил в этой стране, а понять ее не могу; понять не могу людей, которые меня окружают... Вот во Франции во время недавней революции голытьба выступала против власти, взялась за оружие, вышла на площади — это понятно: голытьба захотела с дворянами сравняться. Но наших-то дворян чего на площадь понесло? Голытьбе позавидовали?..»

Вопрос, согласитесь, не праздный; в поисках правильно-го ответа на него стоит помянуть меткое суждение известно-го историка Н. Я Эйдельмана. В своей книге «Грань веков» он справедливо писал об уникальности русской истории XVIII века. Уникальность эта в значительной степени порождалась тем, что с легкой руки Петра I в деспотическом государстве российском стало очень интенсивно вводиться европей-ское просвещение. Дело, таким образом, было не в деспотизме государственной власти и не в просвещении как таковом, а в их весьма противоречивом, если не сказать противоестественном, сочетании. Н. Я. Эйдельман тонко заметил по этому по-виду, что были в «тогдашнем мире... страны не меньшего, а большего социально-политического рабства (Турция, Персия, Китай), но солнце просвещения стоит в ту пору над ними довольно низко»... С другой стороны, несложно было найти

на карте XVIII века и края «более просвещенные... но такого рабства, как в России, они не знали».

Сказанное, на мой взгляд, абсолютно верно. Европейское просвещение, круто замешенное на анализе, критике, свободном исследовании, неизбежно должно было войти в самое резкое, непримиримое противоречие с постоянной несвободой русской жизни. Что и произошло...

В первые десятилетия XVIII века просвещение вводилось в России практически силой. Позиция Петра известна и хорошо понятна: царь стремился вывести отсталую Россию на европейский уровень; с его точки зрения, для этого необходимо было резко повысить производительную мощь страны, сделать боеспособной армию, создать флот, усовершенствовать структуры управления. Соответственно, великий преобразователь адски нуждался в людях, опираясь на которых мог бы реализовать задуманное; в людях толковых, энергичных, исполнительных и, что очень важно, — *получивших образование*, причем такое, какого не могла предоставить старая патриархальная Русь. Речь шла о науках естественных и математических, знание которых позволяло искать и разрабатывать залежи полезных ископаемых, разумно организовывать производство, строить крепости, создавать современные артиллерию и флот, воевать по науке и так далее; о науках гуманитарных, расширявших кругозор, — иметь оный, хотя бы в самых скромных границах, было совершенно необходимо подданным империи, выбиравшейся из глухих лесов и болот на мировой простор. Плюс к этому требовалось знание иностранных языков...

Все это просвещение Преобразователь со свойственной ему настойчивостью вбивал в боярских сыновей и дворянских недорослей — или, быть может, правильнее будет сказать, что он этих несчастных недорослей вбивал в европейское просвещение... Не пренебрегая при этом своей знаменитой дубинкой. И много в том преуспел: при всех невероятных сложно-

стях и препятствиях организационного, духовного и интеллектуального характера европейское просвещение с трудом и с большими потерями в России все-таки прижилось — по крайней мере, в привилегированном слое ее населения. Прижилось, как прижились здесь европейское платье, башмаки с пряжками, парики, еретические обычаи брить бороду и курить табак и многое другое, позаимствованное из Европы.

Но, вводя одной рукой европейское просвещение в дворянской среде, другой рукой великий царь беспощадно закрепощал трудовую массу. Если дворян царь вбивал в просвещение, то крестьян — в землю: проведенная им подушная перепись населения реально приписала, то есть прикрепила каждого пахаря с его семьей к конкретным помещичьим владениям или государственным землям. То же самое произошло и с посадскими по отношению к посаду. Если учесть еще и рекрутчину — пожизненную солдатскую службу, которую ввел Петр и которая всей своей тяжестью пала на плечи того же трудового населения; если учесть усиление контроля, надзора и неизбежного произвола со стороны петровских чиновников-администраторов всех уровней по отношению к тем же крестьянам и посадским, — то без всяких сомнений можно говорить о мощном усилении самодержавно-крепостнической системы в эти времена. В том, что касалось народа, вожделенный порядок на петровской Руси все больше приближался к негласному идеалу — порядку в каторжном бараке.

\* \* \*

Преемники Петра деспотическое начало еще более укрепили — и прижившееся в России просвещение стало приносить свои плоды с несколько неожиданным вкусом, который у продолжателей дел петровых сразу же вызвал оскомину. Оказалось, что это просвещение не только предоставляет в распоряжение правительства знающих и дальних исполнителей

его «предначертаний»; оказалось, что оно еще и порождает людей мыслящих, способных анализировать, обобщать, делать выводы и, что самое ужасное, — критически относиться к окружающему, сопоставляя его со своими идеалами. А идеалы эти порождались философией Просвещения — с середины XVIII века это Просвещение с большой буквы пронизывает все европейское просвещение как таковое. Невозможно было изучать труды европейских ученых, овладевать какой бы то ни было наукой и не знать при этом, что разум является определяющей силой в любой сфере бытия, что для его деятельности нет запретов и что достойный человек должен выработать разумное отношение к жизни, к истории, к действительности. А на этом пути неофит неизбежно должен был осознать, что человек рождается свободным и что рабство в любой его форме — противоестественно; что государственная власть должна существовать для народа, а не наоборот: именно народ создал эту власть для своих нужд, она была первоначально не более чем результатом общественного договора, который почти сразу же стала нарушать, подминая народ под себя; что закон должен быть превыше всего, в том числе и превыше чиновника любого ранга; что каждый человек имеет право на личное достоинство, что его можно судить за преступления, но нельзя унижать и преследовать за самостоятельные суждения... И все это, буквально все, чему учило просвещение, не только не соответствовало реалиям русской жизни, но и противоречило им в корне — резко, шокирующее, оскорбительно...

Ну, можно ли было перенести такое противоречие спокойно, без эмоций и стрессов? Можно ли было с искренним увлечением штудировать знаменитую просветительскую Энциклопедию, изучать «Дух законов» Монтескье, упиваться язвительным остроумием Вольтера и не только мириться с многочисленными несправедливостями русской жизни, но и самому умножать их своей каждодневной деятельностью? Оказывается, очень даже можно. Просто-запросто.

В. О. Ключевский, в знаменитом лекционном курсе которого сквозь внешнюю сдержанность нередко прорывается мощный глубинный демократизм, обратил внимание на одно поразительное хронологическое совпадение. В 1767 году, в преддверии собрания Уложенной комиссии, которая должна была выработать Свод законов, Екатерина II составила для ее депутатов свой знаменитый «Наказ» — произведение в своем роде удивительное. Пусть «Наказ» и был компиляцией — но компиляцией в высшей степени грамотной и добросовестной, — в его состав вошли выдержки из трудов самых замечательных юристов и законоведов эпохи Просвещения: того же Монтескье, Беккариа и многих других. Чрезвычайно смелые положения о примате закона над властью, о гарантии представления и соблюдения определенных прав для всех сословий, в том числе и низших, об естественном дозволении всего того, что законами не запрещено — все это было в «Наказе»; были и многие другие положения, столь же передовые по тем временам. (Да и по нынешним временам, согласитесь, кое-что из вышеприведенного звучит непривычно — для наших широт, по крайней мере.) В письме к своему постоянно му корреспонденту, ученому-просветителю барону Гrimу, Екатерина со свойственным ей кокетством писала, что когда избранные депутаты-дворяне по ее предложению ознакомились с этим текстом — они испугались: «Матушка, вместим ли...» Добросердечная императрица снизошла к их сомнениям и позволила текст подредактировать, убрав из него некоторые наиболее «страшные» для дворянских депутатов места.

И в том же 1767 году подписанный той же рукой, которая составила этот либеральнейший текст, был издан указ, запрещавший крестьянам жаловаться на помещиков. Указ этот в отечественной историографии получил справедливое определение «апогей крепостничества» — он предопределял страшный, почти неограниченный и почти ненаказуемый помещи-

чий произвол по отношению к крепостным. У миллионов зависимых от бар земледельцев в одночасье как бы вырвали язык, окончательно сравняв их «в правах» с рабочим скотом — быдлом... Одним из обоснований указа, кстати, было совершенно хамское заявление о том, что верховная власть «устала» от крестьянских жалоб.

Согласитесь — противоречие, действительно, вопиющее, но характерное для екатерининских времен в целом. Как понять действия императрицы, искренней, казалось бы, поклонницы и постоянного корреспондента просветителей, неутомимой читательницы их произведений, нередко изъясняющейся цитатами из Вольтера или Дидро, и в то же время — главы государства, всей своей конкретной политикой усугубляющей и поощряющей социальное неравенство, во имя укрепления своей личной власти выдающей крестьян головою на беспощадный помещичий произвол... Как же так?!

Если представить себе, что мы получили возможность задать подобный вопрос самой Екатерине, застав ее в добром и откровенном расположении духа, то ответ, наверное, мог бы быть примерно следующим: «А вот так!.. Да, говорю одно, а делаю другое! Ну и что? Что в этом такого? Да, реальные государственные интересы заставляют меня на практике отступать от высоких идеалов моих любимых учителей — и это дело самое обычное: мы на грешной земле живем, а не на страницах философских трактатов пребываем. Вы-то, сударь, чай, только книжки читаете, а мне приходится еще и государством управлять — да каким неухоженным!..»

И мы поневоле согласимся, что в этих словах немало правды. Но если мы будем последовательны и попробуем с точки зрения такой правды оценить другие периоды истории — какие угодно, а затем и нашу непростую действительность, то неизбежно придем к выводу, что с подобных позиций легко объясняются и оправдываются почти любая непоследовательность, измена принципам, да и множество грехов куда бо-

лее тяжких. Совершенно то же и в личной жизни: пожалуй, нет такой подлости, которую нельзя было бы обосновать жизненной необходимостью и, совершив ее, жить спокойно, не испытывая особых угрызений совести.

И в этом отношении едва ли приходится спорить с Н. Я. Эйдельманом, когда он, оценивая жизненные установки наших героев — самой Екатерины, ее ближайшего окружения — Орловых, Потемкиных, Безбородко и прочих, обращается к такому понятию, как «цинизм». Можно добавить лишь, что подобное свойство ума и души было уделом прежде всего дворянской и придворной элиты — то есть относительно немногих людей, способных отдавать себе отчет в том, как они живут, — циничны лишь люди сознательные. Большая же часть «просвещенного» дворянства, воспринимавшего тексты европейских философов, поскольку того требовали мода и хороший тон, пребывала в состоянии какой-то поразительной духовной тупости, не задавая себе никаких вопросов и не испытывая никаких неудобств от своей внутренней раздвоенности, от полного несоответствия своих слов и дел, убеждений и поступков. Позже, уже в XIX веке, об этом странном бытии замечательно, со свойственной ему грубоватой простотой писал Денис Давыдов:

А глядишь, наш Лафайет,  
Брут или Фабриций  
Мужиков под пресс кладет  
Вместе с свекловицей,  
А глядишь, наш Мирабо  
Старого Гаврилу  
За измятое жабо  
Хлещет в ус и в рыло...

\* \* \*

В то же время в дворянской среде, развращенной властью и разнообразными привилегиями, постепенно стали появляться люди, неспособные и несогласные жить подобным образом. В этой среде было немало тех, кто в страшной раздвоенности современного им русского образованного человека винил прежде всего европейское просвещение, которое, по их мнению, самой сутью своей противоречило патриархально-православным устоям «старой» допетровской Руси. Подобным представителям дворянства, олицетворявшим собой русский консерватизм XVIII века, нельзя было отказать ни в искренности, ни в целостности, ни в своеобразном идеализме — этим они выгодно отличались от своих оппонентов — «циников». Они, как правило, были сугубыми крепостниками, но в их отношениях со своими крестьянами нередко было куда больше здравого смысла и порожденной христианством человечности, чем у русских Лафайетов и Фабрициев. Они были большими поклонниками порядка во всех сферах жизни и, не находя его нигде в России, винили в этом именно насилием внедренное Петром I европейское просвещение, которое, разрушив старые устои, не дало ничего надежного взамен.

Консерваторов подобного типа возмущали и пугали многие черты, которые, как им представлялось, постепенно становились определяющими и для правящей элиты, и для всего «благородного сословия» в целом: лицемерие и корысть, безверие и легкомысление... Эту душевную порчу они улавливали очень чутко. «...Вера и Божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в презрение впали, гражданские узаконения презираться стали... Несть ни почтения от чад к родителям, которые не стыдятся открыто их воле противоборствовать и осмеивать их старого века поступок. Несть ни родительской любви к их исчадию, которые, яко иго с плеч

слагая, с радостью отдают воспитывать чуждым детей своих, часто жертвуют их своим прибыткам и многие учинились для честолюбия и пышности продавцами чести дочерей своих. Несть искренней любви между супругами... Несть дружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своей. Несть верности Государю, ибо главное стремление почти всех обманывать государя, дабы от него получить чины и прибыточные награждения. Несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей, нежели для пользы отечества; и, наконец, несть твердости духу, дабы не токмо истину перед монархом сказать; но ниже временщику в беззаконном и зловредном его намерении противиться». Эти строки из знаменитого сочинения князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России» как нельзя лучше выражают искреннюю тревогу за состояние страны, за путь, на который она ступила в начале XVIII века. Щербатова и его единомышленников вдохновляла старая, допетровская Россия, по их представлениям, тихая, благостная, духовно здоровая.

Прошлое, конечно же, консерваторы идеализировали неудержимо и безоглядно. При этом критике, которой они подвергали «просвещенный цинизм», нельзя было отказать ни в меткости, ни в справедливости. Впрочем, для циников, стоявших у власти, эти нападки не представляли особой опасности; Екатерина и ее окружение склонны были отнести к выпадам подобных стародумов как к старческому брюзжанию, надоедливому, иногда обидному, но которое можно и нужно пропускать мимо ушей. Ведь, обличая нравы, стародумы эти никогда не посягали на основы российского бытия — крепостной порядок и царскую власть. Куда опаснее были те, кто критиковал власть и дворянство с другой, диаметрально противоположной стороны.

...Если мы заявляем, что хотим построить наше бытие на разумных основаниях — значит, мы должны и на деле во главу угла ставить разум, а не своекорыстные устремления. Пред-

полагая, что государственная власть должна действовать во имя населения страны, следует обустроить ее так, чтобы она с ним, с этим населением, была связана непосредственно и хорошо сознавала его интересы. Воспринимая закон как юридическое оформление справедливости, необходимо как можно скорее, не ограничиваясь красивыми, но ни к чему не обязывающими «Наказами», создать реально действующий свод таких справедливых законов. Признавая, что люди рождаются равными, невозможно спокойно относиться к крепостному праву, обрекавшему трудовое население России на положение, мало чем отличавшееся от рабства. И так далее...

Людей, выступавших с подобными заявлениями в XVIII веке, было ничтожно мало — буквально единицы, может быть, десятки. Но их выступления воспринимались властью несравненно болезненней, чем критика со стороны консерваторов. Они так же обличали цинизм и порождаемое им лицемерие, но если Щербатов во всем винил европейское просвещение, разрушавшее устои и подрывавшее традиции, то Радищев и Новиков главную беду видели в том, что идеалы, провозглашенные этим просвещением и формально принятые властью и элитой, остаются в России пустым звуком...

Эти люди призывали к последовательности: сказавши «а», надобно говорить «б», произнеся слово, нужно претворить его в дело. Они как никто ощущали то основное противоречие русской жизни, о котором говорилось выше, — противоречие между восприятием европейского просвещения и постоянным усилением деспотизма и крепостничества, и призывали это противоречие устранивать всеми силами — естественно, в пользу просвещения.

При всей внешней сентиментальности рассуждений того же Радищева, по сути своей, они были четкими, почти как математические формулы. Вот на одной из страниц «Путешествия» его герой, гневно возмущаясь очередной сценой помещичьего произвола — «Страхись помещик жестокосердый!

На челе каждого из твоих крестьян вижу я твое осуждение!» — случайно бросает взгляд на своего собственного слугу. «Мне так стало во внутренности моей стыдно, что я едва не заплакал. Ты во гневе твоем, говорил я сам себе, устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве; а сам не тоже ли еще хуже того делаешь!» Да, «бедный Петрушка» всегда сыт, более или менее тепло одет, «никогда, — пишет наш герой, — я его не секу ни плетьми, ни батожьем...» Чего же ему еще? С точки зрения, скажем, того же князя Щербатова, «холоп» находится в положении идеальном. Радищев же восклицает с самой горькой иронией: «О умеренный человек! И ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна дают тебе право поступать с подобным тебе существом как с кубарем; ты тем только и хвастаешь, что нечасто подсекаешь его в вертении его».

Главное горе не в том, что раб голоден или оборван; горе в том, что это «существо тебе подобное» — раб... «А кто дал тебе власть над ним? — Закон! Закон! — И ты смеешь поносить сие священное имя! Несчастный!..»

Согласитесь, что подобное обличение главной основы русского бытия того времени, крепостничества, освященного законом, данным самодержавной властью, — законом, с точки зрения рассказчика, явно неправедным, — все это, действительно, позволяло Екатерине сравнить автора «Путешествия из Петербурга в Москву» с Пугачевым. Хотя Радищев был всего-навсего последователен...

Радищева можно было сослать в Сибирь, близкого ему по духу Новикова заключить в крепость; их взгляды можно было объявить вредными фантазиями. Но ведь, на самом-то деле, эти люди совсем не фантазировали — просто они заглядывали далеко вперед, противоборствуя с тем, что неизбежно должно было исчезнуть, отстаивая то, что неизбежно должно было произойти. Ведь в конечном итоге Россия двигалась именно в этом направлении: к отмене крепостного права, к смягчению

деспотизма. Двигалась медленно, очень, очень медленно. Но — верно.

\* \* \*

На переломе веков от восемнадцатого к девятнадцатому это движение, казалось бы, заметно ускоряется. Меняется сама власть — «просвещенный цинизм» уходит в прошлое вместе с XVIII веком. Что и понятно: вообще-то состояние полной раздвоенности, в котором находилась российская элита — да и большая часть «передового» дворянства того времени, в медицине определяется как шизофрения. Стоять во главе государства в таком состоянии можно, особенно в условиях самодержавных, но — нелегко. Все-таки человеку, как правило, свойственно стремиться к цельности, к взаимосвязи своих слов, убеждений и деятельности. Иначе самое рафинированное образование не может спасти от искажения личности, потери самого себя и, в конечном итоге, — от маразма. В каковой, собственно, и впала Екатерина в конце своего царствования, вместе со всем своим окружением. И дело здесь было не в возрасте императрицы, еще далеко не дряхлом, а в постоянной лжи, вольной или невольной, лжи самой себе, окружающим, всему миру, на которую обрекало Екатерину ее исковерканное мировоззрение.

Для обретения утраченной цельности у власти в перспективе было два возможных пути, предложенных ее оппонентами: идти вперед, постепенно воплощая в жизнь идеалы, привнесенные в Россию с Запада, или попытаться повернуть вспять, взяв курс на восстановление патриархальных устоев допетровской Руси.

Немногочисленные сторонники последовательного движения вперед по пути, проложенному Петром, в какой-то мере рассчитывали на сына и наследника Екатерины — Павла Петровича. Его с детских лет можно было обвинять в чем

угодно, только не в цинизме. Человек искренний и цельный, в принципе стремившийся к добру, Павел ненавидел разврат материинского двора, живя в своей Гатчине с семьей и маленьким двором подчеркнуто строго и аскетично. К тому же, как считалось, он находился под влиянием своего главного воспитателя, графа Никиты Панина, оппозиционно настроенного по отношению к Екатерине и мечтавшего ограничить ее самовластье конституционными учреждениями. Так что надежды «прогрессистов» казались вполне оправданными.

Однако Павла, взошедшего на русский престол в 1796 году, понесло не вперед, а куда-то в сторону — в полное бездорожье. Борьба с распущенностью, недобросовестностью выразилась в доведении до предела самодержавного произвола, а европеизация — в совершенно безнадежных попытках разбудить в российском дворянстве дух небывалого рыцарства с его бескорыстным служением сюзерену и высокими понятиями о чести. У Павла, очень почитавшего своего великого прадеда — Петра, была с ним, пожалуй, лишь одна общая черта. Жестко управляя страной, не жалея простой народ, он не щадил и дворян. Целый ряд привилегий, предоставленных дворянству в XVIII веке, Павел практически свел на нет; в армии и особенно в гвардии к офицерам, вконец избалованным Екатериной, было теперь столь же строгое отношение, как и к нижним чинам. Однако во всем прочем и прежде всего в отношении личных качеств нервный, легковозбудимый, «гневливый» Павел, совершенно неадекватно воспринимавший действительность, был совершенно не похож на своего гениального прапрадеда. Да и у «благородного дворянства» этого времени, разращенного постоянными подачками с царского стола, было мало общего с упорными тружениками и усердными служаками петровской поры. Ссориться с ним было очень и очень опасно... Екатерина в своих делах принимала эту опасность во внимание чуть ли не в первую очередь; Павел ее совершенно игнорировал. Его попытка изменить весь

строй дворянской жизни, предпринятая негодными средствами и практически в одиночку, была обречена — так же, как и сам император...

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года полтора десятка гвардейских офицеров ворвались в царскую резиденцию — Михайловский дворец — и истребили царя. Организовал заговор против Павла граф Петр Пален — человек, плоть от плоти екатерининских времен: умный и — совершенно беспринципный, весьма просвещенный и — циничный до мозга костей. В это время, в 1801 году, Пален был, безусловно, самым близким к царю человеком, Павел доверял ему как самому себе...

Однако, истребив государя — заговорщики открыли дорогу на престол его старшему сыну Александру, который, в отличие от отца, был убежденным сторонником реформ. Удивительно, что такой умный человек, как Пален, этого не осознал загодя — очевидно, потому лишь, что самой такой возможности всерьез допустить не мог.

Очень быстро разрешившийся конфликт между всесильным временщиком и молодым царем представляется мне вообще чрезвычайно характерным для этого времени — грани XVIII и XIX веков. Пален, в конце правления Павла находившийся на вершине власти и пользовавшийся неограниченным влиянием, пожертвовал несчастным императором, очевидно, по одной причине: Павел был совершенно непредсказуем — и, в частности, фавориты при нем долго не держались. (Недаром говорили, что некоторые высшие сановники при Павле каждый день, уходя на службу, прощались со своими домашними, как перед долгой разлукой. На всякий случай: никто не мог гарантировать, что вечером они вернутся домой, а не отправятся по причинам, которые и предвидеть-то было совершенно невозможно, в места не столь отдаленные.) На молодого же наследника престола Пален, как представляется, рассчитывал в определенном отношении: при нем он надеялся укреп-

пить свое положение так, чтобы можно было не бояться ни за ближайшее, ни за отдаленное будущее.

Либеральные увлечения Александра Павловича, о которых несложно было догадаться, Пален явно всерьез не принимал, считая их, очевидно, то ли за прихоть, то ли за придурь. К наследнику Пален вообще относился с заметным пренебрежением, не считая его, судя по всему, за серьезного человека. Когда знал о заговоре Александр умолял Палена пощадить отца, сохранив ему жизнь, глава заговорщиков, по его собственным словам, лишь кивал в ответ головой, снисходительно усмехаясь про себя — временщик давно уже решил судьбу императора... Явившись с вестью об убийстве Павла в Зимний дворец, Пален застал Александра рыдающим — он уже знал о случившемся и горько оплакивал свое, пусть и косвенное, участие в отцеубийстве. Временщик отреагировал на эти слезы лишь насмешливо-пренебрежительной фразой: «Довольно хныкать, ступайте царствовать». Пален, очевидно, ощущал себя воплощением всех братьев Орловых, проложивших дорогу к власти Екатерине, плюс лейб-медиком Лестоком, подсадившим на трон Елизавету Петровну, и жаждал соответствующих лавров. Прошло несколько недель, и он вместе со всеми прочими заговорщиками был выслан из Петербурга... Прожженный циник допустил ошибку, возведя на российский престол небывалого идеалиста...

2007–2008

# ВОСПИТАНИЕ НАСЛЕДНИКА

## Рождение внука

12 декабря 1777 года в Петербурге широко и пышно праздновали рождение великого князя Александра Павловича. Самым счастливым человеком на этом блестящем празднестве была, без сомнения, бабушка новорожденного, императрица Екатерина.

У государыни были веские причины для радости. Дело в том, что со своим сыном Павлом она не ладила. Родила его Екатерина тогда, когда ей самой жилось совсем не сладко. В 1744 году ее, пятнадцатилетнюю дочь захудалого немецкого князька, тогдашняя императрица Елизавета Петровна, желала выдать замуж за своего племянника и наследника Петра Федоровича. Этот брак был несчастливым. Умная, изящная, хорошо образованная Екатерина оказалась не в силах найти общий язык со вздорным, упрямым и туповатым мужем.

Мелочная опека со стороны царственной тетки, женщины незлой, но взбалмошной, еще больше усложняла отношения между супругами. К 1754 году, когда у них родился сын, отношения эти стали уже совершенно нестерпимыми. К тому же Елизавета отняла новорожденного у матери, поручив его воспитание невежественным нянькам.

После смерти Елизаветы в конце 1761 года Петр III взошел на трон. А еще через полгода он был свергнут с престола собственной женой, а затем убит ее сторонниками. Как стало ясно впоследствии, эти трагические события произвели самое

сильное впечатление на маленького Павла. Павел готов был обожествить отца за мученическую кончину, мать же мальчик возненавидел. Тем более что Екатерина, сильно переживавшая раньше свою оторванность от сына, теперь, когда появилась возможность взять его воспитание в свои руки, казалось, махнула на ребенка рукой. Большая государственная политика, придворная жизнь, любовные похождения — все это целиком захватило молодую императрицу.

Когда же Павел вырос, стал юношой, а затем мужчиной, Екатерине оставалось только ужасаться и негодовать, глядя на своего отпрыска. Упрямством и вздорностью Павел все больше напоминал ей ненавистного мужа. Все дела Екатерины он встречал в штыки, почти не скрывал неприязни к близким ей людям. Он ненавидел мать и боялся ее; императрица, в свою очередь, обращалась с сыном презрительно и высокомерно.

Очевидно, что сын стал главной неудачей в жизни этой женщины, которая почти всегда добивалась того, чего хотела. Тем больше надежд возлагала Екатерина на внука-первенца. Она сразу же поставила перед собой задачу воспитать мальчика идеальным человеком и, более того, идеальным государем.

Это стремление было порождено не только страшным разочарованием в неудавшемся сыне-наследнике, оно опиралось на высокую философию Просвещения, выраженную в трудах европейских ученых-просветителей, поклонницей которых Екатерина стала еще в молодости. Взойдя на престол, она продолжала усердно изучать произведения Монтескье и Беккариа, завязала переписку с Вольтером и бароном Гриммом, вела в Эрмитаже задушевные беседы с Дени Дидро, издателем знаменитой просветительской энциклопедии, приехавшим в Россию по высочайшему приглашению. Идеями просветителей Екатерина вдохновлялась и при воспитании любимого внука.

На первом плане в системе взглядов просветителей был человек. Ведь последовательное развитие нации, разумный государственный строй и правильная организация хозяйства — все это становилось возможным лишь при одном условии: если каждый человек в отдельности и все человечество в целом будут становиться все просвещеннее, а следовательно, разумнее, честнее, справедливее... Для просветителей — недаром они назывались именно так — неразрывная взаимосвязь между просвещением и прогрессивным развитием человечества казалась само собой разумеющейся.

Естественно, проблемы становления человеческой личности всегда занимали просветителей. Один из самых знаменитых трудов, созданных Жан-Жаком Руссо в русле просветительской философии, так и назывался: «Эмиль, или О воспитании». Им зачитывалось все образованное европейское общество. По современным понятиям, этот трактат, так же как и многие другие сочинения просветителей на темы воспитания, представляется несколько наивным. Ребенок рассматривался здесь как чистый лист бумаги, на котором опытная рука может написать то, что считает нужным.

Воспитателю необходимы лишь знания, разумный план занятий и твердая воля. При соблюдении этих условий ребенок с железной неизбежностью должен был стать близким к идеалу человеком. Черты его характера, врожденные недостатки, влияние окружающей обстановки — все это отступало на задний план перед напором педагога, вооруженного идеями Просвещения.

Подобные взгляды вдохновляли Екатерину на педагогический подвиг. Сына она упустила: из Павла получился человек, не способный разумно жить и тем более управлять государством. Воспитание внука позволяло взять реванш за неудачу с сыном. Именно поэтому появление на свет «господина Александра», как называла внука в своей переписке Екатерина, вызвало у царственной бабушки такой восторг. Она

не могла нарадоваться на новорожденного: «божественный младенец», «у него преумные глаза», «он прекрасен, как ангел» — подобные похвалы внуку императрица щедрой рукой рассыпала в своих письмах к барону Гrimmu. Как полагала Екатерина, природа предоставила ей великолепный материал для педагогического эксперимента; остальное должна была довершить «опытность» мудрой бабушки. «Я сделаю из него чудесного мальчугана», — писала царица Гrimmu.

## БАБУШКИНА РАДОСТЬ

Воспитание внука Екатерина взяла в свои руки сразу и безоговорочно, теперь этому не могли помешать никакие государственные дела. Прежде всего она изолировала ребенка от родителей — Павла и его супруги Марии Федоровны, об уме и способностях которых царица была самого невысокого мнения. Матери только показали новорожденного издали, после чего Екатерина унесла его в свои покои. В этом случае царица поступила с матерью Александра так же безжалостно, как в свое время поступили с ней. Однако все дальнейшее было в ее пользу.

В самом деле, Елизавета Петровна, действуя по-домостроевски, по сути дела, изолировала Павла от окружающего мира, искалечила его нравственно. Своими «педагогическими» приемами она очень способствовала тому, что из Павла вырос неуравновешенный, болезненный, издерганный, совершенно не владевший собой человек, который позже, став императором, ужасал окружающих.

Безобразия начались тогда с самой колыбели — в буквальном смысле этого слова, потому что колыбель эта была обита... мехом чернобурых лисиц. Накрывали ребенка стеганым ватным одеялом; в детской было невероятно душно и жарко. Екатерина в своих «Записках» вспоминала о том, как сама ви-

дела сына «таким образом уложенным; пот выступал у него на лице и по всему телу, вследствие чего, когда он несколько подрос, то малейшее дуновение воздуха причиняло ему простуду...». Подобные заботы во вред ребенку стали определяющими в воспитании Павла. Ему не давали самостоятельно и шагу ступить — Елизавета прибегала на каждый крик — и довели до истерик, до того, что у мальчика начались нервные припадки, и «он прятался под стол, когда сильно хлопнут дверью». Малыша постоянно перекармливали жирным и сладким, результатом чего стало хроническое расстройство пищеварения.

Воспитание «господина Александра» было поставлено совершенно иначе — в полном соответствии с рекомендациями просветительской педагогики. Прежде всего Екатерина позаботилась о физическом здоровье новорожденного. С ужасом вспоминая «бестолковых старушек», загубивших здоровье ее сына, императрица сумела найти для внука воспитательницу и гувернантку, разделявшую ее взгляды на воспитание и, самое главное, сумевшую провести их в жизнь. Прасковью Ивановну Гесслер, англичанку по рождению, современники единодушно признавали «женщиной редких достоинств», считая, что именно от нее Александр «приобрел любовь к простоте, порядку и опрятности».

В самом деле, быт новорожденного был обустроен очень толково — даже и сегодня вполне соответствовал бы понятию о здоровом образе жизни. Вместо душной колыбели — железная кроватка с гигиеническим кожаным туфячком. В комнате горело не больше двух свечей, чтобы воздух всегда оставался чистым. К тому же «господин Александр» спал всегда с открытыми окнами и ежедневно принимал холодную ванну.

Как только маленький князь подрос и встал на ноги, в строгий распорядок дня вошли пешие прогулки на свежем воздухе и разнообразные физические упражнения. Естественно, что Александр никогда не простужался. Мальчика приучали работать в саду, сеять горох и сажать деревья, его учили

править лодкой, ловить рыбу... Мальчик был крепок, здоров и бодр.

Правильное физическое развитие занимало важное место в программе воспитания «идеального человека». Но, развивая и укрепляя тело мальчика, Екатерина все же прежде всего думала о его духовном росте. Она мечтала, что придет время, когда ее любимец поразит весь мир «величием души»... А для этого он должен был составить правильное представление об окружающем мире и о своем месте в нем. В своей переписке Екатерина очень четко формулировала, что, с ее точки зрения, стоит на первом плане в нелегком деле духовного становления «господина Александра»: «...знание людей и жизни, благоволение к роду человеческому, снисхождение к ближнему, познание вещей, как они должны быть и какие они есть на самом деле».

Поначалу эту сторону дела Екатерина почти полностью взяла на себя. Невзирая на всю свою занятость, она посвящала внуку массу времени. Она сочиняла для мальчика нравоучительные сказки, написала для него «Историю России». А «Бабушкина азбука» соединяла обучение грамоте с назиданием и нравоучением: каждая буква в ней сопровождалась соответствующим изречением, которое должно было наставлять ребенка на путь истинный. Эта азбука, писала Екатерина Гримму, «постоит за себя»: «Все видевшие ее отзываются о ней очень хорошо и прибавляют, что это полезно не для одних детей, но и для взрослых. Сначала ему говорится без обиженяков, что он малютка, родился на свет голый, как ладонь, что все так рождаются, но потом познание и образование производят между людьми бесконечное различие, и затем, нанизывая одно правило за другим как бисер, мы переходим от предмета к предмету. У меня только две цели впереди: одна — раскрыть его ум для внешних впечатлений, другая — возвысить его душу».

Воспитание шло успешно: бабушка не могла нарадоваться на внука. Действительно, судя по письмам Екатерины, маленький князь поражал своими способностями. Александру

шел только четвертый год, а он уже «складывает из букв слова, он рисует, пишет...». В тот же год Екатерина занялась с внуком арифметикой, а затем и географией по настоюнию маленького Александра, пожелавшего узнать все, что возможно, о «фигуре земли». Из библиотеки Эрмитажа принесли глобус, и мальчик, по словам бабушки, тут же «принялся отчаянно путешествовать по земному шару».

В четыре года Александр уже неплохо знал основные европейские языки: «Он очень хорошо понимает по-немецки, знает порядочно по-французски и по-английски». Для самой Екатерины большую прелесть в этих занятиях составляла добрая воля и душевная открытость мальчика. Она постоянно отмечает в своих письмах к Гримму, что Александра «ни к чему не принуждают», «он делает что хочет; ему только не позволяют вредить себе и другим». Мальчик учился с таким по-разительным успехом прежде всего потому, что хотел учиться: окружающий мир был ему интересен. «Я еще не видела мальчугана, — писала Екатерина, — который был бы так любопытен, жаден до знаний, как этот... Если ему начнут рассказывать, он весь — слух и внимание. У него прекрасная память, и его не проведешь».

## ПОЯВЛЕНИЕ ЛАГАРПА

Первые, младенческие, годы пролетели быстро. Вскоре пришла пора, когда Александра нужно было «отцепить от бабушкиного подола». Когда мальчику минуло пять лет, Екатерина стала подыскивать ему учителей, которые могли бы достойно продолжить дело воспитания и образования великого князя. И вот тут-то и начались проблемы, которые так осложнили впоследствии и жизнь, и правление Александра.

Дело в том, что увлечение Екатерины философией Прозвещения носило скорее внешний характер и проявлялось в

значительной степени на словах: в письмах и задушевных беседах с французскими просветителями. Оборотной же стороной этих слов были дела — реальная политика Екатерины, весьма жесткая, а нередко и беспощадная. С одной стороны, царица стремилась предельно укрепить личную власть и власть представлявших ее интересы чиновников: система управления страной была заметно усовершенствована, но приобрела при этом деспотический характер, может быть, в большей степени, чем при предшественниках Екатерины. С другой стороны, императрица поставила крестьян в полную зависимость от помещиков, в которых она видела опору самодержавия.

В царствование Екатерины в России был наведен порядок, которого так не хватало раньше. Но это был совсем не тот порядок, к которому призывали любимые Екатериной просветители, — основанный на законности, соблюдении интересов всех слоев населения и взаимовыгодном сотрудничестве их друг с другом. Нет, это был жесткий самодержавно-крепостнический порядок, в основе которого лежало беспощадное угнетение народных масс. Всю выгоду от этого устройства получали чиновник и помещик, ставшие определяющими фигурами русской жизни.

Вольтеру, барону Гримму и другим зарубежным поклонникам просвещенной императрицы трудно было разобраться в неинтересной для них российской действительности. Они верили Екатерине на слово. Но русские поклонники Просвещения — по крайней мере, те, для кого эта философия не ограничивалась красивыми словами, — все яснее видели, насколько далека реальная политика императрицы от ее сладких речей о стремлении к «блаженству подданных». Эти люди, немногочисленные, но сильные своей искренностью и убежденностью, все резче критиковали Екатерину. Но просвещенная царица не терпела критики, особенно от «своих». Она начинала гневаться, и в конце концов гнев ее находил выход в

репрессиях против наиболее смелых и принципиальных сторонников истинного Просвещения. В результате Н. И. Новиков попал в тюремное заключение; А. Н. Радищев отправился в Сибирь, в ссылку...

В начале 1780-х годов до подобных репрессий дело еще не доходило. Но уже тогда было совершенно очевидно, что царица не любит и боится тех, кто желает ослабления государственного гнета и смягчения крепостного права. Между тем именно среди этих людей, так горячо мечтавших о переменах к лучшему, отличавшихся умом, образованностью и порядочностью, стоило, наверное, искать учителей для великого князя, которого Екатерина прочила в «идеальные государи».

Однако царица предпочитала им придворных льстецов или исполнительных военных. Главными воспитателями стали генерал-адъютант Салтыков и генерал Протасов, которые думали только о том, как угодить государыне. Учителя же были разные, но, судя по всему, мало кто из них умел увлечь великого князя, дать ему что-то большее, чем груду разнообразных сведений по своему предмету. Самой характерной фигурой в этом отношении был, очевидно, протоиерей Андрей Самборский, который преподавал Александру Закон Божий, приобщая мальчика к православной вере. Главное достоинство Самборского, с точки зрения Екатерины, было в том, что он, как и сама царица, верил в Бога «по-европейски», «без излишеств и суеверий». Наставление им маленького князя в вере носило формальный характер. Протоиерей сам был холоден к религии и ученика своего оставил равнодушным к ней.

Так же формально происходило и большинство других занятий. Русский язык ему преподавал известный тогда писатель М. Н. Муравьев, а географию — знаменитый ученый и путешественник П. С. Паллас. Преподавали они, наверное, неплохо. Но ведь для воспитания идеального человека и учителя должны были быть особые, близкие к идеалу. Ни Мура-

вьев, ни Паллас таковыми не являлись: учили «от сих до сих», за рамки вверенных им предметов не выходили и не могли оказать сколько-нибудь заметное влияние на духовный рост великого князя, на становление его личности.

Таким образом, хорошее начало грозило остаться без продолжения. Лучшие черты великого князя, которые так ярко проявились в первые годы его жизни, могли стушеваться, поблекнуть, не получив поддержки извне. Но вот тут как раз рядом с Александром и появился человек, который сыграл определяющую роль в его воспитании.

Фредерик Сезар де Лагарп, швейцарский гражданин, воспитанный на идеях Просвещения, получивший образование и звание доктора права в Женевском университете, попал в Россию по воле случая. Ему довелось сопровождать в поездке по Италии младших братьев тогдашнего фаворита Екатерины Ланского. Сам Ланской был человеком во многих отношениях незаурядным, но братья не были похожи на него: по общим отзывам, их отличали, во-первых, наглость, во-вторых, глупость.

Тем не менее Лагарпу, опекавшему молодых шалопаев, удалось справиться со своей нелегкой задачей с блеском. Письмо, в котором он с большим умом и тактом описывал итальянскую поездку и высказывал некоторые педагогические соображения, произвело сильное впечатление на Ланского, и он поспешил поделиться им с императрицей. Екатерина, которая как раз подыскивала внуку преподавателя французского языка, заинтересовалась Лагарпом и пригласила его в Россию.

Так в 1784 году Фредерик Лагарп вошел в штат преподавателей великого князя. Прошло совсем немного времени, и он стал тем самым единственным Учителем, которого так не хватало Александру. У Лагарпа были простые и четкие идеалы. В соответствии с ними он искренне почитал знания и презирал невежество, ценил в себе самого и в окружающих чувство

собственного достоинства и терпимость, с отвращением относился к тем, кто угодничал перед высшими и угнетал слабых. Превыше всего он ставил свободу личности и ненавидел despotizm. На этой почве у Лагарпа уже в Швейцарии стали возникать конфликты с властями, и он всерьез собирался уехать в Америку, чтобы участвовать там в создании идеального общества, не знающего принуждения.

Тут перед нами с очевидной неизбежностью встают некоторые вопросы. И первый из них: как человек с подобными взглядами мог рискнуть отправиться в Россию, по сравнению с которой Швейцария была образцом законности и демократии? Ответ на него более или менее ясен: Лагарпа привлекли именно сложность ситуации и значительность вставшей перед ним задачи. Так же как и Екатерина, он увлекся идеей воспитать «идеального человека и государя», который должен был стать повелителем многомиллионной страны. Передать ему возвышенные идеи, вооружить необходимыми знаниями и тем самым осчастливить несчастную отсталую страну — подобное предприятие как нельзя лучше отвечало духу философии Просвещения и не могло не воодушевить ее искреннего и горячего поклонника.

При подобном подходе к делу Лагарп никак не мог смириться со скромной ролью преподавателя французского языка при Александре. Тем более что учитель и ученик почти сразу прониклись глубокой симпатией друг к другу. Лагарп, оказавшийся прекрасным педагогом, сумел увлечь Александра занятиями французским языком. А главное, он с самого начала произвел на мальчика очень сильное впечатление своими личными достоинствами, которых так не хватало другим учителям: искренностью, душевной теплотой и благородством. Достаточно сказать, что Александр поначалу занимался с Лагарпом один раз в неделю, затем каждый день и в конце концов потребовал, чтобы ему позволили встречаться с любимым преподавателем дважды в день.

Сознание успехов воодушевило Лагарпа на рискованный шаг: в том же 1784 году, через несколько месяцев после своего приезда в Россию, он пишет императрице письмо. В нем он, во-первых, настаивает на том, чтобы его сделали главным воспитателем великого князя, а во-вторых, смело излагает свою программу воспитания. Смело, потому что это была удивительная программа... Оказывается, Лагарп собирался привить своему ученику ненависть к деспотизму, к насилию над своими подданными, к неравенству между ними, то есть ко всему тому, что составляло сущность русской жизни. По мнению Лагарпа, идеальный правитель, которого он собирался воспитать из Александра, взойдя на престол, будет стремиться к торжеству законности и справедливости, к «служению народу» — вот во имя чего он будет царствовать.

И здесь возникает еще один вопрос; почему, прочтя это сочинение, Екатерина не только не выслала Лагарпа из России, но и выказала ему свое благоволение, написав на полях записки: «Тот, кто это сочинил, способен преподавать не только французский язык». И действительно, вскоре Лагарпу было поручено руководить всеми учебными занятиями Александра, за генералами остался только общий надзор за распорядком дня и здоровьем великого князя. После этого влияние Лагарпа на Александра стало определяющим.

Объяснение может быть только одно, и искать его приходится все в той же двойственности, которая определяла правление Екатерины. То, что писал в своем письме Лагарп, в корне расходилось с реальной политикой императрицы, направленной на усиление самодержавия и крепостного права. Зато письмо это почти полностью соответствовало ее излюбленным речам о «блаженстве подданных» и о своих неустанных заботах по его обеспечению. Многие понятия Лагарп перечерпнул из тех же сочинений, которые так любила цитировать сама Екатерина. Общие фразы о всеобщем благе ее не пугали,

а даже доставляли ей удовольствие. Судя по всему, она была искренне уверена, что слова делу не помеха...

Теперь Александр проводил с Лагарпом почти все время, свободное от других занятий. Уроки французского, по мере того как великий князь постигал этот язык, все в большей степени превращались в уроки философии, истории, политэкономии. Кроме того, были постоянные совместные прогулки, сопровождающиеся задушевными беседами об окружающем мире и о том, какое место должен занять в нем подрастающий великий князь... О конкретном содержании этих бесед можно только догадываться. Но, зная принципиальность Лагарпа, надо думать, что свои взгляды он высказывал последовательно и четко. Александр же, преклонявшийся перед наставником, должен был воспринимать эти взгляды не за страх, а за совесть. Недаром окружающие заметили, что великий князь начинает смотреть на все глазами Лагарпа. Однажды Александр при свидетелях бросился обнимать своего учителя и был осыпан пудрой с его парика. В ответ на замечание учителя: «Посмотрите, на что вы стали похожи» — мальчик воскликнул: «Все равно ничто дурное от вас ко мне не пристанет — только хорошее». Эта шутка звучала не по-детски серьезно; доверие, которое испытывал в это время Александр к Лагарпу, было поистине безграничным.

Но, с другой стороны, беседы с Лагарпом приводили мальчика к разладу с действительностью. Пусть его мир был пока что ограничен Зимним дворцом, придворным окружением императрицы, ее сановниками и фаворитами, и все же Александр, от природы наделенный душевной чуткостью, не мог не видеть, как расходятся возвышенные принципы, которые внушал ему Лагарп, с реальной русской жизнью.

Лагарп говорил ему о необходимости управлять мудро, опираясь на справедливое и разумное законодательство, а в России все решали воля чиновника или прихоть помещика. Лагарп говорил об ответственности тех, кто стоит во главе

государства, перед своим народом, а стареющая императрица окружала себя наглыми фаворитами и хитрыми сановниками-казнокрадами. Лагарп говорил о необходимости просвещения народа и общества, но Александр, подрастая, убеждался в том, что даже при дворе образованному человеку не с кем словом перемолвиться, а народ в России поголовно безграмотен. И в душе Александра просыпалось недоверие, а затем и презрение к тем, кто его окружал, и прежде всего к бабушке...

## ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Екатерина, судя по всему, проглядела эти плоды уроков Лагарпа или не придала им серьезного значения. Она ведь привыкла легко относиться к высоким словам, искренне считая, что их вполне можно сочетать с низкими делами. К тому же в характере Александра, при всей его привлекательности, очень рано стала проявляться черта, которая могла ввести его бабушку — и не только ее — в заблуждение. Великий князь с малых лет стремился не огорчать тех, от кого зависел, умело скрывая свое истинное к ним отношение. В детские годы это относилось прежде всего к бабушке, позже — к отцу.

Павел в это время, как правило, пребывал в Гатчине, под Петербургом. Он жил там со своей женой и небольшим двором подчеркнуто скромно, почти аскетично. Большую часть времени Павел посвящал тому, что муштровал свою личную гвардию — «гатчинцев». И трудно было себе представить более резкий контраст, чем тот, который существовал между Гатчиной и Зимним дворцом, где стареющая Екатерина во главе своего окружения проводила время во всевозможных развлечениях, пышных балах и изысканных беседах.

Между тем юный Александр прекрасно уживался и здесь и там. В Зимнем он усердно и искусно демонстрировал свое преклонение перед бабушкой, на лету подхватывая каждое ее сло-

во и беспрекословно исполняя каждую ее прихоть. Неудивительно, что Екатерина по-прежнему не могла нарадоваться на своего любимца и с доверием относилась к его наставнику.

В Гатчине же, где Александру приходилось бывать по необходимости, он подлаживался к отцу не менее усердно и искусно. Александр с видимой охотой принимал участие в строевых учениях и муштровал солдат, приговаривая при каждом удобном случае: «Это по-нашему, по-гатчински». Правда, здесь он преуспел гораздо меньше, чем в Зимнем: свою неприязнь к матери Павел в полной мере переносил на ее любимца — Александру он явно не доверял. Лагарпа же Павел просто ненавидел, видя в нем живое воплощение либеральных идей. Однако пока была жива царица, мнение ее вздорного сына никого особенно не интересовало.

Положение стало меняться с 1789 года, когда во Франции грянула Великая революция. По мере того как она быстро и бурно развивалась, Екатерина приходила все в больший ужас. Может быть, впервые императрица начала осознавать, к каким результатам приводят восхищавшие ее прежде слова; ей все ясней становилось, что французских революционеров вдохновляют идеи ее друзей-просветителей. Оказалось, что за блеском красивых и умных фраз скрывались ужасы якобинского террора...

Екатерина прежде всего отправила в ссылку Вольтера, самого почитаемого ею философа, велев вынести его книги из своих покоев на чердак. Узнав о казни французского короля Людовика XVI, Екатерина буквально заболела, а затем прервала дипломатические отношения с государством якобинцев, введя Россию в состав антифранцузской коалиции. Пышно и с подчеркнутым почетом она принимала в Петербурге французских аристократов-эмигрантов, бежавших от ужасов террора.

В этих обстоятельствах положение Лагарпа становилось все более затруднительным. По его поводу начинают злосло-

вить придворные; Павел перед своим сыном оскорбляет любимого учителя, называя Лагарпа «грязным якобинцем». Правда, сама Екатерина, демонстрируя терпимость, продолжала оказывать покровительство швейцарцу. «Будьте якобинцем, республиканцем, всем, кем хотите, — сказала как-то императрица Лагарпу. — Я вижу, что вы честный человек, и этого мне достаточно».

И все же, хотя Лагарп пробыл в России еще несколько лет, его влияние на Александра все более ограничивалось, уроки проводились все реже. Отчасти это было вызвано тем, что мальчик быстро взрослев и у него появились совершенно новые интересы. В 1793 году бабушка решила женить шестнадцатилетнего внука, подыскав ему суженую в одном из небольших немецких княжеств, которые постоянно были чем-то вроде заповедника невест для великих русских князей. После этого встречи Александра с Лагарпом почти что прекратились.

В конце 1794 года Екатерина официально сообщила Лагарпу, что он должен завершить свои занятия с Александром и покинуть Россию. Прощание было нелегким и для учителя, и для ученика. Накануне отъезда Лагарпа Александр написал ему искреннее и трогательное письмо, из которого ясно следовало, что, несмотря на внешнее отдаление от своего наставника, он по-прежнему обожал его.

«Помните, — писал Александр, в частности, — что вы оставляете здесь человека, который вам предан, который не в состоянии выразить вам свою признательность, который обязан вам всем, кроме рождения... Будьте счастливы, любезный друг, это — желание любящего вас и почитающего превыше всего. Я едва вижу, что пишу».

Будущее показало, что все это были не пустые слова. Любимый наставник уехал, и Александра, казалось, полностью захватили суeta придворной жизни, хлопоты и радости жизни семейной... Он по-прежнему лавировал между любящей ба-

бушкой и своенравным отцом, по-прежнему был ровен и приветлив с окружающими его царедворцами и сановниками. И лишь по некоторым эпизодам жизни Александра мы можем судить, насколько глубоко в его душу запали уроки Лагарпа.

Особенно показательны в этом отношении несколько страниц из мемуаров Адама Чарторыйского. Этот представитель древнего и знатного польско-литовского рода находился в Петербурге на положении заложника из-за своего отца, пытавшегося во время разделов Польши бороться с Россией. Впрочем, если это и можно было назвать пленом, то весьма почетным: Чарторыйский жил без всякого надзора, более того, был принят при дворе, что, впрочем, совсем не радовало молодого человека. Держался он замкнуто, ни с кем не сближался, чувствуя себя чужим в стране, лишившей независимости его родину. С молодым великим князем он тоже держался предельно сдержанно и отчужденно.

Однако эта сдержанность не обманула Александра. Чарторыйский получил схожее с ним воспитание и тоже был одушевлен идеями Просвещения, хотя никоим образом этого не афишировал. Но совершенно очевидно, что Александр почувствовал в гордом поляке родственную душу — по манере держаться, по отдельным репликам и беглым замечаниям. Все дальнейшее свидетельствовало о том, до какой степени великий князь истосковался по собеседнику, с которым можно было не таиться, быть искренним, говорить о самом заветном. Выбрав момент, когда они остались наедине, Александр без всякого повода завел с Чарторыйским предельно откровенный разговор, буквально исповедовался перед ним. Оказалось, что великий князь больше всего ненавидит тиранию и обожает свободу; если ему когда-нибудь придется взойти на российский престол, он прежде всего облагодетельствует своих подданных конституцией; что он, наконец, сочувствует полякам и сделает все, что в его силах, чтобы помочь им восстановить свое уничтоженное государство...

В сущности, молодой князь не сказал ничего особенно умного или замечательного — все это были не более чем общие фразы. Но Чарторыйского поразили сила и искренность, с которыми эти слова были сказаны. По его собственному признанию, после этой беседы он долго не мог заснуть, размышляя, что будет, если Александр придет к власти в России — в стране с крепостным правом, с темным, забитым населением.

...Прошло совсем немного времени, и в 1801 году, в самом начале нового века, Александр I взошел на престол. Пришло время реализовать идеи, внущенные Лагарпом. Пришло время облагодетельствовать плодами Просвещения свой народ, о котором Александр не знал почти ничего...

2003

# ЗАВЕЩАНИЕ СПЕРАНСКОГО\*

«...Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий, отчетливый хохот — хохот, похожий на тот, которым смеются на сцене. Кто-то голосом, похожим на голос Сперанского, отчетливо отбивал: ха, ха, ха».

«Война и мир», том второй — напоминаю источник цитаты тем моим согражданам, которым не повезло с учителем литературы. У большинства же из нас, выпускников советских и постсоветских школ, первые и нередко последние ассоциации, связанные с этим именем — Сперанский, — восходят, очевидно, к резким и запоминающимся чертам образа, созданного Толстым: прежде всего, этот «звонкий, отчетливый», как на сцене, смех; затем, напомню, «зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд», «руки, несколько широкие, но необыкновенно пухлые, нежные и белые...». В целом же Толстой с обычным своим искусством добивается поставленной цели: Сперанский в «Войне и мире» — одна из очень немногих искусственных и даже несколько противоестественных фигур.

Все органично в «Войне и мире», все герои предельно естественны, все на своих местах: князь Андрей, Пьер, семейство Ростовых, Александр I, капитан Тушин, французский офицер Рамбаль и так далее; все, вплоть до коня Николеньки Грачика и волка из сцены охоты. И лишь буквально несколько фигур выглядят претенциозными и фальшивыми, резко и

\* Статья представляет собой предисловие к книге: Томсинов В. А. Спиринский. М., 2006 (серия ЖЗЛ).

неприятно выделяясь на фоне живой жизни, которой насыщена великая эпопея. Главная из них, несомненно, Наполеон; на втором месте — его почитатель Сперанский.

И это при том, что, смотря на Сперанского глазами князя Андрея, Толстой видит в нем «разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России». В следующей фразе Толстой со свойственной ему последовательностью использует слова с ключевым для этого образа корнем «разум» еще трижды: «Сперанский, в глазах князя Андрея, был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерилом разумности. Всё представлялось так просто в изложении Сперанского...»

Какие, согласитесь, замечательные и редкие в нашем отечестве достоинства! Но, несмотря на них, Сперанский явно не вписывается в русскую жизнь, воссозданную в гениальном романе. Несмотря на них — или именно из-за них, быть может... Забегая вперед, могу сказать, что образ Сперанского, на мой взгляд, как, впрочем, и образы подавляющего большинства других исторических лиц в гениальном романе, вполне соответствует действительности. И трагизм этого образа прочувствован Толстым с обычной для него глубиной и показан с обычным для него искусством. И это при том, что Сперанскому в «Войне и мире»делено всего несколько страниц; но они написаны для знающего или — стремящегося узнать. Я хорошо помню свои юношеские впечатления от этих страниц: загадка! притом интереснейшая!

Думаю, для многих эпопея «Война и мир» стала порталом, открывающим путь к познанию русской истории. Но насколько же тернистым оказывается этот путь! Исторические труды, создаваемые профессиональными учеными-историками, как правило, безличностны: и в том отношении, что личность самого автора в этих сочинениях обычно почти не ощущается, и

в том, что главными действующими лицами являются не конкретные живые люди, творящие историю, а отвлеченные формулы и понятия. Причем это почти в равной степени характерно как для «старой», дореволюционной историографии, особенно для трудов адептов государственной школы, так и для советской, использовавшей во многом уже сложившиеся приемы и методики. «Марксизм-ленинизм» нередко выживал из исторических сочинений советского времени те остатки человечности, которые все-таки можно было отыскать в трудах русских историков, а вместе с ними — и последние проблески здравого смысла. В наше время положение здесь если и меняется к лучшему, то чрезвычайно медленно — становиться другими нелегко... Своебразной «компенсацией» занудству и зауми научных трудов становится литература, рожденная рынком, которая вполне заслуживает названия «бульварной». Об этой литературе говорить особо не приходится — от нее можно лишь открешиваться или отлевыватьсь. При таком положении дел поневоле возвращаешься к Пушкину, Толстому, Лескову, ищешь и находишь в их произведениях драгоценные крупицы реальности...

Но, конечно же, любому читателю, увлекшемуся, благодаря классике, познанием прошлого, хочется развития затронутых там сюжетов. Хочется вдосталь насладиться «живой историей» — пусть и в работах более скромного уровня. И в этом отношении серия «ЖЗЛ» была просто незаменима в советские времена; свое значение она сохраняет и поныне: именно в книгах биографического жанра автор не просто получает возможность показать «создание истории» через людские судьбы — он именно этим и занят. Естественно, что подобный подход предъявляет к пишущему особые требования: помимо знания исторического материала он еще должен разбираться в людях; должен обладать умением связать социальное и личное в одно органичное целое, называемое историческим прошлым... Умение это редкое и, соответственно,

удача в биографическом жанре отнюдь не предопределена; скорее напротив... И мне, специалисту по истории XIX века, для которого Михайло Михайлович Сперанский всегда был в полном смысле этого слова ключевым деятелем эпохи, остается только радоваться тому, что посвященная ему книга В. А. Томсина является несомненной удачей автора.

\* \* \*

Однако прежде чем перейти к характеристике этой незаурядной во многих отношениях книги, мне представляется необходимым сказать несколько слов в продолжение затронутой темы: о месте Сперанского в русской истории — точнее, о его, так метко подмеченной Толстым, неуместности; и в то же время о его несомненной, из ряда вон выходящей значимости. Этой задаче, собственно, посвящена книга Томсина, и, как мне представляется, я ни в коем случае не вхожу в противоречие с уважаемым автором. Мне всего лишь хочется специально выделить то, что может заслужить для читателя в этом чрезвычайно фактурном, богатом материалом произведения.

По-моему, нет сомнения в том, что при всей своей незаурядности, при всей серьезности государственной деятельности, Сперанский остался в истории как фигура из ряда вон выходящая почти исключительно благодаря своему знаменитому сочинению «Введение к Уложению государственных законов», которое в исторической литературе обычно называется «План государственного преобразования» (очевидно, с легкой руки издателей, подготовивших наиболее известную его дореволюционную публикацию в 1905 году<sup>1</sup>). Между тем этот план так и не был осуществлен; он, собственно, не осуществлен до сих пор. И это при том, что общая, так сказать, абстрактная разумность предложений Сперанского очевидна. Причем не только нам. Несмотря на всю ту резко негативную

реакцию, которой встретила план большая часть прочитавших его представителей сановной бюрократии и высшего света, сочинение Сперанского нашло понимание и у современников. Достаточно сказать, что сам Александр I, августейший работодатель Сперанского, поручивший ему разработку плана государственного преобразования, по прочтении выразил автору свое удовлетворение...

Вообще, история создания плана, его негласного обсуждения в верхах (напомню, что знаменитая антитеза плану «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина была опубликована у нас полностью только в 1900 году) и, наконец, крушения преобразовательных стремлений Александра I (а вместе с ними и Сперанского) изучена и изложена в нашей литературе достаточно полно; то же можно сказать и об анализе содержания знаменитого плана<sup>2</sup>. Однако важнейший вопрос о мотивации Александра I, поручившего Сперанскому подготовить план коренного преобразования государственного строя Российской империи, на мой взгляд, до сих пор решался совсем неудовлетворительно; то же можно сказать и о конечных оценках замечательного сочинения Сперанского.

Повторюсь: обращаясь вместе с автором книги к жизни и деятельности М. М. Сперанского, мы сталкиваемся с ключевой фигурой, касаемся одного из важнейших узлов исторического процесса в России. В 1808 году Сперанский получил от Александра I, главы самодержавно-бюрократической системы, державшей население в полном подчинении, задание поистине небывалое: пересмотреть самые основы веками складывавшейся системы. И несмотря на конечную неудачу этой первой серьезной попытки управлять страной иначе, на других основаниях, значение разработанного Сперанским плана трудно переоценить. Пусть пока всё ограничилось словом — но в этом слове, как мне представляется, была несомненная истина: своей привлекательности для нашей страны план Сперанского, по-моему, не утратил до сих пор...

Скажу чуть подробнее. Общие идеи, связанные с вдоворением «законности» в России и привлечением представителей разных слоев населения к этой работе, исследователи обычно — и, на мой взгляд, справедливо — связывают с тем воспитанием, которое получил Александр I, и прежде всего — с влиянием Ф. Лагарпа. «Дней Александровых прекрасное начало», выразившееся в деятельности Негласного комитета, обычно характеризуют как первую попытку реализовать эти идеи на практике. Что, в общем-то, справедливо... Но все же, даже если оценивать эту деятельность всего лишь как попытку подготовить почву для некоего грандиозного преобразования, даже при такой минимальной требовательности к ней, нельзя не признать, что результаты были небогатыми...

Наиболее сильное впечатление своей последовательностью и завершенностью производили министерская реформа и указ о правах Сената 1802 года. Но именно они менее всего были направлены в будущее: в обоих случаях речь шла лишь о дальнейшем совершенствовании привычной для России самодержавно-бюрократической системы управления — той самой, которая создавалась веками. Что же касалось попыток смягчить крепостные отношения и дать начальное образование массе крестьянского населения, то они оказались предельно робки и непоследовательны, хотя именно в этих сферах открывался путь к принципиальным переменам, к выходу страны на новый уровень бытия. Однако принятые меры крепостное право реально не ослабили и грамотных людей в народной среде почти не прибавили...

Иными словами, предложив в 1808 году Сперанскому заняться разработкой преобразований, Александр I, по сути, начал с нуля, сделав первый, по-настоящему серьезный шаг к вожделенной цели. При этом следует реально оценивать ситуацию, в которой этот шаг был сделан, — она хорошо обрисована в книге Томсина. Если первые годы правления Александра характеризовались своего рода эйфорией привилегирован-

ных классов, уставших от непредсказуемости Павла, с безумным стремлением последнего к некоей справедливости, во-дворяющей путем уравнивающего всех произвола, то в это время популярность молодого царя резко падает. Невнятность первых государственных мер и особенно военные поражения в заграничных походах 1805–1807 годов, враждебно встреченныи русским обществом Тильзитский мир — от всех этих неудач очарование, которое поначалу внушал Александр, рассеялось как дым. Недаром зарубежные послы, быть может несколько сгущая краски в донесениях этого времени, не только писали о недовольстве царем, но и предрекали ему судьбу его несчастного отца.

Вот здесь-то и встает вопрос о причинах, заставивших Александра инициировать разработку плана, реализация которого должна была серьезно изменить и государственный строй, и общий строй жизни в России. Вопрос, принципиально важный: кому, как не нам, россиянам, доискиваться до причин, рождающих серьезные и к тому же благие перемены?..

Между тем в большинстве работ, посвященных этой эпохе, ответдается банальный до оскомины: появление плана государственного преобразования объясняется не более чем испугом Александра I за свое царское положение — «царь испугался, издал манифест...». Характерно, что этот тезис, выдержаный в духе ленинских заявлений о том, что царская власть идет на уступки только с большого испуга, мы встречаем уже в известном дореволюционном «Курсе истории России XIX века» либерального и очень основательного историка А. А. Корнилова: «...Александр, которого смущала все усиливающаяся в обществе оппозиция, в видах успокоения общества решил возобновить свои прежние заботы об улучшении управления Россией, рассчитывая вернуть таким образом прежнее сочувствие к себе общества»<sup>3</sup>. Более чем через полвека этот тезис повторяется в другом — и тоже, в целом, очень достойном обобщающем курсе лекций советского историка С. Б. Окуния:

«...В 1808 г. Александр... вновь вынужден был стать на путь реализации либеральных реформ... Теперь, когда недовольство охватило более широкий круг населения, проекты реформ, естественно, должны были носить более радикальный характер»<sup>4</sup>. Как видим, лексика различная, мысли сходные: Александр затеял все это дело для того, чтобы «успокоить»: по Корнилову — «общество», по Окунию — некий «более широкий круг населения».

Естественно, встает вопрос о том, кто скрывается за этими не совсем ясными терминами; кого конкретно мог опасаться всемогущий русский царь? Очевидно, вспоминая и отцовскую горькую судьбу, и другие трагические эпизоды эпохи дворцовых переворотов, Александр, если должен был кого опасаться, то в первую очередь своих приближенных — сановников, представителей высшего света, офицеров гвардии; в перспективе — очень отдаленной, по-моему, — всего поместного дворянства в целом. Основная масса населения страны, многоомиллионное крестьянство, едва ли вообще заметила, что Екатерину сменил Павел, Павла — Александр... Горожане — мещане, купечество — были чуть более «политически грамотны», но кто и когда в самодержавной России XVIII–начала XIX века принимал во внимание интересы людей, составлявших незначительный процент населения и абсолютно лишенных возможности влиять на положение дел в государстве? Выходит, что Александром двигало стремление «успокоить» именно привилегированных, с большим сомнением отнесшихся к его первым робким преобразованиям и недовольных прежде всего неудачами царя во внешней политике и их последствиями — Тильзитским миром и сближением с наполеоновской Францией. Общим же положением дел в России они — представители бюрократии и дворянства — не могли быть недовольны, потому что это положение — самодержавно-бюрократический строй, система крепостных отноше-

ний — веками отрабатывалось именно под них, с учетом прежде всего их интересов. Если кто и снимал пенки со своеобразного устройства русской жизни, то это именно они — чиновник и помещик. И вот теперь им в утешение царь повелевает начать разработку плана, направленного на «коренные перемены»...

Даже если не входить в детали этого плана, очевидно, что подобное объяснение — нонсенс. Для высших сановников, выражавших интересы бюрократии в целом, серьезные изменения существующего строя могли означать лишь умаление их власти. «Благородное дворянство», которому правительство в XVIII веке с головою выдало крестьян, превратив массу трудового населения России в безгласное быдло, и представило максимум возможного влияния на местах — через корпоративные дворянские собрания, выборы уездной администрации, могло мечтать, пожалуй, только об одном: о непосредственном влиянии на верховную власть. Для этого нужно было создать чисто сословный дворянский орган — что-то вроде общероссийского дворянского собрания, поставив в зависимость от него царя и правительство. Наиболее «продвинутые» дворянские идеологи работали над этой идеей и в XVIII веке, и позже, но совершенно очевидно, что не они делали погоду: основная масса поместного дворянства охотно предоставляла царю самодержавную власть за «чечевичную похлебку» — возможность жать все соки из крепостных и чувствовать себя хозяевами положения на местах. Тем более ни малейшего интереса у них не мог вызвать план, предлагавший привлечь к решению местных и общегосударственных дел представителей разных слоев населения, что могло означать для поместного дворянства только одно — потерю части своих привилегий.

Согласитесь — очень странный план «успокоения»... Известно, какую резко отрицательную реакцию в верхах вызвал

созданный Сперанским документ, в котором, судя по всему, были предельно скрупулезно и основательно разработаны общие пожелания самого Александра; известно, с каким восторгом была принята здесь знаменитая «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, отношение которого к предложениям Сперанского легко укладывается в одну-единственную фразу: «Кому всё это нужно?». Конечно, царь мог не ожидать — и, очевидно, не ожидал — взрыва негодования подобной силы; но неужели он и в самом деле рассчитывал на восторги своего окружения и тех, кто стоял за ним, предлагая «коренные перемены» людям, благополучие которых зависело чуть ли не в первую очередь от незыблемости самодержавно-бюрократического строя? Для этого нужно было быть либо неумным человеком, либо неисправимым романтиком... При всей своей мечтательной увлеченности «высокими» идеями Просвещения Александр I не был ни тем, ни другим.

Мне представляется, что вся эта история с «Планом государственного преобразования» была смелым и рискованным экспериментом — пусть и проведенным на чисто теоретическом уровне. Причем на эксперимент этот верховная власть в лице заказчика — Александра, и исполнителя — Сперанского пошла не из желания кому-то угодить и кого-то успокоить, а из государственных соображений высшего порядка. Мне представляется, что заявления о стремлении «ограничить деспотизм», которые в начале своего правления неоднократно делал Александр I, порождались не столько «возвышенными мечтаниями» в духе уроков Лагарпа, сколько ясным и вполне разумным сознанием проблем, реально существовавших в Российском государстве.

После восшествия на престол Александр I как человек, тонко чувствовавший ситуацию, все яснее должен был осознавать пороки самодержавного строя. Если даже счесть его замечания относительно деспотизма безответственной бюро-

кратии по отношению к массе населения сугубо демагогическими — что, я думаю, было бы совсем неверно, — то ведь у системы, господствовавшей в России, были такие черты и качества, которые угрожали уже не народным, а собственным интересам Александра как главы государства. В условиях резкого падения своей популярности царь неизбежно должен был поразмыслить о том, почему заговоры и перевороты стали обычным, почти заурядным явлением в России именно после того, как в начале XVIII века Петр I своими реформами обеспечил полную и окончательную победу самодержавно-бюрократическому строю...

Ответ, как мне представляется, напрашивался: концентрация всей возможной власти в одних руках порождала соблазн эту власть свергнуть. Дворцовые перевороты идут один за другим именно тогда, когда власть сосредоточивается в одних руках, в одном тронном зале.

На первый взгляд, самодержавный строй, к которому Россия пришла в XVIII веке, был воплощенным идеалом для ее правителей: вся власть в твоих руках, никто и ничто тебе не помеха, управляй, как хочешь! Но любой самодержец по неизбежности вынужден был управлять, опираясь на тех, кто «толпился у трона», на тех, кто составлял серьезную социальную силу... Бюрократы-сановники, высший свет, гвардия плотным кольцом охватывали главу государства; на местах представители верховной власти тоже надежно были «окольцованы» поместным дворянством. Вся прочая Россия терялась за этим средостением... Чиновник и дворянин-помещик были определяющей силой в России, и если этой силе нечего было противопоставить, то глава государства неизбежно попадал в самую серьезную зависимость от нее. Он вынужден был управлять, считаясь с теми, кто окружал его в столице, с теми, кто оказывал давление на власть на местах. Иначе...

Екатерина, бабка Александра, отлично понимала, что скрывается за этим «иначе», и потому раздавала направо и налево в помещичьи руки сотни тысяч десятин земли вместе с государственными крестьянами, жаловала дворянству всё новые привилегии, а его избранным представителям «во власти» — чины и ордена, нередко за заслуги весьма сомнительные, старательно закрывая глаза на явные, вопиющие злоупотребления.

Павел же, отец Александра, у которого при всей его взбалмошности было искреннее стремление к порядку и справедливости (пусть и очень своеобразно понимаемым), пытался с этими злоупотреблениями бороться — и был убит гвардейскими офицерами — дворянами, возглавляемыми одним из высших сановников империи!.. Когда вся власть оказалась сосредоточенной в одних руках, когда один-единственный человек стал нести ответственность за все, что происходило в стране, у недовольных, которых хватает при любом порядке, появился страшный соблазн: изменить положение дел «к лучшему» одним ударом — табакеркой, вилкой, чем угодно.

Обойтись без сановников, придворных, гвардии, лишить дворянство влияния на местах Александр I, конечно же, не мог, да и не собирался. Но хорошо затвердив азы просветительства, молодой царь знал, что в теории эту опасную своей косной мощью силу можно — и нужно! — уравновесить другой, отличной от нее в принципе. Для стабилизации государственного строя следовало попытаться привлечь к управлению страной и в центре, и на местах выборных представителей разных слоев населения, которые работали бы не на верховную власть, а на это население: в отличие от чиновников-бюрократов, назначаемых сверху, выборные должны были бы в своей деятельности принимать во внимание прежде всего пожелания тех, кто их выбрал. На местах — в волостях, уездах и губерниях — выборные аккумулировали бы сведения о

насущных нуждах населения; в центре, в тесном сотрудничестве с верховной властью, принимали бы участие в совершенствовании законодательства, исходя из этих нужд.

Помимо того, что подобная система оживила бы местную жизнь и придала бы законодательной работе более органичный характер, она могла бы стать надежной опорой верховной власти, обеспечив ей большую самостоятельность и независимость по отношению как к бюрократии, так и к корпоративным дворянским собраниям. В самом деле власть, опирающаяся на сотни органов самоуправления, разбросанных по всей России, имеющая за собой выборный законодательный орган, — такая власть приобрела бы стабильность и внутреннюю силу, немыслимую при самодержавно-бюрократическом строе. Ее уже нельзя было бы ликвидировать одним ударом — убийством, заговором, дворцовым переворотом...

Таким образом, Александр, как мне представляется, в этот действительно тяжелый период своего правления думал поначалу не о том, как угодить сановникам, придворным, дворянству, а о том, как достойно *противостоять* им, перестав быть заложником привилегированных. Создание системы местных дум, увенчанной законосовещательным органом в центре, как будто позволяло ему решить эту проблему. В теории, во всяком случае...

Вот в этой-то оговорке как раз и крылись основные причины, породившие трагический характер русской истории — во всяком случае, истории XIX—начала XX веков. Ведь то, о чем на уровне общих соображений размышлял Александр I, было вполне разумно, а следовательно — своевременно. И характерно, что В. А. Томсинов — в отличие от процитированных выше авторов — в главе, посвященной работе Сперанского над «Планом государственного преобразования», тонко и убедительно показывает именно своевременность стремлений Александра I к ограничению «произвола бюрократии».

И столь же убедительно и верно говорит о том, что делало ситуацию почти безвыходной: об «основном противоречии в русском обществе — противоречии между настоятельной необходимостью в новом общественно-политическом устройстве и отсутствием для данного устройства соответствующего человеческого материала». Мне кажется, по этому поводу можно сказать еще более резко и отчетливо: в России начала XIX века не было социальных сил, на которые можно было бы опереться в проведении в жизнь преобразований, необходимых для спокойного и последовательного развития страны. Те, кто представлял собой серьезную силу, не желали никаких серьезных перемен; те, кому эти перемены в принципе пошли бы на пользу, были темны, невежественны, раздроблены, бессильны...

В такой ситуации самый разумный, максимально тщательно продуманный и убедительный план преобразований был обречен на неудачу. Мало того, чрезвычайно трудно было найти человека, готового пойти на риск и взяться за работу, которая так серьезно затрагивала интересы привилегированных. На счастье Александра I, у него был Сперанский... Можно сказать с уверенностью, что и сама идея пойти на разработку плана пришла к Александру именно потому, что рядом с ним находился человек, идеально подходивший на роль камикадзе...

\* \* \*

Книга, предложенная вниманию читателей, в значительной степени адекватна личности ее главного героя. Автор счастливо сочетает в себе прекрасное знание материала, превдально добросовестное отношение к своему делу и живое восприятие истории. Последнее вообще встречается нечасто...<sup>5</sup>

Мне представляется, что эта книга достойно продолжает ряд немногих по-настоящему добротных биографий М. М. Спен-

ранского. В этот ряд я, собственно, включил бы лишь две довоенные работы: прежде всего, труд М. А. Корфа, в котором, при всей его официальной велеречивости, впервые был собран и систематизирован основополагающий исторический материал по М. М. Сперанскому; и суховатую, сдержанную, но в то же время очень дальную книгу А. Э. Нольде, совсем недавно ставшую известной российскому читателю<sup>6</sup>.

Пусть чтение произведения В. А. Томсина и требует некоторых усилий: оно так густо замешено на богатом фактическом материале, что при первом подходе производит впечатление чуть монотонное; некоторые размышления автора, впрочем всегда интересные, в свою очередь, могут показаться излишне отвлеченными... Но, право же, постижение этого текста стоит затраченных усилий. Материал, с которым умело работает автор, позволяет ему вылепить очень выразительный образ своего героя, последовательно вписав его в эпоху; размышления и рассуждения в конечном итоге преследуют ту же цель.

Как мне представляется, автору в большей степени, чем его предшественникам, удалось показать и трагизм судьбы Сперанского, и всю значимость этой судьбы в русской истории. Сперанский — государственный деятель, во многих отношениях близкий к идеалу, умный, образованный, предельно ответственный, имевший поначалу безоговорочную поддержку самого царя, оказался бессильным изменить уродливое устройство русской государственной жизни. Все его многочисленные таланты обратились ему во вред, вызывая неуважение и восторг, а злобу и ненависть. Сперанский, с его предельным рационализмом, с его искренней верой в творящую силу разума, был воспринят как темная, разрушительная сила... Сперанский-реформатор оказался в этой стране чужим и одиноким; своим, предельно органично вписывающимся в российский истеблишмент того времени, был здесь главный

оппонент Сперанского, признанный гений консервативной мысли Н. М. Карамзин, отказывавший России в праве на какие бы то ни было серьезные перемены, а следовательно — на развитие... Награды, почести и уважение в полной мере пришли к Сперанскому лишь при Николае I, когда он со свойственным ему блеском провел систематизацию российских законов — тех самых, на основе которых базировалась господствующая самодержавно-бюрократическая система.

2005

# ЦАРЬ И СТАРЕЦ

Помер же у нас православный царь,  
Царь Александр Павлович...  
Ты восстань-ка, пробудись, православный царь,  
Погляди-ка, посмотри на нас, горьких...

*Из народной песни*

## СТАРЕЦ

4 сентября 1836 года у сельской кузницы в окрестностях города Красноуфимска, что в Пермской губернии, был задержан пожилой, лет шестидесяти, мужчина, просивший подковать лошадь. Кузнецу, завязавшему с ним беседу, бросилось в глаза, что потрепанная крестьянская одежонка на плечах приезжего никак не подходит к его холеному лицу и рукам, к барским манерам и сдержанной изысканной речи; к тому же на все обычные в таких случаях вопросы — куда, зачем, как звать и прочее — странный путник отвечал неохотно и уклончиво. Мужики, собравшиеся у кузницы, согласились с подозрениями ее хозяина — и всей толпой повлекли незнакомца в земской суд для выяснения личности.

В суде, на допросе неизвестный заявил, что «родопроисхождения» своего он не помнит; назывался «Федором Козьминым, сыном Козьминым же»; объявил, что вероисповедания он православного, неграмотен, холост. Официальное освидетельствование установило следующие приметы: «рост 2 арш. 6½ верш., волосы на голове и бороде светлорусые с проседью, нос и рот посредственные, глаза серые, подбородок круглова-

тый; от роду имеет не более 65 лет; на спине есть знаки от наказания кнутом или плетьми». Суд, в свою очередь, приговорил Федора Козьмича как «бродягу, родства не помнящего» к двадцати ударам плетью и ссылке в Сибирь на поселение.

Наказание это соответствовало тогдашним законам. В то же время, и на следствии, и на пути в Сибирь, и на месте ссылки — в Томской губернии — разнообразное начальство, которое на Руси, как правило, к сантиментам не склонно, проявляло к своему подопечному некоторую мягкость и снисходительность; очевидно, даже толстокожие чиновники ощущали, что имеют дело с необычным бродягой... В Томской губернии Федору Козьмичу была предоставлена известная свобода в выборе местожительства, и он менял его неоднократно: несколько лет жил на казенном Красноречном заводе, затем в деревне Зерцалы и ее окрестностях; уходил на золотые прииски; надолго обосновался во владении богатого иуважаемого краснореченского крестьянина Ивана Гавриловича Лобышева; наконец, в 1860 году поселился в нескольких верстах от Томска, на заимке купца Семена Феофановича Хромова, где и жил до самой кончины.

Все эти переезды вызывались прежде всего стремлением к уединению, которое каждый раз оказывалось недоступным для Федора Козьмича: он пользовался огромной, постоянно растущей популярностью, которая всякий раз настигала его на новом месте. Очень скоро после своего водворения в Сибирь этот «бродяга, родства не помнящий» стал для окружающих «благодатным старцем», к которому со всех сторон стремились за советом и поучением. Поначалу Федора Козьмича осаждали крестьяне соседних деревень, затем в его скромном жилище все чаще стали появляться томские купцы, мещане и чиновники; приезжали гости и из куда более далеких краев...

Уже одним своим необычным благостным видом Федор Козьмич очаровывал посетителей. Это был высокий широко-

плечий статный старик с белым красивым лицом; высокий залысый лоб, на котором почти не видно было морщин, и проницательный, немного суровый взгляд больших серых глаз, свидетельствовавший о спокойном ясном уме, кудрявые мягкие волосы на висках и затылке, длинная, вьющаяся седая борода — все это придавало Федору Козьмичу обличие почти иконописное... Одежду старца всегда составляла длинная, ниже колен, белая холщовая рубаха, подпоясанная тонким ремешком, и такие же порты; сверху он иногда надевал черный кафтан, зимой же накидывал на плечи старую облезшую доху.

Образ жизни старца вполне соответствовал его предельно скромной одежде. Обстановка всех его келий была одна и та же: стол, лежанка, два-три стула. На стене висели гравюры религиозного содержания: икона Божией Матери и Александра Невского, портреты некоторых духовных лиц; на столе лежало Евангелие, Псалтырь, молитвенник... Вставал старец очень рано и значительную часть дня проводил коленопреклоненным — в молитвах и размышлениях (при посмертном освидетельствовании тела Федора Козьмича на коленях были обнаружены толстые мозоли). Пища его была самая скучная: сухари и вода. При этом он, однако, не отказывался от угощения рыбой и даже мясом. Одной из своих восторженных почитательниц он как-то сказал: «Я вовсе не такой постник, за какого ты меня принимаешь...».

Заметно тяготясь посетителями, которых с каждым годом все прибывало, Федор Козьмич, тем не менее, редко отказывался от беседы с ними. В разговоре он обычно держался спокойно и строго, принимал гостя всегда стоя или прохаживался по келье, заложив руку за пояс — «по-военному»; выслушивал собеседника внимательно, слегка наклонившись вперед, — был глуховат... За советами к нему обращались по самым различным поводам. Крестьяне, например, сразу же оценили, что старец не только хорошо понимает нужды и хлопоты землемельца, но и относится к ним с большим уважением. Указания

Федора Козьмича о времени сева, выборе земли под пашню, огородных работах принимались всегда почтительно и, судя по тому, что авторитет старца в крестьянской среде рос постоянно, давали благие результаты. Часто к старцу обращались с семейными делами, искали у него поддержки в тяжелые минуты жизни. Наставления Федора Козьмича всегда были серьезны и кратки, однако в подобных случаях он нередко предпочитал выражаться «прикровенно», прибегал к иносказаниям с тем, чтобы склонить страждущего к духовной работе, заставить его самого найти единственно правильное решение... Иногда старец пускался и в отвлеченные рассуждения: бывавшие у него посетители вспоминали впоследствии, что «уча уважать власть», Федор Козьмич в то же время постоянно внушал мысль об изначальном равенстве: «И цари, и полководцы, и архиерей — такие же люди, как и вы, только Богу угодно было одних наделить властью великою, а другим предназначить жить под их постоянным покровительством».

Многих из тех, кто приезжал к нему, старец интересовал совершенно бескорыстно, сам по себе, как явление «чудное, необычное». Иногда, если его удавалось разговорить, подобное любопытство вознаграждалось с лихвой. Особенно благодарной темой для беседы оказывалась Отечественная война; говоря о событиях того времени, старец, по словам очевидца, «как бы перерождался: глаза его начинали гореть ярким блеском, и он весь ожидал; сообщал же он такие подробности, вдавался в описание таких событий, что как бы сам переживал давно прошедшее время». Незаметно для себя, увлекшись рассказом, старец нередко поражал слушателей и столь же глубоким знанием высшего света, придворных кругов, правящей бирократии. Создавалось впечатление, что он посвящен во многие интимные подробности жизни и деятельности таких знаменитых на рубеже XVII–XIX веков людей, как граф Аракчеев, митрополит Филарет, Суворов, Кутузов... Только о царе Павле Петровиче он не заговаривал никогда; да и имя

царя Александра Павловича редко мелькало в его рассказах...

Конечно же, вопрос о том, кто такой «сей благодатный старец», живо интересовал всех его многочисленных почитателей. Сам Федор Козьмич всячески избегал говорить о своем происхождении, о своей предыдущей, *иной* жизни. Так, на осторожную просьбу одного посетителя назвать имя родителей — чтобы можно было за них помолиться — старец строго отвечал: «Это тебе знать не нужно: святая Церковь за них молится. Если открыть мне мое имя, меня скоро не станет... И если бы я при прежних условиях жизни находился, то долголетней жизни не достиг бы». На прямой вопрос своего последнего хозяина Хромова, который в предчувствии близкой кончины тяжело заболевшего старца просил его открыть свое настоящее имя, последовал еще более решительный и лаконичный отказ: «Нет, это не может быть открыто...».

За долгие годы своего пребывания в Сибири Федор Козьмич лишь изредка, под воздействием нахлынувших чувств и воспоминаний, позволял себе коснуться запретной темы. Так, А. С. Оконишникова, дочь Хромова, вспоминала впоследствии, как однажды, погожим солнечным днем они с матерью отправились на заимку навестить своего постояльца и застали его на прогулке. Старец был задумчив; поздоровавшись с гостями, он неожиданно сказал: «Вот, паннушки, в такой же прекрасный день отстал я от общества. Где был и кто был, а очутился у вас на поляне...». Были у Федора Козьмича две знакомые старушки-ссыльные, пришедшие с ним в Сибирь в одной партии. Обычно 30 августа они приготовляли нехитрое крестьянское угождение, и старец проводил с ними весь этот праздничный день — день поминовения Александра Невского. И вот здесь в приподнятом настроении он вспоминал иногда: «Какие торжества были в этот день в Петербурге! Стреляли из пушек, развешивали ковры, вечером по всему городу было освещенье!..»

В связи со всем прочим — благородным видом старца, его изысканными манерами и совершенно невероятными для простого человека сведениями — подобные оговорки, которые почитатели Федора Козьмича ловили на лету, лишний раз убеждали в том, что в Томскую губернию он попал «с самых вершин». Это убеждение еще больше укреплялось рассказами о посещении старца людьми необычайными — либо заведомо важными, либо таинственными... Не раз навещал старца Афанасий, епископ Иркутский. Очевидец так описывал сцену их первой встречи в селе Краснореченском, когда Афанасий сам пригласил к себе Федора Козьмича; «Владыка вышел встретить его на крыльцо. Выйдя из одноколки, старец Федор поклонился архиерею в ноги, а владыка старцу, причем они взяли друг у друга правую руку и поцеловались, как целуются между собою священники. Затем преосвященный, уступая дорогу старцу, просил его идти вперед, но старец не соглашался; наконец владыка взял старца за правую руку, ввел его в горницу, где раньше сам сидел, и начал с нимходить, не выпуская его руки, как два брата. Долго они так ходили, много говорили даже не по-нашенски, не по-русски, и смеялись. Мы тогда удивились, кто такой наш старец, что ходит так с архиереем и говорит не по-нашенски».

Вышеупомянутая А. С. Оконишникова вспоминала, как видела старца, провожающего из кельи двух гостей: «молодую барыню и офицера в гусарской форме, похожего на покойного наследника Николая Александровича»<sup>1</sup>. При прощании гусар поцеловал у старца руку... Вернувшись, Федор Козьмич с сияющим лицом сказал: «Деды-то как меня знали, отцы-то как меня знали, дети-то как меня знали, а внуки и правнуки вот каким видят».

Подобные загадочные посещения не прекратились и после смерти старца. Он умер в 1864 году и был похоронен в ограде томского Алексеевского монастыря; надпись на его могиле гласила: «Здесь погребено тело Великого Благосло-

венного старца, Федора Козьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года» (характерно, что слова «великого, благословенного» были впоследствии замазаны белой краской по приказу губернатора Мерцалова). И могила эта пользовалась большим почетом не только у местного населения... Житель Томска Н. И. Зайков рассказывал, как в течение первого года после смерти старца к нему несколько раз обращались незнакомые, но явно важные лица «военного сословия», прошли показать могилу и долго, на коленях молились перед ней... Известно, что позже эту могилу посещали некоторые члены царствующего дома: великий князь Алексей (брать вышепомянутого Николая Александровича) и последний царь, Николай II, — во время поездки по Сибири, которую он совершил в 1893 году, еще будучи наследником престола. В конце XIX века видный сановник, член Государственного совета М. Н. Галкин-Брасский, своим иждивением поставил над могилой часовню.

Как ни скрывал старец свое прошлое, запретить строить догадки на этот счет было не в его силах. Еще при жизни Федора Козьмича имя его окутала легенда. После же его смерти томский губернатор мог сколько угодно густо замазывать облазнительную надпись на его могиле, а грозный обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев рассыпать специальные циркуляры, мобилизующие сибирское духовенство на борьбу с вредными слухами, — легенда эта распространялась все шире, становилась все популярнее. Из множества устных рассказов и некоторых публикаций в печати постепенно складывалось своеобразное житие старца, причем почти все многочисленные авторы его предлагали одно-единственное решение волнующей всех загадки...

Пожалуй, самым трогательным и интересным из рассказов о том, как приходили к этому решению различные лица, является удивительная, на сказку похожая запись воспомина-

ний некой Александры Никифоровны, которая еще молодой девицей стала воспитанницей старца. Федор Козьмич заразил ее своей верою, увлек рассказами о монастырях и лаврах и в 1849 году благословил на дальний путь — на богомолье в Россию. Александра Никифоровна со множеством приключений, но вполне благополучно пропутешествовала через пол-империи и добралась в конце концов до Почаевского монастыря, особенно почитаемого старцем. Здесь она отыскала «добрую графиню» и не менее доброго графа Остен-Сакенов, на которых ей указал старец как на людей, радушно принимающих странников. Остен-Сакены увезли молодую богомолку к себе, в Кременчуг, где ей суждено было встретиться с самим императором Николаем I, приехавшим навестить своего любимого военачальника. Молодая сибирячка понравилась царю, и он с удовольствием с ней беседовал: «Много кое о чем расспрашивал царь, — вспоминала впоследствии Александра Никифоровна, — и все я ему спроста-то пересказывала, а они (государь и граф) слушают да смеются. Вот, говорит государь Остен-Сакену, какая у тебя смелая гостья-то приехала. — А чего же мне, говорю, бояться-то, со мною Бог, да святыми молитвами великий старец Федор Козьмич... Граф только улыбнулся, а Николай Павлович как бы насупился...».

В 1852 году Александра Никифоровна, наконец, вернулась в родные места. Старец встретил ее с большой радостью и тут же приступил к расспросам. «...И все-то я рассказала ему, где была, что видела и с кем разговаривала; слушал он меня со вниманием, обо всем расспрашивал подробно, а потом сильно задумался. Смотрела, смотрела я на него, да и говорю ему спроста: „Батюшка, Федор Козьмич, как вы на императора Александра Павловича похожи“. Как я только это сказала, он весь в лице изменился, поднялся с места, брови нахмурились, да строго так на меня: „А ты почем знаешь? Кто это тебя научил так сказать мне?“ Я и испугалась. — Никто, говорю, ба-

тюшка, — это я так спроста сказала; я видела во весь рост портрет императора Александра Павловича у графа Остен-Сакена, мне и пришло на мысль, что вы на него похожи, и так же руку держите, как он». Услышав это, старец молча вышел из комнаты и, как видела рассказчица, заплакал, утирая рукавом слезы...

На страницах «жития» Федора Козьмича, в котором сейчас невозможно почти отличить правду от вымысла, подобных узнаваний множество; при этом узнают царя обычно даже не по портретам, а по своим собственным воспоминаниям. Ссыльный — в прошлом дворцовый истопник — бежит к старцу «попросить молитвы» о больном товарище и — валится в обморок, увидев хорошо знакомого ему Александра «со всеми его отличительными, характерными признаками, но только уже в виде седого старца...». Другой ссыльный — солдат — падает перед узнанным царем на колени; еще один солдат — на этот раз отставной — отдает старцу честь по-военному (обоих служивых царь просит «никому не говорить, кто он», но, как видим, вполне безуспешно...). Наконец, некая «чиновница Бердяева» также теряет сознание при виде Федора Козьмича, после чего он в сердцах говорит Хромову: «Не пропускайте сюда эту женщину...».

Так складывалось предание о том, что под именем старца Федора Козьмича скрывается царь Александр I, по официальным сведениям, скончавшийся 19 ноября 1825 года в возрасте 48 лет... На первый взгляд это может показаться дикой и беспочвенной фантазией, о которой нельзя говорить всерьез. Однако в конце XIX—начале XX веков фантазия все в большей степени приобретает черты научной гипотезы. У нее появляются убежденные сторонники, которые пытаются придать ей необходимую доказательность, и решительные противники — причем обе точки зрения складываются в результате исследовательской работы над многочисленными и разнообразными источниками.

Однако прежде чем погрузиться в эту весьма ожесточенную дискуссию и получить возможность самим взвесить все «за» и «против», нам необходимо познакомиться с царем так же, как только что мы познакомились со старцем, и решить для себя: возможно ли в *принципе* ставить вопрос об идентичности этих, казалось бы, невообразимо далеких друг от друга людей?..

## ЦАРЬ

12 декабря 1777 года у великого князя Павла, наследника российского престола, родился сын, получивший имя в честь святого Александра Невского... Бабка новорожденного, императрица Екатерина, приложила немало сил, чтобы воспитать внука-первенца в духе любезного ей в те времена Просвещения. С этой целью был специально подобран штат учителей и воспитателей, наиболее яркой фигурой среди которых был швейцарский гражданин Фредерик Сезар де Лагарп. Это был человек образованный, проникнутый идеями просветительской философии, отличавшийся редкой честностью и серьезным до педантизма отношением к своему делу. Он пришелся по сердцу умному восприимчивому мальчику, быстро нашел с ним общий язык и сумел заразить будущего императора своими мыслями и чувствами. Александр заслушивался красноречивого учителя, когда тот толковал ему о добродетелях, присущих просвещенным правителям, и о пагубе деспотизма; убедительно и доходчиво разъяснял, сколь важную роль в управлении страной играют разумные, обязательные для всех законы; настойчиво внушал мысль о необходимости улучшить положение народа... Но даже расположенные к Лагарпу современники отмечали отсутствие в нем творческого начала, доктринерство и полную отвлеченность его рассуждений. Эти качества любимого педагога, в свою очередь, не могли не ска-

заться на ученике: Александр не за страх, а за совесть воспринял от Лагарпа «высокие стремления»; но швейцарский гражданин, конечно же, не мог дать будущему царю ни малейшего представления о той стране, которой ему предстоит управлять. «Добродетели», «законы», «народ» и пр. — так и остались для Александра совершенно абстрактными понятиями.

Между тем, по мере того, как великий князь взросел, ему все чаще приходилось сталкиваться с российской действительностью, и она раскрывалась перед ним отнюдь не с казовой стороны. И пусть впечатления Александра ограничивались только самой высшей, придворной сферой — их хватило для того, чтобы вызвать смятение в юной душе... Правление стареющей императрицы все в большей степени теряло тот флер внешней цивилизованности, «просвещенности», который поначалу так очаровывал современников, в том числе и серьезных европейских мыслителей. Деспотическая суть екатерининского режима становилась все очевидней: не «положительные законы», а произвол самой царицы и ее наглых фаворитов определяли государственную политику; высшие сановники, теряя не только совесть, но и осторожность, стремились урвать из казенных средств кусок пожирнее; при дворе открыто воцарились разврат, ложь, лицемерие, самый отвратительный клиентизм...

Столкнувшись с этой жуткой явью, Александр, очевидно, был жестоко разочарован: жизнь оказывалась невероятно далекой от тех прекрасных принципов, которые внушались ему с детства. Более того, всегда нуждавшийся в духовной поддержке, Александр искал и не находил в своем окружении тех, кто разделял бы его мечты и надежды... Адам Чарторыйский, польский аристократ, находившийся в Петербурге на положении заложника, казалось, был Александру совершенно чужим, почти незнакомым человеком; но великий князь почувствовал в гордом поляке «своего по духу» — этого оказалось достаточно, чтобы открыть перед ним сердце. «Великий князь, —

вспоминал Чарторыйский, — сказал мне, что он нисколько не разделяет воззрений и правил Екатеринина двора; что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее принципы... Он сознался мне, что не навидит деспотизм повсюду, во всех проявлениях, что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за французской революцией...»

Жить с такими взглядами в Зимнем дворце было нелегко... К тому же Александр постоянно бывал и в Гатчине — своеобразном «уделе», выделенном царицей Павлу, своему полуопальному наследнику, весь образ жизни которого определялся бесконечной муштрай небольшого гатчинского войска. Юноше поневоле приходилось лавировать между отцом и бабкой, павловской казармой и развращенным двором Екатерины. Именно в эти годы в характере будущего императора стали проявляться те черты — скрытность, недоверчивость, изменчивость в отношении к окружающим, — которые впоследствии позволяли называть его «византийцем» и «загадочным сфинксом», обвинять в коварстве и лицемерии...

После смерти Екатерины положение Александра осложнилось еще больше. Если у Екатерины и были планы отстранить сына-ненавистника от престола и короновать любимого внука, то они остались втуне; в 1796 году Павел стал российским императором. Поначалу его политика определялась стремлением разрушить, переделать то, что было сделано покойной царицей; затем она вообще стала утрачивать смысл... Стремясь к единоличной, в полном смысле этого слова, власти, Павел все важнейшие государственные дела поставил в зависимость от своей несдержанной, взбалмошной, деспотичной натуры. В письме, с величайшей осторожностью доставленном покинувшему Россию Лагарпу, его воспитанник так характеризовал отцовскую «систему»: «...Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Су-

ществует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот. Невозможно передать все те безрассудства, которые совершились здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах...».

К самому Александру отец относился с враждебной подозрительностью и не щадил его чувств: тирианил сына, оскорблял публично, вынуждал принимать участие во многих жестоких, иногда страшных делах. Более того, Павел, следуя здесь за проклинаемой матерью, готов был отстранить от престола законного наследника: почти открыто он подыскивал сыну «замену» среди своей немецкой родни... Страх за свое будущее, более того, за свою жизнь заставил Александра примкнуть к заговору против отца. Но несправедливо забывать и о другой, может быть, не менее весомой для Александра причине: он был твердо убежден, что отец губит Россию; он искренне верил, что, сменив на троне Павла, сможет спасти страну, направить развитие ее по единственному верному пути. Участие великого князя в заговоре облегчалось и тем, что носило пассивный характер: Александру полагалось молчать и быть готовым взойти на освободившийся престол... Очевидно, он надеялся и на то, что переворот обойдется без кровопролития, хотя, зная его организаторов и, прежде всего, графа Палена — человека холодного, решительного и безжалостного, рассчитывать на это было весьма наивно. Переворот 11 марта 1801 года завершился убийством Павла; Александр же принял на душу страшный, непростительный грех отцеубийства... Придя в себя после первого шока, молодой царь горячо принял за государственные дела — только «блаженство подданных», к которому он так искренне стремился, могло оправдать его перед историей, перед Богом, перед самим собой...

В письме к Джейферсону Александр писал: «Я не имею иллюзий относительно размеров препятствий, стоящих на

пути к восстановлению порядка вещей, согласно с общим благом всех цивилизованных наций...» Что это за препятствия, было очевидно: во-первых, деспотизм власти, обрекавший страну на постоянные злоупотребления и произвол; во-вторых, крепостное право, превращавшее основную массу подданных русского царя в безгласный рабочий скот. Именно с реформ в этих сферах Александр и начал свое царствование, окружив себя «молодыми друзьями» — теми немногочисленными приближенными, в которых он встречал, как в Чарторыйском, искреннее сочувствие своим преобразовательным стремлениям. Старые сановники честили молодых реформаторов «якобинской шайкой», с подозрением присматривались и к самому Александру... До «революционных ужасов» дело, однако, не дошло. В эти годы было упорядочено центральное управление, созданы министерства, ясно определены функции Сената; отложена взаимосвязь между центром и органами управления на местах; организован — через Сенат — общий контроль над деятельностью госаппарата. Вся эта система мер была, очевидно, вполне уместна в стране, пережившей неурядицы последних лет царствования Екатерины и произвольно-деспотическое правление Павла. Но в этих реформах почти не прослеживалось влияние тех *принципиально новых* идей законности, гарантий прав населения и пр., которые так воодушевляли юного Александра на уроках Лагарпа, в сочувствии которым он признавался Чарторыйскому... Напротив, преобразования эти все больше укрепляли существующий строй, став своеобразным итогом многовековых усилий власти по устроению самодержавно-бюрократической государственности в России. Что же касалось смягчения крепостного права, то здесь были достигнуты лишь самые скромные результаты: указ о вольных хлебопашцах 1803 года, предлагавший освобождать крестьян с землей за выкуп, носил рекомендательный характер: во главу угла была поставлена добрая воля хозяев-помещиков, которые в подавляющем

большинстве своем не собирались расставаться с даровой рабочей силой.

Второй «приступ» к реформам Александр осуществил в 1808–1811 годах после неудачных войн с Наполеоном, завершившихся тяжелым для России Тильзитским миром. В это время его главным и, по сути, единственным сотрудником, более того, доверенным лицом стал М. М. Сперанский, который со свойственными ему четкостью и обстоятельностью воплотил благие, но туманные пожелания императора в грандиозный «План государственного преобразования». Суть плана была в том, чтобы наряду с бюрократической системой управления, формирующейся путем назначения сверху вниз и проводящей в жизнь повеления центральной власти, создать систему *самоуправления*, формирующуюся снизу вверх, путем выборов, и выражавшую интересы различных слоев населения. Венчать эту систему должна была бы Государственная Дума — орган, деливший с верховной властью законодательные функции. Даже с учетом того, что право законодательной инициативы и окончательного решения оставалось за царем, воплощение этого плана означало бы серьезный шаг вперед на пути создания такого государства, которое в наше время называется «правовым». Однако все ограничилось открытием в 1810 году Государственного совета — органа, который, по плану Сперанского, должен был стать связующим звеном между царем и Думой, а на деле стал совещательным учреждением чисто бюрократического характера при царе.

Таким образом, реформы Александру не удались. Реальная жизнь никак не поддавалась абстрактным планам. Реальные люди совсем не походили на тех условных подданных, которым Александр искренне хотел обеспечить «блаженство». Страсти, корысть, личные интересы и, главное, интересы сословные — со всем этим молодому царю пришлось столкнуться к полной для него неожиданности. Даже скромные попытки упорядочить структуру госаппарата и смягчить кре-

постное право вызвали неодобрение со стороны высших сановников и столичного дворянства — тех, кто составлял ближайшее окружение Александра, главную его опору. План же Сперанского, предусматривавший принципиальные изменения в самодержавно-бюрократическом строе, оказался чреват целой бурей, поднявшейся в тех же кругах, — чтобы утишить ее, царю пришлось пожертвовать своим ни в чем не повинным наперсником, отправить его в ссылку.

На пути к переменам царь столкнулся и с еще одним неожиданным препятствием — своим собственным положением в государстве. Поставив задачу ввести в России законность, гарантировать права ее граждан и увенчать все эти деяния конституцией, царь в то же время не желал ни на йоту ограничить свою личную власть. В известной мере это объяснялось сопротивлением высших слоев — Александр опасался, что, отказавшись от абсолютной власти, он выпустит из рук свое главное оружие. Но вести страну к конституционному строю, укрепляя в то же время самодержавие, — поистине, Александр ставил перед собой невыполнимую задачу... Постепенно у него возникает ощущение собственного бессилия, невозможности достичь поставленной цели. Усиливается разочарование в людях — и, наверное, в себе самом. Характер царя становится все более скрытным. «Никому не верю», — вот фраза, которая как нельзя лучше определяет состояние Александра к концу первого десятилетия его царствования.

Пришел 1812 год... Отечественная война была страшным испытанием для Александра. Противник, не знавший поражений, воспринимавшийся в России многими верующими как Антихрист, неуклонно продвигался в глубь страны. В ближайшем окружении Александра царили панические настроения. Надежды на победу становились все призрачней. И в это поистине тяжелое время император, изменив с детствавшемуся ему холодному, рациональному отношению к религии, берет в руки Священное Писание... Впоследствии он вспоми-

нал: «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души». Царь становится на молитву...

Изгнание Наполеона из России, заграничные походы, торжественное вступление в Париж в 1814 году – все это еще больше укрепляло Александра в его религиозном настроении; царь усваивает новые взгляды на мир, на людей, на свои жизненные задачи. На первое место теперь выдвигаются не политические реформы, не преобразование хозяйственных отношений, а религиозно-нравственное усовершенствование человечества... Главным оружием здесь должно было стать учение Христа. С подобной идеей царь обратился к Европе – Священный Союз, инициатором и вдохновителем которого был Александр, объединил ее правителей во имя управления народами «по заповедям святой веры», на основе «вечного закона Бога Спасителя». Эта же идея вдохновляла его и во внутренних русских делах.

После Отечественной войны в России под покровительством царя широко разворачивает свою деятельность Библейское общество, распространявшее в разных слоях населения русский перевод Библии. Все чаще публикуются статьи и книги религиозно-мистического содержания. Министерство народного просвещения получает характерную «добавку» в своем официальном названии – «...и духовных дел»; во главе его становится князь А. Н. Голицын, искренне разделявший новое настроение императора и стремившийся привести молодое русское просвещение в соответствие с «истинным христианством».

Однако религиозные устремления императора, при всем своем отличии от его реформаторских планов, имели с ними одно роковое сходство: были столь же абстрактны и оторваны от реальной жизни. Христианская вера Александра имела утонченный, отвлеченно-религиозный характер и была весьма далека от православного, так же, впрочем, как и от любого

другого церковного исповедания. Она годилась для узкой секты избранных, экзальтированных мистиков, но внедрить нечто подобное в русскую жизнь, положить в основу русского культурного развития было, пожалуй, еще менее возможно, чем превращение крепостной России в конституционную монархию... Проводниками религиозных идей императора стали либо свирепые ханжи, либо лукавые бездушные карьеристы; эти «истинные христиане» наиболее ярко проявили себя в беспощадном гонении университетской профессуры... Под совместным воздействием придворных противников министра, недовольных ростом его влияния, и церковных иерархов, испуганных «царской ересью», Александр дал Голицыну отставку и прекратил религиозные эксперименты, в которых он сам уже начал разочаровываться.

Начало 1820-х годов для царя — время жестокого, последнего кризиса. «Как подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря; от этого устаю», — так говорил он в 1824 году. И вместе с тем, Александр отказывается от каких бы то ни было попыток преобразовать Россию, стремясь к одному — худо ли, бедно поддерживать в ней относительный порядок. С обычным для себя пониманием людей, он находит подходящую опору в этом деле — дельного, не рассуждающего и совершенно беспощадного в своей исполнительности Аракчеева. Высокие мечты гаснут в будничной рутине — лишь страшные военные поселения становятся последним зловещим отблеском alexandrovskих реформ... А в обществе, разочарованном в своем, некогда обожаемом, повелителе, возникают тем временем революционные организации, которые преследуют, по сути, его, Александра, цели. «...Я разделял и поощрял эти заблуждения; не мне применять строгие меры», — так отвечал царь на один из доносов. Между тем заговорщики именно в разбудившем их царе видели одно из главных препятствий на пути преобразований и ставили вопрос о царе-

убийстве... А Александра, встревоженного известиями о заговоре, должны были все еще посещать мрачные воспоминания: ведь некогда и он, стремясь облагодетельствовать Россию, принял участие в цареубийстве — убийстве своего отца. И вот пришло время подводить итоги...

Осенью 1825 года Александр с супругой Елизаветой Алексеевной выехал из Петербурга в Таганрог; императрица была больна, и врачи сочли климат Приазовья подходящим для ее исцеления. Перед выездом царь посетил Невскую лавру, где отслужил молебен и имел беседу с схимником, отцом Алексеем, известным своей подвижнической жизнью. Проведя несколько недель в Таганроге, обживвшись на новом месте, царь в конце октября совершил поездку в Крым. Из Крыма он вернулся 6 ноября больным, мучимым лихорадкой, расстройством желудка... Болезнь продолжалась две недели, усиливаясь с каждым днем, — и 19 ноября в Петербург полетело известие о кончине государя императора.

Завершая это предельно краткое жизнеописание Александра, отметим утонченность его натуры, искренность и напряженность духовных поисков, которые в конце концов привели к жестокому кризису, ощущавшемуся не только родственниками и приближенными, но и теми, кто был отдален от царя. Отметим также, что смерть царя была совершенно неожиданной и свидетелями ее стал очень узкий круг приближенных Александра. Все это вместе взятое и сделало возможным возникновение удивительной, фантастической легенды об «уходе» императора и житии его в Сибири под именем старца Федора Козьмича.

## ЛЕГЕНДА

В создании легенды можно выделить несколько этапов. Вскоре после смерти императора по Руси пошло великое множе-

ство слухов; некий дворовый человек Федор Федоров заполнили целую тетрадь с характерным заглавием: «Московские новости или новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утверждать ни одних не могу, но решился на досуге описывать, для дальнего времени незабвеннного, именно 1825 года, с декабря 25 дня». Государь не умер; в гробу, привезенном в Петербург, не его тело; он «скрывается» — вот при всем разнообразии сопутствующих деталей основной сюжет большинства этих записей (всего их в тетради 51). Затем постепенно слухи утихли, чтобы с новой силой заявить о себе в 1860-х–1870-х — в последние годы жизни Федора Козьмича и после его смерти. «Скрывавшийся» царь был обнаружен...

В конце XIX–начале XX веков в печати появился целый ряд любопытных публикаций, связанных с кончиной императора и житием старца. Большой интерес, в частности, представляли приложения к фундаментальному труду Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование», опубликованному в 1904 году. И, кстати, сам Шильдер, очень серьезный и компетентный историк, допускал возможность «ухода» Александра Павловича... Затем стали появляться работы, специально посвященные легенде, авторы которых обращались как к опубликованным, так и к архивным материалам, пытались оценить степень ее достоверности. Одни из них приходили к выводу о несомненном тождестве Александра с сибирским старцем, другие не менее решительно отвергали такую возможность. «Царственный мистик» В. В. Барятинского — вот, очевидно, самая яркая книга в пользу легенды. Противоположную точку зрения защищал великий князь Николай Михайлович («Легенда о кончине императора Александра I»); после революции с развернутой аргументацией, направленной против сторонников легенды, выступил К. В. Кудряшов в работе «Александр I и тайна Федора Козьмича».

Отметим узловые пункты этой многолетней дискуссии. Прежде всего вставал вопрос: зачем вообще Александру нужно было инсценировать свою смерть? Те, кто считал легенду истиной, писали о духовном кризисе Александра, о его стремлении искупить грехи отказом от власти. Барятинский на первых же страницах своей книги давал целую сводку отрывков из воспоминаний близких к Александру людей, из которых следовало, что мысль об «отставке» постоянно занимала Александра в последние годы: «Я устал и не в силах сносить тягость правительства...».

Из лагеря противников следует возражение, что подобное желание Александр выражал не только в последние годы, но и на протяжении чуть ли не всего своего царствования, благополучнейшим образом оставаясь при этом на престоле. По мнению великого князя, «целью всех этих заявлений о предстоящем отречении было показать, как мало дорожит он своим положением, и в то же время испытывать близких к себе людей, читать их сокровенные мысли...» — сказывались подозрительность, недоверчивость царя. К тому же, заявляя о своем желании отказаться от власти, Александр никогда не упоминал о том, что собирается сделать это столь необычным образом. Напротив, незадолго до смерти, упомянув в очередной раз в разговоре с одним из самых близких к себе людей, генерал-адъютантом П. Н. Волконским о своем стремлении к частной жизни, царь сказал: «И ты выйдешь со мной в отставку и будешь у меня библиотекарем». Речь, таким образом, явно шла не о скитаниях по Руси в мужицком обличье...

Первостепенное значение в этом споре имел анализ обстоятельств смерти Александра. Здесь позиция сторонников легенды была, пожалуй, наиболее уязвима. Дело в том, что существует целый ряд документов — дневник и письма Елизаветы Алексеевны, записки и письма Волконского, записи Я. В. Виллие, лечившего Александра, воспоминания другого врача, бывшего при царе, Д. К. Тарасова, — по которым весь

ход болезни императора прослеживался в мельчайших деталях. Если эти документы *подлинны*, тогда ни о какой достоверности легенды не может идти и речи. Развивать рассуждения на тему Александр-Федор Козьмич можно было только преодолев это препятствие — что, не без лихости, и пытался сделать Барятинский.

Его соображения заключались в следующем: 1) во всех вышеупомянутых документах есть целый ряд различий в описании общего хода событий, развития болезни Александра, бытовых подробностей и т. д.; 2) дневник Елизаветы Алексеевны неожиданно обрывается на записи 11 ноября: «Около пяти часов я послала за Виллие и спросила его, как обстоит дело. Виллие был весел, он сказал мне, что у него (императора. — А. Л.) жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как накануне». Исходя из этого, Барятинский делал смелый вывод: именно 11 ноября между Александром и его супругой состоялось решительное объяснение: царь объявил о своем намерении уйти... Дальнейшие записи в дневнике императрицы содержали рассказ об этом, почему и были уничтожены впоследствии. Все же прочие документы, начиная с 11 ноября, создавались задним числом их авторами, близкими к Александру людьми, взявшими «прикрыть» уход обожаемого императора, — вот откуда их взаимная противоречивость.

По мнению оппонентов Барятинского, его рассуждения в высшей степени неубедительны. Что касалось несовпадений в рассказе о последних днях Александра, то наиболее серьезные из них содержались в воспоминаниях Тарасова, написанных, в отличие от других свидетельств, много лет спустя после этих событий, — и здесь необходимо было делать скидку на несовершенство человеческой памяти. Подавляющее большинство других различий объяснялось противниками легенды либо плохой осведомленностью того или иного автора, либо незначительностью происходившего. Предположение же Барятинского о том, что дневник Елизаветы Алексеевны

не оканчивался 11 ноября, не требовалось и опровергать, поскольку сам Барятинский никаких достаточно серьезных обоснований этой догадке в своей книге не привел.

Дальше вставал вопрос о теле, подвергнутом вскрытию, положенном в свинцовый гроб и отправленном в Петербург. Сторонники легенды, естественно, утверждали, что в гробу лежало отнюдь не тело императора... Они предлагали на выбор три версии: императора «заменил» фельдъегерь Масков, погибший у него на глазах от несчастного случая — вывалившись из коляски и разбив голову; в гроб было положено тело запоротого насмерть солдата, или — несколько измененный вариант — тело солдата, умершего от болезни. Два последних предположения, судя по всему, основывались исключительно на слухах, ходивших после смерти императора. При этом оговаривалось некоторое сходство покойника с Александром — оговорка необходимая, иначе пришлось бы значительно увеличить число посвященных в тайну «ухода» за счет разных лиц, так или иначе видевших тело, т. е. медиков и фельдшеров, вскрывавших его и готовивших к перевозке, таганрогской и столичной прислуги, — не говоря уже о всех членах императорской семьи, прощавшихся с покойным в Петербурге. Кстати, Барятинский обращал внимание на «навязчивые» восклицания при этом прощании вдовствующей императрицы: «Да, это мой сын, мой дорогой Александр» — Мария Федоровна-де, посвященная в суть дела, сознательно исказала истину.

Вообще энтузиазм, с которым Барятинский стремился обернуть в пользу легенды чуть ли не любой, даже явно противоречащий ей эпизод, просто поразителен... Пожалуй, наиболее любопытных результатов в вопросе о характере болезни Александра I добился Барятинский. Князь провел своеобразную экспертизу: изъяв из официального протокола о вскрытии царского тела все, что могло бы подсказать, о ком идет речь, он разослал копии четырем врачам — светилам в медицинской науке того времени. Обращаясь к ним с просьбой

установить причину смерти, Барятинский указал предполагаемые варианты: малярия или брюшной тиф (в пользу этих причин свидетельствовал весь документально зафиксированный ход болезни императора); сотрясение мозга в результате несчастного случая (Масков); телесное наказание (вариант с запоротым солдатом). Ответы медиков были просто поразительны. Один из них — хирург К. П. Домровский — ссылаясь на скучность данных, сообщаемых протоколом, отказался делать положительный вывод, но, тем не менее, решительно заявил, что смерть произошла не от малярии и не от брюшного тифа. Это, кстати, было общим мнением всех четырех корреспондентов Багратинского. Однако коллеги нерешительного хирурга оказались смелее: с редким единодушием они определили причину смертельного исхода — запущенный сифилис... Авторитетность вывода подчеркивалась тем, что один из опрошенных — М. П. Манассеин — был как раз известный сифилиолог. Подобный результат действительно «путал концы». Барятинский совершенно справедливо писал: «Если даже допустить, что император Александр когда бы то ни было и где бы то ни было заразился сифилисом (что совершенно не соответствует тому, что о нем известно), то весь ход „болезни“ все-таки не соответствует такому исходу».

Правда, экспертизе, проведенной Барятинским, его главный оппонент Кудряшов попытался противопоставить свою; он обратился за помощью к авторитетному патологоанатому Ф. Я. Чистовичу. Последний решительно опроверг своих предшественников, заявив, что никаких данных, указывающих на заболевание сифилисом, в протоколе нет. Чистович считал, что «Александр I страдал какой-то инфекционной болезнью, протекающей с желтухой и нагноительным типом лихорадки...» Отметим, однако, что Кудряшов в этом случае действовал не вполне добросовестно: из его собственных слов следует, что Чистович не только знал, о ком идет речь в протоколе, но и был ознакомлен со всей совокупностью материалов, рас-

сказывающих о последних днях императора. Чистота эксперимента, таким образом, грубо нарушалась: ведь одно дело, когда эксперт ставит диагноз, опираясь на вполне отвлеченные данные, и совсем другое, когда ему предлагается определить свою позицию по отношению к такой сложной, запутанной и в некотором смысле скандальной истории: здесь сразу же появляется масса привходящих обстоятельств... Характерно и то, что мнение своих коллег Чистович опровергал одной лаконичной, резкой и совершенно бездоказательной фразой.

Другой комплекс спорных вопросов был связан уже непосредственно с Федором Козьмичем. Здесь противники легенды безоговорочно отвергали все рассказы и предания об обмолвках старца, слuchаях «узнавания», посещения его загадочными «высшими особами» и прочее, относя все это к сфере безудержной народной фантазии. «В такой стране, как Россия, — писал Николай Михайлович, — уже с древних времен народ часто поддавался самым нелепым слухам, невероятным сказаниям и имел склонность придавать веру всему сверхъестественному. Стоит только вспомнить появление самозванцев... Этому обычно способствовала внезапная кончина или наследника престола, или самого монарха, как это было при убийстве царевича Дмитрия, казни Алексея Петровича и насильственной смерти Петра III». В ответ на это справедливое, в принципе, замечание Барятинский не менее справедливо писал, что в истории Федора Козьмича есть свои особенности, главная из которых — старец ни в коем случае не был самозванцем. Напротив, он старательно скрывал свое происхождение, в корне пресекая всякие домыслы на этот счет. И, тем не менее, слухи о том, что Федор Козьмич — добровольно отрекшийся от власти царь, оказались настолько устойчивы, что пережили старца и сохранились в народной среде вплоть до начала XX века. Уже одно это, по мнению Барятинского, заставляет отнестись к ним с особым вниманием, а не отвергать гуртом, без всякого анализа.

Конечно же, особый интерес для исследователей представляли описания внешнего облика старца. Правда, Кудряшов приводит сообщение, которое объясняет это сходство чрезвычайно просто: «неизвестный художник уже „впоследствии“, после смерти старца, воспроизвел портрет его во весь рост», руководствуясь при этом портретом императора Александра I. (К сожалению, в книге Кудряшова, вообще очень основательной и снабженной солидным справочным аппаратом, нет ссылки на то, откуда он почерпал это сообщение.) Исследователь приводит другой, менее известный рисунок, несомненно сделанный с натуры и изображающий старца на смертном одре, отмечая, что «орлиная форма носа, жесткое выражение нижней части лица и прямой лоб — черты, конечно, не Александра I. Но ведь опять-таки известно, как искажает смерть черты лица: нос заостряется, рот западает... В целом изобразительный материал не дает данных, которые позволили бы решить интересующий нас вопрос однозначно.

То же самое можно сказать и о рукописном «наследстве» старца. Это — две записки, найденные в мешочек, висевшем у изголовья Федора Козьмича, про который он, умирая, сказал: «В нем моя тайна». Записки представляют особый шифр. На лицевой стороне одной из них значится: «видишили никакое вас безсловесие счастие слово изнесе».

На обороте:

*Но егда убо А молчат П возвещают.*

На лицевой стороне второй записки:

*1, 2, 3, 4*

*о, в, а, зн а крыются струфиан*

*Дк ео а м в р*

**С З Д Я**

На обратной:

60

60

1837 Г. Mar. 26 в «вол»

43 Par.

Что писать цифровые и буквенные «ребусы» было в обычай старца, подтверждается целым рядом свидетельств. Трудно сказать, имеет ли шифр разгадку или представляет собой мистификацию со стороны человека, твердо решившего сохранить свою тайну и после смерти. Предлагаем читателям поупражнить свои логические способности и самим разгадать сей секрет; надо надеяться, что достигнутые результаты будут более осмысленны и не так произвольны, как совершенно нелепые «разгадки» Барятинского и некоего И. С. Петрова.

Но помимо темного смысла в записках, казалось бы, должно быть и нечто бесспорное — почерк... К тому же, кроме таинственных записок сохранились еще и написанные рукой Федора Козьмича несколько изречений из Священного Писания. Однако и здесь мы едва ли можем прийти к однозначному результату. Без всякой экспертизы очевидно, что почерк, которым были написаны изречения, не схож с почерком Александра I. Однако Барятинский справедливо обратил внимание, что он не так уж безусловно похож и на почерк шифрованных записей. Скажем, написание буквы «д» — хвостик книзу с росчерком — здесь куда ближе Александру; в записи же изречений у этой буквы тщательно вырисовывается закрученный кверху хвост... По мнению Барятинского, старец сознательно менял почерк, и здесь тщательно оберегая свою тайну.

Такова в общих чертах легенда об императоре всероссийском, добровольно отказавшемся от своей неограниченной

власти и ушедшем бродяжничать и молиться — во имя искупления своих грехов, во имя духовного совершенствования и укрепления веры. Мы видели, сколько слабых сторон в доказательствах достоверности этой легенды; и в то же время надо признать, что история смерти — «ухода» Александра сложна, запутанна и до сих пор ее едва ли можно оценивать однозначно, безоговорочно отвергая как бессмысленную выдумку. Смысл в ней как раз был... Ведь легенда эта интересна прежде всего тем, что сложилась, тем, что существует до сих пор. В ее содержании, как в капле воды, отразилась вся фантастичность, сказочность, особость русской истории. В какой еще европейской стране XIX века можно было отыскать правителя, подобного Александру: образованного, утонченного, светского — и в то же время способного породить в народе веру в возможность своего превращения сперва в нищего бродягу, безропотно сносящего телесные наказания, а затем — в блаженного старца? И где еще можно сыскать народ, способный так искренне и надолго поверить в это?.. Трудно сказать, будет ли легенда когда-нибудь опровергнута, или — что еще менее вероятно — появятся ли убедительные свидетельства ее истинности. Но не случайно ведь в свое время Лев Толстой написал «Дневник Федора Козьмича»; не случайно Даниил Андреев в своей вдохновенной «Розе мира» возвел Александра — Федора Козьмича — в сонм небесных праведников, поставил его во главе «просветительских сил России»... Легенда эта всегда будет волновать историков, писателей, мыслителей и просто всех, кто хочет понять эту удивительную страну.

# ОБРАЗЦОВЫЙ ГОСУДАРЬ

## ПОРЯДОК

Николай I, Государь Император всея Руси, управлявший этим государством на протяжении 30 лет, являл собой воплощение самодержавного порядка. Он, казалось, самой природой был создан для защиты устоев самодержавия и борьбы с вольнолюбивым. Он обладал ясным умом и сильной волей, во всех своих действиях руководствуясь врожденным, непреодолимым консерватизмом. Любая мысль о серьезных коренных преобразованиях государственного строя воспринималась им как крамола, как зловредный зародыш бунта и анархии.

При этом царь не ведал сомнений — во всяком случае, всегда решительно гнал их от себя. Не ведал Николай и жалости: хотя в его характере не было изуверской жестокости, но он всегда методично и с холодной беспощадностью карал за малейшее отступление от установленного порядка вещей.

Это врожденное стремление к порядку «без дальних рассуждений» подкреплялось образованием, полученным Николаем Павловичем. Старший брат, Александр I (разница между братьями составляла 19 лет), практически не вмешивался в это дело; оно целиком и полностью находилось в руках матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, женщины недалекой и плохо разбиравшейся в людях. В результате если у Александра главным воспитателем в свое время был Лагарп, так много ему давший, то у Николая эту роль играл генерал Ламсдорф — неумный, невежественный и жестокий человек. Учителя были подобраны по случаю — как Бог послал. Среди

них не было ни одного, кто мог бы увлечь великого князя и заинтересовать его изучением наук. Сам царь впоследствии так вспоминал об этих занятиях: «На лекциях наших преподавателей мы (с младшим братом Михаилом. — А. Л.) или дремали, или рисовали их же карикатуры, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбежку, без плода и пользы для будущего».

Отвращаясь от «бесплодных умствований», Николай, по словам воспитателей, с каждым годом все ясней проявлял свое «пристрастие ко всему военному». Они пытались как-то бороться с этой односторонностью, но совершенно безуспешно. Так, однажды, когда великий князь получил тему сочинения: «Доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина, но что и другие занятия для него столь же почетны и полезны», — Николай по прошествии времени сдал преподавателю чистый лист без единого слова.

Исключительное для семейства Романовых пристрастие к фрунту, сиречь военному, воинскому строю, с годами у Николая лишь усилилось. Это было непреоборимое свойство натуры. Оно проявлялось во всем, и прежде всего во внешнем облике императора: казалось, он родился в мундире. Высокий, широкогрудый, до конца дней своих сохранявший отличную выпрявку, царь так и запечатлелся в памяти современников великолепным образчиком офицера-строевика. Холодный, зоркий взгляд его больших серых глаз замечал малейшую погрешность; звонкий тенор был куда как хорош для четкого приказа, для «разноса и распеканции». А чего стоила походка, знаменитая «военная походка», увековеченная Н. С. Лесковым: «Голова прямо, грудь вперед, шаг маршевый, левая рука пригнута и держит пальцем за пуговицу мундира, а правая или указывает куда-нибудь повелительным жестом, или тихо, медленным движением обозначает такт, соответственно шагу ноги».

...Стройные, неподвижно застывшие ряды гвардии, над которыми в томительной тишине вот-вот прозвучит звонкая команда. Эхом разносятся голоса офицеров... И вот огромная

людская масса приходит в движение, устремляясь в едином порыве, в едином ритме к указанной цели. Эта картина не только услаждала взор самодержца, в ней он черпал уверенность в своих силах, в своем безграничном могуществе и беспредельной власти. Военные учения, смотры, парады с младых ногтей неудержимо влекли к себе Николая той предельной четкостью и простотой, с какой определялись здесь отношения между людьми: мудрый командующий, возложивший на себя все бремя власти; преданные, на лету ловящие каждое слово приказа младшие командиры; покорная масса солдат, как один человек повинующаяся начальству!

Здесь, на плацу, закладывались основы той «государственной мудрости», которой определялось все его тридцатилетнее царствование. Сейчас трудно без улыбки читать о том, что поездка двадцатилетнего Николая в Англию в 1816 году вызывала опасения у его матери: как бы великий князь не нахватался там по молодости «конституционных идей». По просьбе Марии Федоровны министр иностранных дел граф Нессельроде даже составил для него специальную записку-предостережение. Плохо же они знали Николая...

Если Александр I незадолго до этого, беседуя в Англии с лидерами парламентских фракций, рассуждал о «благодельности для управления страной разумной оппозиции» и обещал завести таковую в России, то его младший брат решительно предпочитал общество английских военных. Парламентские дебаты не заинтересовали Николая совершенно, многие проявления общественной жизни вызвали отвращение. Так, по поводу распространенных в Англии митингов и клубов он заметил одному из своих приближенных: «Если бы, к нашему несчастью, какой-нибудь злой гений перенес к нам эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или, еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление».

Чтобы он, Николай, на этот «шум», на эти бесконечные споры променял божественный самодержавный порядок, издавна утвердившийся в России?! Строгая централизация, полное единоначалие на всех уровнях управления, безоговорочное подчинение низших высшим — всей своей сущностью самодержавно-бюрократический строй как нельзя лучше отвечал фрунтовой натуре нового императора. К тому же с первых дней царствования он обрел мощную идеиную опору в лице Николая Михайловича Карамзина.

Если попытка Сперанского придать самодержавию европейский облик встревожила в свое время Карамзина, то грозные события 14 декабря потрясли его до глубины души. В этот день историограф был в Зимнем дворце, выходил на Сенатскую площадь: «Я видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упали к моим ногам»... Глубоко прочувствовав угрозу возлюбленному им строю русской жизни, которую несло в себе восстание, он «алкал пушечного грома». Когда же гром прогремел и горизонт самодержавной России очистился, Карамзин, насмерть простудившийся в этот день (он умер через два месяца), успел-таки дать новому царю урок политической грамоты.

Можно представить себе, с каким глубоким вниманием и сочувствием слушал Карамзина Николай. Историограф, конечно же, держал речь в духе своей знаменитой «Записки»: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием!» В самодержавии, и только в нем, видел Карамзин залог благополучия русского народа. Задача государя состоит в том, чтобы совершенствовать этот благословенный строй, а не изменять его. И так же как в «Записке», Карамзин в беседе с Николаем осуждал нововведения покойного Александра I, разрушавших, по его мнению, самодержавие. Осуждал настолько горячо, что присутствовавшая при этой беседе Мария Федоровна

просила его «пощадить уши матери», на что Карамзин достойно отвечал, что говорит с матерью «не только усопшего, но и ныне здравствующего государя», подчеркивая тем самым свою веру в здравый смысл и добрую волю нового царя.

Идеи Карамзина полностью отвечали глубинным, инстинктивным ощущениям Николая, которые, таким образом, не только озвучивались в самой изящной форме, но и получали развернутое историческое обоснование и становились основой целой идеологической системы. Недаром семья Карамзина после смерти историка получила небывало высокую пенсию, а набело переписанный экземпляр «Записки о древней и новой России» всегда находился под рукой императора. О том, насколько хорошо усвоил Николай уроки, преподанные Карамзиным, можно судить по письму, которым царь в июне 1826 года сопроводил доклад следственной комиссии по делу декабристов.

В этом письме царь, употребляя слово «порядок», вкладывал в это понятие разный смысл. Николай писал здесь об «установленном порядке, освященном веками славы», то есть о самодержавно-крепостническом строе, вечном, нерушимом, составлявшем самую суть бытия русского народа. Писал он и об эфемерном и опасном «порядке вещей», сложившемся в предыдущее царствование, имея в виду непоследовательность внутренней и внешней политики, неоправданные попытки реформ, попустительство либеральным идеям.

Этот «порядок вещей», считал Николай, неизбежно должен был привести к открытому бунту против власти, что и произошло. Это «отвратительное» событие давало новому царю право и преимущество «доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих». Вольномыслию, ведущему к смуте, следовало противопоставить силу, «анархическим устремлениям» — коренной, несокрушимый порядок русской жизни.

## СИСТЕМА

Итак, новый самодержец четко уяснил себе основную задачу своего царствования: он стремился сохранить и укрепить господствовавший в России порядок вещей. А для этого, очевидно, нужно было привести в идеальное состояние систему управления страной, которая лежала в основе этого порядка: самодержавно-бюрократический механизм следовало отладить так, чтобы он действовал без перебоев. Средства же к достижению этой цели определялись в значительной степени властной, прямолинейной натурой царя, стремившегося управлять огромной страной с военной строгостью и простотой — как полком на плац-параде.

Все начиналось в Зимнем. Каждый день царь, готовый управлять и властвовать, ждал в своем кабинете высших сановников империи: поразительная работоспособность Николая, его редкая память, постоянное внимание к деталям отмечались всеми, кто имел с ним дело. По-военному четко царь высказывал свою волю, которая воспринималась министрами почтительно и беспрекословно. Под перьями департаментских чиновников эта воля обретала соответствующую форму и разносилась по всей Руси! С берегов Невы по всем направлениям летели фельдъегерские тройки, развозя по губерниям указы, рескрипты и циркуляры. На берегах Волги, Оки или Упы, в желтых казенных зданиях, поставленных на центральных площадях губернских городов, срабатывало следующее звено; царская воля, опять-таки таким образом оформленная, расходилась по уездам, получая там воплощение уже во вполне конкретных административных действиях: с кого-то взимали недоимку, кому-то забирали лоб по новому рекрутскому набору, кто-то переселялся на новые места... И на каждую входящую бумагу незамедлительно составлялась ответ-

ная исходящая бумага — формальный канцелярский порядок соблюдался неукоснительно.

На обработку взаимодействия между различными звенями вертикали власти Николай не жалел усилий, стремясь максимально подчинить управление страной своему личному контролю. Наверное, не было еще на Руси царя, который так много времени посвящал бы своему «царскому делу», — слова Карамзина о той огромной ответственности перед своим народом, которую каждый самодержец возлагает на свои плачи, были Николаю близки и понятны. Каждый день с семи часов утра в его кабинете уже горели свечи: царь трудился над ворохом бумаг, добросовестнейшим образом изучая и проекты очередного комитета по крестьянскому вопросу, и донесения послов, и проект «реформы» обмундирования столичных будочников. Почти не было дня, чтобы царь пренебрег добровольно возложенной на себя обязанностью инспектировать казенные учреждения столицы — в любой момент он мог навязнуть с проверкой и в кадетский корпус, и в сиротский дом, и в суд, и в таможню. С той же целью ежегодно, не жалея лошадей, Николай, «смерчу подобно», носился по всей России, наказуя и милуя, распекая и награждая, требуя от чиновников всех рангов одного: безупречного порядка в делах.

Формальный порядок торжествовал по всей линии, и чем ближе к престолу, тем строже соблюдались формальности. Николай Павлович в этом отношении был предельно внимателен и небрежности не прощал. Так, к примеру, видный сановник николаевского царствования М. А. Корф вспоминал в своих записках, как он получил строгий выговор от Николая за то, что в представленных им в спешном порядке бумагах (царь собирался уезжать за границу) было множество описок. «Я люблю Корфа, — сказал царь, — с ним этого никогда не случалось, а видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только погляжу бумаги и не стану их читать. Я доказал

противное... Надо принять меры, чтобы это было в первый и последний раз».

Формальный порядок торжествовал. Естественно, что весь аппарат управления, сверху донизу, состоял в основном из людей, способных этому порядку соответствовать и умевших к нему приспособиться. С приходом к власти Николая I наступило время полного торжества чиновника-бюрократа, не за страх, а за совесть воспринявшего основное требование государя императора: «Не рассуждать, а исполнять!»

Поскольку Николай «наводил порядок» чрезвычайно последовательно, то на самый верх пробивались люди предельно исполнительные и в то же время лишенные всякой инициативы и самостоятельности в исполнении своих служебных обязанностей. Эти качества отличали большинство высших сановников, окружавших Николая, таких как военный министр А. И. Чернышов, министр юстиции В. Н. Панин и многие другие.

Характернейшей фигурой этого царствования стал министр иностранных дел К. В. Нессельроде, настоящий долгожитель высшей сановной среды; Николай унаследовал его на министерском посту от своего предшественника и доверял ему эту важнейшую сферу государственных дел на протяжении всего своего тридцатилетнего правления. И совершенно очевидно, что феноменальная «усидчивость» Нессельроде в министерском кресле объяснялась не столько его несомненной компетентностью — прекрасным знанием расстановки сил в правительствах и закулисных интриг при дворах Европы, сколько полной зависимостью министра от своего грозного повелителя, которую сам Нессельроде постоянно подчеркивал: «Я не более чем рупор идей Вашего величества».

Нессельроде, впрочем, не отличался инициативой и при Александре I. А вот Михаил Михайлович Сперанский, не раз доказавший в предыдущее царствование свою способность к самостоятельным суждениям, явил собой яркий пример со-

знательного отречения от этого редкого в бюрократической среде качества. Николай, сумевший оценить деловые качества автора еретического Плана государственного преобразования, поставил его во главе II отделения Собственной канцелярии, занимавшегося кодификацией (приведением в порядок, систематизацией) предельно запущенного российского законодательства — работой, нет слов, важной, но носившей чисто технический, формальный характер. Сперанский выполнил ее с привычным блеском, за что и получил графский титул и орден Святого Андрея Первозванного. Была горькая ирония в том, что автор замечательного проекта преобразования России получает высшую награду империи, создав Свод законов, упорядочивший ее самодержавно-бюрократическое основание!

Черты формальной, бездумной исполнительности были присущи большинству николаевских сановников, проявляясь у одних ярче, у других мягче, смазанней. И, как всегда, имелся деятель, воплощавший их с такой полнотой, что ни на что другое места уже не находилось: министр путей сообщения П. А. Клейнмихель, притча во языцах, не человек, а живое воплощение системы. Немецкий дипломат О. де Брэ, долгие годы прослуживший в России, рисует его портрет яркими красками. Отметив, что Клейнмихель получил «чисто военное образование, в котором основательность познаний и ученье не играли никакой роли, а главное место занимали послушание, пунктуальность и деятельность», автор пишет: «Деятельный, беспощадный и неумолимый в выборе средств, он не признает трудностей и как будто хочет доказать, что на свете нет ничего невозможного. Он относится к людям как к орудиям и машинам, не зная сострадания... Его ненавидят и презирают. Не подлежит сомнению, что можно было бы достичнуть тех же результатов, действуя с большей краткостью и меньшей поспешностью, не истощая средств казны, не разоряя подрядчиков и не жертвуя множеством человеческих жизней».

Формалистика, торжествовавшая наверху, естественным образом распространялась на все уровни бюрократической системы управления. Венный срок и должным образом поданная бумага становилась главным результатом чиновничьей деятельности. При этом нужно иметь в виду, что Николай значительно увеличил штаты как центральных, так и местных учреждений. Если в 1820-х годах в России было около 20 тысяч чиновников, то к середине XIX века — более 60 тысяч. Соответственно невероятно увеличилось количество бумаг, как входящих, так и исходящих, все сложней и таинственней становились их пути. (Недаром в это время издается книга с характерным названием: «Руководство к наглядному изучению административного течения бумаг в России», очевидно необходимая любому россиянину, входящему в соприкосновение с бюрократической системой).

Делопроизводство становилось чуть ли не главной сферой российского бытия, оттесняя реальную жизнь на задний план. Вспомним Гоголя: «Герои наши видели много бумаги, и черновой, и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-нибудь светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, склонив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замахисто какой-нибудь протокол об оттягании земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим свой век под судом, нажившим себе и детей, и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: „Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!“ — „Вы всегда куда-нибудь затаскайте пробку с казенной чернильницей!“ Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: „На, перепиши! А не то снимут сапоги, и простишишь ты у меня шесть суток не евши“. Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хво-

ростом проезжали лес, заваленный на четверть аршина сухими листвами». Только здесь, только в этом заколдованном месте мог осуществиться сюжет гениальной гоголевской поэмы, где мертвые души идут за живых людей...

Мощный круговорот ведомственной документации совершался при Николае I плавно и бесперебойно. Однако при подобном положении дел чиновники всех уровней стремились прежде всего удовлетворить свое непосредственное начальство; вовремя, в нужном духе ответить на поступившую сверху бумагу. Начальство же, подобно Николаю, требовало соблюдения определенных форм, внешней четкости и аккуратности. Если царя при этом интересовало еще и содержание документов, то подавляющее большинство чиновников удовлетворялось достижением чисто формального порядка в делах, нимало не беспокоясь о том, насколько оно соответствует порядку действительному. Бюрократия еще в большей степени, нежели раньше, зажила своей, оторванной от реальности жизнью, заговорила особым, лишь ей понятным канцелярским языком.

В «Былом и думах» А. И. Герцен приводит очень характерный рассказ одного губернатора, который, будучи только что назначен на эту должность, никак не мог уразуметь смысла одной важной деловой бумаги. Никто из его бывальных подчиненных помочь ему не смог... Однако вопрос: «Как выйти из этого нелегкого положения?» — их не только не смутил, но и удивил: в наличии был некий столоначальник, который «двадцать лет на такие бумаги отвечал». Объяснить суть бумаги не смог и он, но, как выяснилось, этого и не требовалось: «Столоначальник принял за перо и, не останавливаясь, бойко настрочил две бумаги. Губернатор взял их, прочел. Прочел раз и два — ничего понять нельзя. „Я увидел, — рассказывал он, улыбаясь, — что это действительно был ответ на ту бумагу, — и, благословясь, подписал. Никогда более не было помину об этом деле — бумага была вполне удовлетворительна“».

Но этот насквозь формализованный, действующий по своим особым законам аппарат управлял реальной страной, живыми людьми. И здесь деятельность бюрократии сопровождалась множеством злоупотреблений, особенно когда дело касалось безгласных и беззащитных народных масс. Ведь бюрократическая система была замкнутой, недоступной для контроля извне. Жалобы на чиновников рассматривались такими же чиновниками, только более высоких рангов. Круговая порука, связывавшая бюрократов всех уровней, позволяла им действовать с почти полной уверенностью в своей безнаказанности. Должностные преступления, как правило, вскрывались лишь тогда, когда увлекшиеся чиновники переходили все возможные границы, забывая о необходимости несложными канцелярскими хитростями маскировать свои темные дела. Но даже эти немногие разоблачения потрясали современников, рисуя жуткую картину развала внешне так хорошо отлаженного бюрократического механизма.

М. А. Корф в своих записках рассказывал о ревизии Петербургского надворного суда, из которой выяснилось, что в нем около тысячи нерешенных дел, а «счет неисполненным решениям и указам никто не знал, проверить же их число не было возможности, потому что все реестры, книги и прочее пребывали в совершенном расстройстве... Денежная отчетность была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650 000 рублей потерян всякий след и, вследствие того, ее хранили под названием суммы «неизвестных лиц». Положение усугублялось тем, что «место действия проходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом...».

Николай, глубоко и искренне переживавший за свое дело, не щадивший во имя его собственных сил, приходил от таких историй в отчаяние. Надо отметить, что царь достаточно чутко ощущал слабые места своей системы управления. Ему самому не раз приходилось сталкиваться с вопиющими злоупо-

треблениями чиновников самых различных рангов. И дело было не только в разъедавших систему взяточничестве и коррупции. Бюрократия и в центре, и на местах работала к тому же чрезвычайно вяло, недобросовестно, сводя дело к формальным отпискам, тормозя проведение в жизнь многих решений высшей власти, в том числе и принципиально важных.

Этого Николай не терпел, с этим он пытался бороться. Но единственный возможный путь преодоления недостатков бюрократической системы царь видел в еще большем усилении своего личного контроля. Поскольку же контролировать все было невозможно, Николай особое внимание уделял тем вопросам, которые он по различным причинам считал наиболее важными. Их он изымал из обычной системы управления и передавал в ведение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Этот орган, который в прежнее царствование играл весьма скромную роль, теперь стал самым главным. Функции Собственной канцелярии год от года становились все более обширными: она занималась и кодификацией законов, и политическим сыском, и кавказскими делами...

Николай тем самым как бы давал понять, что не доверяет своей собственной системе управления, и вносил в нее элемент чрезвычайности, «особого положения». Но ведь в Собственной канцелярии, в конце концов, работали те же российские чиновники, обремененные все теми же характерными для бюрократии пороками. Попытки преодолеть недостатки бюрократической системы с помощью чисто бюрократических средств, как правило, кончаются безуспешно. Однако Николай упорно и последовательно шел именно по этому пути, руководствуясь знаменитой аксиомой Карамзина: «Система хороша — люди плохи». Хотя сейчас кажется очевидным, что корень всех зол был именно в системе: именно она коверкала людей и уродовала всю русскую жизнь.

## ИДЕОЛОГИЯ

На протяжении долгого времени николаевская система производила на современников впечатление поистине ошеломляющее: казалось, в России заработала в полную силу громоздкая, но мощная машина, способная без особых усилий перемолоть любое инородное тело, и нет той машине сносу!

Необходимо иметь в виду, что николаевский режим существовал отнюдь не только за счет произвола, слежки и командных окриков с высоты престола. У него были свои глубинные корни, свои выстраданные традиции, и с этой точки зрения вполне понятно и оправданно благосклонное внимание Николая к карамзинской концепции русской истории. Была у этого режима и своя социальная база: тот порядок вещей, увековечить который взялся царь, имел своих ревностных сторонников и в среде бюрократии всех чинов и рангов, и, самое главное, в помещичьих усадьбах.

Яркое представление о мировоззрении привилегированных сословий дают заметки одного из характернейших действующих лиц эпохи, бессменного управляющего Третьим отделением Леонтия Васильевича Дубельта, реально державшего в своих руках всю сложную систему надзора за Россией. А. И. Герцен, видевшийся с Дубельтом по своим непростым поднадзорным делам, справедливо считал его «умнее всех трех отделений канцелярии, вместе взятых». Действительно, от подавляющего большинства своих собратьев-чиновников Дубельт выгодно отличался и умом, и тонкой проницательностью, и очень редкой по тем временам способностью действовать осознанно, предвидя результаты. К тому же у него была литературная жилка, сказавшаяся и в весьма красноречивых докладах «по начальству», и в чрезвычайно любопытных заметках «для себя», которые Леонтий Васильевич делал время от времени на протяжении всей своей многолетней службы. Эти заметки, не претендую на звание системы или

теории, предельно четко выражали очень ясную и последовательную жизненную позицию.

В основе ее — хорошо усвоенная «первая обязанность честного человека: любить выше всего свое отечество и быть самым верным подданным своего государя». При этом высокая карамзинская мысль об ответственности монарха перед своей страной исчезает напрочь, понятия отечества и самодержавия у Дубельта сливаются совершенно; без царя, по его мнению, не могло быть и России: «Ее можно сравнить с арлекинским платьем, у которого лоскутки сшиты одной ниткой, — и славно, и красиво держится. Эта нитка и есть самодержавие. Выдерни ее, и платье распадется». Все успехи России — исключительная заслуга верховной власти: «Дай Бог здоровья и всякого счастья нашим царям, что они так прославили имя русское на земле». Лучший же из самодержцев царствует ныне. В своих заметках «для себя» Дубельт не жалел славословий Николаю I: «Все великое и прекрасное так свойственно нашему государю, что уж и не удивляет!.. Велик Николай Павлович, чудо-государь — какая конституция сравнится с его благодеяниями». Его царствование в глазах Дубельта — апофеоз России. «От времени и обстоятельств не только веси, грады и твердыни исчезают с лица земли, но и царства отжившие, как древа, гнивающие в корне. Между тем не угаснет звезда России, венчающая славные и мудрые дела императора Николая Павловича».

Под дланью мудрого и могучего монарха, взявшего на себя тяготы государственного управления, народу российскому — крестьянам и помещикам — предоставлялось мирно благоденствовать, отправляя свои сословные обязанности в соответствии с «внутренним устройством империи», то есть крепостным правом. Крепостничество наряду с самодержавием — вот основной залог процветания России. «Наш народ, — пишет Дубельт, — оттого умен, что тих, а тих оттого, что не свободен». Русский «мужичок», по мнению автора заметок,

совершенно счастлив в условиях крепостной неволи: он «живет мирно, обрабатывает свое поле и благодарит Бога за свой насыщенный кусок хлеба. Не троньте этот народ, оставьте его в патриархальной простоте и во всем природном его величии...» Не дай бог отменить крепостное право: «мужичок» сначала, может, и обрадуется, но потом, потеряв голову от магического слова «свобода», захочет попытать счастья в другом месте, пойдет шататься по городам, «где потеряет свою святую нравственность и погибнет...».

Исход трагический, но совершенно неизбежный, ибо, как выясняется, комплименты в сметливости, честности и прочих добродетелях, которые расточает «мужичку» автор заметок, не мешают ему считать русского крестьянина «не скажу зверем, но получеловеком», не способным отвечать за свои поступки. За ним нужен постоянный надзор, и этот надзор при нынешнем положении дел образцово осуществляет поместное дворянство. «Помещик, — пишет Дубельт, самый надежный оплот государя. Никакое войско не заменит той бдительности, того влияния, какое помещик ежеминутно распространяет в своем имении. Уничтожь эту власть, народ напрет и нахлынет со временем на самого царя» — вот ужасающая перспектива крестьянской реформы. В государственных интересах нужно стремиться к сохранению полной власти помещиков над крестьянами; «дело в том, чтобы эту власть не употреблять во зло, — ну, а это уже дело правительства».

Так несколькими крупными, отчетливыми мазками рисует Дубельт картину идеального государственного устройства, открывающего благонамеренному человеку неисчерпаемые возможности для счастливого житья-бытья. «Есть и у нас худое, — признает он, — без этого нельзя. Но уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь нигде такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в царствии небесном».

Итак, склони голову перед существующим, покорись строгому, но справедливому порядку, знай свое место, не умствуй, не мечтай об ином — и ты обретешь истинное счастье! Этот призыв к благонамеренному россиянину не случаен: кому, как не Дубельту, специалисту-профессионалу по борьбе с инакомыслием, было знать истинную цену этой благонамеренности, в ней он видел поистине основу основ существующего порядка.

Недаром в заключение этой тирады Дубельт иронически замечал: «Такие рассуждения, конечно, нашим журналистам, нашим передовым людям, не по нутру...». Вот эти-то люди — изгои, оторванные от родной почвы, не связанные ни с каким сословием, — и были в глазах Дубельта *единственным* беспокойным, а следовательно, и опасным элементом в Российской империи, застывшей в своем благоденствии. В них, и только в них, видел он зловредную закваску «губительных перемен».

Все эти беспокойные «передовые люди», журналисты и им подобные, являются, по мнению Дубельта, — «адскими плодами» ложного просвещения; от них же «разврат» может пойти по всей Руси. Пока положение прочно, пока незыблемо стоят самодержавие и крепостное право, их держать в узде не так трудно. Но не дай бог «свободы» — зараза неизбежно перекинется на простой народ: начнет «мужичок» учиться грамоте, что в крепостной России ему, слава богу, не угрожает, и «станет разворачивать свои понятия чтением гадкой нынешней литературы: журналы сбывают с толку...».

Впрочем, вся эта «гниль», по твердому убеждению Дубельта, наносная; она — зарубежного происхождения. Обличая «мерзкий Запад», автор заметок не стесняется в выражениях; обращаясь с «заветом» к своим сыновьям, он пишет: «Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас и никого другого к добру не приведут... Для нас одна Россия должна быть самобыт-

на, одна Россия должна существовать; все иное есть только отношение к ней, мысль, приведение». Противостояние России и Запада должно быть полным и безусловным — в этом залог ее благополучия.

Идеи, подобные тем, которые высказывал в своих записках Дубельт, буквально носились в воздухе с первых дней правления Николая: их проповедовал молодому царю Карамзин, они пронизывали манифест о восшествии на престол и другие официальные документы того времени. Однако всего этого было недостаточно. После первого в истории страны революционного взрыва стало очевидно, что бороться с «духом времени» путем одних репрессий невозможно — вернее, под эти репрессии необходимо было подвести идейное обоснование. «Людям движения» необходимо было противопоставить идеологию, оправдывавшую застой. Разрозненные мысли и соображения консервативного характера для пользы «царского дела» следовало свести в цельную, стройную систему. Эту задачу в полной мере выполнил николаевский министр просвещения Сергей Семенович Уваров, сформулировавший в начале 1830-х годов теорию «официальной народности».

Уваров был, несомненно, человеком незаурядным, заметно выделявшимся в среде тех безгласных статистов, которыми привык окружать себя Николай. Он вполне мог очаровать собеседника, произвести впечатление человека европейски образованного, талантливого и даже «благородно мыслящего». И все же, как показывает весь его жизненный путь, прежде всего Уваров был чиновником-бюрократом, использовавшим свои таланты во имя удовлетворения карьерных интересов.

Именно эти интересы и определяли деятельность Уварова на посту министра народного просвещения. Исходя из них, сформулировал он свою знаменитую теорию. Недаром хорошо знавший министра С. М. Соловьев видел в нем «умного, хитрого холопа», стремившегося «потрафить» барину-само-

дуру. Уваров, писал историк, «быстро уловил веяния времени и сумел сформулировать ряд четких, логичных внешне положений, которые вполне отвечали настроению императора».

В сущности, Уваров говорил о том же, о чем говорили и другие защитники устоев; о противостоянии самодержавной России и «гнилого» Запада, о необходимости для успеха в этой борьбе «укрепить отечество на твердых основаниях; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные остатки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения». Но в отличие от всех прочих Уваров сам эти «отличительные начала» четко определил и тем самым превратил общие рассуждения в стройную *идеологию*. По уваровской теории, русский народ обладал национальным характером, резко отличавшим его от народов европейских. Это отличие было порождено определяющим влиянием православной религии, в лоне которой русский человек получал свое духовное развитие. Если европейские народы, увлеченные желанием получше обустроить свою земную жизнь, во имя этого бунтовали, свергали неугодных им правителей, меняли свое государственное устройство, то русский народ был и остался совершенно аполитичным. Он стремился к одному: приблизиться к высоким евангельским идеалам смирения, доброты, милосердия. Именно поэтому он раз и навсегда отдал свою судьбу в царские руки, избрав государственный строй, который вполне соответствует этим стремлениям: самодержавие, отечески опекающее россиян, взявшее на себя все тяготы управления страной. Так сплетались звенья идеологической системы, названной впоследствии теорией «официальной народности».

Тот же С. М. Соловьев дал Уварову и его теории резкую, но во многом справедливую оценку: «Он (Уваров. — А. Л.) не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю; он внушил ему мысль, что он, Ни-

колай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, то есть слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веря в Христа даже по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в своей жизни ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки».

От подобной теории нельзя было ожидать глубины и основательности, зато она как нельзя лучше отвечала идеологическим задачам, вставшим перед самодержавием. Ведь с позиций «официальной народности» николаевская Россия являлась идеалом государства для всякого истинно русского человека. И напротив, всякий, кто начинал выражать свое недовольство, критиковать существующий порядок вещей, воспринимался как изгой, потерявший духовную связь со своим народом, попавший под «тлетворное влияние Запада». Таким образом, правящая бюрократия получала мощное идеологическое оружие в борьбе со своими противниками.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Теперь, имея на вооружении теорию Уварова, царь мог достойно организовать борьбу с врагами самодержавия, а значит, и с врагами всего русского народа.

События 14 декабря ясно показали Николаю, насколько его предшественник запустил наряду со многим прочим и эту сферу государственной деятельности. Действительно, при Александре I существовало несколько секретных полиций, которые все работали примерно одинаково — одинаково плохо. К тому же взаимоотношения этих ведомств, занятых, по сути, одним и тем же делом, не были четко определены, что неизбежно приводило к взаимным склокам и страшной неразберихе. Профессиональный уровень подавляющего больш-

шинства сотрудников этих «секретных полиций», не говоря уже об их человеческих качествах, был ниже низкого. Полуголодные и невежественные агенты, набранные среди отбросов общества, думали только о своем прокорме; нередко они стряпали самые нелепые «политические» дела, шантажируя мирных обывателей — вечную дойную корову всех российских полиций. Совершенно очевидно, что система безопасности по всем статьям проигрывала своим противникам — декабристам. Ведь даже предельно содержательные доносы провокатора Шервуда, подробно освещавшего деятельность Южного общества, не заставили верховную власть принять надлежащие меры.

Новый царь надлежащие меры принял. Создание новой системы государственной безопасности — системы, грандиозной по своему размаху, разветвленной, всеохватывающей и в то же время в отличие от предшествующего периода строго централизованной, — разворачивалось в двух направлениях. Прежде всего в 1826–1827 годах был сформирован корпус жандармов (с 1836 года — Отдельный корпус жандармов), составивший костяк системы. У этого военно-полицейского армирования имелись предшественники, которые и послужили для него исходным строительным материалом: в середине 1820-х годов в России было 59 различных жандармских частей. Одни из них действовали в войсках, обеспечивая порядок или собирая сведения о настроениях солдат и офицеров; другие несли полицейскую службу в столицах и губернских городах: ловили преступников, выбивали недоимки, подавляли народные волнения и пр.

Во главе жандармского корпуса стоял шеф жандармов, опиравшийся в своей деятельности на специальное Управление (впоследствии — Штаб). Ему непосредственно подчинялись генералы корпуса, стоявшие во главе округов, на которые была разделена вся Россия (сначала их было пять, к 1836 году — семь). В каждый губернский город назначался жандарм-

ский штаб-офицер (от майора до полковника), под началом которого находились специальные команды из обер-офицеров и рядовых чинов.

Одновременно с этой «явной» политической полицией создавалась и тайная. 27 июля 1826 года начало свою деятельность III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. III отделение, функционировавшее «негласно», составило единое, точнее двуединое, целое с жандармскими органами в центре и на местах. Эта двуединая сущность новой системы подчеркивалась и тем, что начиная с 1826 года и вплоть до ликвидации III отделения в 1880 году шеф корпуса жандармов был в то же время и начальником III отделения.

III отделение быстро превратилось в настоящий мозговой центр новой системы государственной безопасности: сюда стекалась вся информация с мест, здесь разрабатывались операции по борьбе с «инакомыслием» и составлялись инструкции, координирующие деятельность жандармов в округах и губерниях. Именно III отделение придавало этой системе тот жутковатый колорит таинственности и вездесущности, который заставил А. И. Герцена характеризовать ее как «вооруженную инквизицию, полицейское масонство, имевшее во всех уголках империи, от Риги до Нерчинска, своих братьев слушающих и подслушивающих».

Функции новых органов, если судить по соответствующим «нормативным документам», поражают своей почти бескрайней широтой: жандармы должны были «наблюдать за общим мнением и народным духом»; следить за «подозрительными лицами»; обнаруживать тайные общества; разыскивать фальшивомонетчиков; контролировать деятельность государственного аппарата, выявляя злоупотребления и неблагонадежность чиновников всех рангов; надзирать за «направлением, духом и действиями» различных религиозных сект, а также за деятельностью культурных и научных обществ; вести наблю-

дение за иностранцами, пребывающими в России, и ведать в случае необходимости их высылкой; разбирать жалобы, просьбы и прошения «по тяжебным и семейным делам», поступавшие как на высочайшее имя, так и в само отделение; сверх того, «заниматься всеми вообще происшествиями в государстве» — пожарами, убийствами, народными волнениями и пр., — собирая о них информацию и составляя соответствующие «ведомости».

Таким образом, предполагалось, что новая политическая полиция будет осуществлять поистине всеобъемлющий надзор за народом и обществом. Делом первостепенной важности объявлялось всемерное укрепление самодержавного государства и православной Церкви, с одной стороны, и беспощадная борьба с любыми попытками подорвать устои русской жизни — с другой. При этом «подрывная деятельность» понималась чрезвычайно широко: ее видели не только в идейной борьбе, в либеральных и атеистических «умствованиях», но и в служебных проступках, пренебрежении церковными обрядами, безнравственном поведении — в любых отступлениях от раз и навсегда определенных норм частной и общественной жизни. Жандармам приходилось принимать на себя массу обязанностей, как правило политической полиции не свойственных: они должны были не только бороться с противниками существующего строя, но и брать под свою сурово-благожелательную опеку всех благонамеренных россиян, зорко следя за тем, чтобы эта благонамеренность нигде и ни в чем не давала сбою: чтобы чиновники не воровали, обыватели не спивались, мужья не изменяли женам, богатые не притесняли бедных, бедные не держали зла на богатых и т. д. и т. п.

Жандармам можно было жаловаться на произвол и несправедливость со стороны чиновников других ведомств, на их защиту предлагалось рассчитывать. Рассказывали, что когда первый шеф жандармов А. Х. Бенкendorф, попросил у Николая инструкцию, то царь протянул ему носовой платок,

молвив при этом: «Вот тебе моя главная инструкция: чем больше слез ты оботрешь, тем больше буду тобой доволен». Собственно, каждый россиянин должен был привыкнуть к мысли, что у него за спиной постоянно присутствует некое подобие ангела-хранителя в голубом жандармском мундире, с розгой в одной руке и с вышеупомянутым платком — в другой. Обидят тебя — утешит, провинишься — пеняй на себя!

В борьбе с «разрушителями устоев» жандармы действовали куда успешней, чем анекдотические полиции начала века. Те, кто пытался продолжить дело декабристов, борясь с властью революционными средствами, были в эту эпоху обречены на поражение. Но, как показало время, та главная цель, которую преследовал Николай I, создавая тайную полицию, — остановить с ее помощью всякое движение мысли, превратить теорию «официальной народности» в вечную непоколебимую формулу, — эта цель оказалась совершенно недостижимой.

То же можно сказать и о цензуре, которая при Николае I стала вторым столпом безопасности. В это время она приобрела небывалый ранее размах. На первый взгляд может показаться, что ее функции были несравненно более скромными, чем у жандармского корпуса и III отделения: жандармы следили буквально за всем, а цензура — только за литературой. Но вспомним: именно литература представляла собой главную опасность; с точки зрения защитников устоев, через нее проникал в страну чуждый россиянам «дух инакомыслия», через нее «гниющий Запад» заражал своими миазмами мирных обывателей.

Уже в самом начале правления Николая I, в 1826 году, был принят цензурный устав, который современники прозвали «чугунным». Насколько этот устав ограничивал свободу печати, очевидно из содержания тех параграфов его, в которых накладывается запрет на рассуждения о внутриполитических

вопросах: «Запрещается всякое произведение словесности не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение». А потом цензоры, при рассматривании всякого рода произведений, обязаны всевозможнее обращать внимание, чтобы в них не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувства преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям высочайшей власти и законам отечественным. Запрещаются к печатанию всяких частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления, если предположения сии не одобрены еще правительством». В подобном же духе были выдержаны и другие параграфы, посвященные цензуре сведений и рассуждений о внешней политике, философии, истории и т. п.

В 1828 году «чугунный» устав был заменен другим, чуть более мягким, который ставил перед цензурой задачи быть «как бы таможнею, которая строго наблюдает, чтобы не были ввозимы товары запрещенные». Но и новый устав открывал перед цензурой возможности для самого свирепого произвола.

Деятельность цензуры в полной мере определялась установками теории «официальной народности»: цензоры должны были беспощадно изгонять из литературы все, что не укладывалось в ее предельно жесткие рамки. Неудивительно, что трудно было найти в те времена писателя, который не испытал бы на себе цензурных гонений. Многие замечательные произведения, такие как «Борис Годунов» А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова и другие публиковались с многочисленными цензурными пропусками и искажениями; другие, подобно гениальному «Демону» М. Ю. Лермонтова, вообще не могли быть напечатаны. В 1830-х–1840-х годах за публикацию «крамольных» статей был закрыт целый ряд популярнейших журналов: «Европеец», «Московский телеграф», «Телескоп». Редакторам, авторам да и самим цензорам

постоянно угрожали отсидка на гауптвахте, высылка из столицы под надзор полиции. Недаром у историков эти времена получили название «эпохи цензурного террора».

Однако следует иметь в виду, что и в этой сфере правительство далеко не всегда достигало поставленных целей. Чаще всего цензорами назначались исполнительные, но ограниченные и плохо образованные чиновники. Они моментально реагировали на «опасные», с их точки зрения, слова и выражения. Например, совет автора поваренной книги поставить только что испеченный пирог на «вольный дух» тут же вызывал вмешательство цензора. Был случай, когда цензор из совершенно безобидного описания путешествия в Сибирь решительно вычеркнул сообщение о том, что некоторые народы в тех краях ездят на собаках: ведь в православной Руси испокон веку все ездили на лошадях. Цензоров пугало и слишком сильное выражение любых чувств, кроме, конечно, верноподданнических. Так, например, знаменитый петербургский цензор Красовский, разбирая невинное лирическое стихотворение поэта Раича, особую пометку сделал против строк, в которых автор сообщал, что готов отдать любимой девушке душу, сердце и всего себя. «А что же останется Богу, царю и отечеству?» — вопрошал цензор.

Но в то же время, когда подобным чиновникам приходилось сталкиваться со сколько-нибудь сложными идеями и художественными образами, они нередко выглядели весьма беспомощными. В результате хоть и с потерями, но сквозь цензурные преграды прорывались и доходили до читателя такие яркие и в то же время резко критические по отношению к окружающей действительности произведения, как публицистика В. Г. Белинского, философские статьи А. И. Герцена, повести И. С. Тургенева и многое другое.

## «РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ»

Николай I достаточно хорошо понимал, насколько реальное положение дел в России не соответствует теории «официальной народности» и бодрым отчетам чиновников всех рангов. Характерно, что, беспощадно расправляясь с декабристами, Николай потребовал от секретаря следственной комиссии А. Д. Боровкова, чтобы тот составил для него свод мнений участников восстания о состоянии дел в России в конце царствования Александра I.

Подобный свод был представлен царю, причем Боровков проделал весьма серьезную и добросовестную работу. В этом своде хотя и в смягченной форме, но достаточно ясно было выражено критическое отношение декабристов к существующему положению вещей и намечена программа необходимых преобразований. «Надобно даровать ясные, положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно всякому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унизительную продажу людей». Свод серьезно заинтересовал Николая. Боровков вспоминал впоследствии, что председатель Государственного совета В. П. Кочубей сказал ему: «Государь император часто просматривает ваш любопытный свод и черпает из него много дельного; да и я часто к нему прибегаю».

Невозможность ограничиться одними репрессивными мерами в борьбе за сохранение самодержавного строя была очевидна для Николая. Волей-неволей приходилось размышлять о том, как с помощью частичных преобразований укрепить самодержавие, навести в нем порядок, изменить то, что безнадежно отжило. Беспощадно карая тех, кто настаивал на пе-

ременах, Николай по необходимости сам становился реформатором.

Впрочем, подавляющее большинство мер, принятых им в этом направлении, трудно назвать реформами. Они скорее напоминали ремонтные работы на ветхом, плохо держащемся на плаву судне. Как правило, речь шла все о том же пресловутом наведении порядка в государстве, серьезно запущенном в предыдущее царствование.

И прежде всего это касалось российского законодательства, о чем уже говорилось выше. Здесь действительно царил полный хаос: ведь последним упорядоченным Сводом законов Русского государства было Соборное уложение 1649 года. Огромная масса законодательного материала, накопившаяся с тех пор, нуждалась в выявлении, профессиональной обработке, сведении в одну систему — в кодификации. Исполнение этой задачи Николай I поставил под свой контроль: в 1826 году было создано II отделение императорской канцелярии, которое возглавил М. М. Сперанский.

Кодификация была проведена в короткий срок и на самом высоком профессиональном уровне. В 1830–1832 годах было издано 45 томов Полного собрания законов Российской империи (с 1649 по 1825 год); затем стали публиковаться тома с новыми законами, принятыми уже при Николае I. Все материалы в этом издании располагаются в строго хронологическом порядке. В 1833 году было опубликовано 15 томов Свода законов. Для этого издания огромная масса законодательного материала была тщательно обработана, систематизирована и расположена по тематическому принципу. Вся эта работа была, несомненно, выполнена добросовестно и с пользой. При этом она, однако, имела чисто технический характер и не внесла ничего нового ни в российское законодательство, ни в государственный строй, ни в принципы управления.

Еще более сложные проблемы существовали в начале правления Николая I в финансовой сфере. И здесь без слова «хаос»

просто не обойтись. Многочисленные тяжелые войны, которые приходилось вести России в предыдущее царствование, вконец подорвали и государственное хозяйство страны, и систему денежного обращения. Большинство министров финансов при Александре I своими необдуманными мерами лишь усугубляли положение. Бюджет постоянно сводился с дефицитом: государственные расходы значительно превышали доходы; денежное обращение было подорвано выпуском огромного количества ничем не обеспеченных банкнот; государство находилось на грани банкротства.

Все эти беды сумел избыть Е. Ф. Канкрин, один из немногих самостоятельных государственных деятелей николаевского правления.

Канкрин обладал целым рядом несомненных достоинств: был умен, хорошо образован, чрезвычайно работоспособен и педантично добросовестен. Но, пожалуй, главное, что отличало его от прочих николаевских сановников, — Канкрин не только не боялся иметь собственные соображения по важнейшим финансовым и экономическим вопросам, но и упорно отстаивал их перед самим царем. Николай, в свою очередь, терпел строптивость Канкрина, хорошо понимая все значение его деятельности. Не случайно, возглавив Министерство финансов еще при Александре I, Канкрин занимал этот пост более двух десятилетий, почти до самой своей кончины (1821—1844).

Канкрин стремился выправить положение, не прибегая к повышению прямых налогов, которыми и без того было излишне обременено население России. Вначале он навел режим самой строгой экономии, которому волей-неволей подчинились все министерства и ведомства. Затем Канкрин обратился к протекционизму: еще в 1822 году, в конце царствования Александра I, он добился значительного повышения таможенных пошлин на большинство промышленных изделий, ввозимых в Россию из-за рубежа. С помощью этой меры Кан-

кин рассчитывал защитить русскую промышленность от иностранной конкуренции и тем самым способствовать ее развитию.

В 1826 году по инициативе Канкрина в России была введена система винных откупов. До того продажа спиртных напитков, приносившая высокие доходы, являлась монополией государства. Но, как показала практика, значительная часть вырученных средств расхищалась при этом чиновниками-казнокрадами. Теперь же частные лица стали откупать у казны право торговать спиртными напитками в различных губерниях. Доходы государства, таким образом, гарантировались. Правда, откупщики вели свою торговлю с невероятными злоупотреблениями, наживая за счет местного населения огромные капиталы. Однако, с точки зрения Канкрина, это было меньшим из зол: он рассчитывал, что капиталы, неправедно нажитые частными лицами, вероятнее всего, будут вложены в торговлю или в промышленное производство. От средств же, расхищенных ворами-чиновниками, министр никакой пользы для государства не ждал.

Наиболее значительным достижением Канкрина явилось упорядочение денежного обращения. Бумажные деньги (ассигнации) постоянно падали в цене; в разных местах они шли по различному курсу; население все больше теряло к ним доверие. В то же время широкое хождение в России получили иностранные монеты — так называемые «ефимки» и «лобанчики». В таких условиях и государству, и частным лицам было чрезвычайно сложно вести расчеты, заключать торговые сделки и т. д. Накопив в казне достаточно средств, Канкрин в 1843 году заменил обесцененные ассигнации кредитными билетами, причем правительство взяло на себя обязательство размена этих билетов на серебро по первому требованию. Эта мера сыграла важную роль в некотором оживлении промышленности, и особенно торговли, в восстановлении кредитоспособности государства. Важно отметить, что эта реформа

никоим образом не ущемляла интересы населения. Она проводилась за счет излишков денежных средств, накопленных в казне благодаря разумной и расчетливой политике Канкрина.

В целом деятельность Канкрина, так же как и другие меры, принятые в царствование Николая I, не носили кардинального характера. Они помогали государству держаться на плаву, но не открывали перед ним никаких перспектив. Единственное, что могло помочь в этой ситуации, — это скорейшее решение крестьянского вопроса: отмена или хотя бы смягчение крепостного права.

Проблемы, порождавшиеся крепостной системой, явственно ощущались в Зимнем дворце. Помимо ухудшения экономического положения России Николая не могли не беспокоить и те волнения, которые возникали в связи с резким усилением эксплуатации крестьян помещиками. Недаром шеф жандармов А. Х. Бенкendorf в одном из своих отчетов о положении дел в России назвал крепостное право «пороховым погребом под государством».

В то же время заявить прямо и открыто о необходимости если не отмены, то хотя бы смягчения крепостного права Николай не мог и не хотел. Во-первых, это неизбежно вызвало бы недовольство господствующего сословия — поместного дворянства, с которым власть, несмотря на всю свою мощь, ссориться опасалась. Во-вторых, не позволяли собственные идеологические установки: ведь в соответствии с теорией «официальной народности» Россия представляла из себя благоденствующую страну и ни в каких серьезных преобразованиях не нуждалась.

В результате могущественный самодержец вынужден был подготавливать свои реформы в этой важнейшей сфере тайно, скрываясь от посторонних глаз и ушей. Крестьянский вопрос разрабатывался в Секретных комитетах, которые в царствование Николая I то и дело сменяли друг друга; всего их было создано десять. Подобный подход — секретное обсуждение

вопроса, от которого зависит судьба основной массы населения, — не мог дать серьезных результатов. Кроме того, исполнители царской воли — сановные бюрократы, заседавшие в этих комитетах, — были совершенно не заинтересованы в сколько-нибудь серьезных преобразованиях и неспособны к ним.

М. А. Корф, бывший членом очередного Секретного комитета, передает в «Записках» свой очень характерный разговор с одним из коллег, обеспокоенным сложностью крестьянского вопроса. «Как же быть? — тревожно спрашивал он. — Тронешь часть — ползет целое. Что же нам делать?» — «А не трогать ни части, ни целого, — отвечал Корф. — Так мы дольше протянем». Трудно ярче выразить общее отношение николаевской бюрократии не только к отмене крепостного права, но и вообще к каким бы то ни было реформам. Неудивительно, что результаты деятельности Секретных комитетов были крайне незначительны.

Несколько смелее царь действовал в отношении «своих», то есть государственных крестьян, чье положение в это время тоже было достаточно тяжелым. В 1837 году на базе одного из департаментов Министерства финансов создано было новое Министерство государственных имуществ, которое возглавил П. Д. Киселев — один из немногих деятелей николаевского времени, искренне стремившийся улучшить положение крестьян. В ходе реформы, проводимой этим министерством, было организовано частичное переселение крестьян из густонаселенных районов, увеличены земельные наделы, уменьшены подати, создана сеть медицинских и учебных заведений в деревнях и селах. При этом свою задачу Киселев и его со-трудники видели не только в том, чтобы упорядочить государственное хозяйство: улучшая положение государственных крестьян, они стремились «подать благой пример» поместному дворянству.

Однако даже эта самая серьезная мера николаевского царствования в крестьянском вопросе имела общий для всей пра-

вительственной политики того времени недостаток: она проводилась чисто бюрократическими мерами и была связана с созданием обширного штата администрации, которая, опекая крестьянство, должна была существовать за его счет. Это значительно ослабляло положительные результаты реформы.

Один из приближенных Николая I, генерал-адъютант Н. А. Кутузов, в своей докладной записке писал по поводу образования нового министерства: «Из одного департамента Министерства финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России оно губило и губит империю... От этого умножения мест рождается и другое зло для успешного хода дел: бесконечная переписка (с учреждением Министерства государственных имуществ открылись три бумажные фабрики)... Огромность министерства требует огромных издержек, почему на расходы местных управлений собирается по два и более рубля с души. Этот налог и при хорошем состоянии крестьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен».

Таким образом, попытки Николая I смягчить крепостное право, улучшить положение основной массы населения не увенчались успехом. Общий дух николаевского царствования, идеологические установки правящей бюрократии, методы, которыми она действовала, — все это делало невозможным последовательное решение крестьянского вопроса. А это означало лишь одно: серьезных перемен, которые позволили бы России выйти из состояния застоя, не будет.

Предельная ясность в этом вопросе наступила в последние годы царствования Николая I, получившие впоследствии название «мрачного семилетья». Напуганный европейской революцией 1848–1849 годов, царь окончательно отказался даже от робких попыток что-то изменить в крепостной системе. Вся его поразительная энергия теперь окончательно и

бесповоротно была направлена на меры охранительного характера. В эти годы Россия застыла в полной неподвижности...

Между тем во внешней политике все более явственно назревал военный конфликт с Европой, который должен был подвергнуть николаевский порядок самому серьезному испытанию.

Надвигалась Крымская война...

2003

## 2.

# ЦВЕТЕНИЕ РЖИ

Начинать приходится с совершенно необходимой оговорки: из всех поистине неисчислимых точек зрения, с которых можно рассматривать русскую интеллигенцию, автор выбрал, естественно, лишь одну: меня волнует вопрос о той роли, которую сыграла эта интеллигенция в истории нашей страны. При этом здесь не обойтись без некоторого, хотя бы самого краткого, теоретического отступления: ведь прежде чем ответить на вполне конкретный вопрос, необходимо достаточно четко определить, на что вообще интеллигенция способна, что может дать она «городу и миру»?

В век Просвещения было принято сравнивать «здравое общество» с разумно устроенным организмом, обладающим внутренней слаженностью и справедливым распределением функций: «Телу потребна глава, здравие всех членов и душа; обществу потребна верховная власть, все должности и науки; землевладелец питает, солдат защищает, ученый просвещает». Так вот, обращаясь к этой, весьма наивной, но отнюдь не глупой аллегории, рискну, пожалуй, провести параллель между интеллигенцией и теми нервыми волокнами, которые, реагируя на физические и прочие повреждения организма, вызывают чувство боли... Именно эти ощущения и побуждают исправлять испорченное, лечить наболевшее; но выполнить подобную задачу должны уже совсем другие органы...

Быть может, неуклонно поступательный ход истории Западной Европы в значительной степени объясняется тем, что уже в Средние века там появляются люди, болезненно-остро реагирующие на несовершенство мира? И, коли так, главным

залогом успеха реформ Петра, стремившегося раскачать неподвижную Русь, двинуть ее вперед по европейскому пути, было то, что преобразователь сумел создать условия для появления подобных людей — пусть не сразу, пусть много десятилетий спустя после открытия первых школ, в которых дворянских недорослей из-под палки учили «географии, ифике, политике» и пр., пр., вплоть до «танцевального искусства и поступи немецких и французских учтивств».

Члены кружков Станкевича и Герцена, Чаадаев, славянофилы и западники, Чернышевский и Писарев, Толстой и Достоевский — в продолжении этого перечня российских интеллигентов, очевидно, нет необходимости, поскольку должно быть ясно, что, на мой взгляд, определяет глубинное родство этих людей. Все они обладают до предела развитой способностью ощущать боль своей страны; все они чутко улавливают «проклятые вопросы», поставленные историей перед народом, неотъемлемой частью которого они себя ощущают; все они страстно ищут вожделенный ответ... Они просто созданы для этого вечного поиска, для вечных духовных терзаний; недаром их отличают ни на миг не затухающее движение мысли, так схожее постоянством своим с движением истории, никогда не иссякающая неудовлетворенность действительностью и поразительный максимализм в понимании конечных целей — им подавай «новую землю и новое небо», на меньшее они не согласны!

Но все это хорошо, пока дело ограниченно сферой духа; на практике подобный «идеализм» немедленно становится серьезной помехой. Чтобы понять разницу между теми, кто ставит вопросы, и теми, кто, обратившись от возвышенных мечтаний к грубой действительности, готов дать ответ, сравните Грановского и Н. Миллютина, Достоевского и Победоносцева, Лаврова и Ал. Михайлова. Поиски «новой земли» неизбежно приводят к либеральным реформам, реакционным указам, хорошо организованному подполью с четкой программой дей-

ствий — и на этом тернистом пути преобразования действительности мечта меркнет, становится все более односторонней, теряет свое обаяние... Нужны новые духовные усилия, чтобы возродить ее, — и снова на сцене интеллигенция со своими вечными, неразрешимыми, «проклятыми» вопросами. И в ее раздражающей непрактичности, в бессмысленных, на первый взгляд, терзаниях, в рефлексии, нередко представляющейся никчемным нытьем, скрыто прозрение будущего...

Впрочем, вся путаница сплетенных здесь словес, все неуклюжие аллегории — всё это без остатка растворяется в великолепном афоризме Горького: «Интеллигенция — это цветение ржи».

1990

# МАСТЕР «ТИХОЙ РАБОТЫ»

Обращаясь к жизни и деятельности Тимофея Николаевича Грановского, сразу же сталкиваешься с обстоятельствами, которые, по-моему, нуждаются в объяснении. В самом деле, мы говорим о Грановском как об одном из первых русских научных-медиевистов, замечательном лекторе и в то же время очень значимом общественном деятеле, признанном лидере западников 1840-х годов. Однако при более близком знакомстве с наследием Грановского выясняется, что в сфере научного академического знания оно занимает скромное место: даже самые восторженные почитатели Тимофея Николаевича не рисковали называть его имя в ряду тех, кто прокладывал новые пути в изучении прошлого. Противники же и откровенные враги, которые у Грановского, несмотря на все его обаяние, тоже были, всячески подчеркивали незначительность, вторичность его деятельности, в лучшем случае отводя историку роль «артиста на кафедре».

Правда, в самом этом определении содержалось косвенное признание того, что отрицать было невозможно: невероятной популярности Грановского-лектора. Однако и эта из ряда вон выходящая популярность вызывает вопросы. Уже некоторые из современников — как правило те, кто попадал на его лекции случайно и слушал их недолго, — не могли скрыть недоумения, чувствовали себя обманутыми. Дело в том, что «артистом на кафедре» Грановского мог назвать лишь тот, кто его с этой кафедры ни разу не слышал. И дело здесь не только в том, что у Грановского был слабый голос и плохая дикция (друзья называли его «шепелявый профессор»).

сор»); не в том, что он в своих лекциях сознательно избегал каких бы то ни было внешних эффектов. Главное, что и «внутренние эффекты» у Грановского-лектора отсутствовали почти полностью: ни неожиданных трактовок, ни ярких личностных характеристик, ни смелой актуализации исторического материала... В наше время, когда представление о лекционном курсе Грановского складывается лишь на основе несовершенных студенческих записей, он вообще может показаться скучным.

И, наконец, современного читателя могут, наверное, шокировать сведения о том, что практически вся общественная деятельность Грановского-западника свелась именно к чтению этих «сомнительных» лекций и публикации этих «вторичных» научных работ и популярных статей... Ну, можно еще добавить к этому бесконечные беседы и споры в дружеском кругу и литературных салонах. Ни сочинения памфлетов и прокламаций, ни участия в антиправительственных акциях, ни, хотя бы, смелых обличительных заявлений по поводу самодержавия и крепостничества — ничего подобного в жизни Грановского не было и быть не могло, по определению.

Исходя из этого, вполне закономерным может показаться вопрос: нет ли в наших высоких оценках Грановского некоторого недоразумения? Не преувеличиваем ли мы его значение, масштаб его деятельности? Ответ нетрудно угадать: ни в коей мере! Но для того, чтобы правильно понять суть дела, необходимо разобраться, хотя бы в самых общих чертах, в том времени, когда жил Грановский и вне которого воспринимать и оценивать его просто невозможно. Отвлеченные характеристики научной и общественной деятельности этого человека вне контекста достаточно сложной для понимания эпохи Николая I, на которую пришлась почти вся сознательная жизнь Грановского, могут лишь сбить с толку.

\* \* \*

Власть в это время в форме официальной идеологии — пресловутой «официальной народности» — постулирует ряд достаточно жестких требований по отношению к своим подданным. Эти требования обосновывались необходимостью для каждого россиянина, вне зависимости от его социального, имущественного и служебного положения, строго соответствовать — делами, мыслями, чувствами — самодержавному государственному строю и православной конфессии, каковые провозглашались идеалом бытия — материального и духовного — для всего русского народа. С помощью официальной идеологии, направленной, прежде всего, на сохранение существующего положения вещей, власть настраивала своих подданных на верное служение престолу и Церкви, стремясь пресечь любые поползновения к самостоятельному суждению, критике и уж тем более — к переменам общего характера.

При этом хотя формально объектом воздействия официальной идеологии были, действительно, все слои населения — народ, в самом общем смысле этого слова, — хорошо известно, что она разрабатывалась *прежде всего* для противодействия очень незначительной части этого народа — тем, кого бессменный управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Л. В. Дубельт иронически называл «нашими передовыми людьми»; тем, кого А. И. Герцен, один из лидеров этой общности, называл «образованным меньшинством». В глазах наиболее последовательных представителей власти именно это меньшинство являло собой чуть ли не единственную серьезную внутреннюю угрозу величию и спокойствию Российской империи: оно играло роль чуть ли не единственного шлюза в «умственных плотинах», воздвигаемых правительством Николая I; шлюза, через который в Россию проникали элементы европейских культуры и просвещения — с позиций официальной

идеологии, глубоко чуждых русскому народу и, в то же время, чрезвычайно опасных.

Особо следует отметить то, что нередко теряется из виду: в эту очень своеобразную эпоху правительство тревожили не только и даже не столько какие-то конкретные «лжеучения», идущие из Европы, как это было впоследствии — коммунизм, анархизм или еще что-нибудь в этом роде. Было очевидно, что с любыми откровенно антиправительственными настроениями, возникающими в среде «образованного меньшинства», сильная и очень решительно настроенная государственная власть во главе с Николаем I справится быстро и без особых проблем. Ее представителей в это время все больше тревожит нечто менее определенное и потому трудно уловимое; то, что, употребляя современную терминологию, можно было бы назвать проявлением черт западноевропейской ментальности в русском образованном обществе. С позиций официальной идеологии, очень серьезная, пусть и скрытая угроза устоям выражалась, например, в приоритете, отдаваемом разуму перед верой; или в отрицании авторитетов в любых сферах бытия; или в критическом отношении к действительности, постоянно подчеркивании чувства собственного достоинства и тому подобное.

Наверное, нет необходимости говорить о том, почему проявление подобных черт пугало власть, опиравшуюся именно на веру и авторитет, и, по определению, не выносившую критики и проявления личного достоинства у своих подданных. То, что все эти опасные черты порождает именно европейское просвещение, в эпоху Николая I не вызывало у представителей власти никаких сомнений. И неслучайно официальная идеология, одной из главных задач которой было противостоять этой «европеизации» русской образованной среды, вырабатывалась и отлаживалась именно в стенах Министерства народного просвещения. Правительство готовилось к борьбе за новое поколение русской образованной молодежи,

и противниками его в этой борьбе оказались те представители «меньшинства», для которых вышеназванные постулаты европейского просвещения стали определяющими. Грановский занимал среди них место в первых рядах.

Таким образом, в эпоху Николая I противостояние между властью и ее оппонентами выражалось внешне не столько в открытой идеологической борьбе, сколько в сфере общих понятий, подходов к окружающей действительности, морально-этических принципов. В сущности, в это время в России развернулась борьба двух систем воспитания. Задачей одной из них было сформировать знающего, дальновидного исполнителя указаний высшей власти; задачей другой — пробудить в человеке неповторимую индивидуальность, помочь ему стать личностью, способной к самостоятельному, критическому восприятию «мира и города».

Только при подобном подходе к интересующей нас ситуации становится ясным то, что практически невозможно понять вне ее контекста: каким образом ученый-медиевист, университетский профессор, *никогда и ни в чем* не отклонявшийся от своих профессиональных занятий, стал одним из самых авторитетных лидеров общественной оппозиции и кумиром нескольких поколений русских образованных людей.

Надо отметить при этом, что Грановский оказался удивительно созвучен эпохе — потому, собственно, он и остался в истории одним из самых значимых ее символов. Очевидно, что такой человек и в другие времена был бы популярен — в узком кругу университетской профессуры, например, любим студентами, уважаем в обществе, но более того — едва ли... Ведь Грановский ни в коем случае не был гением, поражающим своей интеллектуальной и творческой мощью, непреодолимой энергетикой или какими-то из ряда вон выходящими организационными способностями. Он обладал талантами, достаточно скромными, камерными, но — именно теми, которые были предельно востребованы эпохой.

Не будучи блестящим оратором (кто бы, впрочем, разъяснил, что скрывается за этим стереотипным словосочетанием...), Грановский и в частных беседах, и, в особенности, в лекциях проявлял редкую способность к очень ясному и пластичному изложению сложных философских построений (гегельянских прежде всего): как никто другой, он умел насытить их конкретикой, воплотить в реалиях исторического прошлого, приблизить к слушателю, увлечь ими. Во времена же, когда русское общество приобщалось к европейской духовности, в первую очередь постигая именно эти построения, значение Грановского для тех же западников невозможно переоценить. Грановского отличали такие качества, как терпимость, мягкость, человечность; он всегда был открыт обществу и обладал удивительным умением общаться — людей тянуло к нему. В эпоху же, когда *дружеский кружок и литературный салон* стали чуть ли не главными явлениями общественной жизни, наш герой неизбежно должен был оказаться в самом ее центре... При этом, поскольку круг «образованного меньшинства» в 1840-х был крайне узок — практически все знакомы друг с другом лично; все встречаются, общаются, спорят, переписываются — личный пример, личностное воздействие играли здесь роль, несравненно большую, чем в более поздние времена. Грановский, с его обаянием, чуткостью, исключительной порядочностью при таких условиях был просто обречен на общественное служение, на лидерство...

В подтверждение этих соображений сошлюсь на А. И. Герцена, который объяснял влияние очень ценимого им Грановского на современников следующим образом: «Его сила была не в резкой полемике, не в смелом обращении, а именно в положительном нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном протесте против существующего порядка»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Условия, в которых прошли детство и юность Тимофея Николаевича Грановского, отнюдь не обещали ему такого яркого и значительного будущего. Скорее, наоборот...

Т. Н. Грановский родился в городе Орле 9 марта 1813 года. Обычные в справочной литературе сведения о том, что родился он «в дворянской, помещичьей семье среднего достатка», нуждаются в некотором уточнении: бытие дворянско-помещичьего рода Грановских было крайне непродолжительным. Как справедливо и, очевидно, не без иронии писал близкий друг и первый биограф историка П. Н. Кудрявцев: «Фамильные воспоминания Грановских почти не простираются назад далее первого владетеля Погорельца из их рода»<sup>2</sup>. Владетелем этим был дед Тимофея Николаевича, сведения о котором крайне скучны... Известно лишь, что он пришел в город Орел «неведомо откуда», с пятнадцатью копейками в кармане, по его собственным воспоминаниям; будучи человеком явно незаурядным и предприимчивым, сумел здесь разбогатеть — отчасти за счет удачной женитьбы «увозом», отчасти потому, что стал удачливым ходатаем по гражданским делам, — купил поместье под Орлом, вышеназванный Погорелец. Отец же Грановского, Николай Тимофеевич, был человеком крайне ленивым и апатичным, не унаследовавшим от «основателя рода Грановских» ни капли его энергии. Вследствие безалаберности отца, почти полностью разорившего наследственное имение, сам Грановский доходов от него практически не получал и зреющую часть своей жизни прожил, так и не приобщившись толком к помещичьему бытию.

Все эти обстоятельства, очевидно, следовало отметить хотя бы для того, чтобы констатировать: принадлежность Грановского к поместному дворянству носила чисто формальный характер. По образу жизни, привычкам, источникам существования и, что самое главное, по самоощущению Грановский,

несомненно, принадлежал уже к той социальной и духовной общности, которая в 1830-х–1840-х годах только-только начинала формироваться, — к разночинной интеллигенции.

Несчастный характер отца, проявлявшийся, прежде всего, в полном безразличии к семейным делам и, в частности, к судьбе своего старшего сына, отчасти компенсировался нежной заботой, которую всегда проявляла к Грановскому мать, Анна Васильевна (урожденная Чарныш). Так же, как и многие другие выходцы из провинциальных дворянских семей этого времени, Грановский свою мать поминал только добрым словом. Вскоре после ее смерти, в 1831 году, он писал в одном из своих писем: «Мысль, что ее нет более, делается невыносимой с каждым днем; что становится со мною без нее! Моя мать была моим Провидением на земле»<sup>3</sup>.

Для подобных слов у будущего историка были все основания: выбраться из провинциального болота, преодолеть очень опасное, с точки зрения будущего, состояние дворянского недоросля-бездельника, ему, действительно, удалось только благодаря своей матушке. Анна Васильевна не жалела для сына ни сил, ни времени, очень правильно понимая и развивая его духовные потребности: всячески приохочивала его к чтению, добывая хорошие книги у окрестных помещиков, добилась того, что нерадивый отец, нехотя, но послал все-таки Тимофея учиться в московский пансион Кистера, и, наконец, после отъезда Грановского в Петербург на службу в 1831 году, всеми силами поддерживала его стремление получить университетское образование. Именно после смерти Анны Васильевны Грановскому, которому теперь приходилось рассчитывать только на свои силы, предстояло пройти через серьезные лишения. Отец почти перестал высыпать ему деньги, средств часто не хватало даже на еду; со службы Грановский уволился, чтобы иметь возможность серьезно готовиться к университетским экзаменам. Дня на это не хватало — приходилось заниматься по ночам. В результате начались болезни... Можно до-

гадываться, что именно в это время Грановский подорвал свое здоровье, что, в конце концов, и предопределило его раннюю кончину (в 42 года).

В 1832 году Грановский все-таки поступил на юридический факультет Петербургского университета. Подобный выбор сам по себе свидетельствовал, что ясного ощущения своего призвания у юноши еще не было — на протяжении всего XIX века юридические факультеты российских университетов являлись обычным прибежищем для молодых людей, желавших получить высшее образование, но крайне смутно представлявших, какое именно образование им потребно...

В целом, учеба в университете, очевидно, не вполне оправдала несколько восторженных ожиданий Грановского. Петербургский университет вообще переживал тогда не самые лучшие времена: лишь в 1827 году было официально закрыто дело прогрессивно настроенных профессоров, начатое в конце правления Александра I пресловутым Руничем, которое стоило университету его лучших сил. В начале же 1830-х годов посредственность здесь не просто преобладала — она царила...<sup>4</sup>

Грановский, надо думать, учился вполне добросовестно: посещал лекции, сдавал экзамены, читал научную литературу. Последнее было, наверное, особенно важно и плодотворно. В целом же совершенно справедливую оценку его учебе дал Кудрявцев, писавший по этому поводу: «Грановский прошел трехгодичный университетский курс как добрую солидную школу, в которой имел случай познакомиться со многими науками и собрать хороший запас фактических сведений разного рода, но в которой не состоял ни под каким влиянием, так что, выходя из нее, не вынес никакого решительно направления»<sup>5</sup>.

А это означало, что по выходе из университета Грановский снова оказывался на обочине — с неясными стремлениями, «запасом фактических сведений» и полным отсутствием

перспектив. Эту чисто житейскую бесперспективность Грановский, кстати, понял очень скоро. В 1833 году он писал в одном из своих писем: «Я работаю сколько есть сил, чтобы со временем сделаться писарем»<sup>6</sup>. Что и произошло... Устроился на службу Грановский, правда, не писарем, а на чуть более благопристойную и значительно менее изнурительную должность библиотекаря одного из департаментов Морского министерства, но ненавистную ему чиновничью лямку тянуть все же пришлось. Преимущество этой службы было в одном: она отнимала не так уж много времени, что позволяло Грановскому продолжать начатое в университете — поглощать научную литературу. Очевидно, именно в это время он начинает всерьез увлекаться историей, самоучкой разбираясь в сочинениях, которые по справедливости считались в те годы наиболее интересными и новаторскими — его увлекают, прежде всего, труды французских историков Гизо и О. Тьеरри. Последний, по словам В. В. Григорьева, хорошо знавшего в те годы Грановского, сделался вообще «любимцем и предметом восторженных похвал» будущего историка; он даже начал перевод сочинения Тьеरри «Покорение Англии норманнами», но осилил всего две главы<sup>7</sup>. В это же время — в 1835 году — Грановский публикует в петербургских журналах несколько статей исторического характера, правда, представлявших собой не более чем добросовестные компиляции из трудов европейских ученых.

В целом, все это вместе взятое — служба в библиотеке, незаконченный перевод, составление и публикация компиляций — особых поводов для радости, в общем-то, не давало. К тому же молодого человека по-прежнему донимало безднечье, на что он постоянно жаловался в своих письмах. Но главное, что должно было мучить Грановского — это будущее, которое оставалось туманным. Отсутствие ясной цели, ради которой стоило бы трудиться не покладая рук, лишило энергии и подрывало многие начинания. Судя по переписке, имен-

но поэтому 1835 год, первый год по выходе из университета, был для Грановского тяжелым, даже мучительным.

Однако в конце именно этого года произошло событие, определившее собою всю дальнейшую жизнь Грановского: он получил совершенно неожиданное предложение от попечителя московского учебного округа графа С. Г. Строганова отправиться в Германию, в Берлин, «для усовершенствования в науках» с тем, чтобы по возвращении занять в Московском университете кафедру зарубежной истории. Это предложение, отвечавшее самым смелым мечтам Грановского и даже превосходившее их, походило на чудо.

Однако, как и у многих других чудес, у этого чуда было вполне рациональное объяснение. Источником его, с одной стороны, стал сам Грановский, с его обаянием, способностью легко сходить с людьми; с другой — постепенно формирующаяся общность университетской молодежи, стремившейся к взаимопониманию и склонной к взаимоподдержке. Наступали времена, когда слово «дружба» приобрело совершенно особый, возвышенный и романтический смысл, позже почти забытый...

Проще говоря, скитаясь по редакциям петербургских журналов, Грановский свел там несколько знакомств с молодыми сотрудниками-москвичами, которые затем превратились в «пожизненную» дружбу. И прежде всего, это было знакомство с Я. М. Неверовым, а через него, во время одной из поездок в Москву, — с Н. В. Станкевичем и целым рядом членов сформировавшегося вокруг этого молодого человека дружеского кружка. Грановского в кружке почти сразу приняли как своего и постарались помочь, чем могли. Главным же творцом чуда, благодаря которому Московский университет и русское общество обрели одного из самых ярких своих представителей, стал В. К. Ржевский — хороший знакомый Станкевича и Неверова, служивший под началом графа Строганова и имевший на него определенное влияние.

В мае 1836 года, после того, как все необходимые формальности были улажены, Грановский пароходом отплыл в Германию «за золотым руном европейской науки».

\* \* \*

Стажировка в Германии, в Берлинском университете, имела для Грановского огромное значение. Именно в эти годы (1836–1839) он окончательно сформировался как личность, определил направление своего жизненного пути и заложил основы будущей деятельности. Учился Грановский с большим энтузиазмом, благо было у кого: он слушал в Берлине лекции профессоров, слава которых гремела на весь ученый мир — Риттера, Раумера, Ранке. «Какие люди!» — восторженно писал он в одном из своих первых писем на родину. При этом в отношении Ранке, который надолго стал его кумиром, Грановский многозначительно замечал: «Он понимает историю»<sup>8</sup>.

Понимать историю стремился и сам Грановский. Он изначально отвергал чисто фактологический подход к изучению прошлого. О том же Раумере, например, Грановский пишет: «Он много знает, но холоден и мелочен. Говорит о пустяках, которые всякому известны, а сверх того не имеет никакого твердого мнения от желания быть беспристрастным»<sup>9</sup>. Поиски скрытого смысла истории становятся для Грановского главным делом во время его стажировки в Берлине. Об этом он постоянно пишет своими московским друзьям, встречая с их стороны полное понимание. «Работай, усиливай свою деятельность, — пишет Грановскому Станкевич, — но не отчайвайся в том, что ты не узнаешь тысячи фактов, которые знал другой. Конечно, твоё будущее назначение обязывает тебя иметь понятие обо всем, что сделано в твоей науке до тебя; но это приобретается легко, когда ты положишь главное основание своему знанию, а это основание скрепиши идеей»<sup>10</sup>. По твердому убеждению Станкевича, «история мертвa без фи-

лософии»: для того, чтобы понять ее глубинный смысл, необходимо обратиться к тем, кто лучше всех постиг тайны бытия, — к «немецким мудрецам-философам» и, прежде всего, к Гегелю.

Подобные рекомендации со стороны Станкевича вполне отвечали духу времени. В те годы стремление понять окружающий мир, осознать общие законы его бытия и развития, как правило, приводили мыслящих людей к немецкой философии — точно так же, как в предшествовавшую эпоху за ответами на подобные вопросы обращались, прежде всего, к философии французского Просвещения. Труды Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля вызывали все больший интерес в Европе; их начинали постепенно осваивать и в России. Правда, здесь немецкая философия была еще внове; процесс ее изучения и популяризации в 1830-х годах только набирал силу. И именно тот кружок, душой которого был Станкевич, играл в этом процессе, без преувеличения, главную роль.

Призывы нового друга возымели на Грановского свое действие. Поначалу он хотел отложить изучение философии на более поздний срок. Первый год своей стажировки он собирался посвятить интенсивному изучению исторических источников и монографий. Однако эта несколько монотонная, не «скрепленная идеей» работа привела в конце концов к кризису: Грановский всерьез усомнился в познавательных возможностях избранной им науки. Стоит ли, вообще, заниматься историей, если она не дает ничего, кроме груды разрозненных фактов и отдельных, не связанных между собой соображений? Этот вопрос мучил Грановского всерьез; позже, в письме к своему товарищу по Петербургскому университету В. В. Григорьеву он вспоминал, что «чуть не сошел с ума, видя невозможность добиться дельного ответа». И в том же письме он давал совет приятелю, находившемуся в схожем состоянии духа: «Займись, голубчик, философией... Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он успокоит твою душу»<sup>11</sup>.

Таким образом, в 1837 году произошло одно из главных событий в духовной жизни Грановского: он стал гегельянцем. Именно философия Гегеля составила «главное основание» большинства работ Грановского; из нее он извлек и «скрепляющую идею» для своего замечательного лекционного курса. Влияние гегельянства на Грановского долгое время было очень сильным, а поначалу и вовсе определяющим. «Есть вопросы, — писал в 1837 году молодой историк, — на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все, что *теперь* доступно знанию человека, и самое знание, у него чудесно объяснено»<sup>12</sup>.

Первый год своего пребывания в Берлине Грановский прожил отшельником. Положение изменилось, когда в Берлин приехали друзья — сначала Неверов, а затем, осенью 1837 года, Станкевич. Именно Станкевич, в полной мере обладавший тем, что называется общественным темпераментом, резко изменил жизнь Грановского. Серьезным занятиям теперь сопутствовали прогулки по Берлину, посещение театра, выходы в свет. Чрезвычайно важны были и постоянные беседы со Станкевичем, человеком, обладавшим редким даром «оживлять», делать понятными самые сложные, отвлеченные идеи. Очевидно, именно в это время Грановский приобретает те навыки живого интеллектуального общения, которые затем сыграли такую важную роль в его деятельности — и в Московском университете, и в московском обществе. Много дала молодому ученому и поездка по Австрийской империи, которую он совершил на третий год стажировки. Грановский побывал в Праге и в Вене, перемежая интенсивную работу в библиотеках и архивах с интересными встречами и знакомствами<sup>13</sup>.

Под конец стажировки Грановский уже достаточно ясно определяет свои планы на будущее. От работы над магистерской диссертацией, которая, по идеи, должна была бы стать главным результатом его учебы за границей, он пока что отказывается. «Исторического сочинения, сообразного моим

требованиям, — пишет Грановский, — я не могу написать. За материалами дела не станет, но связать их единой мыслью, придать им художественную форму у меня не достанет силы»<sup>14</sup>. Между тем, у Грановского к этому времени сложилось твердое убеждение: не разобравшись в целом, нельзя браться за частности; не осознав до конца глубинный смысл истории, не поняв закономерности исторического процесса, не стоит разрабатывать конкретную тему — толку все равно не будет. Становиться сугубо академическим ученым, специализироваться по узкой теме Грановский не желал. «Мне хочется работать, но так, чтобы результат этой работы был полезен другим»; «работать только для себя мне скучно, мне нужна живая (выделено мной. — А. Л.) деятельность», — подобные замечания постоянно мелькают в его переписке 1838–1839 годов<sup>15</sup>.

Формируя свою личную систему ценностей, Грановский безусловный приоритет отдает не исследовательской работе, а «профессорству»: чтению лекций, посвященным истории в целом, и живому общению со студентами. Вот где можно было связать воедино «клочки знаний», постичь истину самому и открыть ее другим! «Хочу, — писал Грановский, — читать историю средних веков на славу. Пусть со всех краев мира идут меня слушать». Как видно из этих строк, Грановский был уверен в том, что «берет себе дело по силам». Он, собственно, так и говорил своим друзьям: «Мне кажется, что я могу действовать при настоящих моих силах, и действовать именно словом. Что такое дар слова? Красноречие? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убеждения. Я уверен, что меня будут слушать студенты...»<sup>16</sup>. Сейчас, когда мы, задним числом, знаем, что Грановскому в ближайшем будущем суждено было стать самым популярным лектором Московского университета за всю его историю, — эти строки, соглашитесь, производят впечатление.

Грановский вернулся в Россию летом в 1839 года, заняв, как и предполагалось, кафедру зарубежной истории в Мос-

ковском университете. Тему магистерской диссертации — «Волин, Иомсбург и Винета» — Грановский определил для себя только после возвращения; защитил же ее он лишь в 1845 году. В этой работе Грановский доказывал, что Винета — «величественная столица» балтийских славян венедов — представляет собой не более чем «фантазию», в которой причудливо сплелись смутные предания о реально существовавших славянском городе Волине и норманнской крепости Иомсбург. В целом диссертация Грановского представляла собой несколько запоздалый отклик на деятельность «скептической школы» во главе с М. Т. Каченовским — представители этого, очень популярного в 1830-х годах, направления стремились именно к тому, чтобы очистить знание о прошлом от всяких фантазий. Докторская диссертация «Аббат Сугерий», защищенная в 1849 году, сыграла определенную роль в разработке Грановским чрезвычайно важного для его лекционного курса вопроса о роли Католической церкви в становлении европейской цивилизации. Оба исследования были написаны весьма квалифицированно, с присущей Грановскому ясностью мысли и убедительностью — и все же заметными вехами в становлении русской медиевистики они, пожалуй, не стали... А вот небывалый лекторский дар Грановский обнаружил буквально с первого года работы в Московском университете, оставшись в памяти современников и потомков «профессором по преимуществу» — по счастливому выражению одного из своих друзей.

\* \* \*

Московскому университету суждено было сыграть чрезвычайно важную роль в общественном движении николаевской эпохи. У верховной власти в это время к университетскому образованию отношение было настороженное. Сам Николай I университеты вообще и московский в особенности недолюб-

ливал, предпочтая им специализированные учебные заведения, а еще лучше — кадетские корпуса. Оно и понятно: дух свободы, который неизбежно витал там, где окружающий мир и знание о нем воспринимались, по определению, как единство бесконечно разнообразного («универсум»), едва ли мог ужиться с жестокими постулатами официальной идеологии. Недаром одной из первых реакций, вызванных еще большим ужесточением идеологического и административного воздействия на общество в связи с европейской революцией 1848–1849 годов, стали упорные слухи о закрытии русских университетов. Слухи так слухами и остались, но характерно, что распространялись они широко и никого особенно не удивляли...

Сохраняя университетское образование, правительство, стремившееся к тотальному контролю над обществом, действительно, рисковало: университетское преподавание поддавалось контролю значительно хуже, чем, скажем, периодическая печать или театр. Замечательно писал по этому поводу И. А. Гончаров, сам учившийся в Московском университете в 1830-х годах: «Наука может быть вовсе отменена, кафедра ее закрыта... Но, если бы она не закрывалась, ограничение профессорского слова, духа и смысла его лекции едва ли было бы возможно. Профессор сумел бы дать понять себя, а слушатели сумели бы угадывать недосказанное, как читатели умеют читать между строк»<sup>17</sup>.

Специфика университетского преподавания не избавляла, впрочем, тех, кто пытался плыть против течения, от давления со стороны начальства и нападок со стороны коллег — сторонников официальной идеологии (а таковых в университетах хватало — и искренних, и «прислуживающих»). Однако Московский университет попадал здесь в особую ситуацию из-за того, что попечителем Московского учебного округа, которому он непосредственно подчинялся, был граф Сергей Григорьевич Строганов, человек в высшей степени неординарный.

Среди николаевских бюрократов, которые в Министерстве народного просвещения были, в целом, ничуть не лучше всех прочих, он заметно выделялся чрезвычайно редкими в этой среде чертами: самостоятельностью и оригинальностью убеждений и чувством собственного достоинства, которое позволяло ему эти убеждения отстаивать.

Характернейшей чертой Строганова было искреннее и глубокое уважение к науке и просвещению, органично распространявшееся и на тех людей, которых он считал по-настоящему учеными и просвещенными. При этом сам Строганов, будучи человеком с разнообразными научными интересами и достаточно обширными, пусть и не всегда глубокими знаниями, не склонен был обманываться официозными заявлениями и верноподданническими призывами. Аdeptов теории «официальной народности», вроде профессоров М. П. Погодина и С. П. Шевырева, он явно недолюбливал, а самого творца официальной идеологии, своего непосредственного начальника, графа С. С. Уварова, явно презирал. Твердость же характера и независимость положения — Строганов был одним из богатейших людей России — позволяла ему в каждом конкретном случае отстаивать свою точку зрения без обычного для бюрократа рабского страха за свое место (хотя, как мы увидим ниже, и это правило было не без печальных исключений). Подобная позиция облегчалась отчасти еще и тем, что Строганов относился к тем редким представителям сановной среды, чьи независимые суждения не вызывали раздражения у Николая I.

Все это вместе взятое привело к тому, что профессура прогрессивного направления имела в Московском университете своего рода прикрытие. Как ни парадоксально, но вельможа-аристократ, обладавший, в целом, весьма консервативными убеждениями, оказывал покровительство именно профессорам-западникам, поддерживая их в сложных ситуациях — до определенного предела, конечно, — и последовательно гася

скандалы, раздувавшиеся их противниками. В значительной степени благодаря Строганову так называемая «молодая профессура», целая плеяда блестящих ученых и лекторов — юристы П. Г. Редкин и Н. И. Крылов, античник Д. Н. Крюков, экономист А. И. Чивилев и ряд других, — прошедших зарубежную стажировку и усвоивших современные подходы к науке, быстро утвердились в Московском университете, начав играть там определяющую роль. В этой плеяде Грановский сразу же стал звездой первой величины.

На лекции Грановскому свойственно было опаздывать. «...Четверть часа уже прошла после звонка. Вся аудитория в каком-то ожидании. Разговоры смолкли, и все вышли на лестницу, ведшую в аудиторию. „Будет ли?“ — говорит один из студентов. — „Будет“, — отвечает другой. — „Должно быть, не будет“, — заявляет третий, смотря на часы. — „Приехал!“ — кричит снизу швейцар, как будто отвечая на нетерпеливое ожидание. — „Идет...“ — и вся толпа двинулась в аудиторию, все спешат заполнить места. Глубокая тишина воцарилась в зале»<sup>18</sup>. Этот небольшой и очень живой отрывок из воспоминаний студента-слушателя лекций Грановского, я думаю, оценят все, кому приходилось стоять на кафедре. Лекторов крайне редко ждут с таким нетерпением... Грановского ждали подолгу, причем аудитория практически всегда была забита до отказа — на лекции профессора-медиевиста ходили студенты всех факультетов, включая медиков. Слушатели сидели на подоконниках, на ступеньках у кафедры — если ученье слабый голос и плохую дикцию Грановского, требовавших, действительно, глубокой тишины, то это были, может быть, самые удобные места...

Как уже писалось выше, подобная, из ряда вон выходящая популярность Грановского не является самоочевидной и требует объяснений. О многом сейчас мы можем лишь догадываться — обаяние устной речи Грановского, естественно, невосстановимо. Судя по воспоминаниям современников,

манеру чтения лекций Грановским отличали предельная естественность и искренность, полное отсутствие того, что называется позой. Об этом, кстати, писал и сам молодой профессор: «При изложении я имею в виду пока только одно — самую большую простоту и естественность. Даже тогда, когда рассказ в самом деле возьмет меня за душу, я стараюсь охладить себя и говорить по-прежнему». В то же время лекционный курс Грановский читал с полной самоотдачей, стремясь донести до слушателей то, что его волновало, вызвать сочувствие своим мыслям, увлечь своим настроением. Для этого спокойного, сдержанного человека кафедра была местом, где он раскрывался перед аудиторией, выражал себя полностью — а это дорого стоило: «... после всякой лекции я прихожу в решительное изнеможение; нервы разыграются и упадут совершенно»<sup>19</sup>. Однако эта полная самоотдача почти сразу привела к желаемому результату — слушатели поняли и оценили своего профессора, как должно: «...Здесь (на кафедре. — А. Л.) по преимуществу было его творчество, — много лет спустя писал один из них, — здесь он жил своею духовною стороныю, здесь высказывались его думы, сочувствия, убеждения»<sup>20</sup>.

При таком подходе к делу лекции Грановского никоим образом не могли быть обычной «подачей материала» — они воздействовали на слушателей в определенном направлении, разворачивая, соответственно, их сознание, настраивая на соответствующий лад, приобщая к самым заветным убеждениям лектора.

\* \* \*

Чему же, собственно, учил Грановский? И чем учение это было так привлекательно для студенческой молодежи 1840-х годов? В лекции Грановского необходимо было внимательно вслушиваться. В еще большей степени это напряженное внимание потребно нам, лишенным живого обаяния

устной речи Грановского, при анализе студенческих записей лекционного курса. При первом подходе они, повторюсь, могут и разочаровать... Нужно было вслушаться (нам — вчитаться), чтобы понять главное: в лекциях Грановского один герой — исторический процесс в целом. Рассказ его о движении, развитии, проявлении в массе конкретных исторических событий, исследование и объяснение его закономерностей — все это, собственно, и составляет содержание лекционного курса.

Необходимый настрой в этом отношении давали уже первые, вступительные лекции Грановского, в которых он, по словам одного из самых любимых своих учеников, Б. Н. Чичерина, «с удивительной ясностью и широтой излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный»<sup>21</sup>.

Превращение изучения прошлого, которое всегда волновало человечество, в серьезную науку — историю, произошло, считал Грановский, совсем недавно, лишь в конце XVIII века. До этого ученые улавливали лишь внешнее движение истории, «действующий изнутри дух», определявший это движение во всех его подробностях, составлявший суть исторического процесса, был выше их понимания. «Оплодотворение истории» передовыми идеями немецкой философской мысли сделало это понимание возможным. Характеризуя труды мыслителей — Гердера, Канта, Шеллинга, — в которых происходил этот многообещающий процесс, Грановский приводил своих слушателей к Гегелю, которому удалось окончательно утвердить историю на философской основе. В соответствии с идеями великого немецкого философа конструировал исторический процесс в своих лекциях и сам Грановский.

Вслед за Гегелем движущую, «зиждительную» силу всего сущего Грановский видел в абсолютном духе. Абсолют «открывает себя в явлении», познает себя в нем; история всего мироздания есть процесс самопознания абсолютного духа через проявление его в реальности. В истории человечества аб-

солютный дух реализует себя в виде духа народного, который и определяет бытие каждого народа в отдельности.

При этом Грановский обращал внимание своих слушателей на то, что народный дух отнюдь не идентичен абсолютно-му. Абсолют многообразен и в многообразии своем совершенен; в каждом же проявлении своем он открывает лишь *часть себя*. В духе каждого народа Абсолют реализует лишь какую-то определенную свою сторону. Отсюда своеобразие (и вместе с тем несовершенство) бытия этого народа; отсюда неизбежная последовательная смена народов, совершающихся на земле свою историческую миссию. При каждой такой смене Абсолют являет себя по-новому, познает себя с новой стороны — так, в процессе самопознания абсолютного духа совершается история человечества<sup>22</sup>.

Каков же механизм этого развития, этого вечного, устремленного в будущее движения? «Всякая жизнь, — говорил Грановский, рассуждая в соответствии с известным постулатом Гегеля, — условлена борьбою противоположных сил, которая, наконец, заключается каким-нибудь продуктом, полезным для целого...» (44). В отношении же истории эта борьба виделась ученному в столкновениях беспокойного духа с теми формами, которые он сам создает в своем постоянном само выражении. Это творческое преодоление Абсолютом неполного и несовершенного, во имя стремления к совершенству и полноте, и составляло, по Грановскому, самую суть исторического процесса. Ну, а уж коли лектор воспринимает сам и преподносит слушателям историю не как совокупность хаотических событий, а как единый *целенаправленный* процесс, то он неизбежно берет на себя обязательства разобраться самому и приобщить своих слушателей к сознанию того, каково это *направление* и что представляет собой эта цель.

Для Грановского подобный подход разумелся сам собой. «Весь прогресс человечества, — заявлял он в одной из своих первых лекций, — заключается в том, что человечество стано-

вится сознательнее и цель его бытия яснее и определеннее» (45). Само собой разумелось, что лекции по древней и средневековой истории открывали путь к познанию *современности*. Раскрывая в них с максимальной полнотой и ясностью постепенный, мучительный процесс «просветления» человечества, Грановский исподволь вовлекал в него своих слушателей. Опыт прошлых веков должен был помочь им осознать настящее, понять, какую роль в истории человечества играет народ, какие проблемы эта история ставит перед их страной; и, тем самым, предельно облегчить поиски своего места в борьбе нового со старым, отжившим...

Заявленную схему, естественно, необходимо было одеть плотью исторических фактов. У Грановского был четкий критерий для отбора фактического материала, который давало ему все то же гегельянство. Поскольку Абсолют творит во вне, создавая определенные формы, то именно обращаясь к их изучению, человек соприкасается с творящим духом. Из форм же этих, отмечал Грановский, наиболее значимы в истории каждого народа всего две: в сфере внешнего бытия — государство; в сфере внутренней духовной жизни — религия.

Однако Абсолют творит не только создавая, но и разрушая — именно эти «переломные эпохи», содержащие в себе *переход от старого к новому*, должны привлекать историка в первую очередь: «Только здесь, — говорил Грановский, — возможно опытному уху подслушать таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле». Анализ же «механики» этих эпох начался для Грановского с *идей*, являвшихся провозвестниками Абсолюта, и с *великих людей*, исторических деятелей, которые, одушевляясь этими идеями, воплощали их в жизнь.

Итак, Грановскому совершенно ясно было, что в истории представляет наибольший интерес: между людьми — «великие люди, цвет народа, которого дух в них является в наибольшей красоте; между событиями — великие перевороты,

которыми начинаются новые круги развития; между положениями — те, в которых развитие достигает полноты своей; наконец, между формами — великие общества, в которых народная жизнь просторнее движется и чище выражается: церковь и государство» (46–47). Свой лекционный курс Грановский строил соответственно этим подходам, причем и в подборе, и в изложении материала был чрезвычайно последователен.

\* \* \*

Предельно обобщая — и, соответственно, неизбежно огрубляя смысловое содержание курса, можно передать его следующим образом. Прежде всего, необходимо отметить, что для Грановского, как для всякого гегельянца, «исторически существовать» и «исторически развиваться» были понятиями совершенно различными. Здесь он вполне следовал за Гегелем, не видевшим на той огромной территории, которую обычно называли «Востоком» (практически все, что не Европа), ничего похожего на целенаправленное развитие и потому не проявлявшим к этому «Востоку» никакого интереса. «История Востока, — говорил Грановский, — не беднее, даже богаче европейской событиями и переворотами, но в ней почти нет переходных эпох. События совершаются там большей частью как бы на поверхности, не опускаясь на дно неподвижных обществ» (92). В истории Востока Грановский не видел «постепенности и, следовательно, логической необходимости». Восток не был осенен Абсолютом — и потому он всегда оставался за рамками лекционного курса Грановского.

Древняя Греция и Рим — вот где началась подлинная история человечества; и не только началась, но и впервые прошла полный цикл своего развития. Если Восток «одряхлев, не взрослев», то «Греция и Рим представляют картину и юного, и зрелого, и состарившегося человечества» (92–93).

Главную идею, одушевлявшую историю древнего мира, Грановский видел в стремлении к совершенному государственному устройству. Свое наиболее полное и привлекательное воплощение эта идея получила в древнегреческих городах-государствах, и прежде всего — в Афинах. Сила полиса была в удивительной, близкой к совершенству взаимосвязи общего и частного: гармония государственного устройства обуславливала гармоническим развитием личности каждого гражданина, которое, в свою очередь, гарантировалось демократическими институтами полиса. Афины в изображении Грановского были близки к воплощенному идеалу взаимоотношений государства как целого, как системы, и тех граждан, из которых оно, собственно, и состояло.

Однако столь привлекательный плод, созревший, казалось бы, у самых истоков человеческой истории, «был с червоточиной»: все это совершенство предлагалось лишь избранным; оно создавалось в значительной степени за чужой счет, благодаря политической гегемонии, которую Афины установили в Греции. Границы «идеального» полиса были узки, а следовательно, столь же узки были и границы всех достижений афинян, как в политической, так и в духовной сфере. Это, в конечном итоге, привело к крушению Афин, победе «грубой Спарты», а затем ко всеобщему хаосу Пелопонесской войны. Абсолюту стало тесно в созданных им формах, и он в своем развитии безжалостно разрушает их, не считаясь с их внешним совершенством<sup>23</sup>.

Полноправным наследником древнегреческой цивилизации стал Рим. Однако, усваивая «греческие начала» и перерабатывая их, Рим дал им направление в высшей степени одностороннее. Усовершенствовав элементы греческого полиса, построив на их основе мощное государство, вышедшее за пределы одного города и вобравшее в себя сначала Италию, а затем и все Средиземноморье, римляне пожертвовали его моци человеческую личность. «Гражданин взял верх над человеком».

Исключительное развитие одного начала никогда не проходит даром. «Страшное преобладание государства» роковым образом проявило себя в императорском Риме. Монструозный, громоздкий государственный аппарат поглощает и подавляет все живое. Резко возрастают подати; право, «справедливое в своем основании», сознательно искажается, становится орудием деспотизма. Еще выразительней «порча» оказывается в духовной жизни: «Наука не шла вперед; в искусстве совершенный упадок... Самые благородные умы развращены... Участие общества только внешнее» (96). Став воплощением односторонности, Рим обречен был на застой, гниение и конечную гибель.

Основные причины крушения Древнеримской империи были, таким образом, внутренние: творящий дух вновь разрушал несовершенную форму. Но этот процесс принял совершенно особый характер, в связи с появлением новой исторической силы — варваров. Германские племена — вот та сила, через которую Абсолют начинает выражать себя по мере того, как дряхлеет Рим. Причем начало этому процессу было положено исподволь: вступая на арену мировой истории, германцы уже имели свою цивилизацию, «особую, простую, отличную от античной, но тем не менее выдигавшую их из ряда диких племен» (118). При этом Грановский четко выделял основную идею, одушевлявшую эту цивилизацию у самых ее истоков — идею свободы.

Именно идея свободы лежала в основе того причудливого порядка, который победившие варвары создали на руинах Римской империи. Причем, говорил Грановский, эта идея, получившая в новом обществе, казалось бы, максимально полное воплощение, привела к печальным результатам: «Личность, разорвавшая цепи, которыми опутывало ее государство, оказалась не в силах воспользоваться предоставленной ей свободой на благо себе и всему миру». Грановский отмечал «страшное развитие» в эпоху феодализма эгоистических на-

чал в человеке: «... Никогда не бывало в истории такого общества, где личная свобода была бы так развита, до такого свое-нравственного полномочия и эгоизма» (168–169).

Относительно немногочисленные победители, члены «германских дружин», составили господствующий слой нового общества — феодалов, — завладев землей и теми, кто населял ее, на правах, «близких к самодержавным». Их почти безграничная свобода была чревата для основной массы населения столь же безграничным угнетением. Социально-политические отношения в этом обществе определялись личным произволом. Сфера духовной жизни была пронизана «нравственной порчей», порожденной беспредельным эгоизмом власти имущих. «Никогда не было более недостойного общества...» (169).

И все же, в отличие от древнего, рабовладельческого, это общество имело перспективы. Грановский указывал в феодальном обществе зародыш сил, способных обуздать эгоистическую личную свободу и тем самым обеспечить ему более плодотворное развитие. Источник этих сил таился в христианстве, которое, вытеснив «безжизненное язычество», стало залогом создания «единой европейской цивилизации»<sup>24</sup>.

Благодетельное влияние христианства сказывалось во всех сферах — духовной, нравственной и, что особенно выделял Грановский, в сфере «политической». Именно христианство одушевляло государственную, королевскую власть на поиски выхода из хаоса феодализма. Под влиянием и в союзе с Церковью верховные правители рыхлых и несовершенных европейских государств начинают «работать на Абсолют», то есть на будущее, стремясь преобразовать феодальную анархию в прочный государственный и общественный порядок. Подобная деятельность не могла оставить равнодушными и угнетаемые сословия: народные массы, настрадавшиеся от насилия и произвола, начинают оказывать власти все более активную поддержку.

Процесс этот был чреват большой кровью, насыщен ко-варством и злобой. Грановский не уставал в своих лекциях обращать внимание слушателей на то, что «прогрессивное движение человечества» идет извилистым путем. И он ни в малейшей степени не склонен был идеализировать «героев прогресса» — французских Карла VII и Людовика XI, английских Ричарда III и Генриха VII, испанских Фердинанда и Изабеллу... В их деятельности Грановский в избытке находил «оскорбительное», «отталкивающее»; он отмечал, что эта деятельность в значительной степени носила характер «разрушительный и отрицательный». Честь, верность, рыцарская доблесть — все то, что христианство достаточно успешно насаждало в феодальном обществе, все то, что составляло «нравственность средневековья», в этой борьбе за «новую Европу» безвозвратно уходит в прошлое. Ее заменяют откровенный цинизм и принципиальная неразборчивость в средствах. Верный гегельянской диалектике Грановский отмечал, что эта «порча» беспощадно разъедала старое — феодальный порядок — и в этом было ее благо; но она же превращалась в серьезное препятствие на пути к «новому строю».

И самым ужасным было то, что эта «порча» стала разъедать и Церковь — главную вдохновительницу перемен. «Заветы Христа» она начинает игнорировать вслед за государями и политиками. Забыв о своей высокой духовной миссии, Церковь начинает стремиться к власти земной, заражаясь при этом всеми возможными земными пороками. Изживая свою внутреннюю нравственную силу, Церковь в то же время приобретает грандиозные материальные возможности; утрату авторитета в сфере духовной католицизм стремится компенсировать за счет усиления авторитарности, прямого насилия. Инквизиция, потом иезуиты... В эпоху Возрождения Католическая церковь окончательно превращается в мощное препятствие на пути развития человечества.

Порочности католицизма не смогла противостоять Реформация, истоки которой Грановский видел и в «глубокой потребности религиозной», и в потребностях социально-политических, явственно ощущавшихся на пороге Нового времени. Но и в Реформации очень быстро взял верх грубый корыстный расчет, нравственное чувство было подавлено у ее ведущих деятелей в такой же степени, как и у их противников. Реформация носила отрицательный характер – вот главная мысль Грановского. Вожди Реформации, по его словам, разорвали Европу на две половины, посеяли в ней семена раздора. «Единство было разорвано, но ничем удовлетворительным не было заменено. Европа пришла в какое-то странное брожение...»<sup>25</sup> В этом весьма неопределенном состоянии Грановский оставлял ее в своих лекционных курсах.

И, казалось бы, ученый, таким образом, не выдерживал принятой им схемы исторического процесса, терял ту перспективу, в соответствии с которой выверял логику своего курса. Казалось бы, Абсолют, творящий дух оказывался банкротом; его конечная цель – «нравственное государство», подобно древнегреческому полису являющееся единой совокупностью свободных граждан, но преодолевшее его ограниченность, – эта цель оставалась недостижимой... Где, на каких путях можно было отыскать выход из того «странныго брожения», в котором находилась Европа, когда те внутренние силы, за счет которых человечество совершало свое развитие, были либо истощены, либо утрачены?

В своем лекционном курсе Грановский, исподволь, осторожно, но очень последовательно проводил мысль о том, что «великие идеи», одушевлявшие человечество на заре нового строя, не исчезли бесследно. Хотя их безжалостно коверкали политики, изничтожали церковники и нетерпимые реформаторы, всегда оставалась сфера, где эти идеи не только сохранялись во всей своей силе, но и получали дальнейшее развитие – сфера научной мысли, которая с каждым веком

расширяла свои пределы, приобретая все большее значение в истории человечества.

Грановский высоко оценивал заслуги средневековой науки, унаследовавшей многие идеи, выработанные Древним миром. «Образование древних перешло в средние века, хотя путями часто темными, незамеченное, часто враждебное жизни, без силы бороться с нею» (98). Однако воодушевляемая этими, зачастую искаженными или неверно понятыми идеями, средневековая схоластика была «сильной, отважной, рыцарской наукой, ничего не убоявшейся, схватившейся за вопросы, которые далеко превышали ее силы, но не превышали ее мужества». Схоластика довольно быстро выродилась; с ней произошло то же самое, что и с католицизмом — на первый план вышли «внешние цели, доведенные до цинической крайности». Уже с XIV столетия схоластика становится *официальной наукой*, исполненной лжи: оправдание «надменного папства», логическое обоснование реакционных богословских теорий — вот сфера ее интересов<sup>26</sup>.

«...Но была и другая наука». Эта новая наука зародилась в недрах схоластики, в XV веке и постепенно завоевала всю Европу. Ее становление проходило под знаком *гуманизма*; в центре ее внимания был человек со всеми его земными, жизненными интересами. С XVI века эта наука стала единственным, по сути, источником идей, творящих историю. Ее догадки, предположения, теории были прозрением будущего, ибо устами ученых-гуманистов вещал Абсолют.

В своем лекционном курсе Грановский, естественно, не мог довести свои мысли до логического конца; однако тех, кто его внимательно слушал, ученый вплотную подводил к единственному возможному выводу: будущее за гуманистической наукой. Именно она сменяет религию в качестве основной духовной силы, движущей человечеством. Овладение тайнами природы, переустройство общества и государства в интересах человека, наконец, «просветление» самого человека через по-

беду разума над «дикими стихиями», «низкими страстями и пороками» — вот те цели, на которые она направлена и которых непременно достигнет<sup>27</sup>.

\* \* \*

Свой курс Грановский читал в духе заявленных им во вступительной лекции историософских подходов, соблюдая строгую последовательность и в подборе, и в изложении материала. Смыслоное единство и логическая стройность его обширных курсов (с сентября по апрель — около 50 лекций) просто поражают. Если же учесть, что различные курсы — по древней, средней и новой истории — также, в принципе, составляли единое целое, то в какой-то степени становится понятным то мощное воздействие, которое оказывал Грановский на своих слушателей. Насыщенный богатейшим фактическим материалом курс терял априорный схематизм, превращался в живое познание прошлого — сохраняя при этом свой глубинный смысл. Обаяние этого процесса, возобновлявшегося каждую неделю, на каждой новой лекции, захватывало студентов. «Несмотря на обилие материалов, на многообразие явлений исторической жизни, — писал много лет спустя один из слушателей Грановского, вспоминая его лекции, — несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего — слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другими. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к вечным целям, поставленным человеку провидением»<sup>28</sup>.

Через изучение истории познавался смысл человеческого бытия... Подход Грановского к преподаванию истории был по достоинству оценен современниками. С пониманием относи-

лись к нему и позже; такой далекий от сентиментальности, строгий в оценках и в то же время чуткий человек, как Ключевский, писал по этому поводу, что Грановский «создал идеальный первообраз профессора... История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни»<sup>29</sup>. В наше время А. Л. Осповат справедливо пишет, что «у Грановского можно обнаружить тенденцию представить историческую науку некоей меганаукой, которая в идеале должна посягать на разрешение вопросов, связанных с будущим человечества»<sup>30</sup>.

К этому следует добавить, что Грановский, несомненно, стремился не только учить, но и воспитывать своих слушателей, приобщая их к определенной жизненной позиции. Гегельянство дало миру немало сухих педантов — ученых с сильным интеллектом, развитой способностью к отвлеченному мышлению и полным равнодушием к живой жизни, к эмоциональной стороне человеческого бытия. Особенно много подобных педантов водилось тогда в сфере правоведения; но и среди историков их хватало. «Величайшие мыслители Германии, — писал по этому поводу А. И. Герцен, — не миновали соблазна насильтственного построения истории, основанного на недостаточных документах и односторонних теориях, — это понятно: сторона спекулятивного мышления была ближе их душе, нежели живое историческое воззрение»<sup>31</sup>.

Грановский счастливо избежал этой опасности: схема в его лекциях никогда не подавляла исторического материала. По великолепной оценке того же Герцена, «принимая историю за правильно развивающийся организм, он нигде не подчинял событий формальному закону необходимости... Необходимость являлась в его рассказе какою-то сокровенной мыслию, она ощущалась издали, как некий *deus implicitus*\*<sup>32</sup>, предоставляющий полную волю и полный разгул жизни».

---

\* Связанный бог (лат.).

Все это было немаловажно именно с точки зрения выбора жизненной позиции. И на университетской кафедре, и во всех остальных сферах своей деятельности Грановский всегда исходил из твердого убеждения в том, что человечеству изначально даровано право свободного волеизъявления — великое право, с которым сопряжены и великие обязанности. Каждый человек волен *сам* определять свою жизненную позицию — и *сам* должен нести всю полноту ответственности за деятельность свою и за бездействие... Историк же должен твердо помнить о том, что он исследует не только стадии саморазвития Абсолюта, но и историческое бытие многих и многих людей — полноправных участников этого грандиозного процесса. Пожалуй, наиболее четко свою точку зрения Грановский выразил в докторской диссертации — «Аббате Сугерии». «Благо тому, кто явным делом или неведомым участием содействовал осуществлению исторического закона. В наслаждении подвигом обрел он высшую награду, какую дает жизнь. Но совершенное им не всегда по достоинству оценено современниками, и имя его может не дойти до потомства, в славе более случайного, нежели обычно думают. В исправлении таких несправедливостей заключается одна из главных задач историка. Он должен поставить на вид забытые заслуги, уличить беззаконные притязания. Это нравственная, в высшем значении слова юридическая часть его труда. Приговор должен быть основан на честном, верном изучении дела. Он произносится не с целью тревожить могильный сон подсудимого, а для того, чтобы укрепить подверженное бесчисленным искушениям чувство живых, усилить их шаткую веру в добро и справедливость»<sup>33</sup>.

Этой хорошо продуманной, принципиальной позиции Грановский оставался верен всю жизнь. Он очень последовательно противостоял тому бездушному логическому фатализму, который, отчасти, был присущ и самому Гегелю, но с особенной силой сказывался в воззрениях его многочисленных

эпигонаов. Грановский же не просто открывал своим слушателям «тайны Абсолюта» — он судил действующих лиц исторической мистерии. «Двигателям человечества» не прощались ложь, насилие, измена. Характеристика борцов за безнадежное дело возрождения старины, за «идеалы прошедшего» нередко были выражены в самых поэтических тонах.

Всегда оставаясь верным научному пониманию истории, Грановский органично сочетал с ним *нравственную оценку* прошлого. И в результате гегельянская историософия, круто замешенная на абстракциях, логике, «чистом разуме», обретала в лекциях живую душу, становилась *человечной*. «Humanitas, humaniora» — «человечность, больше человечности» — призыв, повторявшийся гуманистами эпохи Возрождения, в полной мере определял всю деятельность Грановского в Московском университете — да и за его стенами тоже.

Под этим девизом,озвученным пушкинскому «и милость к падшим призывал», — в николаевской России с ее мертвящим деспотизмом, направленным именно на подавление человеческого в человеке, можно было сделать многое. И, может быть, наряду со всеми прочими достоинствами, именно этот непривычный подход к истории так привлекал слушателей в аудиторию, где читал свои лекции Грановский. Ведь, в конце концов, студенты всех факультетов и отделений валом валили в эту аудиторию не за специальными знаниями по древней или средневековой истории Западной Европы. Они обретали здесь нечто большее — ту самую жизненную позицию, которая нередко определяла собой все их будущее. Студенческая молодежь ценила Грановского не только за то, что он был пре- восходным профессором, интеллектуалом и эрудитом; она относилась к историку как к Учителю, в самом высоком смысле этого слова.

Один из слушателей Грановского оставил запись «напутственного слова», которым профессор как-то раз завершил свой курс лекций. Грановский призывал «извлекать из исто-

рии уроки» и не смущаться теми многочисленными противоречиями, которыми насыщен исторический процесс, помня о том, что, несмотря на все свои «внутренние язвы», каждый век все-таки «добывал какую-либо идею, расширял область духа человеческого»; ученый выражал уверенность, что «рано или поздно действительность догонит мысль».

Так будет в Европе; так будет и в России, которая, по словам Грановского, начиная с Петра, «опередившего свое время», развивается очень быстро. Но при этом Грановский предостерегал своих слушателей от фатальной надежды на «неизбежный» прогресс: «не должно предаваться надеждам на будущее», его нужно создавать своими руками. «И вы, милостивые государи, вышедши из университета, должны осуществить в жизни то, что вынесли отсюда. Не для одних разговоров в гостиных, может быть умных, но бесполезных, посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и деятельными членами человечества. Возбуждение к практической деятельности — вот назначение истории»<sup>34</sup>.

Вне соответствующего контекста все эти «высокие слова» могут быть восприняты как общее место. Но нужно помнить, что они венчали общий курс истории, насыщенный вполне конкретным содержанием. Какой «практической деятельности» ждал лектор от своих слушателей, на что она должна была быть направлена — разумелось само собой. Действовать в духе времени, стремясь преобразовать российскую деятельность на разумных началах, так, чтобы она не подавляла личность, а способствовала ее развитию — этот призыв, раздававшийся в николаевской России, гласно, с кафедры Московского университета, не мог не впечатлять тех, кто его слышал. Недаром автор этой записи много лет спустя вспоминал о «напутственном слове» как об одном из самых ярких впечатлений своей жизни. И, покидая университет, многие слушатели Грановского стремились строить жизнь по наказу своего кумира.

«Ученик Грановского» — подобная характеристика много значила и для «людей сороковых годов», и для младших поколений; недаром впоследствии она замелькала в повестях и романах, посвященных этому времени. Пожалуй, самый яркий и выразительный образ такого ученика-последователя создал в «Пошехонской старине» М. Е. Салтыков-Щедрин. Многим, наверное, памятен его Валентин Бурмакин — возвышенный идеалист, романтик, совершенно не способный к жизненной борьбе и обреченный на гибель «в пучине безвестности». Но все его нескладное, будничное существование наполнено одним стремлением — продолжать, в меру своих слабых сил, дело Учителя: «Сеять горячее слово добра, человечности, любви», смягчать по мере своих слабых сил уродства русской жизни, противостоять ее безобразиям, даже без надежды на успех. А это, замечал Щедрин, «было по тем временам всего важнее»<sup>35</sup>... Трудно переоценить то значение, которое имела деятельность Грановского-профессора для внутреннего освобождения русского общества.

\* \* \*

Современники справедливо оценивали Грановского: он был, именно, «профессором по преимуществу». В университете, на кафедре он состоялся как личность, более того — как общественный деятель. И все же этим роль Грановского в истории русского общественного движения не исчерпывалась: он много сделал для развития этого движения в целом и для становления западничества в особенности. При этом характерно, что сам Грановский на лидирующую роль где бы то ни было и в чем бы то ни было не претендовал ни в малейшей степени. Все дело было именно в условиях эпохи и в удивительно симпатичной и благородной натуре Грановского.

Об условиях эпохи уже было писано выше; здесь же я хотел бы лишний раз подчеркнуть разницу между дружеским

кружком 1830-х–1840-х и, скажем, политической партией начала ХХ века. В сколько-нибудь хорошо организованной партии человек с характером и устремлениями Грановского никогда не был бы на первых ролях (даже если бы он по каким-то причинам решил в такую партию вступить, что, само по себе, весьма сомнительно). В среде же «идеалистов 1840-х» его почти не с кем сравнивать в плане организующей, консолидирующей деятельности. А. И. Герцен написал по этому поводу несколько строк, которые прекрасно характеризуют и самого Грановского, и его роль в общественной деятельности, и те требования, которые предъявляло общество того времени к своим лидерам: «Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было далеко от неуверенной в себе раздражительности, так чисто, так откровенно, что с ним было удивительно легко. Он не тесnil дружбы, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного „все равно“. Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех „волосяных“, нежных, бегущих шума и света сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним не страшно говорить о вещах, о которых трудно говорить с самыми близкими людьми... В его любящей и покойной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик самолюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многоного и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись»<sup>36</sup>.

Все сказано верно и точно. Буквально сразу же после возвращения из-за границы в 1839 году Грановский начал играть роль миротворца, с удивительным тактом стабилизирующего отношения, иной раз почти безнадежно испорченные. Так, Грановский не только спас от полного развала кружок Станкевича, переживавшего после отъезда за границу и преждевременной кончины своего лидера очень тяжелые времена, но и способствовал выходу его на новый уровень бытия: именно

Грановский послужил «звеном соединения» между остатками кружка: В. Г. Белинским, В. П. Боткиным и другими — и своими коллегами по университету, блестящим молодыми профессорами-гегельянцами: Д. В. Крюковым, Н. И. Крыловым, П. Г. Редкиным. Так, собственно, на переломе 1830-х–1840-х годов и родилось западничество...

В этой статье в нашу задачу, естественно, не входит сколько-нибудь подробная характеристика западнического учения, сыгравшего такую значимую роль в формировании русской общественной мысли середины XIX–начала XX веков (думается, что опосредованное влияние этого учения ощущалось в нашей стране и в более поздние времена, вплоть до современности). Отметим лишь, что западничество 1840-х годов не было политической доктриной. Один из младших представителей западничества, К. Д. Кавелин, справедливо писал впоследствии, что в 1840-х годах «политической программы ни у кого в тогдашних кружках не было»<sup>37</sup>. И, добавим от себя, быть не могло по определению в стране, где не то что политическая деятельность, а и самая робкая рефлексия на политические темы воспринималась властью как безусловное зло и пресекалась быстро и беспощадно.

При этом, конечно же, определенные политические убеждения у западников имелись — но им было еще очень далеко до сколько-нибудь цельных и развернутых политических программ; они существовали, пока что, на уровне личного мировоззрения. И выражались эти убеждения не в форме каких-то конкретных политических акций, совершенно невозможных в николаевской России, а почти исключительно в дневниковых записях и — в очень осторожной форме — в переписке и в беседах с близкими по духу людьми, о которых мы узнаем из разнообразных воспоминаний. Да и то... П. В. Анненков, рассказывая о знаменитом «соколовском лете» 1845 года, когда у Герцена на подмосковной даче собрался весь цвет западничества, отмечал: «Политических разговоров, в прямом смысле

слова, на этих импровизированных академиях почти никогда не происходило... Основные принципы, управлявшие обществом, вовсе и не затрагивались. Рассуждать о них считалось делом праздным, и говорить о них начали только тогда, когда в применении своем они достигали или комического, или трагического абсурда. До тех пор это были явления, для всех давно отпетые и похороненные». О чем же говорили? — Анненков называет две определяющие темы. «...На первом плане стояли европейские дела, учения, открытия; они и составляли господствующую тему в разговорах». Была и «еще другая красная нитка через всю многообразную сеть свободной беседы в Соколове»: «Воспитанию мысли и характера в людях и посвящены были все беседы круга, о чем бы они ни шли...»<sup>38</sup>. Эти сведения общего характера, как мне представляется, лишний раз подчеркивают, сколь значительна была роль Грановского в западническом кругу — роль человека, который *постоянно* воспитывал «мысль и характер» молодежи рассказом о становлении западноевропейской цивилизации.

Тем не менее, комплекс политических убеждений западников достаточно ясен. В самых общих и огрубленных чертах его можно изложить следующим образом: все человечество идет одним, общим для всех народов путем развития. Но различные народы вовлекаются в это развитие разновременно, и проявляется оно у них неравномерно. Передовые европейские народы — англичане, французы — давно уже идут впереди: великое множество народов — азиатских, латиноамериканских и тому подобное — еще находятся на обочине, влеча бессознательное существование. Положение России среднее: она вступила на путь исторического развития с большим опозданием — совсем недавно, в эпоху Петра I, и движется по нему медленно, с постоянными задержками. Чтобы обеспечить себе нормальное развитие и догнать Западную Европу, Россия нуждается в серьезных, коренных преобразованиях, главным, определяющим из которых должна стать отмена крепостного права.

Очевидно, в свете всего вышеизложенного нет необходимости лишний раз доказывать, что Грановский не только разделял эти соображения, но и являлся одним из основных создателей западнической идеологии. Гораздо сложнее отыскать в источниках свидетельства его конкретных мыслей о том, как должен идти этот процесс приобщения России к цивилизации, создаваемой западноевропейскими народами. Как освободить народ? Как смягчить невозможный деспотизм власти, мешающий стране развиваться? Кто должен стать главной силой грядущих перемен? Дневник Грановский, очевидно, не вел; в своих беседах, не говоря уже о том, что излагалось на бумаге, всегда был *предельно* сдержан, стараясь не затрагивать подобных сюжетов, — наследие Белинского, Герцена, Огарева дает в этом отношении гораздо более богатый материал.

Обобщая то немногое, что приходится собирать буквально по крупицам, можно сказать следующее. Народу Грановский, несомненно, чрезвычайно сочувствовал, но сочувствие это имело оттенок в высшей степени характерный для представителя «образованного меньшинства». В описании «соколовского лета» Анненковым есть, в частности, очень выразительный эпизод. Веселая компания западников, совершая прогулку «в поля, окружавшие Соколово», обратила внимание на крестьянок-жниц: лето было жаркое, и женщины работали «в костюмах, почти примитивных, что и дало повод кому-то сделать замечание, что изо всех женщин одна русская ни перед кем не стыдится и одна, перед которой так же никто и ни за что не стыдится». Эта шутка тут же вызвала гневную отповедь Грановского. Он очень серьезно заявил, что «факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до того, и для тех, кто привык относиться к ней цинически». В разгоревшейся после этого словесной перепалке Грановский развил свою мысль: «Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые работают, но не отвечают нам. Всякая выходка против

них, вольная или невольная, похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них говорить, если не мы сами? Официальных адвокатов у них нет, — <...> все тогда должны сделаться их адвокатами»<sup>39</sup>.

Позиция Грановского выражена, согласитесь, чрезвычайно ясно. Хотя, по словам Анненкова, Грановский в ходе ожесточенного спора (с Н. Х. Кетчером), разгоревшегося после этого заявления, заметил, что «по народному вопросу» славянофилы ему во многом ближе того же Белинского, — который был символом крайнего, радикального западничества, никаким славянофильством здесь и не пахло. Что общего в этой позиции было с учением, которое провозглашало народ во-площением глубинной мудрости и силы? Позиция Грановского, конечно же, восходила к тому узкому слою просвещенного дворянства, который под конец XVIII века породил кружок Новикова, а в начале XIX — «Союз Благоденствия», к тем, кто воспринимал народ как нечто чуждое, находящееся за гранью усвоенной ими западной культуры, но в силу общих принципов этой культуры вызывающее сочувствие и взывающее к покровительству... В подобной позиции, конечно же, было много привлекательного — особенно по николаевским временам. Но в ней можно ощутить и некоторое подсознательное высокомерие — именно за него много лет спустя почвенник Достоевский язвил «народного адвоката» в своем «Дневнике писателя»<sup>40</sup>...

Впрочем, в исторических работах Грановского есть строчки, где он выражает свое отношение к народу — к любому народу, *народной массе* вообще — с редкой для него откровенностью: «Массы, как природа или как скандинавский бог Тор, бессмысленно жестоки или бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и общественных определений, от которых освобождается мыслию только отдельная личность. В этом разложении масс и заключается процесс истории». И, кстати, — это важно для выяснения отношений

историка со славянофильством, — добавляет, что любые теории, обожествляющие массы, «в основании своем враждебны всякому развитию и общественному успеху»<sup>41</sup>.

Народу, таким образом, отводится роль исключительно *объекта исторического действия*. На его силы в грядущих переменах рассчитывать не приходится. Отношение к верховной власти, к правительству у Грановского, как у западника, было не столь однозначным. То, что на протяжении всей русской истории государственная власть была определяющей движущей силой, сомнений у историка, очевидно, не вызывало. Подобно большинству западников Грановский преклонялся перед Петром, — хорошо понимая при этом оборотную «смертоубийственную» сторону его великих преобразований.

В переписке Грановского есть удивительные строки, где это понимание *двойственности* Петра, не щадящего никого и ничего во имя движения вперед, выражено с удивительной, редкой даже для Грановского художественной силой. «...Я был у Погодина и съездил недаром. Я видел у него недавно купленный портрет Петра Великого... Я не знаток и даже не любитель живописи; но мне кажется, я был бы в состоянии стоять по целым часам перед этой картиной. Я охотно отдал бы за нее любимые книги, часть моей библиотеки. Представь себе голову покойника на красной, усиливающей бледность лица подушке. Верхняя часть божественного прекрасного лица носит печать величавого спокойствия — такого спокойствия, которое может быть результатом святой, чистой, бесконечно благородной мысли. Мысли нет более, но выражение ее осталось. Такой красоты я не видел никогда. Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста скаты гневом и скорбью. Они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю...»<sup>42</sup>

В своем отношении к верховной власти Грановский так же, как и подавляющее большинство других западников, был

несомненным государственником — именно от нее, от власти, ожидались «благие свершения». Даже Николай I, воспринимавшийся как символ застоя, способен был иногда порождать надежды. В. Н. Житова, воспитанница В.П. Тургеневой, матери Ивана Сергеевича, в детском возрасте явилась свидетельницей оживленной беседы знаменитого писателя, очень близкого в те времена к западничеству, с Грановским. Дело было в 1842 году, во время некоторого оживления деятельности николаевского правительства в крестьянском вопросе. «...Оба, хозяин и гость, что-то очень громко говорили. Иван Сергеевич быстро ходил по комнате и, по-видимому, очень горячился. Я остановилась в дверях. Грановский знаком позвал меня и посадил к себе на колени. Долго я сидела, притаив дыхание, и сначала ничего не понимала. Но потом слова: крепостные, вольные, поселяне, несчастные, когда конец? и прочие слова, столь мне знакомые и так часто слышанные, сделали их разговор мне почти понятным... В разговоре их так сильно высказывались надежды на что-то лучшее, что и я будто чему-то обрадовалась.

Вдруг Иван Сергеевич точно опомнился и обратился ко мне: — Ты задремала? Ступай вниз, ты ведь тут ничего не понимаешь, тебе спать пора.

— Нет, поняла, — обиделась я. — Моя Агашенька будет скоро свободной, да?

— Да, когда-нибудь, — задумчиво произнес Иван Сергеевич и поцеловал меня так, будто за что-то хвалил»<sup>43</sup>.

Это тургеневское «когда-нибудь» характерно в высшей степени. Это «когда-нибудь» полагало предел надеждам на Николая I и в то же время открывало перспективы в отношении будущего. На Николае Павловиче ведь свет клином не сошелся, а западники, повторюсь, выражали себя не в четких программах преобразований, а, прежде всего, в общем понимании исторического процесса. Преобразование России в западном духе, с их точки зрения, предопределено было с со-

вершенной неизбежностью — только что сроки не указаны... К переменам нужно было готовиться самим и, что самое важное, — готовить общество, «воспитывать мысль и характер в людях», по удачному выражению Анненкова.

Вот этим-то вполне реальным, как выяснилось, вполне осуществимым даже в николаевской России делом — воспитанием общества в своем духе — и занимались западники. Герцен, со свойственным ему умением найти выразительное емкое определение, называл это дело «тихой работой». «Все мы, — писал он, — были сильно заняты, все работали и трудились, кто — занимая кафедры в университетах, кто участвуя в обозрениях и журналах, кто — изучая русскую историю...» Б. Н. Чичерин, в свою очередь, ретроспективно оценивая деятельность людей, воспитавших его поколение, отмечал: «Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: литературная, ученая, педагогическая. И дело шло с вожделенным успехом»<sup>44</sup>.

Западники, в сущности, ни в чем (или почти ни в чем) не выходили за рамки легальности — за те узкие рамки, в которые втиснула их николаевская эпоха. Но и в пределах дозволенного они умудрялись творить настоящие чудеса. В самом деле — вот, например, литературный критик Белинский, который, как ему и положено по роду деятельности, строчит, не покладая рук, литературно-критические статьи. Однако литература в них оказывается нерасторжимо связана с жизнью, что позволяет автору когда исподволь, а когда и совершенно открыто касаться самых животрепещущих вопросов. Служащий дворянин Герцен (служащий, впрочем, периодически и исключительно по принуждению) находит время для изучения западной философии и, вдохновясь ею, создает блестящие очерки современного состояния этой науки, выделяя те черты, которые считает наиболее важными для русского адепта.

та, взалкавшего истины. Писатель Тургенев публикует, одну за другой, повести из цикла «Записки охотника», насыщенные предельно выразительными художественными образами, каждый из которых открывает путь к лучшему пониманию российской действительности. Грановский и другие представители «молодой профессуры» читают лекции по медиевистике, античности, гражданскому и уголовному праву, настраивая своих слушателей на самую серьезную умственную деятельность, стремясь пробудить в них способность самостоятельно мыслить, критически оценивать исходный материал, делать выводы... Всем своим содержанием подобная «тихая работа» противостояла официальной идеологии, возбуждала критическое отношение к окружающему, формировала личностные ценности, стремление отстаивать их от посягательств извне.

Деятельность подобного рода была возможна даже в условиях николаевского деспотизма; более того, она вполне могла привести — и приводила к успеху, поскольку речь шла о просвещении и воспитании общества. Ведь в этом случае борьба переносилась в такие сферы, где репрессивный механизм самодержавия действовал далеко не безупречно.

После разгрома декабристов государственная власть прибегла к весьма эффективным средствам в борьбе с «революционной заразой», то есть политическими заговорами, подпольными обществами, бунтами, анархией и тому подобным. Но все эти средства не могли принести успеха в противодействии «образованному меньшинству», которое было еще весьма далеко от действий политического характера. В это время на кафедрах университетов и в гостиных, на страницах книг и журналов проповедуются новые взгляды на природу и историю, на процессы развития и познания, на роль и место человека в мире физических явлений и в обществе. Иными словами, речь шла о том, чтобы выработать и распространить на общество новое мировоззрение — емкое, всеобъемлющее. Оно, несомненно, открывало путь к борьбе с существующим

порядком вещей, но разобраться в этом, а самое главное — суметь противостоять влиянию людей, которые не призывали к бунту, не оскорбляли царского имени, а всего лишь говорили и писали об имманентном и трансцендентном, о добре и зле, о терпимости и ответственности за дела свои, не дано было ни цензуре, ни III отделению. Официальная же идеология так и не смогла преодолеть влияния нового, устремленного в будущее мировоззрения. Будущее показало, что Уваров и его со-трудники борьбу за русское общество проиграли.

\* \* \*

В «тихой работе», развернутой в 1840-х годах, Грановскому отводилась особая роль. Именно он должен был дать русскому обществу ясное представление о том всемирно-историческом процессе, который, по мнению западников, медленно, но верно поглощал Россию, увлекая ее вместе со всем человечеством в будущее, к «высоким и светлым идеалам». И, соответственно, эта очень яркая и плодотворная деятельность Грановского, казалось, должна была бы ограничиться в основном стенами Московского университета.

Правда, были еще и статьи, посвященные самым различным проблемам и эпизодам мировой истории, которые Грановский, время от времени, публиковал в различных периодических изданиях. Однако они были немногочисленны и в печати появлялись нерегулярно. К тому же, как ни хороши были эти работы, как ни последовательно проводил в них Грановский идеи, одушевлявшие западников, ни одна из них не стала общественным событием, подобным литературной критике Белинского, философским статьям Герцена, повестям Тургенева... В полную силу талантливая натура этого человека раскрывалась лишь на университетской кафедре. И не удивительно, что одним из самых ярких событий в жизни русского общества 1840-х стали те дни, когда Грановский пред-

стал перед ним именно как профессор, раскрыв весь свой блестящий талант в *публичных чтениях* по истории западного средневековья.

Эти чтения, разрешенные благодаря содействию Строганова, начались 23 ноября 1848 года и представляли собой, по сути, годовой лекционный курс — хотя Грановский, надо думать, учитывал непривычный характер аудитории. Друзья Грановского, западники, были «в сильной ажиотации» — как примут? что будет? «Всеобщий интерес, все разговоры сосредоточились на лекциях, все отрешились от самих себя». Подобные чувства были вполне понятны — лекции должны были стать проверкой действием: как откликнется общество на «исповедание веры» Грановского и его друзей? Публицистика, книги не могли дать прямого ответа на этот вопрос. Теперь же появлялась редчайшая в безгласной николаевской России возможность изложить свои взгляды не узкому кругу друзей, а установить непосредственную связь с публикой, проверить, как воспринимает русское общество новые взгляды.

Действительность превзошла все ожидания. Уже первая лекция показала, насколько велико влечение общества к живому слову и сильным мыслям. «Ну, брат, и Москва отличилась, — писал Герцен Кетчеру под свежим впечатлением от начала чтений, — просто давка, за  $\frac{1}{4}$  часа места нельзя достать, множество дам *du haut parade*\*<sup>45</sup>, и все как-то кругло кругло идет...»<sup>45</sup>

Конечно, в аудитории среди «дам всех возрастов, профессоров, студентов, статских, военных», было немало случайных людей; но совершенно прав был Герцен, отметивший в дневнике: «Мода ли, скука ли — что бы ни вело большинство в аудиторию, польза очевидная, эти люди приучаются слушать». Грановский же — в том и была его сила — умел заворожить даже случайных слушателей; заворожить и сделать

---

\* При полном параде (*нем.*).

своими приверженцами. «...После первых трех, четырех чтений аудитория была совершенно симпатично настроена, внимание деятельное, напряженное виделось на всех лицах». Между лектором и слушателями, — писал Герцен, — установилась «магическая связь, с обеих сторон деятельная». К концу чтений, которые длились пять месяцев, аудитория все так же ломилась от народа, а тот «фурор», который поначалу неизбежно должно было произвести такое небывалое в России событие, перерос в устойчивый одушевленный интерес, если можно так определить настроение, которое выражалось в периодических взрывах энтузиазма и, в конце концов, на последней лекции разрешилось «безумным, буйным восторгом»<sup>46</sup>.

Дело было не только «в простоте, увлекательности и пластичности» речи Грановского, не только в его исключительном обаянии и том «внутреннем сосредоточенном жаре», которым дышали его лекции. Все это было лишь средством, направленным к достижению одной цели: увлечь публику определенной системой идей, обратить ее в свою веру. В публичных чтениях Грановский предельно ясно выразил свое, уже знакомое нам, воззрение на историю как на процесс объективный, внутренне логичный и неизбежный для всего человечества, для всех народов, сохранивших способность к развитию. Об этом Грановский говорил спокойно и убежденно, избегая соблазнительных ораторских красот. Его сила была в спокойном, ровном течении мысли, столь же логичном и захватывающем, как и тот процесс, которому он посвящал свои лекции. «Мне, — писал Герцен, — много раз приходилось слышать нелепые вопросы, почему он не высказывает яснее то, что он хочет доказать, какая цель его? Он и любит феодализм, и рад его падению и пр. Все эти вопросы, впрочем, последовательнее, нежели думают: все живое чрезвычайно трудно уловимо, именно потому, что в нем скапливается бесчисленное множество элементов и сторон в один движущийся процесс... а благоразумная рассудочность видит в нем один беспоря-

док, жизнь ускользает из ее грубых рук». Лекции Грановского пробивали этот заслон «благоразумной рассудочности», убеждая слушателей в том, что движение жизни осмысленно и логично.

Но, как всегда, не только мысль составляла силу Грановского; его глубоко продуманные, составленные с внутренней логикой лекции дышали живым, непосредственным чувством, которое невозможно подделать, невозможно «изобразить». «Главный характер чтений Грановского, — по словам Герцена, — чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному, готовое на все отзоваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь к возникающему, которое он радостно приветствует, и любовь к умирающему, которое он хоронит со слезами».

Соединенная сила мысли и чувства, умение заставить не только понять, но и полюбить предмет чтений превращали их в событие захватывающее, завораживающее, представляющее огромный интерес для русского общества. «...В то время, — писал Герцен, — когда трудный вопрос об истинном отношении западной цивилизации к нашему историческому развитию занимает всех мыслящих и разрешается противоположно, является один из молодых преподавателей нашего университета на кафедре, чтобы передать живым словом историю того оконченного отдела судеб мира германо-католического, которое самобытно развивающаяся Россия не имела...». И далее он ясно и смело определял непонятную для «благоразумных» людей цель чтения: «...Мы должны уважить и оценить скорбное и трудное развитие Европы, которая *так много дает нам теперь* (выделено мною. — А. Л.); мы должны постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге — брата, в расторжении — мир: одно сознание этого единства уже дает нам святое право на плод, выработанный потом и кровью Запада; это сознание с нашей стороны есть вместе мысль и любовь — оттого

оно так легко; логика и симпатия всего менее теснят человека, человек создан для того, чтобы мыслить и любить»<sup>47</sup>.

Любовью и мыслью Грановский заставлял своих слушателей, погружаясь во всеобщее, преодолеть косность личную и национальную. Вне всяких сомнений, его публичные чтения нанесли сильный удар по официальной идеологии. Они стали одним из самых ярких проявлений общественной борьбы в России 1840-х годов, и с этой точки зрения хорошо понятна и вполне справедлива оценка их Чаадаевым: «Лекции Грановского имеют историческое значение».

При этом оппозиционный дух чтений, отлично воспринимавшийся публикой, беспрестанно будораживший ее умственно и эмоционально, был практически неуловим с точки зрения карательно-пресекающей. Грановский избегал каких бы то ни было демонстративных заявлений. «Он, — вспоминал Анненков, — <...> постоянно держался с тактом и достоинством, никогда его не покидавшими, на той узкой полосе, которая отведена была ему для преподавания... Лекции профессора особенно отличались тем, что давали чувствовать умный распорядок в сбережении мест, еще не доступных свободному исследованию, он говорил все, что нужно и можно было сказать от имени науки, и рисовал все, чего еще нельзя было сказать в простой форме мысли»<sup>48</sup>. Грановский, по словам Герцена, говорил смело — робость, реверансы перед властью, перед официальной идеологией свели бы на нет все значение его дела, и «смелость эта сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций à la française\*, ставящих огромные точки на крошечные i... Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслью»<sup>49</sup>.

\* Во французском духе (*фр.*).

Таким образом, с точки зрения официальной, лекции Грановского были весьма вредны; пресечь же их на «законном основании» не было повода — в лекциях, как всегда, не было и намека ни политику... Зацепку властям попытались дать идейные противники западничества, те, кто и в университете, и в обществе отстаивали идеи «официальной народности». Внутреннюю, духовную оппозиционность чтений они учили очень хорошо. Профессор Московского университета, издававший журнал «Москвитянин», одного из главных органов официальной идеологии, М. П. Погодин, под свежим впечатлением от лекций Грановского, писал в своем дневнике: «Такая посредственность, что из рук вон. Это не профессор, а немецкий студент, который начитался французских газет. Сколько пропусков, какие противоречия. России как будто в истории не бывало. Ай, ай, ай!.. Он читал, точно псалтырь, по Западу. И я, слушая его, думал об отпоре»<sup>50</sup>.

Погодин не только внимательно слушал лекции Грановского, он следил за той реакцией, которую вызвал публичный курс в высшем московском свете, у представителей власти. Реакция же оказалась противоречивой: многое было непонятно, «наверху» ждали разъяснений от сведущих людей. Именно так воспринял Погодин толки о Грановском и его чтениях на балу московского гражданского губернатора Сенявина. «Говорили много о лекциях Грановского, вследствие всего этого разговора у меня в голове составилась статья, которую надо напечатать в двенадцатом номере. Я думал сначала, что не надо ничего говорить, но теперь вижу, что должно. Сам Строганов ждет этой статьи, как я слышал»<sup>51</sup>.

Действительно, в двенадцатом номере «Москвитянина» появилась статья, посвященная первым лекциям публичного курса, написанная, правда, не Погодиным, а его верным соратником Шевыревым, более способным разобраться в «историософии» чтений и дать им соответствующую оценку. Любопытно, что эта статья едва не поссорила друзей-уваровцев.

Редактор «Москвитянина» со свойственной ему прямолинейной грубоностью требовал от Шевырева, «чтобы он бранил Грановского и трактовал его свысока, как молодого человека». Шевырев же, ясно видевший, каким всеобщим сочувствием общества пользуется их противник, не собирался «противу рожна прати»; поставив себе задачу скомпрометировать Грановского в глазах властей, он постарался выполнить ее более или менее «тонко и дипломатично».

Главная претензия, которую Шевырев предъявлял Грановскому, заключалась в характеристике мировоззренческой позиции лектора, как «пристрастной и односторонней»: «почти все школы, все воззрения, все великие труды, все славные имена науки были принесены в жертву одному имени, одной системе... скажем даже, одной книге, от которой отреклись многие ученики творца этого философского учения». Речь, конечно же, шла о Гегеле и его «Философии истории». Грановский, по сути дела, объявлялся изменником «русского дела»: он «стал в ряды западных мыслителей, там приковал себя к одному чуждому знамени...» Опорочить «немецкого руководителя» Грановского как ученого, уличить его в непоследовательности и односторонности — эта задача, естественно, была не по силам Шевыреву; онставил перед собой задачу куда более легкую — привычной уже для уваровцев системой фраз живописал гегельянство как «лжеучение», венчающее собой ложный путь развития западной мысли<sup>52</sup>. Обвинения в адрес Грановского, высказанные в статье, носили не столько научный, сколько политический характер. С точки зрения самого историка и его друзей, это был печатный донос; и Герцен 21 января с гневом писал в своем дневнике о «гнусных обвинениях, рассеиваемых Шевыревым и Погодиным и, наконец, напечатанных в „Москвитянине“»<sup>53</sup>.

Статья Шевырева дала Грановскому возможность испытать, насколько прочны симпатии публики к нему и его делу. Он ответил своим противникам на очередной лекции: «Меня

обвиняют в пристрастии к каким-то системам; лучше было бы сказать, что я имею ученые убеждения; я их имею, и только во имя них я и явился на этой кафедре, рассказывать голый ряд событий и анекдотов не было моей целью. Проникнуть их мыслию...» «И тут, — пишет Герцен, воспроизведший речь Грановского в дневнике, — еще несколько слов, которые я не разобрал». Их заглушил «гром рукоплесканий и неистовое bravo, bravo...». В ответ на публичное обращение Грановского общество публично поддержало его в борьбе с противниками, в борьбе с официальной идеологией — событие в России беспрецедентное и, казалось бы, совершенно немыслимое! Вполне понятна реакция Герцена на эту сцену: «Глядя на гам и шум, у меня сердце билось и кровь стучала в голову, есть-таки симпатия. Может, после этого власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано, указан новый образ действия университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться перед публикой в обвинениях щекотливых, и подтверждена возможность возбудить симпатию. Что за великое дело публичность!»<sup>54</sup>

Опасения Герцена насчет последствий этой публичной схватки Грановского с уваровцами были вполне оправданы. Успех чтений приобретал все более демонстративный характер; их несоответствие официальному курсу было очевидным. Статья Шевырева, наряду с закулисной «работой», которую в это время, несомненно, вели противники Грановского, могла сыграть роковую роль в судьбе не только чтений, но и самого лектора. Для николаевской администрации доводы Шевырева были вполне убедительны.

Начать с того, что «открылись глаза» у Строганова, главного покровителя Грановского и «молодой профессуры». 7 января 1844 года Герцен с душевным смятением описывал свою беседу со Строгановым. «Я, — говорил он (Строганов. — А. Л.), — всеми мерами буду противодействовать гегелизму и немецкой философии. Она противоречит нашему богослов-

вию; на что нам раздвоенность, два разных догмата — догмат откровения и догмат науки? Я даже не приму того направления, которое афиширует примирение науки с религией: религия в основе...». В заключение граф сказал, что если он «не успеет другим образом, то готов или оставить свое управление, или закрыть несколько кафедр»<sup>55</sup>.

Через несколько дней граф имел беседу на ту же тему уже с самим Грановским. «Строганов требует невозможного... — писал историк Кетчеру 14 января. — Он сказал, что при таких убеждениях я не могу оставаться в университете, что им нужно православных и т. п.». Попытка Грановского возразить: «Я не трогаю существующего порядка вещей» — не произвела на Строганова никакого впечатления. «Он отвечал, что отрицательное отношение не достаточно, что им нужна любовь, он требовал от меня апологий и оправданий в виде лекции... Он заключил словами: „Есть блага выше науки, их надобно беречь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища“»<sup>56</sup>.

В столь тяжелом настроении друзья еще никогда не видели Строганова. Поведение обычно сдержанного и гуманного попечителя они объясняли однозначно. «...Его кто-нибудь напугал», — писал Грановский. «Он боится, — вторил ему Герцен, — а сначала таким горячим защитником был».

Конечно же, друзья были правы. Нужно иметь в виду, что те обвинения в преклонении перед «безбожным» Гегелем, которые Шевырев высказывал в печати более или менее дипломатично, в частных беседах звучали куда более резко. «Шевырев рассказал о третьей лекции Грановского, — читаем в дневнике Погодина. — Христианство в стороне»<sup>57</sup>. И подобные разговоры, конечно же, не ограничивались узким дружеским кружком: ими «пугали» общество, начальство, правительство.

Как бы то ни было, единственная опора «в высших сферах», на которую могли рассчитывать западники, рушилась,

не выдержав серьезного испытания. Привычное для «образованного меньшинства» ощущение полной беззащитности перед произволом властей обострилось в эти дни до предела. «Тerror, — записывал Герцен в дневник 25 января. — Какая-то страшная туча собирается над головами немногих, вышедших из толпы. ...Строганов испуган, преследует порядочных профессоров требованием иначе читать, они хотят бежать из Москвы»<sup>58</sup>.

Зимой 1844–1845 года все обошлось. До террора дело не дошло: страсти, вызванные уваровцами, улеглись, Грановскому дали прочитать публичный курс до конца. И можно было бы сказать: у страха глаза велики, если бы погромы Казанского и Петербургского университетов в конце царствования Александра I, если бы буря, потрясшая просвещение позже, в 1848–1849 годах, если бы многие другие репрессии, направленные против тех, кто пытался отстаивать истинную науку, не доказывали, насколько обоснованы были опасения Герцена и его друзей.

Через много лет, в «Былом и думах», Герцен описывал триумф, которым завершились публичные чтения Грановского. «Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, — все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричащими сквозь слезы: Браво! браво! Выйти не было возможности; Грановский, бледный, как полотно, сложа руки стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице — в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался измученный в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета — и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на

шею, и мы заплакали». Эти свои слезы Герцен сравнивает с другими, которые текли из его глаз в момент высшего подъема революции 1848 года в Италии, «когда герой Чичеровакио <...> отдавал восставшему и вооружившемуся народу римскому отрока-сына. Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими в революцию»<sup>59</sup>.

Нельзя сказать ярче и точнее: действительно, в триумфе Грановского было скрыто многое, и прежде всего он пророчил неизбежность перемен. Впервые в николаевской России общество так откровенно высказалось свои симпатии к «людям движения», к тем, кто противостоял despотическому режиму. Блестящий успех публичных чтений Грановского устранил множество мучительных сомнений — их «тихая работа» находила в России все более сильный отклик.

\* \* \*

Вникая во все тонкости и сложности взаимоотношений «идеалистов 1840-х», постоянно убеждаешься в том, насколько верно и точно Герцен определил роль Грановского в этом кругу: «звено соединения». Сыграв определяющую роль в формировании западничества как единого, цельного направления общественной мысли, именно Грановский затем на какое-то время крепко привязал к этому направлению радикально настроенных Герцена и Огарева. Мало того, именно Грановский поначалу довольно легко находил общий язык с постоянными оппонентами западничества — славянофилами (с братьями Киреевскими, во всяком случае)<sup>60</sup>.

И не вина Грановского, а его беда, что это столь желанное единство «образованного меньшинства» сохранить надолго не удалось — внутренние разногласия взяли верх. Сначала в конце 1844-го—начале 1845 года произошел полный разрыв отношений между западниками и славянофилами (причем ссора была такой силы, что чуть не привела к дуэли между

людьми, казавшимися воплощением духа миролюбия — Грановским и Петром Киреевским). Затем, в 1846 году порвались духовные связи между Грановским и близким ему кругом умеренных западников, мечтавших о мирном приобщении России к современной им европейской цивилизации, с одной стороны, и — западниками-радикалами, жаждавшими социализма и революции, с другой.

Этот последний разрыв Грановский переживал очень тяжело, как личную драму. Действительно, после потери радикального крыла (Герцен с Огаревым вскоре эмигрировали, а Белинский умер) западничество заметно измельчало. Рядом с Грановским не осталось ни одного человека его уровня, и «шепелявый профессор», постоянно окруженный почитателями, тем не менее явно стал ощущать свое одиночество. В то же время с конца 1840-х годов, в связи с европейской революцией, резко усилились гонения на «образованное меньшинство»; под особый надзор попала Москва: Московский университет, прогрессивно настроенная профессура. Строганов, который при всех своих слабостях и перепадах настроения держал профессоров-западников «под крылом», опекая и прикрывая их, по мере возможности, от различных неприятностей, вышел в отставку. В 1849 году Московский учебный округ, а следовательно, и университет перешел под управление В. И. Назимова.

Это, по словам С. М. Соловьева, «был человек добрый, простой, необразованный, со всеми привычками тогдашнего енераля: при первом удобном случае любил нашуметь, распечь подчиненного, но последний не должен был этим оскорбляться, потому что его превосходительство потом и обласкает»<sup>61</sup>. Сам Соловьев, который в это время становится все более заметной фигурой среди «молодой профессуры», с учетом всех обстоятельств времени, считал назначение подобного человека попечителем благом для Московского университета. Действительно постоянное, методичное давление на «инакомышляющих» было добродушному «енералу» и не в охотку, и

не по силам: человек по преимуществу военный, он, судя по всему, так и не разобрался толком в университетских делах, понимание которых требовало и тонкости ума, и определенного уровня знаний. В Москву, по словам все того же Соловьева, Назимов ехал, как на поле брани, готовясь к битве с «отъявленными бунтовщиками»; не обнаружив оных, он решительно заявил: «Всё наврали...» — и хоть и не сразу, но вскоре стал вести себя соответственно<sup>62</sup>. Последовательного «гонителя и душителя» из него не получилось.

И все же отличие этого солдафона от Строганова, с которым можно было по-человечески общаться, искать и находить взаимопонимание, было разительным. «Подозрительной» профессуре и прежде всего ее признанному лидеру пришлось, особенно поначалу, испытать на себе все прелести генеральских приемов нового попечителя, постоянно подогреваемого в своих подозрениях добровольцами-охранителями. В конце 1849 года Грановский в письме к Неверову с горечью писал о «мелких, грубых нападках», которые ему чуть ли не ежедневно приходилось выносить от Назимова, о шпионстве, невероятно развившемся в университете. «Начальство смотрит подозрительно на мои отношения к студентам. Опять, как и в 1845 году, у меня много врагов. У них одно сокровенное желание — сбить меня. Начальству не раз докладывали, как и тогда, о моих политических идеях. Мне опять дают понять, что мне нужно переменить службу»<sup>63</sup>.

Дело конечно же, было не в Назимове: общая атмосфера в стране становилась все более тяжелой, и в первую очередь это, естественно, ощущали те, кого власть считала своими противниками. Надзор за ними становится все строже, разнообразных придирок — все больше; к доносам, прямым и косвенным, разнообразные представители власти прислушиваются все внимательней. Серьезную роль в усилении этой подозрительности по отношению к московской профессуре сыграло дело петрашевцев: в материалах следствия не раз и не два

мелькали имена Грановского и его друга и коллеги П. Н. Кудрявцева. Из привлеченной к делу переписки было ясно, что петрашевцы считали этих профессоров своими по духу людьми, достойными того, чтобы учиться у них. Неудивительно, что летом 1849 года московский генерал-губернатор Закревский предписал обер-полицмейстеру учредить за Грановским и Кудрявцевым «самый строжайший секретный надзор»<sup>64</sup>.

Надзор этот отнюдь не был формальным. «Грановский, — писал П. В. Анненков, — как узнали после из признаний губернаторских чиновников, окружен был усиленным соглядатайством. Ждали первого легкомысленного шага и не дождались: все было серьезно, важно и строго в нем, хоть тресни...»<sup>65</sup>

В том, что власть надзирала не за страх, а за совесть, имея при этом источники информации в университетских кругах, следует, в частности, из казусного «политического» дела «О профессоре Грановском и шуме, произшедшем при защите диссертации» (имеется в виду докторская диссертация Грановского «Аббат Сугерий», защищавшаяся им в конце 1849 года) — кто-то из многочисленных поклонников автора взорвал хлопушку во время выступления одного из оппонентов.

Дело «О шуме...» прямых последствий, слава богу, не имело, — однако вскоре выяснилось, что оно грозит перерасти в дело о самой диссертации. Вскоре после защиты Грановский, опубликовавший своего «Сугерия», с тревогой писал одному из петербургских друзей: «Здесь носятся престранные слухи о невинной книжке. В нее вчитывают то, что я не думал писать. Все прежние враги поднялись на ноги»<sup>66</sup>.

Первый издатель писем Грановского А. В. Станкевич, хорошо представлявший себе ситуацию, в которую попал историк, писал, что его прямо обвиняли в безбожии: «в своих обращениях к истории он будто бы никогда не упоминал о воле и руке Божией, управляющей событиями и судьбами народов»<sup>67</sup>. По сути это были все те же, знакомые нам, шевыревские обвинения, только теперь они формулировались уже без

затей, гораздо проще и прямолинейней — так сказать, на церковно-полицейском уровне. В те времена, когда власть главную свою задачу видела в борьбе «с безбожной анархией», охватившей чуть ли не всю Европу, подобные обвинения были чреваты самыми серьезными последствиями. Грановского они привели к «испытанию в законе нашем» — в докладах православной Церкви: историка обязали «принести свои объяснения» московскому митрополиту Филарету (Дроздову).

«Како веруеши...». В университете кругу подобные «проверки на православность» были уже основательно подзабыты, хотя в старые времена прецеденты имелись<sup>68</sup>. Но в любом случае было очевидно, что неблагоприятный исход этого «духовного испытания» почти наверняка приведет к изгнанию из университета. В обстановке же, когда власть и, прежде всего, ее глава все больше впадали в состояние, близкое к истерическому (один приговор по делу петрашевцев, чудовищный по своей жестокости, совершенно не адекватный реальной вине подсудимых, допускает, по-моему, подобное определение), Грановскому могло грозить наказание и похуже. (П. В. Анненков, живший в это время в Симбирске, пишет, что в провинции ходили упорные слухи о заключении Грановского в крепость, и оценивает их следующим образом: «Все это оказалось вздором, но важно, что слухи эти нарочно распускались как указание правительства»<sup>69</sup>.

«Собеседование» с Филаретом, впрочем, кончилось для Грановского благополучно, хотя и оставило по себе не самые приятные воспоминания — уж больно унизительной была сама процедура... Московский митрополит, человек, обладавший сильным умом и сложным характером — сам Грановский, рассказывая в одном из писем обо всей этой истории, назвал его «лукавым пастырем», начал беседу в повышенном тоне, но затем быстро его сбавил. В сущности он не столько обличал, сколько предостерегал... Мало того, Филарет под конец

беседы не преминул воздать должное талантам Грановского, посоветовал беречь себя и отпустил нераскаянного профессора с благословением<sup>70</sup>. Очевидно, что митрополиту, который всегда отстаивал свою независимость от светских властей, претило выступать в качестве инквизитора по указанию администрации — тем более, что дело касалось человека, чрезвычайно популярного в обществе.

Таким образом, «испытание в вере» не имело для Грановского никаких явных последствий. Дальше закулисных слухов и беседы с Филаретом дело не пошло. Но все это вместе взятое как нельзя лучше характеризует ту тяжелую обстановку, в которой приходилось жить и работать историку в конце 1840-х–начале 1850-х годов. И Герцен, обращаясь к последним годам жизни Грановского, пытаясь объяснить его раннюю кончину, совершенно справедливо писал: «Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора останавливалась николаевская опричнина, но тем не менее я удерживаю выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь»<sup>71</sup>.

\* \* \*

Русско-турецкая война, начавшаяся в 1853 году, поначалу не очень заметно сказалась на общественной жизни. Ситуация резко изменилась в следующем, 1854 году, когда эта война превратилась в Крымскую — совершенно неожиданно для подавляющего большинства россиян выяснилось, что их отчество, в очередной победе которого над дряхлой Османской империей никто не сомневался, вынуждено обороняться в неравной борьбе с двумя великими европейскими державами — Англией и Францией. Эта война очень оживила общественную среду, вызвав в ней настроения, диаметрально противоположные. Значительная часть общества была охвачена «патриотическим одушевлением», усиленно раздувавшимся

различными органами печати, причем отнюдь не только официальными. Другая же часть — и это касалось, прежде всего, многих западников — совершенно откровенно, по словам современника, желала «не успеха России, а ее поражения». Эта позиция, вполне понятная в контексте западнической идеологии — успех неизбежно вел к усилению николаевского деспотизма, поражение было чревато переменами, — в значительной степени выражалась в откровенном злорадстве по поводу военных неудач России<sup>72</sup>.

Для Грановского обе позиции оказались равно неприемлемыми. В возможность победы России он не верил изначально. «Чем приготовились мы для борьбы с цивилизацией, высылающей против нас свои силы?» — честный ответ на этот вопрос, по его мнению, предрекал самый горький исход войны. Однако желать поражения своей стране он был просто не способен; злорадство сотоварищей-западников вызывало у него не меньшее отвращение, чем казенный патриотизм.

Героическая оборона Севастополя произвела на Грановского самое сильное впечатление: «Был же уголок в русском царстве, где собрались такие люди», — повторял он. Весть о падении Севастополя заставила его плакать... «Будь я здоров, — писал он в одном из писем, — я ушел бы в милицию (то есть в ополчение. — А. Л.) без желания победы России, но с желанием умереть за нее»<sup>73</sup>.

В этих строках весь Грановский, с его редким ощущением органичности бытия, с пониманием того, что бывают ситуации, когда человечнее позволить мучить себя противоречиям, чем принять какое-то радикальное решение. Позиция, достаточно редкая вообще, в русском обществе, может быть, особенно. Позиция очень тяжелая, буквально душераздирающая для тех, кто ее занимает. Младший современник Грановского, С. М. Соловьев, один из немногих представителей русского общества, разделявших его взгляды на войну, одной фразой из своих «Записок» показал весь трагизм подобной раздвоен-

ности: «Мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные привели бы нас в трепет»<sup>74</sup>.

В это время ощущение духовного одиночества, терзавшее Грановского с конца 1840-х, набирает силу. «Образованных отголосков на собственные мысли мало. Встречаешься с людьми просвещенными, мыслящими, которых знаешь давно, и с удивлением замечаешь бесконечное расстояние, разделяющее нас в самых коренных вопросах». Круг общения Грановского в 1853–1854 годах сужается чрезвычайно. «Я засел дома и кроме Университета нигде не бываю»<sup>75</sup>.

Положение начинает меняться в 1855 году после смерти Николая I, вызванной, несомненно, поражениями русской армии; причем перемены эти происходят все более стремительно, обвально. Начиналась очередная «переломная эпоха», одна из тех, которым Грановский придавал такое значение в своем курсе... Волна общественного подъема, которая пошла сразу же после смерти царя, олицетворявшего застой, выносит Грановского на самый гребень. Он, по-прежнему, был чрезвычайно популярен в обществе; после смерти Белинского и отъезда за границу Герцена с Огаревым Грановский оставался единственным, в своем роде, лидером западничества, — многие начинали воспринимать его уже как символ этого движения.

Весной 1855 года Грановского избирают деканом историко-филологического факультета, причем за него проголосовали не только коллеги-западники, но и «люди старого закала». Столь резкое единодушие тоже было данью времени: по справедливому замечанию современника, у профессуры «оживилась надежды на лучшую будущность университета: нужен был способнейший ходатай за потребности университетского преподавания»<sup>76</sup>. Характерно, что никого, кроме Грановского, профессура в этой роли не мыслила.

Еще более характерно, что этот выбор оказался оправданным: новый министр просвещения А. С. Норов без всяких проволочек утвердил Грановского в должности. Более того —

он поручил новому декану писать университетский учебник по всеобщей истории, полностью одобрав программу, разработанную Грановским еще в 1851 году. Перемены, таким образом, были налицо: из подозрительного профессора, проводника «чужих идей», Грановский превращался в глазах начальства в полезного сотрудника, вызывавшего доверие и уважение<sup>77</sup>.

В то же время Грановский, давно мечтавший о своем собственном органе печати, начинает собирать сотрудников для «Исторического сборника» — издания, которое, по его замыслу, должно было выходить два — три раза в год. При этом в одном из писем он замечает: «Эластическое слово „исторический“ дало бы нам возможность касаться самых жизненных вопросов»<sup>78</sup>. В том, что разрешение издавать «Сборник» будет получено без всяких осложнений, Грановский не сомневался.

В целом, время, несомненно, благоприятствовало Грановскому — хотя, надо отметить, в отличие от многих своих единомышленников, он отнюдь не впадал в эйфорию. В его письмах того времени, в его беседах с духовно близкими людьми постоянно проскальзывали довольно мрачные характеристики как ситуации, в которую попала Россия в середине 1850-х годов, так и, особенно, тех «общественных сил», о пробуждении которых с восторгом говорили и писали друзья Грановского и в позитивные возможности которых сам историк, очевидно, не верил<sup>79</sup>. Создается впечатление, что Грановский, слишком хорошо знавший свое окружение, раньше всех разглядел в зарождавшемся тогда русском либерализме склонность к доктринерству, отсутствие широты и полную неспособность подняться над интересами сегодняшнего дня. Будущее, как известно, в значительной степени оправдало его опасения.

...Грановский ушел из жизни 4 октября 1855 года, совсем еще нестарым, 42-летним человеком. Общество восприняло

его смерть как страшную потерю. Похороны историка стали событием, до тех пор в России не виданным. Три дня Москва прощалась со своим кумиром. Лишь 6 октября тело Грановского привезли в университетскую церковь. После панихиды близайшие друзья историка «вынесли гроб из сенных дверей дома и сдали студентам, которые пронесли его через весь город на Пятницкое кладбище, расстоянием верст шесть. Путь был усыпан цветами и лавровыми листьями<sup>80</sup>.

Смерть Грановского вызвала массу некрологов, подавляющее большинство которых было выдержано в панегирических тонах. Диссонансом прозвучала статья В. В. Григорьева — «друга Васи», времен юности историка, друга, впрочем, давно уже бывшего — «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве». Статья содержала резко отрицательную характеристику Грановского как человека и профессора чрезвычайно легковесного, не обладавшего серьезными знаниями, «актера на кафедре». Эта статья послужила началом самой серьезной полемики о тех принципах, которыми руководствовался в своей деятельности Грановский, о степени и качестве его дарований и, что особенно важно, о том влиянии, которое историк оказал на воспитанные им «новые поколения». Эта полемика возобновилась затем в конце 1860-х годов — толчком к ней послужила биография Т. Н. Грановского, написанная хорошо знавшим его А. В. Станкевичем. Спор об историке и его наследии сам по себе стал заметным общественным событием. В конечном итоге он вышел далеко за рамки рефлексий по поводу жизни и деятельности одного конкретного человека; точнее сказать, эти рефлексии вплотную подвели к такой глобальной проблеме, как западническое наследие в целом, его место и роль в русской истории XIX века. Достаточно сказать, что одним из проявлений этой полемики стал образ Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах» Ф. М. Достоевского (как известно, в подготовительных материалах писатель прямо именовал этого героя Грановским)<sup>81</sup>. Ожесточенные

споры вокруг Грановского, отголоски которых можно найти и на страницах современной литературы, лишний раз подтверждают всю значимость этого скромного профессора Московского университета, показывают, насколько серьезную роль в истории русского общества довелось ему сыграть.

2008

# ЗАПАДНИК НА СЦЕНЕ

Великий русский актер Михаил Семенович Щепкин находился в долговременных крепких дружеских отношениях с представителями того узкого круга русской интеллигенции, который определял собой западническое направление общественной мысли. Имя его постоянно мелькает в воспоминаниях и переписке западников. Факт этот общеизвестен — но, на мой взгляд, он нуждается в осмыслении. Ведь с первого взгляда очевидно, что Щепкин в западническом кругу — вообще чрезвычайно цельном — выглядел в своем роде белой вороной.

В самом деле, круг этот объединял сверстников — тех, чье детство прошло под знаком Отечественной войны, а юность была ознаменована трагическими событиями 14 декабря. Щепкин же, который был старше самого старшего члена западнического кружка Н. Х. Кетчера на восемнадцать лет, несомненно, среди всей этой молодежи смотрелся как реликт эпохи, приобретающей характер уже почти мифологический: конец правления Екатерины, царствование «буйного Павла», «дней Александровых прекрасное начало»... Далее, западники, знаменовавшие собой появление на свет Божий русской интеллигенции, были прекрасно образованы, учились, как правило, в университетах, многие затем стажировались за рубежом. Щепкин же, по сути, был самоучкой — четырехклассное губернское училище, с грустной иронией описанное им в воспоминаниях, едва ли заслуживало названия серьезного учебного заведения. Наконец, Щепкин был актером, то есть принадлежал к той достаточно замкнутой, своеобычной среде, представители которой, в России по крайней мере, прояв-

ляли себя в общественном движении, как правило, лишь опосредованно — с театральной сцены. Другими словами, по целому ряду чрезвычайно важных, характерных черт — возрасту, образованию, привычной среде общения — Щепкин для западнической интеллигенции должен был бы быть чужим. А был — своим...

При поверхностном знакомстве с источниками может сложиться представление о некоторой искусственности, необязательности или, еще точнее, незначительности этой взаимосвязи: Щепкин — западники. В материалах личного характера упоминание об актере нередко связывается с необычайным даже для хлебосольной Москвы гостеприимством семейства Щепкиных. В те времена «русский обед» в самом высоком смысле этого слова — по радушию хозяев, обилию и аппетитности блюд — это прежде всего обед у Щепкиных<sup>1</sup>. С другой стороны, одной из самых ярких и увлекательных сторон времяпрепровождения у Михаила Семеновича было его изумительное «лицедейство». Так, первым впечатлением Герцена от знакомства «с известным актером Щепкиным» был воссторг от его «дара рассказывать анекдоты»: «хорошо, как безумный...»<sup>2</sup>. Он же упоминает в дневнике о «превосходных рассказах Михаила Семеновича... о мелком чиновничестве»<sup>3</sup>; в «Былом и думах» имя Щепкина нередко сопровождается рассказами о том «уморительном веселье», которое вносил актер в свое общение с членами кружка. И. И. Панаев, западник «петербургского толка», в начале 1840-х частенько наезжавший в Москву к друзьям-единомышленникам, отмечая в свою очередь поразительное радушие Щепкиных, вспоминал о том, как за обедом Михаил Семенович «с свойственным ему мастерством рассказывал нам разные анекдоты и случаи из своей жизни»<sup>4</sup>. Подобных воспоминаний множество; исходя из них, казалось бы, можно говорить о молодых людях, приезжавших к Щепкиным повеселиться, развеяться от творческих дерзновений и духовных исканий. С другой стороны, склады-

вается довольно убедительный образ зрелого актера, польщенного подобной компанией талантливых «мальчиков», уже успевших нашуметь в литературном и научном мире, который, не вникая во все тонкости их мировоззрения, с удовольствием принимает эту молодежь и не считает зазорным развлечь ее на свой «лицедейский» манер.

Однако вчитываясь в переписку и воспоминания людей 1840-х годов, неизбежно приходишь к выводу, что все эти обеды и забавы — не более чем внешнее выражение неких глубоких духовных связей Щепкина с западнической элитой: слишком уж явно выражается там огромное уважение, с каким к Михаилу Семеновичу относились в этом кругу, слишком уж очевидным становится, насколько велико было его влияние среди западников. Достаточно вспомнить строки из герценовского некролога великому артисту: «Четверть столетия старше нас, он был с нами на короткой дружеской ноге родного дяди или старшего брата. Его все любили без ума... Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины — была школой гуманности»<sup>5</sup>. И, кстати, воспоминания автора некролога о визите Щепкина в 1853 году к нему в эмиграцию, в Лондон, ясно показывают, что влияние «светлого старика» сказывалось отнюдь не только в житейской сфере: ведь к Герцену актер прибыл как авторитетный представитель западнического круга, как своего рода парламентер...<sup>6</sup>

То, что Щепкин был очень значимой, более того — ключевой в своем роде фигурой среди западников, несомненно, — но, повторяю, заслуживает серьезных размышлений. Мне представляется, что помимо замечательных человеческих качеств место Щепкина в западническом кругу в значительной степени определялось, во-первых, той поистине небывалой ролью, которую играл в это время театр в жизни русского об-

щества, а, во-вторых, — и это главное, — тем, как играл в театре этот великий актер.

Первое заявление, на мой взгляд, очевидно, и я не буду ссылаясь на бесконечные признания современников Щепкина в своей любви к театру. Процитировать здесь стоит лишь одно из них, самое знаменитое — из «Литературных мечтаний» Белинского, поскольку там, как нигде, это чувство *обосновано* с позиций идеалистов 1830-х–1840-х годов. Ведь непосредственное влечение к театру, свойственное людям самых разных эпох, у молодой русской интеллигенции имело мощное философское обоснование. Вся она прошла через увлечение учением Шеллинга, в соответствии с которым человек является высшим, наиболее совершенным созданием творящей силы — или просто Бога; проявляя себя в человеке так же, как и во всех прочих своих созданиях, эта сила *только через человека получает возможность осознавать и себя, и творимый ею мир, который есть не что иное, как «дыхание единой, вечной идеи»*. Однако этот путь осознания, постижения Божественной идеи открыт далеко не для каждого. Он требует совершенно особого состояния духа: «Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее жизни в горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любви (выделено мной. — А. Л.)!»<sup>7</sup> Только это чувство, причем в его высочайшем накале, может помочь человеку преодолеть то эгоистичное «животное», что есть в его натуре — без уничтожения своего косного «я» приобщение к Божественной идеи совершенно невозможно. Ясно, что этот процесс всякий раз выражается индивидуально, в конкретной форме: в любви, дружбе, подвиге. Но лучшее, самое яркое и выразительное проявление «зиждительной любви» — это творческий акт понастоящему талантливого человека. Ведь творчество, помимо всего прочего, властно вовлекает в сферу Божественного величия множество читателей, слушателей... Зрителей.

В этой концепции бытия театру и актерам отводилась вообще совершенно особая роль, поскольку именно в театре творческий акт происходит в *живом общении* со зрительской массой, то есть оказывает непосредственное и, следовательно, самое сильное воздействие на окружающих. И недаром именно в «Литературных мечтаниях», этом, наверное, самом ярком манифесте идеалистов 1830-х годов, Белинский пускается в свой незабываемый монолог: «Театр!.. Любите ли вы театр так, как люблю его я...». Именно здесь он заявляет, что в театре сосредоточиваются «все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств»; здесь он живописует уникальную возможность театра «вырвать вас из тесного мира сует и бросить в безбрежный мир высокого и прекрасного»<sup>8</sup>.

Естественно, чудеса происходят в театре далеко не всегда — на то они и чудеса. Ведь подобное воздействие на зрителя возможно, конечно же, лишь при условии огромного таланта исполнителей. Да, впрочем, и одного таланта еще мало... Здесь требовалась целая совокупность данных — и Михаил Семенович Щепкин, по мнению западников, был чуть ли не единственным современным им актером, который этим требованиям соответствовал. Здесь самое время привести характеристику трех самых заметных актеров николаевской эпохи, данную Герценом в некрологе Щепкину: «Мочалов был человек подвига, не приведенного в покорность и строй вдохновения; средства его не были ему послушны, скорее, он им. Мочалов не работал, он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращавший его в Гамлета, Лира или Карла Мора, и поджидал его... а дух не приходил, и оставался актер, дурно знающий роль. Одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, Щепкин, напротив, страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения. Но роль его не была результатом одного изучения. Он так же мало был похож на Каратыгина, этого лейб-гвардейского трагика, далеко не бесталанного, но у которого все

было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Карагандин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его. Игра Щепкина вся от доски до доски была проникнута теплотой, наивностью, изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало им твердую опору и твердый грунт»<sup>9</sup>.

Совершенно очевидно, что Герцен передает здесь не только и даже не столько личные соображения, сколько общую точку зрения западников, выработанную еще в конце 1830-х–1840-е – достаточно сравнить сказанное им с театральной хроникой и статьями Белинского, написанными в те времена («Мочалов в роли Гамлета», «И мое мнение о игре г. Карагандин», и множество других). Герцен лишь со свойственным ему блеском подводит итог, предлагая вполне законченную формулу: три актера своей игрой как бы воплощают три противоборствующие идеологии. Два из них, при всей их талантливости, ущербны: любимец Николая I, «официальный» Карагандин, с его внешне блестящей, до мелочей отработанной, так сказать, дисциплинированной и в то же время бездушной, по сути, игрой, и особо ценимый славянофилами Мочалов, наделенный огромной духовной силой, которой он сам не в силах управлять. Западник же Щепкин возвышается над своими условными соперниками, поскольку своей сценической деятельностью преодолевает их односторонность, синтезируя лучшее, органично сочетая труд и вдохновение.

При всей выразительности герценовских формулировок, чрезвычайно лестных и для Щепкина, и для западничества, согласимся все же, что они носят достаточно общий характер. Более того, я бы не рискнул даже назвать их блестящим общим местом, которого явно недостаточно, чтобы объяснить пристрастие западников именно к игре Щепкина. На мой взгляд, специфически «западническое» в этой игре нуждается

в дальнейшем выяснении. И здесь нам может во многом помочь сопоставление Щепкина с человеком, который, наряду с Белинским и Герценом, был одной из самых ярких и значительных, более того — определяющих фигур в западничестве. Речь идет о Тимофеев Николаевиче Грановском.

Известно, что именно с Грановским Щепкин был ближе, чем с кем бы то ни было в западническом кругу. Более того, в конце 1840-х–начале 1850-х годов Грановский, возможно, был вообще самым близким человеком для Михаила Семеновича. Я не буду воспроизводить здесь всю совокупность достаточно хорошо известных сведений о тех трогательных взаимоотношениях, которые сложились у Грановского и с самим Щепкиным, и со всем его многочисленным семейством. Отмечу лишь факты наиболее значимые.

26 ноября 1855 года на обеде, данном московским обществом в связи с пятидесятилетием творческой деятельности М. С. Щепкина, в своем ответном слове на многочисленные приветствия актер, говоря о том, что «многие из присутствующих здесь были моими двигателями на сценическом поприще, а многих уже и нет», назвал затем лишь одно имя: «Беседы с Грановским поднимали меня нравственно, укрепляли во мне постоянно упорную и неугасимую любовь к труду и искусству»<sup>10</sup>. Эти слова не были лишь формальной данью уважения недавно умершему историку — последняя воля Михаила Семеновича, его желание быть похороненным даже не рядом с Грановским, а в ногах у него, свидетельствует о многом. В московском обществе того времени много говорили о сильном умственном влиянии Грановского на Щепкина, объясняя, в частности, этим влиянием сугубо недоброжелательное отношение Щепкина, обычно терпимого и мягкого, к пьесам молодого А. Н. Островского, особенно к «Грозе». «Ну, положим, Михайло Семенович может дурить на старости лет: он западник, его Грановский наспринцовывает...» — так, например, реагировал на резкие заявления Щепкина Пров Садовский.

Мне представляется, что влияние историка на актера преувеличивать не стоит. Дело здесь даже не в огромной, четвертьвековой разнице в возрасте, затруднявшей подобное влияние. Просто, думается, Щепкин выработал свою жизненную позицию вполне органично и самостоятельно, на протяжении всей своей долгой и сложной жизни. Другое дело, что она, судя по всему, оказалась вполне созвучна позиции Грановского и других западников. В этом нет ничего удивительного: ведь в конечных результатах западничества не было ничего непостижимого. Неприятие произвола, стремление к законности, подчеркнутое уважение к правам личности — не нужно было быть ни философом, ни историком, чтобы в житейской сфере стоять на подобной позиции. Другое дело, что западники эту позицию умело защищали, подводя под нее мощное историко-философское обоснование. И вот здесь, в сфере обоснования, общение с представителями западнического круга могло многое дать — и очевидно давало — актеру-самоучке, укрепляя его веру в свою правоту, «поднимая и укрепляя его». И прежде всего это касалось историка-гегельянца, так напоминавшего самого Щепкина основными чертами своего характера — мягкостью, терпимостью, стремлением к взаимопониманию.

Очевидно, им было очень хорошо друг с другом: они схоже мыслили, схоже чувствовали и, что может быть особенно важно, схоже действовали. Мне представляется, что знаменные лекции Грановского, на которых выросло несколько поколений московских студентов, будущих современников великих реформ, и поразительная игра Щепкина, отзвуки которой волнуют нас до сих пор, имели между собой нечто общее.

Грановский с удивительной пластикой показывал историю в движении, раскрывая закономерности этого процесса, внушая слушателям уверенность в его поступательном, прогрессивном характере — ни в коем случае не закрывая при этом глаза на те тяжелейшие препятствия, которые приходи-

лось преодолевать человечеству, и те кровавые потери, которые оно при этом несло. Щепкин, столь же пластично и талантливо разрабатывал на глазах у зрителей характеры своих самых разнообразных героев, никогда не скрывая их слабостей, но и, по словам Белинского, не делая при этом «ни карикатуры, ни сатиры, ни даже эпиграммы» — и в городничем, и в Шейлоке он умел показать человеческое, то есть способность к переживаниям, страданию, а следовательно, и к некоему развитию... Оба они — и актер, и историк — были оптимистами: один в отношении духовных возможностей человека; другой — в плане развития всего человечества. Оба работали на будущее и своим огромным влиянием на общество николаевской России приближали время долгожданных перемен.

2007

Часть II

ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ



# ЭНЕРГИЯ ПРОРЫВА

Важнейшую проблему российского бытия конца XVIII–первой половины XIX веков составляло бросающееся в глаза противоречие; с одной стороны, необходимость отмены крепостного права в стране очевидно назревала; с другой — провести это радикальное преобразование здесь было некому.

О том, что крепостное право есть зло, писал еще Радищев в конце XVIII века, обосновывая свое убеждение с позиций, которые сейчас назвали бы «гуманитарными». Подобные взгляды медленно, но верно распространялись в той, крайне малочисленной, части дворянского общества, которую позднее А. И. Герцен справедливо назвал «образованным меньшинством». Скорее, впрочем, медленно, чем верно... Во всяком случае, к середине XIX века сторонники реформ были представлены ничтожной кучкой «инакомыслящих» членов славянофильского и западнического кружков в столицах и таковыми же оригиналами-одиночками, рассеянными по просторам провинциальной России. Основная масса дворян-помещиков любые разговоры, в которых крепостное право ставилось под сомнение, и в это время по-прежнему воспринимала как безусловное зло — «благородное сословие» в целом прекрасно сознавало, что все его материальное благополучие и политическое влияние зиждилось именно на крепостничестве.

С другой стороны, о необходимости если и не полной отмены, то серьезного смягчения крепостных отношений начали постепенно задумываться представители верховной власти. Свидетельством этого, опять-таки очень медленного, но

верного поворота государственной политики — от последовательного закрепощения крестьянской массы к поискам выхода из крепостного застоя — явились царские указы, пусть немногочисленные и не вполне последовательные: указ «О трехдневной барщине» Павла I (1797 г.), указ «О вольных хлебопашцах» Александра I (1803 г.), нормировка барщины и оброка в ходе инвентарной реформы Николая I (1847 г.)... При этом у государей, особенно у Николая Павловича, на первый план все больше стала выходить экономическая составляющая крепостного вопроса: все ясней становилось, что хозяйственная система, сложившаяся на основе принудительного труда, в XIX веке начинала тормозить развитие самого хозяйства. С высоты престола это было заметно особенно хорошо.

\* \* \*

Зато в крепостной николаевской России жилось так тихо, так спокойно... И сами представители власти не могли не ценить этой тишины и покоя, которых их предшественники добивались веками. Именно к середине XIX века в стране, наконец-то, был наведен вожделенный порядок — благодаря строго централизованной системе управления, в основание которой были положены все те же крепостные отношения.

Эта система имела, собственно, три уровня власти: высший, центральный — царь с министрами; средний, губернский — губернатор со своим штатом чиновников; низший, уездный — городничий в городе и капитан-исправник за его пределами. А ниже — был помещик... «У меня сто тысяч даровых полицмейстеров», — говорил Николай I; мог бы сказать то же и о судьях, и о сборщиках податей... Действительно, уже с середины XVIII века помещик стал совершенно реально выполнять функции дарового агента власти по отношению к своим крепостным: поддерживал среди них крепостной порядок, разбирая хозяйственные и семейные тяжбы, взимал по-

дати в пользу государства. Отмена или даже смягчение крепостного права грозили, с одной стороны, разрушить этот надежный фундамент системы управления; с другой — поссорить верховную власть с помещиками, которых она привычно воспринимала как свою единственную, по-настоящему надежную опору. Легко ли было рубить сук, на котором сидишь...

Неудивительно, что Николай I, при всем своем несомненном понимании бесперспективности крепостных отношений, сделал все же решительный выбор в пользу тишины и покоя. Именно в его царствование была разработана и взята на вооружение теория «официальной народности» — идеология, провозглашавшая существующее положение вещей воплощенным идеалом бытия русского народа. Утвердившись на таких принципах, Николай I заведомо отказывался от любых серьезных преобразований.

В конечном итоге, вопрос решался в пользу помещика и чиновника, благоденствующих персонажей того времени — тех, кому на Руси взаправду было жить хорошо... За исключением этой крепкой связки действующих лиц, помянуть в связи с крепостной проблемой больше некого. Все остальное население России было безгласно, невежественно<sup>1</sup>, лишено политического смысла и влиять на решение принципиально важных государственных вопросов никак не могло. За исключением, конечно же, действий «бессмысленных и беспощадных»... Но к середине XIX века пугачевщина стала уже забываться. В стране, повторюсь, было тихо<sup>2</sup>.

Таким образом, реформы, объективно востребованные страной — отмена крепостного права прежде всего, — не интересовали здесь, казалось, почти никого. Исключение составляли очень немногие дальновидные представители власти, которые, однако, не склонны были спешить с переменами, и «образованное меньшинство» — общность ничтожная по численности и не имевшая никакого влияния на государственные дела. В такой ситуации застой, восторжествовавший к середи-

не XIX века, почти во всех сферах политической и экономической жизни, казался совершенно безысходным.

\* \* \*

Ситуацию резко изменила Крымская война. Общая техническая отсталость России от передовых стран Запада, мало кому заметная в мирное время, в этой войне проявилась со всей очевидностью. Еще сравнительно недавно русская армия в отношении вооружения ничем особо не уступала наполеоновской, безусловно, лучшей в мире — и сражалась с ней на равных, более того, побеждала ее! Однако это время так тесно связанных между собой военного паритета России с Западом и ее боевой славы осталось в прошлом. Теперь же, в 1850-х годах, Россия заведомо проигрывала своим противникам — Англии и Франции — и на море, и на суше. Великолепно обученным экипажам боевых судов черноморского флота пришлось топить их своими руками у входа в Севастопольскую бухту — выдержать бой с пароходами союзников русские парусные корабли не могли по определению: не та была скорость, не та маневренность. Артиллерия и особенно стрелковое оружие заметно уступали западным по дальности и меткости стрельбы. У союзников в Крыму, за тридевять земель от Западной Европы, были огромные проблемы со снабжением своих армий всем необходимым; и все же они справлялись с этим лучше, чем действовавшее на своей родной земле русское командование — железная дорога в России к этому времени, по большому счету, была всего одна (Петербург—Москва), шоссейных было мало, а обычные грунтовые дороги большую часть года находились в безобразном состоянии, представляя собой топь непролазную. И так далее, и тому подобное... Грандиозный, зияющий провал в несколько десятилетий стал очевиден — в него уложилось все николаевское царствование: в то время, как Европа бурно развивалась, Россия топталаась на

месте. И современникам становилось все ясней, что коренной причиной этой роковой для страны отсталости был именно тот «образцовый» самодержавно-крепостнический порядок, который официальные идеологи возводили в идеал бытия русского народа. Да и «образцовость» эта оказалась мнимой: напряжение военного времени буквально выдавило на поверхность все пороки николаевской системы управления, до того, может быть, не столь заметные. Главным из них, очевидно, было совершенно формальное отношение российского чиновника к делу, очень органично сочетавшееся с неудержимым, хищническим мздоимством<sup>3</sup>.

Все это буквально было в глаза, производя самое сильное впечатление, оскорбляя патриотические чувства, которые так заботливо пестовались в николаевскую эпоху, и порождая самые серьезные опасения за будущее страны. Необходимо было срочно становиться другими, меняться — и россияне начали меняться.

\* \* \*

Поначалу, конечно же, господствовали эмоции. Лучше всего общие ощущения передал, наверное, славянофил А. С. Хомяков, писавший в частном письме на другой день после известия о смерти Николая I, которого буквально сгубила Крымская война<sup>4</sup>: «Что бы ни было, а будет уже не то». Судя по многочисленным воспоминаниям современников, это ощущение охватило самые разные круги населения, выражаясь иной раз в весьма причудливых формах<sup>5</sup>.

Однако надо заметить, что изменилось лишь общее настроение — а отнюдь не соотношение сил сторонников и противников крепостного права. По крайней мере, пока все эти эмоции, порожденные поражением в Крымской войне, выражались в бесконечных пересудах, носивших сугубо частный характер, крепостники могли быть относительно спокойны.

Ожидание перемен становилось все напряженней, но реально огромная страна по-прежнему находилась в состоянии ступора — и вывести из этого состояния ее, очевидно, могла лишь верховная власть.

Между тем, на нового царя, Александра II, особых надежд в отношении реформ возлагать, казалось бы, не приходилось. Александр Николаевич взошел на престол в 38-летнем возрасте — то есть зрелым человеком, с вполне сложившимися убеждениями. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что убеждения эти формировались под мощным влиянием его отца, которого Александр всегда искренне почитал, видя в нем единственный в своем роде образец для подражания. Соответственно в той государственной деятельности, к которой его привлекал император Николай, Александр постоянно проявлял себя как человек по духу очень консервативный.

Однако, восприняв убеждения отца, Александр II имел совершенно другой, отличный от него характер. На первый взгляд, сравнение здесь было совсем не в его пользу. Уже современники отмечали — и вполне справедливо, — что новый царь совершенно не обладал твердостью и последовательностью Николая I, не имел столь сильной воли, был скорее уступчив, чем настойчив. И, вроде бы, в последовательные реформаторы поэтому не годился... Однако, если учитывать условия, в которых начиналось это царствование, скорее следует сказать, что при таких чертах характера царь не годился как раз в последовательные консерваторы.

Ведь если исходить из знаменитой максимы Ларошфуко: «Наши достоинства не более чем продолжение наших недостатков» и — наоборот, становится совершенно очевидным, что Александр II был более восприимчив, чем его твердокаменный отец, более открыт миру, более пластичен... Именно этих качеств, очевидно, требовала эпоха перемен от главы государства. Но при этом надо иметь в виду, что Александр II обладал еще одним качеством — безусловно позитивным, ко-

торое я, например, затрудняюсь подогнать под универсальную, казалось бы, максиму Ларошфуко: царь был человеком чрезвычайно ответственным. Этим качеством, я думаю, он даже превосходил Николая I, для которого очень многое значила поза, впечатление, им производимое, и тому подобная бутафория. Все это ведь нередко затмевает суть дела. Для Александра же Николаевича эта суть всегда была на первом плане...

\* \* \*

Хорошо известно, что Александр II искренне и глубоко переживал события, в ходе которых он взошел на трон. Его потрясла явно преждевременная смерть отца, успевшего сказать ему напоследок: «Сдаю тебе команду не в полном порядке...». Что это именно так и есть, Александр II сразу же убедился, вникнув в проблемы, связанные с ходом войны и столкнувшись с теми вопиющими безобразиями, о которых писалось выше<sup>6</sup>.

Подробности внутренней, духовной работы Александра II от нас в значительной степени скрыты. Но очевидно, что царь на удивление быстро сумел сделать единственный правильный вывод из всех своих тяжелейших впечатлений: он стал решительным сторонником отмены крепостного права, увидев в нем главную причину всех российских бед. При этом речь ни в коем случае не шла о каком-то чудесном перерождении его в последовательного либерала, принципиального сторонника широких преобразований. Нет, он по-прежнему оставался самодержцем не только по своему положению, но и по своей сути; он, в целом, сохранил свой общий консервативный настрой, при котором любые серьезные перемены в принципе были ему неприятны. Но, осознав насущную необходимость таких перемен, царь готов был переступить через свою неприязнь к ним. Такой позиции, конечно же, не хвата-

ло цельности, она грозила разнообразными осложнениями в будущем, и все-таки — это было начало прорыва.

Но только самое начало... Решившись на отмену крепостного права, царь понятия не имел, как это делается: очевидно, что никогда раньше этот вопрос им всерьез не воспринимался; никакой, даже самой общей программы действий у него не было. И посоветоваться было почти не с кем: Александра II окружали сановники, доставшиеся ему в наследство от отца, то есть, в лучшем случае, более или менее дельные исполнители «высочайших предначертаний». Подвигнуть их на какие бы то ни было соображения по поводу коренных реформ было практически невозможно.

В свое время в этом должен был убедиться сам Николай I: стремясь исподволь нащупать путь смягчения крепостного права, он за свое тридцатилетнее царствование создал 10 комитетов для обсуждения этого вопроса — ни один из них не дал сколько-нибудь заметного результата. О каком результате, впрочем, могла идти речь, если все эти комитеты были *секретными*: ведь поскольку крепостное право в рамках официальной идеологии провозглашалось одной из основ счастливого бытия русского народа, то обсуждать его с критических позиций открыто, гласно было, конечно же, невозможно. Если бы еще при этом удалось крепостное право как-нибудь секретно отменить<sup>7</sup>...

\* \* \*

Александр II тоже попытался действовать в духе своего обожаемого отца: очередной Секретный комитет по крестьянскому вопросу был создан им в 1857 году. В этом комитете заседали отборные сановники, сделавшие карьеру в николаевские времена, во главе с недавним шефом жандармов А. Ф. Орловым. Все было как при покойном царе — включая полное отсутствие серьезных результатов.

К чести Александра II, он очень быстро понял полную бесперспективность подобных — то есть секретных — действий. Тем более, что эта секретность свела на нет и еще одно очень важное, в принципе, предприятие. Дело в том, что царь изначально не хотел решать крепостной вопрос исключительно сверху, то есть чисто бюрократическим путем. Так же, как и его отец, Александр II в этой ситуации с опасением посматривал на одну из главных заинтересованных сторон — поместное дворянство<sup>8</sup>. Одним из самых заветных желаний царя было наладить с этой серьезной социальной силой контакт, инициировать какое-то подобие сотрудничества с ней.

Осуществлению этой цели была посвящена так называемая «миссия Левшина» — конечно же, секретная. Левшину, товарищу (заместителю) министра внутренних дел, было поручено провести негласные переговоры с предводителями губернских дворянских собраний, съехавшимися в Москву летом 1856 года на коронацию Александра II. От дворянских лидеров требовалось, всего-то навсего, обращение к верховной власти с любым, пусть самым невнятным предложением «улучшить положение крестьянства». Нужна была хоть какая-то зацепка...

Однако предводители царя разочаровали. Товарищ министра со сдержанной скорбью докладывал о явном нежелании этих людей, вполне реально представлявших интересы помещиков своих губерний, вступать в переговоры с властью по такому щекотливому вопросу. Все они в ответ на настойчивое предложение Левшина не упрямиться и проявить добрую волю реагировали в общем-то схоже: кто был предельно уклончив, кто отделялся общими фразами, ктомямлил что-то невнятное... Общий же смысл их заявлений сводился примерно к следующему: «Делайте, что хотите, власть ваша, мы люди подневольные; но сами голову на плаху не положим». «Миссия Левшина», таким образом, оказалась невыполнимой... Причем, учитывая общую ситуацию, сложившую-

юся в стране к концу Крымской войны, можно было быть уверенным: большинство этих представителей «благородного сословия» не рискнули бы так откровенно проигнорировать вопрос об улучшении положения трудовой крестьянской массы — если бы этот вопрос был задан им *гласно*, открыто.

Традиционная секретность, неразрывно связанная с любой критической оценкой крепостничества, служила отличным прикрытием для крепостников любого толка — будь то высшие сановники, искушенные в бюрократических интригах, или незатейливые поместные хозяева.

\* \* \*

Клин клином вышибают; бюрократическую секретность, канцелярскую тайну — *гласностью*. Это понятие, оживленное в обществе славянофильскими публицистами, оказалось привлекательным и для русского самодержца. Может быть, главное достоинство Александра-реформатора именно в том и заключалось, что он вовремя понял: прежде, чем начинать какие бы то ни было реформы, нужно создать для них соответствующие условия. То подспудное ощущение необходимости и неизбежности перемен, которое охватило самые разные слои населения, следовало вывести на поверхность, легализовать, позволить ему выразиться в свободной дискуссии, обмене мнениями... Только так можно было дать ход процессу преобразований, сделать его необратимым. Иначе все эти сильные и в принципе позитивные чувства могли так и погрязнуть в пучине секретности.

Первый, пусть робкий, но, тем не менее, очень важный шаг на этом пути сделал сам царь, приняв совет и помощь от «чужих» — от представителей того самого «образованного меньшинства», которых так не любил и презирал его отец и с которыми сам Александр до поры до времени не имел никаких дел. Теперь же на его имя буквально с первых дней цар-

ствования начинают поступать записки, посвященные критике существующего положения вещей; проекты, связанные с грядущими переменами и, прежде всего, с отменой крепостного права. Пишут их люди, очень авторитетные в общественной среде: славянофилы А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, А. И. Кошелев; западники К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин. И царь читает все эти своеобразные послания от «образованного менышинства», получая, тем самым, возможность выйти за пределы привычных бюрократических воззрений, познакомиться со свежими, совершенно непривычными для него взглядами, посмотреть на знакомую ситуацию в новом, неожиданном ракурсе<sup>9</sup>.

\* \* \*

Почти сразу же после восшествия на престол Александра II меняется отношение власти к периодической печати. Прежде всего, появляется возможность, которая раньше практически отсутствовала: открыть новый журнал (Николай I, который держал это дело под своим личным контролем, на соответствующих прошениях накладывал, как правило, одну и ту же резолюцию: «И без того слишком много»). Теперь же, в 1856–1857 годах, с удивительной легкостью позволяются новые периодические издания, из которых особо выделяются органы идейных кружков — западнический «Русский вестник», издававшийся М. Н. Катковым, и славянофильская «Русская беседа» А. И. Кошелева. Все большую популярность приобретают и старые, хорошо знакомые читателю журналы — «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения».

Буквально на глазах слабеет цензурный надзор за печатью. Правда, вплоть до 1857 года в печати запрещалось обсуждать крепостной вопрос — но зато никто не запрещал обличать то, что можно условно назвать порождением крепостничества:

произвол, беззаконие, унижение личного достоинства... Именно в это время на журнальной основе начинает складываться *обличительная литература*, привлекающая к себе все большее внимание читателей. Тем более, что наряду с произведениями художественного характера в печати все чаще появляются документальные материалы, в которых речь идет о реальных событиях, называются настоящие имена...

Конечно же, в русской подцензурной печати эта небывалая раньше свобода имела свои пределы. Но с 1856 года в России все большее распространение получают издания Вольной типографии А. И. Герцена (той самой, что базировалась в Лондоне) – «Полярная звезда», затем «Колокол». И вот тут уже никаких ограничений в обличении крепостничества и призывов к реформам нет, по определению... Хотя издания Герцена распространяются в России нелегально, происходит это удивительно легко и почти не встречает сопротивления со стороны властей. Да о чем тут говорить, если сам Государь император не скрывал, что читает «Колокол» с большой пользою для себя.

Все эти журналы, издававшиеся разными людьми и имевшие, в принципе, различные программы, безоговорочно сходились в одном: они готовы были поддерживать любое «отрадное явление», связанное с ожидаемыми переменами, и – столь же последовательно нападали на все, что, с их точки зрения, мешало прогрессу. Быть крепостником в России становилось небезопасно<sup>10</sup>...

\* \* \*

В атмосфере все более торжествующей гласности особое значение приобретали те шаги, которые продолжал делать в этом направлении сам Александр II. Каждое событие, порожденное этим поступательным движением, было значимо; я отмечу два из них – те, что представляются наиболее важными.

В 1856 году, накануне коронации, Александр II приехал в Москву и по настоянию московского генерал-губернатора графа А. А. Закревского держал речь перед представителями московского дворянства. Закревский, сам принадлежавший к помещикам того типа, которым право владения крепостными представлялось столь же естественным, как и право есть, пить и дышать, просил царя успокоить дворян, встревоженных «нелепыми слухами». Царь начал успокаивать и, выдержав всю свою речь в заздравном тоне по отношению к «благородному сословию», совершенно неожиданно закончил ее заупокойной фразой: «И все же крепостное право придется отменить. Лучше начать уничтожать его сверху, чем ждать того времени, когда оно само собой начнет уничтожаться снизу»<sup>11</sup>.

Значение этой фразы переоценить невозможно: впервые глава государства открыто, во всеуслышание заявлял о своих принципиальных намерениях в отношении крепостной системы. Именно с речи Александра II перед московским дворянством и начинается, собственно говоря, эпоха Великих реформ.

В следующем, 1857 году, Александр II еще раз с блеском продемонстрировал свое умение использовать гласность в интересах дела. Надо сказать, что после неудачной «миссии Левшина» царь не оставил надежд «раскачать» помещиков на какое-либо движение в пользу крестьянской реформы. Зацепка с этой стороны, по-прежнему, казалась ему необходимой. Вместо незадачливого Левшина «дворянскую проблему» должны были решать теперь представители власти в губерниях, которым вменялось в обязанность нажимать на «своих» помещиков, гнать их в нужном направлении. В конце концов, генерал-губернатор Виленский, Ковенский и Гродненский В. И. Назимов, администратор весьма жесткий и настойчивый, вынудил подвластных ему помещиков совершить столь желаемое царем действие: обратиться к нему с просьбой дозво-

лить им «усовершенствовать» свои отношения с крепостными. Царь дозволил.

20 ноября 1857 года Александр II подписал рескрипты на имя Назимова, в котором дворянам-помещикам Виленской, Ковенской и Гродненской губерний предлагалось создать путем выборов комитеты в каждой из этих губерний. В комитетах представители дворян-помещиков должны были обсудить, на каких условиях они готовы освободить своих крепостных, и подготовить соответствующий проект для своей губернии.

Само по себе это было событием важным, но не решающим. В конце концов, дело пока что касалось окраинных западных губерний, населенных не русскими, а литовцами и белорусами. В этих краях у крепостного хозяйства была своя специфика; существовала опасность, что даже если здесь и будут проведены какие-то реформы, они могут иметь локальный характер<sup>12</sup>. Как совершенно справедливо заметил в свое время один из первых историков реформы А. А. Корнилов, принципиально важен был не столько сам рескрипт, сколько то, что он был тут же опубликован в печати.

Это была инициатива самого царя, которого окружавшие его крепостники всячески пытались удержать от этого шага — их самих пугала именно публикация рескрипта. И можно понять почему: после этой публикации дело освобождения крестьян приняло, наконец, практическое направление. Прошло совсем немного времени после того, как царский рескрипт стал известен всей России и — «процесс пошел». Те самые предводители, которые совсем недавно даже слышать не хотели об обсуждении крестьянской реформы, один за другим подают прошения на царское имя: от лица предводимых им помещиков просят Государя Императора позволить им создать в своих губерниях комитеты, по образцу Виленского, Ковенского и Гродненского. Верховная власть, публично заявив о начале реальной работы над подготовкой реформы, не оставила им другого выхода. Было очевидно: откажешься обсуж-

дать и составлять проект — реформу спустят сверху. Предложенный правительством вариант подготовки отмены крепостного права позволял, по крайней мере, подержать это дело в своих руках, попытаться при расставании со своими крепостными урвать себе кусок пожирнее...

Как бы то ни было, через несколько месяцев после публикации рескрипта губернские комитеты работают уже по всей России; дворянские депутаты обсуждают в них проекты крестьянской реформы и обратного хода не будет — колесо истории пришло в движение, пусть и с характерным для него скрипом...

Дальше дело, однако, пошло хуже. А кончилось, как известно, совсем плохо.

2010

# САМОУПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ САМОВЛАСТЬЯ

«Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха — разветвляется так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губернией, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, „сидящий на городу“»... Так воспроизводил народное понятие о власти Н. С. Лесков в своем замечательном «Однодуме» — понятие не только выразительно-лаконичное, но и вполне справедливое.

Конечно же, помимо означенных здесь «первых лиц» существовала еще масса чиновников всех рангов: царь осуществлял свою власть посредством центрального правительства (министров, директоров департаментов и прочих); губернатор — при помощи губернского правления; штат, окружавший городничего, хорошо известен читателю по гоголевскому «Ревизору». Но уровни власти обозначены Лесковым совершенно точно: именно так, тремя уступами, грандиозная пирамида российской бюрократии «снисходила» к своему основанию — придавленному ею российскому обывателю, безгласному и бесправному... Связью же, лучше всякого цемента крепившую сию пирамиду в единое целое, была строжайшая централизация: все носители власти — естественно, кроме «первого лица», — назначались вышестоящими инстанциями, сверху вниз; распоряжения этих инстанций определяли и всю их деятельность, в которой они регулярно отчитывались, — снизу вверх. «В России все чиновники живут, задрав рыло кверху», — эта вышедшая из круга радикальной интеллигенции

характеристика подобной системы грубовата, конечно, но справедлива, причем, очевидно, не только для России прошедших времен... В самом деле: сверху назначают, сверху награждают, сверху распекают... От тех, кто находится внизу, кем, собственно, и приходится управлять, чиновничья судьба практически не зависит. Последовательно проведенная бюрократизация системы управления неизбежно превратила ее в нечто самодовлеющее.

В российской истории, казалось бы, можно отыскать исключения из этого «железного правила»: временами центральная власть как будто нарушала свои собственные принципы и привлекала к управлению выборных — представителей различных сословий. Так, в XVI веке, в первые годы царствования Ивана Грозного, в России была проведена реформа, передававшая целый ряд важных функций местного самоуправления губным и земским старостам — выборным от служилых людей и черносоцких крестьян. Через двести с лишним лет — в 1775 году — Екатерина II, проводя губернскую реформу, опять-таки допустила формирование административных и судебных органов низшего, уездного уровня на выборных началах — туда выдвигали своих представителей все те же дворяне и городская верхушка.

Однако это были те самые исключения, которые лишь подтверждали общее правило. В. О. Ключевский совершенно справедливо оценивал подобные «демократические преобразования» как «обычный прием устроительной политики» центрального правительства: «требовался новый налог; требовались новые ответственные и даровые органы местного управления — обязательная поставка была возложена на местное общество». Самоуправлением здесь и не пахло: выборные органично входили в бюрократическую систему, занимали в ней соответствующие ниши, превращаясь в чиновников, представлявших интересы центральной власти, а отнюдь не тех, кто их выбирал.

Таким образом, вводя выборные должности, власть не ослабляла свою структуру и даже не видоизменяла — она лишь облегчала себе жизнь, получая подкрепление извне, из небюрократической среды. В этом направлении она заходила еще дальше: к концу XVIII века правительство чуть ли не всю полноту ответственности за материальное положение крепостных, их поведение, выплату ими податей и прочее возложило на хозяев — помещиков, превратив тем самым неслужащих дворян в своих функционеров. «У меня сто тысяч даровых полицмейстеров», — говорил по этому поводу Николай I. А Л. В. Дубельт, управляющий делами III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, писал: «Помещик — самый надежный оплот государя. Никакое войско не заменит той бдительности, того влияния, какое помещик ежемесячно распространяет в своем имении. Уничтожь эту власть, народ напрет и хлынет со временем на самого царя». Бюрократическая пирамида, вбирая в себя чуть ли не весь господствующий класс, обретала тем самым мощный фундамент.

Но если на деле власть бюрократии вплоть до эпохи реформ ни в чем не претерпела ущерба, то в теории закономерность ее господства постепенно начала подвергаться все большим сомнениям. Оставив в стороне пылкие мечты и грандиозные проекты, рождавшиеся в среде оппозиционного общества, обратимся к тому замечательному плану государственного преобразования, который вышел непосредственно из бюрократической среды.

Речь идет о плане одного из ведущих государственных деятелей начала XIX века М. М. Сперанского, созданном по прямому указанию Александра I, озабоченного несовершенством бюрократической системы управления. В преамбуле этого плана Сперанский прямо писал, что Россия приближается к неминуемой катастрофе, предвестником которой является падение престижа власти в народе, равно как и утрата ею

морального авторитета в обществе. Власть не уважают постольку, поскольку «настоящая система правления несвойственна уже более состоянию общественного духа». Во имя спасения России Сперанский настаивал на кардинальных переменах в характере всего государственного строя.

Не вдаваясь в подробный анализ этого действительно грандиозного плана, отметим то, что представляет для нас наибольший интерес: в нем впервые в истории русской общественной, а тем более чиновничьей мысли была намечена принципиально новая структура, в которой легко увидеть черты будущей системы самоуправления.

Сперанский предполагал, что, наряду со старой административной системой, на всех территориальных уровнях в волостях, уездах, губерниях будут созданы единообразные выборные органы — думы. В думских выборах, проводимых на основе имущественного ценза, должны были принимать участие представители всех сословий, за исключением крепостных крестьян. Собираясь раз в три года, думы выбирали бы членов правления, которые в соответствии с думским наказом должны были заниматься местными делами; контролировать местные доходы и расходы; выдвигать своих представителей в «вышестоящую» думу (волостная — в окружную, окружная — в губернскую) и сообщать ей о местных нуждах. Таким образом, принципы построения и деятельности органов местного самоуправления в корне отличались от бюрократических: здесь система строила себя снизу вверх, а действовала во имя удовлетворения интересов тех, кто стоял ниже...

Венчала эту систему Государственная дума, состоявшая из гласных, выдвинутых думами губернскими. Этот орган, имевший мощную опору в местных выборных органах и представлявший по сути интересы населения страны, надеялся законодательными функциями: за верховной властью Сперанский оставлял законодательную инициативу и право окончательного решения.

Таким образом, не ограничивая формально самодержавие, Сперанский в то же время пытался вывести его из бюрократического затворничества, предоставить ему возможность услышать голос различных слоев населения, составить ясное представление о народных нуждах. На всех уровнях управления, вплоть до высшего, автор проекта предусматривал живое взаимодействие между властью, назначаемой сверху и проводящей в своей деятельности интересы центра, и органами выборными, выражавшими интересы местного населения. В результате должно было возникнуть вожделенное равновесие между удовлетворением государственных нужд и народных потребностей, которое совершенно отсутствовало в деятельности самодержавно-бюрократического аппарата.

...Ненависть со стороны высшей бюрократии и столичного дворянства, ссылка за государственную измену — вот те «награды», которые получил автор крамольного плана. И, очевидно, нет необходимости доказывать неосуществимость его идей в условиях крепостной, разделенной на противостоящие друг другу сословия России. Но как путеводная звезда, как идеал — которому, кстати, так и не суждено было воплотиться в действительность, — план Сперанского сыграл выдающуюся роль в борьбе за преобразование Российского государства.

Первые робкие шаги на пути реорганизации государственного строя власть предприняла в 1860-х годах, в эпоху реформ, да и то не по своей воле. Отмена крепостного права предопределила необходимость дальнейших преобразований, и прежде всего — в системе местного управления. В самом деле, после того как крестьяне получили свободу и минимум гражданских прав, «даровые полицмейстеры» — помещики волей-неволей сложили свои полномочия... Сразу же встал вопрос об органах уездного уровня, которые состояли из представителей поместного дворянства, а управляли всем местным населением, — подобные органы являлись по-

рождением крепостного права и должны были исчезнуть вместе с ним.

Конечно же, у правящей бюрократии был большой соблазн решить дело с помощью верного, испытанного средства: распространить свои структуры донизу, до самой «почвы» и тем самым заполнить возникший вакuum власти. Однако правительству пришлось убедиться, что в пореформенной России оно не будет иметь прежней свободы действий, — в стране возникла новая, неведомая ранее сила, с которой власть так или иначе вынуждена была считаться, — сила общественного мнения.

Так, в 1862 году тверское дворянское собрание приняло постановление, в котором, требуя дальнейших преобразований в сфере судебной, финансовой и прочих, выражало твердое убеждение в том, что «осуществление этих реформ невозможно путем правительственныех мер... Предполагая даже полную готовность правительства провести реформы, дворянство глубоко проникнуто убеждением, что правительство не в состоянии их совершить...». Заявляя таким образом о полной несостоятельности правящей бюрократии, тверские дворяне указывали путь, на который «должна вступить власть, чтобы спасти себя и общество», — созвать «собрание выборных от всего народа без различия сословий», не больше и не меньше. Схожие призывы раздавались и в других дворянских собраниях — рязанском, московском, тульском. Даже консервативно настроенные помещики не скрывали своей неприязни к бюрократии, требуя, чтобы она поделилась властью, правда, не со «всем народом», а только с ними, дворянами, компенсируя тем самым ущерб, нанесенный «благородному сословию» крестьянской реформой... И вся эта критика разворачивалась на фоне крестьянских бунтов, студенческих волнений, подпольной деятельности радикалов.

Правительство на глазах теряло присущую ему самоувренность. Один из самых компетентных его членов министр внутренних дел П. А. Валуев, предлагавший Александру II

пойти на некоторые уступки обществу, обращал его внимание на то, что власть теряет опору среди населения. «Меньшинство гражданских чинов и войско, — писал он, — суть ныне единственныесилы, на которые правительство может вполне опереться». И царь согласился с подобной оценкой положения в стране, пометив на полях: «Грустная истина».

В этих условиях правящая бюрократия уже не в силах была сохранить свое всевластие. Она отступила перед новой силой на местах, в уездах и губерниях — там, где, с одной стороны, все равно не миновать было переустраивать систему управления, а с другой — отступление представлялось сравнительно безопасным.

«Положения о губернских и уездных земских учреждениях», получившие законную силу 1 января 1864 года, по содержанию несколько напоминали «План» Сперанского, но сильно ухудшенный. Прежде всего «пострадала» структура предполагавшихся органов. В соответствии с «Положениями» население уездов раз в три года должно было избирать своих представителей в уездные земские собрания, которые собирались ежегодно для решения следующих вопросов: разработка общего плана ведения местного хозяйства; утверждение сметы доходов и расходов и выбор из своей среды членов управы — постоянно действующего распорядительного земского органа. Кроме того, уездные гласные выдвигали своих представителей в губернские собрания, формируя тем самым земские органы высшего уровня. Деятельность губернского земства определялась теми же задачами, что и уездного, но, естественно, в масштабах всей губернии.

По сравнению с той структурой, которую предполагал создать Сперанский, незавершенность и непоследовательность этой системы органов бросается в глаза. Как отмечали многочисленные критики реформы, «земское строение» оказалось лишенным как фундамента — низших, волостных земств, так и крыши — общероссийского представительного органа,

который, подобно предполагавшейся Сперанским Государственной думе, венчал бы собою земскую систему. А это, с одной стороны, неизбежно отрывало подобную систему от «земли», от повседневных, самых насущных нужд местного населения, а с другой — лишало ее возможности действовать как единое целое, представлять интересы всего «земского», нечиновного населения России.

В отношении организации выборов был также сделан заметный шаг назад по сравнению со Сперанским. Если последний в основу выборов положил имущественный ценз, то члены подготовительной комиссии исходили прежде всего из феодального, сословного принципа — имущественное положение избирателей играло в их проекте подчиненную роль. В соответствии с этим принципом все население уезда делилось на три группы избирателей, так называемые курии. В первую входили землевладельцы, имевшие не менее 200 десятин земли или пользовавшиеся годовым доходом не менее 6 тысяч рублей; во вторую — горожане с аналогичным годовым доходом; в третью — крестьяне. В отношении крестьянской курии имущественный ценз не определялся, зато выборы были здесь непрямыми — носили многоступенчатый характер: сельские общества выдвигали своих представителей на волостной сход, на сходах выбирали выборщиков, и лишь эти последние определяли, кто будет гласным крестьянства в местное уездное управление.

Побуждения власти были совершенно ясны: несмотря на все трения, которые возникали у правительства с дворянством, оно все же доверяло «благородному сословию» куда больше, нежели нарождавшейся буржуазии или крестьянству. И создавая, по жестокой необходимости, земство, власть сделала всё, чтобы поставить его под дворянский контроль. С помощью несложных цифровых выкладок была сконструирована такая избирательная система, которая обеспечивала численное преобладание поместного дворянства в уездном и, соот-

ветственно, в губернском земствах. Ведущая роль, предуготованная правительством этому сословию в местном управлении, подчеркивалась еще и тем, что по «Положению» председателями уездных собраний должны были стать уездные, а губернских — губернские предводители дворянства.

Обращала внимание и ограниченность компетенции земства: власть настойчиво подчеркивала, что его функции определяются исключительно местными, хозяйственными по преимуществу, делами; никакие проблемы общего характера обсуждению в собраниях не подлежат... Все эти и многие другие недостатки новорожденной системы самоуправления сразу же обратили на себя внимание русского общества и подверглись с его стороны критике, зачастую резкой и, как правило, справедливой.

И всё же большинство общественных деятелей, и в центре и на местах, весьма оптимистично смотрели на будущее земства. С их точки зрения, реформа впервые в истории России предоставляла возможность для реальной *самостоятельной* деятельности населения, деятельности в *собственных* интересах. В этой работе можно было надеяться не только поднять уровень жизни населения, но и преодолеть отчужденность, недоверие, непонимание, которые веками накапливались во взаимоотношениях противостоящих друг другу сословий. В то же время земская деятельность, по мнению многих, должна была стать чем-то вроде приготовительного класса в школе представительного правления: прежде чем добиваться введения конституции, нужно было научиться своими силами решать местные проблемы. И К. Д. Кавелин, один из самых ярких либеральных деятелей пореформенной поры, выражал мнение многих, когда писал: «От успеха земских учреждений зависит вся наша будущность, и от того, как они пойдут, будет зависеть, готовы ли мы к конституции. Пора бросить глупости и начать дело, а дело теперь в земских учреждениях и нигде больше».

Невзирая на все многочисленные недостатки в своей организации, земство показало себя вполне жизнеспособным, развернув на местах активную и весьма плодотворную деятельность. Либерально настроенные земцы поначалу составляли большинство во многих уездах и губерниях; а по тем временным быть земцем-либералом означало быть искренне заинтересованным в результате своей работы. Под руководством подобных деятелей многие земства упорно и не без успеха пытались разобраться в причинах местных хозяйственных и прочих неурядиц и устраниить их своими силами; если же это оказывалось невозможным, они засыпали ходатайствами губернскую администрацию и высшие инстанции, требуя обратить внимание, помочь, выделить средства...

Либеральный состав собраний и управ обуславливал и соответствующий подбор кадров земской интеллигенции, служившей здесь по найму. В пореформенной России не было недостатка в прекрасных работниках-энтузиастах, горевших желанием послужить народу своим трудом, своими знаниями, — и земство предоставило им такую возможность. В результате — впервые в истории России крестьянство получило квалифицированную медицинскую помощь; в селах появились отлично подготовленные учителя; трудами земских статистиков была создана объективная и ясная картина хозяйственной жизни страны. Наверное, никогда еще русский интеллигент не трудился так истово, с таким жаром — наконец-то у него появилось реальное благое дело.

Работа кипела... Но она имела смысл лишь постольку, поскольку соблюдалось правило: земства действуют свободно и независимо, — недаром ведь они назывались органами самоуправления. При этом условии можно было преодолеть любые препятствия — нехватку средств, «недостроенность» системы, непропорциональное представительство сословий; при этом условии местное население и впрямь получало определенную возможность на деле решать свои проблемы и защищать свои

интересы. Но именно это условие власть стала нарушать с железным постоянством буквально с первых лет существования земства: самостоятельность и независимость земства чрезвычайно раздражала бюрократию всех уровней. Ощущив — уже не в теории, а на практике, сколь серьезна брешь, пробитая в ее структурах земской реформой, власть принялась подгонять новые органы под старый строй.

Кое-какие рычаги, с помощью которых местная администрация могла влиять на деятельность своего новоявленного конкурента, были созданы уже «Положениями» 1864 года. Так, например, в них никак не предусматривались органы, с помощью которых земства сами могли бы собирать с населения соответствующие платежи и проводить в жизнь свои хозяйствственные планы. А следовательно, в этом вопросе целиком и полностью зависели от уездных чиновников — исправников и становых, которые с превеликим удовольствием саботировали чуждую, противную им систему. Впрочем, пассивное сопротивление уездной администрации еще можно было пережить. Куда сложнее было противостоять активной антиземской деятельности губернских властей, которые буквально с каждым годом получали все более серьезную возможность влиять на органы самоуправления. Во второй половине 1860-х—1870-х годах губернаторам было дано право отказывать в утверждении любому лицу, избранному земством, но сочтенному им, губернатором, неблагонадежным. Еще большие карательные права губернские власти получают в отношении «лиц, служащих по найму», — земских врачей, учителей и прочих: по малейшему поводу, а нередко и просто по анонимному, ничем не подтвержденному доносу нежелательное лицо не только изгонялось из земства, но и высыпалось за пределы губернии...

Кроме того, губернатор становился цензором всех печатных изданий земства — докладов, отчетов, журналов заседаний. Всеми этими правами местная власть пользовалась максимально широко, совершенно открыто относясь к земству

как к противнику, которого должно если не уничтожить, то, по крайней мере, покорить.

Аналогичной была и позиция высшей власти: как из дырявого мешка на головы земцев сыпались из центра предостережения и выговоры за «вмешательство» в дела, принадлежащие «кругу действий правительства». Иной раз «дерзость» земцев вызывала и более серьезные меры: приостановку деятельности земских органов, наказание гласных и т. д.

В целом отношение власти к земству как нельзя лучше выразил губернатор, один из героев «Мелочей жизни» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Я укажу вам на мостик — вы его исправите; я сообщу вам, что в больнице посуда дурно вылужена — вы вылудите. Задачи скромные, но единственные, для выполнения которых мне необходимо ваше содействие. Во всем прочем я надеюсь на собственные силы и указания начальства. Итак, не будем витать в эмпиреях...».

Бюрократия, как будто осознав теоретически необходимость уступок, компромиссов, оказалась совершенно не способной осуществить их на практике. Создав систему самоуправления, которая действительно могла бы стать полем серьезной, полезной для государства деятельности оппозиционных сил, власть сама же в скором времени извратила ее и тем самым скомпрометировала. С каждым десятилетием земство становилось все менее привлекательным для тех, кто искал приложения своих сил к решению жизненно важных проблем пореформенной России. Окончательно добив земство контрреформами 1889–1890 годов, власть заставила и либералов, и радикалов с головой уйти в политику и тем самым из потенциальных сотрудников превратила в своих непримириимых врагов.

Крушение веры в возможность мирного перехода к новому строю было чревато революцией.

# ВЗРЫВНАЯ СИЛА СУДЕБНЫХ УСТАВОВ

А. Ф. Кони, один из самых замечательных деятелей нового, пореформенного суда, совершенно справедливо заметил как-то, что судебная реформа в России прошла на удивление легко, быстро и безболезненно — несравненно, скажем, с той же крестьянской, «вырабатывавшейся горестно и трудно». Объяснение этому Кони давал самое простое: «Негодность существующих судебных порядков в их главных чертах и житейских проявлениях была признана всеми» — и с этим категорическим заявлением, думается, не мог не согласиться любой россиянин, хоть раз в своей жизни сталкивавшийся с отечественным судопроизводством.

Ощущение зла, царящего в этой сфере, накапливалось постоянно и к эпохе реформ превысило все возможные нормы. Недаром строка из обличительного стихотворения А. С. Хомякова «России» времен Крымской войны: «В судах черна неправдой черной...» — сразу стала крылатой, а монолог странницы Феклушки из «Грозы» А. Н. Островского (премьера состоялась в 1857 году) вызывал бурную реакцию зрительного зала именно в связи с горестным повествованием об «ихних» судебных местах: «И все суды у них, в ихних странах, тоже все неправедные; там им, милая девушка, и впросьбах пишут: „Суди меня, судья неправедный“...»

В самом деле, организация судопроизводства в дореформенной России была, казалось, прямым вызовом самому понятию «правосудие». Весь процесс следствия и суда целиком и полностью находился в руках чиновников, ответственных перед высшим начальством, но совершенно безответственных

по отношению к тем несчастным, кто попадал к ним в лапы... При полной закрытости следственно-судебной процедуры, проходившей под спудом канцелярской секретности, те, кто надеялся на правосудие, неизбежно сталкивались с произволом.

Всевластие судейских чиновников подкреплялось еще и теми основными принципами, которые были положены в основу следственного процесса, оказывая затем решающее влияние на судебные приговоры. Здесь господствовала теория формальных доказательств, в соответствии с которой перед следователем, ведущим то или иное дело, ставились совершенно конкретные задачи. Высшим достижением следствия, снимавшим все возможные вопросы, считалось признание подследственным своей вины; следствие рассматривалось как успешное и в том случае, если в его материалах содержались показания двух или более свидетелей, уличавших подследственного в совершении преступления (одного свидетельства было недостаточно). Все прочие доказательства в расчет принимались весьма условно, что следовало и из общего определения их — «несовершенные доказательства». Председатели губернских уголовных и гражданских палат, через которые проходила основная масса дел, стремясь к совершенству, терпеть не могли выносить приговоры, опираясь на такую, с их точки зрения, зыбкую, ненадежную основу.

И. С. Аксаков, сам долгое время служивший в губернском суде, в своих замечательных «Судебных сценах»<sup>1</sup> приводит выразительный диалог на интересующую нас тему между секретарем и председателем губернской уголовной палаты. Секретарь, пытаясь убедить своего начальника в виновности подсудимого помешника — заведомого мерзавца и преступника, слышит в ответ: «А доказательства есть?»

Секретарь: Да прямых, отдельных доказательств нет, но есть целая совокупность улик и несовершенных доказательств.

*Председатель: Э! Совокупность улик!.. Это все равно, что нет. Вы мне подайте собственное сознание или двух свидетелей, или... что там еще? Ну, того, что называется прямых доказательств... А без этого и обвинить нельзя».* Упоминание одного из присутствующих о логике вызывает у судебских чиновников смех и заявление: «Да ведь логика-то, батюшка, у каждого своя».

Таким образом от чиновника, ведущего следствие, заведомо требовалось либо выбить из подследственного признание своей вины, либо раздобыть двух свидетелей его преступления. Любой другой исход следствия воспринимался начальством как неудовлетворительный и мог поставить под сомнение компетентность того, кто его вел. Шерлок Холмс и Пуаро в России перспектив не имели бы никаких...

Вспомним, кстати, вполне адекватную им фигуру — Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», пришедшего к необходимости заключить с подозреваемым, в вине которого он убежден твердо и бесповоротно, полюбовную сделку: добровольное признание в обмен на ликвидацию в следственном деле всех сведений о косвенных уликах: «А я вам, вот самим Богом клянусь, так „там“ подделаю и устрою, что ваша явка выйдет как будто совсем неожиданной». Необходимость для себя подобной сделки Порфирий Петрович объясняет Раскольникову совершенно откровенно: «Взять вас так прямо под арест мне невыгодно. ...Что ж, что я убежден? Ведь все это покамест мои мечты-с ...психология эта о двух концах, ...а кроме этого, против вас у меня пока и нет ничего». Чиновники попроще, естественно, не утруждали себя ни логическими рассуждениями, ни психологическими изысканиями — тем более, что и то, и другое было, скорее, во вред, чем на пользу делу — а шли пряником к указанной цели...

О. А. Ровинский, один из главных деятелей судебной реформы, служивший в дореформенное время в Москве губерн-

ским прокурором и насмотревшийся там разных ужасов (в обязанности прокурора, в частности, входил надзор за соблюдением законности в процессе судопроизводства), вспоминал впоследствии о некоторых «следственных приемах», всплывших «из глубины канцелярской тайны»: например, доведения некоего мещанина до «чистосердечного признания» в убийстве «путем выворачивания ему руки»; получения такого же признания в краже 16-летней девочки после сечения ее плетьми по голому животу... То, что подобные приемы были в те годы не исключением, а правилом, ни у кого сомнений не вызывало. Так же, как и употребление других, более «гуманных», «ненасильственных»: в одной из своих работ тот же Ровинский писал об «обычном в глухих местностях приеме полицейского следствия, состоявшем в недавании пить заподозренному, накормленному соленым сельдем и посаженному в жарко натопленную баню».

Что же касается дореформенного суда, то он в значительной степени представлял собой приложение к полицейскому следствию. На основании следственного дела секретарь суда составлял его экстракт — обвинение и предельно краткое, без подробностей, основание для вынесения приговора, а также подготавливал для членов суда текст соответствующего приговора, который им оставалось только подписать. Естественно, члены суда могли сами изучить дело, могли на основании этого изучения самостоятельно вынести приговор, но... Как справедливо заметил один из героев аксаковских судебных сцен: «Тогда не нужно было бы и секретаря...» Добросовестно вникали в суть дела, конечно же, единицы; подавляющее большинство членов суда подмахивали приговор, не глядя, — если только у них не было каких-то личных побудительных мотивов читать дело. Многие, впрочем, не читали и текст приговора, что значительно облегчало эту суровую службу и в то же время было вполне последовательно. «Да Вы не читайте, так подписывайте просто. Делайте, как я, батюшка Александр

Александрович, оно и для совести-то спокойнее, ей-богу! Ведь, по правде сказать, что толку, что Вы прочтете приговор или нет? Дела же вы всё-таки читать не станете?»

Такое предельно формализованное судопроизводство, повторим, открывало грандиозные возможности для произвола со стороны главных, знаковых фигур старого суда: полицейского чиновника — следователя, секретаря суда, председателя. С одной стороны, были дела, мало волновавшие всех этих деятелей в отношении личного интереса, прежде всего стяжательского. Эти дела решались максимально быстро и грубо, с употреблением любых мер, вплоть до самых омерзительных — лишь бы поскорее подвести чисто формальные основания под такой же приговор. С другой стороны, судейские при подобной организации следственно-судебной процедуры получали возможность безнаказанно выколачивать средства из тех подсудимых, у которых они имелись. Если этих средств хватало для ублаготворения заинтересованных лиц, то и дела фабриковались, и приговоры выносились соответствующие...

Надо сказать, что теория формальных доказательств, декларировавшая заведомое недоверие к самым красноречивым косвенным уликам, предоставляла судейским дельцам возможность избавлять от заслуженного наказания явных преступников: русский суд был, наверное, единственным в мире, приговоры которого могли носить не только обвинительный или оправдательный, но и, так сказать, нейтральный характер. Была такая очень часто упоминаемая в приговорах формула: «оставить в подозрении»... А. Ф. Кони в одной из своих статей приводит выразительные примеры дел, которые подвигали судейских на подобную формулировку: дело о вдове капитана гвардии, «судившейся за бесчеловечное обращение с десятилетним сыном, проводившим дни и ночи в запертом шкафу — голодным, до полусмерти избитым, истерзанным и связанным»; дело надворного советника, «наглым образом надругавшегося над невинною и беззащитною девушкою в

обстановке, чрезвычайно напоминающей сцену покушения Свидригайлова на честь Дуни Раскольниковой»; дело «о покушении на жизнь калужского помещика посредством адской машины, по которому надворный суд признал возможным оставить человека, принесшего потерпевшему ящик, зная, что в нем заключена такая машина, „в сильном подозрении“ и так далее, и так далее... Не было счета таким делам, как не было счета поборам, творимым судейскими.

Так можно ли удивляться тому, что русский суд воспринимался современниками как воплощенное зло? Ощущение своей полной беззащитности охватывало россиян при каждом столкновении с хищниками в вицмундирах; вся эта сфера воспринималась как одна из самых отвратительных сторон нелегкой русской жизни, как попущение Божеское... «Было на землю нашу три нашествия: набегали татары, находил француз, а теперь чиновники облегли; а земля наша что? и смотреть жалость: проболела до костей, прогнила нас kvозь! продана в судах, пропита в кабаках, и лежит она на большой степи неумытая, рогожей укрытая, с перепою слабая». Пусть эти слова одного из героев пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Дело» — наверное, самого яркого и беспощадного произведения, посвященного русскому суду, от которого вдосталь настрадался и сам автор, — станут апофеозом всему, написанному выше.

Ясное дело, что когда пришла пора реформ, заступиться за этот суд было некому... «Судебные уставы» 1864 года, над которыми несколько лет работали замечательные юристы С. И. Зарудный, К. К. Арсеньев, вышеупомянутый Д. А. Ровинский и другие, целиком и полностью изменили в этой сфере всё — общий подход к делу, систему судебных органов, всю следственно-судебную процедуру; буквально всё — безобразный старый суд сгинул бесследно. Судебная реформа совершенно справедливо считается самой последовательной из всех реформ Александра II.

Вместо сложной, хаотичной старой судебной системы, ориентированной на рассмотрение разных по характеру дел в разных судебных органах (гражданских и уголовных палатах) и носившей сословный характер (особые заседатели от дворянства и от купечества в губернском суде, с соответствующей квалификацией дел; особый надворный суд для городской мелкоты), создавалась система, устроенная значительно более разумно, стройно и последовательно. В основу ее был положен территориальный принцип: Россия делилась на судебные округа, охватывавшие несколько смежных уездов; в округах создавались окружные суды. При этом в своем стремлении добиться максимальной независимости судебных органов от администрации, создатели «Судебных уставов» пошли на остроумную меру: границы судебных округов не совпадали с границами губерний. Если раньше губернатор являлся полным хозяином в отношении *своего* губернского суда, то теперь в случае, когда у него возникало желание вмешаться в деятельность окружного суда, то вопрос «мое?.. не мое?» неизбежно должен был привести главу губернской администрации в состояние некоего ступора (и это при том, что подобное вмешательство по духу и смыслу «Судебных уставов» воспринималось теперь как совершенно незаконное).

С той же целью — защитить новый суд от любого вмешательства извне и прежде всего со стороны администрации — следователи и судьи стали несменяемыми. Назначались они сверху, должны были отчитываться в своей деятельности перед начальством, получали жалование от казны — как и все прочие чиновники. Однако, в отличие от всех прочих, уволить их можно было только по суду, открыто обвинив их в служебном преступлении и доказав эту вину в соответствии с требованиями «Судебных уставов». Уволить же за то, что «не так дело ведешь» или «не тот приговор вынес» стало невозможно — дамоклов меч, висевший над головой тех немногих

чиновников, которые искренне стремились служить «делу, а не лицам», был теперь убран.

Через окружные суды проходила основная масса и гражданских, и уголовных дел. Над ними стояли судебные палаты, каждая из которых контролировала по несколько смежных судебных округов, — сюда шли отчеты о движении дел в окружных судах; сюда же можно было подать апелляцию (жалобу) на приговор окружного суда и при определенных обстоятельствах добиться пересмотра дела.

Желая обезопасить новый суд от какого-либо давления извне, реформаторы в то же время стремились поставить судебные органы под самый строгий контроль в отношении соблюдения законов. С одной стороны, контроль над окружными судами и над судебными палатами осуществлял Сенат, принимавший и рассматривавший кассации, т. е. жалобы на нарушение закона в ходе судебного процесса (в отличие от апелляции, в которой выражается несогласие с приговором по существу). С другой стороны, был организован прокурорский надзор, подчиненный министру юстиции: за каждым окружным судом, равно как и за каждой судебной палатой, наблюдал особый прокурор, следивший за всем ходом следствия и суда. Министр юстиции в случае необходимости мог возбудить судебное разбирательство дела провинившегося судьи или следователя.

Но главным достижением реформаторов был, конечно же, новый следственно-судебный процесс, который в восприятии современников отличался от старого так же, «как залитая солнечным светом и продуваемая свежим ветром улица от затхлой, сумрачной канцелярии».

Начнем со следствия. Если раньше его вели представители полиции, то теперь оно перешло в руки следователей — представителей судебного ведомства. Несменяемость и высшее юридическое образование (обязательное требование) следователей давали подследственному определенные гарантии объ-

ективного и добросовестного рассмотрения дела. Но главная перемена, конечно же, заключалась в том, что теперь следователь работал не на бездушный чиновничий суд, который раньше, как правило, механически штамповал приговоры по результатам следствия — теперь дело шло в *гласный* суд, в котором в процессе судоговорения все следственные материалы проговаривались и обсуждались и, соответственно, все их огрехи почти неизбежно должны были выйти наружу.

Именно гласность, открытость нового суда и была, несомненно, главным достижением. Судебный процесс должен был проходить при открытых дверях, в помещениях, вмешавших достаточно большое количество публики; представители прессы имели право подробно освещать его в печати. Допросы обвиняемого, истца, свидетелей, предъявление улик и так далее — все это было построено по принципу своеобразного состязания между двумя сторонами: прокурором, представлявшим обвинение, и адвокатом (присяжным поверенным), выступавшим в качестве защитника обвиняемого.

В отличие от судей и следователей адвокаты не были представителями министерства юстиции; они вообще не имели никакого отношения к государственным органам — по сути, это были служащие по вольному найму. Сразу же после судебной реформы было создано объединение присяжных поверенных, в которое входили адвокаты, имевшие высшее юридическое образование. Интересы обвиняемого они представляли за соответствующую плату от него. Если у обвиняемого не было средств, адвоката ему нанимало государство, естественно, за минимальную плату. Между тем, услуги таких знаменитых адвокатов, как В. Д. Спасович, Ф. Д. Плевако и других стоили очень дорого — но, как правило, затраты себя оправдывали: эти защитники славились тем, что добивались оправдательных приговоров в самых, казалось бы, безнадежных делах.

Председатель окружного суда (судья) и два его товарища (заместителя) следили за тем, чтобы судебное заседание про-

ходило строго в рамках закона. Исход же дела определялся присяжными заседателями — фигурами в русском суде принципиально новыми. В них олицетворялась одна из главных идей «Судебных уставов»: суд должен носить не формальный характер, а «праведный», опираясь не на «совершенные доказательства», а на общечеловеческие понятия о правде и справедливости. Именно поэтому судьба обвиняемого отдавалась в руки его сограждан, не имевших не только юридического, а нередко и вообще никакого образования.

Списки возможных присяжных заседателей создавались специальными комиссиями при окружных судах. В них могли войти все физически здоровые мужчины данного округа в возрасте от 25 до 70 лет. Сословная принадлежность, уровень материальной обеспеченности и образования при этом не играли никакой роли. Вспомним, кстати, какая пестрая компания окружает князя Нехлюдова, главного героя «Воскресения» (как известно, судебные сцены этого романа Лев Толстой писал, консультируясь с А. Ф. Кони), попавшего в присяжные заседатели N-ского окружного суда. Тут и учитель гимназии, недавно учивший детей его сестры, и отставной полковник, и купец второй гильдии, и приказчик-еврей, и мужик-артельщик... Нередко, особенно когда судебные дела выносились на сессии в глухие уездные городки, среди присяжных преобладали неграмотные крестьяне. Не вносили же в списки лишь священнослужителей, офицеров и солдат срочной службы и учителей народных школ — их занятия считались настолько важными, что отвлекать от них не полагалось. Вне списка оставались также «лица, находящиеся в служении» — лакеи, швейцары и прочая прислуга. Все же прочие, внесенные в списки, по мере необходимости могли быть привлечены к исполнению своих временных обязанностей.

В обязанности же эти входило присутствие на судебных заседаниях, в ходе которых присяжные должны были максимально полно ознакомиться со всеми обстоятельствами того

или иного дела, оценить достоинство доказательств обвинения, приводимых прокурором, и защиты, исходящих от адвоката. Процесс завершался заключительным словом председателя суда, в котором он, обращаясь к присяжным, четко ставил перед ними вопросы относительно вины подсудимого. Получив лист с этими вопросами, присяжные удалялись в особое помещение, где должны были так же четко и по возможности единогласно ответить на них, искренне и честно высказавшись о степени виновности подсудимого, смягчающих обстоятельствах и так далее. От их ответов зависела человеческая судьба: именно на них основывался приговор, который выносил судья, обращаясь к соответствующим статьям закона.

Новый суд впечатлял еще на уровне замыслов реформаторов, воплощенных в «Судебных уставах». Когда же эти замыслы были реализованы — окончательный переход к новой судебной системе произошел к 1866 году, — то впечатление, произведенное ими на самые разные слои русского общества, превзошло все ожидания.

Сейчас, задним числом, легче представить, понять и оценить всю значимость этой реформы: в стране, веками жившей потаенной жизнью, совершенно безгласно, под мощным диктатом чиновников всевозможных рангов, теперь человеческие судьбы решались открыто, путем публичного исследования и обсуждения, причем суть решения определялась не отвлеченными формулами, а совестью тех, кто его выносил... В первые годы после реформы попасть на заседание суда присяжных было не так легко — вне зависимости от важности рассматриваемого дела. Многие же из этих дел становились событием общественного значения — широко и оживленно обсуждались в публике, вызывали бурную полемику в прессе. И, думается, причиной подобного ажиотажа было отнюдь не только простое любопытство: интерес к новому суду был искренним, серьезным и подогревался сильными, глубинными чувствами. И чувства эти, наверное, ярче всего проявлялись в

деятельности самих присяжных заседателей, достойных представителей русского общества.

Обращаясь в характеристике нового суда, эмоциональную сторону дела необходимо все время иметь в виду — если исходить в оценке его деятельности исключительно из юридических норм, то он, этот суд, может произвести впечатление довольно странное... Дело в том, что присяжные разных окружных судов, не сговариваясь, поражали мягкостью своих приговоров: обвиняемых оправдывали даже тогда, когда весь ход процесса, казалось бы, убеждал в их неоспоримой виновности. Слабо или иной раз вообще не обоснованные оправдательные приговоры становились характерной чертой нового русского суда, вызывая глухое поначалу раздражение власти и искреннее недоумение юристов — как теоретиков, так и практиков.

Уже современники пытались как-то «объяснить» этот феномен — и к некоторым из их объяснений имеет смысл прислушаться. Первое из них опиралось на то, что сейчас назвали бы русской или даже православной ментальностью. Обращалось внимание, что в народной среде слово «преступник» употреблялось редко; что скрытое за этим словом понятие — человек, преступающий закон по своей, очевидно, злой воле, — вообще скорее западное, чем русское. На Руси же людей, совершивших преступление, называли обычно «несчастными», со всеми вытекающими отсюда последствиями<sup>2</sup>... И прежде всего из этого определения вытекало то, что вопрос о злой воле, а следовательно, о вине вообще не ставился; исходная формулировка причин любых преступлений была хорошо известна всем православным: «бес попутал, Господь попустил». Преступник, по этим понятиям, — человек, за грехи свои Богом оставленный и потому неспособный противиться бесовским наущениям. Это — страшное несчастье, наказание Господне и не по-христиански было бы к этому наказанию добавлять еще и свое, человеческое. Конечно же, преступники — люди грешные, но кто без греха?..

Государственный подход к проблеме «преступление — наказание», между тем, в корне отличался от народного. Государство на Руси, как известно, в своей практике, напротив, постоянно обращалось к наказаниям сугубо человеческим, причем страшно ими злоупотребляя. Огонь и кнут, дыба, нанесениеувечий (клеймление и вырывание ноздрей), заключение в самых жутких условиях, варварские казни — все это отчасти ушло в очень недавнее прошлое, отчасти — преобразовалось в систему наказаний, лишенную многих черт прежнего изуверства, но по-прежнему отличавшуюся предельной и, как правило, ненужной жестокостью. Милосердие, проявляемое присяжными, зачастую юридически совершен-но неоправданное, объяснялось многими современниками именно как результат этого внутреннего, зачастую неосознанного, но тем не менее очень действенного противостояния с властью. «Лучше десять виновных помиловать, чем одного невинного осудить» — этот ментально присущий многим присяжным подход противостоял совершенно противоположному подходу государственному.

Другим объяснением потоку оправдательных приговоров, захлестнувших русские суды, была деятельность адвокатов, среди которых действительно было немало людей, обладавших красноречием, умением работать с фактами, юридической цепкостью и другими талантами, позволявшими им добиваться желаемого — максимального смягчения приговора для своего подзащитного или полного его оправдания. Однако эти успехи русской адвокатуры, приобретавшие иногда совершенно фантастический характер, напрямую были связаны опять-таки с теми, для кого произносились защитные речи, — с присяжными заседателями.

На первый взгляд, это утверждение может показаться сомнительным, поскольку русская адвокатура в целом и в своих наиболее ярких представителях в частности от православия была далека, да и с народом имела, казалось бы, не много об-

щего. Ее, адвокатуру эту, совершенно справедливо считали и считают одним из наиболее ярких воплощений разночинной интеллигенции со всеми ее характерными чертами — атеизмом, материализмом, постоянной оппозиционностью по отношению как к самодержавной государственности, так и к православной Церкви и так далее. И тем не менее взаимные завязки с традиционным русским мировоззрением у этой адвокатуры были, хотя и проявлялись в несколько парадоксальной форме.

При всем разнообразии и своеобразии адвокатов, выступавших в русском суде, их защитным речам, как правило, были присущи многие общие черты. И прежде всего это касалось базового тезиса, на котором очень часто строилась защита: «среда заела». Эта знаменитая формула, восходящая к интеллигентскому увлечению дарвинизмом, объясняла преступление дурной наследственностью, неправильным воспитанием, порочным окружением, тяжкими условиями существования — всем, чем угодно, только не злой волей самого обвиняемого. Преступник убивал, грабил, мошенничал, потому что так сложились условия его жизни, с которыми, очевидно, он был бессилен бороться. «Господа присяжные заседатели, кто из вас, попав на место этого несчастного, поступил бы иначе?!.» — эта стереотипная фраза часто звучала в суде из уст адвокатов.

Рассуждения, которые увенчивались подобными вопросами, с юридической точки зрения — да и с общечеловеческой, конечно же, тоже — были заведомо ущербны. По совершенно справедливому замечанию Достоевского, в них как бы растворялся, исчезал сам факт преступления: в самом деле, если действия человека *полностью* обуславливаются окружающей средой, то о какой личной вине, о каком преступлении вообще может идти речь? Человек поступил так, как должен, точнее, вынужден был поступить. И как бы ни были тягостны последствия такого поступка, винить в том следует не человека — среду...

Очевидно, нет необходимости рассуждать о том, какой соблазн был скрыт в подобных рассуждениях, к каким тяжким последствиям могли привести — да и приводили в конце концов — доктрины, на них основанные. Однако в интересующей нас сфере подобные тирады встречали, на первый взгляд, неожиданный, а по сути дела, хорошо понятный отклик. Эта самая «среда» ведь мучительно напоминала хорошо знакомого беса, манипулирующего Богом оставленными людьми... С другой стороны, при общей порочности подобного подхода, в речах адвокатов звучала фактическая правда, известная присяжным не понаслышке — неустроенность русской жизни для всех была очевидна. Объясняя преступление воздействием среды, адвокаты заведомо возлагали вину на ту силу, которая эту роковую среду создала и поддерживает — на самодержавную власть. Подобный подход к делу, как правило, находил взаимопонимание у присяжных — и все больше эту самую власть раздражал.

Подобное раздражение проявлялось правительством и по поводу процессов, носивших, казалось бы, сугубо уголовный характер. Когда же с конца 1860-х годов пошли бесконечной чередой процессы политического характера, когда присяжные, ничтоже сумняшеся, стали выносить оправдательные приговоры тем, кого власть с полным основанием считала своими непосредственными противниками, — стало очевидно, что новая судебная система приходит во все большее несоответствие с системой общегосударственной, самодержавно-бюрократической. Ситуация в этой сфере складывалась совершенно аналогичная с теми «разборками» между администрацией и земствами, которая уродовала новую систему самоуправления. Так же, как и в отношении земств, было очевидно, что либо власть последовательно пойдет по заявлению ею пути, меняясь в духе заявленных ею реформ, становясь более пластичной, способной реагировать на требования разных слоев населения отнюдь не только беспощадными ре-

прессиями, — либо ей необходимо видоизменять, коверкать то новое, что она сама же начала вводить в русскую жизнь, подгоняя это новое под свою мерку. Ужиться с новым судом, так же как и с земствами, самодержавно-бюрократическая власть оказалась не в состоянии.

Поворотным пунктом в судьбе новой судебной системы стал знаменитый процесс Веры Засулич, который ярко выяснил глубинные противоречия, возникшие в Государстве Российском в результате «великих реформ». Именно ими были сплетены в один клубок и события, предшествовавшие процессу. Началось все 6 декабря 1876 года — первой в истории России политической демонстрацией у Казанского собора в Петербурге. Большинство участников этой немноголюдной акции были арестованы, судимы и приговорены к разным срокам каторжных работ. В июле 1877 года один из них, студент Н. С. Боголюбов, находившийся после вынесения приговора в Доме предварительного заключения, был подвергнут телесному наказанию по приказу петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова... Трепов, по мнению многих современников, был дельным градоначальником — но, как это нередко бывало и бывает в наших краях, границ своих полномочий не ведал и удержу не знал... Прибыв в ДПЗ в дурном расположении духа, Трепов счел, что заключенный Боголюбов, совершивший в это время прогулку по тюремному двору, недостаточно почтительно приветствовал его — и по требованию градоначальника заключенного выпороли. Товарищи Боголюбова, бывшие свидетелями подготовки к порке — а готовилась к ней администрация открыто и с нескрываемым сладострастием — пришли в состояние, которое чудом не вылилось в бунт, — дело ограничились истериками, криками, бросаньем на оконные решетки... Беззаконные, по сути, действия Трепова вызвали лишь «слабые и недействительные», по словам Кони, протесты прокуратуры и — дело, казалось, затихло.

В январе следующего 1878 года молодая женщина по имени Вера Засулич, прия на прием к Трепову, ранила его выстрелом из револьвера. Скрыться она не пыталась, была арестована и заявила в полиции, что совершила покушение на градоначальника в знак протеста против его действий в отношении Боголюбова — произвольных и издевательских. Процесс Веры Засулич, который проходил в петербургском окружном суде и вызвал невероятный, из ряда вон выходящий интерес публики, ясно показал, что самодержавному правительству с новым судом не ужиться... Адвокат П. А. Александров сумел превратить процесс Засулич в процесс Трепова: благодаря талантливо организованной защите в ходе судебной процедуры были во всех подробностях вскрыты обстоятельства, вынудившие подсудимую пойти на преступление. В результате присяжные по всем пунктам оправдали Засулич...

Нет необходимости, очевидно, говорить о неправосудности подобного приговора: как можно было назвать невиновным в покушении на убийство человека, который палит в другого из револьвера с предельно близкого расстояния?!. Однако столь же очевидно, что подобный приговор был обусловлен многочисленными неправильностями устройства русской жизни. Лучше всего это сформулировал все тот же А. Ф. Кони, который в качестве председателя петербургского окружного суда вел этот процесс. Когда ему впоследствии говорили о юридической безграмотности российских присяжных, об их неготовности исполнять свои обязанности, заявляя, что, скажем, в Англии Засулич наверняка бы обвинили и наказали, Кони отвечал, что в Англии подобного судебного процесса не могло быть в принципе. В самом деле, если бы какой-нибудь английский Трепов натворил то же, что русский, — подобное беззаконие неизбежно вызвало бы кампанию в прессе, парламентские запросы и т. п. В стране с прочными правовыми основами подобные беззаконные действия

с железной неизбежностью вызвали бы скандал, который почти наверняка привел к наказанию виновного. Выстрела английской Засулич не понадобилось бы... По твердому и совершенно справедливому мнению Кони, беззаконность приговора, вынесенного петербургскими присяжными, была совершенно адекватна беззаконности действий администрации. Засулич воспринималась ими так же, как и всем русским обществом, как человек, восстановивший справедливость...

Грянул выстрел отомститель,  
Опустился Божий бич,  
И упал градоправитель,  
Как подстреленная дичь.

В подобной ситуации правительству нужно было либо добиваться от своих функционеров, чтобы те действовали в пределах закона, либо вносить изменения в Судебные уставы. Не могло же оно в самом деле смириться с ситуацией, когда человек, совершивший террористический акт, освобождается судом от всякой ответственности. Правительство начало коверкать судебную реформу.

Уже с 1867 года нашли нехитрый способ бороться с несменяемостью: вместо следователей все чаще стали назначать «исправляющих должность следователя», которых можно было в любой момент снять. В отношении судей правительство, правда, не рискнуло применить эту уловку, зато министру юстиции было дано право перемещать их из одного судебного округа в другой, что стало мощным средством воздействия — кому захочется менять Петербург или Москву на Тобольск или Хабаровск.

Но главный удар был направлен против суда присяжных. Не доверяя «непокорным судейским» и тем более присяжным заседателям, правительство постаралось передать политические дела под контроль куда более надежных органов.

С 1871 года дознание по таким делам стали вести жандармские офицеры, а сами эти дела нередко слушались не в окружных судах, а в Особом Присутствии Сената, где вместо присяжных судьбы подсудимых решали высшие сановники-сенаторы. После же провального для правительства процесса Веры Засулич политические дела почти автоматически передавались в военные суды, где роль присяжных играли строевые офицеры. В обоих случаях приговоры, естественно, были такими, какие требовались верховной власти.

Таким образом, две самые главные из «великих реформ» — именно те, которые знаменовали движение к принципиально новому государственному устройству, соответствующему изменившимся социально-экономическим отношениям, — пробуксовывали, не работали в полную силу, не могли всерьез изменить к лучшему существующее положение. Вместо того, чтобы меняться самой, верховная власть предпочитала изменять «под себя», то есть уродовать, реформы, которые поначалу так много обещали.

2003

# Уязвленные души

Разночинец – понятие старое, появившееся задолго до эпохи реформ, еще в XVIII веке. По Далю, разночинец – «человек не-податного сословия, но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху», то есть существо вполне неприкаянное: из простонародья каким-то образом выбился, но ни к купцам-богатеям, ни к «благородному сословию» не прибылся; подушной подати уже не платит, а будет ли доходы иметь – это уж как Бог пошлет... Чертой, отличавшей разночинца от низших сословий, была, как правило, грамотность; от высших – бедность, нередко – неизбывная и полная социальная незащищенность. Чиновник самых низших рангов, мелкий ходатай по частным делам, учитель в учебных заведениях низших степеней или домашний учитель – вот его удел, а вместе с ним и вечная борьба за существование. При этом на какую-то, хотя бы минимальную, поддержку со стороны рассчитывать этой персоне не приходилось: в стране, где основная масса населения была четко расписана по сословиям с определенным статусом, обычаем и ощущением сословной общности у каждого, разночинец был своего рода изгоем, одиночкой. И существовал, как правило, соответственно: не жил, а мыкался. Никто его особо и не примечал, пока великие русские писатели не стали создавать один за другим столь памятные всем образы униженных и оскорбленных российским бытием: станционный смотритель, Акакий Акакиевич, Макар Девушкин... И сумели-таки вызвать у читателя жалость и сочувствие к своим героям.

Однако ситуация стала меняться уже в николаевскую эпоху. Что, кстати, было уловлено и выражено теми же писателя-

ми: если помните, в «Бедных людях» Достоевского был такой персонаж второго плана, студент Покровский, умерший от чахотки. Так вот, в этом романе жалость вызывает главный герой — чиновник Макар Девушкин; жаль, конечно, и бедную Вареньку; до слез жалко несчастного старика — отца студента, для которого в сыне воплотился весь смысл собственного бытия: сцена похорон Покровского произвела самое сильное впечатление уже на современников. Да и какие еще чувства, казалось бы, могло вызвать у читателей разночинное бытие с его голодом, холодом, неизбежным пьянством, загубленными жизнями... Но вот сам студент Покровский скорбных чувств совсем не вызывает. То есть, сожаления от ранней смерти хорошего человека, конечно же, не избежать; но жалости к нему, как к убогому, нет совершенно. В легком эскизе этой личности, который дает писатель, есть внутренняя сила, жизненная цель, есть определенные принципы, по которым человек эту свою жизнь строит. Есть личность...

Сейчас, задним числом, хочется думать, что молодой Достоевский уже в 1840-х годах уловил, какая сила кроется в этой, пока что столь неприглядной среде. И недаром его роман вызвал такой восторг у вполне реального недоучившегося студента, страдавшего чахоткой, — великого литературного критика, Виссариона Григорьевича Белинского, который в это время стал живым воплощением этой силы, зародившейся и набиравшей силу в России.

Все дело, конечно, было именно в образовании. Оно влияло на людей самым различным образом: кого-то не затрагивало, по сути, вообще; кому-то придавало внешний лоск... Некоторых переплавляло полностью. Это касалось прежде всего тех людей, для которых оно было чуть ли не единственным светом в окошке.

За декабристами, скажем, стояло их дворянское сословие, частью которого они оставались при всех обстоятельствах. Да, они были необычными дворянами: отчаянными, беско-

рыстными, сумевшими поставить интересы страны выше интересов своего сословия — и все-таки дворянами, сохранявшими многие сословные понятия, пристрастия, бытовые привычки, все, что нынче зовется ментальностью. Трубецкой или Волконский и после тридцатилетней ссылки смотрелись своими в любом дворянском салоне. А вот представить себе зрелого Белинского среди мелких чиновников и духовных лиц, хотя бы того же самого города Чембара Пензенской губернии, где служил уездным лекарем его отец, а дед был священником, — и пытаться не стоит...

Именно в это время, в преддверии реформ, в России зарождалась та новая сила, которой суждено было так ярко проявить себя в ближайшем будущем: разночинная интеллигенция.

\* \* \*

Санкт-Петербург, столица Российской империи, с самого возникновения своего стал примером для подражания всем россиянам, жаждавшим нового, передового — то бишь западного... Новые быт и уклад, ассамблеи, табачное курево, книги гражданской печати и многое, многое другое, знаменовавшее приобщение патриархальной Руси к западноевропейской цивилизации, — все шло оттуда... И с самого начала определяющим в оценке всей этой лавины новых явлений становится понятие «моды» — именно им для подавляющего большинства «цивилизующихся» россиян поверялась значимость того, действительно ценного, что предстояло выбрать, уяснить, закрепить за собой, чему имело смысл подражать. Книги здесь, конечно, играли не самую первую роль. Поначалу, во всяком случае... Куда важнее была «одежка», по которой встречали всегда, но, пожалуй, только теперь такое из ряда вон выходящее значение приобретает не только и даже не столько ценность материи, сколько покрой.

Со временем значение Петербурга как всероссийского подиума только возросло. Общеизвестно было, что в Париже самые «продвинутые» кутюре тех времен, только-только доведут до ума очередную модную картинку — а по Невскому уже фланируют в едином строю очаровательные петербурженки и солидные петербуржцы, одетые соответственно... То, что в Париже было модой, здесь немедленно превращалось в униформу, почти обязательную для человека, претендующего на светскость, — и отсюда, из столицы, постепенно теряя свою актуальность, расходилось по провинции. Провинциалы, приезжавшие в Петербург, естественно, первым делом отправлялись на Невский — посмотреть, «в чем ходят».

Так вот, можно представить себе чувства провинциала, посетившего Петербург в начале 1860-х: в самом сердце столицы он, настроившись на встречу с прекрасным, неизбежно раз за разом сталкивался с субъектами, одетыми столь странно, что никакими ссылками на парижскую моду оправдать подобный наряд было невозможно — самому извращенному кутюре подобное могло присниться лишь в кошмарном сне...

Все это были почти исключительно представители молодого поколения. От мужского наряда веяло романтикой, но в то же время он поражал своим предельным эклектизмом. Юноши сплошь и рядом таинственно катались в пледы, на манер шотландских горцев, собирающихся совершить очередной набег на мирные равнины. В то же время широкополые, надвинутые на глаза шляпы больше соответствовали как будто итальянским разбойникам. Из-под них совершенно неожиданно — буквально на каждом втором, если не чаще — поблескивали очки, нередко синего цвета. Высокие сапоги, носимые в любую погоду, придавали всей этой экзотике хоть какие-то национальные черты. Романтическому наряду вполне соответствовали шевелюры, как правило, неопрятные, зато эффектные, косматой гривой спускавшиеся на плед. Одновременно с этим, по словам современника, шло «усиленное

отращивание бород», совсем нехарактерных для предыдущей эпохи.

У девушек стрижка была обычно куда короче (что сразу заставляло вспомнить устоявшийся на Руси обычай — стричь косу за позорящее семью поведение). Очки — невозможные для женщины старшего поколения — также нередко присутствовали (причем иной раз, как выяснилось, чисто бутафорские, с простыми стеклами). Довершало картину отсутствие корсета, с одной стороны, и турнюра — обруча на бедрах, придававшего платью форму и очертания совершенно независимо от фигуры, — с другой. Теперь фигура была зрина со всей очевидностью — что производило на почтенных провинциалов впечатление поистине неизгладимое...

При этом бросалось в глаза, что обладатели этих нарядов, конечно же, хорошо ощущают всю их несовместимость не только с какой-либо модой, но и с обычным, столь свойственным россиянам благонравием — и не только не стесняются производимого впечатления, но явно гордятся им. Все они смотрели победителями — и это ошеломляло еще больше. Старожилы, которым вся эта молодежь уже более или менее примелькалась, любезно объясняли любопытствующим, что это и есть те самые нигилисты, слух о которых медленно, но верно проникал в самую глухую провинцию — те самые нигилисты, которые не уважают родителей, не подчиняются властям, не почитают Господа и периодически устраивают поджоги русских городов. Те самые, выведенные господином Тургеневым...

\* \* \*

И вот тут многое становилось понятным: если приезжий хоть в малой степени был не чужд русской литературе, он никак не мог пройти мимо «Отцов и детей», одного из главных литературных событий начала 1860-х годов. Образ Базарова

производил на читателя сильное впечатление; и впечатляли, может быть, не только разрушительные взгляды главного героя, но и та поразительная уверенность, до самоуверенности доходящая, с какой он их высказывал. Самоуверенность ведь чуть ли не главная характерная особенность Базарова, которую Тургенев подчеркивает постоянно. Начиная с первого представления своего героя читателю. Помните его лицо?.. «Длинное и худое с кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось улыбкой и выражало самоуверенность и ум»<sup>1</sup>. Эту чуть ли не главную черту Базарова — самоуверенность почти безграничную (при незаурядном уме) — Тургенев очень последовательно проводит через весь роман, характеризуя ею слова и поступки своего героя, его манеру держаться и отношение к другим персонажам.

Известно, что к этой характеристике, в общем-то вполне органичной в контексте «Отцов и детей», Тургенева усердно подталкивали первые читатели рукописи романа, друзья автора и последовательные противники нигилизма П. В. Анненков и М. Н. Катков. Советские литературоведы в этом давлении видели прежде всего проявление гнилой либеральной сущности вышеназванных советчиков, что и справедливо, конечно... Но для меня интереснее другой вопрос: разве рекомендации наделить Базарова «ядовитым самолюбием» не соответствовали реальному положению дел? И разве эта черта, преподнесенная даже несколько гипертрофированно, могла помешать читателям воспринять этот образ так, как и восприняло его большинство, как образ победителя — несмотря ни на что, в том числе и на трагическую, но, в общем-то, случайную кончину, устроенную герою автором?

«Отцы и дети» были особенно интересны и ценные тем, что Тургенев, находясь вне общности «новых людей», взирая на них со стороны, сумел, в отличие от авторов многочисленных антинигилистических романов, сохранить объективность

и уловить суть происходящего. Так, рельефно выделенная им самоуверенность Базарова — черта отнюдь не карикатурная; она характерна для всей литературы шестидесятников, особенно для «руководящей» — будь то знаменитый роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», памфлет Н. В. Соколова и В. А. Зайцева «Отщепенцы» или публицистика Д. И. Писарева (главное направление которой лучше всего, наверное, передает фраза одной из его статей «Бей направо, бей налево...»).

Эта тотальная самоуверенность производила на противников нигилизма впечатление самое раздражающее — недаром Достоевский называл последовательных нигилистов «визжащими»; и это было еще не худшим определением... Раздражение, порожденное явлениями литературными, постоянно подпитывалось событиями жизненными (и наоборот): столкновение с проявлениями нигилизма в быту, в семейной сфере, в обществе всякий раз показывало, насколько близки к жизни литераторы и публицисты этого направления, с одной стороны, и как четко выдерживают заданный ими курс «рядовые» нигилисты, с другой.

Свидетельств тому великое множество. «Поучительно-пропагандистский тон», предельно резкие, безоговорочные оценки, безусловное отторжение всего, что противоречит «естественнонаучным», грубо материалистическим воззрениям. Рев трубы и барабанный бой... Но чем дальше вчитываясь в тексты того времени, тем очевидней ощущаешь некую дисгармонию: за самыми смелыми заявлениями начинает чудиться душевный непокой, а пресловутая самоуверенность, как кажется, служит прикрытием для некоей душевной ущербности. И даже вызывающий внешний вид нигилистов начинаешь оценивать с иных позиций, прикидывая, что уверенные в себе люди никогда не будут тратить силы на намеренный эпатаж окружающих.

\* \* \*

Нигилистическая литература имела многочисленных оппонентов. Из наиболее именитых и серьезных, помимо названных выше Достоевского, Каткова и Анненкова, к ним следует отнести Н. Н. Страхова, Н. С. Лескова, И. А. Гончарова. В их публицистических и художественных произведениях, содержавших первые оценки нигилизма, есть масса более или менее метких замечаний о его конкретных проявлениях, программных установках, о характерных воззрениях его лидеров. Несравненно меньше внимания уделялось происхождению этого явления; в лучшем случае здесь более или менее определялись идеальные предшественники и «акушеры» нигилизма (по этому поводу есть, в частности, интереснейшая статья Н. Н. Страхова — его отзыв о биографии Т. Н. Грановского, изданной А. В. Станкевичем<sup>2</sup>; эта статья, очевидно, явилась решающим толчком для создания такого значительного художественного образа, как Степан Трофимович Верховенский в «Бесах» Достоевского). Тот же спектр проблем занимал и научных исследователей этого направления общественной мысли. Между тем, на мой взгляд, основополагающие черты нигилизма становятся понятны именно через обращение к его генезису. Ну, а генезис нигилизма лучше всего постигается через генезис самих нигилистов.

Разночинная интеллигенция формировалась, как известно, различными путями из представителей различных сословий — на то она и разночинная. И при всей внешней цельности этой социальной общности, разница в происхождении, воспитании и образовании накладывала-таки определенный отпечаток на ментальность людей, ее составляющих. Могу ссытаться на любопытную градацию, которую проводит в своих «Записках» Е. И. Жуковская, бывшая в свое время членом Знаменской коммуны и судившая о 1860-х годах по своему собственному опыту. «С этого самого времени, — пишет она

об определенном этапе в жизни коммуны, — пошло деление нигилистов на нигилистов-аристократов, любивших некоторое щегольство и комфорт, без излишеств, разумеется, и на нигилистов-бурых, каких в свою очередь прозвали нигилисты-аристократы за их неприглядное неряшливое одеяние, лохматость и нетерпимость ко всему, что не подходило под начертанные рубрики». И далее Жуковская весьма органично переносит это деление на все движение разночинной интеллигенции в целом. «Нигилисты-аристократы были прямыми преемниками идеалистов 1840-х годов. Все они были чужды склонности к насильственным переворотам и пытались проводить новые начала самым миролюбивым путем... Бурых непримиримых нигилистов можно считать прямыми родоначальниками агитаторов новейшей формации». Затем Жуковская пишет о том, что «аристократический нигилизм совмещался с умом, образованием и талантом», а «бурые нигилисты», по ее характеристике, являлись воплощением «крайних мнений и нетерпимости»<sup>3</sup>. (Следует иметь в виду, что сама Жуковская с полным основанием относила себя к «аристократам» и потому к ее резким характеристикам противников нужно относиться достаточно осторожно.)

В целом, при всей условности этой градации она во многих отношениях справедлива. И К. И. Чуковский, отталкивавшийся в своих суждениях именно от этих «записок», имел, очевидно, все основания для следующей формулировки: «У нас до сих пор представляют себе шестидесятников сплошной однородной толпой. Между тем эта толпа всегда слагалась из двух бурно враждующих групп, ибо в нее входили и генеральские дети, и голытьба мелкомещанских низов»<sup>4</sup>.

О «генеральских детях», ушедших в «разночинство», особый разговор — у них особая судьба, нередко отмеченная многими яркими, а то и просто героическими чертами. Но их в нигилизме было явное, и даже незначительное, меньшинство. Сейчас нас интересуют настоящие, всамделишные

«бурые» нигилисты — нигилисты «крайних мнений и нетерпимости». А их путь в «интеллигентное состояние» был куда как тернист... Да и пребывание в этом состоянии далеко не всегда позволяло решить самые насущные, жизненные проблемы.

Этот путь как нельзя лучше прослеживается по соответствующим произведениям писателей-шестидесятников: Н. Г. Помяловского, Ф. М. Решетникова, И. А. Кущевского, Н. В. Успенского, А. И. Левитова — сейчас полузабытых, а в свое время бывших кумирами разночинной интеллигенции именно потому, что писали они, хоть и безыскусно, зато — о главном, о наболевшем...

\* \* \*

Большинство этих писателей, что характерно для разночинной интеллигенции в целом, вышло из самого консервативного в России духовного сословия. Это обстоятельство не могло не поражать и — поражало современников. Они пытались объяснить его, на мой взгляд, нередко прибегая к излишне отвлеченным суждениям. Очень характерна в этом отношении известная статья М. Н. Каткова «О нашем нигилизме» — один из первых откликов на тот «шум и треск», которым знаменовало себя «явление разночинца». Статья ученая, рассудочная и — предельно абстрактная... «Духовное» происхождение мысли разночинцев, в том числе и наиболее ярких его идеологов, Катков объясняет «кастовостью» русского духовенства: «Где кастовость, там не может быть духа призвания, там не может быть никакого живого интереса»<sup>5</sup>. Все это, в принципе, ничего не объясняет...

А вот произведения вышеназванных писателей объясняют все как нельзя лучше. «Очерки бурсы» Помяловского, например, буквально взрывают читателя эмоционально, предельно ясно показывая, каким образом русское духовенство,

готовя себе преемников, доводило их до нигилизма, буквально — вытаптывая в них все живое, изворачая все основные жизненные понятия, уродя подростков духовно и морально... Вместо учения — бессмысленная «долбня», вместо нормальных человеческих отношений — внедряемое начальством фискальство и постоянное измывательство сильных над слабыми, вместо пробуждения интереса к окружающему миру — последовательное доведение до тупого равнодушия или более того — до звериной ненависти. И — розги, розги, розги... Как главное и чуть ли не единственное средство воздействия на бурсаков, в употреблении которого начальство доходило до какого-то сладострастия... «Взять его! На Карася бросились ученики большого роста и в одно мгновение обнажили те части корпуса, которые в бурсе служат проводниками человеческой нравственности и высшей правды. — На воздухах его! Карась повис в воздухе. — Хорошенько его! Справа свистнули лозы, слева свистнули лозы; кровь брызнула на теле несчастного, и страшным воем огласил он бурсу... Душа Каася умерла на то время»<sup>6</sup>. И очень естественно в устах этого автобиографического для Помяловского героя звучат горькие и жуткие слова: «Все уверены, что детство есть самый невинный, самый радостный период жизни, но это ложь...»<sup>7</sup>.

Автобиографичен и сон одного из героев Левитова, возвращающий его к вполне реальным кошмарам, пережитым в детстве: «Во сне очень долгое время перед ним бесилось короткое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и потому по-зверски изодравшихся; без хороших, руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель, как почти без исключения погибают все люди, не приспособляемые с ранних лет к правильным понятиям и отношениям к жизненной действительности... Пронзительный звон колокольчика загонял это стадо в какие-то смрадные стойла, где большей частью ему говорились

какие-то ни в одном слое общественной жизни не употребительные слова. Шипение гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими и, наконец, ни от чего этого не прерывавшееся внушение тара-барской гибели сливались в один общий, исполненный самого варварского безобразия, гул...»<sup>8</sup>. Это — бурса, школа для детей духовного сословия. Школа жизни...

Вне бурсы эта жизнь, впрочем, школила разночинца ничуть не милостивей. То, что Ф. М. Решетников, например, сын мелкого чиновника, учился в уездном училище и жил в семье своего дяди, дела ничуть не меняло. Жизнь и воспитание в мещанской семье стоили жуткого «бурсацкого пансиона»...

Автобиографическая повесть Решетникова «Между людьми» насыщена теми же реалиями: полное равнодушие к судьбе ребенка, почти не скрываемое негодование на него за то, что он появился на свет Божий и «мешает» — и нескончаемые пинки, подзатыльники, колотушки... «Дядя долго меня драл ремнем за эту проделку»...; «За это дядя так ударил меня по голове, что я ударился об пол; изо рта пошла кровь...»; «Тетка озлится, схватит ремень и начнет неистовствовать по моей спине...». И люди эти — дядя и тетка — по описанию Решетникова, вроде нормальные; точнее — обычные. По всей округевой стоит, повсюду полным ходом идет такое же «воспитание». Всю суть его Решетников весьма выразительно передает в следующих словах: «Как теперь помню, вся забота наших родных состояла в том, чтобы мы во всем слушались их, пересказывали все, что говорилось другими про них, не знались с теми, кого и они не любят, меньше ели. При этом они говорили, что хотят из нас сделать подобие себе, и указывали на какого-нибудь служащего молодого человека: „Посмотри-ка, какой человек стал!.. А ведь как били-то его, бедного... зато выучили“»<sup>9</sup>.

\* \* \*

Вся эта несложная бурсацко-мещанская «педагогика» оказалась в конце концов весьма действенной. Если первое же не-поротое поколение дворян, по меткому выражению В. О. Ключевского, дало России декабристов, то беспощадная порка «низших» сословий — веками, поколение за поколением — в пореформенных условиях породила нигилизм. Люди, ожесточенные с детства, с детства приобретшие неискоренимую страсть к спиртному (оборотная сторона порки — что в бурсе, что в мещанской среде питво начиналось с самого нежного возраста), получили возможность прорваться к иной жизни, изменить свой социальный статус. Наиболее талантливые, энергичные, непокорные эту возможность реализовали — сохранив при этом в душе своей страшные синдромы и комплексы, порожденные подобным детством.

И никуда от них было не деться... В этом первом, по сути, поколении интеллигентов-разночинцев мало кто переживал сорокалетний рубеж. Предельно беспорядочное существование, алкоголизм, ставший приметой интеллигента-шестидесятника, — и обида, горькая, разъедающая душу обида... На «общие условия жизни», на себя, неспособного их преодолеть, на «благополучных россиян», живущих иначе... И, самое главное, на среду, изначально лишившую всяких надежд на счастье, на гармонию бытия, стремление к которому было получено из умных, хороших книг.

Первый биограф Помяловского и близкий друг его Н. А. Благовещенский совершенно справедливо писал, что в жизни писателя не было ничего особенно оригинального; такую жизнь переживали многие; тем не менее эта жизнь служит фактом, «над которым стоит призадуматься»<sup>10</sup>.

И в самом деле, наши герои — плоть от плоти своего поколения, выделявшиеся лишь тем, что благодаря своей талантливости оказались на виду — много и искренне писали

сами, много и разнообразно писали о них. Личностные же их характеристики, обустройство быта, судьба — все это в высшей степени типично. Типична раздражительность, неуживчивость, болезненная гордость Решетникова — по сути своей очень доброго человека. Типичны подходы к жизни Левитова, каждая дружеская встреча с которым, по словам одного из его знакомых, неизбежно «превращалась в кабак»... И уж как типичен Помяловский, ставший своеобразным символом своего поколения, такого даровитого и — такого несчастного!.. Человек редкого обаяния и огромной силы — и физической, и духовной — он умер буквально от тоски и неизбежного для русского человека спутника этого душевного состояния — водки. По воспоминаниям Благовещенского, «впал он в какую-то мрачную, болезненную апатию, перестал дорожить собою, даже несколько раз покушался на самоубийство, и запил, мертвым запоем запил. Но вино только усиливало его муку... Желчными, глубоко рвущими сердце страданиями выражалось его опьянение, так что, глядя на эти муки, и жалко и страшно становилось за него... — Проклятые! — шепчет он, бывало, задыхаясь от злости. — Как я вас ненавижу! О, как страшно я вас ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою...» Источник этих страданий был ясен всем, в том числе и самому Помяловскому: «Бурса погубила меня!»<sup>11</sup> — не раз говорил он.

Помяловский умер 28 лет от роду, Решетников — 30-ти, страшно пивший Левитов чудом дотянул до 42-х... Дело по тем временам, действительно, самое обычное. Но, недолго прожив, писатели этого поколения сумели много написать, выплеснув свою горькую обиду на загубившие их «условия бытия» и внеся тем самым совершенно особую ноту и в русскую литературу в целом, и в общественную жизнь своего времени. Страшные «ужасом обыденности» «Подлиповцы» Решетникова, «Горе сел, городов, деревень» Левитова, «Молотов» и «Мещанское счастье» Помяловского, полные горькой обиды на неправильно, «нечестно» устроенный мир, — все

эти и многие другие произведения писателей-шестидесятников заставляют иначе воспринимать интеллигента-разочинца, иначе — повторюсь — по сравнению с победоносными манифестами лидеров этой общности. Легкий танцующий шажок Веры Павловны и мерная поступь Рахметова, если прислушаться повнимательней, заглушаются шарканьем подошв других многочисленных «героев», бредущих из кабака в кабак. Беспроблемный «разумный эгоизм», как выясняется, разъедает пьяная рефлексия, порожденная тоской и обидой. Несчастное детство разочинной интеллигенции превратило ее переходный возраст в воплощенную муку...

\* \* \*

Реформы 1860-х годов изменили русскую жизнь во многих отношениях. И одной из самых характерных черт эпохи стала постоянно растущая потребность в образованных людях. Их ждали повсюду. Одни только новорожденные земские органы нуждались в тысячах учителей, врачей, агрономов, статистиков. Медленно, но верно развивавшиеся промышленность и транспорт, в свою очередь, требовали инженеров и технических работников. В стране появляются все новые средние и высшие учебные заведения, которым, в свою очередь, нужны квалифицированные преподаватели. Все эти люди, как правило, читают, и читают много. А следовательно, в России издаются все большими тиражами различные книги, создается множество новых газет и журналов, открываются публичные библиотеки — и все эти издательские, книжные и околокнижные дела, в свою очередь, требуют разнообразных сотрудников, как минимум со средним образованием. Идет лавинообразный, обвальный процесс, в ходе которого в России и возникает разочинная интеллигенция — принципиально новая общность, с очень непростыми социальными и духовными характеристиками. Рождается, взрослеет, собира-

ется с силами... И, как любой подросток, стремится поскорее самоопределиться: осознать окружающий мир и найти в нем свое место. Сам по себе характер этой общности, ее «тяжелая» наследственность, кризисная ситуация, сложившаяся в стране в связи с непоследовательными реформами — все это предопределяло поиск программ радикальных, настраивающих на последовательную борьбу с «проклятой действительностью». Поиск, впрочем, продолжался недолго.

2006

# ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

В «Былом и думах» А. И. Герцен вспоминал, как, приехав в 1847 году в Париж и встретив там своих давних друзей-эмигрантов, М. А. Бакунина и Н. И. Сазонова, он в неизбежных беседах с ними о положении дел в России быстро ощутил взаимонепонимание: «сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному ключу». Причем дело было не в различии жизненных принципов, политических взглядов, стремлений... Нет, здесь общность была почти полная. Но, как выяснилось, вновьобретенные друзья Александра Ивановича в эмиграции успели основательно подзабыть родную страну и пытались судить о ней по европейским меркам — а Россия им никак не соответствовала. «Они, — писал Герцен, — ждали рассказов о партиях, об обществах, о министерских кризисах (при Николае I), об оппозиции (в 1847 году!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами».

Герцен был совершенно прав. Едва ли в то время существовала другая страна, в которой сферы, казалось бы, чисто культурной, научной и, особенно, литературной жизни оказывали бы такое мощное воздействие на жизнь общественно-политическую. Это влияние постоянно ощущалось и позже, в преддверии крестьянской реформы, и сразу после нее. При-

слово, популярное в обществе тех времен: в России, мол де, два царя — Александр II правит страной, а Николай II (Николай Чернышевский) литературой и журналистикой, — было не так уж далеко от истины. Когда же в начале 1860-х годов власть вновь встала на тропу войны, подвергнув репрессиям Чернышевского и его сторонников, их сменили другие властители дум, правившие определенными общественными кругами, действительно, почти самодержавно.

...В 1862 году, во 2-й, февральской книжке журнала «Русский вестник», был опубликован роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Публикация эта буквально взорвала русское общество. Конечно же, не Иван Сергеевич, который, как известно, был человеком весьма умеренных взглядов, инициировал это удивительное явление, о котором речь у нас уже шла — и пойдет далее. Но он, проявив отменное чутье на новое, одним из первых не только осознал всю значимость этого явления, но и сумел прекрасно показать его суть. Причем сделано это было искусно, через чрезвычайно выразительный образ главного героя романа — Базарова, который никого не оставил равнодушным: одних читателей этот герой раздражал до исступления, для других — стал объектом восхищения и подражания. К тому же Тургенев, по сути, стал крестным отцом нового явления, закрепив за ним название «нигилизм».

Из ряда вон выходящее значение «Отцов и детей» для русского общества выяснилось сразу: публикация романа сопровождалась полемикой, неординарной по непримиримости точек зрения и резкости тона даже для русской публицистики, которую полемики в то время буквально разрывали. И что характерно: хотя о романе Тургенева, о его герое, так или иначе, высказывались представители самых разных общественных направлений — либералы и консерваторы — главными фигуантами полемики оказались публицисты двух журналов, «Современника» и «Русского слова», казалось, близких друг другу радикализмом своей общественной позиции. В глазах боль-

шинства читающей публики Базаров должен был стать их общим героем — а споры вызвал отчаянные... Недаром в более умеренных кругах всю эту расплюю именовали не без ехидства «раскол в нигилистах».

Зачинщиком полемики стал сотрудник «Современника» М. А. Антонович, который после ранней смерти Н. А. Добролюбова претендовал на роль ведущего литературного критика радикального лагеря — хотя, откровенно говоря, не достоин был бы шнурки на ботинках покойного Николая Александровича завязывать... Ни по уму, ни по таланту, ни по художественному чутью Антонович с Добролюбовым ни в какое сравнение не шел; понижение уровня литературно-критического отдела в «Современнике» выглядело просто ужасающим. Зато самовлюбленности и желчи у нового критика было в избытке.

Статья об «Отцах и детях», на мой взгляд, вполне соответствовала и характеру, и способностям Антоновича: была злой, грубой и — была метра на три мимо цели. Основная задача статьи автором никак скрывалась: скомпрометировать автора «Отцов и детей» в глазах молодого поколения, изобразив Тургенева писателем-реакционером, злостно клевещущим на молодое поколение.

К решению этой задачи автор приступил буквально с первых строк статьи, более того — с названия: «Асмодей нашего времени». Название было заимствовано у повести В. И. Аскоченского, опубликованной лет за пять до «Отцов и детей». У Аскоченского в русских общественных и литературных кругах была устойчивая репутация крайнего реакционера; произведения его популярностью никогда не пользовались; вышеупомянутый «Асмодей» никакого следа в общественном мнении не оставил. Тем более что появилась эта повесть в разгар подготовки крестьянской реформы, когда общество с нетерпением ожидало перемен; «Асмодей» же этим настроениям никак не соответствовал, скорее, шел вразрез с ними. Повесть Аскоченского была посвящена разоблачению людей

«без Бога в душе», воплощением которых стал главный герой повести, некий Пустовцев, развращающий своими речами, исполненными скептицизма и безверия, всех окружающих (Асмодей в христианской, прежде всего католической, традиции – демон разрушения и блуда). Ничего принципиально нового в образе Пустовцева не было – было очень много старого. Собственно, Аскоченский попытался в меру своих художественных талантов, которые были ему отпущены крайне скучно, воспроизвести некий усредненный мотив на тему Онегина, Печорина, дядюшки Адуева из «Обыкновенной истории» Гончарова...

Антонович воспользовался этим литературным недоразумением как убийственным клише. Исходя в своей статье из формулы: «Отцы и дети» И. С. Тургенева равны «Асмодею нашего времени» В. И. Аскоченского, критик «Современника» одним выстрелом пытался убить двух зайцев: Тургенева он выставлял безнадежным реакционером, а его роман – произведением совершенно бездарным.

Процентов девяносто своих критических стрел Антонович – так же, впрочем, как и весьма многочисленные другие рецензенты романа – выпустил с прицелом на главного героя – Базарова. У Антоновича, нужно отдать ему должное, позиция была предельно четкая. Тургенев, писал критик, претендует на создание образа представителя молодого поколения; между тем и сам Базаров, и все его окружение изображается автором с *откровенной ненавистью*... «Он питает к ним какую-то личную ненависть и неприязнь, как будто они лично сделали ему какую-нибудь обиду и пакость, и он старается отомстить им на каждом шагу, как человек лично оскорблённый; он с удовольствием отыскивает в них слабости и недостатки, о которых говорит с дурно скрываемым злорадством и только для того, чтобы унизить героев глазах читателей... Он детски радуется, когда ему удается уколоть чем-нибудь нелюбимого героя, сострить над ним, представить его в смешном

или пошлом и мерзком виде; каждый промах, каждый необдуманный шаг героя приятно щекочет его самолюбие, вызывает улыбку самодовольствия, обнаруживающую гордое, но мелкое и негуманное сознание собственного превосходства». И далее следует цепь доказательств — цитат и эпизодов из «Отцов и детей». Начиная от мелочей: Базаров обнаруживает полное неумение играть в карты; он много и жадно ест и пьет (обжора и пьянчужка); не умеет общаться с народом. Затем следуют пороки более важные: Базаров «проповедует нелепости, непростительные самому ограниченному уму»; он «систематически ненавидит и преследует все, начиная от своих добрых родителей, которых он терпеть не может, и оканчивая лягушками, которых он режет с беспощадной жестокостью»; он, наконец, явный развратник (история с Одинцовой)... По мнению Антоновича, Тургенев изобразил вообще некое скопище всех пороков: «Это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол или, выражаясь более поэтически, асмодей (вот, он, Аскоченский. — А. Л.)». И эти пороки, по мнению Антоновича, переносятся автором «Отцов и детей» на все новое поколение в целом. Естественно, что подобное произведение иначе как злостно-клеветническим не назовешь...

Представляя читателю, которому, надеюсь, «Отцы и дети» памятны хотя бы по средней школе, самому делать выводы о степени критических талантов Антоновича, обоснованности его исходных позиций и убедительности его доказательств. Обращу внимание лишь на главные выводы сотрудника «Современника»: во-первых, образ Базарова предельно неудачен в художественном отношении, во-вторых, он является злобной выдумкой по существу — наше молодое поколение с Базаровым ничего общего не имеет и иметь не может.

Сама жизнь — и общественная, и литературная — показала, насколько неправ был критик «Современника». Недаром его статья на фоне многих других откликов, которые вызвали «Отцы и дети», стала явлением, в своем роде исключитель-

ным; очевидно, нужно было быть именно Антоновичем, чтобы обнаружить так мало художественного чутья и полное отсутствие понимания процессов, происходивших в русском обществе. (Исключение здесь подтверждает правило: единственным публицистом, кроме Антоновича, который увидел в Базарове воплощение всех зол, был... вышеупомянутый Аскоченский, известный не только своими реакционными взглядами, но и тем качеством, которое люди милосердные называют наивностью... Естественно, что он, в отличие от Антоновича, выражал полное удовлетворение романом, в котором Тургенев так ловко и больно высек «наглых мальчишек».)

Образ Базарова, в общем-то, вызывал неудовольствие у многих. Но эти недовольные, принадлежавшие, как правило, к либеральному или консервативному лагерю, предъявляли свои претензии к Тургеневу по причинам, диаметрально противоположным тем, которые вдохновляли Антоновича. Новый герой молодого поколения пугал их именно своей жизненностью и привлекательностью... Показательна в этом отношении позиция М. Н. Каткова, издателя «Русского вестника» — журнала, в котором публиковался роман Тургенева. В своей переписке с автором Катков, человек во всех отношениях умный и весьма чуткий к происходящему в стране, не раз и не два обращал внимание Тургенева на то, что создаваемый им образ Базарова выходит что-то слишком уж хорош... Для Каткова рост радикальных настроений в обществе, особенно в молодежной среде, был совершенно очевиден — так же, как очевидно было, что эти настроения начинают выражаться во все более непривычной и потому особенно пугающей форме. Именно под воздействием этих впечатлений сам Катков, долгое время бывший одним из лидеров русского либерализма, переходил на все более консервативные, охранительные позиции. Приветствуя саму идею тургеневского романа, он ждал от Ивана Сергеевича безусловной поддержки «отцов» и разоблачения «детей». Ему нужен был памфlet в пользу старшего

поколения — так же, как Антоновича, очевидно, удовлетворило бы произведение, декларирующее безусловное превосходство некоего возвышенного рассуждающего и хорошо воспитанного представителя молодежи над отсталыми «предками»... Тургенев же со свойственным ему талантом давал картину вне зависимости от собственных симпатий и антипатий; он не выставлял оценок, а создавал художественный текст, достаточно объективно отражавший действительность и наводящий на самые серьезные размышления. Критики же предпочитали не размышлять, а раздраженно констатировать, что Тургенев изобразил конфликт между поколениями не так, как следовало... Было, пожалуй, лишь одно исключение. Зато — блестательное.

\* \* \*

В том же марте 1863 года, практически одновременно с «Асмодеем», в «Русском слове» была опубликована статья Д. И. Писарева, названная предельно просто: «Базаров». Уже само это название в какой-то степени противостояло вычурному «Асмодею» Антоновича; совершенно различным было и содержание этих статей. Ну, просто, диаметрально противоположным: они представляли собой зеркальное отражение друг друга. Противостояние это начиналось буквально с первых слов, с принципиальной установки: Писарев сразу же заявлял, что, во-первых, Тургенев создал образ чрезвычайно жизненный, крепко-накрепко связанный с действительностью, а во-вторых, сделал это чрезвычайно талантливо.

«Этот Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего романа. Он — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателя». Подобный подход позволял Писареву

отнестись к главному герою романа как к человеку, как бы *реально* существующему; анализируя этот образ, критик получал возможность говорить о том, что *реально* волновало молодежь начала 1860-х, и предлагать конкретные решения тех вопросов, которые постоянно вставали перед ней в эту переходную эпоху.

Писарев четко, ясно и логично — форма его статьи вполне соответствовала содержанию. В образе Базарова, констатировал он, Тургенев уловил и изобразил явление принципиально новое. Всегда, по словам Писарева, была масса людей, всегда был «человек массы», живущий «по установленной норме, которая достается ему не по свободному выбору, а потому, что он родился в известное время... Он весь опутан разными отношениями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована предрассудками; сам он не любит ни этих отношений, ни этих предрассудков, но они представляются ему «пределом, его же не преайдешь, и он живет и умирает, не против своей воли и часто даже не заподозрив в себе ее существования». Жизнь этих людей сера и лишена внутреннего смысла; они полностью зависят от внешних обстоятельств и, вообще, говорить об этом «стаде» долго не приходится.

Дальше следовали соображения принципиально важные, вполне соответствующие духу книги. Не углубляясь в далекое прошлое, Писарев констатирует: не так давно на Руси стали появляться люди совсем другого склада — те, кто пытался существовать вне «стада». Русская литература, чуткая к жизни, сразу же ухватила и воспроизвела этот тип — в самых разных его оттенках. Онегин, Печорин, Бельтov, Рудин... Все они, ощущая себя личностью и пытаясь проявить ее во вне, стремятся, так или иначе, вырваться из общей массы. Так или иначе...

До недавнего времени, отмечает Писарев, это «так или иначе» выражалось исключительно в двух вариантах. «Умные люди, не получившие серьезного образования, не выдержива-

ют жизни массы, потому что она надоедает им своею бесцветностью: они сами не имеют понятия о лучшей жизни и потому инстинктивно отшатываются от массы, остаются в пустом пространстве, не зная, куда идти, зачем жить на свете, чем разогнать тоску. Здесь отдельная личность отрывается от стада, но не умеет распорядиться собою».

Другой вариант: «...Люди умные и образованные не удовлетворяются жизнью массы и подвергают ее сознательной критике: у них состоялся свой идеал, они хотят идти к нему, но, оглядываясь назад, постоянно боязливо спрашивают друг друга: а пойдет ли за нами общество? А не останемся ли мы одни с своими стремлениями? Не попадем ли мы впросак? У этих людей, за недостатком твердости, дело останавливается на словах». Здесь личность сознает свою отдельность, составляет себе понятие самостоятельной жизни и, не осмеливаясь двинуться с места, раздувает свое существование, отделяет мир мысли от мира жизни». Вся огромная разница между Печориным и Рудиным проявляется прежде всего при сравнении их внутреннего мира — вовне они реализуют себя примерно одинаково, то есть почти никак. Появление подобных людей действительность почти не меняет.

И вот — явление Базарова... «Люди третьего разряда идут дальше — они сознают свое несходство с массою и смело отделяются от нее поступками, привычками, всем образом мысли. Пойдет ли за ними общество, им нет дела. Они полны собою, своей внутренней жизнью и не стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониям. Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особности и самостоятельности».

Из этой характеристики следует одно — общество, в котором начинают формироваться люди базаровского типа, выходит на принципиально новый уровень развития. Ведь если «у Печориных есть воля без знания», а «у Рудиных — знание без воли», то «у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело

сливаются в единое целое». По сути, Писарев констатирует: в России, буквально на глазах, рождается новая общественная сила с самыми серьезными перспективами.

Далее критик, со свойственной ему ясностью и последовательностью, анализирует образ Базарова во всех его проявлениях. Не вдаваясь в подробности, отмечу: все то, что в изображении Антоновича выглядело как проявление глупости, невоспитанности или просто хамства, производило впечатление каких-то дурацких, ничем не мотивированных поступков, у Писарева получает четкое объяснение и оценку, почти всегда высокую. Базаров *все делает правильно* — если, конечно, оценивать его действия по тем критериям, которые критик считает единственно возможными. А они определяются следующим образом: Базаров постоянно стремится к достижению своей главной и пока что, по сути, единственной жизненной цели — он формирует себя как личность, определяет свое место в жизни, стремясь достичь его во что бы то ни стало. То что сама по себе эта цель предельно позитивна, насыщна для каждого сознательного молодого человека в России — в этом у Писарева нет и тени сомнений. Значит, Базарова надо оценивать по тому, насколько последовательно и разумно он реализует свое стремление.

Ну, а тургеневский герой *предельно* последователен и разумен. И Писарев всегда на его стороне, даже тогда, когда действия Базарова, с моральной точки зрения, могут произвести на читателя неприятное впечатление. Как, например, отношение Базарова к безмерно любящим его родителям. Моральные оценки в «старом» сентиментальном духе, с точки зрения Писарева, совершенно неуместны при чтении «Отцов и детей». Все, что сковывает героя, затягивает его обратно в трясину, в «стадо» — плохо, будь то родительская любовь, любовь к женщине или дружба с человеком, такой дружбы недостойным. То, что герой последовательно преодолевает все эти препоны — прекрасно; именно благодаря такой последовательно-

сти Базаров в глазах критика и является героем в прямом смысле этого слова.

Столь редкое несоответствие позиций публицистов радикального лагеря неизбежно привело к не менее резкой полемике, которую идеиные противники радикализма с явным удовольствием определили как «раскол в нигилистах». Однако это выразительное клише было не совсем справедливо: полемика привела не столько к расколу, сколько к четкому определению своей позиции молодыми разночинцами 1860-х годов. В массе своей они пошли за Писаревым.

В самом деле, что мог предложить молодежи Антонович? Что ему не нравится в Базарове, почему он считает этот образ клеветой на молодое поколение, критик «Современника» выразил ясно. А вот чего он, собственно, ждет от этого поколения *сам*, каким он хочет его видеть? Статья порождала устойчивое ощущение, что ответа на этот самый главный вопрос — только ради него и за него, собственно, следовало браться — у Антоновича просто нет.

В самом деле, какие-то выводы на этот счет можно было сделать только за счет антитезы образу Базарова, из чего следовало: молодой человек нашего времени должен быть хорошо воспитан, должен почитать родителей и вообще старших, проявлять деликатность в отношениях с женщинами, быть мягким и снисходительным по отношению к лягушкам... В карты он либо не должен играть, либо играя — выигрывать; в еде и питье (питье особенно) — соблюдать умеренность. Таким образом, статья Антоновича выглядела совершенно беспомощной — кроме этих общих мест предложить читателям ему было нечего. А Писарев, с блеском отработав программу полемики с Антоновичем, предлагал молодежи именно то, в чем она в это время нуждалась, — совершенно определенную программу жизни.

В «Реалистах», «Разрушении эстетики» и в других, поразительных по своей энергетике статьях, Писарев выдвинул це-

лый ряд четких положений, с восторгом подхваченных молодежью. «Мы бедны и мы глупы», — писал он в «Реалистах». Бедны именно потому, что глупы... Россия сможет выйти на новый уровень бытия только тогда, когда умные, знающие, твердые в своих решениях люди станут в ней заметным явлением. Надо срочно умнеть, а это дело — личное. И пока что главная задача сознательного молодого человека — идти по пути, проложенному Базаровым: учиться, накапливая позитивные знания, трезво оценивать действительность и — в каждой жизненной ситуации действовать в полном соответствии со своими убеждениями, не подчиняясь устоявшимся правилам, стереотипным нормам поведения, указаниям старших по возрасту, по званию, не суть важно. До всего в этой жизни надо доходить своим умом и опытом, все созданное предшественниками надо проверять на прочность. «Бей направо, бей налево» — один из любимых лозунгов Писарева: разлетится — так тому и быть; устоит — отнесемся с уважением.

В своих статьях Писарев, трагически-нелепо погибший всего в 28 лет — он утонул во время купания, — пока еще не призывал бороться за перемены социальные или политические. Со своими призывами он обращался к каждому читателю в отдельности: сначала сделай самого себя, стань достойным человеком; ну, а потом уж мы подумаем, как жить дальше, что делать... Однако было совершенно очевидно, что люди, «делавшие» себя по Базарову, не смогут долго находиться в стороне от борьбы за общее дело. События на идейном фронте в начале 1860-х вообще разворачивались с небывалой динамикой; новая идеология формировалась буквально на глазах. Не успела еще отгреться полемика между «Современником» и «Русским словом», как в одном из этих журналов было опубликовано произведение, дававшие ясный ответ на висевший в воздухе вопрос: что делать? Что должны делать «новые люди», обладавшие ярко выраженной личной, «базаровской» позицией?

\* \* \*

Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», с подзаголовком «Из рассказов о новых людях», как известно, был написан в месте, совершенно не располагавшем к творчеству: в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. В тюремной камере Чернышевский работал с поразительной продуктивностью: объемистая рукопись, с трудом уложившаяся при публикации в 25 листов печатного текста, была создана им за неполные четыре месяца: с декабря 1862-го по апрель 1863 года.

О романе Чернышевского, который занял совершенно особое место и в истории русской литературы, и, особенно, в истории русской общественной мысли, написано очень много, очень разными людьми и, соответственно, с оценками нередко диаметрально противоположными — вызванная этим романом полемика по своей жесткости и резкости ничуть не уступала той, которая сопровождала появление «Отцов и детей». При этом даже восторженные поклонники Чернышевского, как правило, признавали, что его произведение достаточно слабо в художественном отношении; оппоненты же писателя всегда выдвигали эту слабость на первый план. Тем более поразительно то *идейное* воздействие, которое роман произвел на русского читателя, прежде всего молодого, которому он, собственно, и был адресован. Когда один из многих ненавистников романа, профессор П. Цитович писал спустя годы после его выхода (в 1879-м): «За 16 лет пребывания в университете мне не удалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии», — он ничуть не преувеличивал. Его слова подтверждает масса воспоминаний этих самых бывших читателей-гимназистов. Да и не только гимназистов... Отпрыск древнего княжеского рода, П. А. Кропоткин, например, прочел «Что делать?» вскоре после выхода из Пажеского корпуса, одного из самых привилеги-  
ванных учебных заведений Российской империи.

гированных военно-учебных заведений России, окончание которого открывало путь к блестящей карьере. И, надо думать, это чтение сыграло не последнюю роль в превращении блестящего аристократа в убежденного революционера и одного из главных теоретиков анархизма. Много лет спустя Кропоткин писал о книге Чернышевского, исходя, конечно же, прежде всего из своих собственных впечатлений: «Для русской молодежи того времени (начала 1860-х. — А. Л.) она стала своего рода откровением и превратилась в программу».

Почему же роман, в котором вместо художественных достоинств, вообще говоря, одни недостатки — масса отвлеченных рассуждений; вяло текущий, путаный сюжет, который приходится постоянно отслеживать, чтобы разобраться в отношениях и действиях героев; образы либо явно искусственные, как Вера Павловна, либо удручающе серые (Лопухова от Кирсанова по их авторским характеристикам отличить, по моему, вообще невозможно) и т. д., и т. п. — так почему же это несовершенное произведение произвело на читателей впечатление поистине ошеломляющее? Думается, это произошло благодаря тому, что содержание романа полностью соответствовало его заглавию.

«Что делать?» — это вопрос, который совершенно реально встал во весь рост перед молодым поколением 1860-х. Очевидно было, что жизнь в стране резко переменилась, а благополучия при этом не было и в помине — общая ситуация в пореформенной России просто обязывала к действию каждого сознательного человека. Но как действовать? Что делать? Старые учителя, из «отцов», все больше вызывали насмешки; новых — слушали и читали, затаив дыхание. То, что было предложено Писаревым, привлекало чрезвычайно: формировать самого себя, стать разумной личностью через отрицание старых стереотипов, традиций, пережитков. Но ведь сам Писарев откровенно писал, что все это действие — лишь первый шаг. Стать духовно независимым, мыслящим, сознательным

человеком — великолепно! Но это не могло быть самоцелью, по крайней мере, надолго; любые человеческие качества, в конце концов, приобретают ценность лишь в своем проявлении вовне, в действии, в достижении определенного результата. И разночинная молодежь продолжала жадно искать ответа на вопрос: как жить? что делать?

Форма, в какой этот ответ будет получен, была не так уж и важна. Тем более, что Чернышевский все-таки пошел на уступки и написал роман, изложив в нем «в легкой и увлекательной форме» основные идеи своего весьма тяжеловесного трактата «Антропологический принцип в философии». Герои романа развивали эти идеи в своих бесконечных диалогах и монологах; Вера Павловна воспринимала их в своих снах; в крайнем случае, на помощь героям приходил сам автор, отводя очередные три — четыре странички на разъяснение того или иного тезиса. Читатели, к этим идеям равнодушные, очень скоро начинали зевать, пожимать плечами и — откладывали в сторону соответствующий номер «Современника» (вероятнее всего, № 3 за 1863 год, в котором начиналась публикация романа; кто-то, возможно, брал в руки № 4 и даже № 5 — с последней частью). Читатели — в основном «отцы», — настроенные на «социальное» чтение, но несогласные с автором, порой буквально впадали в истерику — Николай Гаврилович, при всей своей внешней и стилистической безмятежности, обладал редкой способностью вызывать злобу и ненависть оппонентов, как при устных спорах, так и своим творчеством. Зато молодежь бросалась на соответствующие номера «Современника» диким кречетом; читала роман запоем и воспринимала его действительно как программу жизни. И было ей, молодежи, совершенно все равно, что сюжет у романа вялый, а герои безжизненны — их захватывал общий смысл произведения, его идейная сторона. В романе Чернышевского они находили именно то, что искали, то, что было им совершенно необходимо — и бог с ними, с художественными достоинствами...

Представляется чрезвычайно любопытным то, что очень цельную и логически непротиворечивую «программу жизни» для поколения 1860-х создали именно Чернышевский и Писарев — люди очень яркие, совершенно не похожие друг на друга, никогда не общавшиеся и принадлежавшие к тому же к разным направлениям русского радикализма, которые именно в это время расходились буквально на глазах. И — тем не менее... Очевидно, нечто подобное и впрямь уже носилось в воздухе, прорывалось в интеллигентское сознание, проговаривалось в жарких спорах... И при всей своей кажущейся искусственности воспринималось в те времена вполне естественно и органично.

Чернышевский в своем романе, собственно, начал с того места, где Писарев остановился в своих статьях. Призывы к формированию самодостаточной личности, без объяснения и, главное, обоснования того, чем ей, этой личности, заняться, с самого начала имели некоторую ущербность. Они захватывали молодежь пафосом отрицания, борьбы со всяческим старьем и всевозможной рутиной, но... Одним отрицанием ведь не проживешь. Недаром сам Писарев не любил термин «нигилизм», предпочитая называть идеологию «новых людей» реализмом. Однако это название не удержалось. Очевидно, потому, что связанное с нигилизмом тотальное отрицание, действительно, было в этой идеологии определяющим. Но разум, направивший все свои силы на отрицание, в конце концов неизбежно начнет разрушать не только окружающее, но и самого себя. В разных ситуациях это происходит по-разному — ну, а на Руси всегда был свой излюбленный, национальный способ саморазрушения. В среде тех, кто последовательно пошел по пути нигилизма, алкоголизм в 1860-х годах стал явлением самым обыденным. И сколько умных, даровитых людей сплилось в эту эпоху!..

Положение в стане нигилистов изначально складывалось непростое. Самодостаточная личность, преодолевшая все пре-

поны и вырвавшаяся из «стада», в результате оказывалась предоставленной самой себе. В лучшем случае она могла входить в очень узкий круг таких же избранных личностей. И что дальше? Чем должны были заниматься эти свободные люди? Любоваться на себя и друг на друга, презрительно поплевывая в сторону покинутого стада? Рука невольно тянулась к бутылке...

Чернышевский значительную часть «новых людей» вывел из этого тупика несколько неожиданным ходом. Его герои, в сущности, ничем не отличаются от Базарова по своим исходным позициям: жить своим умом, бороться с предрасудками, обрести независимость... Более того, Чернышевский совершенно откровенно объясняет их главный мотив: все, все они — Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, их многочисленные единомышленники и единомышленницы — являются самыми законченными эгоистами, которые только и думают, что о своем собственном благе. Вот только благо это они понимают совсем иначе, чем подавляющее большинство россиян. По одной простой причине — они на все смотрят с позиций разума, в то время как прочие решают свои проблемы под воздействием разнообразных страстей или под воздействием все тех же бессмысленных обычаев и традиций.

В своем романе Чернышевский вводит новое определение для идеологии «новых людей» — «разумный эгоизм». И, казалось бы, поначалу, пока речь идет о личной судьбе героев «Что делать?», эта «игра в термины» по сравнению с «базаровщиной» ничего, в принципе, не меняет и ничего, по сути, не дает. Так, Вера Павловна вырывается из родного дома, освобождаясь от своей жутковатой матушки, рассуждая и действуя вполне по-базаровски. Разве что под влиянием своего доброго друга Лопухова она в своих рассуждениях постоянно напирает на некий «расчет выгод». Ей, видите ли, не выгодно выйти замуж за богатого развратника и вести беспутную светскую жизнь; ей выгодно сбежать из дома с учителем, всту-

пив с ним в фиктивный брак, чтобы обрести свободу и вести жизнь скромную, трудовую и совершенно независимую. Эти рассуждения сути дела, конечно же, никак не меняют. Базаров мог не одобрить их хотя бы по той причине, что, в отличие от героев Чернышевского вообще, рассуждений не любил.

Но различия становятся явственными, когда речь заходит об отношении к окружающим, прежде всего к тем, кто живет, работая сверх силы, а получает меньше необходимого, — к трудовой массе, крестьянам, работникам. Базаров в своей знаменитой беседе с Аркадием высказывает совершенно откровенно — его подобные вопросы не волнуют. «...Ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я возненавидел этого последнего мужика, Филиппа и Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»

Характерно, что Писарев, процитировав в своей статье эти строки, далее пишет: «Итак, Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным. Им управляют только личная прихоть и личные расчеты». И далее: «Впереди — никакой высокой цели; в уме — никакого высокого помысла, и при этом — силы огромные». Такого человека, пишет Писарев, очень легко определить как безнравственного. «Злодей, урод! — слышу я со всех сторон...» Ругайтесь, господа, ругайтесь, иронизирует критик, а ничего-то вы не поделаете ни с Базаровым, ни с «базаровщиной»: «Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени...»

Из контекста писаревской статьи мы знаем, что если критик «Русского слова» и считал базаровщину болезнью, то ис-

ключительно — болезнью роста, вроде тех, которыми должен переболеть тянувшийся вверх подросток и которые свидетельствуют о том, что его организм выходит на новый уровень бытия. И все же, признав за Базаровым ярко выраженного эгоиста, он не рискует хвалить его за это качество.

А вот Чернышевский совершенно откровенно считал эгоизм самым сильным качеством своих героев... Повторюсь: эгоизм разумный! И по мере того, как автор раскрывает это понятие через поступки своих героев, через их — и свои собственные — рассуждения, становится ясным, что Базаров для них не совсем свой — хотя, очевидно, и стоит на правильном пути. Эгоист, рассуждает Николай Гаврилович вместе со своими героями, это человек, который стремится к своей пользе, к своему удовольствию — одним словом, к тому, чтобы ему было хорошо. Но как же по-разному понимают это «хорошо»! Огромное количество людей находят свое благо исключительно в удовлетворении своих животных инстинктов и низких страсти: она рвут куски, стремясь к богатству, роскоши, обильной жратве и питью; под любовью понимают почти откровенное насилие; под дружбой — почти откровенное господство и так далее. Человеческое в этих людях искажено изначально нездоровыми условиями жизни и неправильным воспитанием; сами они в ходе жизни уродуют себя еще больше. Уродуют и окружающих...

У людей типа Базарова, конечно же, есть огромные преимущества перед подобными уродами, и главное из них, очевидно, состоит в том, что эти «нигилисты» гораздо правильней понимают, что такое выгода: они развивают свое сознание, свою личность, они решительно отстаивают свою независимость. Их всегда волнует само дело, а не то вознаграждение, которое за него предлагается; другими словами, они ни за какие богатства земные не будут заниматься тем, что им не интересно или, тем более, предполагает какое-либо унижение или лицемерие. В этом отношении они вполне «разумные эго-

исты», потому что умеют взять от жизни то, что действительно хорошо и выгодно для разумного человека. И все же, с позиций Чернышевского и его героев, они себя в своих удовольствиях невероятно ограничивают... Ну просто до аскетизма!

Взять того же Базарова. Как бы ни выдвигал он на первый план такое понятие как «польза», изучать окружающий мир, мир природы, доставляет ему явное удовольствие. Но ведь очевидно, что мир общественных и социальных явлений, людской мир, интересен ничуть не меньше! Как медик Базаров не удовлетворяется пассивным восприятием анатомии и физиологии, а пытается воздействовать на них — он лечит болезни, и делает это, опять-таки, с явным удовольствием, как любой мастер своего дела. Но ведь и людской мир исполнен болезней и лечить их — не меньшее удовольствие. Вот, например, добиваться того, чтобы русский мужик в белой избе жил — удовольствие, вообще мало с чем сравнимое...

Основная идея «разумного эгоизма», по-моему, предельно проста и понятна. Но прежде чем я попытаюсь ее сформулировать, необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Прежде всего, следующее: Чернышевский ненавидел пафосность; само время, когда он писал «Что делать?», пафосность отрицало. Принципиально противопоставляя «разумный эгоизм» жертвенности, альтруизму и прочим понятиям, которые уже в те годы были затерты и заспекулированы до предела разными не очень умными или очень нечестными людьми, Чернышевский в своих рассуждениях делает ставку на разум, почти полностью игнорируя чувство. Его герои нередко производят впечатление просто комическое — когда они тратят массу времени и сил, доказывая себе и друг другу, что то или иное сделанное ими хорошее дело исключительно разумно, что они ничем не жертвовали ради того, чтобы это дело сделать, а, напротив, оно им было очень и очень полезно... Хотя, казалось бы, можно было сделать всего один шаг и

признать, что и *жертва* может быть полезной для того, кто ее приносит, и более того, может доставлять удовольствие — и многие пространные рассуждения на страницах «Что делать?» оказались бы, по-моему, совсем ненужными.

Основную же идею этого замечательного романа можно выразить так: его герои — «новые люди», «разумные эгоисты» — выгоду находят не только в том, чтобы разумно устроить свою личную жизнь, но и жизнь окружающих. Например, сознательный молодой человек Лопухов видит, как у него на глазах гибнет милая, умная молодая девушка, которую ее мачтушка, эгоистка, вполне неразумная, стремится выдать замуж за человека богатого, но негодного. Как только он понимает, что девушка этого брака не хочет, что она стремится жить иначе, Лопухов тут же принимает в ней самое живое участие, идя при этом на серьезные жертвы (которые, как он просто-таки доказывает самому себе и читателю, жертвами, естественно, ни в коем случае не являются). И дело здесь, по Чернышевскому, отнюдь не в «амурных» делах — молодой человек получает огромное удовольствие, просто-таки услаждает свой эгоизм, спасая хорошего человека, не давая исковеркать его судьбу.

А милая девушка по имени Вера Павловна, в свою очередь, желает получить от жизни максимум наслаждений — и находит их, устраивая швейную мастерскую, основанную на справедливых, то бишь социалистических началах. Она находит свою выгоду в том, чтобы устроить нормальную, а по возможности и хорошую жизнь для нескольких десятков девушки, обреченных без этого на каторжный труд и нищенскую оплату. Выгода эта состоит, видите ли, в том, что жизнь Веры Павловны теперь занята интереснейшим делом, которое, правда, не приносит ей доходов... Зато приносит огромную радость.

\* \* \*

Чернышевский и его герои в наше время основательно забыты; если их и вспоминают, то, как правило, для того, чтобы поиздеваться. С этой точки зрения, может быть, и неплохо, что роман Чернышевского исключили из школьной программы. (Интересно только, за что? За пресловутую антихудожественность или за несвоевременные нынче призывы к разумному, то есть социалистическому устройству жизни?) В любом случае, не секрет, что подавляющее большинство глупых издевок и «приколов» по поводу литературной классики порождает как раз их школьное «изучение» — и преподавание здесь очень часто носит сугубо формальный характер и, что особенно важно, читаются эти великие книги, как правило, не ко времени.

Чернышевского, конечно же, надо читать в особом состоянии духа, в котором красоты стиля и занимательный сюжет становятся почти незначимы; то же, впрочем, можно сказать и о подавляющем большинстве произведений, подобных «Что делать?». Их надо читать в состоянии духа, подобном тому, в котором они были написаны...

Помните? «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала; обратил взоры в внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает *не прямо* (выделено мною. — А. Л.) на окружающие его предметы». Так определяет мотивы, побудившие его взяться за перо, А. Н. Радищев, прямой предшественник Николая Гавриловича. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев как раз и стремится заставить читателя «взглянуть окрест» *прямо*, широко раскрытыми глазами и увидеть то, что очевидно и, казалось бы, не вызывает сомнений — и, тем не менее, проходит мимо, не замечается, не вызывает должной реакции. У людей ведь, в отличие от животных, выработано великое множество прием-

мов, которые позволяют не видеть очевидное. В сущности, все наши герои боролись с этим, стремясь заставить своих современников смотреть прямо и — видеть...

В разное время они действовали по-разному. Тот же Радищев, в духе сентиментализма, взывал к сочувствию; Чернышевский в эпоху, когда на первый план стали выходить pragmatism, расчет, позитивное знание, — обратился к разуму.

Что разумнее: рвать куски, подличать, утверждаться за чужой счет, разбогатеть в конце концов или сделать карьеру, построить дом на холме (если дело происходит в США) или на очень низменной Рублевке (если у нас), жить во тьме и разврате, физическом и духовном, коверкая самого себя и тех, кто попался на твоем пути?.. Или — разобравшись в самом себе и окружающем мире, стремиться жить соответственно этому знанию, пытаясь и себя, и этот мир изменить к лучшему? Избегая, впрочем, общих слов, обратимся к роману Чернышевского: что разумнее — выжимать все соки из сотен и тысяч людей, заставляя их работать на себя в каторжных условиях, за гроши и упиваться при этом радостью за свои растущие доходы или организовать труд этих людей так, чтобы он давал им радость и — радоваться вместе с ними? Быть источником зла для себя и всего мира или источником счастья? Согласитесь — все это вопросы чисто риторические.

Роман Чернышевского «Что делать?» не только дал молодому поколению программу жизни; автор буквально на пальцах разъяснил молодежи 1860-х, почему нужно жить так, а не иначе. Причем это было сделано четко в системе координат интеллигента-шестидесятника, на языке, предельно ему понятном — потому что это был его язык. И, наконец, огромную роль в том ошеломляющем воздействии, которое оказал на современного читателя этот роман, сыграло увлечение личностью автора, который стал кумиром нескольких поколений разночинной интеллигенции. Современников не могло не поражать то, до какой степени Чернышевский был похож на

своих героев — и внешностью, и манерой держаться, и бытовыми привычками... А главное — железной последовательностью своих дел и поступков, ничуть не уступавшей последовательности в изложении своих взглядов.

«Вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся Н. Г. Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и в мундире... Чиновник стал к нам лицом, а Чернышевский повернулся спиной. Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. До нас, впрочем, долетали лишь отдельные слова. Когда чтение кончилось, палач взял Чернышевского за плечо, подвел к столбу и просунул его руки в кольцо цепи. Так, сложивши руки, Чернышевский простоял у столба около четверти часа... Палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского принудил встать на колени; затем взял шпагу, преломил ее над головою Н. Г. и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота».

Как, вероятно, догадывается читатель, это — безыскусное описание гражданской казни Чернышевского одним из ее свидетелей. Казни, которая произвела огромное впечатление на общество и окончательно превратила Чернышевского в кумира разночинной интеллигенции. Было хорошо известно, что он пострадал за взгляды — никаких сколько-нибудь законных оснований для его ареста, а тем более для приговора к каторжным работам у правительства не было. Позицию власти в этом деле великолепно выразил в частной беседе тогдашний шеф жандармов В. А. Долгоруков. «У нас, — сказал он, — может быть, и нет юридических доказательств вины Чернышевского, но зато есть глубокое внутреннее убеждение, что именно этот человек является главным источником наших неприятностей».

Очевидцы обращали внимание на то, что во время всей процедуры шельмования — гражданской казни — Чернышевский был предельно спокоен; изредка, насколько позволяла цепь, поправляя очки, он внимательно вглядывался в толпу. Как будто даже слегка улыбаясь... Столь же спокоен он был и на протяжении почти двадцатилетнего пребывания в Сибири — ни жалоб, ни упреков, ни, тем более, раскаяния. Он сам выбрал свой путь; выбрал его *разумно* — как разумный эгоист. В этом — в верности идеям, которые он считал истинными, в верности самому себе было его, Чернышевского, счастье...

Все это, повторюсь, впечатляло. Как бы кощунственно это ни звучало для человека православного, но «Что делать?» в среде разночинной интеллигенции действительно играло роль, схожую с Евангелием в общинах ранних христиан. Вместе с писаревским «реализмом», который так удачно сочетался с нею, программа «Что делать?» в 1880-е годы заработала на полную мощность. Первое полноценное поколение разночинцев вступило в борьбу за разумное устройство жизни. В борьбу, которую разночная молодежь готова была вести предельно последовательно, но — мирными средствами. Пока что. До поры до времени.

2007–2008

# «ТОНКОНОГИЕ» В ДЕРЕВНЕ

## ПРОЛОГ. ЗНАКОМСТВО С ГЕРОЕМ

Начало этой истории можно, наверное, отнести к тому морозному февральскому дню 1871 года, когда в имение Батищево (что в Дорогобужском уезде Смоленской губернии) прибыл его законный владелец Александр Николаевич Энгельгардт. Зима в тот год выдалась снежная; все вокруг было белым-бело, тихо, безлюдно... Только темнел на горизонте дальний лес, да дымки из труб соседних деревень напоминали о какой-то жизни... Само же Батищево давно стояло в запустении; здесь живым и не пахло. Поля имения заросли березняком; усадьба наполовину развалилась. Относительно жилым был лишь маленький флигель, где кое-как, с грехом пополам и разместился новоявленный помещик. В дороге Энгельгардт приболел, его бил озноб... Впоследствии Александр Николаевич не раз вспоминал о том, какая безысходная тоска навалилась на него в день приезда в Батищево: пропала вера в свои силы и все мечты и надежды, с которыми он сюда ехал, казались теперь пустой блажью. От безмолвных заснеженных равнин тянуло могильным холодом...

Надеемся, читатель не обвинит нас в стремлении к искусственным эффектам: ведь в самом деле, какой поразительный контраст между этим печальным, тоскливым, мертвенным зимним днем и тем делом, начало которому он положил, — знаменитым в свое время «батищевским делом», полным энергии, бодрости, дышащим живой жизнью! Однако, прежде чем приступить к рассказу об этом замечательном и, к сожалению,

полузабытом эпизоде русской истории, нам совершенно необходимо поближе познакомиться с его главным героем.

Александр Николаевич Энгельгардт, вне всяких сомнений, принадлежал к числу не только самых выдающихся, но и самых привлекательных людей своего времени. В любой компании, в любой обстановке этот человек обречен был вызывать всеобщее внимание, что, впрочем, его ничуть не тяготило. Высокого роста — как правило, на голову выше окружающих, широкоплечий, прекрасно сложенный, с уверенными властными движениями, Энгельгардт производил впечатление былинного богатыря, которому все по плечу и никакой ворог не страшен. От его фигуры веяло мощью. К большой голове с крупными выразительными чертами лица очень шли борода и волосы до плеч — от природы темные, но ранняя седина сделала их стальными. Обычное выражение глаз Энгельгардта, отлично переданное фотографическими портретами, первый его биограф А. И. Фаресов определил как величавое, и мы склонны с ним согласиться. Голос у Энгельгардта — звучный, чуть картавый бас — вполне соответствовал фигуре, а речь была не менее уверенной и властной, чем жесты.

Такая внешность многое обещала, и при ближайшем знакомстве с Энгельгардтом обещания эти вполне оправдывались. Он был феноменально талантлив. К тому же природа, так щедро одарившая этого человека и духовно, и физически, позаботилась о том, чтобы ни один из ее даров не пропал втуне: Энгельгардт умел работать с колоссальной самоотдачей. Счастливое — и весьма редкое — сочетание широкой размашистой натуры с удивительным упорством и аккуратностью, доходящей до педантизма, позволяло ему в любом деле добиваться максимального успеха. А на своем веку Энгельгардт переворотил столько дел, что их вполне достало бы десятка на два человек обычного калибра...

Как полагалось потомственному дворянину до-реформенной поры, основу «карьере и фортуне» Энгельгардт

стал закладывать на военном поприще. В начале 1850-х годов он окончил Петербургское Михайловское артиллерийское училище, служил в конной артиллерию, а затем был причислен литейщиком к столичному арсеналу. Вскоре пушки с клеймом Энгельгардта получили добрую славу среди русских артиллеристов; на молодого поручика самое благосклонное внимание обратило высокое начальство: он был поставлен во главе литейной мастерской. Все, казалось, шло как нельзя лучше; но уже в молодые годы в характере Энгельгардта ярко проявилась одна капитальнейшая черта, свойственная, очевидно, в той или иной степени всем творческим натурам: никогда не удовлетворяться достигнутым. С энтузиазмом брался он за интересное дело, налаживал его, «доводил до кондиций» и — начинал скучать и рваться к другому, более важному, более масштабному... Он уставал от повторения хорошо отработанных операций; его томил раз навсегда заведенный порядок, пусть даже близкий к совершенству. Наш герой был не ремесленником, а творцом, и поэтому решенный вопрос представлялся ему вопросом исчерпанным, а конечный результат волновал лишь постольку, поскольку открывал новые перспективы. Так, впоследствии «образцовое хозяйство» стало для Энгельгардта опорой в решении жизненно важных для страны аграрных и общественных вопросов; так теперь литейное дело послужило ему ступенькой в большую науку.

Химией Энгельгардт увлекся еще в училище; и там под руководством известного ученого Н. Н. Зимина он, очевидно, получил тот минимум знания, который ему помог с таким успехом освоить непростое литейное дело. Но Энгельгардта тянуло к исследованию, к самостоятельной научной работе. Будучи по горло завален своими служебными делами, он тем не менее находил для нее время и добился многого. В 1857 году, 25-ти лет от роду, Энгельгардт вместе с проф. Н. Н. Соколовым открыл первую в России частную химическую лабораторию, в которой сам с большим успехом читал лекции и прово-

дил занятия. В 1859 году Энгельгардт и Соколов начали издавать, опять-таки первый в стране, «Химический журнал». В то же время сам издатель постоянно публиковался в различных научных изданиях. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что уже к концу 1860-х годов имя Энгельгардта в научных кругах произносили с не меньшим уважением, чем имена таких столпов русской химии, как Н. Н. Бекетов и А. М. Бутлеров; целый ряд отечественных и заграничных учёных обществ удостоили его почетными отличиями, а Российская Академия Наук присудила ему за исследования о креозолах и нитросоединениях Ломоносовскую премию.

Занятия в частной лаборатории позволили Энгельгардту явственно ощутить в себе еще один талант — талант педагога. А он не склонен был зарывать свои таланты в землю!

С 1864 года Энгельгардт начал исполнять по совместительству обязанности профессора химии в Петербургском земледельческом институте. Когда же он почувствовал, что офицерский мундир стал тесен ему, учёному и педагогу, и в 1866 году вышел в отставку, эти обязанности стали определять почти всю его жизнь. Он буквально дневал и ночевал в институте. Постоянная штаб-квартира нового профессора размещалась опять-таки в лаборатории — на этот раз институтской, которая именно благодаря Энгельгардту вскоре стала гордостью не только этого скромного учебного заведения, но и всего учёного Петербурга. Светлая, уютная, удобная, оснащенная на уровне лучших западных образцов, обеспеченная современной научной литературой, комплект которой из года в год аккуратно пополнялся, эта лаборатория была образцовой даже по отзывам самых строгих и авторитетных ее посетителей. Что же касалось институтской молодежи, то она, по словам современника, «хлынула туда неожиданным приливом». Каким образом удалось Энгельгардту выбрать у тугого на выплаты начальства редкий по тем временам трехтысячный кредит на свое новое дело — осталось его тайной...

Но, конечно же, отнюдь не только значительные средства, вложенные в лабораторию, делали ее популярной у молодежи: привлекал прежде всего сам хозяин, «исполненный огня, таланта, инициативы, экспансивности...». Все остальное было лишь благоприятной обстановкой, позволявшей этой яркой натуре проявить себя во всей красе.

Педагогические таланты Энгельгардта в значительной степени зиждались на его личном обаянии, которому трудно было противостоять. Ему не мешала даже некоторая самоуверенность, ощущавшаяся всеми, кому приходилось иметь дело с нашим героем. Да и как не простить это свойство человеку, у которого оно было до такой степени оправдано? Самоуверенность Энгельгардта, как правило, не раздражала, а импонировала, — уж очень явственно ощущалась в ней добрая закваска...

И, может быть, именно это горделивое сознание собственной моци, совершенное отсутствие чего-либо похожего на комплекс неполноценности, делало Энгельгардта человеком весьма и весьма терпимым. Неколебимая уверенность в своих силах избавляла его от того лихорадочного стремления к самоутверждению, которое многих умных и талантливых людей делает невозможными собеседниками. Энгельгардт и впрямь любил поучать, любил изъясняться монологами, но, если дело доходило до серьезного спора, он вел его с позиций разума, спокойно, аргументированно, отталкиваясь от точки зрения собеседника, и никогда не стремился подавить, подмять под себя, навязать свое решение.

С молодежью же Энгельгардт всегда — в институте и позже в Батищеве — был предельно деликатен, стремился держаться на равных. Он мог позволить это себе без всякой опаски вызвать в ответ панибратское отношение; грандиозный масштаб его личности был настолько очевиден, что самые отъявленные нахалы волей-неволей соблюдали дистанцию. В то же время именно сочетание этой грандиозности — многие

восторженные ученики Энгельгардта прямо говорили о гениальности — с простотой и доступностью производили на студентов чарующее впечатление.

Кроме того Энгельгардт завоевывал симпатии студентов тем, что стремился быть — и был человеком своего времени. Молодежь не могла не оценить постоянное стремление своего профессора постичь жизненный интерес преподаваемого им предмета и его умение в яркой, красочной форме преподнести постигнутое. Будучи великолепным ученым-исследователем, любителем хорошо подготовленного и четко, «красиво» проведенного опыта, Энгельгардт отнюдь не стремился ограничить горизонты своих учеников стенами лаборатории. Большая часть его научных исследований имела глубокий практический смысл; этот практический смысл отличал и все его занятия со студентами. Наука интересовала профессора прежде всего как мощное орудие «усовершенствования бытия человеческого». Он свято верил в ее силу и значение, стремился заразить этой верой своих учеников; и, конечно же, трудно представить себе более благодарную аудиторию для восприятия подобных воззрений, чем та, перед которой он выступал: аудиторию «реалистов»-шестидесятников, каждый из которых готов был обеими руками подписатьсь под базаровской формулой: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»...

Не удивительно, что в истории Земледельческого института вторая половина 1860-х годов так и значится, как «эпоха Энгельгардта». Более того, благодаря своему новому профессору это скромное учебное заведение (в те годы в нем училось не более 70 человек) приобрело немалую славу. Сюда, в частности, хлынули вольнослушатели, приходившие «специально на Энгельгардта». В лаборатории постоянно было людно, шумно и весело, как в студенческом общежитии, что отнюдь не мешало царившему здесь профессору: напротив, в такой непринужденной обстановке Энгельгардт чувствовал

себя как рыба в воде. Ведь весь этот шум и веселье были одной из немаловажных составных энгельгардтовской педагогики, благодаря которой он достигал блестящих результатов. Чтобы не быть голословным, достаточно сказать, что за неполные десять лет работы в институте Энгельгардт подготовил целую школу выдающихся исследователей (среди них можно назвать А. С. Ермолова, ставшего впоследствии министром государственных имуществ; П. А. Костылева, В. Котельникова); обратившись же к специальным «Журналу сельского хозяйства и лесоводства», «Земледельческой газете», к «Bulleteng» Академии Наук за 1860-е годы, можно убедиться в том, как много вопросов, нередко жизненно важных для хозяйства России, было поднято в это время в лаборатории Земледельческого института.

Будучи прирожденным педагогом и стремясь в этом деле, так же как и во всяком другом, добиться максимального успеха, Энгельгардт не мог и не хотел загонять свою работу в узкие рамки казенных циркуляров и предписаний. Не говоря уже о том, что весь стиль его занятий со студентами в корне противоречил официальному представлению о дисциплине, он и вне аудитории вел себя отнюдь не «по уставу». Особенно заметным это стало с 1870 года, когда Энгельгардт стал деканом института, и тем самым принял на себя ответственность за воспитание студентов. Он отлично понимал, что воспитывать молодежь, отгородившись глухой стеной от волнующих ее вопросов, пусть даже они и выходят за рамки учебного процесса, неразумно, аморально, да и просто невозможно. Так, он отлично знал, что большинство его учеников люди небогатые, многие живут скучно, а иные — и впроголодь. Всем им необходимо было помочь, и, по мнению Энгельгардта, никто не мог сделать это быстрей и лучше самих студентов: свои надежды он возлагал на корпоративный дух, дух товарищества и взаимопомощи. С легкой руки Энгельгардта и под его деликатным, ненавязчивым контролем в институте появляются

касса взаимопомощи, «артельные» лавочки, столовая, библиотека. Столъ же ясно понимал Энгельгардт и то, что молодежи никуда не уйти от общественной борьбы, взбаламутившей после реформы всю Россию, и здесь он также пытался привить своим ученикам сознание единства, внушить им мысль об общности задач, стоящих перед русской интеллигенцией, о необходимости совместной дружной работы на благо своего народа. При этом действовал он, как и всегда, неординарно. Самым ярким примером его «внеклассной» работы могли служить субботние вечера в институте, которые быстро приобрели популярность среди всего петербургского студенчества: самые настоящие вечера с музыкой, танцами, буфетом и — с серьезными беседами о науке, о будущем, о России...

Как ни парадоксально, вся эта деятельность вконец раскорила Энгельгардта с властями. Дело в том, что свое отношение к студенческой молодежи правительство обусловливало диаметрально противоположными, нежели декан Землемельческого института, принципами. Оно никогда не могло смириться с естественным и неизбежным стремлением студенчества к корпоративному единству: самостоятельность молодежи, так же, впрочем, как и любой другой группы населения, приводила его в ужас. С постоянством, достойным лучшего применения, правительство трактовало студенчество как некое скопище «отдельных учебных единиц», которому надо во что бы то ни стало помешать составить единое целое. Любая «самодеятельность» студентов рассматривалась как деятельность преступная; к педагогу же по сути предъявлялись те же требования, что и к городовому: навести порядок и обеспечить дисциплину...

Понятно, что с подобной точки зрения вся энгельгардтовская педагогика могла быть воспринята правительством лишь как дерзкий вызов. И оно этот вызов не замедлило принять: почти сразу же после устройства субботних вечеров III Отделение организовало за ними наблюдение, а в декабре

1870 года Энгельгардт, его друг и сотрудник П. М. Лачинов и несколько студентов были арестованы по «делу о беспорядках в Земледельческом институте». Под категорию «беспорядков» жандармы подвели «радикальные разговоры», реферат о деятельности Чернышевского и чтение вслух статьи Фердинанда Лассаля по рабочему вопросу... Самому главному «заговорщику» — Энгельгардту — они смогли инкриминировать лишь восхищенные отзывы о нем студентов как о человеке, «способном повести за собой Россию». Вся эта каша даже по жандармскому вкусу была не густо заварена: на серьезное обвинение в крамоле материала явно не хватало. Но власти обрушились на Энгельгардта за «развал дисциплины и совершенное отсутствие должного надзора», поставив ему в вину все то, чем он вправе был гордиться: и библиотеку, и столовую, и восхищение молодежи... В начале 1871 года он был отрешен от должности и выслан из Петербурга с предоставлением права «самому избрать себе место жительства, за исключением столиц, столичных городов и губерний, где находятся университеты».

Об общественно-политических взглядах нашего героя нам еще много придется говорить; пока же отметим лишь то, что он всегда был принципиальным сторонником мирного развития России. Однако после этой возмутительной истории он вполне мог изменить свои взгляды. Летопись русского революционного движения полна примеров того, как талантливых ученых и литераторов, подающих большие надежды общественных деятелей и просто мирных обывателей правительство буквально загоняло в подполье по ничтожному поводу, лишая их воды и огня, отрывая от всего, что было им дорого... Возраст в данном случае нельзя считать помехой: Энгельгардту было всего под сорок, а в революцию уходили и более зрелые люди. Надо думать, он сохранил верность своим принципам прежде всего потому, что давно уже имел на примете еще одно заманчивое дело — последнее главное дело своей жизни.

Он вспоминал впоследствии, что в самый разгар научной и педагогической работы его — в полном соответствии сатурой — постоянно тянуло испытать свои силы на практике, там, где, по его твердому убеждению, решались в эти годы судьбы России — в деревне, в сельском хозяйстве. Правда, будучи человеком последовательным, он собирался отправиться туда позже, после того, как почувствует, что сделал максимум для себя возможного в лаборатории и на кафедре. Правительство, не согласное ждать так долго, приняло решение за него. Что ж, тем лучше...

Вот таким-то образом серым февральским днем, в полуразрушенной усадьбе имения Батищево появился ее хозяин, который приехал сюда с тем, чтобы все свои знания, энергию, опыт вложить в решение аграрного вопроса, самого насущного и самого больного вопроса русской жизни.

## ОБРЫВКИ ЦЕПИ

«Порвалась цепь великая, порвалась, расскочилася: одним концом по барину, другим по мужику», — эти некрасовские строки, очевидно, потому так и затасканы по учебникам и хрестоматиям, что лучше выразить суть дела просто невозможно. К середине XIX века крепостное право действительно превратилось в цепь, сковывавшую Россию, лишавшую ее возможности нормального развития, движения вперед. Реформа 1861 года, порвавшая эту цепь, такую возможность, несомненно, предоставила. И столь же несомненно, что положение основных категорий русского сельского населения — крестьян и помещиков — после этой реформы заметно ухудшилось...

Что касалось крестьян, то первым свидетельством этому явились массовые волнения, которыми они встретили реформу; тогда же радикальные публицисты во весь голос заявили

об «ограблении трудовой крестьянской массы». Поначалу эта точка зрения многим казалась сугубо эмоциональной; волнения же относили на счет темноты и невежества крестьян и тех неизбежных трудностей, которыми сопровождался коренной перелом русской жизни. Но вот прошло полтора-два десятка лет, все улеглось, и сама жизнь доказала правоту крестьян и их защитников: по Руси пошли недороды, голодовки, повальные эпидемии... Во второй половине 1870-х годов целый ряд крупных экономистов в своих сугубо научных, лишенных даже намека на публицистичность трудах ясно показали, что крестьянское хозяйство в пореформенной России оказалось поставленным в условия совершенно невозможные. Наиболее авторитетный из них, Ю. Э. Янсон, в своем капитальном «Опыте статистического исследования о крестьянских наделах» доказывал, что реформа, предоставив крестьянам «право свободного труда», отвела для него слишком уж скучную почву: «Здесь ничтожный надел, с которого нельзя сойти, там безземелье, здесь отсутствие всяких заработков и происходящее от того и другого низкое вознаграждение труда; наконец, тяжесть общих государственных земских и мирских податей и сборов, лежащих не на имуществе и его доходе, а на личном труде, и высокая плата за землю, которая едва кормит того, кто ее обрабатывает». На основании огромного фактического материала Янсон пришел к выводу, общему почти для всей европейской части России: между крестьянскими наделами и платежами, лежащими на них, существует ужасающее несоответствие: земли крестьяне получили слишком мало, платить же за нее должны втридорога. Как бы ни бился мужик на своей полоске, заплатив положенное, он уже не в силах свести концы с концами или сводит их с величайшим трудом. Реформа, таким образом, обрекла крестьян на каторжный, изнурительный труд, плодами которого им самим почти не приходилось пользоваться. Янсон весьма убедительно выводил из установленного им несоответствия между наделами и пла-

тежами «плохое питание, дурные физические и моральные условия жизни, большую болезненность и сильную смертность» — т. е. все беды пореформенной деревни.

Труды Янсона и его коллег, в которых был обобщен грандиозный по объему цифровой, статистический материал, поставили в крестьянском вопросе все точки над i. Однако, надо думать, на общественное мнение гораздо большее влияние оказывали не эти фундаментальные, но трудные для восприятия работы, а многочисленные рассказы и очерки на аграрную тему, которые после реформы публиковали практически все серьезные периодические издания. Высказывая в большинстве случаев те же соображения, что и ученые-экономисты, авторы этих произведений основывали их на своих личных наблюдениях, бытовых зарисовках, «картинках с натуры». И, может быть, самым ярким явлением в этой «сельскохозяйственной литературе» стали те «Письма из деревни», которые публиковал в периодической печати А. Н. Энгельгардт на протяжении более чем десятилетия, аккуратно, каждый год по письму.

Вот что писал этот внимательнейший наблюдатель о жизни окрестных деревень: большая часть крестьян начинает голодать зимой, многие — еще осенью. «В нашей губернии и в урожайный год у редкого крестьянина хватает хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, те посылают детей, стариков, старух в кусочки, побираться по миру».

Кусочки... Крайняя, вынужденная мера. Чем больше времени прошло от жатвы, тем меньше ест крестьянин, — не три, а два, один раз в день, начинает есть пушной хлеб, с мякиной, с другими прибавками, которые делают его почти несъедобным; собирает последние деньги — «осталось что-нибудь от продажи пенечки, за уплатой повинностей»; занимает хлеб под работу, под проценты, и лишь когда другого выхода не остается — «Есть нечего дома — понимаете ли вы это!», — тог-

да волей-неволей идет в кусочки... В неурожайный год просить милостыню приходится не только старикам и детям, но и многим хозяевам.

Энгельгардт особо подчеркивал, что «побираться кусочками» и нищенствовать — вещи совершенно разные. Кусочки — это мирская помощь равному, хозяину, попавшему в беду, которая угрожает каждому, а не подаяние убогому. Кусочки и просят по-особому — без причитаний, почти шепотом: «Подайте, Христа ради»; и подают их деликатно, по возможности незаметно, подают до тех пор, пока в доме есть хоть краюха хлеба, потому что дающий сам, быть может, не сегодня-завтра пойдет по дорогам с холщовой сумой через плечо... С другой стороны: повезло мужику, разжился он хлебом, появился хоть малый излишек, — и на другой же день он сам начинает давать. Целая система взаимопомощи выработана здесь, целый ритуал, и, уж конечно, не от хорошей жизни...

Приходит весна, самое тяжелое время для мужика. Хуже всего ему перед новью. «Вот-вот рожь поспеет хотя настолько, что можно будет зеленую кашу есть, а вот тут-то и нет хлеба; пуд муки и то трудно достать в это время, потому что каждый запасал хлеба только до нови». Хорошо, если весна ранняя, — на грибах можно кое-как продержаться... Но вот дотянули до нови, упала с плеч страшная тяжесть — ничего, теперь живы будем; торопятся крестьяне на мельницу и едва ли один из ста возвращается оттуда, не пропив части урожая; и осудить — язык не повернется: всего две жатвы в году, всего два раза мужик себя человеком чувствует, и, увы, каждый раз так ненадолго...

Вот живая иллюстрация к несколько тяжеловесным и отвлеченным рассуждениям Янсона о «свободном труде». Какая уж тут свобода, какое тут может быть движение вперед, развитие при подобных «нечеловеческих условиях жизни»! И почти одновременно с Янсоном Энгельгардт на основе своих наблюдений делает тот же вывод относительно причин

этой каторжной жизни: «Что крестьяне наделены недостаточным количеством земли, что они обременены налогами, это несомненно». После отмены крепостного права материальное положение значительной массы крестьянства заметно ухудшилось.

Но это отнюдь не означало, что улучшилось положение их бывших хозяев. Недаром ведь если крестьяне волновались, то и помещики брюзжали, пассивно сопротивлялись преобразованиям, а иногда и прямо заявляли об обидах и убытках, наносимых благородному дворянскому сословию. На первый взгляд, у них, казалось бы, не было на то никаких оснований: правительство оставило помещикам большую и лучшую часть земель; за те же земли, что отошли крестьянам, им выплатили в короткий срок огромные суммы выкупных платежей. Казалось, перед поместным дворянством открылся торный путь для того, чтобы перестроить свое хозяйство на новых основаниях: нужно было лишь с умом приложить к земле эти свалившиеся в руки по царскому указу капиталы. Но помещик-то в массе своей оставался по натуре старый, дореформенный, тот самый, который, по словам Салтыкова-Щедрина, «рылся около себя как крот, причины причин не доискивался, ничем, что происходило за деревенской околицей, не интересовался, и ежели жилось тепло да сытно, то был доволен и собой, и своим жребием». Во имя этой немудреной, но сытой и покойной жизни в крепостнической среде была выработана надежная, простая и всем доступная система ведения хозяйства: «Считалось выгодным распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя, благодаря отсутствию удобрения, урожаи были скучные и давали не больше зерна на зерно. Все-таки это зерно составляло излишек, который можно было продать, а о том, какой ценой доставался тот излишек, мужицкому хребту и думать надобности не было». В основе всей этой рутине лежал даровой крестьянский труд, — только на нем она и держалась. Реформа 1861 года разрушила, казалось, самый фунда-

мент этой примитивной системы, и она была обречена на крушение. «Надобность думать» встала теперь перед помещиком во весь рост.

В самом деле, после реформы в среде поместного дворянства произошло-таки некоторое движение. Были попытки закупить технику, наладить батрачное хозяйство, изменить севооборот и т. д. Но в подавляющем большинстве случаев отсутствие энергии, настойчивости, навыков сводило все эти усовершенствования на нет. Изнеженное веками крепостного «пошехонского раздолья», поместное дворянство никак не могло выбраться на путь, указанный реформой.

Вот как передавал свои первые впечатления от окрестных помещиков Энгельгардт: поначалу он ездил по всей округе, пытался наладить контакты с соседями, толковал с ними об общих хозяйственных проблемах, но очень скоро убедился, что все это «совершенно бесполезно, потому что они большей частью очень мало в этом смыслят. Не говорю уже о теоретических познаниях... но и практических знаний, вот что удивительно, нет. Ничего нет, понимаете... Есть некоторые, которые занимаются хозяйством или, лучше сказать, разоряются по агрономии... т. е. нахватавшись форм т. н. рационального хозяйства из разных книжек, вводят разные новости: машины ненужные выписывают, турнепсы и люпины сеют. Разумеется, ничего не выходит, а если некоторые из таких агрономов еще держатся, то только благодаря отрезкам, лесам и старому заведению».

Вот в том-то и дело, что «старым заведением» можно было еще какое-то время продержаться: реформа отрезала в пользу помещиков значительную часть тех наделов, которыми крестьяне пользовались при крепостном праве, и тем самым выдала мужика головою его бывшему барину: без «отрезков» крестьянин, как правило, был просто не в состоянии вести свое хозяйство. Ресурсов для того, чтобы выжить, не хватало: не хватало ни пахотной земли, ни покосов, ни выгонов, не

хватало хлеба. Приходилось идти на поклон к помещику, обложившему своими владениями мужика, как медведя в берлоге. А тот, вновь почувствовав себя полным хозяином положения, хлеб и землю давал только за отработки. И отрабатывать мужику приходилось на своей замореной кобылке, своим убогим инвентарем в самую страду — в то время, когда решалась на целый год судьба его собственного хозяйства... Это ж было чистое разорение!

Зато помещику подобное положение вещей позволяло вести свои дела дедовским способом, основываясь, как и при крестном праве, на «представлении о бесконечной растяжимости мужицкого труда». «...Система хозяйства, — писал Энгельгардт, — остается у большинства все та же; сеют по-старому рожь, на которую нет цен и которую никто не покупает, чуть у крестьян порядочный урожай; овес, который у нас рождается очень плохо; обрабатывают поля по-старому, нанимая крестьян с их лошадьми и орудиями, косят те же плохие лужки, скот держат, как говорится, для навоза, кормят плохо...». Все то же экстенсивное хозяйство, все та же покоящаяся на крестьянском подневольном труде рутина — как будто крепостное право и не отменяли... А между тем после реформы прошло уже больше десяти лет!

Одной из главных заслуг Энгельгардта — автора «Писем из деревни» — было то, что он, пожалуй, первым столь ярко и убедительно показал всю порочность и противоестественность подобных отношений. В самом деле, крепостное право, при всей своей бесчеловечности, создавало органичную связь между помещичьим и крестьянским хозяйством. Помещик заинтересован был в том, чтобы его крестьянин-рабочник твердо стоял на ногах, чтобы скот его, орудия труда были в надлежащем порядке, от этого ведь зависело его собственное помещичье благополучие. И он, как правило, отводил крестьянину такой надел, который обеспечивал минимум несложных мужицких потребностей. Крестьянин, в свою оче-

редь, видел в помещике хозяина не только над имением, но и над его мужицкой судьбою: может и под розги положить, и в рекруты вне зачета отдать, и в Сибирь на каторгу сослать — и работал порядочно, если не за совесть, то за страх. Конечно же, это правило знало великое множество исключений и в ту, и в другую сторону, и все же правило было именно таково. Подобная система не имела перспективы; пределы ее развития обуславливались малопроизводительной мужицкой работой из-под палки, самыми примитивными орудиями; однако определенный жизненный минимум обеспечивался и крестьянину, и помещику.

После 1861 года все в корне изменилось. Отныне помещик, ведущий свое хозяйство по старинке, все свои расчеты должен был основывать на крестьянской нищете: «Благосостояние крестьян вполне зависит от урожая ржи... Чем меньше ржи должен прикупить крестьянин, чем дешевле рожь, тем лучше для крестьянина. Помещик, напротив, всегда продает рожь, и от ржи, при существующей системе хозяйства, получает главный доход. Следовательно, чем дороже рожь, чем более ее требуется, тем для помещика лучше. Масса населения желает, чтобы хлеб был дешев, а помещики... чтобы хлеб был дорог. ...Заметьте при этом еще, что при урожае не только понижается цена хлеба, но, кроме того, возвышается цена работы. Если бы у крестьянина было достаточно хлеба, то разве стал бы он обрабатывать помещичьи поля по тем баснословно низким ценам, по которым обрабатывает их теперь?» Полунищий голодный мужик, продающий свою бесценную работу за куль ржи, за паханную-перепаханную полоску земли — вот идеал для большинства пореформенных помещичьих хозяйств.

Ясно, что такое положение дел, когда мужик глядит на небо и молит о дожде, а помещик по соседству приговаривает: «Дай бог, чтобы стороной прошло», — положение вопиющее, порождающее взаимную злобу и ненависть, чреватое соци-

альными конфликтами. Но даже если, оставив эмоции, взглянуть на него с чисто хозяйственной стороны: как могут идти дела в хозяйстве, основанном на труде нищей, голодной массы работников, не только совершенно не заинтересованных в результатах этого труда, но и потерявших всякий страх перед помещичьей нагайкой? Вот и получилось, что, как ни старались создатели «Положения 19 февраля» соблюсти интересы благородного дворянства, как ни подводили они новую базу из крестьянского безземелья и горькой нищеты под «старое заведение», а заменить крепостное право все ж таки не смогли, — нельзя было его ничем заменить. Обеспеченный минимум довольства и сытости, основанный на даровом, подневольном труде, уходил в прошлое. Помещики, державшиеся старины, медленно, но верно оскудевали: по наблюдениям Энгельгардта, в Смоленской губернии «запашки уменьшены более чем в половину, обработка земли производится еще хуже, чем прежде, количество кормов уменьшилось... Проезжая по уезду и видя всюду запустение и разрушение, можно было подумать, что тут была война, нашествие неприятеля, если бы не было видно, что это разрушение не насильственное, но постепенное, что все рушится само, пропадает изломом».

Невозможно жить по-старому, по-дедовски в новой России — вот главный вывод, который извлек для себя Энгельгардт из общения с соседями-помещиками. Надо было искать выход из создавшегося положения, катастрофического и для помещиков, и для крестьян — для всего русского хозяйства. Надо было решительно отбросить заржавленные обрывки расскочившейся цепи, навсегда расстаться со всем ворохом рутинных обычаев и предрассудков, унаследованных от крепостной старины. Конечно, для этого требовался особый склад ума и характера, и Энгельгардт этим требованиям отвечал как нельзя лучше. В первый же год по приезде в Батишево он твердо занял вполне определенную позицию: «Рядом

соображений теоретических, как человек в хозяйстве совершенно новый и, следовательно, не имеющий никаких традиций, не привыкший ни к чему и спокойно, без боли ломающий старое, как человек, никогда агрономией не занимавшийся, рядом логических выводов, основанных на научных истинах, я пришел к сознанию необходимости изменить систему и стал изменять. Это нехорошо, это невыгодно, какое мне дело, что так делали прежде! Это невыгодно, значит, этого делать не нужно, значит, нужно делать иначе; попробуем иначе...».

## ОБРАЗЦОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

В сущности, многие из современников нашего героя отлично знали, что нужно предпринять для спасения помещичьего хозяйства. Так, автор одной из рецензий на первые «Письма из деревни», покритиковав Энгельгардта за расплывчатость суждений и неясность выводов, перечислил целый ряд очень разумных и действенных мер: «Прекращение системы сдачи полей кругами, (т. е. не отдельным крестьянам, а всей деревне, огулом. — А. Л.), устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, улучшение лугов и выгонов» и пр., и пр. В своем ответе рецензенту Энгельгардт достоинство этих мер отнюдь не оспаривал; он лишь заметил с сарказмом, что вот, мол, как легко, оказывается, вести хозяйство... на газетной полосе: раз, два — и все проблемы решены. Остается, правда, еще один «маленький вопросик»: как все это сделать? как в условиях пореформенной России устроить батрачное хозяйство, улучшить луга и т. д.?

По твердому убеждению Энгельгардта, на бумаге этот вопрос не решишь. В своих «Письмах» он, в частности, ругательски ругал отечественную сельскохозяйственную научную литературу — за схолasticность, за высокомерный академизм, за то, что вся она была, по словам публициста, не более

чем «бездарным списком с немецкого», совершенно не пригодным к делу в русских условиях. Более того, он доказывал, что и самые разумные, построенные на хорошем знании жизни рассуждения не смогут помочь этому делу, если некому будет претворить их в жизнь. Как пример Энгельгардт приводил «обширное хозяйство» своего родственника, в основу которого был положен отлично продуманный и точно рассчитанный план действий — он признавал, что и сам у себя в Батищеве во многом исходил из этого плана. Однако практика в «усовершенствованном» хозяйстве была убийственная для теории: «Система полеводства превосходна, но лен... выделяют так, что никуда не годится, превосходная рожь вымолячивается так, что значительное количество зерна остается в соломе... правильного учета и контроля нет, превосходные лошади сбиты и испорчены — ни надсмотря, ни порядка».

Энгельгардт постоянно доказывал, что для того, чтобы хозяйственная система себя оправдала, все ее составные части должны находиться в гармоническом равновесии друг с другом: план ведения хозяйства рождается из приложений опыта и знаний к конкретным условиям; теория должна постоянно проверяться практикой, которая вносит свои неизбежные корректизы; орудия и организацию труда необходимо привести в соответствие с навыками и психологией работников; заводить скот и возделывать культуры приходится лишь такие, которые оправдывают себя в данной местности, и т. д. Центром же этой гармонии, ее движущей силой является хозяин: «Ни машины, ни симментальский скот не могут улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяева».

Эти несколько тривиальные, на первый взгляд, рассуждения Энгельгардта полны глубокого смысла. Они лишний раз доказывают, как хорошо и быстро этот отставной профессор химии, только-только приступивший к совершенно новому для себя делу, понял самую его суть: до тех пор, пока помещик не станет на новые позиции, не перестанет жить за счет кре-

постнического прошлого, не расстанется с барской психологией, толку не будет. И не помогут здесь никакие отвлеченные рассуждения, не помогут никакие бумажные рецепты. Переустройство хозяйства надо начинать с себя — со своих взглядов, привычек, образа жизни: «...До „Положения“ даже и не очень богатые помещики жили в хоромах, ели разные финзебры, одевались по-городски, имели кареты и шестерки, — так что с того? Ведь нынче-то времена изменились, нынче помещики, особенно не очень богатые, должны жить совсем по-иному...». «„Положение“, — писал Энгельгардт, — совершенно изменило все отношения, все условия жизни и, кажется, с этим вместе естественно должен изменяться и весь наш быт... Все должно измениться, и то, что неспособно на изменение, что не может его вынести, должно погибнуть».

Привлекательность энгельгардтовских писем в значительной степени определялась тем, что их автор совсем не вел голословных рассуждений; все, о чем он писал, опиралось на его собственный опыт. Ведь сразу же после приезда в Батищево перед Энгельгардтом встал вопрос о том, как он будет жить, что есть, как одеваться... Вопрос этот он решил быстро и последовательно, исходя как из задач, которые перед собоюставил, так и из тех условий, в которых ему приходилось действовать.

Задачи были в принципе те же, что и у всех пореформенных помещиков: поднять хозяйство, сделать его рентабельным. Условия — не лучше, если не хуже, чем у многих: мало того, что Батищево было запущено донельзя, Энгельгардт совсем не имел свободных средств, которые можно было бы вложить в хозяйство, после отставки у него иссякли все посторонние источники дохода, кроме этого полуразоренного поместья. И все-таки подавляющее большинство помещиков, оказавшихся в подобных условиях, наверняка прежде всего принялось бы налаживать привычную барскую жизнь: поднажали бы на старосту, изъяли бы кое-какие капиталы из имения, еще больше его разорив, но непременно завели бы необ-

ходимо многочисленную, по понятиям крепостного времени, прислугу, «приличный» выезд, «усовершенствовали» бы усадьбу и т. д. Собственно, именно этого ждали все окрестные помещики да и крестьяне от владельца Батищева, а он с нескрываемым удовольствием писал впоследствии о том, как решительно обманул подобные ожидания, поступив единственно рациональным образом: «перевел старосту в дом, поручил его жене готовить мне кушанье, взял для прислуги и работ молодого крестьянина, завел всего одну лошадь, стал разъезжать одиночкой, дома никакого не устраивал»... — т. е. сократил все непроизводительные расходы до минимума.

Весь этот, с барской точки зрения, «аскетизм» не только позволил высвободить средства для хозяйства, — он формировал самого хозяина, освобождая его от всего ненужного и лишнего, раскрепощая его для дела... С этой точки зрения, например, был вполне логичен отказ Энгельгардта от «господской», городской одежды, совершенно непригодной для человека, которому необходимо постоянно бывать в поле, «запречь лошадь, править лошадью, выйти на мороз». Сама деревенская, исполненная постоянных трудов и хлопот жизнь нарядила Энгельгардта во фланелевую рубаху навыпуск, в шаровары, заправленные в сапоги «черного товару», набросила на плечи неизменный крестьянский полушибок. Никакой позы в этом не было: надев такое платье, владелец Батищева буквально развязал себе руки. По тем же причинам и кабинет его напоминал «опрятную, крестьянскую избу»: бревенчатые стены, предельная простота и скромность обстановки... Но на большом столе при этом всегда лежали стопкой специальные книги, а на окнах стояли склянки с химическими реактивами.

Подготовившись таким образом к бою, Энгельгардт принял его без колебаний. С первых же лет своего пребывания в Батищеве он стремился вырваться из душившей его хозяйственной рутины: в имении на 450 десятин земли под пашней было 66 (1/7); на них в трехполье высевали рожь и овес; скот

был «навозной породы» — в общем, Батищево ничем не отличалось от подавляющего большинства хозяйств нечерноземной полосы. Обычными были и доходы, как правило, равные нулю; нередко хозяйство приносило прямой убыток. Средств для того, чтобы выбраться из этой пропасти, как уже сказано, не имелось; их приходилось изыскивать тут же, на месте.

Своеобразным рычагом, позволившим Энгельгардту перевернуть свое застывшее в запустении хозяйство, стал лен. Собственно, ни для кого не было секретом, что эта техническая культура приносит до 100 рублей валового дохода с десятины; следовательно, при правильной постановке дела может дать 50–60 рублей чистой прибыли. Но вот эта «правильная постановка дела»... Под лен приходилось поднимать запущенные участки земли — облоги; от работника при этом требовались прилежанье и сноровка, от орудий — добротность и надежность, от хозяина — постоянные хлопоты... Суeta сует! То ли дело «веками освященный» порядок: озимое поле — под рожь, яровое — под овес; запустил на истощенную землю дарового почти мужика-отработочника с его неизбывными Сохой Ивановной и лядящей Сивкой — и в ус не дуй!

Энгельгардта подобные соображения, естественно, не смущали. «Подлаживаться к льну» он начал с первого же года, отвел под него две десятины, над которыми трясся, как над малым ребенком, и, хотя посевы сильно побила земляная блоха, получил-таки прямой доход. На следующий год под лен было запущено уже четыре десятины и т. д. По мере того, как в хозяйстве появлялись деньги, Энгельгардт тут же пускал их в оборот: заводил хороших рабочих лошадей, железные плужки, стал нанимать батраков — т. е. переустраивал хозяйство в самых его основах. Правда, значительную часть работ, особенно по выделке льна, ему приходилось по-прежнему возлагать на плечи окрестных крестьян — хозяев и прежде всего хозяек, — мили лен бабы. Но, во-первых, эти работы,

как правило, производились осенью, по окончании страды, когда крестьянин был относительно свободен; во-вторых, Энгельгардт платил за эту работу деньги; причем деньги, по крестьянским меркам, немалые!.. Следовательно, и тут от льна была польза: он помогал, в какой-то мере, изжить жуткое, бесчеловечное противостояние помещика с мужиком.

И, может быть, самое главное, именно лен позволил Энгельгардту взять от своего хозяйства максимум возможного. Распахивая облоги, он вводил в хозяйственный оборот новые земли и все дальше уходил от рутинного трехполья, истощившего и без того небогатую почву. После льна на этих богатых питательными веществами землях отличные урожаи давала рожь; тем временем старопахотные земли отдыхали под травой, клевером, тимофеевкой на радость год от году растущему батищевскому стаду; следовательно, помимо молока, масла и проч., постоянно увеличивалось и количество удобрений, столь необходимых истощенной подзолистой почве. Хозяйство расширялось и богатело с каждым годом — на зависть и в пример сначала окрестным помещикам, а затем и всему поместному дворянству нечерноземной России.

Батищевскому имению и его хозяину можно было бы посвятить целый фолиант, причем, несмотря на суховатую, сугубо экономическую тематику, преувлекательный, ибо что может быть увлекательней рассказа о том, как человеческие замыслы в каждодневном упорном труде обретают плоть, становятся явью... Практически из ничего, исключительно за счет своих знаний, ума и энергии Энгельгардт сотворил образцовое хозяйство. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно было пересечь границы его владений, оставив за спиной царившее во всей округе пореформенное запустение: «С одной стороны пустошь, ничего не дающая, а с другой — вырубленная роща, разделанная под лядо, далее шел березовый лес, потом мы переехали ровок, видимо, расчищенный для покоса; поднявшись из него, мы ехали красивыми лощи-

нами между рощами и отдельными группами деревьев — дорога принимала вид парка... Всюду была заметна заботливая по отношению к покосу рука хозяина, повсюду также видно было, что не зря делались подчистка и что эстетические требования играли тоже роль... Великолепная рожь волновалась высокой стеной. Масса темно-серых построек придавала усадьбе очень обширный вид».

Подобные результаты, естественно, не могли не заинтересовать тех, кто печалился о помещичьем оскудении; во владелеце Батищева им виделся своего рода Колумб, проложивший поместному дворянству путь в Америку вожделенного благополучия. Так, в середине 1890-х годов консервативный публицист С. Ф. Шарапов восторженно писал: «После долгих трудов и усилий разрешен Энгельгардтом вопрос о наилучшей среднерусской системе хозяйства, пригодной для огромного пространства десяти или пятнадцати губерний... Он выяснил научные основы, связал ряд опытов в строгую науку, и эта наука стала азбукой среднерусского земледельца».

Итак, казалось, цель достигнута: создано образцовое хозяйство, найден путь из кризиса, Энгельгардт снова на вершине успеха. И странным диссонансом этому триумфу звучали лишь слова самого владельца Батищева: «Я устроил свое хозяйство прекрасно. Результатов достиг блестящих. Система хозяйства, если она не во всех частях у меня вполне проведена, то по крайней мере совершенно для меня ясна. И что же? Я вижу, что стоит мне не то что бросить хозяйство, а только заболеть, и все пойдет прахом — никто не будет знать, что делать, где что сеять. Это понимает и мой староста, и другие крестьяне. „Умрете — и ничего не будет, все прахом пойдет“, — говорит староста. „Кончится тем, что вы сдадите имение в аренду немцу“, — говорил мне один мужик. И действительно, умри я — все разрушится...».

Отчего же триумфатор был настроен так мрачно? Почему так пессимистически оценивал Энгельгардт будущее своего

цветущего и быстро прогрессирующего хозяйства? Ведь никаких объективных причин для этого как будто не было...

И в самом деле, тяжелое настроение Энгельгардта объяснялось не столько объективными, сколько субъективными обстоятельствами. Этот преобразователь, устроивший на своих нескольких сотнях десятин настоящую сельскохозяйственную революцию, никак не мог смириться с теми средствами, которые позволили ему добиться столь блестящих результатов. Агрономические и агротехнические достижения — культивация льна, переход от трехполья к многополью, введение новых орудий, улучшение скота, широкое использование удобрений, в том числе и искусственных — все это не могло не радовать Энгельгардта. Основа же всех этих успехов — батрацкое хозяйство — его от себя отвращала.

Подобное заявление может удивить читателя; у него уже, очевидно, сложился вполне определенный образ «батищевского пана» — умного, знающего, энергичного хозяина-помещика, человека, который в стремлении к поставленной цели решительно отмечает сантименты и не идущие к делу соображения. Во всяком случае, именно так оценивали Энгельгардта многие современники: влиятельный радикальный публицист Н. В. Шелгунов, например, поместил в журнале «Дело» статью, в которой без обиняков характеризовал нашего героя как паука-эксплуататора, умело сосущего соки из крестьян и батраков. Да и восторги С. Ф. Шарапова порождены были аналогичным восприятием батищевского хозяйства, только оценивал его консервативный публицист как раз с точки зрения «пауков-эксплуататоров»...

Насколько несправедливы были и хула эта и хвала, засвидетельствовал сам Энгельгардт — и на словах, и на деле. Прежде всего обратимся к тому, что писал и говорил этот необычайный человек. Так, например, в 1884 году, в частном письме он очень трогательно и предельно ясно выразил свое собственное отношение к «образцовому хозяйству»: «Эксплуата-

торское хозяйство, которое я веду в Батищеве, давно уже перестало меня интересовать. Когда я сел на хозяйство, то оно представляло для меня агрономический интерес, который поддерживал энергию и давал жизнь... Как ни велик, однако, был этот интерес, как ни интересовала меня научно-агрономическая сторона дела, — но все-таки меня всегда угнетала экономически-социальная сторона дела. Радость агронома всегда отравлялась скорбью человеческой. Радостно было смотреть на роскошный клевер, выросший на батищевских полях, но радость отравлялась, когда я видел мужика, обязавшегося скосить этот клевер за деньги, взятые зимою, когда у него не было хлеба. Я любовался на дойную корову, дающую по ведру молока, но не мог в то же время не думать о горькой судьбе доящей эту корову подойщицы». А во время беседы с А. И. Фаресовым, когда этот публицист, под впечатлением всего увиденного в Батищево, высказывал мысль, что, мол, хорошо бы «каждому из нас быть „маленьkim Энгельгардтом“, мелким хуторянином с батраками и добрыми к ним отношениями», гостеприимный хозяин буквально взорвался: «Что за вздор „маленький Энгельгардт“! Маленький эксплуататор!» И дальше хозяин Батищева излил обиду, очевидно, давно его томившую; у него были серьезные претензии к радикальной публицистике. Энгельгардт нимало не протестовал против характеристики его хозяйства как эксплуататорского, — во второй половине 1870-х годов он сам постоянно называл его «кулацким», но требовал в интересах дела полной ясности: «Надо было сказать, что при противоположности интересов мужицкого и барского хозяйств... даже Энгельгардт *вынужден вести кабальное хозяйство* (курсив мой. — А. Л.)... Вот как надо было написать обо мне, а то, вишь, батраки да сторож Савельич, убирающий мою комнату, смущают совесть петербургского журналиста!».

Железная необходимость заставляла «батищевского пана» действовать так, как он действовал. Но, подчиняясь ей в своих

хозяйственных делах, Энгельгардт, как видим, не принимал ее духовно и меньше всего мечтал о том, чтобы вся Россия пошла по его пути. Отпевая, с одной стороны, «бессмысленные и обреченные» помещичьи хозяйства, живущие обломками «золотой старины» — отрезками, отработками и т. д., он в то же время без малейшего сожаления писал: «У нас можно попальцам перечесть имения, в которых ведется обширное батрацкое хозяйство, с хорошей обработкой земли, хорошим скотоводством... Существование таких хозяйств совершенно дело случая». «Образцовое хозяйство» в Батищеве, доказывал Энгельгардт, может существовать только в качестве исключения: ведь основная рабочая сила в нем — безземельные батраки, которые могут стать массовым явлением только в случае повсеместного разорения крестьянства. С точки зрения Энгельгардта, это исход совершенно немыслимый. «В России княхта нет!» — убежденно писал он. И слава Богу, что нет! И быть не должно!..

Таким образом, вопрос об «образцовом хозяйстве» как прообразе русского пореформенного поместья, объявлялся закрытым самим его создателем. Вопреки лестным отзывам Шарапова «батищевский пан» совершенно не собирался усаживать поместное дворянство за «азбуку землевладельца». Напротив, он решительной рукойставил жирный крест на «благородном сословии» как на хозяйственной силе. Что же касается размышлений Энгельгардта о будущем сельского хозяйства в России, то они развивались в совершенно ином направлении.

## РАЗМЫШЛЯЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ

«Ясно, что у нас не может установиться остзейский порядок. Ясно, что у нас во главе должно стоять широко развитое крестьянское хозяйство, вообще хозяйство людей, самолично ра-

ботающих землю», — в этих строках, собственно, и суть, и итог размышлений Энгельгардта.

Любой мало-мальски знакомый с русской историей читатель вправе заметить, что в ту эпоху, когда определяющим явлением русской общественной мысли было народничество, подобная точка зрения никак не могла претендовать на оригинальность. Действительно, многие современники Энгельгардта не менее истово верили в светлое будущее именно крестьянской, мужицкой России. Более того, можно сказать, что и среди сторонников этого направления было великое множество людей, отлично знавших, *что* нужно делать во имя этого будущего.

Если попытаться — конечно, огрубленно и в самых общих чертах — сформулировать точку зрения, которая в 1870-х — начале 1880-х годов господствовала среди народников, то получится примерно следующее: крестьянин по духу своему — почти сложившийся социалист. Но многим прекрасным, устремленным в будущее чертам народного характера мешают раскрыться чисто внешние обстоятельства, хорошо знакомые нам уже по Янсону и прочим: малоземелье, обремененность платежами, засилье местной администрации и т. д. Если все эти препятствия устраниить, если создать для общины благоприятные условия бытия, то она даст мощный и беспрепятственный рост социалистическому строю.

Сейчас мы хорошо представляем, насколько все было сложнее... Конечно же, трудно переоценить значение общины в народной жизни: именно она помогла русскому крестьянству выстоять в неимоверно сложных исторических условиях, выстоять не только физически, но и нравственно, сохранив свой особый духовный облик. Но в то же время государство и помещики на протяжении нескольких веков приспосабливали общину к своим целям, используя ее для самой безжалостной эксплуатации мужицкой России; из-за этого многие черты общинной организации приобрели гипертрофированный,

искаженный характер, глубоко оскорблявший нравственное чувство труженика-земледельца: одно дело добровольная, от сердца идущая взаимопомощь (те же кусочки, например), другое — насильственно налагаемая круговая порука; одно дело общая поддержка своим трудом слабосильных и больных, и совсем другое — работа на помещика в страду, огулом, без всякого учета затраченных работником сил. Подобные черты в сознании крестьянина неразрывно связывались с насилием, с крепостным правом, и при первой возможности он стремился изгнать их из своей жизни. А ведь многие искренние защитники его интересов готовы были буквально молиться на эту сложную, противоречивую организацию труда и жизни, видели в ней «спасение народное» и мечтали об одном: сохранить ее во всей полноте и целостности.

Между тем нужно было не молиться, а разобраться, что в общине от Бога, что от лукавого: нужно было оторваться от бумаги, от теории, априорных суждений и прислушаться к самому заинтересованному лицу — мужику: сам-то он чего желает от своей жизни, как собирается ее устраивать?..

Мы видели уже, какsarкастически относился Энгельгардт к любым попыткам «бумажного» решения насущных практических вопросов. Великий реалист и в науке, и в жизни, он всегда стремился не насиливать действительность, подгоняя ее под свои убеждения, а исходить из нее; при этом мало кто из современников умел так чутко и внимательно наблюдать окружающее. Неудивительно, что именно он, пожалуй, первым в России решительно заявил: общину губят отнюдь не только внешние причины, многое истлевло и внутри нее... Вполне соглашаясь с общим для прогрессивной литературы того времени тезисом — крестьянство страдает от нехватки земли, выгонов, леса, от переизбытка платежей и т. д., — автор «Писем» отмечал: «...есть и еще причина бедности земледельцев — это разобщенность в их действиях. Эта разобщенность в действиях очень важна...». Семейные разделы, стремление

обособиться в хозяйственном отношении, *индивидуализм* крестьянина — обо всем этом Энгельгардт писал очень подробно и убедительно, обращая внимание читателей на то, что это отнюдь не эпизоды крестьянской жизни, а *тенденция*, которая усиливается с каждым годом, «так что многие работы, которые еще несколько лет тому назад исполнялись сообща, огульно целою деревнею, теперь делаются отдельно каждым двором».

Впоследствии все эти наблюдения автора «Писем из деревни» заслужили самую лестную оценку В. И. Ленина. Самого же Энгельгардта они отнюдь не радовали, ибо «дом, разделившийся в себе самом, не устоит». С одной стороны, он — правда, мельком — давал очень человечное и, на наш взгляд, весьма глубокое объяснение этому «разобщению крестьянскому». Так, говоря о семейных разделах, Энгельгардт обращал внимание на тот несомненный факт, что «у мещан, у купцов дележей гораздо меньше — там вся семья работает сообща: один брат дома торгует, другой по уезду ездит, третий в кабаке сидит, и все стремятся к одному — сорвать, надуть, облегчить». Может быть, в самом мужике есть что-то такое, что заставляет его предпочитать добрую скору худому миру? Может быть, земледельческий труд сродни творческому и по характеру своему требует от крестьянина большей независимости, заставляет его добиваться таких условий, чтобы между ним и хозяйством не было ничего лишнего, чтобы никто не мешал ему прислушиваться к тому, что велит земля-кормилица, и исполнять ее требования? «Не оттого ли мужик делится, не оттого ли стремится к отдельной самостоятельной жизни, что он более человек, более поэт, более идеалист?».

Но, как бы то ни было, на практике разделы, так же как и большинство других проявлений крестьянского индивидуализма, до добра не доводят... Чрезвычайно выразительно, буквально на пальцах показывал Энгельгардт, насколько его, средней руки помещика, положение выгоднее крестьянского:

у него одна печь топится, одна баба на всех работников еду готовит, один человек за скотиной смотрит — какая огромная экономия сил и средств по сравнению с деревней на несколько десятков дворов! Да и сама организация труда гораздо проще и рентабельней. «Мои батраки, конечно, работают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они работают артелью, то во многих случаях, например, при сбore сена, хлеба, молотьбе и т. п. сделают более, чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке на себя».

Энгельгардт писал совершенно определенно, что даже при теперешних неблагоприятных для мужика условиях — «при недостатке земли, при обременении ее огромными налогами, при крайне неэкономическом отношении к мужику начальников, заставляющих его бесполезно тратить массу сил, — многосемейный дом, в котором несколько молодцов-работников и хороший хозяин, до тех пор, пока он не разделился, пока все живут в союзе, пока работают сообща, все-таки пользуется известным благосостоянием и зажиточностью. Что же было бы, если бы вся деревня в союзе и сообща обрабатывала землю? Вопрос, с точки зрения самого автора, чисто риторический — ведь очевидно, что тогда — и только тогда — все проблемы русского хозяйства решены были бы окончательно и бесповоротно: помещики волей-неволей отказались бы от своих запустелых хозяйств, потому что, в первую очередь, за счет раздела, разобщенности и прочих несовершенств крестьянской жизни они и влекут свое жалкое существование; а крестьяне столь же неизбежно прибрали бы помещичью землю к рукам и завели бы на ней хозяйства не хуже батищевского...

Конечно, сослагательное наклонение придавало всем этим рассуждениям характер несколько отвлеченный и мечтательный; но Энгельгардт — и в этом его огромное преимущество перед великим множеством современных ему публицистов и писателей — был настоящий ученый и хозяин-практик, отлично понимавший, что из самых увлекательных фантазий не

выстроить избы-пятистенки, не то что «дворец с колоннами из алюминия и стекла». Он позволял себе предаваться мечтам лишь постольку, поскольку был уверен в том, что все они покоятся на совершенно реальном основании.

Да, считал Энгельгардт, хозяйственную разобщенность крестьянства необходимо преодолевать, но отнюдь не любыми средствами. Недаром ведь самые язвительные страницы «Писем» посвящены именно «благодеяниям сверху», на которые российская администрация была почти так же щедра по отношению к мужику, как и на тычки с подзатыльниками. Энгельгардт же любое насилие над крестьянством, совершающее пусты даже и с самой благой целью, считал не только возмутительным, но и нелепым, ибо оно все равно никогда не приводит к желаемым результатам. Так, например, «разделы вредны, но... всякие мероприятия для закрепления семейного союза были бы нелепы и так же невозможны, как невозможно Мишку заставить любить Фрузю, а не Авдоню».

Пусть дореформенные община и большая семья уходят в прошлое вместе с крепостным правом: они, очевидно, отжили свой век, их не удержишь... Но значит ли это, что трудовое крестьянство обречено на разложение, а вместе с тем и на безысходную нищету, на кабалу у помещиков и прочее? Иные, писал Энгельгардт, полагают, «что делать что-нибудь сообща противно духу крестьянства. Я с этим совершенно не согласен. Действительно, делать что-нибудь сообща, огульно, „как говорят крестьяне, делать так, что работу каждого нельзя учесть в отдельности, противно крестьянам... Но для работ на артельном начале, где работа делится и каждый получает вознаграждение за свою работу, крестьяне соединяются чрезвычайно легко и охотно. Кто из вас сумеет так хорошо соединиться, чтобы дать отпор нанимателю... кто сумеет так хорошо соединиться, чтобы устроить стол, общую квартиру?”».

Не принудительное равенство, а *свободная, разумная кооперация* — вот что должно лечь в основу новых крестьянских

сообществ. Энгельгардт буквально с упоением описывал одно из таких уже существующих и, отчасти, воплотивших в себе его идеалы, сообществ — граборскую\* артель: «Каюсь, что ужасно люблю наших граборов или, лучше сказать, граборские артели. В них есть что-то особенное: благородное, честное, разумное, и это что-то есть общее, присущее им, только как артельным граборам. Человек может быть мошенник, пьяница, злодей, кулак, подлец, как человек сам по себе, но как артельный грабор он честен, трезв, добросовестен, когда находится в артели», иначе нельзя — организация того требует; организация, которая позволяет всем работать «сообща, по силе и способности» и жить куда лучше, чем большинство окружающих крестьян. Но между тем, отмечал Энгельгардт, хотя граборские деревни и отличаются сравнительным благосостоянием, а все же и там «рядом с богачами есть множество голых бедняков,бросивших землю, нанимающихся в батраки... Причина этого в том, что и граборы, которые так замечательно устраивают свои рабочие артели, в хозяйственных своих делах действуют разъединенно, не могут, не пытаются, не думают даже об устройстве хозяйственных артелей для ведения хозяйства сообща».

Вот здесь и надо помочь: не заставить, не навязать, а именно помочь — разбудить то чувство общности, коллективизма, которое дремлет в глубине любой здоровой крестьянской природы, дать ему выбраться на свет божий из-под обломков крепостной старины, придать новые прогрессивные формы — в этом Энгельгардт видел главную задачу, которую поставил перед «умственными людьми», то есть интеллигенцией.

Что научить всему этому возможно, он нимало не сомневался. Сам автор «Писем» был чужд какой бы то ни было идеализации крестьянства. Он приводил массу материала, причем поданного, как правило, очень и очень выпукло, о невежестве

---

\* Грабор (*об.*) — землевладелец.

и косности крестьян, о массе предрассудков, разъедающих все стороны их и без того нелегкой жизни. И все же, поскольку речь заходит о мужицком хозяйстве, автор «Писем» решительно заявлял: «Мужик отлично понимает счет, отлично понимает все хозяйствственные расчеты, он — вовсе не простофиля». Да дураку в русской деревне и не выжить — он неизбежно вымрет в результате естественного отбора... «Каждый, — писал Энгельгардт, — сталкиваясь с серым народом, выносит впечатление о его несомненной сметливости и сообразительности».

Мужик сер, да не черт его ум съел! Если же крестьяне и относятся недоверчиво к хозяйственным экспериментам пореформенных помещиков, то недоверие их вполне оправданно: в подавляющем большинстве случаев эксперименты эти немногого стоят. В то же время Энгельгардт на своем собственном опыте убедился, что, «относясь недоверчиво к нововведениям, крестьяне, однако, внимательно следят за тем, что делается у помещика, и, если дело действительно идет, устанавливается прочно, то крестьяне очень хорошо оценивают выгодность того или другого нововведения и применяются, если это возможно по условиям их хозяйства» (курсив мой. — А. Л.). И тут они куда отзывчивее и понятливее «благородного сословия». «Все мои нововведения, — писал Энгельгардт, — не имели значения для помещичьего хозяйства, никто из помещиков ничего у меня не перенял». Зато крестьяне окрестных деревень переняли, по его словам, немало: «Мужики... приходят уже иногда просить для подъема земли под лен, железные бороны завелись у многих крестьян; во всей округе развели высокорослый лен от моих семян; рожь стали очищать и начинают понимать, что, когда посеешь костеръ, так костеръ и народится; телят заводских, которые родятся в то время, когда телятся коровы у крестьян, покупают у меня нарасхват, — своих режут, а моих выпаивают на племя. Об клевере и говорить нечего...». Вот для кого Энгельгардт готов был работать не покладая рук, вот кому готов он был пере-

дать все лучшее, что отличало его «образовое хозяйство», — если бы не вышеупомянутые «условия хозяйства» крестьянского, разбитого на нивки и полоски, разъединенного и потому обреченного на косность и нищету...

Но если можно научить крестьян сеять лен, если можно добиться того, чтобы они обрабатывали землю железным плугом, то почему же нельзя увлечь их новыми формами организации труда, которые, к тому же, так близки и понятны их натуре? Конечно, и здесь необходимо действовать не отвлеченными рассуждениями о преимуществах колLECTИВИЗМА, а живым примером. Сам Энгельгардт — помещик, владелец нескольких сотен десятин, т. е. человек в социальном и в хозяйственном отношении от крестьян бесконечно далекий, — был здесь совершенно бессилен. Максимум чего он мог добиться — и, к восторгу своему, добился-таки — это уважительного отношения к себе, как к человеку, *понимающему* хозяйство. Но Энгельгардт был уверен, что в России есть сила, способная помочь мужику в переустройстве его жизни. К ней, к этой силе и обращался он в своих «Письмах» с призывом: «Интеллигентный человек нужен земле, нужен мужику. Он нужен потому, что нужен свет для того, чтобы разогнать тьму. Великое дело предстоит интеллигентным людям. Земля ждет их, и место найдется для всех».

Сколько можно киснуть в канцеляриях и тратить на никому не нужную писанину, на «казенную службу» ту умственную энергию, которой так не хватает мужицкой России? Энгельгардт с удовлетворением пишет о том, что все больше и больше становится интеллигентных людей, которые, «окончив ученье, не хотят удовлетворяться обычною деятельностью — не хотят идти в чиновники. Люди, прошедшие в университет, бегут в Америку и нанимаются простыми работниками у американских плантаторов. Почему же думать, что не найдется людей, которые, научившись работать по-мужицки, станут соединяться в общины, брать в аренду имения и обрабаты-

вать их собственными руками при содействии того, что дает знание и казна».

Вот она — заветная, вожделенная мечта Энгельгардта! Если удастся соединить знания, накопленные интеллигенцией, с мужицкой силой, сметкой и навыками, если удастся слить все это воедино в новую хозяйственную форму, — будущее России будет обеспечено. Тогда земля медленно, но верно перейдет в руки земледельцев, и крестьянство заживет, наконец, по-человечески, тогда появятся на русских полях «и тра-восеяние, и косилки, и жатвенные машины, и симментальский скот»... Тогда и труды «батищевского пана» не пропадут даром — он со спокойной душой передаст все, что имеет, «интеллигентной деревне, работающей на артельном начале».

Конечно же, путь к земле, к новой жизни одним шагом не измеришь: если хочешь, чтобы мужик поверил в тебя, принял твою науку, писал Энгельгардт, нужно доказать ему, «что ты действительно не праздно болтающийся, а настоящий, способный работать умственный человек». А для этого прежде всего надо одолеть его, мужицкую науку — суровую науку земледельца. В одном из писем Энгельгардт призывал придать этому делу всероссийский характер — «устроить поблизости от университетских городов практические рабочие школы, где желающие могли бы обучаться земледельческим работам, т. е. могли бы учиться косить, пахать, вообще работать по-мужицки». А пока суд да дело, Энгельгардт готов был сам положить начало этому новому гражданскому эксперименту: он звал в Батищево всех, кто желал приобщиться к земле, к труду, к нелегкой мужицкой доле.

## АКАДЕМИЯ В БАТИЩЕВЕ

Нужно отметить, что в те времена, когда Энгельгардт выступал в печати со своим призывом, физический труд пользовал-

ся у интеллигенции большим уважением; необходимость его для любого нормального человека обосновывалась теоретически. Еще в 1870-х годах Н. К. Михайловский, один из самых авторитетных публицистов для радикальной интеллигенции второй половины XIX века, выдвинул свою знаменитую «формулу прогресса»: «Прогресс есть постепенное приближение к целости неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно лишь то, что уменьшает разнородность общества, увеличивая тем самым разнородность его отдельных частей». Иными словами, крестьянин, занятый исключительно физическим трудом, и интеллигент, живущий только «головной работой», — это несовершенные исходные человеческого развития; интеллигентный же земледелец, совмещающий в себе высокое умственное развитие с умением выполнять самую разнообразную физическую работу — своего рода идеал, это развитие венчающий. Соответственно, необходимость приобщения интеллигенции к физическому труду приобретала в глазах народнических идеологов не меньшую важность, чем просвещение крестьянства.

Таким образом, в призывах Энгельгардта не было ничего из ряда вон выходящего, они вполне отвечали духу времени. Но одно дело высказывать мудрые суждения и совсем другое указать пути для реального воплощения их в жизнь. Интеллигентной молодежи нелегко, да и не безопасно было менять свой социальный статус; стать мужиком в России — дело сложное, неведомое; одной теоретической убежденностью, одним желанием с места его не сдвинешь. В «Письмах» же из деревни, прогремевших на всю Россию, к этой молодежи обращался человек, уже показавший себя как великий практик, привыкший за каждое свое слово отвечать делом; и предлагал

он нечто вполне конкретное: приезжайте, учитесь, работайте... Естественно, подобный призыв должен был получить отклик.

Батищевская «Академия мужицкого труда», как совершенно серьезно и не без оснований называл ее Энгельгардт, начала действовать с середины 1870-х годов. Очевидно, первым ее учеником, которому на практике пришлось испытать, сколь нелегок мужицкий хлеб, был некий офицер, имевший боевые награды за поход в Среднюю Азию. Он произвел самое сильное впечатление на батищевского старосту Ивана, приглядывавшего за практикантами; впоследствии он частенько вспоминал о своем первом подопечном. Офицер отличался огромной физической силой, и когда его доставили на расчистку лядины — вырубать кусты, — то он принялся за работу с таким азартом, что напугал старосту: «Я боялся, что он топорище в порошок сотрет». Через день офицер сбил себе руки до кровавых мозолей и вынужден был бесславно покинуть Батищево...

Сам Энгельгардт начало «занятий» вел с 1877 года, когда в Батищеве появились сразу два «тонконогих», — прозвище, которое дали крестьяне одному из них, щеголявшему в узких брюках, и с легкой руки «ректора академии» удержавшееся за всеми практикантами; причем оба честно и вполне удовлетворительно проработали все лето. Один из них, Дубов (возможно, псевдоним), в следующем году опубликовал в «Отечественных записках» бесхитростный, но очень выразительный рассказ о своем пребывании в Батищеве — «Лето среди сельских работ», который, несомненно, очень поспособствовал притоку туда новых «тонконогих»: в 1879 году здесь работали уже 16 человек. Всего же за семь лет существования батищевской «академии» около 80 «тонконогих» попытались пройти курс ее нелегких наук.

Поначалу никакой ясности относительно положения практикантов в Батищеве, их размещения, условий жизни, назна-

чения на работы и т. д. не было, да и быть, очевидно, не могло. Похоже, что сам «батищевский пан» далеко не сразу уверовал в серьезность намерений тех, кто откликнулся на его призыв. Так, например, во время первой встречи с Дубовым, после долгого разговора Энгельгардт сделал ему несколько неожиданное предложение: если есть желание не работать, а «только смотреть», то он, хозяин, готов водить и показывать, «давая с большим удовольствием необходимые объяснения». Уже через год подобное «баловство» невозможно было даже и в принципе: как только стало ясно, что «движение тонконогих» носит не случайный характер, Энгельгардт, со свойственным ему стремлением к порядку, выработал четкую систему своих отношений с практикантами.

В основе ее лежало стремление дать почувствовать «тонконогим», что такая мужицкая жизнь, без всяких прикрас и послаблений. С 1878 года все свои ответы на письма с просьбою предоставить возможность поработать на земле — а их приходило множество — Энгельгардт выдерживал в строгом, деловом тоне, сквозь который, правда, почти всегда прорывалась обычная для него сердечность; в конце же обычно помещал своеобразный «циркуляр», содержащий сжатое изложение «правил жизни» для «тонконогих» в Батищеве: подчиняться всем распоряжениям старосты, работать все работы, на которые поставят, «наряду с наемными рабочими и столько же часов», помещаться со всеми рабочими в избе или в сарае, харчеваться в общей застольной, на общих основаниях (перечислялись возможные харчи: щи, каша, крупник, картофель — все на свином сале в скоромные дни и на конопляном масле в постные); если никаких рабочих навыков у новичка нет, первый месяц он работает даром, затем получает по три рубля; как выучится — заработка приравнивается к батрацкому; притом «тонконогий» должен сам содержать в порядке предоставленные ему орудия труда и отвечать за их сохранность; пьянство в Батищеве решительно не допускалось.

Этой линии — сразу заявить свою принципиальную позицию, как ушат холодной воды вылить, Энгельгардт придерживался очень последовательно. Когда А. П. Мертваго, один из его любимых учеников, сообщил о том, какой интерес среди петербургского студенчества вызвали его рассказы о работе в Батищеве, Энгельгардт тут же потребовал, чтобы на все вопросы об условиях жизни в имении он отвечал предельно жестко: тяжело, мол, — щи серые, помещение скверное, работать заставляют от зари до зари. На полуслутиливый же вопрос Фаресова: «И приняли бы вы меня в мужики?» — Энгельгардт совершило серьезно отвечал: «Да ведь я тогда буду барином... Я миловать не буду. Без зова не посмеете войти ко мне. Я ведь стакана чаю вам не предложу, если вы поступите ко мне в работники».

Позиция Энгельгардта в этом вопросе была предельно ясной и вполне оправданной. Он не щадил «тонконогих» работников точно так же, как не щадил и себя — «образцового хозяина». Эксперимент требовал чистоты, требовал отрешиться от всяких посторонних соображений и выложитьсь в начатом деле целиком и полностью. «Баловство работой, — писал Энгельгардт, — для меня просто невыносимо, и я никакой особенной пользы не вижу в том, что человек в каникулярное время побалуется работой». Нет уж, взялся за гуж — не говори, что не дож, — эту пословицу «батищевский пан» частенько повторял своим «тонконогим», требуя от них полной самоотдачи. Зато он и обещал немало: «Кто поработает у меня в мужиках, — говорил, — и выдержит экзамен, тому ведь нечего бояться в жизни... На десять рублей в месяц проживет и всем будет нужен».

Энгельгардт и здесь не избежал упреков в кулачестве и «эксплуатации молодежи». В связи с этим нужно совершенно определенно сказать, что в чисто хозяйственном отношении все это «предприятие» ничего, кроме убытков, «батищевскому пану» не приносило. В письме к Мертваго он очень убеди-

тельно, с цифрами в руках доказывал, что подавляющее большинство практикантов не оправдывают даже затраты на харчи; умелых же работников в Смоленской губернии вполне хватало и без них. Нет, писал Энгельгардт, и «тонконогие» в Батищево приезжают, и на работу их там берут «во имя идеи»; и во имя этой идеи он, хозяин, свыше головы загруженный делами, готов не только нести убытки, но и «переносить некоторые неудобства»: «Вы думаете, весело возиться с глупой полицией?»

А полиция и впрямь не обходила Батищево своим благосклонным вниманием: урядники здесь были частыми гостями, наведываясь и становой... В эпоху революционного подъема каждому полицейскому чину было лестно открыть заговор, а Энгельгардт со своими «тонконогими» подавал в этом отношении, особенно поначалу, большие надежды, которые к тому же постоянно подогревались доносами окрестных помещиков, священников и прочих доброхотов. Первое же появление «тонконогих» вызвало истерическое донесение соседней барыни, которая вопияла: «Приехали и работают!!!», подозревая в самом факте государственное преступление. Полиции «подобных безобразий», естественно, было мало, она, как писал сын Энгельгардта Николай, «ждала поступков». Поступки же были, хотя с полицейской точки зрения и весьма странные, но явно неподсудные: «работали от зари до зари, и только».

Тем не менее, присмотр за Батищевом был организован самым тщательным образом. Мертваго вспоминал, что когда он в Дорогобуже зашел к исправнику отметиться — как срочнообязанный, — тот, узнав о цели его поездки, меланхолически сообщил, что «туда» уже съехалось 13 человек молодых людей. Через некоторое время Батищево посетил урядник и с должностными извинениями «снял приметы» со всех «тонконогих», выяснив, что из тринадцати человек в Батищево прибыло два сероглазых блондина; остальные же — русокудрые с карими глазами; все приезжие были умеренного роста и каких-

либо характерных отметин не имели... Несмотря на всю анекдотичность подобного «сыска» для человека, дважды побывавшего в тюрьме и находившегося под гласным надзором полиции, ничего веселого в этой возне, конечно, не было. И не зря Салтыков-Щедрин, очень ценивший Энгельгардта, говорил Фаресову, который, находясь на нелегальном положении, собирался ехать в Батищево: «Не запутайтесь старика в какую-нибудь историю... Все ведь ездят к нему, а поберечь некому. Сам он бесстрашный и ничего не опасается...».

Энгельгардт всем своим поведением вполне оправдывал эту рекомендацию: постоянная угроза неприятностей — а они могли быть весьма серьезны, — новая высылка, например, в места, расположенные значительно восточнее дорогобужского уезда, не заставила его ни на йоту изменить свою линию поведения. Впрочем, очевидно, прав был и Мертваго, писавший «об этой стороне жизни»: «Ко всему этому привыкаешь; сначала, конечно, волнуешься, но когда это продолжается лет десять, то перестаешь обращать внимание в конце концов».

Вернемся, однако, к «тонконогим». Прибыв в Батищево, они сразу попадали в русло хорошо продуманного и тщательно разработанного «порядка труда и жизни». Новичков, которые, как правило, не имели никаких навыков в земледельческом труде, посыпали «на теплые воды» — так называл Энгельгардт самые простые, требовавшие лишь элементарных физических усилий работы. Чаще всего это была подчистка кустов на облоках — та самая подчистка, которая сгубила первого «тонконогого». По мере того как практикант пообыкал, присматривался, входил в ритм трудовой жизни, ему поручались и другие, более сложные работы. Было бы желание, «тонконогий» вполне мог пройти в Батищеве весь цикл «мужицких наук»: и пахоту, и косьбу, и молотьбу; поработать и в птичнике, и на скотном дворе.

Жили практиканты, как и было обещано, в специально отведенной для них избе; спали на лавках; харчевались в общей

застольной. К своим харчам, впрочем, «батищевский пан» был несправедлив: своей сытностью они славились на всю округу — таких щей да каши у себя дома крестьянин, как правило, не имел.

Лукавил Энгельгардт и тогда, когда пугал будущих «тонконогих» своей хозяйской суворостью и неприступностью: ничего подобного и в помине не было. К своим подопечным он относился точно так же, как некогда к студентам Земледельческого института: был требователен, внимательно наблюдал за работой, всегда готов был поддержать, помочь и советом, и делом — словом, делал все возможное для того, чтобы «тонконогий» как можно скорее почувствовал себя если и не «настоящим мужиком» (что, как выяснилось, дано было немногим), то хотя бы более или менее работоспособным человеком. И так же, как в лаборатории Земледельческого института, в батищевском имении постоянно была самая непринужденная обстановка; только шуметь и шутить здесь приходилось всего раз в неделю, по воскресеньям, когда все обитатели Батищева во главе с самим «паном» собирались на лужайке за самоваром; в будни же на шутки сил просто-напросто не хватало...

Кто только не перебывал в Батищеве за семь лет существования «академии»! Здесь работали «великороссы, малороссы, белорусы, немцы, евреи, петербуржцы, одесситы, сибиряки, кавказцы — одним словом, со всех концов России». Немало было и барышень (около 20 человек), причем «многие работали образцово». В то же время, хотя окрестные мужики называли практикантов «студентами» столь же охотно, как и «тонконогими», это совсем не соответствовало действительности: «тут были и чиновники, и военные, бросившие службу и искавшие новых условий самостоятельной жизни, землевладельцы, искавшие новых хозяйственных идей...». Конечно, попадались среди практикантов и люди случайные, но большинством действительно «руководила идея», стремление

быть полезным России и ясное сознание, что осуществить это возможно только в деревне, только став земледельцем; службу, как казенную, так и частную, «тонконогие» презирали; комфортное житье «за мужицкий счет» — ненавидели. Приехав с подобными мыслями и чувствами в Батищево, они еще больше укреплялись в них и под влиянием отлично организованных земледельческих работ, и вследствие умной ненавязчивой «пропаганды делом», которую вел среди них Энгельгардт. Для многих из своих «работников» «батищевский пан» стал учителем, идеологом, указывающим единственно верный жизненный путь.

Даже немногочисленные воспоминания и не очень обильная переписка дают нам возможность понять, как щедро батищевская «академия» вознаграждала своих выпускников за их старания. Прежде всего многие из них добивались того, зачем ехали. По словам самого Энгельгардта, успех в этом отношении превзошел все ожидания: «Очень немного было случаев, чтобы поступившие работали плохо, такие скоро уезжали. Достаточно было таких, которые работали превосходно, как заправские рабочие, всякие работы. Остальные работали хотя и удовлетворительно, но по слабосилию, непривычке, всякие работы исполнять не могли». По таблице, составленной сыном Энгельгардта, из 79 «тонконогих» 14 работали плохо, 51 удовлетворительно, 14 же лучших получили от Энгельгардта замечательные в своем роде дипломы, свидетельствовавшие, что такой-то, с такого-то по такое-то число «служил работником в селе Батищеве, ценою за 45 рублей в год, на моих, Энгельгардта, харчах и исполнял все полевые, домашние и на скотном дворе работы вполне хорошо, добросовестно, усердно. Сим свидетельствую, что имярек, обладая большой силой, смелостью, ловкостью, выносливостью, работая в течение года наравне с батраками из крестьян, вполне хорошо заучил все сельские работы. Он умеет разделывать землю, корчевать пни, расчищать ляда и облоги, пахать плугом, ко-

сой, скородить, косить, убирать сено и хлеб, молотить, резать и отделять скот, — словом, может исполнять все сельские работы и собственными руками, без помощи мужика, добывать свой хлеб. Дано в Батищеве такого-то числа с приложением герба моего печати. Подписано: А. Энгельгардт, доктор химии».

Но и те, кто прошел суровый искусств батищевского уменья без столь блестящих результатов, приезжали к Энгельгардту недаром: они воспринимали от него знание реальной деревенской жизни и уважение к мужику — кормильцу всей России, причем уважение отнюдь не платоническое, в отличие от многих современников, черпавших свои мысли и эмоции из беллетристики и журнальных статей. Мировоззрение «тонконогих» вырабатывалось за мужицкой сохой; оно дорого стоило... Вот как описывал Дубов свой первый опыт на пашне: «Лошади виляли во все стороны; когда нужно, насилиу остановишь, понукаешь — не трогаются; без кнута не ходят хорошо, а кнут путается в ногах, когда без того ходить неловко, махнешь кнутом — плуг выпустишь. Только что наладишь, поедешь шаг — опять что-нибудь случится: волоки плуг назад, а он все-таки 2–3 пуда весом. На двух оборотах устал страшно и потерял терпенье: такого испытания не ожидал. К тому же примешивалось сознание, что только портишь пашню и кому-нибудь придется перепахивать. Взбешен и сконфужен был страшно». Попробуй-ка после этого мужика не зауважать!

Главное же, что полученные навыки и общее настроение, царившее в Батищеве, подталкивали «тонконогих» вперед по избранному ими пути. Тот же Дубов, например, недаром заканчивал свой очерк размышлениями о собственном будущем: может, суждено ему стать «чиновником или купцом» и все увиденное и испытанное в батищевской «академии» так и останется эпизодом, пусть ярким, но не имеющим продолжения?.. Не верится. «Раз пожив в той среде, раз изведав те вещи, которые раньше были для меня совершенно закрыты, раз по-

няв их значение, не уживешься ни в какой *должности*. Потянет тебя в эту серую, неприглядную, но все-таки милую деревню, с ее молчаливыми обитателями, с их мелкими интересами...»

## ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

Именно на такой эффект своего «курса обучения» и рассчитывал ректор батищевской «академии». Освоение «тонконогими» мужицкого труда было в его глазах не самоцелью, а лишь первым шагом к созданию новых организационно-хозяйственных форм — «интеллигентных союзных деревень». Конечно, обязать всех «тонконогих» действовать в этом направлении Энгельгардт не мог, но мыслей своих он не скрывал и кое-кого ими заразил. Всего батищевскими «тонконогими» были совершены три попытки создать подобные поселения, и каждая из них в своем роде интересна и характерна.

Первые две попытки связаны с именем одного из лучших выпускников «академии» — диплом, процитированный выше, выписан как раз на его имя. Звали его Зот. С Энгельгардтом он сошелся очень близко, систему взглядов его усвоил полностью и при первой же возможности попытался воплотить ее в жизнь. Отказавшись от нескольких выгодных предложений — его пригласили управляющим в помещичье имение, причем сулили хорошее жалованье, — Зот нашел кредит на полторы тысячи рублей с тем, чтобы купить на эти деньги и наладить артельное хозяйство. Сам он был родом из Вятки, однако за землей двинулся в Уфимскую губернию — туда, где она наивно плодородна и относительно дешева. Энгельгардт, с которым Зот поддерживал самую интенсивную переписку, одобрял его намерения и давал хорошо продуманные советы: он рекомендовал, в частности, покупать земли для начала как можно меньше, оставив на руках свободный капитал, необхо-

димый для того, «чтобы эту землю поднять». После долгих попыток Зот приобрел по недорогой цене — за 330 рублей 20 десятин хорошей земли с домишком и хозяйственными постройками, в удобном месте — в полутора десятках верст от Уфы. Теперь со спокойной душой можно было приниматься за дело.

Надо сказать, что хотя среди вятской молодежи рассказы Зота о Батищеве и «батищевском пане» вызвали большой интерес, желающих принять участие в его «артельном предприятии» почти не нашлось. За ним под Уфу отправилось только одно большое семейство: четыре брата, старшему из которых, Семену, приятелю Зота, было за двадцать, а младшему всего восемь лет, две сестры и старуха мать. Весной 1878 года «интеллигентный поселок» «Красная горка» начал свое существование. Год прошел в хозяйственных хлопотах и дал неплохие результаты: хотя просо сильно побили мыши, а гречиху — мороз, но все прочее — полба, горох, картофель, репа — уродилось на славу. Главное же, плодородная башкирская земля дала «баснословный урожай ржи». Была получена, хоть и небольшая, прибыль; на руках еще оставались значительные средства, и Зот мечтал уже о расширении хозяйства, о прикупке земли.

И тут, казалось бы без всяких видимых причин, в «Красной горке» началась жуткая и совершенно безысходная склоку... Оказалось, что Зот ошибся в своих компаньонах, которым он в переписке с Энгельгардтом давал поначалу самые лестные характеристики («Семен — человек хороший, честный, гуманный, Елпидифор — атлет по сложению, задорный работник» и т. д.); оказалось, что все эти люди в «артельные мужики» совершенно не годятся. Пока полным ходом шли земледельческие работы, Зоту — трудяге и мастеру в своем деле — волей-неволей приходилось играть роль большака, т. е. главы большой крестьянской семьи. Однако семейство Семена мирилось с таким положением лишь по необходимости; обида же на Зота — за его авторитет, за его земледельче-

ские навыки — копилась беспрестанно; самолюбие, и без того очевидно больное, растравлялось непомерно. Прежде всего это касалось Семена, который буквально возненавидел своего ничего не подозревавшего товарища. Когда же настала зима, время вынужденного безделья, все эти темные чувства были выплеснуты на несчастного «тонконогого», как помои из ушата.

На следующий год положение стало еще хуже; оно усугублялось тем, что Зот, мечтавший об «артельном рае», в котором все — братья, оформил покупку земли на имя главы злокозненного семейства — Семена, чем тот не преминул воспользоваться: устроителя «интеллигентного поселка» просто-напросто выгнали; Зоту пришлось уйти в Уфу и работать там развозчиком пива... Правда, очень скоро Семен опамятаился и, сообразив, что без единственного дельного работника хозяйство развалится, пошел с изгнаником на мировую; но духовные силы Зота всей этой историей подорваны были под корень, и он думал уже не столько о том, как продолжить дело, сколько о том, как развязаться с ним.

Энгельгардт, трогательно радовавшийся первым успехам «Красной горки», был, конечно же, сильно уязвлен ее неожданным крахом. Однако ситуацию он сумел оценить очень быстро и, очевидно, вполне справедливо. «Что случилось, то должно было случиться рано или поздно, — писал он в утешение Зоту. — Чего же ожидать, если у людей индеферентизм к хозяйству, *небрежное отношение, неохота работать*». Сам Зот в одном из своих писем косвенно подтвердил правоту Энгельгардта, описав эпизод, хорошо поясняющий суть конфликта: один из братьев Семена — Алексей — взялся весной подработать: «возить лед с реки в городские подвалы, — не полюбилось: поработал дней пять и уехал домой — «артель, говорит, невзлюбила меня: на перед едешь — не ладно, позади едешь — не ладно, сваливаешь — не ладно. Мужики учили его артельной работе, потому «мы, говорят, два-три куска в сани бро-

сим, а он над одним думает». Мужики, как видим, оказались куда мудрей Зота, сразу же распознав «неартельного человека»: ведь никакая физическая сила не могла заменить уменья и, главное, желания работать сообща, подчинять свои интересы общим.

Пытаясь помочь делу, Энгельгардт весной 1880 года направил в «Красную горку» лучшего из бывших у него под рукой «тонконогих» — некоего Виктора, «с миссией вернуть Зота на старый, прямой путь, соединиться с ним и основать новый интеллигентный поселок». Виктор, добравшись до места назначения, в первом же письме дал яркую и жуткую картину «интеллигентного поселка», в котором продали и растоптали «артельную идею»: «...Подхожу к дому через невозможные овраги: маленький, невзрачный домик один-одинешенек, как рекрут на часах, к нему ни кола, ни двора; вместо забора еле заметная загородка... Ветер насквозь свищет, на дворе непролазная грязь. По двору разбросаны там и сям хозяйственные орудия на жертву непогоде... Низкая, грязная, настоящая деревенская изба... Все черно и грязно, нечесано, неумыто, грубо. Все это хуже мало-мальски зажиточного крестьянина... В лицах и обстановке нет и намека на интеллигентность, на всех лицах лежит какая-то черта апатии к окружающему и к друг другу, отношения грубые, безучастные... Все это произвело на меня такое подавляющее впечатление, какого, честное слово, я еще никогда не испытывал». Крестьяне в таких случаях говорят: «Земля осилила»...

Зота Виктор нашел в Уфе, куда тот удрал при первой возможности. «Понимали мы друг друга сразу. Все забытое или подавленное его некрасивою жизнью я возобновил, дополнил и разъяснил... В ту же ночь мы с ним спелись: бросить его хозяйство и направиться в Стерлитамак». С «Красной горкой» было покончено. В истории поселений «тонконогих» была перевернута первая печальная страница. Следующая, впрочем, оказалась не радостней.

История поселка под Стерлитамаком чрезвычайно коротка и малосодержательна. «Тонконогим» еще раз пришлось убедиться в том, что одно дело — овладеть мужицким трудом, научиться добросовестно пахать, косить и пр., и совсем другое — самим подымать хозяйство, к тому же подводя под него совершенно новые организационные формы. На этот раз дело не пошло с самого начала: место было выбрано неудачно и первые же трудности совершенно сломили поселенцев. Зот, очевидно, надорвался еще в «Красной горке», а Виктор «плакал от неудач», скрывался от них в Уфе, «в цивилизованное общество», и так досаждал Энгельгардту столь фантастическими планами на будущее, что у не терпевшего никакого «бальства» «батищевского пана» просто руки опускались. Он отвечал своему ученику горькими и разочарованными строками: «Я вас просто не узнаю, читаю и перечитываю ваши уфимские письма и не узнаю того Виктора, который писал мне: «Буду пытаться чем попало, акридами, буду валить дерево за деревом, корчевать пень за пнем... добьюсь своего или паду на месте». Просто не узнаю. Это не тот Виктор, которого я привык считать человеком дела, а какой-то мечтатель! Сидит в обществе благодушествующих барыnek и уносится с ними в мир фантазий, строит испанские замки! Люди дело делают, ксят, жнут, а он игрушками детскими занимается! Что же это такое? Предположение о покупке большого в 1000 десятин участка земли ценою тысяч в 20 на занятие у какого-нибудь благодетеля (да во имя чего же тут дать денег?), деньги для поселения каких-то еще не существующих тонконогих — разве это не фантазия, не мечта?».

По письмам Энгельгардта ясно видно, какие большие надежды возлагал он на тех, кто первыми попытались воплотить его мечту в жизнь, и как тяжко переживал их неудачи: «На вас и Виктора, — писал он Зоту, — обращены все глаза. Все ждут, как вы устроитесь на земле, как осуществите батищевские идеалы... Виктор пишет, что занятия ваши неопреде-

ленны, ждет весны и отрадного в будущем. Почему же не отрадно настоящее? Когда-то вы не так писали о вашем хозяйстве из-под Уфы! Я помню и вашу телочку, и вашего ленивого коня, и вашу радость, когда показались всходы, и вашу уборку сена, и вас — счастливого, продающего рожь... Как я тогда радовался, читая ваши письма, — думая, вот оно, настоящее-то... вот кому счастливо живется на Руси. Теперь не то: все неясно, смутно, неопределенно, вяло, безжизненно, — ваши письма не те, точно вы разочаровались».

Всегда предпочитавший горькую правду сладкой лжи, хозяин Батищева ясно видел: дело разваливается и его не спасти. И все-таки Энгельгардт до последнего пытался поддержать незадачливых учеников: очень деликатно он предлагал «тонконогим» последнее средство — перебраться в Батищево под присмотр и опеку своего наставника. «У меня земли много. Под Дедовом отлично было бы устроить хуторок — Новое Батищево. Вычистить, выкорчевать под Дедовом — что бы за хозяйство было, хлеба-то какие буйные пошли, клевера... Жить бы могли сначала в Батищеве, пока не разделется исподволь земля, работали бы да работали, прикопили бы деньжонок и устроились. По-моему, все это можно, не знаю, как по-вашему. Главное дело, что тут в Батищеве можно было бы устраиваться исподволь, не спеша, да и товарищи скорее бы нашлись. А я бы организационный план хозяйства составил — и вышло бы дело».

Однако уфимцы от этого заманчивого предложения отказались — очевидно, из самолюбия. Затем неожиданно умер Виктор, хозяйство распалось окончательно, а Зот навсегда исчез с батищевского горизонта...

Пришло время последней попытки, которую «тонконогие», как и хотелось Энгельгардту, предприняли в непосредственной близости от его хозяйства. Еще в 1882 году несколько недавних практикантов заарендовали земли небольшого поместья Буково, граничившего с Батищевом. Поднимать хо-

зяйство на этих совершенно запущенных, пустотных землях они начали небольшими силами. Так называемые «капитаны» — отставные военные, один из которых был «просто капитан», а другой — «дикий капитан», прозванный так «за мрачность характера, но в сущности человек добрейший» — участвовали в этом деле прежде всего деньгами, зимой, как правило, жили в Петербурге, т. е. интересы буровского поселка не поглощали их полностью. Главным же « заводилой» и основным работником в Бурове был «тонконогий» Иван. Впрочем, по первому году все члены поселка трудились не за страх, а за совесть. Отношения между ними толком определены еще не были, но это поначалу как будто никого на смущало — и менее всех Энгельгардта, заботливо опекавшего новое детище «тонконогих». «Община, деревня или артель, — отвечал он Мертваго, заинтересовавшемуся этими отношениями, — дело не в кличке; дело в том, что работают, и работают великолепно. Нужно дело делать, а не над «вопросами» мучиться...».

И впрямь, поначалу дело пошло совсем неплохо; не последнюю роль в этом сыграли постоянные заботы и поддержка, которые оказывал буровцам сам Энгельгардт — и разработкой организационного плана хозяйства, и конкретным советом, и, в случае необходимости, деньгами. К весне 1883 года в Бурове жило уже 12 человек, мужчин и женщин, а хозяйствственные результаты этого года были просто блестящими: превосходный урожай ржи, великорослый лен, сена в достатке... Энгельгардт уже и сам подумывал развязаться с «кулацким хозяйством» в Батищеве и вступить в «буровскую общину» полноправным членом.

Но дальше дела в Бурове пошли тем порядком, который, похоже, становился неизбежным для всех предприятий «тонконогих»: начались склоки, бесконечные конфликты, споры и раздоры между большаком и «семейством», ведущим и ведомыми. Только на сей раз зачинателем и главным героем склок стал сам большак — Иван, который заставил таки буровцев

«мучиться над вопросами»: «Кто главный?.. Он, Иван, — основной работник и организатор, или „капиталисты-капитаны“?..» Лицевая сторона конфликта имела, впрочем, идейный характер: Иван стоял за общинный принцип организации поселка, чтобы каждый жил трудами рук своих (имелся в виду, естественно, труд только физический); «капитаны» же — за артель, что давало им возможность искупать свои физические немощи деньгами, нанимая за себя рабочих. В то же время новые члены поселка жаловались, что «общинник» Иван всю организацию дела держит в своих руках, распоряжаясь совершенно единолично: «Отчетности и вообще письменности никакой. Деньги все у Ивана, который продает, покупает, меняет, и никто не знает, что есть. Хозяйством распоряжается Иван, и никто ничего не знает, что и как». Ну и, конечно, «при таком положении дел, — писал Энгельгардт устранившемуся от дел «капитану», — дружбы, даже простой приязни и доверия между членами нет. Нет даже равного распределения работ... В Букове происходит полное разложение, как в нравственном, так и в материальном отношениях, и я не вижу светлого будущего». Естественно, вставал вопрос: «Зачем нужно такое поселение? Кого и чему оно может научить своим примером?» Идея погибала на глазах... К весне 1884 года все члены поселка разбежались, остался только «победитель» Иван, «как Марий на развалинах Карфагена». «В сентябре 1884 года, — вспоминал Энгельгардт-младший, — приехал «капитан» и, приняв хозяйство у Ивана, завел батраков и повел его обычным путем. Иван тоже устал и разочаровался. Он ушел, и пучины русского моря поглотили его... Общины не стало».

Устал, наконец, и «батищевский пан»... Трагическая «уфимская история», развал буковского поселка, который произошел, несмотря на все усилия Энгельгардта спасти его, — все это должно было убедить богатыря, не знавшего доселе поражений, что есть подвиги, которые и ему не под силу. Если хозяин Батищева и не разочаровался до конца в своей мечте,

то волей-неволей ему пришлось убедиться в том, сколь труден путь, вступить на который он призывал своими «Письмами»... Привыкнув ставить перед собой реальные, достижимые цели, Энгельгардт охладел к своему грандиозному социально-хозяйственному эксперименту, который все более и более начинал походить на утопию. С 1883 года он перестает принимать в Батищеве «тонконогих»... Характерно последнее увлечение Энгельгардта: в конце жизни он с головой ушел в разработку вопроса об искусственных удобрениях, по-прежнему стремясь хоть как-нибудь — не мытьем, так катанием — ослабить узел, душивший русскую деревню.

Умер Энгельгардт в январе 1893 года и был похоронен в фамильном склепе неподалеку от родового имения Климово — все в той же Смоленской губернии. В последний путь его провожали лишь родные и близкие, — Россия к этому времени Энгельгардта уже почти забыла.

...А. И. Фаресов рассказывал о своей беседе с «сельским попиком», который, воздав владельцу Батищева обычную хвалу — «Голова! Одно слово: голова!», затем прибавил: «Одно в нем плохо: реку языком вылакать хочет...». Чем не эпитафия этому удивительному человеку, все свои знания и силы отдавшему поискам спасения мужика, деревни, России?

## ЭПИЛОГ. «КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ» И «ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ»

Итак, история рассказана: герой наш сошел со сцены, дело же его, грандиозное «батищевское дело», умерло, как мы видели, еще раньше. Нам остается лишь немного порассуждать и постараться ответить на неизбежные вопросы.

Был ли какой-нибудь исторический смысл в деятельности Энгельгардта? — вот, очевидно, главный из них. Отметим прежде всего, что хозяин Батищева оказался совершенно прав

в своих мрачных характеристиках современного ему сельского хозяйства России и в еще более мрачной оценке перспектив его развития. Ближайшие несколько десятилетий ясно показали, что тот путь, на который русская деревня была выведена в 1861 году, неотвратимо вел к оскудению помещиков, разорению и вырождению крестьянства, к тоске, мукам, голоду, дикому озлоблению — одним словом, к кризису и революции. Поскольку Энгельгардт, одним из первых в России осознавший весь ужас положения, не желал ни того ни другого, его поиски *иных путей* были, очевидно, вполне оправданы.

Конечно же, необходимо воздать должное этому человеку, — что мы и попытались сделать, — который с такой энергией и настойчивостью, презрев свой покой, и комфорт, и благосостояние, трудился на *общее* благо. Еще раз подчеркнем: именно на *общее* — мы видели, с какой легкостью Энгельгардт готов был отречься от «кулацкого хозяйства», в которое вложил столько сил; как мало волновало его собственное благополучие, равно как и благополучие тех немногих «образцовых хозяев» из помещичьей среды, которые могли воспринять его опыт. «Батищевский пан» был демократом до мозга костей, он всегда стремился к тому, чтобы его деятельность была максимально полезна России, т. е. ее народу.

Впрочем, чистота помыслов Энгельгардта, как и его блестящие способности и редкое упорство в достижении цели, едва ли могут вызвать сомнение. Но вот, обратившись к оценке результатов его деятельности, не окажемся ли мы в печальной необходимости повторить слова вышеупомянутого попика?.. Прежде всего отметим, что Энгельгардт, так глубоко осознавший проблемы пореформенной деревни, так хорошо уяснивший суть русского помещика и русского крестьянина, очевидно, не совсем отчетливо представлял себе тех, к кому он обращался со своими вдохновенными призывами. Сознавая самого себя российским интеллигентом, он, как нам кажется, склонен был переносить многие характерные черты

своей личности на всех «умственных людей». А между тем Энгельгардт во многих отношениях был скорее исключением, нежели правилом: его упорство и энергия, здоровый реализм и умение находить в окружающей действительности точку опоры для воплощения в жизнь своих идеалов — все эти качества отнюдь не входили в число добродетелей «образованного меньшинства». Слишком долго русской интеллигенции, не обделенной ни умом, ни душою, ни знаниями, пришлось существовать вне органической связи со своим народом, слишком долго пришлось ей вариться в собственном соку, питая ум отвлеченными теориями, мечтами, фантазиями...

Впрочем, нам едва ли имеет смысл вдаваться в пространные рассуждения общего характера в этом очерке, посвященном вполне конкретной теме. Сошлемся лишь на суждение знаменитого современника Энгельгардта, одного из столпов революционного народничества П. Л. Лаврова, который в своих «Исторических письмах» предельно ясно выразил *русскую* точку зрения на роль и значение интеллигенции — во всяком случае лучшей, передовой ее части: Лавров характеризовал ее как тонкий слой «критически мыслящих личностей» над неподвижной инертной массой, личностей, способных понять все несовершенство окружающего мира, взломать и разрушить устои, на которых оно поконится, и привести человечество в царство справедливости. «Исторические письма» интеллигенты-радикалы недаром зачитывали до дыр — это была их книга; и в последние десятилетия существования России они сделали все возможное и невозможное, чтобы оправдать эту лестную характеристику: шли в народ, пытаясь поднять его на немедленную социалистическую революцию, скрывались в подполье, где готовили теракты против наиболее опасных защитников устоев, строили баррикады, организовывали забастовки; те же, кому революционные подвиги были не под силу, фрондировали, пытаясь всеми доступными мирному обывателю способами выразить свое неприятие су-

ществующего порядка вещей. И, конечно же, эта деятельность основывалась на чрезвычайно развитой способности к критическому суждению, рефлексии, саморефлексии — все эти черты действительно были определяющими для психологического склада русского интеллигента.

...В начале 1880-х годов другой, не менее известный современник нашего героя Г. И. Успенский в своих очерках, может быть, впервые приоткрыл завесу «огромной тайны» русского крестьянства, позволяющей ему выдерживать все неисчислимые тяготы своего бытия, сохраняя при этом множество прекрасных черт ума и духа. «Народ, — писал Успенский, — который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой мощный и кроткий тип, покуда над ним царит «Власть земли», покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существованию». Очень последовательно и убедительно Успенский все стороны крестьянской жизни определял этой властью: «...У земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы не принадлежали земле. Он весь в кабале у этой травки зелененькой...» — т. е. весь был мужика, его семейные отношения, организация им земледельческих работ — все предопределено заранее, все подчинено этой власти. И бремя это легко... Земля забрала его в руки без остатка, всего целиком, но зато он *и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг... «Дождь на дворе — *должен* сидеть дома, ведро — *должен* идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвечая*, ничего сам *не придумывая*, человек живет, только слушаясь, и это ежеминутное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует жизнь, не имеющую, по-видимому, никакого результата (что выработано, то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе».

По словам Успенского, смысл в мужицкой жизни отыскать не сложнее, чем в природе: «Для чего растет вот этот дуб? Ка-

кая ему польза сто лет тянуть из земли соки?.. — Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том, что он *просто растет*, просто зеленеет, так, сам не зная зачем. То же самое и жизнь крестьянина-земледельца: вековечный труд» — в нем самом и беда, и радость, и наслаждение, и награда. Этим трудом определялась и вся крестьянская психология: мужик упорен, осторожен, консервативен — ему иначе нельзя, таким его вырастила земля, к велениям которой он привык чутко прислушиваться и выполнять их беспрекословно. А вот каково было идти под эту суровую власть «критически мыслящей личности»...

Сам по себе физический труд «умственных людей» испугать не мог, скорее наоборот: революционный отказ от своего социального статуса, резкая перемена условий жизни — все это было в их духе. Но еще в Батищеве некоторых, наиболее чутких «тонконогих» поражало то, насколько чуждой им оказалась обыденная работа земледельца. И дело здесь было отнюдь не в ее сложности; напротив, те, кому позволяли силы, усваивали необходимые навыки достаточно быстро. Но вот Мертваго вспоминал о своих безуспешных попытках *получить удовольствие* от косьбы, пахоты и т. д., то удовольствие, которое нетрудно было прочесть на лице любого батрака. Ничего у него не выходило, и «тонконогий» хорошо понимал почему: он никак не мог отдаваться этой монотонной, ритмичной работе целиком — все продолжал анализировать, рефлексировать, и было ему томительно и скучно.

Те же мучения продолжались и в застольной. Мертваго писал, что после трапезы легче легкого было отличить батрацкий стол от «интеллигентского»: на первом идеальная чистота, ни крошки не упало, ни капли не капнуло; на втором насорено, накрошено, недоедено... Мужики чинно, плотно и с запасом потребляли жирные щи да кашу; именно такая пища нужна была им *для работы*, прочее их не интересовало. «Тонконогие» же налегали на молоко и хлеб с сыром: пища у Эн-

гельгардта была сытной, доброкачественной, но не радовала вкусовыми ощущениями... «Кишкa у нас другая», — писал Мертваго. Тонка была кишкa...

Таким образом, психологическая несовместимость интеллигента с крестьянской жизнью оказывалась даже тогда, когда он просто работал, выполнял определенные указания, — т. е. жил за чужой спиной. Чем кончалась самостоятельная жизнь «тонконогих» на земле, мы видели. Уйти с головой в бессознательное, с его точки зрения, мужицкое существование, подчиниться суповой и чуждой ему власти земли «критически мыслящая личность» оказалась не в силах. Неудивительно, что в 1880-х годах «союзные деревни», по Энгельгардту, были вытеснены толстовскими общинами, в которых крестьянский труд стал чем-то вроде довеска к бесконечным спорам, само воспитанию и самоистязаниям.

Итак, мужицкой жизни интеллигенты «не сдюжили». Но ведь не из одних удач и побед складывается история и жизнь. Призывы Энгельгардта хороши были тем, что их легко было проверить на практике; и, конечно же, честь и хвала тем, кто взял на себя это неблагодарное дело, пошел в народ не с белыми руками, а натрудив их мужицкой работой, не с призывом к немедленному бунту, а со стремлением — пусть и наивным — помочь мужику обустроить получше его нелегкую жизнь.

И пусть результаты получились нерадостные — ведь должен же был кто-нибудь из «умственных людей» в конце концов на своем собственном хребте испытать, что такое крестьянское бытие, на своем опыте прочувствовать, как далеко разошлись в России народ и интеллигенция... Ведь и в науке неудачный эксперимент и эксперимент ненужный — понятия разные: неудача может породить поиск, открыть новые пути. Так и «батищевское дело» своим исходом заставляло по-новому взглянуть на вещи.

Приведем в пример все того же Мертваго — несомненно, самого дальшего из всех учеников Энгельгардта. Поняв еще в

Батищеве всю бесперспективность интеллигентских общин, этот помещик, имевший неплохое состояние, уехал во Францию, под Париж, целый год батрачил на тамошних всемирно известных огородников, постигал их тайны, а затем, вернувшись в Батищево, поднял это дело на небывалую для Смоленской губернии высоту, добился того, что крестьяне приходили к нему — посмотреть, поучиться... Не растворяться в крестьянстве, а стоять с ним рядом, превратив свои «интеллигентские слабости» в силу, использовав их в качестве *специалиста*: огородника, техника, скотовода, — таков был возможный путь. На нем, пожалуй, и мужику помочь было легче, и «разумная коопeração» становилась достижимее... Но это уже сюжет для другого очерка.

В заключение нам остается лишь повторить сентенцию, ставшую в последние годы общим местом: историю свою мы знаем неважно, многое в ней забыли. И, может быть, в наибольшей степени это относится к деятельности тех, кто стремился не сломать и уничтожить существующую систему, а изменить ее к лучшему напряженным духовным поиском, каждодневной упорной, утомительной, *черной* работой. Такие люди на Руси никогда не переводились, но вспоминаем мы о них редко. Забыт и их опыт — суровый опыт, рождавшийся из редких свершений и массы разочарований и неудач, — хотя именно в нем мы сейчас, может быть, больше всего и нуждаемся.

1989

# КОНЕЦ РЕФОРМАТОРА

## КАТАСТРОФА

В 1881 году первый весенний день пришелся на воскресенье. В Петербурге стояла ясная морозная погода. На центральных улицах города было людно; на Екатерининском же канале, в двух шагах от Невского, лишь изредка попадались случайные прохожие; здесь никто не жил, никто не вел торговлю, да и для прогулок эта часть канала представлялась не очень привлекательной: с одной стороны решетка набережной, с другой — высокий забор, угрюмые казенные здания... Именно здесь металышники «Народной воли» Рысаков и Гриневицкий перехватили царский выезд в этот день, вошедший в историю как день последней облавы на Государя Императора всея Руси Александра Николаевича...

Царская карета в окружении конвойных казаков показалась из-за угла в начале третьего; следом за ней — сани полицмейстера. На крутом повороте с Инженерной улицы кучер с трудом сдерживал лошадей, и они пошли шагом. Карета не успела еще набрать полный ход, как первый из металышников, Николай Рысаков, бросил под нее небольшой сверток. Раздался взрыв...

Царь с помощью полицмейстера выбрался из поврежденного экипажа; он был цел и невредим... Около кареты лежал в беспамятстве контуженный взрывом казак; рядомился и кричал от боли мальчик — случайный прохожий. Вокруг собралась толпа.

Царь подошел к Рысакову, схваченному сразу же после взрыва, задал ему несколько вопросов, а затем снова направился к экипажу. И тут пришел черед второго металышника, Гриневицкого...

Новый взрыв был страшен: он произошел среди окружавшей царя толпы, и эхом ему прозвучал вопль боли и ужаса. Дым, взметнувшись к небу комья снега, клочки обгоревшего платья — все это на несколько мгновений скрыло от глаз катастрофу... Когда же дым рассеялся, те, кто остался в живых, среди тел, лежавших на мостовой, увидели царя...

Александр сидел, откинувшись назад, прислонясь спиной к решетке канала; руками он упирался в мостовую. Шинель с царя сорвало взрывом, от нее остались лишь обгорелые окровавленные клочья. Александр тяжело дышал. Ноги его, обнаженные выше колен, были раздроблены, мясо висело на них кусками, струилась кровь... Полицмейстер, оглушенный взрывом, с трудом поднимаясь на ноги, услышал тихое: «Помоги». Бросился к царю. Александра окружили; кто-то подал царю платок, которым он закрыл искаженное от боли лицо... «Холодно, холодно...» — шептал царь.

Пока Александра несли к саням, он оставался в сознании; когда кто-то из окружающих предложил перенести царя в один из ближайших домов, у него еще хватило сил приказать: «Во дворец... Там — умереть...» Это были последние слова Александра.

Царь еще дышал, когда его привезли в Зимний. Врачам удалось остановить кровотечение из артерий, но изуродованный обескровленный царь был обречен: «Конечностей левой стопы совсем не было, обе берцовье кости до колен раздроблены, мягкие части, мускулы и связки изорваны и представляли бесформенную массу, выше колен до половины бедра несколько ран...». Через час с небольшим после взрыва на Екатерининском канале царь скончался.

## ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

А как прекрасно начиналось это царствование! Вступив на престол в тяжелейшее для России время, Александр, казалось, сумел вывести страну из застоя на единственно верный путь реформ. Это было тем более замечательно, что новый царь не имел ни способностей, ни склонностей к серьезным преобразованиям. Он не обладал ни глубоким умом, ни сильным характером; его политические воззрения целиком и полностью укладывались в узкие рамки официальной идеологии, провозглашавшей самодержавно-крепостнический строй единственным возможным для России. Будучи наследником престола, он искренне преклонялся перед отцом — императором Николаем, который все силы своей незаурядной натуры вкладывал в укрепление «устоев».

Но даже Николай, этот замечательный в своем роде человек, никогда не знавший сомнений, вынужден был в конце концов признать очевидное: бескомпромиссная борьба, которую он вел на протяжении всего своего царствования против «губительного духа перемен», привела Россию к развалу. Крымская война подвела печальный итог его тридцатилетнему правлению: техническая отсталость армии и флота, совершенно фантастическое казнокрадство, немощь бюрократических структур — все эти и многие другие пороки, скрытые раньше под покровом лжи и славословий, вышли теперь наружу. Николай умер, сломленный сознанием тщетности своих усилий; умер, успев сказать наследнику: «Сдаю тебе команду не в полном порядке...» Порядок предстояло наводить Александру...

Для того чтобы разобраться в происходящем и найти пути выхода из жестокого кризиса, новому царю прежде всего нужно было вырваться из тесноты и духоты собственного мировоззрения, возводившего незыблемость в идеал. Ему предстояло совершить этот духовный подвиг, не имея к тому никакой подготовки, без всякой поддержки со стороны: в окружении

Александра, унаследованном им от батюшки, невозможно было отыскать мудрых сановников-реформаторов. И тем не менее этот флегматичный, казавшийся многим недалеким человек сумел на какое-то время преодолеть себя, сумел осознать всю опасность создавшегося положения и разобраться в его причинах. Знаменитая речь, произнесенная Александром в марте 1856 года в Москве перед предводителями дворянства, несомненно, стоила царю не одной бессонной ночи. Главе верховной власти нужно было передумать и перечувствовать многое, прежде чем заявить во всеуслышание: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока его отменят снизу».

У Александра хватило сил и для того, чтобы от слов перейти к делу. В 1861 году в значительной степени благодаря его последовательности был устранен корень всех зол, терзавших Россию, — многовековое крепостное право, затем подготовлен и проведен целый комплекс реформ: судебная, земская и многие другие, открывавшие путь к созданию нового, более прогрессивного государственного устройства. Казалось, Россия выбирается из полосы длительного застоя и готова семимильными шагами устремиться вперед, в будущее...

Но великие реформы требуют великих сил — и физических, и духовных. Их не было у Александра. Как и многие слабые люди, он ждал от своих действий немедленных благих результатов. Между тем преобразования порождали массу новых проблем, которые, в свою очередь, требовали радикальных решений. Так, крестьянская реформа, при проведении которой власть всеми силами стремилась соблюсти интересы помещиков, подорвала-таки достаток и благополучие «благородного сословия», предопределив в то же время обнищание значительной массы крестьянства; новые учреждения, созданные судебной, земской, городской реформами, никак не вписывались в старый административно-бюрократический строй, вызывая у его представителей явное недовольство.

Путь реформ, на который так решительно вступил в начале своего царствования Александр, оказался воистину тернистым. Но, как выяснилось, свернуть в сторону — означало вообще потерять тропу под ногами. А что может быть страшнее российского бездорожья с его лесами дремучими, песками зыбучими, тревожным вороньим граем да болотными огнями, манящими в самую топь...

## «Отщепенцы»

По мере отказа от последовательных преобразований страны высшая бюрократия во главе с самим царем начала ощущать глухую, постоянно растущую угрозу и тому неустойчивому, парадоксальному государственному порядку, который возник в России в результате ее противоречивой политики, и своим собственным покою и безопасностью. Угроза эта исходила не от разрозненных крестьянских волнений, стихийно возникавших в стране в первые пореформенные годы, — с ними справились без особого труда и надолго. Не могла все-рьез пугать могущественную бюрократию и либеральная оппозиция, сложившаяся в это время в России. Ее представители так или иначе вписывались в существующую систему, подчиняясь закону, даже если считали его неправедным, и действовали в рамках дозволенного. Власть же все больше пугали люди, которые не хотели признавать вообще никаких рамок.

В 1866 году в Петербурге вышла книга с характерным названием «Отщепенцы», которая явилась своего рода воплощением этой отчужденности. Ее авторы, известные радикальные публицисты Н. В. Соколов и В. А. Зайцев, писали: «Есть люди, поклявшиеся жить свободно... Они не хотели смешаться с толпой и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима: они не могли долго терпеть ее,

расходились с обществом и отрещались от него... Я называю их „отщепенцами“.

<...> Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, мужественные ученые, которые проживают свою жизнь, отыскивая причины общественных зол и бедствий, проповедуя великую республику, блаженное социальное устройство, личную свободу, гражданскую солидарность, экономическую правду.

Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священное действие, защитить какое-нибудь знамя...

Отщепенцы — все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться общей доле...».

Вся эта книга была, по сути, компиляцией из работ европейских мыслителей и публицистов: в частности, вышеприведенные строки заимствованы авторами из памфлета французского радикала Ж. Валлеса. Но именно у русского интеллигентного читателя они должны были вызвать особенно сильные чувства. Ведь в этих строках сжато и ясно формулировалось то, что ему, читателю радикальной публицистики, на протяжении целого десятилетия внушали «властители дум» — сначала Чернышевский, затем Писарев, чуть позже Бакунин, Лавров, Ткачев; внушали как идеал, более того, как единственно честный, единственно праведный образ жизни. Не идти на компромиссы, не сотрудничать с властью, не входить в систему обыденных служебных и бытовых отношений, *не преобразовывать существующее* путем повседневной «рутинной» деятельности, а быть его насмерть, разрушать беспощадно во имя светлого будущего: «блаженного социального устройства, личной свободы, гражданской солидарности» и прочее и прочее...

Тот же В. А. Зайцев прекрасно сформулировал главный принцип «новой нравственности», исповедуемой «отщепенцами»: «Провозгласим нетерпимость!». Наверное, «отщепен-

цы» — явление закономерное для самых разных времен и народов, более того, необходимое как нечто сверхординарное, будоражащее мысли и чувства, не дающее закоснеть в ленивой неподвижности. Но не дай бог «отщепенцам» из исключения превратиться в правило, стать определяющей силой... Нечто подобное и произошло в пореформенной России, придав неизъяснимо трагический характер и ее истории в целом, и судьбам самой интеллигенции. В перспективе у «отщепенцев» было глухое подполье, террор, убийство царя-освободителя — отчаянная, беспощадная и бесплодная по сути борьба.

## Противостояние

Противостояние власти и «отщепенцев» возникло сразу же после отмены крепостного права. Возмущение массовыми экзекуциями при подавлении крестьянских волнений, возникших в процессе проведения крестьянской реформы, настоящий шок, вызванный полицейскими репрессиями против студентов во время беспорядков в Петербургском и особенно Московском университетах, — эти тяжелые чувства, испытанные интеллигенцией в начале 1860-х, очень быстро заставили ее наиболее радикальных представителей забыть о всех надеждах, возлагавшихся на Александра и его сановников. С лета 1861 года в интеллигентской среде возникают кружки, готовые к нелегальной деятельности; в столицах начинают распространяться прокламации, содержащие самую резкую критику власти и призывы передать дело преобразования страны в руки «общественности»; в конце 1861 года появляется «Земля и воля» — первая революционная организация пореформенной России. И хотя она никакими серьезными действиями себя не проявила, начало радикализации «образованного меньшинства» было положено: «отщепенцы» ушли в подполье — началась необъявленная война...

В 1860-х годах русское «отщепенство» пережило очень яркий и выразительный, хотя и несколько сумбурный период революционного самоопределения. На этом пути «беспокойным людям» пришлось миновать немало крутых поворотов и глухих тупиков. Им суждено было пройти через «все отрицающий» и все разрушающий нигилизм; из их лагеря 4 апреля 1866 года раздался первый выстрел в царя, тогда ужаснувший многих. (Именно по поводу покушения Дмитрия Каракозова Герцен писал: «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами».) В их среде вырос и сформировался Сергей Нечаев — человек, готовый освобождать Россию любыми средствами, вплоть до массовых убийств, поджогов и пьяных бунтов... Но к началу 1870-х годов все это было пережито и, казалось, изжито бесповоротно; революционное движение в России постепенно обрело цельность, стройность, ясное сознание целей и вполне конкретную программу действий. Выстраданное в тяжких умственных и душевных муках *народничество* стало идеологией подавляющего большинства революционно настроенных «отщепенцев».

Не вдаваясь в подробный разбор этого ярчайшего явления в истории русского общества, отмечу только, что при всех ошибках и иллюзиях, заставлявших видеть в черной крестьянской избе прообраз завещанного Чернышевским «алюминьевого дворца с мраморными колоннами», народничество было движением потенциально здоровым и в самом себе содержало возможность выбраться из рокового подполья: искреннее стремление опираться на народ, жить его интересами, прежде всего улучшить его положение — все это,казалось бы, должно было привести к решительной переоценке ценностей. И в самом деле, сокрушительные неудачи хождения в народ 1874 года с призывами к немедленному восстанию, а затем, в середине 1870-х, к «перманентной» революционной пропаганде заставили народников всерьез задуматься о том, что нужно в действительности возлюбленному ими крестьян-

ству. Но в поддержку их революционных устремлений выступила... власть.

## ПОСЕЕШЬ ВЕТЕР

В самом деле переустройства России власть все больше и больше внимания обращала на совершенствование охранительных органов. Уже в 1862 году были реорганизованы обветшавшие структуры «явной» полиции, в 1867-м — аналогичная операция проведена и с органами политического сыска: в губернских городах образовывались губернские полицейские управления и жандармские наблюдательные пункты. На службу полицейскому надзору были поставлены и новорожденные органы управления пореформенного крестьянства: сельским старостам, сотским и десятским вменялись в обязанность шпионство и доносы — и на своих односельчан, и, прежде всего, на «посторонних», то есть на образованных людей, по тем или иным причинам появлявшихся в деревне. А в городе те же обязанности были вменены дворникам... Паутина политического надзора в «освобожденной» России стала куда более частой, чем в суровые николаевские времена.

Отлавливая «потрясателей основ», власть затем судила их, и был тот суд иногда скорый, нередко — затяжной, но почти всегда — неправый и немилостивый... Судебные уставы 1864 года, в которых были заложены самые прогрессивные и демократические принципы — полная гласность судопроизводства, несменяемость — а значит, независимость — следователей и судей, институты адвокатуры и присяжных заседателей, состязательность судебного процесса, — казалось бы, должны были умерять произвол власти. Не тут-то было... Как только к тому представлялся повод, власть с поразительной легкостью стала нарушать ею же введенные законы.

С 1871 года расследование политических дел перешло из рук следователей к жандармам; рассмотрение же этих дел, как правило, стало производиться не в суде присяжных, а в специально создаваемых судилищах, основным из которых с 1871 года стало так называемое Особое Присутствие Правительствующего Сената (ОППС). Именно через ОППС прошли знаменитые «массовые» процессы, связанные с народнической пропагандой, — процессы «пятидесяти», «ста девяноста трех»; именно ему в речи подсудимого Ипполита Мышкина была дана убийственная и во многом справедливая характеристика, которая ставила ОППС ниже дома терпимости: «Там женщины из-за нужды торгуют своим телом, здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью»...

В середине 1870-х годов смертные приговоры еще не практиковались, но общий дух политических процессов был таков, что из всех возможных мер наказания подсудимые почти всегда приговаривались к наиболее жестоким.

Распространена была и так называемая административная ссылка. Хотя опять-таки из контекста судебных уставов следовало, что все политические дела должны решаться только по суду, на практике выходило иное: с 1871 года жандармские и полицейские офицеры на местах получили право не только арестовывать подозреваемых в совершении преступлений против власти, но и определять любому из них в качестве исправительной меры ссылку в места весьма отдаленные... Для осуществления этой меры на практике нужно было, правда, испросить через «особое совещание» министра юстиции и шефа жандармов «высочайшее соизволение», то есть согласие царя, которое, как правило, давалось почти автоматически.

Поначалу бессудной ссылке подвергались десятки, затем сотни, а к концу 1870-х счет пошел уже на тысячи... В административную ссылку обычно шли те, кого вообще невозможно было отдать под суд за отсутствием каких бы то ни было дока-

зательств вины; в эту ссылку попадали по анонимным доносам, по ничем не обоснованным указаниям власть имущих — за неосторожно сказанное слово, за строптивый характер и просто «подозрительное» поведение. Нередко этой мерой «исправляли» судебные приговоры: так, из девяноста человек, оправданных по процессу ста девяноста трех, восемьдесят были тут же высланы административным порядком. Надо ли говорить, что подобная политика вызывала соответствующую реакцию среди тех, против кого она была направлена.

## ТЕРРОР

«Отщепенцы» взялись за оружие... В январе 1878 года Вера Засулич в Петербурге стреляла в градоначальника Трепова, подвергшего телесному наказанию политического заключенного; в феврале в Киеве совершено неудачное покушение на товарища прокурора Котляревского; в мае убит глава Одесского жандармского управления Гейкинг. Борьба явно вступала в новую фазу.

Характерно, что не только сами революционеры, но и значительная часть общества восприняла эти первые, единичные террористические акты как справедливое возмездие наиболее ретивым исполнителям карательных «предначертаний власти». В столице после покушения на Трепова в ходу было такое четверостишие:

Грянул выстрел-отомститель,  
Опустился Божий бич —  
И упал градоправитель,  
Как подстреленная дичь.

Присяжные же, суду которых в качестве редкого исключения было доверено дело Засулич, оправдали подсудимую по

всем пунктам, то есть публично одобрили стрельбу по градоначальнику.

Чем-то вроде «бича Божия» считал себя, очевидно, и Сергей Кравчинский, который в августе того же года, через день после казни народника Ковальского, заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева — среди бела дня, в самом центре Петербурга, на многолюдной площади перед Михайловским дворцом. Брошюра, написанная им в обоснование убийства, так и называлась: «Смерть за смерть».

«Тerror созревал в долгие годы бесправия» — это замечание В. Г. Короленко как нельзя лучше определяет главную причину тех страшных кровавых событий, которые потрясли Россию на рубеже 1870-х–1880-х годов.

2 апреля 1879 года горькую чашу смертного ужаса пришлось испить самому царю: этот уже пожилой человек вынужден был несколько долгих минут бежать по Дворцовой площади, подобно зайцу бросаясь из стороны в сторону, чтобы уберечься от пули, — за ним, стреляя на ходу, гнался террорист... Из пяти выстрелов, произведенных Александром Соловьевым, ни один не попал в цель; пострадала лишь царская шинель. Но каково было это пережить! А самое главное — как теперь было жить дальше? Как управлять Россией?

Первые террористические акты застали власть врасплох. С грехом пополам справляясь с идеалистами, бродившими по деревням в поисках мифического мужика, «революционера по преимуществу», охранительные органы дрогнули при столкновении с противником, готовым отвечать на удар ударом. Всеподданнейший доклад преемника убитого Мезенцева, генерала Селиверстова, где должны были быть предложены конкретные меры по борьбе с террористами, звучал как вопль отчаяния. Оказывалось, что органы политического сыска, еще недавно казавшиеся всемогущими, ничего не знают о тех, кто выступил против власти с оружием в руках, и, более того, узнать почти не надеются. Полную неосведомлен-

ность в делах и планах подполья Селиверстов оправдывал ссылкой на авторитетное мнение своего заместителя, начальника III отделения Шульца, утверждавшего, что «агентов-сыщиков и вообще агентов в России невозможно найти»... Все, что мог предложить генерал, — это меры, так сказать, тотального характера: слежку за всеми приезжающими в Петербург и выезжающими из оного, опросы всех столичных дворников о подозрительных лицах, повальные обыски и аресты этих подозрительных.

И хотя очевидно было, что подобным образом бороться с индивидуальным террором столь же разумно, как рыбачьей сетью ловить в поле змей, власть в конце концов пошла именно по этому пути, очень быстро добравшись до чрезвычайного положения. 5 апреля 1879 года, через три дня после покушения Соловьева, в царском указе правительствуемому сенату было заявлено о необходимости «прибегнуть к исключительным мерам»: Россия в своей европейской части расчленялась на шесть временных генерал-губернаторств; лица, стоявшие во главе их, получали совершенно небывалые и невозможные в цивилизованном государстве полномочия: в полную зависимость от них попадали местные учреждения, учебные заведения, почта, телеграф — словом, *все*, а главное — личное достоинство, свобода и даже жизнь местных обывателей, поскольку генерал-губернатор мог любого из них своей властью не только засадить на неопределенный срок в кутузку, но и предать военному суду, от которого пощады ждать не приходилось.

Все эти действия власти производили жуткое впечатление. Сеть «исключительных мер» захватывала огромную массу случайных людей и среди них лишь очень немногих деятелей, действительно прикоснувшихся к подполью. В результате генерал-губернаторские подвиги ожесточили все общество, а революционный террор тем временем обретал свою идеологию и организационные формы, становился все более серьезной силой.

Во второй половине июня 1879 года в одной из рощ на окраине Воронежа собрались члены «Земли и воли» — новой организации со старым названием, созданной народниками еще в 1876 году с целью объединить разрозненные силы подполья. Вопрос о причинах постоянных неудач их настойчивой пропагандистской деятельности в деревне был, несомненно, главным, определяющим для землевольцев. И вот на съезде впервые со всей очевидностью выяснилось, что многие лидеры подполья решили для себя этот вопрос безоговорочно: нужен террор.

Ход рассуждений тех, кто требовал перейти к новым формам борьбы, был ясен и по-своему логичен. Прежде чем вести широкую социалистическую пропаганду, необходимо добиться принципиальных перемен в государственном строе России, «дотянуть» страну до конституции, оттеснив от власти бюрократов. При этом, поскольку в массах «отщепенцы» никакой поддержки так и не нашли, им приходилось рассчитывать только на самих себя. Единственное же действительно радикальное средство, с помощью которого они могли нанести серьезный удар по правящей бюрократии, было очевидно — террор. Из средства самозащиты террор превращался в главное орудие борьбы.

При всем том у сторонников борьбы за политические преобразования оказалось немало оппонентов, самым энергичным из которых был Г. В. Плеханов. Никакие конституции, по их мнению, не могли улучшить бедственного положения народных масс; террор же лишь отвлекал от главного дела — подготовки крестьянской революции. Споры между «деревенщиками» и «политиками-террористами» изначально были резкими и по сути непримиримыми. Правда, в Воронеже путем взаимных уступок удалось достичь компромисса, но это был худой мир; не прошло и двух месяцев, как противники перешли к доброй ссоре. «Земля и воля» распалась на две са-

мостоятельные организации. Одна из них — «Черный передел» — так незаметно и сошла на нет, лишний раз доказав своими неудачами, что у революционной пропаганды в деревне нет перспектив; зато другая — террористическая «Народная воля» — оставила по себе долгую память.

## ВЕЛИКАЯ ПАНИКА

Осенью 1879 года в уездном городе Александровске Екатеринославской губернии появился новый обыватель — купец Черемисов, прибывший сюда с супругой с целью основать в сем граде кожевенный заводик. Купец в короткий срок очаровал новых сограждан широтой натуры и веселым покладистым характером: дружился с ними, пил, кутил, не забывая, впрочем, и о делах: на отведенный ему для завода участок земли, находившийся рядом с железной дорогой, потихоньку свозили строительные материалы, там постоянно копошилось несколько пришлых, но уже примелькавшихся горожанам рабочих. И вдруг в одночасье все они — и супруги Черемисовы, и их рабочие — бесследно исчезли из города.

Через некоторое время, благодаря откровенным показаниям одного из случайно арестованных революционеров, выяснилось, что в Александровске «Народная воля» провела первое из череды неудавшихся покушений на царя. Под именем купца Черемисова скрывался один из главных вдохновителей и организаторов террора Андрей Желябов, роль его супруги играла Анна Якимова, рабочие тоже были свои — сочувствующие. В строительных материалах террористы привезли динамит и под путями заложили мину. 18 ноября они предприняли попытку взорвать царский поезд, следовавший из Севастополя, — Желябов лично замкнул гальванической батареей контакты проводников, идущих от заряда. Но мина не сработала.

Если об этом покушении власть узнала задним числом, то следующее, совершенное буквально на другой день, прогремело на всю Россию. Что не удалось в Александровске, сладилось под Москвой. Здесь под железнодорожное полотно террористы подложили мину, и 19 ноября поезд, в котором, по их расчетам, должен был находиться царь, пошел под откос. Оказалось, однако, что Александр проследовал раньше, в подорванном же поезде ехала царская свита... Тем не менее впечатление от этого дерзкого, оставшегося безнаказанным покушения (террористы и здесь, как и в Александровске, вовремя скрылись) было огромное.

После этого Александр получил передышку на несколько месяцев. Но 5 февраля 1880 года взрыв прогремел уже непосредственно в царской резиденции — Зимнем дворце. Александр, ожидавший прибытия знатного гостя, принца Гессенского, только что успел выйти ему навстречу, как зал, где членов императорского дома ожидал накрытый стол, был потрясен страшным грохотом, пол вздыбился и осел, вылетели оконные стекла... Взрыв пришел из подвального помещения и основной силой своей ударил все же не по приемному залу, а по находившемуся над ним караульному помещению — пострадали несшие караул солдаты Финляндского полка, среди них были убитые и раненые.

Расследование показало, что этот страшной силы взрыв был подготовлен и произведен агентом «Народной воли» Степаном Халтуриным, который с сентября 1879 года работал во дворце столяром-краснодеревщиком и, понемножку принося туда динамит, складывал его в подвале, с тем чтобы, выбрав удобный момент, уничтожить Александра, а по возможности и всю царскую семью. Арестовать Халтурина не удалось.

Так действовала «Народная воля». Ядро этой организации — так называемый Исполнительный комитет — состояло из людей в высшей степени незаурядных: талантливых,

умных, волевых. Александр Михайлов, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, поразительные женщины «Народной воли» Фигнер, Перовская, Гельфман — все они и многие другие делали честь российскому «отщепенству». Им впервые удалось создать организацию, казалось, невозможную для этих неприкаянных людей: максимально дисциплинированную, строго соблюдавшую правила конспирации, проникнутую духом согласия. Слившись в ней воедино, эти люди превратились в огромную силу, которую и посвятили «святому делу» — убийству старика в генеральском мундире, старика, которого по праву называли освободителем.

Поразительное это было время: казалось, вся Россия замерла, словно в ступоре, в полной неподвижности, следя как завороженная за беспощадной схваткой самодержавной власти с несколькими десятками загнанных в подполье «отщепенцев».

## КОНЕЦ ВЕНЧАЕТ ДЕЛО

9 февраля 1880 года Александр объявил о создании Верховной распорядительной комиссии, глава которой получал, по сути, диктаторские полномочия. Идея создания подобного органа вышла из самых консервативных кругов, стремившихся собрать полицейские, карательные силы в один кулак и, используя все возможные средства, вплоть до самых исключительных, раздавить революционное движение. Однако во главе комиссии царь поставил человека, и мысли, и действия которого не вписывались в эту погромную программу.

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, талантливый военачальник и незаурядный администратор, был плоть от плоти той либеральной бюрократии, которая, сыграв немаловажную роль в деле подготовки и проведения в жизнь «великих

реформ», затем в годы реакционного безвременья была почти начисто вытравлена из высших сфер. Лорис-Меликов твердо держался того убеждения, что единственное спасение для России — это вернуться на путь постепенных, последовательных преобразований, проводимых твердой рукой сверху, с высоты престола. Недаром в обществе, где очень скоро ощутили, насколько не похож новый глава правительства, обладавший исключительной властью, на своих предшественников, его восприняли как «бархатного диктатора».

Лорис немедленно провел в жизнь ряд конкретных мер, несколько смягчавших произвол, царивший в России, и предложил Александру свой проект «конституции», по которому в подготовке новых реформ должны были участвовать не только чиновники, но и представители земства и выборные от городов. Эти действия вызывали благожелательный отклик в обществе, заметно сгладив недовольство внутренней политической власти.

На подполье диктатор произвел совершенно иное впечатление: его программа ни в коей мере не удовлетворяла народовольцев. Свое отношение к Лорису они никак нельзя лучше выразили в названии одной из статей подпольной прессы: «Лисий хвост, волчья пасть»... Действительно, идти на компромисс с революционерами диктатор не собирался. Лорис повел с ними совершенно беспощадную борьбу, которая к тому же была организована теперь значительно лучше.

Реформированный Лорисом сыск очень скоро показал волчьи клыки. Отчасти благодаря возросшему профессионализму «сыскарей», отчасти из-за целого ряда трагических случайностей исполнительный комитет «Народной воли» понес в это время тяжелые, невосполнимые потери: были арестованы его подлинные лидеры А. Михайлов, Желябов, Тригони, Колодкевич, Баранников. Окончательный разгром народовольцев был, казалось, не за горами.

Утром 1 марта 1881 года царь выразил желание созвать через несколько дней Совет министров для обсуждения проекта о «привлечении местных деятелей к совещательному участию в изготовлении центральными учреждениями законопроектов по тем вопросам, которые признаны будут подлежащими ныне разрешению в видах развития и усовершенствования высочайше предначертанных преобразований». Поскольку проект этот был полностью одобрен Александром, положительный результат обсуждения не вызывал сомнений. Утром 1 марта петербургский градоначальник генерал Фролов, собрав у себя на квартире полицейское начальство — здесь, кстати, находился и полицмейстер Дворжецкий, которому через некоторое время предстояло сопровождать царя в его воскресной поездке на развод войск, сообщил им, «что главные деятели анархистов Тригони и Желябов арестованы и только остается захватить еще двух-трех человек, чтобы окончить дело борьбы с крамолою...». Диктатор, казалось, мог праздновать успех всех своих начинаний...

Утром того же дня народовольцы — и немногие оставшиеся на свободе «старики», и зеленая, необстрелянная молодежь — заняли свои, заранее распределенные места. Воскресный маршрут царя был изучен ими до тонкости. Михаил Фроленко отправился на Малую Садовую, в арендованную террористами лавку сыров, из которой был сделан подкоп на улицу, — в случае проезда царя он должен был привести в действие заложенное там взрывное устройство. Софья Перовская, руководившая четырьмя металлистами, перекрыла царскому экипажу все остальные пути. Напрягая последние силы, исполнительный комитет сделал все, чтобы не дать в этот день царю ни одного шанса на спасение.

И вот свершилось... «Тяжелый кошмар, — вспоминала Фигнер, — на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылок, на-

силия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников — все искупила эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России».

Сейчас эти строки читать тяжело и горько — ясно ощущаешь, сколь глубоко было то роковое подполье, которое поглотило столько сил, столько талантов, столько жизней... Отдавшись целиком террору, посвятив себя одной «великой цели» — убийству царя, народовольцы совершенно утратили чувство реальности. Их безоглядная и беспощадная борьба с властью постепенно приобретала иррациональный характер: она во все большей степени велась под диктовку не разума, а одного из самых разрушительных чувств, которые владеют человеком, — ненависти. Наверное, именно это помогло исполнительному комитету — трем десяткам человек — добиться невозможного: внушить верхам ощущение кризиса, заставить их пойти на уступки... Но та же причина привела в конце концов и к катастрофе на Екатерининском канале, последствия которой ни в коей мере не соответствовали радужным мечтам террористов: их ждали еще более жуткие, нежели прежде, «ужасы тюрьмы и ссылки»; Россия же обрекалась на многолетнюю полосу реакции. И все-таки, наверное, не в этом был самый страшный итог эпохи Александра II, эпохи радужных надежд и безнадежных разочарований.

## К ПРОПАСТИ

Еще не прия в себя от шока, вызванного 1 марта, власть поспешила организовать следствие, судебный процесс и как их естественный и неизбежный результат — смертную казнь всех причастных к убийству на Екатерининском канале. С чисто

практической стороны все эти процедуры были не слишком сложными; с моральной — они не вызывали у представителей власти ни малейших сомнений. Единственный в своем роде призыв Владимира Соловьева к новому царю — разорвать порочный «кровавый круг», встать выше мести, выше борьбы, ближе к Христу — был воспринят сыном убитого, Александром III, как проявление психопатии.

Противостоящая сторона отвечала власти взаимным чувством такой же силы. Вот любопытнейшие строки из «Истории моего современника» В. Г. Короленко — одного из тех работников, которые на протяжении всей своей жизни, без надрыва и истерик, в меру своих сил и способностей пытались сделать Россию более культурной, более цивилизованной страной. Короленко вспоминал, как, узнав о смерти Александра, в ссылке, «среди пустынных и холодных берегов Лены», он начал сочинять поэму в прозе: «Александр II, молодой, одушевленный освободительными планами, и Желябов, его убийца, смотрят с далекой высоты на свою холодную родину и беседуют о трагедии, обратившей их лучшие стремления друг против друга. Когда-то одна правда, хоть в разное время, светила им обоим, но она затерялась во мгле и туманах. И две тени говорят о том, как разыскать ее...».

Подобная позиция для представителя радикального лагеря, для ссыльного, причем сосланного явно несправедливо, — совершенно уникальна; очевидно, что автор подобных строк органически не способен был стать «отщепенцем». Тем более характерно их продолжение: «Это было очень наивно, и поэма кончилась примечанием какого-то революционера, которому поэма автора, умершего в далекой ссылке, попадает в руки: „Господи боже, какой дикий бред! А ведь когда-то наш товарищ был с очень трезвым умом...“».

Как безжалостно стравила эпоха две силы, которым, казалось бы, сам Бог велел стремиться к максимальному взаимо-

пониманию! И, свернув с пути преобразований, с единственного пути, на котором власть и интеллигенция могли найти общий язык, Россия и впрямь двинулась в бездорожье. Изуродованный труп царя был первым страшным предупреждением о том, к какой пропасти она бредет, — предостережением, которого почти никто из ратоборцев двух противостоящих лагерей не принял на свой счет.

1991

# МИСТИФИКАТОРЫ ОТ ОХРАНЫ

## ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ

1 марта 1881 года «Народная воля» завершила свою беспощадную травлю Государя Императора всея Руси, которую вела более полутора лет. Изувеченный, обескровленный Александр II скончался в Зимнем, оставив своих приближенных в смятении.

«Высшие сферы» были охвачены паникой. В эти весенние дни многим представлялось, что убийство царя чревато смутой, крушением монархии, полной победой кровожадных революционеров. Подобные настроения подогревались с двух сторон.

С одной, самое сильное впечатление производило поведение революционеров — и тех, кто был арестован в связи с убийством царя, и тех, кто остался на свободе. Один из руководителей «Народной воли», Андрей Желябов, совершенно не заботясь о своей собственной части, на допросах очень последовательно развивал мысль, наводившую на правительство уныние и ужас: «...ежели с восшествием на престол е. и. в. Государя Императора Александра Александровича ожидания партии не исполняются и она встретит такое же противодействие, то не остановится и в будущем прибегать к таким же покушениям против него». Свою же речь на процессе первомартовцев лидер «Народной воли» построил таким образом, чтобы внушить власти впечатление о чрезвычайной мощи подполья, в деятельности которого акции, подобные взрывам на Екатерининском канале, — лишь один из рядовых эпизодов...

В том же духе было выдержано и письмо исполнительного комитета «Народной воли» преемнику убитого царя, Александру III, отпечатанное и распространенное через десять дней после убийства... Оно пророчило жуткое будущее России, «если только политика правительства не изменится». Революционное движение, предсказывали авторы письма, «должно расти, увеличиваться, факты террористического порядка повторяться все более обостренно; революционная организация будет выдвигать на место истребляемых групп все более совершенные, крепкие формы... Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение завершит этот процесс разрушения старого порядка». Новому царю, Александру III, буде он пожелает избежать всех этих ужасов, предлагалась в форме ультиматума конкретная программа уступок: общая амнистия; созыв «представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни»; немедленное введение свободы слова, печати и т. п., чтобы «выборы происходили в обстановке политической свободы».

И правительство вынуждено было относиться ко всем этим угрозам и предостережениям с полной серьезностью. Казалось бы, его могла успокоить почти полная бездейственность народовольцев, которые, как теперь нам известно, «исчерпали свои силы 1-м марта». Но здесь своеобразную помощь революционерам оказали их самые заклятые враги.

В замечательной драматической трилогии А. В. Сухово-Кобылина, наряду со многими прочими выразительными персонами, выведен Иван Антонович Расплюев — мелкий, совершенно беззастенчивый жулик, который после многих превратностей судьбы «сочинил карьеру по полицейской линии», пробившись в квартальные надзоратели. Но фортуна повернулась к Расплюеву лицом лишь после того, как в его квартале по одному казусному делу учинено было следствие, ведь «следователь может всякого, кто он ни будь, взять и посадить в

секрет!» Вот когда эта ошеломляющая возможность стала явью, тогда и начались «веселые расплюевские дни»!

На казусных дела в России привыкли строить карьеру и должностные лица позначительнее квартального; дела же более «казусного», нежели убийство Государя Императора, и представить себе было невозможно... Сразу после 1-го марта выяснилось, что в высших сферах есть свои расплюевы, без зазрения совести готовые использовать «всеобщую панику» в собственных интересах.

Самый яркий пример тому являл новый петербургский градоначальник генерал-майор Н. М. Баранов, на которого была возложена задача искоренить крамолу в столице и окрестностях. И он поистине не щадил своих сил... 15 марта К. П. Победоносцев, воспитатель молодого царя и один из главных его советников, с глубоким сочувствием писал в частном письме: «Баранов явился, едва держась на ногах. Со времени назначения он еще не отдыхал ни днем, ни ночью». Ну, еще бы, ведь ночью «у него происходит главная работа», а завтра, 16 марта, по предсказанию градоначальника, «будет страшный день...». Проникнув в замыслы крамольников, Баранов живописал своему собеседнику жуткую картину: «Готовится покушение на государя и на принца прусского в четырех местах по дороге: в одном месте, на Невском, собираются люди, переодетые извозчиками, с тем, чтобы открыть перекрестно выстрелы. У него в руках был план всех предположенных действий». В заключение бравый градоначальник сообщил собеседнику: «...Из 48 человек, которые должны действовать, 19 у меня в руках. Сейчас еду делать аресты... В эту ночь, — закончил он свой рассказ, — что еще открою, неизвестно».

«Открытый» в самом деле предстояло еще великое множество — одно страшнее другого... Так, начав, во искушение петербургских обывателей, кампанию по окапыванию столичных дворцов, Баранов сразу же достиг своей цели: во рву у Зимнего обнаружил и перерезал «17 (!) проволок от мин...»

И такой умный, осторожный и недоверчивый человек, как Победоносцев, не только безропотно слушал всю эту ахинею, но и по мере сил своих распространял барабанское вранье в высших придворных и бюрократических кругах! Другой же могущественный вдохновитель реакции, М. Н. Катков, издатель «Московских ведомостей» — самой популярной газеты в России, опинаясь на это вранье, раздувал всевозможные страхи и ужасы среди читающей публики. Он, кстати, в личном письме к петербургскому градоначальнику удостоверял свою крепкую веру в его, барабановскую, «политическую честность» — вопрос же, насколько адресату присуща обыкновенная житейская честность, Каткова нимало не волновал.

Совершенно очевидно, что лидеры реакции поддерживали и, более того, всеми средствами подогревали сверхъестественные барабановские фантазии не столько из-за искренней своей веры в их истинность, сколько потому, что им было выгодно нагнетать атмосферу. Ведь чем сильнее было чувство страха, охватившее верхи в эти трагические мартовские дни, тем уверенней чувствовали себя реакционеры в своей борьбе за «спасение России». А спасать ее приходилось не только от кровожадных революционеров, но и от «коварных либералов»: от тех немногих людей в окружении убитого царя, которые пытались бороться на два фронта — противостоять революционному подполью и сдерживать реакцию. Главной мишенью «спасителей» был всесильный в последние месяцы правления Александра II «бархатный диктатор» М. Т. Лорис-Меликов, пытавшийся провести в России некое подобие конституционной реформы. Доставалось и младшему брату убитого, вел. кн. Константину Николаевичу, признанному лидеру либеральной бюрократии.

В этой борьбе реакционеры и сами не гнушались расплюевскими методами. Так, например, тот же Победоносцев в своей переписке с Е. Ф. Тютчевой 1 марта горько скорбит об Александре III: «Боже, как жаль юного государя! Жаль, как бед-

ного, больного, ошельмованного ребенка». 3 марта он обстоятельно объясняет свои чувства тем, что царю и России «опасность грозит отовсюду» — приходится ждать не только «беды от разбойников», но и «беды от сродник, беды от лжебратии»; а 6 марта уже сообщает о весьма характерном плане, предложенном им царю во избежание всех этих бед: »...объявить Петербург на военном положении, *переменить людей* и затем оставить Петербург, это проклятое место, покуда очистится, и уехать в Москву, если нельзя еще дальше».

Свои тяжелые чувства и грандиозные планы Победоносцев, помимо всего прочего, обосновывал совсем уж откровенными ссылками на «общественное мнение» такого типа: «Вчера один из простых людей прибежал ко мне со словами: «Ради Бога, скажите государю, что прежде всего надо выслать отсюда Константина...» С нескрываемым удовольствием цитировал он «энергично написанное письмо», полученное Александром III от некоего анонима из Седлецкой губернии: «Злые подлые люди хотят, чтобы и *твое правление было слабо*, чтобы рука твоя была для них так же милостива, добра и снисходительна. Как и отца твоего, подучают простодушных людей трубить о великих будто бы делах, совершенных в правлении отца твоего, а сами втихомолку, под звуки сладкой песенки *усыпляют правительство твое, подготавлиают для всех орудия смерти*» и т. д., и т. п.

Победоносцев отнюдь не был исключением. Ощущение опасности, которой грозил террор, вполне оправданное мартовскими событиями, постоянно раздувалось определенными лицами в публицистике и переписке, частных беседах и официальных выступлениях до такой степени, что приобретало характер поистине космический. Лидеры реакции легкими штрихами рисовали смутную, но, может быть, именно поэтому очень впечатляющую картину всеобъемлющего заговора, нити которого тянулись из подполья в «петербургские бельэтажи» — к высшим сановникам либерального направления.

Лорис-Меликова шельмовали совершенно открыто. Зачем ему было обрекать на смерть царя, от которого зависело все его чиновничье благополучие; каким образом «попустительство нигилистам» сочеталось в его политике с безжалостными, проводившимися у всех на глазах репрессиями против них — противники Лорис-Меликова не затрудняли себя поисками ответов на эти и многие другие вопросы. Тем ведь и славны «веселые расплюевские дни», что самые дикие обвинения принимаются во время оно на веру без всяких доказательств; «либеральные» же рассуждения о логике, доводах рассудка и т. п. напрочь заглушаются молодецким посвистом и кличем: «Бей супостата!».

В эти дни головы шли кругом у обывателей самых разных рангов... «В умах петербуржцев чепуха, — писал современник, — в сердцах смятение и подлый страх. Начинают говорить о том, что с нигилистами не справишься и что действительно уже лучше будет по-ихнему, пусть дадут конституцию». Самый главный, венценосный петербуржец Александр III в конце марта бежал из столицы в Гатчину, напуганный советами Победоносцева каждый вечер перед сном тщательно осматривать свои покой: не спрятался ли «нигилист» за занавескою, не залез ли под кровать... Аромат «всеобщей паники» достиг и зарубежья: политический руководитель Германии Бисмарк, внимательно следивший за развитием событий у своих ближайших соседей, повелел в это время, чтобы ему дважды в день сообщали телеграфом о положении дел в Петербурге: «Если я не получу очередной телеграммы, то буду считать, что телеграф больше не работает». Другими словами, «железный канцлер» вполне допускал и такую возможность...

Наверное, только в подобной атмосфере, насыщенной враньем, паническим страхом и бессильной злобой, могло возникнуть такое удивительное, ни на что не похожее сообщество «благонамеренных крамольников», как «Священная дружина».

## «ЛОБОТРЯСЫ» ВОЛНУЮТСЯ

Инициативу создания этой удивительной организации, очевидно, не без оснований приписывал себе С. Ю. Витте — впоследствии видный государственный деятель, а в начале 1880-х — молодой, энергичный железнодорожный администратор с хорошими связями «на самом верху»: его дядя, консервативный публицист Р. А. Фадеев, был вхож в высшие придворные и бюрократические круги. Именно ему Витте и адресовал письмо, написанное под свежим впечатлением от убийства царя, в котором, как он сам признавал впоследствии, «чувство преобладало над разумом».

Витте писал о том, что официальные органы политического сыска показали свою полную неспособность противостоять подполью; он призывал во имя спасения существующего строя начать борьбу с «анархистами», используя их же оружие: «...Нужно составить такое сообщество из людей безусловно порядочных, которые всякий раз, когда со стороны анархистов делается какое-нибудь покушение или подготовка к покушению на государя, отвечали бы в отношении анархистов тем же самым, т. е. так же предательски и так же изменнически их убивали бы».

В тех кругах, где вращался Фадеев, письмо его племянника встретило теплый прием: для подобного «сообщества безусловно порядочных людей» здесь уже была подготовлена обильно унавоженная почва. Вышеупомянутый Баранов для облегчения своей неусыпной деятельности в самом начале марта исходатайствовал разрешение на создание «Временного совета при спб. Градоначальнике из выборных от всего столичного населения» — в основном из чиновничьей, сановной среды. Современники, полные воспоминаний о недавних конституционных проектах правительства, с горькой иронией окрестили это весьма нелепое «выборное» учреждение «баранным парламентом». Деятельность сего органа была кратко-

временной и носила совершенно анекдотический характер. Однако именно внутри него, наряду с комиссиями, члены которых посвятили свои силы борьбе с подкопами или созданию артели дворников, возникла и весьма перспективная комиссия «для организации при особе его величества охранительной стражи». Она сразу же приобрела самостоятельное значение, собрав в свой состав немало «порядочных людей» — в основном из числа аристократической золотой молодежи, хотя здесь были и почтенные люди со славным бюрократическим прошлым, как правило, по сыскной части... При этом новоявленные охранители отнюдь не собирались встать на страже у трона, нести караульную службу и тем ограничиться; они лелеяли смутные, но куда более грандиозные планы. Предложению Витте, которое вполне отвечало их устремлениям, сразу был дан ход. «...Письмо твое, — ответствовал племяннику Фадеев, — будет в руках государя. Вероятно, проект твой осуществится самым тайным образом, средства будут даны и организация, если до нее дойдет, свяжется с верховной властью в лице Воронцова-Дашкова» — того самого И. И. Воронцова-Дашкова, который стоял во главе вышеназванной комиссии «бараньего парламента».

Так оно, в общем, и получилось — по-дядюшкиному: и до организации «дошло», и средства были даны щедрою рукой<sup>1</sup>. По слухам, ходившим среди заинтересованных лиц, помимо 2-х или 3-х миллионов доброхотных даяний, собранных среди великосветских и прочих охранителей, новоявленному негласному сообществу — называвшемуся сперва «Добровольной охраной», а потом, все чаще, «Священной дружиной», иногда — «Святой» или «Белой лигой» — было предоставлено около 20 миллионов рублей, сэкономленных при пересмотре смет министерства двора. И, судя по грандиозным окладам, которые устанавливали сами себе функционеры «Дружины», по той легкости, с какой они раздавали наградные, прогонные, квартирные и пр., эти слухи имели под собой основание...

Прав был Фадеев и относительно «тайного образа», которым предполагалось осуществить все замыслы его племянника. Каждый «новообретенный брат», вступивши в организацию, должен был связать себя жутковатой присягой, содержащей клятву в верности «на Пресвятом кресте и Евангелии» не только собственной жизнью и честью, но и жизнью своих родителей, жены и детей... После этого его знакомили с инструкцией, одним из основных требований которой было соблюдение строжайшей конспирации. Все «братья» делились по старшинству на различные степени; причем низшие обязаны были полным и безоговорочным подчинением высшим. По своему внутреннему строению организация представляла собою пирамиду из «пятерок»: каждую «пятерку» низшего ранга возглавлял «старший», который в то же время входил в «пятерку» более высокого уровня и т. д., вплоть до руководящих органов «Дружины». При этом была разработана сложная система организации и учета «братьев» по степеням и номерам; незнакомые между собой члены «Дружины» могли узнать друг друга благодаря специальным условным знакам...

И все это ядовитое варево из карбонарских статутов, уставов масонских лож и совсем еще свеженького, бывшего у многих на памяти после грандиозных процессов Нечаева и нечайцев «Катехизиса революционера», предлагалось выхлебать «безусловно порядочным людям»: бравым гвардейским офицерам, блестящим придворным, солидным бюрократам. И ведь хлебали... Однако полное несоответствие тех строгих требований, которые предъявляла «Дружина» своим членам их социальному положению, мировоззрению, «обычаям и нравам», сказалось сразу же, придав деятельности «братьев» трагикомический характер, превратив ее в какую-то странную, непристойную и изрядно глупую забаву.

Богатый материал для понимания сущности этой своеобразной организации дает дневник В. Н. Смельского. Автор

его — служака, сменивший в свое время военный мундир на полицейский и прошедший хорошую выучку по сыскной части при Ф. Ф. Трепове, петербургском градоначальнике 1870-х годов, признанном мастере своего дела. «Дружина», испытывавшая острую нужду в специалистах подобного рода, стала вовлекать Смельского в свои ряды осенью 1881 года. Но еще летом он слышал в своем кругу весьма содержательные рассказы об этой организации, ее руководстве, бюджете и т. д. Процесс «вовлечения» происходил в форме легкой светской беседы, причем «вовлекающий» — полковник Левашев, не получив от Смельского еще сколько-нибудь положительного ответа, доверительно сообщил ему, что «в этом обществе лучшие люди, преимущественно аристократы; состоят в ведении гр. Воронцова-Дашкова». Сам Смельский не менее доверительно передал этот разговор своему кузену, гвардейскому офицеру, который, ничуть не удивившись — «теперь многих вербуют... офицеры Семеновского полка вписались в члены охраны», — засыпал собеседника информацией о задачах «Дружины» — «...разыскать революционеров кн. Кропоткина, Гартмана и убить их»; о проблемах, ее терзающих, — «...дела охраны ведутся неумело, трата денег идет непомерная, а проку от этого нет...» — и т. д., и т. п. Когда же Смельский после долгих сомнений принял участие в деятельности «Дружины», ему пришлось принимать поздравления от совершенно посторонних этой организации лиц и конспиративно уходить от ответов на вопросы, чем он там, «в подполье», занимается и каковы его успехи...

Все страшные клятвы и карбонарские инструкции обеспечивали «Дружине» лишь секретность, достойную Полишинеля. Естественно, что слухи — в целом достоверные, — имевшие столь широкое хождение в придворных и бюрократических кругах, очень быстро вышли за их пределы. Те, против кого была направлена вся деятельность организации, очень скоро узнали о ее существовании. Хотя «официальное» сообщение о

«Дружине» было сделано в революционном издании «Народная воля» лишь в феврале 1882 г. — в заметке «Лига шпионов-добровольцев», — и в подполье, и в эмиграции о ней заговорили значительно раньше... Причем сейчас хорошо известно одно из главных «передаточных звеньев» информации о «благонамеренном подполье». Лорис-Меликов, которого охранители довели-таки до заслуженного отдыха, летом 1881 г. приходил в себя от пережитых потрясений в Висбадене, причем жил на одной вилле с М. Е. Салтыковым-Щедриным. Суровый демократ, которому ежедневно приходилось общаться с недавним диктатором, не устоял перед его обаянием. Они сблизились, и в одной из бесед Лорис совершил откровенно рассказал редактору «Отечественных записок» про «Священную дружину», о которой он знал если не все, то очень многое. Салтыков, в свою очередь, связался с эмиграцией, стремясь прежде всего предостеречь тех лиц, которым грозила непосредственная опасность со стороны «братьев». Кроме того, великий сатирик сделал все от него зависящее, чтобы разоблачить и высмеять «Дружину» перед своими читателями: в своем знаменитом третьем «Письме к тетеньке» он нарисовал фантасмагорическую картину деятельности «Общества частной инициативы спасения», объединившей в своих рядах «взволнованных лоботрясов», причем картина эта была исполнена самых откровенных и прозрачных намеков... Сейчас, сравнивая «Письмо» с тем же дневником Смельского, мы видим, как хорошо Салтыков понял суть всего этого предприятия (впоследствии он обращался к теме «взволнованных лоботрясов» еще и в «Современной идиллии»). Хотя цензуру «Письмо», естественно, не прошло, оно в том же 1881 году было опубликовано в эмигрантском журнале «Общее дело» и получило широкое распространение среди читающей публики в списках и оттисках.

## «ЛОБОТРЯСЫ» ДЕЙСТВУЮТ

Конкретная деятельность «Дружины», так же, как и уровень ее конспиративности, определялась своеобразием лиц, которые в ней участвовали и, самое главное, ею руководили. По словам Салтыкова, здесь собрался «народ все картавый», свидущий лишь в одной «науке» — «о подмывании лошадям хвостов»<sup>2</sup>. И, действительно, аристократы — гвардейцы, флигель-адъютанты, придворные, щеголявшие парижским прононсом даже при употреблении исконно-русской ругани, — составляли заметную часть «братьев» высших разрядов.

Чрезвычайно выразительный портрет одного из «картавых» дал в своем дневнике Смельский. Поскольку ему было предложено возглавить заведование петербургской агентурой «Дружины», он поступал под непосредственное начальство П. П. Демидова, князя Сан-Донато — «попечителя» столично-го отделения организации и одного из главных ее доброхотов-даятелей<sup>3</sup>. Во времена первого посещения Демидова Смельскому пришлось ждать около получаса, пока князь «докушает ужин», после чего челядь «в хамских аксельбантах», передавая посетителя из рук в руки, препроводила его через анфиладу «парадно и старинно отделанных комнат» в огромный мрачный кабинет. «Со стула встал фигура довольна высокая, с невзрачною и неумною физиономиею». Угостив гостя дорогой сигарой, Демидов возвзвал к нему: «Прошу Вас, руководите нами... У нас ничего нет». Все его дальнейшее участие в беседе ограничивалось одобрительным поддакиванием. Впрочем, из беседы с ним Смельский все-таки уяснил себе некоторые пи-кантные детали руководящей деятельности «попечителя». Демидов признался, что платит наемным тайным агентам значительное жалование *только за то*, «чтобы они не болтали о „Дружине“...»

Этот поразительно недалекий, расслабленный человек, который и говорил-то «с запинкой», «без полного высказы-

вания», не годился, конечно же, не только для «подпольной», но и вообще для какой бы то ни было деятельности. Сей факт, очевидный для всех окружавших Демидова «братьев», не был тайной и для него самого. Так, Смельский описывал трогательную сцену заседания исполнительного комитета «Дружины», когда П. П. Шувалов — о котором речь пойдет ниже — разносил Демидова в пух и прах за бездарное руководство, упрекая «попечителя» в том, что он все свои немногие силы тратит на «любодейства», на что последний с похвальной кротостью отозвался: «Ты прав, но откуда же мне знать полицейское дело?..» И тем не менее Демидов несколько месяцев занимал в «Дружине» один из важнейших постов.

Наряду с подобной аристократической бледной немочью, годной лишь для того, чтобы выделять из своих огромных капиталов средства на поддержание «благонамеренной крамолы», в ней принимали участие и люди совершенно иного сорта — ловкие, энергичные, обладавшие и немалым опытом, и умением вести сыск. Однако, как правило, свои способности они посвящали сниманию пенок с этого «благородного дела»... Так, предшественник Демидова на посту петербургского попечителя И. Д. Путилин — бывший в свое время начальником сыскной полиции — оказался настолько охоч до денежных фондов «Дружины», что «братья» не чаяли, как от него избавиться; преемник же — князь А. П. Щербатов, человек неглупый и дальний, — в разгар своего «попечительства» попал под суд за присвоение казенных денег на своем прежнем посту; естественно, что и с «дружинными» средствами он нимало не церемонился.

Если таковы были «лучшие, безусловно порядочные люди», составляющие ядро «Дружины», то на агентах, которых они нанимали для слежки, провокаций и прочей черной работы, негде было и клеймо ставить. Недаром Салтыков в своем «Письме», наряду с «картавыми», вывел среди действующих лиц и гоголевского Ноздрева — только вконец разорившего-

ся — и уже знакомого нам Ивана Антоновича Расплюева... Люди без чести, без совести, готовые за соответствующее вознаграждение на любую подлость — тем более, когда ее предлагалось совершать во имя «оздоровления корней», — эти «действователи» служили достойным основанием аристократической верхушке «Дружины». Доносы они составляли преудивительные... Особенno выделялась в этом отношении заграничная агентура, работавшая практически бесконтрольно. Желание поразить своих благородных нанимателей из ряда вон выходящими сведениями и тем самым обеспечить себе соответственные дивиденды сочеталось у «дружинных» расплюевых с фантастическим невежеством, полной неосведомленностью в делах эмиграции и поразительной наглостью. Агентурные приемы у них были самые немудрящие и даже в очень пестрой и разнородной эмигрантской среде производили сильное впечатление. А. А. Винницкая, писательница, принятая в это время «за свою» в русской эмигрантской колонии Парижа, вспоминала впоследствии, что ее новые друзья первым делом сообщили ей: «...из России наехало много шпионов какой-то Белой или Святой лиги», которые кутят напропалую, пристают ко всем с разговорами, задают провокационные вопросы, «но так неумело и бес tactно, что своей цели не достигают». К тому же, замечает Винницкая, «сами физиономии новых приезжих резко отличались от привыкавшихся русских типов Латинского квартала. Держали они себя развязано... и от них сторонились не только русские, но и французы».

Между тем прогонные, квартирные и сutoчные нужно было отрабатывать. В результате из-за рубежа поступали донесения, вполне достойные барабановских фантазий о проволоках, перерезанных при рытье окопов вокруг Зимнего. Так, например, сообщалось, что «вожди эмиграции» с многочисленными сообщниками направляются в Россию, чтобы совершить цареубийство, причем по дороге, в Берлине, собираются из-

ничтожить еще и германского императора Вильгельма... При этом в теплую компанию «вождей» зачислялись Лавров, Драгоманов, Соколов и Гартман — все деятели, которые, за исключением Гартмана, не имели никакого, даже теоретического, отношения к террору и в описываемое время находились в весьма напряженных, неприязненных отношениях друг с другом. Им же, кстати, приписывалось и кровожадное намерение истребить «при пособии бомб и бутылок (!) с динамитом» весь цвет «Священной дружины» — Воронцова-Дашкова, Демидова, Шувалова... Вся эта небывальщина воспринималась «братьями» с полной серьезностью, а последнее сообщение даже заставило заинтересованных лиц выписать из-за границы шелковые кольчуги — защитное средство, вполне достойное такого разрушительного оружия, как «бутылки с динамитом»...

Вся эпопея «Священной дружины» может показаться лишь грандиозным продолжением тех странных игр, которым предались верхи с легкой руки градоначальника Баранова. Агенты водят за нос «братьев», «братья» беззастенчиво лгут друг другу... Какая уж тут «борьба с анархией», когда чуть ли не вся доступная обозрению «Дружины» «анархия» — сплошная выдумка; какие уж тут «ответные удары», когда постоянно приходится отбивать атаки со стороны призраков! Одни действующие лица — «взволнованные лоботрясы»; другие — беззастенчивые хапуги, ловко использующие это волнение в своих корыстных целях. А в результате — вся бурная деятельность «благонамеренного подполья» превращалась в сплошную злостную мистификацию... Однако была одна сфера, в которой эта поддельная деятельность чудесным образом привела к возникновению весьма деятельных подделок. И эту сферу пророчески определил все в том же «Письме к тетеньке» Салтыков-Щедрин: «Давайте, говорю, братцы, газету издавать... Только, говорю, нам такого редактора надо отыскать, чтобы во всех статьях был мерзавец. Чтоб совести не знал, правды от роду не говаривал и за тычком не гнался. И вот судите, как

хотите: не успел я это выговорить — смотрим, ан в дверях Иуда Искариот стоит. Тебя-то нам и нужно. Сейчас ему пятьдесят тысяч в руки: издавай газету „Фрегат Надежда“!

## ЖЕНЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Всякий народ тут: чиновники и нечиновники,  
больные и здоровые, каналы и честные люди...  
Тут и шпион.

*М. Е. Салтыков-Щедрин.*  
За рубежом

Итак, после убийства царя верхи охватил «великий страх», который искусно подогревался определенными кругами и приводил к словам, поступкам и предприятиям, совершенно невозможным в спокойной обстановке. Между тем никаких серьезных оснований для подобной паники не было: в начале 1880-х годов подполье переживало кризис еще более тяжелый и томительный, нежели власть. В известной степени к этому привела деятельность политической полиции — куда более результативная, чем все потуги «благонамеренной крамолы». Однако Л. М. Тихомиров, один из немногих членов исполнительного комитета, переживших «белый террор» — он скрылся от преследований за границу, — признавая, что «старая „Народная воля“ была прямо истреблена», совершенно справедливо писал: «Я на своем веку пережил много таких истреблений и привык видеть, что на месте уничтоженных людей и программ являются немедленно новые». Теперь же ничего подобного «немедленно» не происходило: новых программ не являлось и преемники были не те — «отброски, мальчишки и никудышные люди». В тяжких раздумьях рождалась горькая мысль: «Ясно, что мы почему-то не годимся, что мы делаем что-то не то, что нужно».

В конце 1860-х–начале 1870-х гг. теоретики, стоявшие у истоков революционного народничества — М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, — предложили «молодой России» различные пути к достижению вожделенных идеалов социализма: немедленный бунт, длительную пропаганду, политический заговор... В 1870-х их последователи упорно осваивали эти пути — и раз за разом оказывались в безысходном тупике неудач. Сюда же, в конце концов, пришли и те, кому, казалось, удалось сдвинуть грузную самодержавно-бюрократическую машину с мертвоточки — народовольцы... В начале 1880-х годов все возможные пути были пройдены, все силы исчерпаны. Наступал период мучительной переоценки ценностей, томительных поисков, тяжких разочарований — период безвременья. Многие в эти годы навсегда рас прощались с революцией, другие готовы были биться головой о стену своего собственного тупика, трети яростно прорывались на иные высоты, к новой, более действенной идеологии.

Разброд и шатанье охватили русское подполье; в еще большей степени это относилось к эмиграции, которая в начале 1880-х вобрала в себя уже несколько поколений инакомышляющих. Россию покидали люди самые разные: наряду с вождями революции, искренними, преданными работниками ее, за границу уезжало много народа случайного, легкомысленного и ненадежного. А эмиграция была чревата тяжкими испытаниями — не только материальными, но, в еще большей степени, духовными. Об этом замечательно писал Герцен, наблюдавшийся в своей жизни на эмигрантов всех возможных возрастов и национальностей: «Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому: надежда мешает оседлости и длинному труду, раздраженные и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание... Все эмигра-

ции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен».

К началу 1880-х годов одним из главных центров русской эмиграции стала Женева. «Чистый, красивый, дешевый, свободный, честный город, — писал Тихомиров, — красавица Рона, остров Руссо, прекрасное озеро с иногда белеющим вдали Монбланом, дикий Салев, самый город со своими библиотеками, ресторанами, превосходным пивом, рынками, собраниями... — смотри, любуйся, думай без опасения полицейского, — ах, это было очень, очень хорошо, очень приятно!» А Л. Дейч вспоминал, какое сильное впечатление произвели на него женевские блюстители порядка, любезно информирующие о месте проведения очередного конгресса Интернационала...

Своей тишиной, покоем, безопасностью Женева привлекала многих; уже в 1860-х годах здесь начали оседать выходцы из России. На каждом новом этапе той ожесточенной борьбы, которую вели между собой самодержавие и подполье, женевская колония получала соответствующее пополнение. В результате состав ее был чрезвычайно пестрым и своеобразным; практически все течения русского революционного движения двух десятилетий получили здесь свое представительство: «шестидесятники», убежденные в необходимости политической борьбы, и бунтари-бакунисты, отрицавшие ее во имя грандиозного социального переворота; террористы-народовольцы и их решительные противники из «Черного передела», в среде которых именно в это время шел нелегкий процесс восприятия и осознания марксизма... Почти все они жили в сложных материальных условиях, нередко на грани

нищеты, и это их не слишком тревожило: неясные слухи о положении дел в России волновали эмиграцию куда больше, чем собственные беды и заботы. Она вся была пронизана вопиющими противоречиями: здесь свято верили в светлое будущее — и мелочно подозревали друг друга во всевозможных интригах; искренне стремились к сплочению — и постоянно срывались на политические скандалы, которые зачастую переходили в личные дрязги...

Пожалуй, самой заметной и своеобразной фигурой женевской колонии был Михаил Петрович Драгоманов. В этой среде, окрашенной, при всем своеобразии оттенков, в цвета революционно-народнические, он явно смотрелся белой вороной. Драгоманов всегда стоял в стороне от подполья, от революционного движения. Все свои надежды он возлагал на длительный эволюционный процесс постепенного совершенствования политических и социальных отношений. Соответственно, Драгоманов не верил в зиждительную силу стихийного движения народных масс; на первый план он выдвигал «позитивную», культурно-просветительную деятельность интеллигенции. При этом вся разносторонняя и многоплановая деятельность, которую он сам вел в этом направлении на Украине, а затем в эмиграции, носила ярко выраженный национальный, «украинофильский» характер. Драгоманов вообще придавал огромное значение развитию национальных языка, культуры, самосознания; именно этот процесс, по его мнению, должен был в конце концов привести к преобразованию Российской империи в вольную федерацию независимых и равноправных народов.

Для русских революционеров конца 1870-х—начала 1880-х годов все эти соображения звучали как ересь. Либерал — и тем более «либерал-националист» — мог быть воспринят ими либо как человек добросовестно заблуждающийся, либо как сознательный обманщик; но в любом случае проповедь подобных взглядов была, с их точки зрения, делом сугубо вред-

ным: она отвлекала от насущной революционной работы, сбивала с верного пути немедленного переустройства России в болото безнадежного «постепенства».

И тем не менее Драгоманов пользовался в эмигрантской среде устойчивым авторитетом. В значительной степени это объяснялось тем, что, выдвигая программу, во многом схожую с либеральной, Драгоманов предлагал проводить ее в жизнь средствами, куда более решительными, чем те, которыми пользовались его российские единомышленники. В своих статьях он сам резко критиковал либералов за дряблость, зату сугубую осторожность в действиях, которая нередко смахивала на откровенную трусость; призывал их отстаивать дело реформ решительнее — вплоть до открытого неповиновения власти. При этом всем хорошо было известно, что подобные призывы не являлись для Драгоманова красивой фразой: сам он в свою бытность профессором Киевского университета действовал именно так, ни на какие принципиальные уступки начальству не шел, что и привело его сперва к отставке, а затем в эмиграцию.

Авторитет Драгоманова подкреплялся и солидным образованием, которое сказывалось во всем, что писал этот человек, а он был на редкость работоспособен: его многочисленные статьи, как научного, так и публицистического характера, всегда отличались обстоятельностью, обширной, тщательно взвешенной аргументацией. К этому следует добавить редкое обаяние Драгоманова: в общении его отличали предельная простота и искренность; даже противники этого человека признавали, что «в нем не было ни малейшей рисовки или желания подделаться...».

Покинув Россию в 1876 году, Драгоманов занял за границей особое положение: не входя ни в одну из эмигрантских группировок, он с большинством из них поддерживал хорошие отношения. Подобную позицию он стремился использовать в интересах общего дела, пытаясь сплотить эмиграцию и

сблизить ее с либерально-оппозиционными элементами внутри России. Ни одна из его попыток в этом направлении не привела к успеху, и в начале 1880-х годов — особенно после убийства Александра II, которое произвело на него самое тяжелое впечатление, — Драгоманов стал отдаляться от политической деятельности, все больше внимания уделяя научной, историко-этнографической, «украинофильской» работе. Однако ореол всеобщего уважения по-прежнему окружал этого незаурядного человека, репутацию одного из самых значительных представителей русской эмиграции Драгоманов сохранил в полной мере.

Именно в его доме, двери которого всегда были широко открыты, и появился впервые Аркадий Павлович Мальшинский...

## НОМЕР ПЕРВЫЙ: ИЗДАТЕЛЬ БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ

Весной 1881 года, когда женевская эмиграция еще не успела пережить до конца роковые мартовские события, в дверь гостеприимного дома Драгомановых постучался А. П. Мальшинский. Он представился как журналист, «бывший сотрудник прогрессивных изданий», и сообщил, что прибыл в Женеву с тем, чтобы основать здесь большую еженедельную газету, оппозиционную по отношению к существующему в России режиму. Естественно, подобное предприятие требовало немалых ресурсов — как материальных, так и духовных. На осторожные расспросы хозяина по этому поводу Мальшинский уверенно отвечал: и то, и другое в наличии, за ним стоит мощная нелегальная организация, которой не занимать ни идей, ни капиталов. Какая организация? — на этот вопрос Аркадий Павлович, вот так, сразу, ответить не мог по причинам понятным и деликатным...

Драгоманов вполне удовлетворился всем сказанным. Очевидно, Мальшинский с первой же встречи произвел на него

хорошее впечатление: образованный, явно не глупый человек, ведет себя с разумнойдержанностью — с расспросами не лезет и лишнего не болтает. Интриговал и сам факт существования никому не известной организации, способной наладить выпуск газеты за рубежом, — тем более, что даже по скромным намекам Мальшинского можно было понять: программа этой организации во многом совпадает с его, Драгоманова, взглядаами... Своему гостю он оказал серьезную поддержку: на газету Мальшинского «Вольное слово» пошел тот шрифт, которым набирались издания самого Драгоманова; всю техническую сторону дела взяли на себя его давние сотрудники — Жилка, Добровольский, Павлик. И все же от прямого участия в первых номерах нового органа гостеприимный хозяин уклонился: уж слишком плотная завеса таинственности окутывала и самого Мальшинского, и стоявшую за ним организацию...

Нельзя сказать, впрочем, что издатель «Вольного слова» был совсем уж темной лошадкой. Такая фигура не могла не привлечь внимания эмиграции, о Мальшинском сразу же после его появления в Женеве стали наводить справки, и в скором времени выяснилось следующее: в конце 1860-х годов этот деятель уже побывал за границей; тогда он называл себя социалистом и революционером, встречался с Бакуниным, был принят у Огарева... Затем в Одессе сотрудничал в газетах «прогрессивного направления», составив себе репутацию оппозиционера и «украинофила». В конце 1870-х работал скромным клерком в банке в Кременчуге... Все эти сведения никоим образом не компрометировали Мальшинского, скорее, наоборот, подводили определенную базу под его появление в Женеве в качестве издателя антиправительственной газеты. Но вот организация, снарядившая его на это благое дело, по-прежнему оставалась под покровом тайны.

Между тем, судя по всему, организация была солидная... Мальшинский, казалось, не испытывал в своей деятельности ни малейших финансовых затруднений, что в эмигрантской

среде являлось редкостью невероятной. «Вольное слово» с завидной регулярностью выходило каждую неделю — с июня 1881 года; типографская сторона дела приведена была в образцовый порядок; сотрудники оплачивались с неведомой до того времени эмигрантам щедростью и аккуратностью. Что же касалось содержания газеты — здесь поначалу наибольший интерес представляла политическая хроника; корреспонденты Мальшинского в России проявляли удивительную осведомленность по части придворных и правительственныех секретов...

С идейной стороной дело обстояло несколько хуже. Ясно было, что газета стоит за политические преобразования, направленные к установлению в России конституционного строя, и при этом весьма неприязненно относится к террору как к методу борьбы с властью. Так, в одном из первых номеров «Вольного слова» взрывы, произведенные народовольцами на железной дороге и в Зимнем дворце и приведшие к многочисленным случайным жертвам, откровенно приравнивались к уголовному преступлению... Исподволь в газете проводилась мысль о необходимости единения различных оппозиционных групп — при условии взаимных уступок и компромиссов. В то же время явственно ощущалось, что курс «Вольного слова» еще не выверен, что газета находится в стадии становления и нуждается в идейном руководстве. Понимал это, очевидно, и сам Мальшинский, который настойчиво и с некоторым даже простодушием обращался с предложением сотрудничества к различным эмигрантским группировкам и отдельным издателям. Так, например, он предлагал Лаврову вести газету *«в каком угодно направлении* (курсив мой. — А. Л.) с одним лишь условием — бороться с революционным террором».

Эмиграция, в свою очередь, внимательно присматривалась к «Вольному слову»: при том дефиците стабильных, надежных периодических изданий, который составлял ее характер-

ную черту, казалось весьма соблазнительным прибрать к рукам новорожденную газету. Лавров писал о необходимости реализовать такую возможность чернопередельцу П. Б. Аксельроду. Сам Аксельрод не только долгое время сотрудничал в «Вольном слове», из номера в номер освещая в ней современное рабочее и социалистическое движение, но и нащупывал возможность организованного объединения между заграничными группами «Народной воли», «Черного передела» и той загадочной «партией», которую представлял Мальшинский. С третьего номера «Вольного слова» начал сотрудничать в нем и Драгоманов, хотя вопрос об источниках существования этого органа продолжал тревожить его и он деликатно, но настойчиво добивался от Мальшинского правды о таинственной организации...

Продолжали выяснять правду и другие заинтересованные лица, и прежде всего члены редакции «Общего дела». Эта уже упоминавшаяся нами газета издавалась в Женеве с 1877 года, и многое в ней было близко направлению «Вольного слова»: неверие в возможность «мгновенного» социально-революционного переворота, неприятие террора как определяющего средства давления на власть, сознание необходимости широкой борьбы за последовательные политические преобразования. Однако появление «братского» органа не вызвало у общедельцев ни малейшего энтузиазма, а, напротив, — породило самые тяжкие подозрения. Ведущий публицист «Общего дела» В. А. Зайцев сразу же начал активную кампанию против Мальшинского, прямо обвиняя последнего в том, что он правительственный агент. Мальшинский более или менее умело отругивался... Однако революционная эмиграция, в массе своей относившаяся к «Общему делу» весьма скептически, всю эту полемику восприняла более чем равнодушно. Грызню между близкими по духу органами объясняли не более чем конкуренцией «на почве распространения конституционных идей». Идеи эти революционеров особо не волновали, а к об-

винениям, нередко взаимным, в предательстве и провокации в эмигрантской среде уже притерпелись.

Однако вскоре обвинения, выдвинутые «Общим делом», получили серьезное подтверждение: из русского подполья поступили сведения о том, что Мальшинский и в самом деле был связан с III отделением. Подобное известие требовало по крайней мере объяснений, но оборотистый издатель и тут сумел выйти сухим из воды.

Когда Засулич от имени кружка чернoperедельцев сообщила Драгоманову об обвинениях, выдвигавшихся против издателя «Вольного слова», тот остался совершенно спокоен. Оказывается, Мальшинский уже успел рассказать своему сотруднику и покровителю о том, что был знаком с киевским генерал-губернатором Дрентельном — впоследствии шефом жандармов, — благодаря которому получил доступ к материалам III отделения для работы над сочинением о революционном движении в России. Об этом Драгоманов и сообщил Засулич, внушительно добавив, что «ни к какому сыску Мальшинский отношения не имеет». Вскоре после этого издатель «Вольного слова» устроил для своих сотрудников и служащих банкет, на котором присутствовали Драгоманов и Аксельрод, и публично представил объяснения по поводу «слухов и сплетен» о своих связях с III отделением.

Эмиграция приняла объяснения Мальшинского. Определенную роль сыграли здесь воспоминания о Клеточникове — сотруднике III отделения, работавшем на «Народную волю»; весомо прозвучало и заявление Мальшинского о том, что компрометирующие его сведения «подбрасывает» политическая полиция с тем, чтобы загубить новое оппозиционное издание — подобные приемы были в духе Г. П. Судейкина, державшего в это время в руках весь политический сыск. Но настоящим щитом для издателя «Вольного слова» являлся авторитет и репутация его главного защитника Драгоманова. Засулич, несомненно, выражала общее мнение эмиграции, ког-

да писала: «Доверие не к одной только политической честности Драгоманова, но также к его уму, практичности, наблюдательности заставляло допустить, что Мальшинский служил в III отделении с целями, чуждыми этому учреждению, и остался честным человеком».

Между тем отношения Драгоманова с Мальшинским становились все более прочными, чему, конечно же, должна была способствовать «расшифровка» издателем «Вольного слова» той таинственной организации, которая стояла за его спиной. Он сделал это вполне официально в мае 1882 года в № 37 своей газеты, объявив ее органом «Общества Земского союза и самоуправления». И название, и программа Союза свидетельствовали о том, что он имеет серьезную опору в земской среде, выступает за широкое развитие самоуправления на местах и постепенное ограничение центральной власти конституционными учреждениями. Драгоманову Мальшинский, естественно, открыл еще раньше и, как мы увидим, не только в отношении «Земского союза»...

С начала 1883 года, с 51-го номера «Вольного слова», Драгоманов возглавил его редакцию. Позже в своей автобиографии он писал, что с подобным предложением к нему обратился «специальный делегат „Земского союза“»: «Я согласился и старался сделать из газеты, первоначально основанной с целью дать возможность разным оппозиционным и революционным элементам в России высказывать свободно свои мнения, — прямо орган агитации в пользу политической свободы с земским самоуправлением». Таким образом, «Земской союз» обрел себе достойного представителя за границей, а издатель «Вольного слова» обеспечил себе и своей газете надежнейшее прикрытие — непоколебимое доверие уму, опыту и политической честности Драгоманова, которое сохранялось у подавляющего большинства эмигрантов, должно было служить броней, не пробиваемой ни намеками, ни прямыми обвинениями в «грязной игре» — провокации...

Между тем нападки на «Вольное слово» не прекращались, причем постепенно они все в большей степени выходили за рамки той кампании, которую вело против газеты Мальшинского «близкое по духу» «Общее дело». Попал под огонь безжалостной критики и самый деятельный сотрудник «Вольного слова»... В конце марта — начале апреля 1882 года Драгоманов опубликовал здесь статью «Обаятельность энергии», в которой, воздав должное героизму революционеров, особенное внимание обратил на «признаки своего рода придворных нравов», воцарившихся в подполье: «генеральское полновластие» одних и безгласная подчиненность других; постоянные интриги и борьба за власть; «грызня, взаимные обманы и клеветы» и т. д. Эта сильно написанная статья задела эмигрантов-революционеров за живое и вызвала в их среде настоящий скандал.

При этом, резко критикуя Драгоманова, иной раз идя на разрыв сотрудничества и даже личных отношений с ним, лидеры эмиграции — Аксельрод в Женеве, Лавров и Кропоткин вне ее — не выражали ни малейших сомнений в политической честности редактора «Вольного слова». Единственный же, кто прямо обвинил в провокации уже не Мальшинского, а самого Драгоманова, Варлам Черкезов, давно уже пользовался в эмигрантской среде репутацией человека с «восточным темпераментом», неспособного сдерживать свои эмоции. К тому же всем хорошо было известно о его личной вражде с Драгомановым. Подобные обвинения сочли за «обычные издережки полемики» и совершенно не приняли всерьез.

Однако чуть позже, в августе 1882 года, в Женеве появился еще один орган печати — газета «Правда», которая не только подхватила эти и им подобные обвинения, но и в значительной степени основала на них свою идеиную программу.

## НОМЕР ВТОРОЙ: ИЗДАТЕЛЬ ОТЧАЯННЫЙ

Странная это была газета... В ее издании некоторое время принимал участие вышеупомянутый Черкезов — единственный из сотрудников «Правды», который если и не пользовался в эмиграции особым влиянием, то по крайней мере вызывал известное уважение и доверие. Все прочие подобных чувств никоим образом не внушали... Здесь собирались либо подонки эмиграции, чьи «ультралевые», анархистские убеждения — отрицание семьи, частной собственности и пр. — проявлялись наиболее ярко в личной жизни и денежных делах, либо люди не вполне здоровые. В «Правде» нашли приют такие деятели, которых эмиграция давно признала за «формально сумасшедших», за «юродствующих эксцентриков»: образцово бездарный «революционный» поэт Григорьев, публицист Сидорацкий, подписывавший свои статьи «говорящим» псевдонимом «Сидор Адский», и другие, им подобные.

Но так или иначе все это были люди свои, примелькавшиеся и даже изрядно поднадоеvшие. А вот издатель и вдохновитель «Правды», некто Климов, представлял собой фигуру загадочную. В отличие от Мальшинского он не мог ссылаться ни на дружбу с Огаревым, ни на участие в «прогрессивных изданиях», прошлое его совершенно терялось во мраке неизвестности. Впервые он появился за границей в конце 1881 года, в Париже, где усиленно — и безуспешно — пытался наладить контакты с русской колонией. Затем, исчезнув на какое-то время из поля зрения эмиграции, он вновь возник в Женеве весной 1882 года. Здесь к Климову также отнеслись с подозрением, невзирая на его постоянное стремление — а отчасти, может быть, именно вследствие оного — вершить «добрые дела»: поддерживать неимущих, вносить деньги на издание революционных брошюр, содержание эмигрантской библиотеки и т. п.

Однако состав эмиграции был до того пестр и разнообразен, что даже такая сомнительная личность «без прошлого», как Климов, не слишком выделялась на общем фоне. Во всяком случае ему удалось-таки сблизиться с Черкезовым, который, хотя и говорил время от времени своему новому знакомому: «Мы не решили до сих пор, кто вы — социалист или агент», — тем не менее пошел с ним на сотрудничество в издании переводных радикальных брошюр, а затем и собственной газеты.

С первых же номеров «Правда» заявила о своем «крайнем направлении», которое выражалось прежде всего в бесшабашных ругательствах и свирепых лозунгах. Так, о государе императоре здесь писали в самых несдержанных выражениях: Александра III честили то «немазанным истуканом» — тонкий намек на задержку с коронацией, — то «царем Митрофанушкой», а то и вовсе нелитературными прозваниями. Доставалось и царевым родственникам, высшему свету, бюрократам... Все эти суровые характеристики сопровождались призывами как можно скорее и самыми радикальными средствами разделяться «с аристократической и сановной сволочью»...

Краеугольным камнем идейной программы «Правды» было разоблачение всех «умеренных», конституционалистов вообще и их зловредного органа — «Вольного слова», в частности. Климов не уставал трубить о провокационном характере последнего — правда, в отличие от Черкезова, «сориентировав» его не на «Священную дружины», а на Министерство внутренних дел, — и доказательства тому приводил самые разнообразные. В своих обличительных статьях он рассуждал «строго логически»: даже «самое жалкое представительство», по его словам, неизбежно настолько улучшит условия жизни в России, что из нее исчезнут внутренние антагонизмы — различные сословия легко найдут между собой общий язык. А кто тогда будет «раздувать пламя социальной революции»? Некому будет его раздувать... Кому вообще нужна будет эта

революция? Никому не нужна... Такова ужасающая перспектива «конституционализма», и потому Климов призывал признать его «самым страшным ядом», а его адептов — иудами, действующими с ведома и по заданию самодержавного правительства...

Перед подобными логическими выкладками содрогнулась даже ко всему привычная эмиграция. В сущности, с первых же месяцев существования газеты Климова — Черкезов в октябре 1882 г. уехал из Женевы — вопрос для русской колонии состоял лишь в том, кто есть издатель: очередной «блаженненький» от революции или злостный провокатор? Последнее предположение казалось куда более вероятным. Прежде всего сам Климов, человек крайне незатейливый и в духовном, и в умственном отношениях, на «блаженненьского» никак не походил — зато расплюевские черты проступали в нем явственно... А самое главное, эмиграцию в отношении «Правды» должны были тревожить те же вопросы, которые они не уставали задавать и издателю «Вольного слова»: откуда берутся деньги на издание? Кто присыпает информацию из России? Кто вообще стоит за газетой? При этом эмигранты, редко и неохотно соприкасавшиеся с либеральным движением, еще могли допустить существование никому не ведомого «Земского союза». А вот признать, что они проглядели существование некоей «революционной партии»,казалось совершенно невозможным: «Ведь в то время поле революционного движения было так невелико, что каждый, пробывший два-три года в той или иной нелегальной организации, знал его вдоль и поперек», — вспоминала Вера Засулич.

И тем не менее, утверждал Климов, существует такая отлично законспирированная не только от полиции, но и от эмиграции партия, которая его руками выпускает в Женеве свой печатный орган. Сначала он под большим секретом сообщил об этом Черкезову, а затем в конце 1882 года вполне официально выступил в «Правде» от лица «партии социалист-

тов-общинников». После этого заявления в газете появился целый ряд статей на сугубо сельскохозяйственные темы — «О травосеянии», «О пропаганде земледельческих машин», которые составили жутковатый контраст с постоянно повторяющимися призывами «к войне, восстанию в окраинах, аграрным смутам...»

Итак, в эпоху всеобщего развала оппозиции удалось-таки обогатиться новыми мощными организациями: либеральным «Земским союзом» и ультрапролетарской «партией социалистов-общинников». Надо ли объяснять, что все это было ложью и подделкой, что за «Вольным словом» и «Правдой» стояла одна совершенно определенная организация? Оба фрегата, появившиеся в начале 1880-х в далекой от морей столице Швейцарии — один под черным флагом анархии, другой под благонамеренным трехцветным вымпелом конституционализма, — получили снаряжение, боеприпасы и инструкции в одном порту, от одного начальства. Русская эмиграция стала жертвой грандиозной мистификации, организованной «Священной дружиной», а точнее — единственным по-настоящему незаурядным деятелем в ее рядах — графом П. П. Шуваловым.

## ФРЕГАТЫ ПОДНИМАЮТ ПАРУСА

Вскоре после основания «Священной дружины» ее руководящим органом был предложен грандиозный план идеиной борьбы против подполья с помощью периодической печати — как легальной, так и нелегальной. При этом особое внимание обращалось на то, что использование в подобных целях газет и журналов, откровенно официозных или, хотя бы косвенно, поддерживающих правительство, не может дать серьезных результатов. «Для действительного воздействия на общественное мнение требуется целая система газет, из коих

одна служила бы сплочению охранителей, а прочие к разъединению противоправительственных партий». Во главу угла замышляемой кампании ставилась, таким образом, не открытая борьба против революционных идей, а самая злостная провокация...

Автором плана был вышеупомянутый Павел Петрович Шувалов — один из основателей «Священной дружины», державший в руках все ее заграничные дела. Он же по существу единолично принял и за претворение этого плана в жизнь, сосредоточив основное внимание на эмиграции. Именно Шувалову русская колония в Женеве была обязана появлением там «либерала» Мальшинского с его «Вольным словом».

Эта газета стала первым и самым любимым детищем Шувалова. На нее возлагались большие надежды: «Вольное слово» должно было сплотить и возглавить те круги эмиграции, которые выступали против террора — самой опасной, как казалось «дружинникам», силы, угрожавшей самодержавию. Дело предстояло тонкое, требовавшее и ума, и ловкости, и хорошего образования, и приличной репутации. «Бывший сотрудник прогрессивных газет» отвечал всем этим требованиям. К тому же Мальшинский хорошо ориентировался в русском революционном движении: он действительно сочинил для служебного жандармского пользования довольно грамотную книгу на эту тему. А самое главное, создатель «конституционного органа» мастерски владел теми «тонкими» иезуитскими приемами, которые заурядного секретного агента превращают в виртуоза-провокатора. Он не только лгал на каждом шагу, но и делал это разнообразно, в зависимости от обстановки — то с горячим энтузиазмом, то с благородной сдержанностью. Он не только за версту чуял опасность, но и с редким искусством умел отводить ее от своей персоны. Он, наконец, обладал ярко выраженной способностью подлаживаться к нужным людям, проникать в их мысли, в их душу, и

постепенно, исподволь овладевать ими, заставляя действовать в его, Мальшинского, интересах.

Если издатель «Вольного слова» со всеми своими разнообразными талантами был редким исключением среди заграничной агентуры «братьев», то его антипод — Климов, — напротив, воплощал в себе большинство расплюевских пороков и слабостей. Недаром он и карьеру свою, до того как вступить на стезю секретного охранительства, тоже вершил по полицейской части — служил исправником. Если Климов чем и выделялся среди глупых, жадных и фантастически невежественных агентов «Дружины», то только своей ретивостью и предприимчивостью, приводившими его нередко к весьма занятным результатам. Так, например, в Париже ему удалось завязать отношения с самим П. А. Кропоткиным. В своих донесениях начальству Климов живописал, с каким достоинством отвечал он на каверзные вопросы подозрительного анархиста: «Я двенадцать лет не был на исповеди, почему я должен исповедоваться перед вами?»; как расположил к себе Кропоткина настолько, что тот предложил ему свою крепкую дружбу... Как грандиозный успех оценил встречу Климова с Кропоткиным сам Шувалов в своем докладе Исполнительному Комитету «Дружины». И лишь много лет спустя выяснилось, что знакомство сие было фикцией: веселая эмигрантская молодежь просто-напросто разыграла ретивого агента. Ему подсунули поддельного Кропоткина, у которого если и было что общего с настоящим, то только обширная борода — да и то не русая, как у Петра Александровича, а жгуче-черная...

Отличившись таким образом в Париже, Климов после недолгого перерыва — он принимал участие в охране царского дворца в Гатчине — вновь был послан за границу для дальнейших подвигов. Свое прибытие в Женеву он ознаменовал целым рядом безграмотных донесений о расстановке сил в русской колонии; так, в одном из них Шувалову рекомендовалось обратить особое внимание на опасную революционерку «Быр-

дину» (С. Бардину) и совсем уж жуткого «Биденям» (М. Эллидина, одного из издателей «Общего дела»). Ясно, что такими сообщениями трудно было снискать не только лавры, но и хлеб насущный... Вокруг Климова сразу же создался вакуум: серьезные деятели эмиграции ему не доверяли, от подонков же проку было мало даже в агентурном отношении.

В подобном положении, как мы видели, неизбежно оказывалось подавляющее большинство агентов «Дружины»; каждый из них выкручивался как мог, в меру своих скучных способностей и фантазии, собирая по крохам сведения — как правило, не столько политического, сколько интимного характера — или изобретая небывалые заговоры и покушения. Климов же, будучи человеком весьма предприимчивым, рискнул пойти ва-банк с тем, чтобы обеспечить себе приличное житье-бытье за границей на более или менее длительный срок. Шкурные интересы навели бедствующего провокатора на ту же самую мысль, которая лежала в основе грандиозных планов его сиятельного патрона: «Давайте, братцы, газету издавать...».

Эту идею Климов стал целенаправленно пробивать с начала июня 1882 года. Он гарантировал начальству, что выпуском своей газеты «убьет» независимое от «Дружины» «Общее дело», покончит с эмигрантами-конституционалистами и встанет «во главе террористов». Подобное предприятие, естественно, требовало средств, Климов просил выделить ему ежемесячное содержание 500 франков (около 200 рублей).

Нужно отдать должное Шувалову, который летом отдыхал от трудов в Германии на водах, передав на это время заграничные дела кн. Щербатову: получив от последнего известие о неожиданной инициативе своего агента, которая, казалось бы, как нельзя лучше отвечала его собственным намерениям, он не выразил ни малейшего энтузиазма. Слишком уж хорошо представлял Шувалов возможности отставного исправника в качестве издателя «социальной газеты». Он, в частности, пи-

сал Щербатову, что, уж коли Климова потянуло к перу, он мог бы попробовать пристроиться к «Общему делу», публикуя там свои «глупости», — это было бы куда убийственней для эмигрантской газеты, чем его открытая полемика с ней...

Однако Климов все-таки поддержку и средства от руководства «Дружины» получил, а после личного свидания с новоявленным издателем изменил свое мнение обо всей этой затее и сам Шувалов. Он мастерски использовал «Правду» для двойной провокации: нелепые нападки слева, с позиций доведенной до абсурда «ультрапреволюционности», служили своеобразной поддержкой «Вольному слову» и в то же время компрометировали террор и террористов не хуже статей Драгоманова... Кроме того, вся эта искусственно развязанная, провокационная полемика, несомненно, усиливала взаимную подозрительность, и без того процветавшую в эмигрантских кругах, усугубляла идеиную неразбериху, способствовала всеобщему развалу и разложению...

Пустив в плавание пиратские фрегаты, Шувалов должным образом озабочился об их оснастке и экипаже. Он был отлично подготовлен к тому, что в эмиграции возникнет вопрос о «партиях», стоящих за агентурной прессой, и не затруднился создать их буквально из ничего — из идейного марева... Особенно позаботился Шувалов о «Земском союзе» — здесь все было хорошо и тщательно продумано. Он предложил изобразить «Земский союз» небольшим кружком «братьев», перемешанных с двумя-тремя настоящими либералами — с последними этот змей-искуситель давно уже вел сложную и тонкую игру... Кадры «земской организации» подбирались Шуваловым буквально с первых дней существования «Вольного слова». И когда пришла пора, «Земский союз» был во всеоружии: за границу посыпались «делегаты», завязалась оживленная переписка Драгоманова с «земцами», имитировалась некая деятельность на местах и т. д. Мистификация оказалась настолько искусной, что даже через много лет, в начале XX века

все еще вызывала споры, в которых участвовали и историки общественного движения, и современники описываемых событий, причем большинство из них горячо отстаивали подлинность «Земского союза»... Истину прояснили лишь публикации архивных материалов, связанных с деятельностью «Дружины».

Что же касалось «партии социалистов-общинников», то здесь все было сработано значительно проще и грубее, в полном соответствии со стилем «Правды» и натурой ее издателя. Похоже, что в том морском бою, который разыгрался в сухопутной Женеве, климовской посудине отводилась героическая роль камикадзе от провокации... Во всяком случае эта мистификация поражала уже не искусством своей, а откровенной наглостью, подделка была почти явной. Недаром же эмигранты, по словам Засулич, хотя и «не сразу догадались о провокаторском характере „Правды“», но что это издание нелепое, странное, чуждое какому бы то ни было направлению в России — почуяли с первых же номеров».

Климов постоянно находился на грани провала; идеяная поддержка, которую оказывал ему Шувалов, осуществлялась с поразительной небрежностью: противостоящее смешение пропаганды правильного трактования с кровожадными лозунгами и разрушительными призывами возбуждало подозрительность даже у самых доверчивых читателей. К этому нужно добавить, что Климов развернул свою пропаганду террора как раз в то время, когда по Франции, а затем и по другим европейским странам прокатилась волна негодования, вызванная деятельностью лионских анархистов, организовавших взрывы в общественных местах. Как всегда в таких случаях, в поле зрения властей сразу же оказалась русская эмиграция — постоянный источник «революционной заряды». Неприятности грозили даже изгнанникам, скрывшимся в «свободной и честной» Женеве. В этих условиях русская колония, подавляющее большинство членов которой безого-

ворочно осуждало анархистский безмотивный террор, с особым негодованием восприняла публикации «Правды» — они бросали кровавый отсвет на всю эмиграцию.

В ноябре 1882 года представители различных групп русских эмигрантов в Женеве сделали совместное заявление, в котором утверждалось: ни они сами, ни их единомышленники из других центров эмиграции, ни одна из известных им подпольных организаций в России — никто из революционеров не имеет ничего общего с «Правдой» и ее издателем. От подобного заявления был один шаг до прямого обвинения в провокации, и все же оно так и не прозвучало. Казалось бы, все оборачивалось против Климова, но... Суть проблемы, решение которой оказалось не по силам эмигрантам, изящно сформулировал Драгоманов. Будь «Правда», к примеру, французской газетой, все сомнения снимались бы сами собой: ее издает агент-provокатор; но поскольку газета русская, сомнения остаются в силе: вполне возможно, что Климов всегда навсегда один из многих «отечественных самородков». Поэтому женевская колония ограничилась тем, что *идейно* отмежевалась от «Правды». Судя по всему, подобное решение вопроса вполне устроило другую заинтересованную сторону: Климов получил от эмиграции патент на звание «юродивого от революции» и мог невозбранно продолжать свое предприятие, что он и делал, щедро фабрикуя один «сверхреволюционный» номер за другим...

Итак, Шувалову удалось запустить маховик грандиозной провокации: «Дружина» обзавелась за границей органами, которые если и не признавались эмиграцией за свои, то все же терпелись и, более того, читались, вызывая бесчисленные споры, дрязги и пр. Цель, поставленная дружиным руководством, казалось, была достигнута. Однако провокация во всей этой истории имела несколько уровней, и список одураченных в ней отнюдь не исчерпывался именами представителей русской колонии в городе Женеве...

## ГОСПОДА МАНИПУЛЯТОРЫ

Мы, наконец, вплотную подошли к главному «двигателю» описанных выше событий, к человеку, который на протяжении двух лет, оставаясь за пологом почти полной секретности, подобно искусному иллюзионисту, манипулировал людьми, организациями, идеями... Шувалова нельзя даже назвать персонажем этой запутанной истории, он — более чем действующее лицо, он — творец, распорядитель, демиург. До поры до времени. И, конечно же, эта яркая личность нуждается в более развернутой характеристике.

В том паноптикуме, который представляло собой руководство «Дружины», Шувалов выделялся весьма заметно. С одной стороны, он был, казалось, плоть от плоти «картавого народа», давшего этой организации столько славных рекрутов: член одной из знатнейших фамилий России, полковник лейб-гвардии гусарского полка, флигель-адъютант, признанный лев петербургских салонов, в которых его обычно называли «граф Боби» — далеко не каждый «картавый» мог похвалиться подобным набором специфически светских достоинств. Но наряду с тем Шувалов обладал и целым рядом качеств, «лоботрясам» вообще не свойственных: был умен, образован — он имел степень доктора юридических наук Гейдельбергского университета, — энергичен, деловит и более чем предприимчив... В то же время, в отличие от дельцов типа Путилина или Щербатова, он никогда не опускался до того, чтобы улаживать свои финансовые дела за счет дружинной казны; своим участием в этой организации Шувалов преследовал куда более тонкие и сложные интересы...

В кругу, так сказать, «легальных» реакционеров — среди которых были и те, кто, подобно Победоносцеву и Каткову, сгоряча записался в члены «Дружины», но влиянием в ней не пользовался и участия в «подпольных» авантюрах не принимал, — с немалым беспокойством следили за деятельностью

благонамеренной крамолы; и именно Шувалов вызывал здесь наибольшие подозрения и неприязнь. Известен резкий отзыв о нем Д. А. Толстого, которому в ближайшем будущем предстояло занять пост министра внутренних дел и тем самым возглавить всероссийскую реакцию: он сулил «графу Боби Шувалову и К° место в колонии для малолетних преступников». А кн. В. П. Мещерский, издатель «Гражданина», личный друг нового царя и один из вдохновителей реакционного курса, в 1682 году, в самый разгар деятельности «Священной дружины», опубликовал роман «Князь Нони», направленный против этого, наверное, самого незаурядного из ее членов. Главный герой романа Мещерского — великосветский деятель, нераскаянный честолюбец, упорно стремящийся к верховной власти в России. Обуреваемый мечтами о президентском кресле, князь Нони — читай: граф Боби — готов использовать любые средства: недаром он поддерживает связи с подпольем, недаром хранит у себя портрет главного «нигилиста» Чернышевского...

На первый взгляд, подобные обвинения кажутся фантастическими, поскольку речь идет об одном из самых ярких лидеров «Священной дружины», организации, поставившей во главу угла своей деятельности охрану самодержавного престола и беспощадную борьбу с революционным движением. А между тем дым был здесь не без огня... Дело в том, что Шувалов предполагал защитить престол средствами, совершенно отличными от тех, которые рекомендовались Толстым, Мещерским, Победоносцевым и прочими.

Так, не случайно в романе Мещерского возникло имя великого революционера: Шувалов действительно был одним из вдохновителей и организаторов очень сложных и запутанных переговоров, которые велись между руководством «Дружины» и революционерами, — об освобождении Чернышевского при условии прекращения последними террористической деятельности. Причем совершенно очевидно, что

для Шувалова эти переговоры были лишь необходимой зацепкой, он стремился установить контакты с подпольем и эмиграцией во имя решения более широких задач... Н. Я. Николадзе — литератор и общественный деятель, бывший посредником в этих переговорах, — вспоминал, как в 1883 году, когда песня «Дружины» была уже спета, Шувалов пенял ему на «революционную партию»: она-де «упустила редчайший случай водворить в России парламентское правительство. Для этого надо было не сходить с точки зрения письма Исполнительного Комитета к Александру III по поводу 1-го марта. Общие места и туманные требования этого письма надлежало предъявить в более конкретной деловой форме параграфов конституции». Более того, Шувалов предлагал организовать встречу Николадзе с Александром, во время которой царя следовало принудить к уступкам угрозой возобновления террора. Свидание не состоялось из-за отказа Николадзе.

О серьезности «конституционных устремлений» Шувалова свидетельствует прежде всего его собственная судьба. Этот человек, который постоянно лгал, лукавил, вел двойную, а то и тройную игру, был вполне откровенен и даже самоотвержен в одном: на протяжении года он дважды (в мае 1881-го и в мае 1882-го) подавал царю, заведомо не терпевшему никаких пополнений к ограничению самодержавия, записки о введении конституции в России... Живописуя ужасы крамолы, Шувалов указывал на единственно верное, с его точки зрения, средство борьбы с ней: «Ежегодный призыв в состав особого законодательного учреждения выборных людей, умеющих подавать свое мнение по поводу всех возникающих по установленному порядку законопроектов, но без представления им участия в верховной власти, сосредоточенной в руках государя».

Сочинительством подобного рода Шувалов, вне зависимости от судеб «Священной дружины», вынес себе приговор; Александр откликнулся на его проект резкой резолюцией;

Шувалов вынужден был выйти в отставку и долгое время безвыездно жил в своем поместье; в светском кругу его оставили только что не сумасшедшими. Нам представляется, что Шувалов никак не мог игнорировать возможность столь печальных последствий; он должен был ясно видеть, на какой риск идет, под какой удар ставит свою карьеру, свое положение в обществе. И тем не менее все эти соображения его не остановили... Иными словами, конституция была для Шувалова отнюдь не проходной картой в сложной карьерной игре, а вожделенной целью, ради которой он оказался способным пожертвовать многим.

При этом, судя по всему, Шувалов был не слишком одинок в своих «конституционных стремлениях». Характерно, что о необходимости конституции постоянно твердит в своем дневнике Смельский — в общем-то мелкая сошка в «Дружине»: с Шуваловым он не имел никаких серьезных связей и до этой мысли дошел своим умом. Что же касалось дружинных верхов, то Шувалов, очевидно, имел там поддержку в лице самого «Найбольшего» — таково было конспиративное прозвание главы организации И. И. Воронцова-Дашкова — и С. Ю. Витте, стоявшего, как мы видели, у истоков «Дружины». Во всяком случае именно эти имена всплывают в письмах Драгоманова...

Да, Драгоманов, один из самых уважаемых людей в русской эмиграции, вел переписку и с Шуваловым, и с Витте, отлично зная, членами какой организации они являются; для него не было секрета в том, что *реально* представляет из себя таинственный «Земский союз»... В свое время, в начале XX века, утверждение В. Я. Богучарского о том, что «Вольное слово» издавалось под эгидой «Дружины», вызвало резкие возражения со стороны как украинских, так и русских историков и публицистов, оберегавших прежде всего чистоту имени Драгоманова, занимавшего в интеллигентских святыцах видное место. Тогда этот вопрос так и не был решен окончательно. Теперь же, после образцовых в своем роде исследований

ний Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина<sup>4</sup>, совершенно очевидно, что Богучарский лишь приподнял край завесы, скрывавшей тайны мрачные и малопривлекательные...

Вот отрывок из письма Драгоманова к Витте от 15 мая 1882 года: «Конечно, не то важно, что я отдал себя этому предприятию, а то, что теперь следует быть постоянно и без перерыва настороже, надо всю свою память и даже личную жизнь перестраивать или — как бы это сказать — подгонять к постоянной „роли“, не переборщить, не недоговорить с людьми и здешними, и нападающими на Женеву как горная тучка. „Земский союз“ может быть ширмой очень прочной и надежной, только при такой же подгонке (не найду слова!) и со стороны А. П., Вашей и П. П. (т. е. Мальшинского, Витте и Шувалова. — А. Л.), главное же — и вот это-то больше всего меня свербит — Набольшего». «Земский союз», пишет Драгоманов, его не беспокоит «касательно правдоподобности»: «уж Вы-то сумеете его раздуть, но между прочим и здесь случиться могут неожиданные осложнения... Давайте побольше начинки, тогда пирог можно подать к столу не краснея». Он сравнивает свои конспиративные способности с шуваловскими: «Сам человек очень ловкий, практикальный, он (Шувалов. — А. Л.) не понимает, что прочим при меньшей от природы ловкости приходится напрягаться и опять, как сказал, подгоняться... „Вольное слово“ должно быть за П. П. как за каменной стеной». И, наконец, сетует, что «куда-то затерялся» шифр, которым пришлось вести переписку; просит прислать новый.

Это письмо «своему человеку», с которым существует полное взаимопонимание, по крайней мере в обсуждаемых вопросах. После этого не вызывает удивление участие Драгоманова в редактировании фальшивой программы фальшивого «Земского союза», опубликованной в «Вольном слове»; обсуждение им в переписке с Мальшинским «похода на народовольцев» и т. д. Но, конечно же, все это требует объяснений.

Их дал сам Драгоманов: в 1888 году, через несколько лет после того, как вся эта детективная история получила полное и окончательное завершение, он изложил ее в беседе со своим молодым другом и сотрудником В. Л. Бурцевым следующим образом: вывертываясь из петли грозящих разоблачений, Мальшинский открыл ему, Драгоманову, на какие средства издается «Вольное слово». Драгоманов решил попытаться использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу, точнее, в пользу того дела, которому служил: «С опасностью скомпрометировать себя, для того, чтобы спасти единственную существовавшую тогда за границей газету «Вольное слово», принял на себя ее редактирование. Свои отношения с издателями «Вольного слова» Драгоманов вел через графа Шувалова... Решившись взять в свои руки скомпрометированную газету, Драгоманов надеялся сделать из нее независимый политический орган и повел его совершенно самостоятельно».

Характерно, что сам Бурцев, единственный и неповторимый в своем роде борец с провокаций, оценивал действия Драгоманова как ошибочные, но в то же время твердо и уверенно заявлял: «Для меня его политическая независимость от «Священной дружины» в редактировании «Вольного слова» была вне сомнения», — и подобное суждение выглядит вполне обоснованным. Действительно, ситуация, в которую попал Драгоманов, была, мягко говоря, деликатной, и он отлично это понимал. «Почему я не возьму в руки газету? — писал он жене летом 1882 года. — Потому что ее дали в руки другие. Хорошо и то, что эти руки пригласили к участию и мои руки, а я имел возможность пригласить еще и другие. Во всяком деле надо прежде всего рассчитывать, какое положение дано и неизменно, а какое изменимо, и с первым мириться как с жарою в июле и с холодом в январе, да при этих условиях и делать свое дело».

И Драгоманов делал свое дело... «Политическую независимость» он, надо думать, действительно сохранил, сумев

подчинить «Вольное слово» своим интересам, что было тем легче сделать, поскольку эти интересы совпадали, по существу, с потаенными интересами главного распорядителя сей мистификации — Шувалова. По сути дела, Драгоманов пошел на соглашение с нечистой силой, и черт оказался не так страшен, как его малевали... Но ведь недаром в русских сказках, так же, наверное, как в фольклоре всего мира, подобные соглашения дорого стоят: за временный успех здесь всегда приходится платить сторицю... И Драгоманову, так любившему афоризм «Чистое дело — чистыми руками», пришлось платить именно своей чистотой; ему, едва ли не первому из крупных общественных деятелей, пришлось мараться в той жирной, пахучей грязи, которая впоследствии буквально затопила общественную жизнь и революционное движение в России... Ведь, в сущности, речь шла о сознательном участии в провокации.

Провокация эта носила двусторонний характер. С одной стороны, Драгоманов проповедовал конституционные идеи, публиковал резко критические корреспонденции, полученные от местных земских деятелей, обличал самодержавие, — и все это с ведома и благословения «Священной дружины», созданной во имя беспощадной борьбы с теми, кто пытался противостоять самодержавной власти. С другой, корреспондент и сотрудник Драгоманова Шувалов принимал самое деятельное участие в руководстве «Дружиной», т. е. разрабатывал планы истребления революционеров, наводнял зарубежье агентурой, создавал фальшивые органы печати и организации для внесения сумятицы в ряды противников существующего строя и в то же время старался использовать силы этих противников для введения конституции в России... Если учесть к тому же, что Шувалов руководил еще и Климовым, постоянно поливавшим грязью Драгоманова и «Вольное слово», а «Вольное слово» при первой возможности обрушивалось на «Священную друjinу» и, в частности, на самого Шувалова,

то станет ясно, в какой удушливой атмосфере лжи происходило все это действие.

Кто оказывался в выигрыше в результате этой запутанной игры, участники которой во имя своей победы отказались по сути от всяких правил? Самодержавие, пытавшееся разложить оппозицию, или оппозиция с ее преобразовательными стремлениями? Дать сколько-нибудь четкий ответ на этот вопрос весьма и весьма затруднительно... Ясно одно: и без того чрезвычайно сложные, противоречивые условия общественной борьбы в России теперь безмерно осложнялись провокацией. Марево чудовищной лжи все в большей степени скрывало позиции враждебных сторон, и вместо открытого противостояния на поле брани готова была начаться жуткая взаимная резня в потемках...

### КОНЕЦ ВЕНЧАЕТ ДЕЛО, или ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Что касается нашей истории, то она приближается к концу, который оказался вполне достоин ее содержания. 30 мая 1882 года Н. П. Игнатьева, одного из главных покровителей «Дружины» в высших сферах, сменил на посту министра внутренних дел Д. А. Толстой, относившийся к благонамеренной крамоле крайне неприязненно. По мере того как влияние нового министра на Александра упрочивалось, положение «Дружины» становилось все более шатким. В высших сферах все сильнее разгоралась глухая, но ожесточенная борьба между «братьями» и Департаментом полиции, который стремился убрать со сцены конкурента, несмотря на все свои немощи, достаточно опасного. Во главе этой борьбы стоял инспектор тайной полиции Г. П. Судейкин — сам, поистине, гений провокации, замысливший в это время такую грандиозную аферу, перед которой все шуваловские деяния должны были показаться детскими.

игрой в кошки-мышки... Соглядатаи со стороны, из благонамеренного подполья, ему, естественно, были ни к чему.

Кампанию против «Дружины» Судейкин вел энергично и в то же время весьма осмотрительно: тщательно собирал компрометирующий материал, постоянно настропалял против конкурентов непосредственное начальство — директора департамента полиции В. К. Плеве и Толстого; последний же выходил с соответствующими докладами уже непосредственно на царя. Подготовив таким образом всю игру, Судейкин прихлопнул противника козырным тузом, который он с изяществом шулера-виртуоза извлек из своего рукава...

24 мая 1882 года в газете «Новое время», которую издавал А. С. Суворин — человек хваткий и в то же время чрезвычайно осторожный, — появилась статья «Политическое шулерство», в основу которой лег... циркуляр «Священной дружины», приглашавший к вступлению в сию организацию. Публикация сопровождалась язвительным комментарием, резкими выпадами против дружинников и прозрачными намеками на слабость правительства, которое терпит подобную «самодеятельность». Первозданная прелесть циркуляра в еще большей степени усиливалась тем, что на нем был указан «обратный адрес»: Главпочтamt, Н. И. Киедусу; не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы перевести эту непривычно звучащую фамилию на русский язык: каждый желающий может самостоятельно сделать это, прочтя ее справа налево.

Циркуляр был всамделишным; адрес — фальшивым: кружок петербургской молодежи, заполучив этот интересный документ — об уровне конспирации в «Дружине» мы уже писали, — не вникая в подробности, украсил его вывернутой наизнанку фамилией инспектора тайной полиции, которая тогда была у всех на устах, и разоспал по редакциям различных газет. В. Я. Богучарский, основательно разобравшийся в этой истории, отмечал, что одним из членов кружка, принимавших непосредственное участие в рассылке циркуля-

ра, был брат знаменитого в ближайшем будущем провокатора Сергея Дегаева Владимир, который сам в это время уже находился в непосредственном сношении с Судейкиным... Характерно, что никто из членов кружка, бывшего под колпаком у полиции, за эту «шалость» не пострадал; точно так же без всяких последствий осталась и весьма дерзкая по тону и убийственная по содержанию публикация «Нового времени». Да Суворин, вероятнее всего, и не пошел бы на такой риск, если бы опасался последствий...

Все было разыграно как по нотам. Теперь, совершенно справедливо писал Богучарский, «Толстому уже не трудно было представить государю, к каким, мол, приемам прибегают дружины, как компрометируют они полицию, ибо легкомысленные люди принимают этот циркуляр как исходящий действительно от Н. И. Киедуса, т. е. Судейкина, а ни он, ни Плеве, ни Оржевский тут, конечно, ни при чем, что дело получило страшно скандальную огласку и что, следовательно, „Дружины“ надо упразднить совершенно». Для царя, уже достаточно подготовленного к соответствующему решению, это дело послужило последним толчком — Александр не терпел подобных скандалов.

В декабре 1882 года именно Павлу Шувалову суждено было подписать последний циркуляр «Дружины», разосланный всем ее членам, в котором сообщалось, что Государь император, выразив свое монаршее благоволение «всем тем лицам, которые вошли в состав общества, имевшего целью охрану Его Величества и борьбу с крамолою», повелевает «ввиду изменившихся обстоятельств» деятельность вышеозначенного общества прекратить.

Это был, естественно, конец и для «шуваловской» прессы. По идее, все наследство «Дружины» должно было перейти в руки победителя. Но «Вольное слово» к этому времени уже было неразрывно связано с личностью своего редактора и главного сотрудника, а манипулировать Драгомановым не смог

бы даже Судейкин: этот человек оказался способен пойти на сознательное сотрудничество с «братьями»-конституционалистами, но агентом тайной полиции, конечно, никогда бы не стал. В результате «Вольное слово» скончалось естественной смертью, после того как были истощены средства, полученные от «Дружины». Климов же успел-таки выпустить несколько номеров под новым руководством, но вскоре «Правда» была ликвидирована — очевидно, за ненадобностью — и лихой «социалист-общинник» канул в неизвестность. Судейкина в те дни томили совсем иные планы: идя по горячему шуваловскому следу, он подготовливал грандиозную провокацию, которая должна была передать в его руки власть над революционным движением, бюрократией, царем — над всей Россией... Но это уже совсем другая история.

1987

Часть III

# ВЕЛИКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ



# ХОДЫНКА

Апрель в 1896 году был промозглым и пасмурным. Но в начале мая погода изменилась, как по заказу: стало солнечно, ясно. К 9 мая — на этот день был назначен торжественный въезд Николая в первопрестольную столицу — в Москве установилась летняя жара.

К коронации готовились долго и тщательно. Наверное, никогда еще Москву не украшали столь пышно: почти все дома в центре города были декорированы гирляндами зелени, транспарантами, флагами — одного кумача на это пошло более миллиона аршин. На перекрестках воздвигались расписные арки. Фасады, карнизы и окна домов, контуры кремлевских стен и башен унизаны были цветными лампочками, и по ночам на москвичей, привыкших к тусклому свету редких фонарей, обрушивался ослепительный водопад электрического сияния и блеска. А днем по улицам разъезжали герольды в роскошных одеждах — под звуки фанфар они возвещали народу о предстоящих празднествах; горяча породистых скакунов, мчались гвардейские гусары и кирасиры, поражая воображение горожан золотым шитьем мундиров и сверкающими доспехами; гремела музыка военных оркестров; не утихал гул толпы...

Население Москвы в эти дни увеличилось, наверное, вдвое. Поезда, шедшие в столицу, забиты были до отказа. За сотню верст до города в них уже невозможно было втиснуться; пассажиры взирались на крыши, висели на подножках... На улицах с раннего утра и до позднего вечера толпился народ. «Многотысячная толпа обывателей, — вспоминал современник, — веселая и галдящая, на время забывшая свои обыден-

ные интересы, заливала улицы. Все было по-настоящему торжественно, не так, как обыкновенно... Ах, сколько в те поры было розовых надежд и упований...»

День 9 мая Москва встретила густым колокольным звоном. Тверскую, по которой царь должен был следовать к Кремлю, с раннего утра запрудил народ. Густые толпы двигались по Петербургскому шоссе к Петровскому дворцу, в котором, на подъезде к первопрестольной, остановилась царская семья со свитой.

Впрочем, порядок в этот день был наведен образцовый. Весь путь следования торжественной процессии охранялся самым тщательным образом; две шеренги войск и две — добровольной охраны, отобранный из числа «самых благонадежных обывателей», отделяли толпу от проезжей части. На Тверской были наглухо закрыты все двери, блокированы все проходные дворы.

В два часа пополудни у Петровского дворца раздался залп из пушек, и собственный его величества конвой, сверкая на солнце оружием и роскошной, золотом шитой формой, вылетев из ворот, помчался к Кремлю. Толпа задвигалась, зашумела восторженно, а из ворот уже шли парами скороходы, арапы, камеры- и гоф-фурьеры и прочая челядь — в легких туфлях, коротких панталонах и белых чулках до колен. Затем перед толпой появились великие князья, принцы — представители царствующих домов Европы, посланники, придворные чины, представители сословий — великолепное, пышное зрелище! Гремел военный оркестр, не смолкали крики «Ура!».

Еще один оглушительный залп, и царский штандарт на шпиле Петровского дворца, дрогнув, опустился. Все стихло. Запели фанфары. В воротах показался царь на белом коне...

Сопровождаемый всеобщим ликованием и восторгом, в окружении блестящей свиты, торжественно и чинно проследовал Николай в свою кремлевскую резиденцию по Петербургскому шоссе, оставив по правую руку Ходынское поле.

Через несколько дней состоялась коронация. 14 мая к 9 часам утра в Успенском соборе собирались почетные гости. Соборная площадь, заранее разделенная на секторы, была отведена «народным представителям»: «лучшие люди» от крестьян, рабочих, ремесленников, окруженные полицейскими, в строгом порядке занимали свои места, пока не раздалась команда обер-полицмейстера: «Довольно!» Масса народу осталась за кремлевскими стенами — толпиться, шуметь, кричать «ура!» и любоваться экипажами избранных, подъезжавших к воротам.

Все пространство от Большого дворца, в котором расположилась царская семья, до паперти Успенского собора было устлано коврами. Торжественное шествие, начавшееся у Петровского дворца, получило здесь свое продолжение: царь, выйдя на Красное крыльце, отдал поклон народу и под оглушительные крики «ура!» направился к собору.

Он шел вместе с царицей под балдахином, который несли высшие сановники империи. На паперти царя встретило духовенство, и московский митрополит Сергий обратился к нему с напутственным словом. Он напомнил, что, помимо коронования, Николаю предстоит еще воспринять «священное миропомазание» — обряд, который над ним, как над всяким православным христианином, был совершен уже при крещении; обряд, который не повторялся никогда, кроме этого исключительного случая: «Если же подлежит тебе воспринять новых впечатлений этого таинства, то сему причина та, что как нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Через помазание видимое да подается тебе невидимая сила свыше действующая, к возышению твоих царских доблестей, озаряющая твою самодержавную деятельность ко благу и счастию твоих верноподданных».

В соборе царь и царица заняли места на троне против алтаря. Митрополит Санкт-Петербургский Палладий предло-

жил царю прочесть Символ веры — Николай прочел его громко, отчетливо. Затем, облачившись в порфиру и венец, взяв в руки державу и скипетр, произнес коронационную молитву, начинающуюся словами: «Боже Отцов и Господи милости, ты избрал мя еси царя и судию людям Твоим...» После этого митрополит Палладий огласил молитву от лица всего народа: «Умудри ибо и поставь проходити великое к Тебе служение, даруй ему разум и премудрость, во еже судити людям Твоим во правду, и Твое достояние в тишине и без печали сохранит, покажи его врагам победительна, злодеем страшна, к добрым милостива и благонадежна, согрей его сердце к призрению нищих, к приятию странных, к заступлению напутствуемых... Не отврати лица Твоего от нас и не посрами нас от чаяния нашего...»

Хор грянул: «Тебе Бога славим...»

После литургии царь, сняв венец, воспринял миропомазание. В этот миг колокольный звон и салют в 101 выстрелозвестили городу и миру, что таинство совершено. Митрополит ввел царя в алтарь, и там Николай приобщился святых тайн по царскому чину.

Для него, верующего истово и искренне, все это действие исполнено было глубокого внутреннего смысла. Напутственная речь митрополита, значительные и трогательные слова молитв, торжественность обряда — все это воспринималось им в высшей степени серьезно, доходило до глубины души, укрепляя до гранитной прочности усвоенные с детства убеждения. Оставаясь самим собой, Николаем Александровичем Романовым — сдержанным, незлобивым человеком, — он в то же время обретал иную ипостась: становился Государем всея Руси... Тяжкое бремя ответственности за будущее страны, за благо своего народа он, получив на то Господне благословение, взваливал на свои плечи безоговорочно и должен был нести до самой смерти; сбросить с себя хотя бы часть этой тяжести, поделить ее с кем бы то ни было он мог, лишь отринув

от себя Божию благодать, презрев священное таинство, а это страшный грех для православного... Но, конечно же, в эти праздничные дни, среди всеобщего восторга и ликования подобные мрачные мысли были просто неуместны.

Торжества между тем продолжались. Избранных ожидала череда изысканных празднеств, из которых самым роскошным и блестящим обещал быть бал у французского посла Монтебелло, назначенный на 18 мая. В тот же день должно было состояться грандиозное народное гуляние на Ходынском поле, — слухи о нем, зачастую совершенно невероятные, распространились далеко за московские заставы: горы сластей и гостинцев, бесконечные сараи с бочками пива и меда, фокусы и шутки, музыка и песни, разливанное море веселья и смеха, а главное — все, чего ни захочешь, бери и получай даром!»

С полудня 17 мая всякое движение, кроме пешеходного, по Тверской и Петербургскому шоссе прекратилось: так же, как и в день въезда царя в Москву, их захлестнул людской поток, который с каждым часом становился все гуще, все плотнее. Масса народа двигалась в одном направлении — к Ходынскому полю — за положенным ей на эти дни весельем, за царским гостинцем... Настроение у толпы было самое праздничное: смех, шутки, песни не смолкали на протяжении всего пути. С противоположной стороны к Всехсвятской роще — северной границе Ходынки — беспрерывно подъезжали крестьянские телеги: недаром по окрестным селам так упорно толковали о коровах, которых будут разыгрывать в лотерею в день гулянья...

У тех, кто добрался до Ходынки загодя, была возможность побродить по застроенному полю, полюбоваться на красивый деревянный театр, построенный ради одного праздничного представления оперы «Жизнь за царя», поглязеть на расписные карусели и помосты для выступления танцов и песенников; постоять в восхищенье, задрав головы, у вкопанных в землю столбов, на верхушках которых были заранее укрепле-

ны призы для самых отчаянных и ловких: цветные рубахи, сапоги, гармони... С особым интересом осматривали будки, в которых до поры до времени прятали царские гостинцы. Насчитывалось этих будок, построенных в ряды или кучками сгруппированных по краю Ходынского поля, до тысячи: «Высота их была аршин четырех до крыши, а форма — пятиугольная. Острыми углами они были обращены в толпу, готовясь как бы дробить и сверлить ее. Расстояние между сходившимися углами будок снаружи аршин десять, а проход между будками аршина полтора. Все это хитрое устройство было похоже на намеренно расставленные воронки, которые должны были пропасть сквозь себя полумиллионную толпу народа с одной стороны на другую».

Уставшие от ходьбы и впечатлений люди устраивались на отдых, разводили костры, доставали свертки с принесенной из дома снедью. Все это, впрочем, ненадолго: ведь толпа прибывала с каждой минутой. Людской поток на Тверской и на Петербургском шоссе не иссякал весь вечер и всю ночь, и все теснее становилось на Ходынском поле. Вновь прибывшие сгоняли «старожилов» с насиженных мест: и те, и другие устремлялись вперед, к будкам, стараясь пробиться поближе, занять место поудобнее, чтобы первыми попасть к раздаче гостинцев. Толкаясь и отпихивая друг друга, люди сбились, наконец, в массу столь плотную, что каждый был накрепко прижат к чужим бокам, грудям, спинам, стиснут, сдавлен до предела. А с шоссе сворачивали на Ходынку все новые сотни, тысячи, десятки тысяч — спешили, боялись опоздать...

Раннее, по-летнему зноное солнце осветило огромную толпу, спрессованную своей собственной бестолковой силой в жуткую, безликую, беспомощную массу. С каждой минутой положение становилось все более катастрофическим. Толпа потела, тяжко дышала, — и вот над ней стал подниматься дух человеческих испарений, «промозглый и тяжкий, как нагретые недра кладбища... Солнце пряталось в этом удушье и про-

гревало его. Толпа становилась ужасной под этим спертым колпаком. Словно ища выхода из-под него, люди нетерпеливо волновались, двигались, одолеваемые удушливой испариной...». Толпа судорожно колыхалась, как тело тяжко дышащего, околовающего зверя. Многих мучило, рвало, и не было возможности отстраниться...

Ощущение собственного бессилия, все возрастающее отвращение к окружающим, нажимающим со всех сторон, к самому себе — такому же потному, вонючему, как и все остальные, — доводило людей до дикой злобы, до истерики: мерный гул местами стал взрываться визгом и криками. Те, что послабее, впадали в забытье, теряли сознание. Это были первые жертвы Ходынки: чуть станет просторнее, сомлевший «покачнется на бок, ему наступят на ступню, потом на колени — и нет человека». Упавшему, даже случайно, уже не встать, его заживо втопчут в землю: у многих погибших здесь были размозжены лица, раздавлена грудь, у беременных женщин из чрева выдавлены младенцы...

Толпа была беспощадной не от жестокости — от беспомощности: «Вот, чувствуешь, что под тобой человек, что ты стоишь на его ноге, на его груди, весь дрожишь на месте, а падаться некуда... ты крепко-накрепко зажат соседями; хочешь не хочешь — шевели ногами, поспевай и ходи в этом дьявольском хороводе со всеми». Многие из тех, кто задохнулся, был задавлен, так и не смогли упасть: окружающие в ужасе пытались отстраниться от них, но не было возможности, и мертвцы продолжали стоять или двигаться вместе с толпой.

Временами казалось, что толпе удастся усмирить самое себя, укротить свою страшную безумную силу. То слышались настойчивые крики: «Православные, погибаем — ради бога, не напирайте!», то хором ладно затягивали молитву, то раздавалась команда: «На землю! Садитесь на землю!» Но извне десятками тысяч напирали опоздавшие — свежие, бодрые, ничего не понимающие, — и крики глохли, молитва затихала;

дьявольский хоровод продолжал свое непрерывное убийственное круженье... Лишь немногим суждено было вырваться из него: ослабевших, теряющих сознание стариков, женщин, детей пытались спасти, передавая их на руках, через головы к краю Ходынского поля.

Этот ужас продолжался несколько часов, и все же он был лишь прологом к настоящей катастрофе. Когда на исходе шестого часа утра артельщики, зажатые в своих будках и напуганные напором толпы, попытались ослабить его, бросая из окошек узелки с пресловутым гостинцем, когда над полем пронесся алчный вопль: «Дают!» — вот тогда и началась настоящая «Ходынка». Дьявольское кружение сменилось единодушным, целенаправленным порывом: передние ряды с двух сторон прижало к будкам, втиснуло в воронкообразные проходы между ними, — и захрустели кости... Толпа молола себя о будки, как зерна о жернова. Спасти из этой костоломки можно было лишь чудом. Многие из тех, кто все же выбирался из давки — окровавленные, мокрые, оборванные, с диким затравленным взглядом, — падали без сил, «ложились на землю, клали под голову полученный узелок и умирали».

Тот же, кто сохранил силы, мог теперь вдоволь нагуляться: в отдалении стояли сорокаведерные бочки с пивом и медом, у которых уже вышибали днища. Благо в узелке с царским гостинцем, кроме лежалой колбасы, черствых пирогов и пряников, была еще и эмалированная кружка с гербом — на добрую память... Многие, впрочем, легко обходились без посуды — спиртное черпали горстями, картузами; к концу «праздника» на дне нескольких бочек были обнаружены утопленники — последние жертвы ходынского гулянья...

Между тем будки под напором людской массы в конце концов рухнули; гостинцы были разданы, расхватаны, втоптаны в землю, и толпа, потеряв центр притяжения, постепенно рассосалась. Теперь нужно было поспешить и прибрать поле к приезду Государя Императора, который к полудню

должен был посетить гулянье. Как из-под земли явилась полиция, прибыли войсковые части, пожарные, — и началась разборка тел...

Раненых отправляли в больницы, мертвых бросали на фуры, укладывали как дрова, в несколько рядов, накрывали рогожами и увозили на ближайшее Ваганьковское кладбище. Времени у полицейских было в обрез, врачей на Ходынку откомандировать никому не пришло в голову, и сколько людей, потерявших сознание или находившихся в шоке, приняли смерть в этих телегах, под грудой мертвых тел, — бог весть... На Ваганьковском кладбище покойников разложили рядами для опознания; неопознанных — а их было множество, несчастных, изуродованных, — хоронили в длинных ямах, ставя гробы друг на друга. «Внезапно скончавшиеся, имена их ты, Господи, знаешь» — вот обычная надгробная надпись этих общих могил.

К приезду царя и других посетителей тела с поля убрали: частично вывезли, частично свалили за спешно сколоченный забор. Свидетельством катастрофы были лишь клочки одежды, устилающие поле.

А в воздухе витало ощущение несчастья... Царь, по свидетельству многих, был бледен и печален, однако праздник развернулся по намеченной программе: прозвучала торжественная кантата в исполнении огромного сводного оркестра, на подмостках появились танцоры, гимнасты, песенники. Вечером состоялся бал у Монтебелло, и празднества пошли своим чередом.

По делу о ходынской катастрофе было начато следствие, которое достаточно подробно выяснило общие ее причины. Как верно заметил современник, здесь постарался прежде всего «бестолковый российский чиновник». Сей роковой персонаж, как всегда в подобных случаях, ничего толком не рассчитал: народу пришло в десятки раз больше, чем предполагалось. А главное, во время коронации возникло гибельное

раздвоение власти: ее не поделили министерство двора во главе с Воронцовым-Дашковым и московская администрация, подчинявшаяся дяде царя, великому князю Сергею Александровичу. Главную роль в этой администрации играл обер-полицмейстер Власовский. Впрочем, с парадной стороны дела, с тем, что было «перед царскими очами», справились как нельзя лучше; на Ходынском же поле внутренняя склока вырвалась наружу и привела к ужасной катастрофе.

Ведь не случайно, наверное, Власовский отрядил на гулянье демонстративно малое число полицейских — около сотни; примерно столько же было там казаков и сотни четыре пехотинцев. Поначалу они пытались что-то сделать — призывали к порядку, извлекали из давки обессиленных и потерявшим сознание, — но полумиллионная толпа свела на нет все их усилия. И представители власти очень быстро стушевались, отступили, превратились в бессильных свидетелей великого бедствия, в котором, даже по явно заниженным официальным данным, «общее число лиц, получивших повреждения, достигло 2690 человек, из коих умерло 1389».

Так трагически началось царствование Николая II: вместо духовного единения власти с народом и народа с властью, которое составляло сущность торжественного действия коронации и миропомазания, — жуткая катастрофа, сотни задавленных в смертельной схватке за царский гостище, по-чиновничьи оскорбительное наведение порядка. И за все в ответе был царь. С первых дней царствования Николаю пришлось столкнуться с озлобленной толпой, откуда при проезде царской четы по Москве постоянно раздавались возгласы: «Поезжай на похороны!», «Разыщи виноватых!». И, конечно же, ни смещение с поста Власовского, ни тысячерублевые пособия, выданные семьям погибших, не могли изгладить из народной памяти страшное «ходынское гулянье».

...На одном из невеселых послеходынских балов к бледному печальному Николаю подошел почетный гость — началь-

ник французского генерального штаба генерал Буадеффр. Он явно хотел подбодрить молодого царя: «Несчастный случай, ничего из ряда вон выходящего, подобное постоянно случается при всенародных торжествах. Вот, например, у нас во Франции во время коронации Людовика XVI...» Буадеффр оборвал фразу на полуслове, сам испугавшись ее рокового смысла: Людовик XVI был казнен якобинцами...

1992

# ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ

## Синодальный период

«Церковь и государство не должны быть враждебны друг другу. Кесарево и Божие не должно быть в конфликте, но в полной гармонии и согласии, друг другу помогая, но не упраздняя свободы и самостоятельности каждого в его собственной автономной области. По официальной терминологии это „симфония“... Церковь ведает делами божественными, небесными. Государство – человеческими, земными. Но в то же время государство всемерно печется о хранении церковных догматов и чести священства. А священство вместе с государством направляет всю общественную жизнь по путям, угодным Богу. При таком единстве идеальной христианской цели государство и церковь мыслятся двумя различными функциями одного и того же организма... Их единство уподобляется единству человека, состоящего из души и тела; каждой природе соответствует управляющая ею власть: императора – телом; патриарха – душой»<sup>1</sup>.

Как нам представляется, в этой цитате полно, ясно и выразительно изложено представление о высоком идеале земного существования православной Церкви. «Симфония» никогда не была воплощена в жизнь, но все же долгое время пути к ней на Руси оставались, в принципе, открытыми, – вплоть до начала XVIII века, когда Петр I перекрыл их наглухо. Да еще и заставы надежные поставил, чтобы никто не совался...

Знаменитая синодальная реформа, упразднившая патриаршество и безоговорочно подчинившая Церковь царю, упо-

добыла ее прочим государственным органам — с немногими и неважными отличиями. Об этом свидетельствовало и само определение нового руководящего органа Церкви — Синода, заложенное в «Духовном регламенте»: «Духовная коллегия, т. е. еще один орган центрального управления, наряду с коллегиями военной, иностранных дел, вотчинной и прочими. Исчез сидящий рядом с царем православным патриарх, исчезла и идея особого права, в том числе и Церкви... Церковь в подчиненном царю аппарате министерств и ведомств лишь одно из министерств или ведомств, а именно „Ведомство Православного Исповедания“, сокращенно „В. П. И.“ — классический штемпель на всех официальных бумагах всего церковного управления синодального периода»<sup>2</sup>.

Преемники Петра I действовали в том же духе. Важнейшим шагом вслед за синодальной реформой была секуляризация церковных земель, проведенная Екатериной II в первой половине 1760-х годов. Лишив Церковь ее доходов, государственная власть сама стала выплачивать содержание духовенству. Получая с конфискованных у Церкви земель огромные доходы, государство обрекло подавляющее большинство рядовых служителей Церкви на скучное, а нередко полунищее существование. При Екатерине II в штаты, которые получали установленный государством оклад, вошли только соборы и немногим более 100 церквей. Главными источниками существования для подавляющего большинства священников — и попадавших в штаты, и «заштатных» — были, во-первых, приписанное к каждой церкви небольшое количество земли (по 33 десятины) и, во-вторых, фиксированная плата за требы и разнообразные сборы с прихожан.

При всех потрясениях, пережитых русским духовенством в XVIII в., оно все же сохранило себя как особое сословие, во всем — и в восприятии мира, и во внешности, и в обыденном поведении. И характерно, что Петр I и его преемники, безжалостно ломая русскую Церковь на западный, протестантский,

образец, не рискнули таки довести дело до логического конца. Разрушить духовное сословие, открыв в него широкий доступ со стороны, обрить священников, по образцу других служилых людей, нарядить их в сюртуки — на это не хватило решимости даже у Великого потрясателя устоев...<sup>3</sup>

Особая, неистребимая повадка духовенства должна была раздражать — и нередко раздражала государственную власть, стремившуюся к полной «регулярности» и единобразию. Однако все же синодальная реформа в значительной степени эту проблему решила: позволив бородатому духовенству сохранить свою бытовую, психологическую и прочую особенность, государство в то же время и службу его, и жизнь повседневную подчинило строжайшему контролю со стороны бритых чиновников.

Реальным, полновластным главой Синода был обер-прокурор — лицо светское, для того и внедренное в этот орган, чтобы осуществлять безоговорочный диктат государства над Церковью. Не лучшим было и положение на местах — в епархиях. Формально дела Церкви здесь находились в руках коллективного органа, созданного по образцу Синода, в котором, однако, представители местного духовенства — благочинные — заседали под руководством своего естественного главы — архиерея. Но в то же время и весь ход заседания по тому или иному вопросу, и его окончательное решение — все это зависело от другого, чисто бюрократического органа, который вел канцелярское делопроизводство, от *духовной консистории*. Именно этот орган, в котором служили обыкновенные светские чиновники, выруливал в нужном направлении несведущих в бюрократических хитросплетениях благочинных. Секретарь же духовной консистории был несомненным хозяином положения в епархии. Хотя по консисторскому уставу он подчинялся непосредственному архиерею, назначал и смешал его с должности непосредственно обер-прокурор<sup>4</sup>. Перед обер-прокурором, через голову архиерея, секретарь от-

читывался о деятельности духовной консистории. Он владел всей информацией, он мог дать любому делу тот или иной ход, он имел всесильного покровителя в лице обер-прокурора... Немного находилось архиереев, решавшихся конфликтовать со столь могущественным и реально значимым лицом.

Таким образом, церковная организация была плотно окутана паутиной светской бюрократии, лишавшей ее возможности действовать самостоятельно. Церковные реформы 1860-х годов практически ни в чем серьезно не изменили это противоестественное положение. Православная Церковь продолжала существовать под железной пятой имперской бюрократии вплоть до 1917 года...

Еще раз подчеркнем, что подобное положение было, несомненно, противоестественным. Историки, как церковные, так и светские, единодушно и вполне справедливо отмечают, что синодальная реформа имела протестантские корни. Но в Европе протестантизм был ограничен и последователен. Он победил там, где ему суждено было победить, причем победил основательно, изменив не только формально положение Церкви — в частности, в ее взаимоотношениях с государством, — но и самый дух церковного учения. В России же реформа была проведена сверху, бестрепетной рукой Петра, по одной-единственной причине: государь не желал иметь соперников... Никаких серьезных, органичных оснований, диктовавшихся внутренним ходом развития Православной церкви, на то, очевидно, не было. Дух православного учения остался прежним, не потерпев никаких изъянов, но был насилием втиснут в чуждую для него форму. Трудно представить более грубое и беспощадное нарушение самой идеи «симфонии».

Русское духовенство XVIII–XIX веков вынуждено было существовать одновременно в двух мирах: противоречащих, более того — враждебных друг другу, и в то же время неизменно пересекающихся, взаимосвязанных... Сама по себе церковная служба, обличие православного храма, творения святых

отцов, вдохновлявшие и поддерживавшие священство, — все это было Богою, идущее из глубины веков, от крещения Руси, от первого благовеста. Но в это стройное, традиционное духовное бытие постоянно и назойливо врезалось *кесарево*, стремящееся, вопреки Христу, подчинить себе Богою, превратить служение Господу в простое отправление государственной службы.

В результате — существование православного духовенства в России тех времен было сложным и противоречивым. Равнодушные этих противоречий не замечали или смирились с ними на удивление покорно; иных столь неестественное положение мучило, изнуряло, коверкало; немногим дано было совершить подвиги...

## В земной юдоли

Великое множество нестроений характеризовало жизнь российского духовенства в XVIII—XIX вв. Великое множество жалоб и сетований раздавалось по поводу духовного образования (пресловутая бурса!), ограниченности сословных прав духовенства, многочисленных сложностей, связанных с назначением в приход.

Начать, признаться, надо бы  
Почти с рожденья самого,  
Как достается грамота  
Поповскому сынку,  
Какой ценой поповичам  
Священство покупается,  
Да лучше помолчим!<sup>15</sup>

Помолчим и мы, хотя, очевидно, по иным, менее деликатным причинам, чем те, которые понуждали к молчанию не-

красовского священника. Сейчас совершенно ясно, что все названные и многие другие несообразности церковной жизни были вторичными; все они порождались двумя главными пороками, предопределеными синодальной реформой Церкви — бюрократизацией духовенства и его материальной необеспеченностью.

Начнем с материальной необеспеченности. Нужно сказать, что долгое время, вплоть до эпохи реформ, духовенство могло лишь точить невидимые миру слезы: будучи сословием чрезвычайно замкнутым, обособленным и предельно законо послушным, все беды свои оно переживало безгласно. Между тем в народе и обществе было устойчивое убеждение в материальном благополучии духовенства, так емко выраженное одним из некрасовских героев:

Попова каша — с маслицем,  
Попов пирог — с начинкою,  
Поповы щи — с снетком!  
Жена попова толстая,  
Попова дочка белая,  
Попова лошадь жирная,  
Пчела попова сытая,  
Как колокол гудет!<sup>6</sup>

Первые три строки вышеприведенного отрывка пошли гулять по страницам газет, журналов, книг, став поистине крылатыми, хотя Некрасов в данном случае, так же, как и во многих других, пустил в литературный обиход то, что давно ходило в народе. Подобное представление о достатке духовенства сложилось в народной среде, очевидно, потому, что крестьянам постоянно приходилось давать, а причту — брать; ведь плата за требы и разнообразные сборы с населения были одним из главных источников существования духовных лиц. Вопрос в том, насколько обилен был сей источник...

Что касается платы за требы, то они со времен Екатерины II достаточно строго фиксировались и во все времена были очень невелики. П. В. Знаменский таксу за требы, установленную в проникнутое «антиклерикальным» духом правление Екатерины II, справедливо назвал ничтожной: 3 коп. за крещение, 10 коп. за брак, столько же за погребение и т. д.<sup>7</sup> Естественно, что впоследствии плата за требы росла, но, очевидно, в одном ритме с падением стоимости рубля... Попытки же духовенства нарушить этот ритм в свою пользу решительно пресекались если не окриком со стороны светской власти, то сопротивлением самих прихожан. С. Я. Елпатьевский, известный писатель, сын дьякона одного из приходов небогатой Владимирской губернии, в чрезвычайно интересных воспоминаниях о своем детстве писал: «Попробовал наш священник увеличить плату за требы, но по приходу пошел шум, и приехавший благочинный посоветовал батюшке оставить все как было».

Между тем Елпатьевский утверждал: «Отец был дьяконом, но даже если бы был и священником, не мог бы жить на доходы с прихода. Их было мало, этих доходов. Три рубля за свадьбу, десять копеек за годичное поминование усопших, три копейки за молебен, столько же за панихиду, плата за другие требы — вот и все денежные доходы. Остальное собиралось рожью и овсом, караваями хлеба на первой неделе поста, яйцами на Пасхе. А приходы по нашим местам были маленькие»<sup>8</sup>.

Детство Елпатьевского пришлось еще на «старые времена» — 1850-е годы. Однако и в пореформенную эпоху положение в этой сфере менялось медленно. Такой внимательный и надежный свидетель, как А. Н. Энгельгардт, писал в 1870-х годах: «Не знаю, как в других местах, но у нас (в Смоленской губернии. — А. Л.) церквей множество, приходы маленькие, крестьяне бедны, поповские доходы ничтожны». За совершение водосвятия на скотном дворе самого автора, например,

«попы», как обобщенно называет Энгельгардт весь причт, получают всего 25 копеек, из которых 11 приходится священнику, 5,5 копеек дьякону, по 2,75 копеек каждому из трех дьячков. За день «попы» могут объехать максимум три поместья, отслужить три службы... Правда, пишет Энгельгардт, с мужиков попы получают больше: «У крестьян службы не совершаются ежемесячно, но два или три раза в год попы обходят все дворы... и в каждом дворе совершают одну, две, четыре службы...» Во время таких обходов, замечает Энгельгардт, «ежедневный заработка порядочный, но все-таки в сумме доход ничтожный»<sup>9</sup>.

У заработка этого была еще одна тяжелая сторона — тем более тяжелая, чем достойней, чем «ближе к Богу» был священник:

А то еще не всякому  
И мил крестьянский грош.

.....

Деревни наши бедные,  
А в них крестьяне хворые  
Да женщины печальницы,  
Кормилицы, поилицы,  
Рабыни, богомолицы  
И труженицы вечные,  
Господь прибавь им сил!  
С таких трудов копейками  
Живиться тяжело!<sup>10</sup>

Надо сказать, что Некрасов в своей поэме, духовенству отнюдь не польстив, нарисовал батюшку вполне заурядного, но в заурядности своей — достойного. Таких, очевидно, было большинство; брали то, без чего «нечем жить», но брали с оглядкой. Расчет за вышеупомянутые службы, писал Энгельгардт, делался «или тотчас, или по осени, если крестьянину

нечем уплатить за службу...». Да и цена за нее назначалась всегда, «смотря по состоянию крестьянина — на рубль, на семь гривен, на полтинник, на двадцать копеек — это уже у самых бедняков...». По словам автора, во всех этих отношениях «здесь попы» проявляют себя «гуманно и, у нас по крайней мере, не прижимают»<sup>11</sup>.

Тем более, плата за требы, прочие сборы с прихожан и совсем ничтожное штатное содержание покрывали лишь малую часть потребностей духовенства. «Понятно, что при таких скучных доходах попы существуют главным образом своим хозяйством»<sup>12</sup>. Развивая ту же мысль, Елпатьевский писал: «Нужно было работать не покладая рук, самому пахать и косить, приарендовывать лугов у помещика, чтобы выкормить скот и продать осенью; нужно было работать всей семьей, чтобы запастись на год всем, чем нужно»<sup>13</sup>. Энгельгардт же отмечает: «...если дьячок, например, плохой хозяин, то ему пропадать надо. Я заметил, что причетники, в особенности пожилые, всегда самые лучшие хозяева, подбор совершается как и во всем». Вообще, пишет Энгельгардт, «попы наши лучшие практические хозяева, — они даже выше крестьян стоят в этом отношении»<sup>14</sup>.

Жить трудами рук своих — это, очевидно, и означает: жить по-божески. Но духовенство ведь должно было не только побожески жить, но и Богу служить... А это, несомненно, требовало особого образа жизни. Доходы у духовенства были крестьянские, а жить приходилось, или, точнее, следовало бы, не по-крестьянски и отнюдь не только из-за дочернего приданого и сыновьего образования... Размышления о тщете земного, стремление самому приблизиться к Господу и, главное, другим, пастве своей, открыть этот путь — все это нелегко было совместить с постоянным изматывающим физическим трудом. И с этой точки зрения естественно научные комплименты Энгельгардта в отношении «подбора» духовенства звучат крайне двусмысленно...

Конечно, по пословице, «нету у попа сапог, служит и в лаптях». Вопрос в том, как служит. Особое состояние духа тут разумеется само собой. А достигнуть его в тех условиях, в которых находилось большинство духовенства, было совсем не просто. Одних земля ломала, осиливала. Елпатьевский в воспоминаниях создает яркий образ отца, над которым вечно висело «словно смутное предчувствие какого-то большого несчастья»: «Мы знали угрюмого человека, вечно озабоченного, с вечными суровыми окриками, с редкими скромными ласковыми словами»<sup>15</sup>. Причем из текста очевидно, что речь идет о человеке изначально добром, очень ответственном и честном, по духу своему как нельзя более подходящему к церковной службе, но силою обстоятельств ввергнутом в уныние, состояние, не подобающее христианину.

С другой стороны, «образцовые хозяева» Энгельгардта, преодолевшие землю, заставившие ее служить себе... Здесь крылся немалый соблазн: при таком интенсивном хозяйстве на службу Богу хватало ли духовных сил?.. Служить-то подобный причт, конечно же, служил и внешне, может быть, делал это не менее образцово, чем вел свои хозяйствственные дела. Но тот же Энгельгардт в «Письмах» передавал характернейший для понимания ситуации рассказ «знакомого дьякона»:

«Какая ваша работа, — говорит мне один мужик, — только языком болтаете!» — А ты поболтай-ка с мое, — говорю я ему! — «Эка штука!» — Хорошо, вот будем у тебя служить на никольщину, пока я буду ектенью да акафист читать, ты попробуй-ка языком по губам болтать. И что же, сударь, ведь подлинно не выдержал! Я акафист-то настояще вычитываю, а сам поглядываю — лопочет. Лопотал, лопотал, да и перестал. Смеху-то что потом было, два стакана водки поднес: «Заслужил, — говорит, — правда, что и ваша работа не легкая»<sup>16</sup>.

Мораль сей истории, я думаю, ясна. Энгельгардт, воспринявший ее, как должно русскому интеллигентному человеку, юмористически, с восторгом писал: «Знал дьякон, чем дока-

зать мужику трудность своей работы!» Но служба церковная, приравниваемая к болтанью языком не только теми, к кому она обращена, но и теми, кто ее отправляет, — что может быть печальней!.. То поразительное огрубление самого культа и его служителей, совершенно формальное отношение к делу, превращение служения Господу в необходимую, но лишенную смысла рутину — все эти черты упадка, о которых так много говорилось и писалось в XIX веке, предстают в этой веселой истории с предельной яркостью... Черты служителей Божиих, наставников в вере, все больше терялись в обличье недостаточных, зажиточных или образцовых хозяев. И постепенно в восприятии обычного мужика отличие сельского батюшки от него самого сводилось к искусному болтанию языком и к получению за то пятаков и гриненников, пирогов и яиц...

## ДУХОВНЫЕ ТЯГОТЫ

Но еще страшнее и недостатка, душу изматывающего, и достатка, добытого каторжным трудом, душу убивающим, была зависимость духовная — от государства, от бюрократии. Заметная и на самых верхах — в том же Синоде, где обер-прокуроры всех времен не стеснялись подавлять любое пополнование церковных иерархов к самостоятельности, — эта зависимость особенно грубо и прямолинейно проявлялась на местах. Власть консистории, контролировавшей и служебную деятельность, и бытовую жизнь местного духовенства, была поистине беспредельна. Угодить консисторским чиновникам означало обеспечить себе более или менее сносное житье-бытье, не угодить — подвергнуться разнообразным притеснениям, а нередко и откровенным издевательствам. Угодить же можно было лишь одним, обычным на Руси способом...

Елпатьевский вспоминал, какой трепет овладевал всем приходским духовенством при наездах некоего Егора Семе-

новича: «Это был знаменитый в губернии консistorский чиновник. Он занимал никчемное место, последняя гнида в консистории... но его сестра была замужем за консисторским секретарем, и в губернии все знали, что проникнуть к секретарю можно только через Егора Семеныча: «Этого было достаточно, чтобы страшный чиновник „разъезжал по губернии из прихода в приход, везде угощался и у всех требовал денег“, везде при этом куражась до отвращения безобразно. „Вот вы все где у меня! — Он сильнее вытянул кулак и засмеялся. — Хочу с кашей съем, хочу масло пахтаю“. Непечатная ругань сопровождала его жест... Я видел, как совал ему деньги батюшка, а гость трясущимися руками бесцеремонно пересчитывал их и бросал ему в лицо, и батюшка извинялся и прибавлял еще»<sup>17</sup>.

Консисторские чиновники «трезвого поведения» творили произвол не менее жуткий, но организованный методичней и основательней. Н. С. Лесков в «Соборянах» дал, очевидно, вполне объективную картину бытия своего героя — умного, добросовестного протопопа — в железных тисках консистории. Так, скажем, попытка его «иметь на пасхе словопрение с раскольниками» вызывает со стороны консистории нарекание. Велено, как то заведено по обычаяу, «идти со крестом на пасхе по домам раскольников». То есть вместо живого спора о вере, со стремлением объяснить и убедить — обычное насильтвенное навязывание веры по своему обряду. Причем и самому протопопу, и консисторским чиновникам отлично известно, что все это неизбежно кончится очередным беззаконным побором: чтобы не допустить священников-никониан к себе в дом, «раскольники, как всегда, будут откупаться и полунищий причт, как всегда, деньги примет...»<sup>18</sup>.

Проповедь, произнесенная от души, вдохновленная живой жизнью, столь же неизбежно вызывает вопрос: действительно ли говорена «импровизацией проповедь с указанием на живое лицо?». Следует вызов виновного в губернию для

объяснения, «тридцатишестидневное сидение на ухе без рыбы» и затем приказание «все, что впредь пожелаю сказать, присыпать предварительно цензору Троадию». Естественно, что подобное стремление заставить «вместо живой речи, от души к душе направляемой, делать риторические упражнения и сими отцу Троадию доставлять удовольствие»<sup>19</sup> надолго замыкает проповеднику уста...

Многих неприятностей, впрочем, можно было избежать, и консисторские чиновники всегда стремились направить страждущего на сей торный путь. Лесковского протоиерея больше всего угнетает именно этот «наглый и бесстыжий тон консисторский», с которым говорится: «А не хочешь ли, поп, в консиюцию съездить подоиться?»<sup>20</sup>.

Стремление затоптать беспощадно, запретить все, что выходило за рамки ежедневной рутины, перевести Церковь на положение канцелярии, обюрократить священника — в этом был, наверное, главный ужас системы, восторжествовавшей в России с петровских времен. Система эта развращала низших — приходских священников; нужно было быть незаурядным человеком, чтобы, подобно лесковскому герою, противостоять ей, пусть и пассивно. Но она самым губительным образом оказывалась и на высших: многие незаурядные церковные деятели этого времени, имевшие замечательные достоинства, коверкали себя, воспринимая ухватки, а с ними и психологию начальников-бюрократов.

Может быть, самой показательной в этом отношении фигурой был московский митрополит Филарет (Дроздов). Один из самых замечательных представителей русской Православной церкви XIX века, поражавший современников и исключительным умом, и глубиной знаний, и силой характера, он буквально терроризировал подвластное ему духовенство. «...Ни в одной русской епархии раболепство низшего духовенства перед архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в Московской во времена управления

Филарета. Этот человек... позабывал всякое приличие, не знал меры в выражениях своего гнева на бедного, трепещущего священника или дьякона при самом ничтожном проступке, при каком-нибудь неосторожном неловком движении. Это была не только вспыльчивость — тут была злость, постоянное желание обидеть, уколоть человека в самое чувствительное место. Об отношениях Филарета к подчиненным всего лучше свидетельствует поговорка, что он ел одного пескаря в день и попом закусывал»<sup>21</sup>. Это желчная характеристика, данная Филарету историком С. М. Соловьевым, сыном московского священника и человеком глубоко верующим, к сожалению, во многом справедлива — во всяком случае ее подтверждают воспоминания многих современников, так или иначе сталкивавшихся с митрополитом московским.

Так, записки бывших учеников московской семинарии, находившейся при Филарете, по словам Соловьева, «в ужасном состоянии», рисуют мрачные картины. Посещение экзаменов митрополитом, действительно замечательным богословом, превращалось в смертную муку, причем не столько для семинаристов, сколько для их учителей. Пережившие эту процедуру вспоминали гнетущую атмосферу «томительного тоскливого ожидания», конспекты, ходящие ходуном в дрожащих руках преподавателей, земной поклон Филарету «важного и величественного» в обычное время ректора («земной поклон, не фальсифицированный какой-либо, а истовый, стоя на обоих коленях и прикасаясь клобуком к полу») и, наконец, «холодные», устремленные на экзаменующегося глаза владыки... «Экзамен начинается, но вдруг все стихло и замерло, едва слышится слабый голос. Митрополит делает возражение. Ученик отвечает иногда удачно — иногда нет; тут наступает страшная минута для ректора. „Ты что скажешь?“ — доносится слабый голос. Ректор отвечает, конечно, большей частью удовлетворительно, так как он сам долго приготовлялся к страшной минуте. Но иногда на неудачное объяснение ректо-

ра доносится слабый, но металлический — холодный голос: „Дурак”<sup>22</sup>. После подобного бесхитростного описания, данного очевидцем, невольно верится в истинность гневной реплики Соловьева: «...преподаватели даровитые здесь были мучениками... Филарет по капле выжимал из них, из их лекций, из их сочинений всякую живую жизнь, всякую живую мысль, пока, наконец, не кастрировал человека совершенно, не превращал его в мумию... Филарет являлся для преподавателей хищным животным, которое прислушивается к малейшему шороху, обнаруживающему жизнь, движение, живое существо, и бросается, чтобы задавить это существо»<sup>23</sup>.

И ведь это все было написано о человеке избранном, который обладал великими духовными силами и мог производить — и производил — совершенно иное впечатление. «...Был крестный ход в Москве. И вот все прошли — архиереи, митрополиты иереи, купцы, народ; пронесли иконы, пронесли кресты, пронесли хоругви. Все кончилось, почти... И вот поодаль от последнего народа шел он. Это был Филарет».

Так рассказывал мне один старый человек. И прибавил, указывая от полу — крошечный рост Филарета: «И я всех забыл, все забыл: и как вижу сейчас — только его одного»<sup>24</sup>...

И вот, что такой великий человек, что секретарь в консистории — все едино... Система властвует, система определяет линию поведения каждого, кто вошел в нее, кто ей более или менее верно служит; и система эта требует все подогнать под один аршин, лишить жизни все, что дышит, все, что движется...

## «КОШМАР»

Когда пришла эпоха реформ, тайные беды Церкви стали явными. Жалобы духовенства на свою бедность и свою зависимость посыпались, как из рога изобилия, сразу же, как только

подобные жалобы стали возможны... Характерно при этом, что хорошо сознавая и кляня свою зависимость от государства, подавляющее большинство представителей духовенства на первый план выдвигало все же материальные нужды. При этом практически все они предлагали такой способ удовлетворения этих нужд, который должен был бы еще отчетливей вписать Церковь в государственную систему: речь шла о том, чтобы священников и весь причт полностью перевести на жалованье, выплачиваемое государством... Диссонансом в этом дружном хоре изредка звучали соображения, подобные тем, которые высказал один из авторов «Православного обозрения», заявивший, что подобная мера «еще более закрепила бы сословность духовенства и сделала бы его корпорацией, состоящей на службе у правительства и отторгнутой от народа»<sup>25</sup>. Других духовных авторов жалоб и предложений подобная перспектива, очевидно, не пугала...

Что же касается правительства, то, хотя подобное предложение было для него и несколько накладным, но было зато вполне близким и понятным по духу. В 1871 году оно пошло навстречу тем, кто стремился обеспечить свое положение за счет государственного жалованья, четко определив оклады по всему причту: от 144 до 240 рублей для настоятелей храмов и от 48 до 80 рублей для псаломщиков. Это было, пожалуй, наиболее значительное из преобразований; прочие реформы носили вторичный характер. Самое главное, что взаимоотношения между церковью и государством не только остались прежними, но, пожалуй, зависимость Церковного бытия от государственной власти еще усилилась.

...В каком же состоянии вступила русская Православная церковь в XX век — век великих потрясений? Вместо подведения итогов сошлюсь на одно художественное произведение, вызвавшее в свое время множество откликов и продолжающее поражать своею эмоциональной силой и по сей день, — на рассказ Чехова с характерным названием «Кошмар».

Сюжет этого рассказа прост и трагичен. Молодой, деятельный, хотя и не слишком умный «непременный член по крестьянским делам присутствия» Куин, собирающийся играть в своих краях видную роль, не может побороть своей неприязни к одному из местных священников, отцу Якову. «Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице» отец Яков вызывает у Кунина презрение. «Ранее Куин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке, ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство»<sup>26</sup>.

По мере знакомства со священником неприязненное чувство к нему, подкрепляемое все новыми впечатлениями, постоянно растет. Служба в церкви... «Отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидким баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто...» При этом дьячок в церкви служил больной и глухой, что приводило к печальным недоразумениям: «Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уже дьячок поет свое, или же отец Яков уже кончил, что нужно, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу». Дьячу подтягивает маленький мальчик — «в довершение неблаголепия», поскольку пел он «высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон». Ощущение убогости всего происходящего без следа рассеивает молитвенное настроение, овладевшее было Куниным при входе в дряхлую сельскую церковь. «Жалуются на падение в народе религиозного чувства... — вздохнул он. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!»<sup>27</sup>

Общение в обыденной сфере усугубляет презрение Кунина к священнику. Он зашел к отцу Якову в его жилище, которое «снаружи ничем не отличалось от крестьянских изб, толь-

ко солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели за-  
навесочки»; внутри все та же скучность, та же убогость...  
Глиняный пол, стены оклеены дешевыми обоями, мебель,  
глядя на которую «можно подумать, что отец Яков ходил по  
дворам и собирал ее частями...». Чая, на который рассчиты-  
вал непременный член, он у священника так и не дождался.  
Не дождался Куний и проявления интереса к тому вопросу,  
который его чрезвычайно занимал — о церковно-приходской  
школе. Зато отец Яков, постоянно навещающий Кунина, про-  
являет устойчивый и чрезвычайно раздражающий молодого  
человека интерес к его чаю, кренделькам...

Между тем все эти и многие другие недостойные черты  
отца Якова имеют одну причину, которая выясняется в его ис-  
поведи Кунию — исповеди о скучном поповском бюджете.  
Оказывается, что, получая с прихода 150 рублей в год, он боль-  
шую часть денег отдает консисторским мздоимцам: «...Я еще в  
консисторию за место свое не выплатил. За место с меня две-  
сти рублей положили, чтобы я по десяти в месяц выплачивал».  
40 рублей ежегодно уходит на обучение брата в духовном уни-  
верситете. Три рубля отец Яков выдает каждый месяц спившемуся  
старику священнику, занимавшему раньше его место... Вот и  
все. Денег нет у отца Якова вообще; он и попадья его обрече-  
ны на жизнь скучную, голодную, разве что сосед крендельком  
пожалует... Нищета, по христианскому учению, не порок, а  
благо, но вместить это благо дано не всякому... А причт в по-  
давляющем большинстве своем состоял из обычных людей, и  
оставалось лицам духовного звания лишь восклицать, напо-  
добие отца Якова: «Совестно! Боже, как совестно! Не могу,  
гордец, чтобы люди мою бедность видели!.. Стыжусь своей  
одежды, вот этих латок..., риз своих стыжусь, голода... А при-  
лична ли гордость священнику?»<sup>28</sup>

На современников рассказ Чехова произвел сильное впе-  
чатление<sup>29</sup> — схожее с тем, какое произвел чуть позже напи-  
санный знаменитый «Припадок». Так же, как и в этом случае,

против содержания «Кошмара» никто не возражал — возразить было нечего... Уже тогда, в 1880-х, читатели стали привыкать к редкой способности Чехова показывать противоверстественную жуть явлений, давно ставших привычными и обыденными.

Однако и «непременного члена» можно понять: «...Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: „Благослови, владыко! Хорош владыко!..“»<sup>30</sup>. Против этого не поспоришь: таким священник быть не может, не должен... И ведь страждущий, полуголодный, несчастный о. Яков был, наверное, далеко не худшим — именно вследствие несчастий своих. «Сытые», по горло ушедшие в земные дела батюшки — лучшими ли «духовными отцами» были они для своей паствы?.. Нищета телесная и куда более страшная нищета духовная беспощадно разъедали священство, сводили на нет как силу учительствующую, руководящую духовно. А между тем демонический и кровожадный XX век был уже на пороге...

Конечно же, одним «кошмаром» суть дела не определить. И в XVIII–XIX веках православная вера порождала удивительных по силе духа, по глубине веры людей. Правда, касалось это прежде всего черного духовенства — монашества, находившегося по отношению к батюшкам в особом положении. Но и здесь проявление подобных сил было редчайшим исключением. Трудно согласиться с А. В. Карташевым, когда он, показав дела Петровы по отношению к Церкви во всей их силе и безобразии, писал: «Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно ответило ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского, еще через 50 лет — св. Серафима Саровского, через новые 50 лет — святителей Феофана Затворника, старца Амвросия Оптинского и целого потока оптинцев». И далее: «...следует дать отставку устаревшей, односторонне пессимистической оценке сино-

дальнего периода и увидеть в нем высшее, исторически-восточное выявление духовных сил и достижений русской церкви»<sup>31</sup>.

Однако самое беглое знакомство с жизнью и деятельностью перечисленных Карташевым подвижников убеждает: все они стали тем, чем стали, не благодаря, а вопреки синодальной системе. Всем им пришлось пережить великое множество трудностей, а нередко и прямых гонений, преодолеть великое множество препятствий, искусственно воздвигаемых на их пути синодальной бюрократией.

Православная вера жила и спасалась этими людьми, но не Петра за них надо благодарить... Великий царь сделал, казалось, все, чтобы подобные явления стали невозможными, сделал все, чтобы обескровить Церковь, бюрократизировав ее, превратив в подчиненную, служебную часть своего «регулярного государства». И законным плодом его преобразований являлись не старцы и святители, а полунищее, приниженное и обессиленное в делах своих духовенство.

1995

# ГРАД СОКРОВЕННЫЙ...

То, что интеллигенция и народ в пореформенной России были предельно далеки от взаимопонимания, хорошо сознавалось уже тогда. Постоянные попытки преодолеть эту мучительную для интеллигенции отчужденность от своих «корней» к серьезным результатам в общем-то не приводили. Мы не видим необходимости обращаться в этой статье к истории поисков контактов с народом — как духовных, так и более практических, — которыми было насыщено бытие русских образованных людей, начиная с 70-х годов XIX века. Отметим лишь, что ощущение почти полного равнодушия, с каким встречал народ всю эту многотрудную деятельность, постепенно становилось в интеллигентной среде все более сильным. Наиболее рельефно это ощущение было выражено, пожалуй, Г. И. Успенским в начале 1880-х годов: «Не суйся!»<sup>1</sup>.

Осознание того, что народ в своей повседневной трудовой жизни совершенно не нуждается в интеллигенции, для значительной ее части, настроенной на восторженное служение этому народу, было настоящей трагедией. Тем большее значение, казалось бы, должны были приобретать те редкие «прорывы» из обыденности, в которых народ обнаруживал свои собственные духовные устремления, пусть и совершенно не схожие с устремлениями людей образованных. Все равно возможность контакта, взаимопонимания возрастала, казалось бы, при этом во много раз.

В XIX веке подобными явлениями российская действительность не баловала, но все же они бывали. Одному из них, поистине уникальному, посвящена эта статья.

\* \* \*

Тема, которую нам предстоит затронуть, сложна и многогранна. Ядром ее является одна из самых выразительных и трогательных народных легенд — «Сказание о невидимом граде Китеже». Весьма серьезное, обстоятельное исследование этого сказания было проведено в свое время В. Л. Комаровичем, к работе которого мы и отсылаем заинтересованного читателя<sup>2</sup>. Для наших же целей достаточно дать лишь абрис легенды и некоторых связанных с ней сюжетов.

Единственным источником, содержащим эту легенду, является «Книга глаголемая летописцем. Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже». Соответственно своему названию она состоит из двух частей. Первая — «Книга глаголемая...», написанная в форме летописного известия, сообщает о легендарных событиях, связанных с нашествием Батыя на Владимиро-Сузdalскую Русь. В соответствии с «Книгой», великий князь Георгий Всеволодович не погиб, как было в действительности, в битве на реке Сити (1238), а бежал от татар в град Китеж, скрытый в заволжских лесах на берегу Светлояр-озера. Там Георгий в конце концов был настигнут Батыем и убит, а дружина его подверглась окончательному разгрому. Однако Китеж при этом стал невидимым, каковым и пребывал в последующие времена<sup>3</sup>. Вторая часть — «Повести и взыскания...» — посвящена возвеличиванию сокровенного града как чуть ли не единственного на Руси места спасения истинно верующих.

К «Книге» и «Повести» вплотную примыкает еще одно вполне самостоятельное произведение «Послание к отцу от сына», в котором исчезнувший из семьи отрок утешал родителей известием о том, что он пребывает в святом монастыре, «невидимой дланью господней» скрытом от недостойных. Это «Послание», по мысли тех, кто распространял его, должно было служить еще одним, причем самым «свежим» доказа-

тельством реальности Китежа: имелось в виду, что оно прислано из монастыря, расположенного на территории сокровенного града.

И время создания всех этих произведений, и среда, из которой они вышли, весьма убедительно выяснены исследователями. Хотя корнями своими легенда о невидимом граде уходит в седую древность<sup>4</sup>, «Книга», «Повесть» и «Послание» оформились достаточно поздно — в конце XVIII века, очевидно, в среде бегунов, самой радикальной религиозной секты на Руси. Причем радикальность бегунов определялась не тем, что после реформы Никона и государство, и официальная Церковь на Руси превратились в их глазах в орудие антихриста. Подобное убеждение целиком и полностью разделяли с бегунами представители целого ряда других раскольнических толков. Однако это не мешало им идти на определенные — неизбежные, казалось бы, — контакты со «слугами антихриста»: отправлять рекрутину (позже — воинскую повинность), платить налоги, получать паспорта. Бегуны же были радикалами еще и на деле — они не давали рекрутов, не платили налогов, не признавали паспортов и т. д. Более того, чтобы ненароком не вписаться в ненавистную систему и тем самым не погубить свою душу, они находились в постоянном движении. Они стремились скрыться, бежать от греха, — а грех окружал их со всех сторон, земля и воды были пропитаны греховностью<sup>5</sup>...

Легко представить, с каким чувством ухватились идеологи секты за древнее, смутное сказание о невидимом граде — о граде, сокровенном от всех, в том числе и от государственных чиновников и от никониан-церковников. Китеж — Светлояр-озеро — оказывались единственным местом на Руси, свободным от власти антихриста, — единственным местом, где господствовала старая, истинная вера...

Легенда, возрожденная бегунами, нашла самый широкий отклик и в других сектах, многие из которых отличались от раскольнических радикалов лишь отсутствием их железной решимо-

сти и последовательности. Очевидно, уже в конце XVIII века Светлояр более чем на столетие превращается в единственное в своем роде место паломничества староверов-раскольников со всей Руси.

В системе географических координат России XIX века местоположение Китежа определилось следующим образом: от перевоза через Волгу у Нижнего Новгорода до города Семёнова — 90 верст; от Семёнова до села Владимирское (Люнда тож) — 41 верста; в полуверсте от села — озеро овальной, почти круглой формы, видное с проезжей дороги. Это и был Светлояр, на берегах которого покоился сокровенный град.

Этим путем шли к Китежу паломники-богомольцы. Светлоярские старожилы рассказывали, что народ собирался здесь «исстари»; однако «по-настоящему стал валить» только после реформы, — до того паломники разгонялись полицией, которая «после воли» ограничила свое рвение надзором за соблюдением внешнего порядка. Народ на озере появлялся с ранней весны — «как снег сойдет, так ни единой ночи без богомольцев». В целом, по подсчетам А. С. Гацкого, в конце 1870-х годов Светлояр каждое лето посещало не менее трех тысяч человек, нередко из самых отдаленных мест<sup>6</sup>.

«Светлоярская мистерия» не раз описывалась сторонними, интеллигентными наблюдателями. При этом поразительным образом менялось отношение авторов к открывавшемуся перед ними зрелищу, точнее, менялись авторы, и почти неизменным оставалось само зрелище. О «пластичности» интеллигентского восприятия речь впереди; консерватизм же раскольничей мистерии, ее повторяемость почти без перемен на протяжении долгого времени — все это позволяет нам, используя хронологически разбросанный материал, составить достаточно ясное и цельное представление о «светлоярском действии».

Основная масса паломников собиралась сюда к одному, вполне определенному дню — точнее ночи: с 22 на 23 июня,

накануне празднования Владимирской Богоматери. В ту ночь вокруг озера зажигались, мерцали, теплились мириады свечей. Вновь пришедшие богомольцы начинали свое бдение у кромки воды с истовых молитв. Затем многие, со свечой и молитвой, шли вокруг озера тропой, которая тянулась верст на пять. Обход озера этой тропой пять раз подряд зачитывался верующим как путешествие на Афон; десять — в Иерусалим. При этом паломники жадно глядывались в темные воды озера, прислушивались... По преданию, именно в эту ночь чистый сердцем, безгреховный человек мог надеяться быть приобщенным к китежской благодати — услышать звон колоколов сокровенного града, увидеть отблески, отражение огней проходившего там крестного хода. В ритуал «мистерии» обязательно входило чтение вслух «Книги глаголемой...».

Моления у вод Светлояра начинались по группам, по толкам — паломники, принадлежавшие к разным сектам, быстро находили своих единомышленников. Однако постепенно эти группы рассыпались, смешивались, и начинались бесконечные споры, составлявшие неотъемлемую, может быть, самую важную часть «светлоярского действия». К этим спорам готовились загодя, в них стремились решить свои собственные сомнения, доказать окружающим — и самому себе — свою правоту, привлечь слушателей к истинной «своей вере»... Это было единственное место в России, где в таком количестве собирались вместе «чающие движения воды» — люди, страстно стремившиеся разобраться в мучительных вопросах бытия, познать истину... Грандиозная религиозная дискуссия была по сути бесконечной. Многие агитаторы приобрели известность, обрастили слушателями, а затем — почитателями, единоверцами... «Светлоярское действие» было косвенным образом признано и официальной Церковью, которая долгое время игнорировала его как «грубое суеверие». Однако в конце XIX века на одном из прибрежных холмов была построена часовня; из Нижнего стали приезжать миссионеры со специальными ин-

структурями от Синода; соответствующие указания по организации «духовного противодействия» сектантам получали и местные священники... Тем больший, казалось бы, интерес должна была вызвать «мистерия» у тех, кто трепетно жаждал приобщиться к «народной душе», — на берегах Светлояр-озера открывались для этого поистине уникальные возможности.

Однако приходится констатировать: эти возможности были не то что упущены — они, судя по всему, долгое время просто не осознавались интеллигенцией. Можно было бы сказать, что нога интеллигентного человека не ступала на берега Светлояр-озера, если бы не десяток с небольшим наблюдателей, которые в разные времена на протяжении более чем полувека в качестве редкого исключения побывали «у стен сокровенного града». Причем характерная черта — все они, за исключением В. Г. Короленко, закамуфлированного под «странника», чувствовали себя здесь крайне неудобно, белыми воронами. «Толпа нам с непривычки кажется странной», — писала в 1902 году З. Н. Гиппиус, — не только ни одного интеллигента, но даже ни одного «под интеллигента»; не видно ни «спинжаков», ни «городских платьев»: сарафаны, сарафаны, поддевки<sup>7</sup>. Лишь в 1908 году, когда на Светлояре побывал М. М. Пришвин, положение изменилось «к лучшему»: среди мужицкой толпы он обрел-таки один «спинжак» — некоего «полупьяного субъекта, представившегося корреспондентом»<sup>8</sup>.

Впечатление столь же тотального одиночества производят и те материалы, которые стали результатом этих редких путешествий: они буквально тонут в море российской публицистики, не встречая отклика и поддержки. Большинство публикаций о Светлояре не имели продолжения, т. е. не вызывали никакого интереса в интеллигентном кругу. Характерно, что и сами авторы, как правило, узнавали о «светлоярском действе» не из предшествующих публикаций, давно забытых —

между каждой из них года, а то и десятилетия, а случайно — по слухам, от нижегородских жителей и пр.<sup>9</sup>

Это почти полное отсутствие интереса к явлению, которое, казалось бы, открывало такие небывалые возможности, само по себе чрезвычайно показательно. Оно было глубоко осознано и, на наш взгляд, совершенно верно оценено С. Н. Дурылиным, автором одного из самых значительных сочинений о Китеже. «Были эпохи русского общественного сознания, — пишет Дурылин, — когда просто неинтересно было знать, в какого Бога верит русский народ и какому служит; были эпохи, когда становилось более ли менее интересно лишь потому, что с тем, в какого Бога верит русский народ, было связано, какого он хочет правительства, какой удобен ему социальный строй, какое свойственно ему правосознание». Подобный интерес Дурылин справедливо считал недобросовестным и неплодотворным, поминая при этом Бакунина, Герцена и Огарева с их «Общим вече», Щапова, Льва Толстого... При подобном подходе, писал он, происходит не узнавание, а «подгонка» и навязывание интеллигенцией своих интересов народу, что «ничем хорошим кончиться не могло и не кончилось»<sup>10</sup>.

Подобный подход к делу закрывал путь на берега Светлояра. «Мистерия», как ей и следовало, была пронизана мистицизмом, от которого все вышеназванные деятели бегали, как черт от ладана, поскольку в нем безнадежно тонули и вопрос о социальном строе, и вопрос о правительстве... В то время как о штунде, духоборах и других рационалистических сектах и учениях было написано великое множество книг и статей, на «светлоярское действие» интеллигенция откликнулась десятком публикаций, которые в большинстве своем лишь подтверждают горькие слова Дурылина.

\* \* \*

Первое известное нам упоминание в периодической печати о граде Китеже и светлоярской «мистерии» относится еще к дореформенной эпохе. Некто Меледин, житель Нижегородской губернии, чьи публикации, как сказали бы сейчас, краеведческого характера время от времени появлялись на страницах «Москвитянина», выступил там с сообщением об этом «диве дивном». О китежской легенде Меледин имел еще самое смутное представление, «со слуха»<sup>11</sup>, однако сведения, сообщенные о «светлоярском действе» и сопутствующих ему обстоятельствах, несомненно, представляют большую ценность — хотя бы потому, что они первые и единственны за всю дореформенную эпоху. Сообщение было выдержано в несколько ерническом тоне — с позиций просвещенного человека, рассказывающего собратьям о причудах невежественной черни. Чрезвычайно характерно заключение публикации, в котором Меледин объяснил, почему он «рискнул» привлечь внимание читателей к столь явной несуразице: знакомство с «бытом здешних старообрядцев», по его мнению, «может доставить много материалов для истории, характеристики (?) и юмористики»<sup>12</sup>.

«Юмористика» вообще надолго оставалась характернейшей чертой большинства сообщений о сокровенном граде. В пореформенные времена, по мере того как интеллигенция закреплялась на позитивистских позициях, юмористическое отношение ее представителей к «этой сказке» могло лишь усиливаться. Но поскольку в то же время «просвещенное» презрение к «невежественному народу» все в большей степени сменялось подчеркнутой любовью и, более того, преклонением перед ним, ситуация складывалась нелегкая, пожалуй, не лишенная трагизма. Издеваться над тем, что свято для народа, невозможно; принять легенду о Китеже, поверить в нее — невозможно тем более. Проще всего было промолчать, проигнорировать.

В конце XIX века появились лишь две серьезные публикации о Светлояре<sup>13</sup>. В одной из них — уже цитировавшемся выше очерке А. С. Гацкого — проблема решалась тем, что автор вообще не ставил никаких проблем... Гацкий, один из самых значительных этнографов и статистиков пореформенных времен, чрезвычайно много сделавший для изучения Нижегородского края, дал чисто позитивистское описание того, что происходило на Светлояр-озере в ночь с 22 на 23 июня. По обстоятельности и добросовестности описания, по живости зарисовок разнообразных сцен и событий публикация Гацкого не имеет себе равных. Зато стремление понять, разобраться, дать оценку в ней отсутствует вовсе.

В. Г. Короленко был, пожалуй, единственным из народнических идеологов, кого всерьез заинтересовала «проблема Китежа». Недаром его в этом кругу всегда отличала широта взгляда, терпимость и живой интерес к тому, что не укладывалось в жесткие рамки идейных схем. Будучи в 1880-х годах нижегородским жителем, он не раз посещал Светлояр, присматривался, прислушивался... Все происходившее здесь было, несомненно, глубоко ему чуждо, но тем не менее обвинить Короленко в отсутствии стремления понять ситуацию никак нельзя. Уйти от ощущения нелепости происходящего он все-таки так и не смог, — это ощущение пронизывает записи его бесед с богомольцами, с окрестными жителями, его рассказ о самой «мистерии» (и здесь не обходится, конечно, без «юмористики», правда, как всегда у Короленко, сдержанной и изящной). Конечный же вывод писателя дышит печалью: «Много наивного чувства, мало живой мысли... Град взыскиемый Китеж — то город прошлого», причем прошлого «призрачного»; вера богомольцев, жаждущих обрести на берегах Светлояра истину и спасение, — для Короленко «темная вера»<sup>14</sup>. Куда ближе, понятней и привлекательней для писателя его знаменитый герой Тюлин из рассказа «Река играет»: человек много пьющий и ни во что не верящий, зато способный на

энергичное действие... Короленко недаром противопоставлял его паломникам, возвращающимся из Светлояра.

Каждому свое... Отметим в связи с вышеизложенным еще один весьма поучительный пассаж из очерка Короленко: «Есть что-то умилительное и для нас в этой легенде... Многие из нас, давно покинувших тропы стародавнего Китежа, отошедших и от такой веры, и от такой молитвы, все-таки ищут так же страстно своего „града взыскиемого“. И даже порой слышат призывные звоны. И, очнувшись, видят себя опять в глухом лесу, а кругом холмы, кочки да болота»<sup>15</sup>.

\* \* \*

Отношение к Китежу несколько изменилось в начале XX века — не могло не измениться, ибо значительная часть интеллигенции, отрекшись от позитивистского отношения к миру, бросилась на поиски «стародавних троп», которые могли бы вывести к «вере и молитве». Правда, как правило, речь шла отнюдь не о возвращении к «темной вере» русского народа, — интеллигенция творила свою религию... И все же китежский сюжет был слишком заметной вехой, чтобы его можно было безусловно миновать в этих поисках.

Одним из самых занятных эпизодов в истории духовных исканий интеллигенции этого времени явилась поездка знаменитой писательской четы — З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского, — вдохновителей и руководителей петербургских Религиозно-философских собраний, на Светлояр. Эта поездка, состоявшаяся летом 1902 года, подробно описана в дневнике Гиппиус; несколько позже Мережковский посвятил ей главу в своей известной книге «Не мир, но меч. К будущей критике христианства».

Дневник Гиппиус, посвященный «путешествию в страну раскольников», чрезвычайно выразителен: происходящая на его страницах смена нескрываемо скептического тона на са-

мый восторженный стоит крутого сюжетного поворота в талантливом литературном произведении. Первые впечатления от «мистерии» у четы были малоприятные: утомительная поездка, духота, бесконечный и неинтересный спор... «На первый раз „дух народный“ нас сморил...»<sup>16</sup>. Но прошло совсем немного времени, и Гиппиус с Мережковским перестали быть сторонними наблюдателями, оказались в эпицентре этого «бесконечного спора», и сонную одурь как рукой сняло...

Характерно, что на Светлояре к писательской чете мужиков притягивало именно то, что в других местах неизбежно оттолкнуло бы: городская одежда, интеллигентный вид и пр. Однако этого, конечно, было бы мало, но после первых же слов выяснилось, что у «пришельцев» сердце болит о том же, что и у светлоярских старожилов, — о вере... Кроме того, оказалось, что они читали одни и те же книги, говорят схожим языком — короче, способны понять друг друга. Переодетому «странником» Короленко — он, кстати, и внешне походил на крепкого, дельного мастерового, и сапоги тачал бесподобно — и двух связных слов невозможно было сказать богомольцам-раскольникам на волнующую их тему. «Стародавнюю тропу» он покинул бесповоротно... А подчеркнуто чужие, ни на кого не похожие «декадентствующие» барин с барынькой всю ночь взахлеб проговорили с «взыскующими града» и начались не могли. Недаром в дневнике Гиппиус так ясно выражено ощущение чуда: «Странный лес, странные холмы, странные люди, странный вечер! Как будто не та земля, на которой стоит Петербург...»<sup>17</sup>.

Может быть, впервые интеллигент и мужик взаимно заинтересовали и хоть в чем-то поняли друг друга... На другой день изба, где остановились приезжие, оказалась битком набитой заинтригованными сектантами, — «бесконечный спор» продолжался.

Зная некоторые характерные особенности Мережковского и Гиппиус, можно было бы усомниться в том, насколько

достоверно описание фурора, произведенного писательской четой. Однако на этот счет есть любопытное свидетельство Пришвина, побывавшего на Светлояре несколько лет спустя. Узнав, кто он и откуда, несколько богомольцев попросили — к величайшему удивлению Пришвина — «поклониться Мережскому», поблагодарить: «журналы высыпает, пишет»<sup>18</sup>. Значит, память о себе Мережковские и впрямь оставили прочную.

Им самим было хорошо понятно, что до великих свершений еще далеко, — речь пока что шла лишь о состоявшемся контакте. Но это могло быть началом пути... Во всяком случае Гиппиус в своем дневнике резко противопоставляет «культурным людям с их тараканьими интересами» тех, с кем она познакомилась на Светлояре: «Пришли со своими мыслями, со своими книгами, уйдут — целый год будут думать то и там, что унесут отсюда. И без усилий, а просто потому, что для всего их существа это важно. Так их много — и для всех один вопрос: как верить в Бога?.. Где правда? Как молиться? Решить это, а там уже все будет ясно. Это — исток. Самое главное». Те, кто на озере, пишет Гиппиус, есть часть народа, «обращенная к нам единой точкой, в которой возможно соприкосновение всех живых людей без различия — возможно истинное „слияние“». И эта точка — все. Исток всего. Жива она — все остальное может приложиться»<sup>19</sup>.

«Слияния», как известно, не произошло. Писательская чета осталась при своем, светлоярских богомольцах — при своем. Сама поездка Мережковского и Гиппиус на Светлояр не имела сколько-нибудь заметного резонанса. Мережковский выступил с докладом о Ките же на одном из Религиозно-философских собраний, упомянул о поездке в книге<sup>20</sup>. Гиппиус опубликовала дневник. Вероятно, эти материалы и личное общение с четой произвели серьезное впечатление на С. Н. Дурылина: в его небольшой, но сильно написанной книге о Ките же развиты вышеупомянутые мысли Гиппиус. Вот, пожалуй, и все...

Ну, и еще светлоярские раскольники какое-то время получали из Петербурга журналы и письма.

Удивительная ночь прошла безвозвратно, и чете литераторов пришлось возвращаться к «культурным людям», в тот мир, неотъемлемой частью которого были они сами. Поездка Гиппиус и Мережковского на берега Светлояр-озера так и осталась единственной в своем роде. Ведь вскоре всему пришел конец: и «живой легенде» раскольников, и культурному миру старой России. Революция навсегда погасила огни града Китежа. И те отрывочные, противоречивые, далекие от ясного понимания происходящего интеллигентские записи, о которых речь шла выше, остались, по существу, единственным свидетельством удивительных мистерий, разыгравшихся на берегах Светлояр-озера у села Владимирского, Люнда тож...

1995

## «УМИРИТЕЛЬ СТУДЕНТОВ»

В истории каждого народа бывают эпизоды, подобные мгновенной вспышке, пусть ненадолго, но разгонявшей тьму непонимания; эпизоды, удивительным образом проясняющие и скрытую суть истории, и характер этого народа. Последний месяц жизни Сергея Николаевича Трубецкого, первого выборного ректора Московского университета, в полной мере можно отнести к подобным эпизодам: месяц, вобравший в себя все его недолгое ректорство со 2 сентября 1905 года, скоропостижную смерть 29 сентября и поразительные по своей двусмысленности похороны 3 октября. Ровно месяц...

Этому эпизоду предшествовала короткая, но чрезвычайно насыщенная жизнь. Избегая множества эпитетов в превосходной степени, которые напрашиваются сами собой, могу лишь выразить полное согласие со следующей оценкой Трубецкого: «Он ушел из жизни рано, в возрасте 43 лет, но успел сделать для отечественной университетской культуры не меньше, чем сделал для русской литературы 37-летний Пушкин»<sup>1</sup>. Именно так. Не входя в оценку оригинальных философских трудов Трубецкого — хотя и здесь князь занимает почетное место, — можно утверждать, что в очень своеобразной и чрезвычайно важной для России университетской жизни лишь один человек, пожалуй, оставил не менее заметный след — Т. Н. Грановский (не дотянувший, кстати, даже до возраста Трубецкого — он умер в возрасте 42 лет)<sup>2</sup>.

Вне всяких сомнений, и в Московском, и в других российских университетах преподавали ученые более значимые, чем Трубецкой и Грановский, причем многие из них были пре-

красными преподавателями, яркими, обаятельными людьми. Но именно эти двое сумели ближе всего подойти к тому чрезвычайно высокому идеалу университетского профессора, который, в известной мере под их же воздействием, сложился в России. Идеал этот лежал несколько в стороне от чисто профессиональных оценок. Конечно же, научные достижения и преподавательские навыки играли в его формировании определенную роль, но отнюдь не определяющую. Мне представляется, что главные критерии носили здесь характер, скорее, близкий к сакральному. Моральная чистота, сопряженная с полным отсутствием стяжательных, карьерных и прочих низких интересов, — это требовалось во первых строках. При этом «настоящий» профессор не имел права быть эгоистом, человеком, презирающим коллег, свысока относящимся к студентам, проявляющим на людях свою злобу или просто раздражительность. От него требовалось полное подчинение своих личных интересов университетским; университетская общность должна была ощущать, что избранник отдает себя служению полностью, без остатка. И, наконец, профессор, что бы он ни преподавал, мог надеяться на общее признание только при условии приверженности к «прогрессивному» направлению. Консерватизм в любой форме не поощрялся. Соответствовать подобному идеалу было, конечно же, чрезвычайно сложно, более того, почти невозможно; ну так и призванных подвижников в этой сфере было совсем немного — всего двое<sup>3</sup>.

С. Н. Трубецкой действительно в полной мере обладал всеми качествами «идеального профессора». Человек безупречной порядочности, он был наделен к тому же редким обаянием, которое в равной степени действовало и на коллег, и на студенчество, и на чиновников министерства просвещения, и даже на Николая II. Московскому университету он предался полностью. Поступив сюда учиться в 1882 году, князь практически не расставался с университетом до конца своей недолгой

жизни. В 1885 году Трубецкой был оставлен на кафедре философии, стал приват-доцентом, а затем и экстраординарным профессором<sup>4</sup>. При этом на протяжении всей своей деятельности он не просто работал в университете — он жил, растворялся в нем, нередко в ущерб своим собственным интересам. Университету он в конечном итоге пожертвовал всю свою жизнь, причем не только в переносном, но и в самом печальном, прямом смысле этого слова...

Эта предельная поглощенность университетской деятельностью полностью соответствовала характеру Трубецкого, всем его склонностям. О князе можно было сказать то же, что в свое время говорили о Грановском: он тоже являлся «профессором по преимуществу». Однако у Трубецкого, так же как у Грановского, работа в университете имела еще и мощное идеологическое обоснование. Оба профессора, чрезвычайно гармонично организованные, стремились претворить эту гармонию и в свои дела, и в окружающее их мироздание. Именно этим стремлением к гармонии, к сглаживанию острых углов, примирению вопиющих противоречий предопределялся их чрезвычайно умеренный, лежавший вне четких политических доктрин либерализм. Для них обоих это было не столько политическое учение, сколько мировоззрение, даже образ жизни, сориентированный на терпимость, компромисс, стремление к взаимопониманию. Хорошо представляя себе суть «проклятых вопросов», терзающих Россию, и Грановский в 1840-х, и Трубецкой в 1890-х–начале 1900-х гг. огромное значение придавали общему состоянию, настрою тех, кому предстоит эти вопросы решать. И Грановский, преподававший всемирную историю, и Трубецкой, специалист по древней философии, от грядущих преобразований России ждали духовной глубины, ясного понимания общих законов бытия и — обширных, универсальных знаний. Все это, с их точки зрения, могло дать только хорошо поставленное университетское образование. Поэтому и сами они всю свою недолгую жизнь от-

дали университету, и университет этот пытались сделать как можно более соответствующим тем высоким целям, которые перед ним ставились.

При этом перед Трубецким открывалось сравнительно больше возможностей. Хотя значительная часть его университетской деятельности так же, как у Грановского, пришлась на период реакции, но все же 1890-е годы — не 1840-е. Даже во время царствования Александра III гласное обсуждение университетских проблем было в принципе возможно. В первые же годы правления Николая II на страницах либеральных изданий началась борьба за пересмотр реакционного университетского устава 1884 г., в которой Трубецкой принял самое активное участие. В ряде статей, самой яркой из которых была «Университет и студенчество», он предельно ясно высказался по этому поводу.

В отличие от большинства других либеральных авторов, панацею от всех бед видевших в выборности профессорской коллегии, Трубецкой решительно отодвигал этот вопрос на задний план. «...Фактически, — писал он, — при скудности наших ученых сил, самый личный состав наших университетов был бы и при выборном порядке приблизительно тем же, что и теперь»<sup>5</sup>. Определяющим же для создания полноценной университетской автономии Трубецкой считал решение вопроса об организации студенчества и налаживании живых, плодотворных связей между учащимися и профессурой.

Характеризуя состояние современного университетского строя как «старческий маразм», как «глубокое распадение и дезорганизацию», Трубецкой писал: «Вместе с тем, в стенах этого одряхлевшего университета возникло нечто вроде младотурецкой партии в лице централизованной студенческой организации. Это юные университетские младотурки образовали как бы свой особый университет, со своими особыми руководителями, со своими практическими и непрактическими занятиями, со своей особой наукой — университет вольный и

бесшабашный и по-своему довольно прочно организованный на совершенно антиакадемических началах»<sup>6</sup>.

Из «живой корпорации» университет превратился в сочетание бездушной «бюрократической коллегии» с революционным подпольем... Подобное положение дел Трубецкой считал естественным результатом воздействия устава 1884 г., направленного на полное уничтожение студенческого сообщества, раздробление его на отдельные «учащиеся единицы», поставленные под полный контроль университетского начальства — причем контроль сугубо запретительный. Студенческие организации любого характера либо запрещались в принципе, либо подвергались немыслимым ограничениям.

Между тем Трубецкой ясно видел и убедительно доказывал, что землячества, кружки самообразования, общества взаимопомощи и прочие организации совершенно неизбежны в студенческой среде. Излишние строгости и ограничения в этой сфере, введенные уставом 1884 года, заставляли студентов заниматься этими делами полулегально, а то и совсем нелегально. В результате в университете воцарялась нездоровая атмосфера, которую всегда порождают мелочные запреты. Наиболее активная часть студенчества почти неизбежно становилась во враждебные отношения с университетским начальством. Все это создавало самую благоприятную почву для политической пропаганды, превращая людей, пришедших учиться, в бунтарей-разрушителей.

Единственный разумный выход из критической ситуации состоял, по мнению Трубецкого, в том, чтобы дать свободный ход студенческим инициативам, разумно и умело направляя их в чисто академическое русло. Для этого, с одной стороны, следовало снять ненужные и просто вредные запреты; с другой — и это касалось уже непосредственно профессуры — необходимо было наладить со студенчеством своего рода сотрудничество, выйдя за рамки лекционных курсов, всемерно поощряя тягу юношества к самообразованию.

\* \* \*

Свои идеи Трубецкой пытался по мере возможности провести в жизнь уже в конце 1890-х годов. В это время им был организован небольшой кружок при историко-филологическом факультете «под эгидой практических занятий по философии истории». «В нем, — вспоминал один из членов кружка А. И. Анисимов, — читались и обсуждались рефераты на темы, не укладывавшиеся в узкие рамки специальных факультетских требований, и таким образом предполагались скорее цели самообразования молодежи и свободного общения студенчества с профессорами, чем задачи подготовки ученых специалистов».

Помимо Трубецкого на занятиях кружка преподавал также очень авторитетный и любимый студентами профессор П. Г. Виноградов. Характернейшей чертой деятельности кружка было то, что его собрания проходили только по вечерам, «под покровом тайны», по словам Анисимова<sup>7</sup>. Эти сугубо академические, бесконечно далекие от политики занятия, освещенные авторитетом виднейших ученых, тем не менее вызывали подозрения начальства, воспринимавшего их как едва допустимую «вольность». Оснований для подозрений студенты, углубленные в изучение трудов Платона и Аристотеля, не давали никаких, но начальство волновал сам факт: «Всякая попытка сближения между учащими и учащимися рассматривалась как достойная замечания новизна»<sup>8</sup>.

Испытание начальственным подозрением кружок тем не менее выдержал, правда, существование ему пришлось вести камерное — круг его членов был, очевидно, очень невелик, туда попадали только избранные. Однако опыт живого общения «на ниве самообразования» оказался очень полезным не только для студентов, но и для их руководителя. Трубецкой завязал тесные отношения с тем, к сожалению, далеко не самым представительным слоем студенчества, которое пришло серьезно учиться.

Все это позволило князю сделать новый, куда более решительный шаг по намеченному пути: 6 октября 1902 года в большой физической аудитории Московского университета при огромном стечении студенчества и в присутствии многих профессоров произошло торжественное открытие Историко-филологического общества. Это общество продолжало дело кружка на значительно более серьезном уровне. При многочисленности участников у него была хорошо продуманная структура — организационный центр и отделения по курсам; доклады и рефераты отличала самая широкая тематика. Ничего подобного в российских университетах не было с середины 1880-х годов. Добиться открытия общества Трубецкому, очевидно, помог все тот же кружок, доказавший университетскому начальству несомненную пользу подобных начинаний. Для него должен был убедительно прозвучать главный довод, высказанный Трубецким в обращении к ректору по поводу создания общества: «Оно будет содействовать объединению лучшей части студенчества историко-филологического факультета на почве чисто академических интересов, а тем самым окажет благотворное влияние и на сторонников академического порядка в других факультетах»<sup>9</sup>.

Деятельность этого общества еще ждет своего исследователя<sup>10</sup>, но, надо думать, в какой-то степени Трубецкому удалось выполнить поставленную задачу. Правда, как замечает Анисимов, ставший одним из главных помощников князя в организационной работе, «масса студентов держалась выживательной тактики по отношению к незнакомой организации»<sup>11</sup>.

Если бы речь шла только о завоевании симпатии аморфной студенческой массы, то можно не сомневаться, что руководимое Трубецким Общество справилось бы с этой задачей без особого труда. Однако положение было куда сложнее. Новорожденное Общество сразу же оказалось между двух огней; тот разлом университетской жизни, сущность которого так

ясно показал в своих статьях Трубецкой, прошел как раз по его детищу...

С одной стороны, начальство, разрешив создание Общества, до конца ему не доверяло. Анисимов вспоминал о постоянных «внушениях и замечаниях» с этой стороны Трубецкому, которые князь, как правило, «оставлял при себе». Но «старотурки», используя терминологию Трубецкого, были все же не так опасны. Судя по всему, университетское начальство боялось того, чего боится любая бюрократия: скандалов политического характера, неприятной огласки в печати<sup>12</sup> и прочих «беспорядков». При условии их отсутствия начальство Общество терпело и в его работу не вмешивалось.

«Младотурки» были гораздо деятельнее... Болезнь, поразившая русское студенчество, весь ужас которой так хорошо сознавал Трубецкой, зашла в это время уже очень далеко... Учащаяся молодежь была политизирована до предела; в университетах же — в особенности. Чрезвычайно распространенной и постоянно пропагандируемой являлась следующая точка зрения: в условиях самодержавного строя никакая серьезная университетская реформа невозможна — да и не очень-то нужна... Главная задача студенчества — всеми силами поддерживать пролетариат в его борьбе с существующим строем. Нужно сделать все, чтобы университет стал одной из главных арен этой борьбы. Для этой цели хороши любые скандалы, конфликты с начальством, профессурой и т. п. Те же, кто пытается в данных условиях всерьез учиться, да еще и выходя при этом за рамки необходимого минимума, суть штрайкбрехеры, и ни на что, кроме осуждения и шельмования, им рассчитывать не приходится.

Всю прелесть подобного подхода к делу и руководству, и рядовым членам Общества пришлось ощутить почти сразу же после открытия. В университете стали распространяться листовки, в которых оно расценивалось «как громоотвод политических ударов, сооруженный на собственные средства ми-

нистерства просвещения», а его руководители, и прежде всего «искушенный в житейской мудрости князь-философ» трактовались как жалкие прислужники высших властей. Ко всем «честным студентам» авторы листовок обращались с одним призывом: «Плюньте на эту игру в общественность и соединяйтесь в революционные организации»<sup>13</sup>.

Этим нападкам Трубецкой пытался противопоставить свои излюбленные идеи о плодотворности сближения профессуры и студенчества, их живого общения в научной работе. «Нужна солидарность, нужно доверие, нужна общественная дисциплина...». Авторитет Трубецкого среди «академистов» был чрезвычайно велик; противостоять его уму и обаянию с помощью прямолинейных революционных призывов было достаточно сложно.

Однако в 1903 году, подорвав свое здоровье запойной, без отдыха, работой и университетскими дрязгами, Трубецкой вынужден был на время уехать за границу. В его отсутствие «политики» пошли по пути прямых провокаций, стремясь произвести на заседаниях Общества скандал, который привел бы к его закрытию. Учитывая настороженное отношение университетских властей к этой организации, подобную тактику нельзя было не признать многообещающей... Трубецкой, который, и находясь за границей, продолжал поддерживать с «академистами» самые тесные связи, в одном из писем призывал «кучке радикалов противопоставить кучку преданных обществу лиц, которые... соединились бы для того, чтобы оградить общество от гибели, клятвенно обязавшись его поддерживать». При этом князь призывал «организоваться десятками или восьмерками», продумать тактику сопротивления и пр. ...Поразительная ситуация, в которой человек, до глубины души ненавидевший всякую «секретность и нелегальщину», вынужден создавать чуть ли не подпольную организацию! И для чего? Для того чтобы отстоять свое право вместе со студентами изучать историю и философию...<sup>14</sup>

И все-таки в том же 1903 году Общество стало приходить в упадок. С одной стороны, его доконали «политики» — постоянное шельмование и провокации с их стороны становились непереносимыми. С другой стороны, сами обстоятельства русской жизни поворачивались такой стороной, что научная работа, самообразование и т. п. неизбежно отходили на задний план. Но в контексте избранной темы вся эта история имеет особый, исполненный глубинного трагизма смысл — она по сути дела явилась предвестником крушения всех начинаний Трубецкого и его собственной гибели.

\* \* \*

В 1904 году началась Русско-японская война. Осенью в связи с несчастным для России ходом этой войны начались волнения в обществе, в том числе и массовые беспорядки в университетах. Затем 9 января 1905 года — кровавое воскресенье, потрясшее всю страну, и первая русская революция с каждым днем стала набирать свою силу...

В это смутное время многие люди, в принципе весьма далекие от политики, оказались волей-неволей вовлечеными в ее орбиту. В их числе был и С. Н. Трубецкой. Как писал его друг и биограф Л. М. Лопатин, привычная для князя идея об ответственности народа за свое правительство заставляла его с особой мукой переживать позор Русско-японской войны. «Уже давно волновавшая его мысль о необходимости немедленных и коренных реформ облекалась в совершенно жизненную и конкретную форму. Она терзала его и мучила, она будила его по ночам и не давала спать, она заставила его покинуть тихий кабинет ученого и превратила его в политического деятеля с всемирной известностью»<sup>15</sup>.

Действительно, после своей «конституционной» речи 6 июня 1905 г. перед царем от лица земско-городской депута-

ции Трубецкой стал известен если не всему миру, то всей России<sup>16</sup>. Не вдаваясь в подробную оценку этого хорошо известного эпизода русской истории, отметим лишь, что речь была произнесена с обычными для Трубецкого искренностью и сдержанностью. Тревога за судьбы страны сквозила в каждом ее слове, и в то же время в ней не было обычного для либеральных политиков противопоставления себя правительству, как общественного деятеля. Созыв народного представительства, к которому, как к единственному возможному выходу, призывал Трубецкой, напротив, должен был, по его убеждениям, всемерно способствовать установлению взаимопонимания между властью и обществом. Подобная сдержанность вкупе с подчеркнутым уважением к царю вызвала резко негативные оценки не только в революционной, но и в либеральной печати<sup>17</sup>. Но, с другой стороны, именно эти качества речи обеспечили «дружественный ответ»<sup>18</sup> Николая II, склонного давать резкий отпор любым попыткам силового давления. В данном же случае царь, очевидно, почувствовал добрую волю говорившего.

Благоприятное впечатление, произведенное Трубецким на Николая II, было замечено современниками. Ходили даже слухи, что Трубецкому уготовано кресло министра просвещения. До этого дело не дошло, и все же влияние князя сказалось: соответствующая записка, поданная им Николаю II, сыграла свою роль во введении знаменитых временных правил 27 августа 1905 года, предоставивших высшим учебным заведениям весьма широкую автономию в духе излюбленных идей Трубецкого. Профессура получила право выбирать университетское начальство и самостоятельно решать все внутриуниверситетские вопросы; студенчество — право создавать свои корпоративные организации, собираясь для обсуждения своих корпоративных дел.

Вопрос о том, кто будет первым выборным ректором Московского университета, практически не стоял: авторитет

Трубецкого был несомненен даже для консервативно настроенной профессуры. Князь, уже замученный к тому времени болезнями, баллотироваться все-таки не отказался и 2 сентября был избран значительным большинством голосов. Избрание это было встречено и университетом, и всей образованной Россией с энтузиазмом. Сам Трубецкой сразу же после выборов держал перед своими коллегами речь, исполненную оптимизма: «Мы отстоим университет, если сплотимся. Чего бояться нам? Университет одержал великую победу. Мы получили разом то, чего желали, мы победили силы реакции. Неужели бояться нам нашего общества, нашей молодежи?»<sup>19</sup> Увы, на этот, казалось бы, чисто риторический вопрос ближайшее будущее дало положительный ответ. Именно ее, «нашей молодежи», политизированной до предела, потерявшей верные жизненные ориентиры, и следовало бояться...

Высшие учебные заведения, в которых воцарилась теперь свобода собраний, стали своего рода оазисами среди городских пустынь, где любые митинги и собрания беспощадно разгонялись полицией и казаками. Естественно, что митингующие хлынули под их гостеприимные кровли, тем более что по новым правилам появление полиции на университетской территории дозволялось только в исключительных случаях. Впрочем, этот гибельный для высших учебных заведений процесс носил отнюдь не стихийный характер.

Почти сразу после принятия временных правил ЦК социал-демократической партии выпустил прокламацию, в которой обращался к студентам со следующими словами: «Нет, не заниматься согласно уставу и „применительно к подлости“, то есть программам и данным официальной науки, будете вы, а свободно изучать и выяснить свое отношение ко всем волнующим Россию вопросам... Вы используете аудитории и все удобства, которые доставляют учебные заведения, чтобы совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к

вооруженному восстанию — этому единственному исходу русской революции. Долой самодержавие! Долой Государственную Думу! Да здравствует народное восстание!

Да здравствует всенародное Учредительное собрание!»<sup>20</sup>

По сути, это был призыв к превращению университетов и прочих учебных заведений в политические клубы — и тем самым к уничтожению их как учебных академических заведений. Хуже всего было то, что призывы подобных прокламаций нашли отклик у значительной части студенчества, с головой окунувшегося в революционную стихию. Член лекторской группы ЦК РСДРП(б), известный впоследствии ученый Н. А. Рожков с удовольствием вспоминал, как он разгромил студентов-академистов, «несомненно инспирированных ректором князем Трубецким», на огромном митинге, на котором решалась судьба университета. Основная масса собравшихся поддержала «партийное решение» об отказе от занятий и использовании университета и других учебных заведений Москвы в чисто политических митинговых целях.

В аудитории Московского университета хлынул взбудораженный люд... Все усилия Трубецкого навести порядок, избегая радикальных средств, были обречены на неудачу. Между тем московские власти воспринимали уже университет как один из главных источников беспорядков. Избегая нарушать установленную законом автономию, они сконцентрировали войсковые части напротив главного университетского здания — в манеже. Подобное противостояние было чревато самыми трагическими инцидентами, причем Трубецкой, со свойственной ему остротой восприятия, заранее считал виноватым себя... Его мечта о свободном университете воплощалась в жизнь в самой страшной фантасмагорической форме.

«Помню, — писал Андрей Белый, — последнее его появление с усилием „спасти“ автономию; тщетно; в стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы; шел турнир:

эсеров с эсдеками; Трубецкому не дали договорить; уронив на кафедру руки и упираясь на них, он глазами, полными слез, оглядывал море тужурок: „Эх, господа!“ И, махнувши рукой, вышел он»<sup>21</sup>.

\* \* \*

22 сентября 1905 г. С. Н. Трубецкой своей властью закрыл университет. В сообщении управляющему Московским учебным округом он достаточно ясно характеризовал ситуацию и объяснял причины своего решения — решения, которое еще три недели назад выглядело фантастическим, совершенно невозможным... Этот текст стоит того, чтобы процитировать его подробнее. «Вчера вечером, — писал Трубецкой, — в университет вошла толпа свыше 3 000 человек и заняла насильственно аудитории юридического корпуса». Студентов университета в этой толпе, по словам князя, было меньшинство; в основном рабочие, а также учащиеся других заведений, гимназисты, женщины. Начался очередной митинг, с самыми революционными лозунгами и призывами. Между тем, сообщал князь, «градонаучальник поставил в манеж батальон Екатерининского полка с боевыми патронами, два жандармских эскадрона и 3 сотни казаков, предупредив меня, что будет действовать оружием в случае каких-либо манифестаций на улице». При той атмосфере, которая царила в университетских аудиториях, возможность подобных манифестаций представлялась Трубецкому более чем вероятной. «Ввиду постоянных вторжений в университет массы посторонних лиц и систематических нарушений советских постановлений<sup>22</sup>, а также ввиду непосредственной опасности кровавых столкновений, я пришел к заключению, что университет необходимо закрыть на несколько дней». Комиссия Совета университета единогласно поддержала князя, после чего он отдал распоряжение о временном закрытии уни-

верситета со ссылкой на статью 17 Общего устава российских университетов, предоставившей в случае крайней необходимости такое право ректору.

Можно только догадываться, каких душевных сил стоило Трубецкому принять это решение, несомненно приблизившее его кончину. Ведь ему в силу жестокой необходимости приходилось рушить то, о чем он мечтал на протяжении всей своей университетской деятельности! Русское общество в лице разнообразных своих представителей в свою очередь постаралось добавить желчи в чашу, которую предстояло испить князю. В правых и бульварных газетах появились инсинуации, авторы которых прямо обвинили Трубецкого в трусости и безответственности. Так, например, по поводу жестокой инфлюэнзы, которая свалила его в сентябре, в разгар университетской смуты, прямо писали: «ректор заболел вовремя». Ответственность за закрытие университета полностью и безоговорочно возлагалась на Трубецкого<sup>23</sup>. Левые шли еще дальше, именуя князя не иначе как «либеральным холопом» и возлагая на него ответственность и за стачки рабочих Москвы, последовавшие вслед за закрытием университета, и за «кровавые злодеяния» полиции в борьбе с забастовщиками<sup>24</sup>... То, что Трубецкой спас от почти неизбежного кровопролития массу несмышеной молодежи, естественно, никого не волновало. Князя явно превращали в козла отпущения.

Трубецкой не собирался сдаваться. 27 сентября он выехал в Петербург с одной вполне определенной целью: представить министру просвещения В. Г. Глазьеву постановление университетского совета от 27 сентября, автором которого был, конечно же, сам князь. Суть постановления сводилась к следующему: чтобы избавить высшие учебные заведения от наплыва желающих митинговать, необходимо «указование свободных общественных собраний и обеспечение личной неприкословенности» в масштабах всей России. Это было, конечно же,

логично: для того чтобы островки свободы не захлестывало океаном бесправия, рекомендовалось осушить океан...

Впрочем, в конце сентября 1905 г. подобное требование не выглядело ни вызывающим, ни неисполнимым. Характерно, во всяком случае, что князь, который, по отзывам всех, кто встречался с ним в это время, выглядел совершенно измученным и больным, 29 сентября был принят министром весьма благожелательно. В более чем часовой беседе Трубецкой поведал Глазьеву о событиях в университете и представил постановление Совета. Поскольку решение вопроса о введении свободы собраний от министра просвещения никоим образом не зависело, Глазьев, очевидно, обещал передать его в соответствующие инстанции. Во всяком случае, промелькнувшие впоследствии в левой печати и листовках сообщения о «травле», которой Трубецкой якобы подвергся в приемной министра, не имели под собой ни малейших оснований. Более того, Глазьев тут же предложил князю принять участие в совещании по выработке нового университетского устава. Поскольку на этом заседании стоял вопрос по поводу студенческих организаций, чрезвычайно близкий Трубецкому, князь не мог удержаться от соблазна, хотя наверняка чувствовал себя плохо. На этом совещании он, используя свой богатый опыт, «дал самые подробные разъяснения, оспаривая редакцию некоторых положений, и произвел на всех поразительно симпатичное впечатление своей простотой, искренностью тона, ясностью мыслей и глубокой тонкостью ума»<sup>25</sup>.

Это было последнее публичное выступление князя... Глазьев прекратил заседание, заметив, что у князя вдруг изменился голос, он стал говорить невнятно — явно был не в себе. «Последним движением князя была попытка вручить министру несколько прошений студентов Варшавского университета о переводе их в Москву, причем С. Н. успел сказать: „Карман мой полон такими прошениями... Да, они будут довольны,

они успокоятся". После этих слов Трубецкой потерял сознание. Князя отправили в Еленинскую клинику, где он и умер в бессознательном состоянии. Вскрытие показало «громадное кровоизлияние в мозг», в котором было обнаружено более 120 гр. запекшейся крови. Сосуды головного мозга Трубецкого вообще находились в ужасном склеротически-перерожденном состоянии. Профессор Л. Блюменау, проводивший вскрытие, сделал заявление, что склероз подобной силы в 40-летнем возрасте редкость и может быть объясним лишь как результат „тяжких умственных волнений и потрясений”<sup>26</sup>.

\* \* \*

Так Трубецкой завершил свой жизненный путь, последние недели которого были действительно полны тягчайших потрясений, причем далеко не только умственных... Казалось бы, то, что произошло после его кончины, должно было послужить этому замечательному человеку достойным воздаянием: подобные похороны в России случались нечасто. По самым скромным оценкам, вынося тела князя из Еленинской клиники ожидали около 50 тысяч человек. В Москве Трубецкого провожали к университетской церкви, затем несли домой, на Знаменку, и затем на кладбище Донского монастыря не меньше 100 тысяч человек. Все это производило сильное впечатление — особенно по контрасту с полным почти одиночеством Трубецкого в самую тяжелую для него пору, в сентябре 1905 г., накануне смерти.

К сожалению, не может быть сомнений, что из многих тысяч лишь единицы по-настоящему скорбели о смерти князя и лишь немногие более или менее представляли, кого хоронят. Подавляющее большинство собралось отпевать очередную «жертву царизма». Похороны князя в значительной степени явились хорошо организованной политической демонстрацией.

Накануне 2 октября, когда его тело должно было быть отправлено в Москву, петербургский комитет РСДРП принял постановление, которое могло бы поразить своим цинизмом, если бы не было проявлением обычной для революционных и оппозиционных партий «философией борьбы»: все средства хороши для того, чтобы доставить неприятности ненавистному самодержавию. «...Предложено молодежи и рабочим явиться на похороны в возможно значительном числе. Признавая открытую демонстрацию по этому поводу нежелательной, комитет убеждал своих единомышленников соблюсти полный порядок, но своим присутствием наглядно показать всю ту силу, которая готова для борьбы с правительством»<sup>27</sup>.

Таким образом, и для сторонников социал-демократов, и, надо думать, для подавляющего большинства других собравшихся на похороны — все они были чьи-нибудь сторонники — это был не более чем повод для демонстрации своей оппозиционности. Лишним доказательством этому являлись многочисленные венки от совершенно неожиданных отправителей, среди которых была и группа артиллеристов, и Комитет санкт-петербургской мясной биржи, и бакинские мусульмане, и служащие в управлении ссудно-сберегательных касс, и Комитет общества по распространению православия среди евреев России, и прочая, и прочая... Апофеозом этого вечернего потока являлся венок от петербургских рабочих с характернейшей надписью: «Не дождался, голубчик, свободы»...

Венки были украшены лентами красного цвета, который Трубецкому никогда не был близок; хоронили князя под пение революционных песен, которых он сам никогда не пел. И многочисленные речи, произнесенные над его могилой, и еще более многочисленные некрологи, появившиеся после его кончины в печати, — все, как правило, были выдержаны в казенно-антиправительственном тоне, в духе системы штампов и стереотипов, прекрасно разработанной свободомысля-

щим российским обществом. Дождем сыпались выражения типа: «светлые и свободные убеждения», «борец с бюрократизмом», «философ-идеалист и защитник прав гражданина». Главную суть подавляющего большинства речений и писаний лучше всех, пожалуй, выразил в своем выступлении студент Зак: «Виновник смерти С. Н. один — это существующий строй, при котором не может быть свободной науки и ее бескорыстных служителей...»<sup>28</sup>. О том, что он вместе со всем московским студенчеством не в меньшей, если не в большей степени, чем «проклятое самодержавие», повинен в смерти своего первого выборного ректора, выступавшему, конечно же, и в голову не приходило. В духе этих речей совершились и соответствующие поступки. Хотя до прямых столкновений с полицией дело не доходило — в значительной степени потому, что полиция в данной ситуации соблюдала редкий для себя такт, стараясь не вмешиваться в ход событий, — однако венок из белых орхидей, присланный царской семьей, был демонстративно растоптан несколькими недорослями...

Поразительным диссонансом всем этим статьям и речам, общей политизированной атмосфере звучат строки из воспоминаний Анисимова, искренне и глубоко любившего князя. Он встречал тело Трубецкого в Москве на Николаевском вокзале. «...Какие-то люди бегали по крыше вагона, кричали, жестикулировали: им аплодировали. Все были заняты чем-то своим»<sup>29</sup>. Анисимов пишет, с какой тоской ощущал он недостойную суету этих похорон, в которых все, какказалось, преследовали свои, не имевшие никакого отношения к трагической кончине князя цели. Огромное скопление народа еще больше усугубляло тоску: «Если бы даже они все как один запели свой похоронный марш, они не вернули бы его к жизни...»<sup>30</sup>. И где-то подспудно рождалась мысль: может быть, они этого и не хотят; может быть, Трубецкой всем им нужен именно мертвым...

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из записки наместника на Кавказе И. И. Воронцова-Дашкова на имя Николая II. «В г. Зугдиди Кутаисской губернии 21 октября 1905 г. в городской церкви по настоянию агитаторов Акобия и Шенгелая была отслужена панихида по кн. С. Н. Трубецкому. После богослужения в церкви толпа с криками „Да здравствует республиканский образ правления!“ выкинула красный флаг. Попытка толпы направиться в город была пристановлена появлением казаков»<sup>31</sup>.

1995

# ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ ИМПЕРИИ

**Герой.** Человек, совершивший подвиги мужества, доблести, самоотверженности.

*Академический словарь русского языка*

Петр Аркадьевич Столыпин ворвался в сановную элиту России и занял в ней определяющее место воистину стремительно, вопреки правилам и нормам. В 1902 году сорокалетний Столыпин начал службу «по административной части», получив назначение на пост гродненского губернатора<sup>1</sup>; в 1903 — был переведен на аналогичную должность в Саратов. В апреле 1906 года — стал министром внутренних дел в правительстве И. Л. Горемыкина. 8 июля того же года, в день распуска I Государственной думы (им же инспирированного) Столыпин сменил Горемыкина на посту председателя Совета министров, возглавив, таким образом, правительство Российской империи.

Между тем, на протяжении двух столетий, с петровских времен, продвижение по лестнице чинов и должностей в России, при всех привходящих обстоятельствах, определялось прежде всего пресловутой «выслугой» — чем больше годков «бесспорочной службы» у тебя в прошлом, тем больше шансов занять вожделенный пост. Занять же пост главы правительства в 44 года, после всего четырех лет службы на местном, губернском уровне — подобного карьерного взлета российская бюрократия, пожалуй, еще не знала. Какой же силы должны были быть «привходящие обстоятельства» в этом случае!..

К тому же надо учесть, что Петр Аркадьевич, представитель старого, заслуженного дворянского рода, известного с конца XVI века, сам никогда не был «на виду». Волею судеб всю свою жизнь, вплоть до назначения в Саратов, он почти безвыездно провел на западной окраине империи, в Литве<sup>2</sup>. Определенные связи в верхах у него, конечно, были — в первую очередь, благодаря женитьбе на Ольге Борисовне Нейдгардт. Клан Нейдгардтов, игравший заметную роль при дворе, поддержку Столыпину, несомненно, оказывал. Был и целый ряд других факторов, способствовавших высокому назначению Столыпина — например, совершенно неожиданный интерес к его кандидатуре временщика Д. Ф. Трепова, имевшего в то время огромное влияние на царя.

Расположение звезд совершенно неожиданно оказалось благоприятным... Сейчас, задним числом, кажется, что появление этого человека во главе правительства носило характер провиденциальный, шло вразрез с привычным ходом чиновничих дел, сметая мишуру закулисных расчетов и раскладов. Так, кстати, воспринял свое назначение и сам Столыпин, не сделавший ни малейшего сознательного усилия, чтобы войти в этот крутой виток своей карьеры. «Меня вынесла наверх волна событий...» — писал он. А его ближайший сотрудник и в своем роде конфидент, С. Е. Крыжановский отмечал: «Достигнув власти без труда и борьбы, силою одной лишь удачи и родственных связей, Столыпин всю свою недолгую, но блестящую карьеру чувствовал над собой благую руку Проведения». Воистину, Столыпин места не искал — место нашло его... И сейчас представляется очевидным, что едва ли в правящих кругах того времени можно было отыскать кого-то другого, способного справиться с кошмаром первой революции и сделать все возможное для предотвращения второй — так, как это сделал Столыпин.

Именно революция сотворила этого неожиданного главу правительства — и себе, и ему на погибель... Летом 1906 года,

назначая Столыпина председателем Совета министров, Николай II, очевидно, сумел распознать в этом человеке те качества, которые в традиционном царском окружении почти не проявлялись. Ум, деловитость, способность к холодному расчету и к дерзкой интриге — все это было, пусть и не в изобилии. Но чрезвычайные обстоятельства, в которые попала страна, требовали еще и другого: в разгар революции, когда стенка шла на стенку и бойцы друг друга не щадили, самодержец нуждался уже не в дельцах и интриганах, а в героях. Со стороны революции их было видимо-невидимо; постоянно ошибавшийся в людях царь на этот раз сумел сделать достойный выбор, противопоставив революционерам поединника, не уступавшего им ни в чем — ни в мужестве, ни в доблести, ни в самоотверженности.

\* \* \*

Столыпин пришел к власти, когда страна находилась на грани хаоса. На этой грани удалось удержаться с огромным трудом и многими потерями. Позади остались жуткие весна и лето 1905 года, когда революция неотвратимо шла по восходящей, охватывая все новые территории и слои населения; еще более страшная осень со всеобщей политической стачкой, почти полностью парализовавшей власть; когда декабрьское вооруженное восстание в Москве грозило стать так же, как и стачка, всеобщим и тогда — конец самодержавию!

Весной 1906 года стало очевидно, что та действительно серьезная уступка, на которую до последнего не хотел идти и все-таки пошел Николай II — манифест 17 октября, обещавший созыв Государственной думы с законодательными полномочиями — сыграла свою благую роль. Значительная часть населения, захваченного революционной волной, настроилась на передышку, питая надежды на то, что невиданный в России «парламент», где будут заседать народные избранни-

ки, сможет с миром, через законодательную работу решить все насущные проблемы. Соответственно, некоторую передышку получила и власть — напор революционного движения, почти непреоборимый в 1905 году, в 1906 несколько ослабел.

Ослабел, но не иссяк. Массовые крестьянские волнения, рабочие стачки и демонстрации продолжались, пусть и с меньшим размахом. Сведения о терактах против представителей власти появлялись в печати чуть ли не каждый день. На военно-морских базах Балтики в Свеаборге и Кронштадте революционеры готовили грандиозные восстания солдат и матросов, каждое из которых ставило под серьезный удар Санкт-Петербург, столицу Российской империи. И что, может быть, было особенно страшно — революционное движение все ярче разгоралось на окраинах, до того относительно спокойных: на Украине, в Прибалтике, в Закавказье.

Дальше — больше: I Государственная дума, собравшаяся весной 1906 года, совершенно не оправдала надежд власти... Хотя трудно понять, на что, собственно, власть надеялась. Избранная на основе весьма демократичного закона о выборах, принятого в декабре 1905 года, Дума состояла в значительной степени из депутатов, настроенных по отношению к царю и его правительству совершенно непримиримо. Тон в ней задавали представители последовательно либеральной кадетской партии<sup>3</sup> и трудовики — беспартийные представители демоса, прежде всего крестьянства. Дума сразу же потребовала всеобщей амнистии для политических преступников и стала готовить проекты радикальных реформ — прежде всего опять-таки крестьянской. Деятельность правительства с думской трибуны постоянно подвергалась самой резкой критике, отзвуки которой расходились по всей стране. Вместо орудия успокоения Дума на глазах превращалась в источник новой смуты.

Между тем власть использовать передышку, подаренную манифестом 17 октября, толком не сумела. Первый «консти-

туционный» глава правительства, граф С. Ю. Витте, реальный автор этого манифеста, являл собой яркий тип именно дельца и интригана — чрезвычайно, впрочем, одаренного. Опережая свое время, он вел политику вполне в духе современных буржуазных демократий — интриговал, двурушничал, организовывал закулисные переговоры с представителями «общественности», рассыпал несбыточные обещания и тому подобное. В самодержавной империи, переживавшей серьезный кризис, подобная «передовая» политика неизбежно должна была выйти боком. Не добившись ничего похожего на стабилизацию положения и подорвав и без того весьма нестойкое доверие к себе со стороны Николая II, Витте был вынужден выйти в отставку.

Сменивший его И. Л. Горемыкин, престарелый бюрократ, позже сам сравнивавший себя с «шубой, вытащенной из сундука и проветренной от нафталина», был полной противоположностью своему предшественнику. Верность престолу Горемыкин хранил образцовую, а Думу и саму революцию считал, судя по всему, неким недоразумением, которое он в качестве главы правительства склонен был игнорировать... Проще говоря, его политика сводилась к почти полному бездействию, что в преддверии новой революционной волны было еще опаснее, чем подозрительная хлопотливость Витте. Совершенно очевидно, что в этот час испытаний Николай II — и весь тот строй жизни, который он воплощал в своей персоне, — нуждался в главе правительства особого рода, свободном от недостатков своих предшественников. Николаю нужен был человек преданный и деятельный. Витте совершенно не отвечал первому условию, Горемыкин — второму. Следует, правда, иметь в виду, что в той ситуации, в которую Россия попала в начале XX века, сочетание этих двух качеств, проявляемое в конкретной государственной деятельности, было смертельно опасным. Надо думать, это хорошо понимали все заинтересованные лица.

\* \* \*

Столыпин должен был обратить на себя внимание высших кругов своей деятельностью в Саратовской губернии — иначе никакие родственные связи, никакое покровительство не привели бы его к министерской должности. Не вдаваясь в подробности этой деятельности, которую мы знаем в основном по письмам и отчетам самого Столыпина и немногим воспоминаниям современников, можно говорить, очевидно, о том, что она была вполне реальной, достаточно разумной и относительно результативной.

Эти качества особенно ярко проявлялись в 1905 году, который вообще проверил на прочность власть в России, всю — сверху донизу. И на губернском уровне — так же, впрочем, как и на столичном — многие представители власти этой проверки не выдержали. Были губернаторы и градоначальники, которые в борьбе с террором жгли дома ни в чем не повинных обывателей и усмиряли рабочие и крестьянские волнения исключительно свинцом. Были и такие, которые без всякого сопротивления сдавали свою власть различным революционным и общественным организациям. Столыпин в этих условиях показал себя человеком деятельным, бесстрашным — готовым в поисках компромисса выйти в одиночку к толпе взбунтовавшихся крестьян; склонным к жестким мерам, если компромисса все же достичь не удавалось... Характерно, впрочем, что эсеровские боевики, взявшие на себя роль мстительниц-эриний, на этом этапе деятельности Столыпина претензий к нему не предъявляли<sup>4</sup>.

Очевидно, царя и его ближайшее окружение привлекли в Столыпине именно эти качества — энергия и разумная жесткость, особенно ценные в то время, когда значительная часть правящей бюрократии была полностью выбитой из привычной колеи стихийным разворотом событий. И все же назначение Столыпина поначалу воспринималось в верхах как сме-

лый эксперимент, который мог завершиться в любой момент — новому министру внутренних дел каждый день нужно было доказывать царю свою деловую состоятельность. И он каждый день делал это с блеском.

Прежде всего выяснилось, что Столыпин — чуть ли не единственный член правительства, способный с достоинством противостоять Думе. Высокие сановники, привыкшие к плавному ходу бюрократических дел, чинным заседаниям в разнообразных комитетах и комиссиях, как нечто само собой разумеющееся воспринимавшие беспрекословное повинование своих подчиненных, самым жалким образом терялись в демократической обстановке «русского парламента»: лохматые шевелюры и бороды народных ораторов, шокирующие косоворотки, поддевки, пиджаки и, главное — совершенно невозможные в чиновничьей среде речи.

Речи эмоциональные, злые, на повышенных тонах и к тому же — постоянные выкрики с мест, прямые оскорбления...

Для подавляющего большинства представителей власти выступления в Думе, объяснения своих действий в ходе ответа на думские запросы, защита своей позиции в открытой полемике с яростными оппонентами — все это было пытке подобно. Столыпин же, судя по всему, в этой атмосфере сгущенной ненависти чувствовал себя на удивление свободно. Возможно, сказывалась практика общения с толпами саратовских крестьян... Он оказался незаурядным оратором, способным не только выражать свои мысли живо, ясно и смело, но и находить четкие формулировки, сводя их иной раз к одной-двум фразам, к нескольким словам, облетавшим затем всю Россию. Самым ярким примером тому стало знаменитое выступление Столыпина во II Думе, когда в ответ на откровенные угрозы со стороны левых депутатов Столыпин, заканчивая свою короткую речь, как хлыстом ожег враждебную аудиторию: «Не запугаете!».

Впечатление, которое производил Столыпин на думской трибуне, прекрасно выразила А. В. Тыркова-Вильямс — эти строки ценные тем более, что они написаны принципиальной противницей самодержавия, видным либеральным деятелем, членом ЦК кадетской партии. «Высокий, статный, с красивым мужественным лицом, это был барин и по осанке, и по манерам и интонациям. Говорил он ясно и горячо. Дума сразу насторожилась. В первый раз из министерской ложи на думскую трибуну поднялся министр, который не уступал в умении выражать свои мысли думским ораторам. Столыпин был прирожденный оратор. Его речи волновали. В них была твердость. В них звучало стойкое понимание прав и обязанностей власти. С Думой говорил уже не чиновник, а государственный человек. Крупность Столыпина раздражала оппозицию. Горький где-то сказал, что приятно видеть своих врагов уродами. Оппозиция точно обиделась, что царь назначил премьером человека, которого ни в каком отношении нельзя было назвать уродом. Резкие ответы депутатов на речи Столыпина часто принимали личный характер. Во второй Думе у правительства уже было несколько сторонников. Но грубость и бес tactность правых защитников власти подливала масла в огонь. Они не помогали, а только портили Столыпину. В сущности... только он был настоящим *паладином власти* (выделено мной. — А. Л.).

...Я сказала во фракции:

— На этот раз правительство выдвинуло человека сильного и даровитого. С ним придется считаться».

\* \* \*

Но, конечно же, главным достоинством Столыпина как главы правительства было то, что он смог предложить Николаю II и всей стране уникальную в своем роде программу спасения. У Столыпина, несомненно, было очень четкое осознан-

ние причин, которые привели Россию в состояние жуткого хаоса. И, в отличие от подавляющего большинства защитников самодержавия, он признавал, что причины эти имеют вполне объективный характер.

В документах, исходивших от него как от министра внутренних дел, Столыпин констатировал: революция — это «болезнь внутренняя» и вылечить ее только «внешними лекарствами» невозможно. Здесь Столыпин самым коренным образом расходился со взглядами правых, черносотенцев, главной опоры трона. В этой среде революция трактовалась именно как болезнь исключительно «внешняя», как результат злонамеренной агитации «антигосударственных элементов» — интеллигентов и представителей разнообразных национальных меньшинств, прежде всего евреев. Соответственно, лекарства рекомендовались исключительно «внешние» — репрессии, репрессии и еще раз репрессии. Столыпин же говорил и писал о том, что в России существует целый ряд совершенно реальных, жизненно важных и невероятно запущенных вопросов, прежде всего — крестьянский; отказ от их последовательного решения порождал и будет порождать впредь массу недовольных, то есть революционизировать страну. Единственное надежное средство избежать этого — серьезные, хорошо продуманные реформы.

Черносотенная точка зрения была, в принципе, гораздо ближе Николаю II. Однако 1905 год даже очень последовательного в своей неприязни к коренным реформам царя должен был убедить в том, что одними репрессиями обойтись невозможно. Столыпин, кстати, подкупал его тем, что от «внешних лекарств» отнюдь не отказывался. Его знаменитое заявление: «Сначала порядок, потом реформы» — заставило царя, мечтавшего о наведении порядка, скрепя сердце согласиться и на реформы.

При этом совершенно очевидно, что в своей реформаторской деятельности Столыпин был жестко ограничен вполне

определенными рамками; это касалось прежде всего двух наиболее важных и болезненных вопросов российского бытия — государственного строя и положения крестьян.

1. Царь готов был терпеть Думу, но при условии, что он остается самодержцем, то есть реально управляет страной. Деятельность «русского парламента», таким образом, должна была быть формализована — а это требовало изменить его демократический состав на более «приличный», цензовый.

2. В отношении крестьянского вопроса царь был решительным противником каких бы то ни было насильственных конфискаций помещичьей земли. Решая крестьянские проблемы, нельзя было, таким образом, затрагивать помещичьи интересы.

Подобные подходы, судя по всему, были близки и самому Столыпину — поместному дворянину и монархисту; соблюдать поставленные условия он готов был по добной воле — хотя в таком контексте реформаторская деятельность приобретала черты магии и чародейства. Тем не менее Столыпин уже в 1906 году, в разгар революции, начинает разрабатывать план преобразований, привлекая к этому делу людей малоизвестных в бюрократических сферах, но, несомненно, дальних и талантливых — особенно выделялся в этом отношении вышеназванный С. Е. Крыжановский.

Однако прежде всего следовало навести порядок.

\* \* \*

Совершенно очевидно, что, с государственной точки зрения, подобный подход был единствено правильным: проводить какие бы то ни было серьезные реформы в условиях революционного хаоса, уступая самому беспардонному најиму слева, означало признание правительством своей слабости. Подобная политика могла привести его к полному краху — по мере уступок сверху демократия, как правило, входит во все

больший вкус... Столыпин сознавал это предельно ясно. Поэтому в 1906–1907 годах реформы его штабом готовятся и, более того, начинают проводиться в жизнь, но — репрессивные меры в столыпинской внутренней политике того времени безусловно преобладают.

Тут, очевидно, необходимо небольшое отступление общего характера. Как известно, за последние двадцать лет наши оценки великого множества явлений, событий и деятелей прошлого поменялись — нередко совершенно фантасмагорически, диаметрально, вплоть до чисто формальной замены знака «–» на знак «+» и наоборот. Причем нередко эти крайние, несовместимые, несправедливые в обоих случаях оценки проставлялись и проставляются одними и теми же людьми... Историческая истина — цель, наверное, недостижимая, все мы ее коверкаем, и автор, например, свои собственные слабости в этом отношении сознает очень хорошо. И все же стремиться к ней, к истине, совершенно необходимо, иначе изучение истории теряет всякий смысл, иначе история как наука бесследно исчезает, превращаясь в злокачественную мифологию, для которой нет объектов изучения, а есть лишь объекты славословия или обличения.

Все написанное выше имеет прямое отношение к Столыпину — мало какой другой русский государственный деятель преподносился столь различно в близкие друг к другу, смежные эпохи. Еще совсем недавно Столыпин был воплощением зла, вдохновителем и проводником «самой черной реакции» — других изобразительных средств, кроме дегтя, советские историки в отношении его не признавали. Сейчас портрет Столыпина сияет сусальным золотом и небесной лазурью; выражение лица на нем исключительно благостное — определенными кругами в СМИ раскручивается процесс, практически неотличимый от канонизации... Между тем, Столыпин не был ни злодеем, ни святым. Он был человеком, выведившим несчастную, больную страну из состояния жесточайшего кри-

зиса. Он был бойцом, хорошо понимавшим, с кем и за что он сражается. И бойцом совершенно беспощадным...

Судя по многим материалам, связанным с личностью Столыпина, он отличался от подавляющего большинства царских сановников, помимо всего прочего, еще и очень живым восприятием действительности; никогда не абстрагируясь от того, что делал, — то есть очень хорошо представляя реальные последствия всех своих предприятий, он готов был нести за них полную ответственность. Такие подходы — не всегда, но как правило — связываются в нашем сознании с умением сопереживать, то есть с человечностью. Это редчайшее в сановной, насквозь формализованной среде качество Столыпина не раз проявлял на ранних этапах своей карьеры — в Саратовской губернии, в частности; и это качество он почти полностью теряет, став во главе правительства...

Указать на это необходимо. С одной оговоркой — представляется, что то великое множество жестокостей, которые совершились под ответственность Столыпина, были не столько виной, сколько бедой премьера. Знак зла, знак взаимной ненависти и насилия определял тогда все государственное бытие России. Бороться со злом мерами исключительно благими — подобное до сих пор воспринимается как утопия. Об этом приятно мечтать «на отдалении»; погружаясь же в пучину зла, ты почти неизбежно, во спасение, начинаешь принимать его правила игры.

Между тем, с ужасами революции Столыпину пришлось очень скоро столкнуться не только в само собой разумеющейся общегосударственной сфере, но и на личном и потому особенно болезненном опыте. Под удар попал он сам и, главное, то, что во многом определяло для Столыпина понятие счастья, — его семья.

\* \* \*

12 августа 1906 года, через месяц после роспуска I Государственной думы и назначения Столыпина главой правительства, к его даче на Аптекарском острове подкатило ландо с двумя жандармами и одним человеком в штатском. У Столыпина был обычный прием посетителей — премьер работал без отпуска. Когда приезжие попытались войти в приемную, их остановил швейцар, обративший внимание на некоторое несоответствие в форме офицеров (вариант: швейцар заметил, что у одного из офицеров борода — накладная). Вызвало подозрение и то, что каждый из приезжих держал в руках явно нелегкий портфель.

Преодолев сопротивление швейцара, приезжие ворвались на дачу и, столкнувшись с охраной Столыпина, с криком: «Да здравствует революция!» бросили свои портфели на пол. Раздался мощный взрыв, которым дачу премьера буквально разметало.

В результате этого, наверное, самого безумного теракта за всю историю русской революции, богатой безумными терактами, было убито 27 человек, в том числе, естественно, и три террориста (по другим данным, 32 человека были убиты и 22 ранены)<sup>5</sup>. Среди людей, пострадавших совершенно невинно — многочисленные посетители с просьбами, прислуга и тому подобное, — были дети Столыпина: трехлетнего Аркадия ранило, но он, правда, скоро поправился, а вот пятнадцатилетней Наташе раздробило обе ноги, и она на два года потеряла способность передвигаться.

Сам Столыпин остался цел и невредим — волею судеб его кабинет оказался единственным помещением на даче, не пострадавшим от взрыва. Однако, как отмечали близкие к премьеру люди, это событие очень изменило его, наложив отпечаток на всю последующую деятельность столыпинского правительства. Признавал это и сам премьер, отвечавший на

упреки, что он изменяет привычной для себя гуманности: «Да, это было до бомбы Аптекарского острова, а теперь я стал другим человеком».

Действительно, о какой-то, хотя бы относительной, гуманности Столыпина, начиная с августа 1906 года, говорить не приходится. Победа над революцией любыми средствами становится в это время главной его задачей. Со свойственной ему энергией и последовательностью он ведет борьбу со своими противниками по всем возможным направлениям.

\* \* \*

Прежде всего, революционера надо было выявить, выследить, арестовать... Знаменитая царская охранка (отделения по охране общественного порядка и безопасности, действовавшие с 1903 года во всех губерниях), и без того обладавшая огромными негласными полномочиями и работавшая в своем роде результативно, получила при Столыпине и новые импульсы к действию, и надежное прикрытие. Дело в том, что некоторые методы, практикуемые охранкой, были явно противозаконными; и прежде всего, это касалось провокации, ставшей в начале XX века краеугольным камнем в ее работе. Внедряя своих сотрудников в революционное подполье, охранное начальство заведомо закрывало глаза на их последующую антигосударственную деятельность: во имя повышения авторитета и приобретения власти в подполье провокаторам, по сути, разрешалось все: от постановки подпольных типографий до убийства царских министров — и все это совершенно безнаказанно. Самый прославленный российский провокатор, многолетний агент охранки Евно Азеф приобрел огромный авторитет в эсеровской партии, возглавив ее Боевую организацию и удачно проведя несколько терактов против высокопоставленных сановников. Подобные деятели — и Азеф в первую очередь — предоставляли ценнейшую информацию,

которая позволяла манипулировать революционным движением, — но ведь и цена-то была какова!

Охранное начальство эту цену — чужой кровью<sup>6</sup> — платило охотно; видимо, не смутила она и Столыпина. В 1909 году, после разоблачения Азефа, вызвавшего небывалый скандал и в революционных кругах, и в высших сферах, Столыпин вынужден был давать по этому поводу объяснения в III Думе. Так вот, охранников, которые по определению не могли не знать, чем занимался их подопечный наряду с доносительством, премьер взял под защиту — безоговорочно, хотя для этого ему пришлось идти на очевидную, заведомую ложь... Своим авторитетом он в какой-то мере приглушил скандал — и окончательно развязал руки «охранцам». Так что в грядущей гибели Столыпина от руки очередного провокатора была своя логика.

Арестовывая своих противников сначала тысячами, а затем десятками тысяч, власть отправляла их в места заключения. И здесь столыпинское правительство стало наводить порядок, которым в царской тюрьме ранее и не пахло — за исключением нескольких «образцовых заведений», вроде Шлиссельбургской «государевой тюрьмы» или Алексеевского равелина в Петропавловской крепости. Так, например, Лукояновская тюрьма в Киеве в 1905 году, в разгар революции, поражала самих заключенных предоставленными им «свободами»: двери камер практически не запирались, что позволяло широко общаться, устраивая настоящие партийные собрания; на тюремном дворе в общей компании курили, греясь на солнышке, приговоренные к смертной казни; побеги совершались почти каждый день... Подобное положение дел было, конечно, случаем крайним, но в целом беспорядок в этой сфере преобладал.

Столыпин предельно ужесточил режим — и в тюрьме, и на каторге. Знакомясь с соответствующими материалами, приходишь к выводу, что правительство в это время стремится не

просто изолировать, а по возможности физически уничтожить своих политических противников. Когда один из помощников начальника Бутырской тюрьмы Надеждин (в конце концов убитый заключенными в ходе совершенно безнадежного бунта) встречал новую партию узников словами: «Живыми вы отсюда не выйдете», — он знал, что говорил. И в Бутырке, и в Орловском централе, приобретшем страшную славу сразу же после своего открытия, в Псковской тюрьме, знаменитых петербургских «Крестах» — везде специально подобранные тюремщики делали все возможное для того, чтобы как можно раньше свести своих подопечных в могилу. С этой целью практиковались невиданные раньше массовые избиения политических заключенных; на них натравливали уголовников, их бросали в карцеры, где сознательно создавались невыносимые условия — убийственная сырость, невероятная духота или, наоборот, жуткий холод<sup>7</sup>. Жертвы тюремного террора обычно назывались в официальных отчетах умершими от «пневмонии». Если же тюрьма не убивала, то она, как правило, калечила на всю оставшуюся жизнь.

\* \* \*

Но, пожалуй, главным «ноу-хау» Столыпина, его своеобразной визитной карточкой в глазах общественности стали военно-полевые суды. Вообще, казалось бы, суд и до Столыпина был под почти полным контролем правительства — в отношении политических дел, по крайней мере. Еще с конца 1870-х годов основная масса этих дел передавалась в ведение военно-окружных судов. В отличие от «штатского» суда присяжных в них заседали специально отобранные офицеры-строевики, всегда готовые вынести «политику» максимально суровый приговор. Однако сама процедура судопроизводства носила достаточно цивилизованный характер: во внимание принимались результаты предварительного следствия, обви-

няемый пользовался услугами адвоката, имел право на апелляцию и тому подобное. Все это делало судебный процесс довольно длительным и в то же время давало хоть какие-то надежды на справедливый приговор. Противники революции в высших кругах и на местах считали подобное судопроизводство совершенно излишней либеральной роскошью. Они настаивали на введении суда скорого и беспощадного.

Столыпин счел эти требования оправданными. 19 августа 1906 года, ровно через неделю после взрыва на Аптекарском острове, им был подписан указ о военно-полевых судах. Рассмотрению этих судов подлежали такие дела, в которых «преступление представлялось совершенно очевидным», — что избавляло от необходимости вести какое бы то ни было расследование. Судопроизводство по таким делам ограничивалось 48 часами; приговор должен был быть приведен в исполнение в 24 часа.

Очевидно, нет необходимости доказывать, что введение подобных судов открывало путь для самого неограниченного произвола «по всей линии» — от решения властей передать то или иное дело в военно-полевой суд и до вынесения приговора. Приговоры здесь сплошь и рядом не соответствовали реальной виде подсудимого; хуже того — нередко и вины-то никакой не было... Наряду с революционерами в орбиту военно-полевых судов попадало множество случайных людей по обычным в хаосе тогдашней русской жизни недоразумениям: кого-то задержали неподалеку от места преступления с листовкой в кармане, сунутой туда по рассеянности; или обнаружили у него на руках подозрительные следы (порох?); кого-то арестовали «в поздний час при подозрительном поведении и без документов» и так далее. Самое незамысловатое расследование могло бы выяснить непричастность многих этих людей к революционному движению, но расследования-то как раз и не полагалось. А приговор военно-полевые суды выносили жестокие... Да и какие еще здесь могли быть приговоры,

если подсудимый еще до суда заведомо признавался преступником?

Современники сразу же дали свое определение этим судам — «скорострельная юстиция». Сам Столыпин в узком кругу говорил, что это «тяжелый крест, который он вынужден был нести в силу необходимости». Деятельность военно-полевых судов продолжалась относительно недолго<sup>8</sup>. Однако военно-окружные суды, снова вышедшие после этого на первый план, по конечным результатам своей деятельности в столыпинские времена не очень-то отличались от «скорострельных». Статистика смертных казней в эти годы ликвидации военно-полевых судов практически «не заметила»: в 1906 году было казнено 144 человека, в 1907 — 1139, в 1908 — 825, в 1909 — 717. Итого за 1906 — 1909 годы — 2825 человек, в среднем 58–59 казней в месяц. И только в 1910 году, через три года после окончания революции, эта страшная кривая резко идет вниз.

Для России, где смертная казнь была отменена еще Елизаветою Петровной в середине XVIII века, все это было непривычно. Конечно, елизаветинский указ носил формальный характер — после него казнили и Пугачева, и декабристов, и народовольцев... И все-таки казни противников режима долгое время были явлением исключительным; при Столыпине же, по удачному выражению В. Г. Короленко, смертная казнь стала «бытовым явлением». Конечно, это объяснялось не столько жестокостью конкретного правительства, сколько общей ситуацией в России — такого количества явных противников у самодержавия никогда еще не было. Достаточно сказать, что количество представителей государственной власти — от министра до городового, — погибших от рук революционеров, вполне соответствует количеству жертв военных судов — тоже около 3 тысяч. Однако в восприятии этих насильственных смертей русским обществом была большая разница.

...В 1907 году в своем выступлении в III Думе один из самых ярких кадетских ораторов Ф. И. Родичев употребил весьма выразительную фигуру речи: назвал петлю-удавку «столыпинским галстуком». Реакция премьера была совершенно в его духе — он немедленно вызвал Родичева на дуэль (поступок, несомненно, рыцарский и с бюрократической точки зрения самоубийственный: достаточно было Родичеву принять вызов и вне зависимости от дальнейшего хода дел Столыпин автоматически получал отставку). Кадет, для которого подобные действия главы правительства оказались, судя по всему, совершенно неожиданными, предпочел принести извинения. Но сути дела это не меняло.

Своим ставшим крылатым сравнением Родичев выразил мнение общественности. В контексте общественного восприятия источником гибели представителей власти было в конце концов некое достаточно абстрактное явление — революция. «Он погиб от рук революционеров...» — имена конкретных исполнителей мелькали одно за другим, путались, забывались... Но в отношении «жертв самодержавия» в эту эпоху все воспринималось предельно персонифицированно — их убивал Столыпин.

Это был действительно тяжелый крест, который премьер брал на себя сознательно — другими средствами, с его точки зрения, навести порядок было невозможно. Он прибегал к самым жестоким мерам вынужденно и прятаться ни за чью спину не собирался. Крови на нем было много — это Столыпин сознавал очень хорошо. В одной из своих думских речей он призывал не путать кровь на руках палача и врача — но едва ли противники правительства способны были откликнуться на этот призыв. Ведь этот хирург резал по живому... Имя Столыпина в эти годы для многих стало символом жестокости и насилия.

\* \* \*

Как бы то ни было, порядок Столыпин навел. Рассуждения на тему, возможно ли это было сделать другими, более гуманными средствами, представляются нам праздными. К началу лета 1907 года стало ясно, что революция выдохлась — власть восстановила порядок на всей огромной территории Российской империи. Пришло время реформ...

Но, прежде всего, нужно было решить принципиально важный вопрос о государственном строе послереволюционной России. Столыпин, с благословения Николая II, распустил одну за другой две Думы, созданные по избирательному закону, принятому в декабре 1905 года. Было очевидно, что с этими, демократическими по своему составу органами, в которых социальное большинство было за крестьянами, а политическое — за либералами-kadетами, власть существовать, а тем более сотрудничать не может. Избирательный закон надо было менять.

В условиях, когда от только что одержанной победы у многих сторонников самодержавия кружились головы, в высших кругах предлагались очень смелые решения. Поскольку сам по себе созыв Думы рассматривался там исключительно как уступка царя, вырванная у него ненавистными революционерами, то сам бог велел, по мнению правых, разгромив революционеров, от этой уступки отказаться — то есть ликвидировать «русский парламент» в принципе. Царь дал, царь и взял...

Столыпин считал такое решение крайне неразумным, поскольку, по его твердому убеждению, революция — «болезнь внутренняя» — не умерла, а лишь затихла. Неосторожными действиями ее легко можно было пробудить вновь. Отказ же от созыва Думы, на которую значительная часть населения по-прежнему возлагала надежды, был бы самым неосторожным из всех подобных действий. В этом Столыпину, судя по всему, удалось убедить и самого Николая II.

Думу нужно было сохранить, но сделать ее послушной. В окружении Столыпина разрабатывалось несколько проектов нового избирательного закона, с помощью которого правительство собиралось смонтировать «удобную» Думу. Один из этих проектов, самый последовательный, в высших кругах откровенно назывался «бесстыжим». Царь, ознакомившись с предложенными ему Столыпиным вариантами, заявил: «Я за бесстыжий проект...»

Нужно признать, что и сам новый избирательный закон, и те меры, с помощью которых он был проведен в жизнь, — все это действительно носило характер достаточно циничный. Закон был принят 3 июня 1907 года в день распуска II Думы, естественно, без всякого думского обсуждения, волею верховной власти. Между тем в знаменитой статье 87, позволяющей правительству принимать законы в промежутках между распуском одной Думы и созывом другой, содержалось одно исключение, и касалось оно именно закона о выборах — вносить в него изменения можно было *только с согласия Думы*. Таким образом, правительство Столыпина совершенно откровенно нарушало новое русское законодательство. Недаром вся эта акция получила название «третьеиюньского государственного переворота».

Самого Столыпина, судя по всему, совесть по этому поводу совсем не мучила. Было очевидно, что, пожертвовав законом, он получает в свое распоряжение Думу совершенно удивительную, сказочную... Смонтировать Думу просто послушную — на это в условиях победы над революцией особого ума не требовалось; но польза от такой «тихой», никому не интересной Думы была бы односторонняя: поддерживать к ней какой-то интерес в массах, отвлекая их тем самым от бунтарских настроений, не представлялось возможным. Но III Дума, собравшаяся в том же 1907 году, никак не производила впечатление тихой — напротив, она бурлила, конфликовала, скандалила; эпизод с

выступлением Родичева был одним из многих подобных. И в то же время эта Дума с поразительной легкостью одобряла практически все указы, которые правительство вносило на ее обсуждение. Просто чудо какое-то...

Это чудо достигалось нехитрой, но хорошо продуманной комбинацией. Состав III Думы был подобран таким образом, что в отличие от I и II Дум никак не мог породить единого устойчивого большинства. В нем были две ярко выраженные противостоящие силы, которые в совокупности своей вполне соответствовали столыпинской формуле: «Сначала порядок, потом реформы». Правые, черносотенцы, составлявшие примерно треть нового состава Думы, готовы были обеими руками голосовать за любые меры, связанные с наведением порядка, то есть репрессивные; и с большой неприязнью относились к любым сколько-нибудь серьезным реформам.

Им противостояла другая треть либерально настроенных депутатов во главе все с теми же кадетами. Решительно выступая против репрессий, они с интересом, хотя и не без оговорок, присматривались к столыпинским преобразованиям, прежде всего в аграрной сфере. На их голоса вполне можно было рассчитывать при обсуждении в Думе указов реформаторского характера.

При такой полярной расстановке двух непримиримых друг к другу сил, все зависело от тех, кто уютно расположился как раз посерединке. Этой третьей силой была партия октябристов, представители которой составляли последнюю треть состава Думы<sup>9</sup>. Еще в 1906 году при провозглашении Столыпинским в самой общей форме программы своих реформ бессменный лидер и главный идеолог октябристов А. И. Гучков заявил: «Это наша программа!» Октябристов в это время вполне справедливо называли «столыпинской партией»; они добросовестно сотрудничали с премьером и в Думе голосовали всегда в его поддержку.

Этой трети вполне хватало для того, чтобы правительственные указы любого характера проходили Думу почти беспрепятственно. Указ, направленный на усиление репрессий, получал безоговорочную поддержку со стороны правых — и октябристов; за указ, связанный с реформами, голосовали левые — и октябристы. И в том, и в другом случае указ набирал большинство в две трети голосов и тем самым утверждался Думой. Вся эта система, получившая название «октябрьского маятника», позволяла Столыпину совершенно спокойно проводить свою политику.

В то же время эта Дума, в которой шел перманентный скандал между правыми и левыми, причем и те, и другие постоянно критиковали власть — каждая сторона, естественно, со своих позиций, — не могла не привлекать внимание населения. Любой грамотный россиянин, открыв газету, мог с удовлетворением отметить: вот он, парламент, вот он, роднецкий — действует, защищает народные интересы, да еще как! Кто-то в кого-то графином запустил, кого-то на 15 заседаний исключили, премьера опять обляли...

Эта «скандальная» сторона дела, очень важная для правительства, получила любопытную характеристику со стороны С. Е. Крыжановского, одного из главных творцов третьеиюньской политической системы. В беседе с императрицей Александрой Федоровной, воспринимавшей Думу как воплощение зла, в ответ на вопросы-упреки: «Зачем нам эта ужасная, никчемная говорильня? Оскорбляют царя, оскорбляют меня, оскорбляют вас с вашим Столыпиным, наконец!.. Кому все это надо?» — дал исчерпывающее ясный ответ: «Ваше величество, Дума — это наша канализация».

\* \* \*

Создав такую Думу — с дурным характером, но совершенно ручную — Столыпин, наконец, получил возможность раз-

вернуть реформаторскую деятельность. Главной составляющей в ней была крестьянская реформа, в которую Столыпин, без преувеличения, вложил всю свою душу.

Основные идеи, определявшие это, одно из самых значительных в истории России преобразований, Столыпин вынашивал давно. Он был хорошим, рачительным хозяином-помещиком, неравнодушным предводителем дворянства, энергичным, дальним губернатором. Во всех этих сферах деятельности с крестьянским вопросом ему приходилось сталкиваться постоянно, и изучил он его до тонкости, причем не в теории, а на самой что ни на есть жизненной практике. Нельзя сказать, чтобы одушевлявшие Столыпина идеи были новы — напротив, они носились в воздухе давно, проявляясь в различных проектах, поступая в разработку бюрократических комитетов и комиссий, одушевляя программы некоторых политических партий: у тех же октябристов, например, установки в аграрном вопросе почти полностью совпадали со столыпинскими. Но, пожалуй, только Столыпин со своими сотрудниками свел все эти идеи в единую стройную систему, дал им реальный, соответствующий русской действительности характер и, самое главное, сумел их осуществить.

Сущность крестьянского вопроса определялась прежде всего вопиющим крестьянским малоземельем и, соответственно, столь же вопиющей отсталостью крестьянского хозяйства, которое велоось самыми примитивными способами: пахота — кляча да соха (плуги использовались в относительно немногих хозяйствах), сев — вручную, жнивьё — серпом. Именно в малоземелье большинство общественных деятелей и, что самое главное, сами заинтересованные лица — крестьяне видели корень всех проблем. Общим местом было утверждение, что в ходе реформы 1861 года мужика ограбили: нормы наделения крестьян землей приняли нищенские; лучшая часть крестьянских земель отрезалась в пользу помещиков. В конце XIX века солидные ученые-экономисты весьма убедительно

доказывали полное несоответствие между доходностью земли, полученной крестьянами, и теми разнообразными платежами, которые им с этой земли приходилось платить государству. Другими словами, выходило, что значительная часть крестьян работала исключительно на выплату податей — да и с тем неправлялась. Ни о каком, даже относительном, материальном достатке говорить при этом, конечно же, не приходилось.

Естественно, что на огромных просторах Российской империи крестьянство жило по-разному. Так, бывшие государственные крестьяне жили относительно лучше бывших помещичьих — государственных, как правило, отпускали на волю с полным наделом, без отрезков; крестьяне нечерноземных, промышленных районов жили относительно лучше крестьян самых плодородных российских регионов: черноземных крестьян обезземелили совершенно беспощадно, да и подрабатывать на стороне, в городе им в своих краях было трудно. А вот немногочисленные крестьяне-сибиряки, потомки каторжан и ссыльнопоселенцев жили, вообще, вполне благополучно, совсем не по-российски — прежде всего потому, что вели свое хозяйство на территории, никогда не знавшей крепостного права.

Картина, таким образом, получалась пестрая, но общий уровень жизни крестьян европейской части России был в целом крайне низок; в черноземных же губерниях — Орловской, Воронежской, Курской — он был низок катастрофически. Здесь, очевидно, не место живописать ужасы крестьянского бытия, но напомним, что за этой общей формулой «катастрофически низкий уровень жизни» скрывались именно бытовые ужасы: постоянный, хронический голод (болтушка, то есть ржаная мука, разведенная в сырой воде, — основной рацион значительной части крестьян в зимнее время); золотушные, рахитичные дети; избы с земляными полами и без дымохода (топили «по-чёрному» — дым выходил в отверстие,

проделанное в кровле); жуткая антисанитария; давно забытые нынче болезни — трахома, костоеда... В это время, в связи с массовыми походами крестьян в город на заработки, в деревню проникает сифилис, который никто не лечит<sup>10</sup>, он охватывает целые семьи и начинает приобретать врожденный характер. И так далее...

Все это неблагополучие проще всего было не замечать. Что власть и делала на протяжении более чем сорока пореформенных лет. Выбить недоимку и обеспечить призыв — вот, собственно, что требовалось от ее представителей на местах. И то, и другое, правда, с каждым годом давалось все с большим трудом: подати мужикам все чаще платить было просто не с чего; количество же призывающих, отбракованных по состоянию здоровья, приводило в изумление... Но главное — крестьяне в конце концов сами стали напоминать правительству о своих проблемах.

Массовые крестьянские волнения, в XIX веке почти забытые, с начала XX века становились одной из главных примет русской жизни. В годы же революции крестьянский бунт — стихийный, непреоборимый, «бессмысленный и беспощадный» — охватил, буквально, всю европейскую Россию. Выражался он прежде всего в погромах помещичьих усадеб и захватах помещичьей земли. Власть поначалу, в 1905-м и 1906 годах потерявшая контроль над ситуацией — чтобы справиться с этими, никем не управляемыми, но охватившими огромные территории приобретшими перманентный характер волнениями, просто не хватало сил — лишь в 1907 году с огромным напряжением и отчаянными усилиями, используя части регулярной армии, наводит, наконец, порядок.

Столыпину, кстати, это «преодоление бунта» ставилось в одну из главных заслуг. Но сам премьер со свойственным ему здравомыслием относился к крестьянскому вопросу так же, как и к революции в целом: «внешними средствами» это не излечивается, нужны реформы. К тому же Столыпин очень

хорошо понимал, до какой степени этот вопрос — вопрос, затрагивающий 80% населения России, является узловым, определяющим. С ним напрямую были связаны все реалии русского бытия и, в первую очередь, самодержавный государственный строй.

\* \* \*

Общепринятая постановка аграрного вопроса предполагала само собой разумеющееся его решение. В самом деле, если все проблемы порождало крестьянское малоземелье, то крестьянам следовало земли добавить. В европейской же части России сделать это, очевидно, можно было только за счет помещиков. Поэтому конфискация помещичьей земли в той или иной форме, частично или полностью, за плату или безвозмездно, составляла центральную часть аграрных программ всех левых партий: от кадетов — до большевиков.

Подобный подход вполне соответствовал и убеждениям самих заинтересованных лиц — крестьян. Один из их представителей прекрасно выразил эти убеждения с думской трибуны, обратившись к правительству со словами: «Другого земного шара все равно не выдумаете; так что придется вам помещичью землю нам отдавать». Аграрный законопроект радикального характера и в I, и во II думах буквально висел в воздухе и вот-вот должен был воплотиться в закон — что, собственно, и заставило власть обе эти думы разогнать.

Для Столыпина подобный путь был закрыт, как мы видели, заведомо. Он предложил другой, на котором предполагалось обойтись без насильственных конфискаций и вообще без какого-либо насилия. В своих выступлениях в Думе Столыпин доказывал, что популярный лозунг: «Всю землю крестьянам» — носит характер сугубо эмоциональный и более того — демагогический. В самом деле, по расчету получалось, что если даже вся помещичья земля пойдет в передел, то прибавка

ее в каждом отдельном крестьянском хозяйстве будет очень невелика — всего по несколько десятин.

Самым бедным, малоземельным мужикам и такая прибавка, конечно, была бы в радость, но принципиально изменить положение в русском сельском хозяйстве она не могла. Основная масса крестьянских хозяйств по-прежнему велась крайне примитивно, принося их владельцам мизерные доходы, а государству — минимум продукции. По мнению Столыпина, прежде всего надо было менять *характер* крестьянского хозяйства, делать его более интенсивным, производительным, доходным.

Совершенно очевидно, что ставить подобные задачи перед всей массой российского крестьянства было бессмысленно. Основным адресатом столыпинской реформы были те относительно немногочисленные зажиточные крестьяне — «крепкие хозяева», — которые при всех сложностях жизни российской деревни все же в ней существовали. Именно их Столыпин надеялся инициировать к быстрому развитию и оформлению в особую социальную группу фермерского типа. Главным же препятствием на этом пути, по мнению премьера, было то, что эти «крепкие хозяева» даже через несколько десятилетий после крестьянской реформы не были еще до конца свободны и самостоятельны. Реформа освободила их от власти помещика — не общины. Именно за счет разрушения общины и рассчитывал Столыпин, в первую очередь, решить крестьянский вопрос.

В России подобное деяние означало сдвиг, почти равный геологическому. Община существовала здесь испокон века, а в веке XIX стала одной из главных отличительных черт русской жизни от западноевропейской (с которой, собственно, ее только и сравнивали). Основная деятельность деревенской общины, в сущности, была направлена именно на то, чтобы сохранить себя в качестве единого сельскохозяйственного коллектива, постоянно уравнивая имущественное положение своих членов.

Земля при общинном строе являлось коллективной собственностью. Отдельные хозяева — члены общины — получали ее в пользование по уравнительному принципу (где — по количеству рабочих рук в хозяйстве, где — по количеству едоков); периодически производились переделы земли, приводившие в соответствие с изменившимся за это время количеством членов различных хозяйств, причем переделялась земля не только по количеству, но и по качеству. Уравнительный принцип господствовал не только в хозяйственных отношениях крестьян друг с другом, но и в отношениях их с государством: все члены общины несли коллективную ответственность за исполнение своих обязанностей перед государством и, прежде всего, за выплату податей. Крестьяне были связаны «круговой порукой», которая предполагала взаимопомощь в этом вопросе — проще говоря, зажиточным хозяйствам постоянно приходилось доплачивать за бедных. Все внутренние вопросы общинной жизни решались также коллективно, на общинных — или мирских — сходах.

С общечеловеческой точки зрения все это выглядело, в общем, привлекательно. Значительная часть русской интеллигенции в XIX веке, как известно, была очарована общиной, разглядев в ней зародыш будущего идеального строя жизни — социализма. Но, что характерно, общину долгое время всячески поддерживал антипод интеллигенции — государственная власть. Естественно, из своих соображений. С точки зрения ее представителей, существование общины, с одной стороны, чрезвычайно облегчало управление крестьянством чисто технически — гораздо проще управлять коллективом, повязанным круговой порукой, чем отдельными личностями. С другой стороны, община консервировала крестьянство, являясь гарантом сохранения его как единой массы — не слишком богатой, но и не совсем уж нищей, занятой исключительно своим нелегким трудом, далекой от политики. Вплоть до начала

XX века власть сохраняла уверенность, что эта масса, по традиции, безоговорочно предана самодержавию.

Первая русская революция ясно показала, что подобная точка зрения, имевшая какое-то право на существование в крепостные времена, стала теперь чистой утопией. Выяснилось, что крестьянство в целом — и то, что победнее, и то, что побогаче, — ненавидит не только помещиков, но и верховную власть, с удивительной охотой поддерживая лозунг «Долой самодержавие!». Если общинное крестьянство когда-то было опорой власти — хотя бы за счет своей темноты и пассивности, — такие времена минули безвозвратно.

Столыпин, со свойственными ему ясностью мышления и быстрой реакцией, пришел к подобным выводам, очевидно, еще в дореволюционную пору. Во всяком случае, пост главы правительства он занял уже во всеоружии, хорошо представляя, что надо делать в этой кризисной ситуации.

\* \* \*

Первый шаг в нужном направлении Столыпин сделал еще до «наведения порядка», под занавес революции. 9 ноября 1906 года был издан указ, гласивший, что «каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность (выделено мной. — А. Л.) причитающуюся ему часть из означенной земли». Это было принципиально важно: впервые в русской истории у крестьян появлялось право самим, по своему собственному свободному выбору решать, как им вести хозяйство. В этом отношении указ Столыпина был вполне ограничен, отвечая потребностям времени: община медленно, но верно расслаивалась и, тем самым, неизбежно разрушалась. В начале XX века в любой деревне были крестьяне, готовые по тем или иным причинам выйти из общины. Но на этом

пути было серьезное препятствие — выйти можно было только с коллективного согласия схода, который такое согласие давал, как правило, очень неохотно. Столыпин это препятствие ликвидировал, и — процесс пошел...

Повторимся: заведомое насилие по отношению к крестьянам в указе при всем желании отыскать трудно. Этим он, пожалуй, уникalen: российские законы, обращенные к массам, почти всегда от них чего-то требовали; столыпинский указ — позволял. Крестьяне, которым общинные отношения позволяли держаться на плаву, оставались в общине; те, кого эти отношения не устраивали, получали возможность из обчины выйти — быстро и без потерь.

В конечном итоге из обчины вышло около 3 млн. домохозяев, что составляло несколько меньше трети их численности в тех губерниях, где проводилась реформа, — то есть около 30%. Соответственно из общинного оборота было изъято 22% земель.

Однако при этом нужно иметь в виду, что община разрушалась с двух концов: из нее выходили не только потенциальные «крепкие хозяева», но и беднейшие крестьяне, стремившиеся «переменить судьбу» — уйти в город или переселиться на новые места. Землю за собой такие крестьяне закрепляли с единственной целью: как можно скорее ее продать. Около половины земель, закрепленных в личную собственность, тут же пошла в продажу. Какая-то часть их вернулась в общину; большая же часть была приобретена все теми же «крепкими хозяевами», заметно увеличившими, таким образом, свои владения.

Однако, по твердому убеждению самого Столыпина, все это еще не могло обеспечить достижения поставленной цели: создания стабильно крепких, самостоятельных единоличных хозяйств. Дело в том, что в общине, делившей землю «по справедливости», это понятие распространялось не только на количество, но и на качество земли. Во владении же обчины

неизбежно были земли, отличавшиеся друг от друга и по уровню плодородия, и по удобству местоположения. В результате каждый хозяин-общинник получал в пользование по несколько полос земли в разных местах общинного владения. Отсюда — знаменитая чересполосица, связывавшая все эти хозяйства воедино и обуславливающая их зависимость друг от друга. Указ 9 ноября эту зависимость не ликвидировал — он лишь закреплял за крестьянами чересполосные земли, избавляя их от периодических переделов.

Столыпин настаивал на том, что «укрепление участков — лишь половина дела, даже лишь начало дела...». Для полной реализации его программы необходимо было свести все эти полосы воедино, разверстив общинные владения на отдельные самостоятельные хозяйства. С этой целью 16 октября 1908 года были изданы «Временные правила о выдаче надельной земли к одним местам». Целью этих правил было создание хозяйств, *совершенно независимых* друг от друга. Идеальным типом владения в них провозглашался хутор, в котором земля, крестьянская усадьба и прочие угодья сводились в единое целое. На случай же — очень распространенный — когда разверстать всю общинную землю на хутора представлялось технически невозможным, рекомендовался *отруб* — в этом случае все пахотные земли, закреплявшиеся за крестьянами, сводились к одному месту, но находились «в некотором отдалении от коренной усадьбы».

Все эти «Временные правила», в отличие от указа 9 ноября, осуществлялись с куда большим трудом и куда меньшим успехом. Хуторское хозяйство на Руси приживалось плохо по целому ряду причин хозяйственных, психологических и просто ментальных. Последние, кстати, Столыпину были непонятны совершенно. Проведя всю свою жизнь в Литве, где «свой хутор» — это вожделенная мечта каждого работника на земле, Столыпин никак не мог взять в толк, почему российские потенциальные фермеры, охотно закрепляя наделы в лич-

ную собственность, оставляют их в чересполосице с владениями общины — не только на хутора не выходят, но и от отрубов отказываются... Нутряное чувство общности с односельчанами, нежелание рвать сразу, напрочь, все хозяйственные и личные связи, устанавливавшиеся на протяжении многих поколений, все это, очевидно, представлялось Столыпину чем-то вроде каприза. Он готов был даже и надавить через местную администрацию на «несознательных» мужиков — в скромных, впрочем, пределах. Вообще следует отметить, что, будучи очень жестким и даже жестоким в борьбе с политическими противниками, Столыпин хозяйственные вопросы предпочитал решать мирно, по обоюдному согласию.

\* \* \*

Мирные средства Столыпин отыскал и для того, чтобы подтолкнуть процесс создания хуторских хозяйств. Главным орудием в решении этой проблемы для него стал государственный Крестьянский банк — учреждение, созданное еще в 1880-х годах, но в начале XX века влячившее довольно жалкое существование. Крестьянский банк изначально должен был помогать крестьянам покупать землю, предоставляя им с этой целью кредит на относительно льготных условиях. При Столыпине банк резко увеличил свои обороты и несколько изменил программу деятельности. С 1906 года он очень активно стал проводить скупку помещичьих земель.

Это был сильный и разумный ход. Пусть помещичья собственность в России объявлялась священной и неприкосновенной, не подлежащей никаким насильственным изъятиям. Но, если сам помещик хочет свою собственность — землю — продать, то кто может помешать государству помочь крестьянину эту землю купить? Помещики же, напуганные крестьянскими волнениями, в это время продавали земли очень охотно. Только в 1906—1907 годах банк скупил у них около 2,7 млн.

десятин земли. В 1908–1916 годах несколько успокоившиеся помещики продали банку тем не менее еще 2 млн. десятин.

Этот огромный земельный фонд с самого начала имел целевое назначение: банк дробил скупленные земли на отдельные участки и продавал их крестьянам на льготных условиях, представляя значительные ссуды. При этом всячески поощрялось создание отрубных и особенно хуторских хозяйств. Так, если от сельских обществ при покупке ими земли требовалось заплатить весьма значительные денежные суммы, то отрубники платили всего 5%, а хуторянам ссуда выдавалась в размере полной стоимости земли.

Подобные условия не могли не заинтересовать даже очень осторожных и консервативных в отношении финансовых операций крестьян — процесс пошел и здесь. Большинство хуторских и отрубных хозяйств создавались именно на бывших помещичьих землях, что вполне понятно: условия для самостоятельного хозяйствования здесь были несравненно лучше, чем на бывших общинных землях, опутанных паутиной сложных и многообразных отношений с соседями-общинниками.

Аграрная политика Столыпина была, волей-неволей, продолжена его преемниками на посту главы правительства — хотя бы потому, что ничего другого предложить они уже не могли... В конечном итоге, к 1 января 1917 года хозяйства, устроенные на началах личной собственности, составили 10,5% всех крестьянских хозяйств. При этом большая часть новоявленных хозяев-единоличников предпочли все же жить в деревне, среди крестьян-общинников, а не уединяться на хуторах.

В процентном отношении результаты, казалось бы, не очень значительны; община под напором реформы в общем-то устояла; но ведь и реформа-то, повторим, была органическая, ненасильственная. В аграрной же сфере, как известно, любые серьезные перемены требуют времени — если, конечно,

но, речь не идет о сплошной коллективизации сельского хозяйства за два с половиной года... Во всяком случае законный и вполне естественный — по собственному желанию — выход из общины был Столыпиным открыт; начало оформлению особой социальной общности — зажиточных крестьян — было положено. И перспективы здесь сомнения не вызывали: общим ходом экономического развития страны община неизбежно обрекалась на разложение; незначительный пока что слой «крепких хозяев» должен был становиться все многочисленней и все «крепче» — за счет основной массы крестьян, обрекавшейся на постепенное обнищание.

\* \* \*

В одной из своих думских речей, посвященной аграрной реформе, Столыпин предельно откровенно выразил ее, пожалуй, основную, определяющую идею: «...Главное, что необходимо, это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых». Таким образом, устами Столыпина власть признавалась в том, что адресат реформы — это «разумные и сильные»: именно об их процветании проявляло заботу правительство. А «пьяные и слабые», которых на Руси, увы, оказывалось чуть ли не большинство, должны были, очевидно, взяться за ум... Для них органика столыпинской реформы оборачивалась настоящей шоковой терапией, выбивая из-под их маломощных хозяйств последние жалкие опоры.

Очевидно, в этом очерке не стоит затрагивать такую грандиозную тему, как пьянство на Руси. Отметим лишь, что для самих крестьян — стариков, представителей поколения, успевшего пожить при крепостном праве, общим местом было утверждение, что теперь в деревне «пить стали больше, потому что порядка стало меньше». Народническая интеллигенция этот несомненный факт — резкое усиление пьянства — ставила

в прямую зависимость от пореформенной обездоленности значительной массы крестьянства — каторжный, практически бездоходный труд порождал чувство тоски и безысходности, неизбежно толкавшее мужика в кабак. Получался жуткий замкнутый круг пьянства и нищеты...

Разрушение общины обрекало значительную часть крестьян на «раскрестьянивание» — разорение, потерю хозяйства, превращение в пролетария: сельского батрака или городского рабочего. И это в лучшем случае — возможно было и погружение в полную нищету, в состояние маргинальное... Значительную часть этой обреченной массы «пьяных и слабых» Столыпин, судя по всему, склонен был предоставить их печальной судьбе.

И все же полностью игнорировать проблемы крестьянской бедноты премьер не мог, хотя бы из соображений государственной безопасности: ведь эта масса была еще и взрывоопасной... Как бы признавая косвенно, что среди горемык-бедняков есть и люди, достойные лучшей участи — не все пьянь, — Столыпин предлагал им выход, требовавший огромных усилий, но позволявший надеяться на лучшую долю.

Речь шла о переселении. Подобное решение вопроса, казалось бы, напрашивалось само собой, поскольку Российская империя была обжита крайне неравномерно: явный избыток аграрного населения в ряде районов европейской части страны, особенно в черноземье, и огромные, практически пустующие пространства Сибири, заселяемые в основном ссылками... Добровольное переселение на сибирские земли шло, конечно же, и раньше, но до столыпинской реформы оно носило стихийный характер, со всеми вытекающими отсюда последствиями: и документы соответствующие выправить было нелегко, и добираться до Сибири приходилось, в основном, своими средствами — а каковы они могли быть у семейного бедняка-крестьянина? Теперь правительство взяло этот непростой процесс под свой контроль.

С 1906 года все большее значение в структурах, занятых аграрной реформой, приобретает Переселенческое управление. Занято оно было прежде всего тем, что подыскивало на востоке территории, пригодные для земледелия. Эти территории затем распределялись между губерниями европейской части России — каждая из них получала определенное количество долей в разных регионах Сибири. Крестьяне той или иной губернии, желавшие переселиться, избирали из своей среды ходоков, получавших возможность на казенный счет ознакомиться с теми или иными сибирскими землями. Со слов ходоков крестьяне делали свой выбор, после чего по соответствующему маршруту отправлялась целые партии переселенцев.

Правительство, никогда на Руси крестьян не баловавшее, теперь оказывало переселенцам поддержку практически беспрецедентную. На железных дорогах, ранее для большинства переселенцев недоступных по цене, был введен для них особый тариф, значительно ниже общего. Специально под переселенцев был разработан особый тип вагона, впоследствии названный «столыпинским». По сравнению с обычным общим вагоном, совершенно не приспособленным для дальних странствий, он был довольно комфортабелен: отопление, спальные места, необходимые удобства. А. В. Кривошеин, один из сотрудников Столыпина, упрекал даже премьера в ненужных тратах, заявляя, что подобный комфорт не только излишен, но и вреден: крестьяне никогда не сталкивались с ним раньше, не увидят его и после, в Сибири. Так стоит ли мужика баловать?.. К этому надо добавить, что землю переселенцы получали даром; если же земля эта находилась в таежной полосе, то им полагалась еще и ссуда в 300 рублей.

Стоит отметить, что в решении переселенческого вопроса Столыпин так же, как, впрочем, и всегда, стремился действовать неформально, постоянно быть в курсе дела, держать его под своим контролем. С этой целью он, в частности, совершил

в 1910 году необычную для сановника такого ранга поездку в Сибирь: премьер хотел лично увидеть результаты своей переселенческой политики. И впечатления его были весьма оптимистические.

Однако, как показали дальнейшие события, особых поводов для оптимизма переселение не давало — именно в этой сфере прежде всего стало ясно, как тяжело решать аграрные проблемы... Значительная часть крестьян, отправлявшихся на восток, сталкивалась там с такими трудностями, справиться с которыми было выше их сил. Ведь в Сибирь уезжала, как мы видели, исключительно беднота, не имевшая ничего, кроме своих рабочих рук да голодных жен и детей. Поднимать целину, да еще в одиночку, таким крестьянам было чрезвычайно тяжело. Особенно если земля доставалась им в таежной полосе. «И земля не плоха, да вот не наша сила: лес одолел» — обычная жалоба крестьян, оказавшихся в таком положении. Тут и денежная ссуда не помогала...

Далеко не всегда нищие, истощенные крестьянеправлялись с обработкой земли и в других, более плодородных районах. Сам Столыпин признавал, что многие из них вынуждены были бросать закрепленную за ними целину, арендую у местных старожилов более или менее обухоженную землю или, еще чаще, нанимаясь к ним в батраки.

Все это приводило к тому, что многие крестьяне, потеряв всякую надежду наладить свое единоличное хозяйство в Сибири, стали возвращаться в Европейскую Россию, причем поток «возвращенцев» рос с каждым годом. Если в первые послереволюционные годы возвращались около 10% переселенцев ежегодно, то в 1910–1916 годах их доля составляла уже более 30%. «Обратные» переселенцы, отчаявшиеся, озлобленные, лишившиеся даже того малого, что имели, стали еще одним взрывоопасным элементом неспокойной русской деревни. Да и из тех крестьян, кто кое-как приспособился к нелегкой сибирской жизни, очень немногие пробились в «крепкие хозяева».

Таким образом, Столыпин, стремившийся в ходе своей переселенческой политики, с одной стороны, разрядить обстановку в великорусской деревне, а с другой — усилить слой зажиточных крестьян в Сибири, в обоих случаях потерпел явное фиаско.

\* \* \*

Однако совершенно очевидно, что переселение деревенской бедноты с расчетом на очень отдаленную перспективу ее хозяйственных достижений было достаточно важным, но все-таки вторичным элементом столыпинской аграрной политики. Ставку премьер делал прежде всего на вполне конкретных, реально существующих «крепких хозяев», которых он так откровенно и действенно поддержал своей реформой. При этом Столыпин очень рассчитывал на встречную поддержку... Собственно, в этом и состояла, пожалуй, главная цель его преобразований: превратить формировавшееся на глазах зажиточное крестьянство в надежную опору самодержавной власти, создав тем самым принципиально новую социальную базу для традиционного государственного строя Российской империи.

Значение подобной политики трудно переоценить. Сейчас, задним числом, представляется, что это вообще был чуть ли не единственный выход из той катастрофической ситуации, в которую попала страна в начале XX века. Однако путь этот был тернистым...

Искренне рассчитывая на поддержку зажиточного крестьянства, Столыпин ни в коем случае не собирался отказываться и от старой, веками проверенной опоры самодержавия — поместного дворянства. Вся его аграрная реформа была пронизана идеей компромисса между этими двумя силами: «крепких хозяев» столыпинское правительство поддерживало самыми разнообразными средствами — за одним исключе-

нием: на конфискацию помещичьих земель было наложено безусловное вето... Собственно, и на расширение социальной базы самодержавия Столыпин пошел сознательно, но не от хорошей жизни: любому здравомыслящему государственному деятелю этой эпохи должно было быть очевидно — с каждым пореформенным десятилетием поместное дворянство все больше теряет силы, оскудевает хозяйственno, вырождается и отчасти перерождается.

Последнее касалось той немногочисленной, но предприимчивой и хваткой части помещиков, которые сумели ответить на вызов времени, преобразовав свое хозяйство на капиталистический лад — с использованием техники, вольнонаемных рабочих, современной агрономии и тому подобного. Вот у этих помещиков дела в целом шли в гору, но, не говоря уже о том, что они составляли ничтожный процент поместного дворянства<sup>11</sup>, они все больше этому сословию изменяли. «Новых помещиков» все больше клонило к либерализму, они все легче находили общий язык с буржуазной оппозицией — хозяйственные перемены, как правило, располагали к переменам политическим. Основная же часть поместного дворянства держалась старины, положив в основу своего хозяйства то, что впоследствии получило название «пережитков крепостничества»: малоземелье и обремененность налогами неизбежно ставило значительную часть крестьян в зависимость от помещика, действительно отчасти схожую с крепостной. Таким крестьянам волей-неволей приходилось брать у помещика хлеб и землю — не за деньги, а за отработки. Отработочная система была совершенно беспersпективной с точки зрения развития помещичьего хозяйства, обрекая его на предельную примитивность, рутину, малую доходность и — конечное разорение. И все-таки большинство помещиков предпочитали вести его именно так — по старинке, без суеты... Вероятнее всего потому, что ни на что другое они были просто неспособны.

Вот эти старозаветные помещики были, действительно, безоговорочно преданы самодержавию, в котором они совершенно справедливо видели своего единственного надежного защитника и покровителя. Так же, как и самодержавная власть, это поместное дворянство любые общегосударственные перемены принципиального характера воспринимало как шаг к пропасти и готово было всеми силами поддерживать борьбу с подобными переменами. Долгое время поддержка со стороны поместного дворянства носила достаточно пассивный характер — в XIX веке, в условиях относительной стабильности, самодержавная власть в большем и не нуждалась. Однако в 1905 году, когда самодержавие стало прогибаться под напором революции, причем на кону в этой борьбе оказалось самое святое — помещичьи земли, эта консервативная сила стала проявлять себя все более активно.

В это время создается Совет объединенного дворянства — мощная организация, увенчавшая систему сословно-корпоративных дворянских собраний, созданных еще в XVIII веке, и собравшая, таким образом, все консервативно настроенное поместное дворянство России в некое единое целое. Влияние членов этой организации все заметней проявлялось и в провинции, и в столице, и в самом интимном царском окружении. А самое главное, из этого источника вышло черносотенное движение, охватившее в эти годы представителей самых разных сословий, напуганных революцией, — именно «объединенные дворяне» дали черной сотне и идеологов, и лидеров, таких как В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков и многих других. Дали, очевидно, и средства...

Впрочем, черносотенцев во время революции всячески подкармливала и власть; тот же Столыпин явно брезговал — а подкармливал. Брезговал по вполне понятным причинам: эта сила, как правило, действовала совершенно беззаконно, была в значительной степени стихийна и неуправляема. «Мероприятия» черносотенцев, зачастую, были страшнее революцион-

ных. Одни еврейские погромы чего стоили... Однако в условиях отчаянной борьбы со своими противниками, результаты которой долгое время были неясны, правительство Столыпина от поддержки этих маргиналов реакции не отказывалось. Идейная поддержка власти в печати и в Думе, участие в разгоне демонстраций, охота на революционных лидеров — всему этому в те годы, когда власть с огромными усилиями на-водила порядок в стране, была своя цена.

Когда же порядок был наведен, отношение Столыпина к его сомнительным союзникам изменилось. И изменилось резко. Он, в сущности, вообще готов был поставить вопрос о том, насколько вся эта черносотенная уголовщина была нужна стране. Премьер начинает все более последовательно бороться с противозаконными действиями черной сотни, запрещает откровенно погромные публикации, требует разоружения черносотенных боевых формирований. Все это вызывает ответную реакцию: сначала недовольство, а затем озлобление со стороны черносотенных лидеров. И в печати, и с думской трибуны черносотенцы начинают обличать столыпинскую политику столь же яростно, как и самые непримиримые радикалы. А ведь главная сила черной сотни была, конечно же, не в обличительных выступлениях, да и рекрутируемое ими хулиганье, всегда готовое к погрому и мордобою, после окончания революции отходило на задний план. На авансцену выходил все тот же Совет объединенного дворянства, который мог обойтись и без печати, и без Думы, и без погромщиков — на высшие сферы, где принимались окончательные решения, «объединенные дворяне» влияли непосредственно, за счет личных контактов.

\* \* \*

Представляется, что главное отличие Столыпина от таких государственных деятелей, на века определивших путь Рос-

сии, как Иван III или Петр I, заключалось не столько в масштабах личности, сколько в том месте, которое занимал этот замечательный во многих отношениях человек: он был не главой государства, а всего лишь главой правительства. И в этом качестве Столыпин со всеми своими достоинствами мог лишь предполагать; располагал же всем совсем другой человек...

Сколько-нибудь серьезный анализ личности последнего русского самодержца, Николая Александровича, в этом очерке, конечно же, невозможен; однако без самой общей характеристики того, кому суждено было определять судьбу не только Столыпина, но и всей России, здесь не обойтись.

Назвать последнего русского царя просто черносотенцем было бы столь же грубо и прямолинейно, сколь грубым и прямолинейным было само черносотенство — царь же по натуре своей отличался мягкостью и деликатностью. Его мировоззрение, в сущности, полностью укладывалось в рамки традиционной официальной идеологии, которая выражалась тремя словами: православие, самодержавие, народность.

При этом царь был глубоко искренен и потому настроен на предельно четкое соблюдение основных постулатов этой формулы. Поскольку события начала XX века постоянно доказывали, что подобная позиция несовременна, постольку царь столь же постоянно, всеми своими действиями доказывал: тем хуже для современности...

Николай, судя по всему, чрезвычайно серьезно воспринял свое венчание на царство, — что, кстати, было глубоко чуждо и совершенно непонятно его идейным противникам — последователям либералам и революционерам. Да, в царском окружении было немало «современно мыслящих» людей, давно утративших искреннюю веру в Бога — тот же Витте, например, — для которых поведение Николая оказывалось за гранью понимания. Глубоко же верующий царь, восходя на престол, отнесся к этой церемонии как ко второму крещению.

В первом случае он принимал ответственность перед Господом за себя, во втором — за всю огромную страну. И, соответственно, Николаю была чрезвычайно близка основная мысль такого яркого идеолога самодержавия, как Карамзин: царь в России может все, за одним исключением — он не имеет права ограничивать свою собственную власть, перекладывать ее на чужие плечи. Поэтому вынужденная уступка революции — манифест 17 октября — воспринимался царем так болезненно, к полному, кстати, недоумению его собеседника и сотрудника в этот роковой день графа Витте. Для царя это был страшный грех, для Витте — политический фортель: какая разница, в конце концов, — с Думой ли, без Думы — все равно рулить будем мы...

Соответственным было отношение царя и к своему ближайшему окружению, тем более — к правительству. Царь, естественно, испытывал симпатии к тем людям, чье поведение отвечало его восприятию жизни. Универсальную формулу такого поведения очень хорошо сформулировал граф В. Н. Ламсдорф, занимавший в начале XX века пост министра иностранных дел: «Моя обязанность заключается в том, чтобы сказать государю, что я о каждом предмете думаю, а затем государь решит — я должен стараться, чтобы решение государя было выполнено».

Деятельность Столыпина, конечно же, в эти рамки не укладывалась никоим образом. Принципиальная преданность его идеи самодержавия и лично Николаю II не вызывает ни малейших сомнений. Но приходится признать, что Столыпин видел дальше царя и его черносотенного или сервильного окружения, правильней оценивал ситуацию в стране, искал — и находил — ходы во спасение... В условиях жестокого кризиса, когда Столыпин пришел к власти, его политика в ряде аспектов могла вызывать внутреннее несогласие царя, но принималась практически безоговорочно по вполне понятной причине — деваться было некуда... То же самое в полной мере

относилось и ко всему российскому черносотенству и тем силам, которые стояли за этим движением<sup>12</sup>. Тем более, что в это время в планах Столыпина первое место занимало, безусловно, наведение порядка: в борьбе с революцией, как мы видели, он готов был рассматривать черносотенцев как союзников.

Когда же пришло время реформ и конфликты между Столыпиным и лидерами всероссийской реакции стали принимать все более откровенную, а иногда и просто скандальную форму, премьеру быстро пришлось убедиться в том, что царь не на его стороне... Своих симпатий к черносотенству Николай II не скрывал, не раз заявляя о том, что только в них, в «истинно-русских людях» он, Государь всея Руси видит надежную опору трона<sup>13</sup>. К рекомендациям черносотенцев при дворе прислушивались; они постоянно получали финансовую поддержку от казны; не было случая, чтобы царь, не вникая в суть дела, отказался подписать акт об амнистии очередному «идейному» погромщику.

На наиболее отвратительные, беззаконные и кровопролитные стороны черносотенства добрый и мягкий по натуре царь с удивительной легкостью закрывал глаза. В идейном же отношении вдохновители реакции, разнообразные «объединенные дворяне» были ему близки и понятны; Николай Александрович и сам ведь был, как мы видели, реакционером — человеком, не просто не желавшим перемен прогрессивного характера, но стремившимся к возвращению в прошлое, в тихие дореволюционные времена. А «объединенное дворянство» было, пожалуй, единственной серьезной силой в России, стоявшей на таких же позициях.

\* \* \*

Однако, неразрывно связывая себя с этой силой, самодержавие обрекало себя на гибель. У старозаветных дворян-по-

мещиков вообще не было никаких перспектив, их обреченность в начале XX века очевидна — при любом движении России вперед им предстояло либо стать другими, либо исчезнуть. Самодержавие, идя на безоговорочный союз с этой силой, неизбежно разделяло ее обреченность, ставило себя в положение совершенно безнадежное: ни свободы маневра, ни возможности выбора — руки связаны за спиной, на шее камень... Столыпин же предполагал власти руки развязать, камень — сбросить; он стремился сделать власть относительно самостоятельной, укрепив при этом ее позиции, — и все за счет расширения социальной базы.

Сам плоть от плоти российского дворянства, Столыпин был дворянином до мозга костей — внешне, по манере держаться, по кругу своего общения. Но он был еще и очень незаурядным государственным деятелем; и в этом качестве, как, пожалуй, никто в высших сферах, понимал: власть не имеет права выражать интересы *только одной социальной группы*, сколько бы значительными эти интересы ни казались; необходимо было думать о целом, о народе, о государстве.

Дворян-помещиков Столыпин, как мы видели, ни в коем случае обижать не собирался. Но как реально мыслящий политик он ясно видел, что препятствовать, ради их блага, нормальному развитию России — смерти подобно... Оставляя за помещиками все их достояние, избавляя их от каких бы то ни было насильственных конфискаций, он выводил на арену истории новую и очень перспективную силу. Наряду с промышленной буржуазией и «новыми помещиками» эта сила должна была работать на прогресс, обеспечивать экономическое развитие страны; в сфере же политической со всеми этими новоявленными субъектами исторического действия власть могла надеяться на достижение компромиссных решений и, более того, — на прямое сотрудничество.

Естественно, что при такой политике — поддержке нового при сохранении старого — самодержавная власть должна была

стать несравненно более гибкой, отказавшись от присущей ей прямолинейности. Правительству, стремящемуся учитывать интересы различных социальных групп, иногда диаметрально противоположные друг другу, неизбежно пришлось бы не столько навязывать свою волю, сколько лавировать в поисках компромисса. К этому Столыпин был вполне готов — как политик он, несомненно, намного опережал свое время. И, право же, игра здесь стоила свеч: вместо мертвленного застоя, державшегося на насилии и произволе, Столыпин предлагал живую, динамичную и тем самым многообещающую государственную политику. И не просто предлагал — проводил, пока была возможность... .

\* \* \*

Аграрная реформа была задумана Столыпиным и его сотрудниками как главное, определяющее — но не единственное преобразование. Создать материальную базу для становления и развития «крепких хозяйств» было чрезвычайно важно; но не менее важно было превратить их обладателей в серьезную социальную силу, придать им вес и значение на местах, там, где закладывались основы управления Российской империей. В 1909 году, в одном из своих интервью Столыпин говорил по этому поводу: «...На очереди главная задача — укреплять низы. В них вся сила страны. Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром».

Речь шла прежде всего о преобразовании местного управления, носившего в России архаичный и откровенно продержянский характер. Самое низшее, сельское и волостное управление было сословно-крестьянским. Что же касалось управления следующего, более высокого — уездного — уровня, то оно, формально подчиняясь губернскому чиновному начальству, реально находилось в руках местных дворян-по-

мешников. Именно они выбирали из своей среды основных функционеров этого управления, которые, став государственными служащими, постоянно держали в уме интересы родного сословия. На всех совещаниях местной администрации в обязательном порядке председательствовал уездный предводитель дворянства, обеспечивающий дополнительный контроль над местными делами со стороны помещиков.

Волостное, крестьянское управление полностью подчинялось уездному, продворянскому. Крестьяне, получившие в 1861 году свободу, оставались таким образом в административной зависимости от своих бывших хозяев. Отец и предшественник Николая II на престоле, Александр III прекрасно выразил эту нелепую ситуацию столь же нелепой, на первый взгляд, фразой, сказанной им на встрече с волостными старшинами — выборными главами местного крестьянского управления: «Слушайтесь во всем *своих* (выделено мной. — А. Л.) предводителей дворянства».

Подобную систему, воплощавшую дух сословного неравенства, Столыпин собирался изменить самым решительным образом. Прежде всего имелось в виду преобразовать то, что, собственно, называлось *волостью* — низшей административно-территориальной единицей Российской империи. В ее состав должны были быть включены не только крестьянские, как раньше, но и помещичьи земли, причем на них перекладывалась и часть волостных денежных повинностей, которые раньше тянули на себе исключительно крестьяне. Совершенно бесправное перед лицом государства и помещиков сословно-крестьянское волостное управление, соответственно, ликвидировалось. Его функции переходили к бессословному волостному земству, формировавшемуся путем выборов на основе относительно невысокого имущественного ценза, что открывало путь в этот орган представителям за jakiщочного крестьянства — наряду с представителями местных помещиков.

Таким образом именно в волостном земстве Столыпин стремился реально *объединить* те две силы — старых хозяев-помещиков и новых — хозяев-крестьян, на которые он собирался опираться впредь. Объединить, усадить рядом, попытаться научить сотрудничать, а не подавлять друг друга, думать не только о своих личных или сословных интересах, а об общих — сначала сугубо местных, а затем, даст бог, общегосударственных... Если бы это удалось, страна, действительно, начала бы меняться к лучшему.

Отдавая руководство волостными делами в руки выборного земства, Столыпин одновременно с этим предлагал привести в порядок — и, следовательно, усилить — правительственные власти на уездном уровне. Именно сюда Столыпин хотел перенести из губернии центр местного управления, создав в уезде единую систему четко взаимосвязанных между собой административных органов вместо разрозненных ведомств, каждое из которых подчинялось своему губернскому начальству и действовало, как правило, само по себе. Во главе этой новой системы должен был встать назначаемый правительством уездный начальник, оттесняя на дальний план предводителя дворянства — откровенного защитника сословных дворянских интересов (за последним оставались лишь вопросы землеустройства и школьное дело).

Что же касалось губернаторов, то, освобождая их от массы мелких, рутинных, текущих дел, столыпинский проект представлял им возможность заняться полноценным стратегическим руководством губернией, координацией деятельности уездной администрации. При этом Столыпин предполагал принять целый комплекс мер, которые должны были оторвать губернаторов от придворных кругов и камарильи, ставленниками которых они сплошь и рядом являлись. С точки зрения Столыпина, главы губернской администрации, самые значительные представители государственной власти на местах, должны быть безоговорочно подчинены своему непо-

средственному руководству — правительству; всякое постороннее влияние на них Столыпин стремился пресечь раз и навсегда.

Таким образом, местная реформа предполагала самые серьезные перемены в организации управления страной. Сословные, феодальные по сути своей принципы последовательно изживались. На низшем, волостном уровне органы управления, создававшиеся путем выборов, становились всесословными. На уездном и губернском уровнях эти органы, формируемые сверху, правительством, должны были стать государственными в полном смысле слова, то есть — подчиняться только правительству и никому, кроме него. Подобная модернизация управления, вполне отвечавшая духу времени, с одной стороны, укрепляла власть административно, с другой — расширяла ее социальную базу, привлекая к местному управлению представителей зажиточного крестьянства.

Однако, удовлетворяя интересы страны в целом, эта реформа чувствительно задевала интересы поместного дворянства — реализация подобного преобразования грозила свести влияние помещиков на управление страной к минимуму или покончить с ним вообще. Именно здесь, в этом вопросе, старозаветное дворянство дало Столыпину решающее сражение.

\* \* \*

К аграрной реформе «объединенное дворянство» отнеслось достаточно сдержанно: она ведь не затрагивала непосредственно помещичьих интересов. Местная же реформа буквально подняла защитников дворянских интересов на дыбы. Более или менее разобравшись в проектах Столыпина, они стали организовывать сопротивление — в своем духе.

С мест, от губернских дворянских собраний пошли заявления о том, что местная реформа грозит разрушить «создан-

ные историей учреждения и создает новые, схожие с учреждениями республиканской Франции, демократизируя весь местный уклад и уничтожая сословность». Из подобных характеристик делался вывод — очевидно, специально для Государя Императора — о том, что столыпинские преобразования ведут к «摧毀 монархии». Эта нехитрая формула — «местная реформа = гибель самодержавия» — была подхвачена и делегатами очередного съезда «объединенного дворянства», собравшегося в 1908 году. В докладе о его работе, представленном царю В. И. Гурко, одним из самых активных деятелей дворянского движения, прямо говорилось о том, что правительство Столыпина «пытается подорвать как раз те учреждения, которые отстояли царское самодержавие и русский исторический уклад».

Те же соображения, несомненно, нашептывались Николаю II и его ближайшим окружением. Суть их была вполне ясна: ослабляя поместное дворянство, царь ослабляет свою собственную власть... Только это сословие одно-единственное сохраняет безоговорочную верность престолу; с его гибелью рухнет и самодержавие... Все эти формулы, похожие на магические заклинания, вполне отвечали настроениям Николая II; он, судя по всему, и сам так считал.

Позиция царя была решающей, но огромную роль играла еще и позиция Государственного совета. Этот орган с 1906 года по новым Основным законам стал высшей по отношению к Государственной думе законодательной палатой; законопроект, принятый Думой, получал силу закона только после одобрения Совета. Состав Совета, члены которого отчасти назначались царем, отчасти избирались — Святым Синодом, дворянскими собраниями, Советом торговли и мануфактур и тому подобное, — носил откровенно цензовый, элитарный характер. И здесь, в отличие от Думы, Столыпин не владел никакими хитрыми механизмами, которые могли бы позволить ему проводить свою политику в жизнь. Совет

был безоговорочно реакционен. Здесь правила бал мощная продворянская группировка во главе с принципиальным противником Столыпина П. Н. Дурново, политиком опытным и хитроумным.

Понимая, что шансов провести свой проект местной реформы через Государственный совет у него практически нет, Столыпин задумал обходной маневр. Он решил попытаться сыграть на национальных чувствах, которыми всегда козыряли правые. Он предложил на западной окраине империи — на Украине и в Белоруссии, — в краях, которые земская реформа 1864 года благополучно миновала, земства все-таки создать — но на особых основаниях. Они должны были быть не только бессословными, но и с учетом национальной специфики формироваться на основе особого ценза: избирательные собрания здесь делились на национальные курии, причем на долю поляков отводилось меньше мест в новых органах, чем на долю украинцев и белорусов.

Расчет Столыпина вполне понятен. С одной стороны, помещики на этих территориях были поляками и католиками, а крестьяне — украинцами и белорусами, как правило, православными. Поляки в контексте черносотенных воззрений вообще выглядели одними из главных противников империи, мечтавшими о ее разрушении ради воссоздания Речи Посполитой. (Хуже их, пожалуй, были только евреи.) Об издевательствах польских панов над православными селянами правые говорили и писали много и горячо. Теперь им предоставлялась возможность оказать этим селянам братскую помощь, обеспечив за ними решающий голос в управлении местными делами. Чего, казалось бы, лучше? В то же время, если бы этот проект прошел, на западных окраинах появились бы земства весьма демократические по составу; был бы создан очень важный прецедент, что, конечно же, облегчило бы Столыпину борьбу за создание столь же демократических местных органов в самой России.

В Думе столыпинский проект о западных земствах был принят без сучка, без задоринки. Мало того: думцы еще и понизили вдвое имущественный ценз, предоставив тем самым еще больше мест в новых земствах крестьянам — украинцам и белорусам. Но в положительном решении Думы Столыпин особо и не сомневался. А вот решение Госсовета он должен был ожидать с большим волнением. Для премьера результаты голосования по этому, казалось бы, частному вопросу носили глубоко принципиальный характер; речь, в сущности, шла о том, получит он возможность проводить свою политику и дальше или нет.

«Объединенные дворяне», во главе с Дурново заправлявшие в Госсовете, оказались на высоте — обвести их вокруг пальца Столыпину не удалось. 4 марта 1911 года в зале, где заседал Госсовет, не хватало только баннера в марксистском духе: «Помещики всех стран, объединяйтесь!!!». Оказав социально-хозяйственным интересам безоговорочное предпочтение перед национальными, русские православные помещики поддержали своих братьев по классу — панов-католиков. Столыпинский проект был провален. Госсовет в принципе не возражал против введения земства на Украине и в Белоруссии, но предлагал ввести там земство по современному русскому образцу, то есть с полным преобладанием дворян-помещиков.

Столыпин, судя по всему, надеялся на лучшее и результатами голосования был потрясен: очевидцы рассказывали, что, получив известие о своем поражении, премьер, обычно прекрасно владеющий собой, изменился в лице и, прервав беседу, погрузился в невеселые размышления... Размышлял он, впрочем, очень недолго: для человека с его принципами решение напрашивалось само собой. В тот же день Столыпин подал в отставку.

Теперь судьба Столыпина и его реформ оказалась в руках Николая II, которого излишне самостоятельный и смелый

премьер начинал все больше тяготить. Царь поначалу не дал ясного ответа, хотя, судя по его отношению к Столыпину, ответ, казалось бы, напрашивался... Однако такие черты, как сильная воля и последовательность в решениях, Николаю присущи не были. Между тем у Столыпина оказались заступники и очень влиятельные: самые близкие родственники царя — некоторые великие князья и, главное, его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Все это были люди с государственным мышлением, способные оценить неуступчивого премьера и его политику. Общим для всех заступников стал характерный тезис: «Без Столыпина все развалится».

Царь, явно нехотя, уступил. Он не только не принял отставку Столыпина, но и пошел на все его условия: Госсовет и Дума были символически на три дня распущены; закон о западном земстве прошел в обход законодательных органов, по все той же 87-й статье. Лидеры антистолыпинского лобби в Совете — Дурново и Гурко — отправились на заслуженный отдых.

\* \* \*

Столыпин мог торжествовать победу — но победа оказалась пирровой... То, что идя напролом, он превратил свое имя в жупел, в воплощение зла в черносотенной среде, было не самым страшным — в этой среде премьеру давно уже ловить было нечего. То, что в революционных кругах он для многих давно уже стал главной мишенью, самым заманчивым объектом для теракта, опять же само собой разумелось. Храбрость свою Столыпин доказывал не раз; все более упорные слухи и даже конкретные предупреждения о готовившемся на него покушении он упорно игнорировал. Все это на его конкретную политику совершенно не влияло.

Хуже было то, что в ходе борьбы за местную реформу Столыпин рассорился с октябристами: претендовавшие на роль и

звание конституционалистов, эти деятели всерьез обиделись очередным употреблением 87-й статьи. Из их среды раздавались обвинения Столыпина в стремлении к личной диктатуре; они грозили не только отказать премьеру в поддержке, но и всей своей фракцией выйти из состава III Думы. Это грозило полным крушением той механики, с помощью которой Столыпин сохранял конституционный декор, управляя страной практически самовластно.

Столыпин терял опору, оставаясь в полном одиночестве. Надо думать, премьер рискнул бы в крайнем случае обойтись и без этого декора. Кого-кого, а его личная диктатура не испугала бы — Столыпин привык брать на себя ответственность без оглядки. Но это возможно было только при других отношениях с царем. А еще точнее — при другом царе... Совершенно очевидно, что Столыпин не отвечал царским представлениям о том, каким должен быть глава его правительства. Негативное отношение к премьеру накапливалось, и Николай II, чьи сдержанность, корректность и хорошее воспитание были общепризнаны, тем не менее все откровеннее это свое отношение проявлял.

...А. В. Герасимов, один из самых дальних и талантливых руководителей политического сыска в России, в своих воспоминаниях приводит очень выразительный эпизод (следует отметить, что со Столыпиным, деятельность которого он восхищался и программу которого полностью одобрял, у Герасимова сложились вполне доверительные отношения). Войдя в кабинет Столыпина с очередным служебным докладом, Герасимов, застав обычно спокойного и сдержанного премьера в волнении, которое он не мог и не желал скрывать. Столыпин счел возможным поделиться со своим сотрудником впечатлениями о недавней высочайшей аудиенции. «С удивлением и горечью», по воспоминаниям Герасимова, Столыпин рассказал ему, как Николай II на замечание премьера о том, что революция подавлена и царю лично уже ничего не грозит, с «яв-

ным раздражением» заявил: «Я не понимаю, о какой революции вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые...»

Сам Герасимов эти слова не комментирует. Но очевидно, что он, так же, как и Столыпин, прекрасно знал, что такое русская революция, должен был испытать что-то вроде сакрального ужаса. В этой фразе предельно ясно высказывалась вся царская натура, все его воззрения; в этой фразе скрывалось несчастное будущее России. Только-только ценой огромных потерь и невероятных усилий отползти от края жуткой пропасти — и тут же забыть о ней... Что же касается Столыпина, то этой фразой как бы зачеркивалась вся его прошлая деятельность по наведению порядка и заведомо ненужными признавались все его реформы. На кой они, если в России и так все будет хорошо — вот только с «беспорядками» надо бороться «более энергично и смело».

Эта беседа состоялась в 1909 году, когда, казалось бы, еще не затихло эхо революционных потрясений. С каждым годом беспамятность царя, свойственная всему его черносотенному окружению, могла только усиливаться. И с каждым годом все больше должен был раздражать беспокойный премьер, настаивавший на неприятных царю реформах и грозящий ему новыми потрясениями, если эти реформы не будут проведены в жизнь. При той позиции, которую все более откровенно занимал Николай II, Столыпин после наведения порядка становился не нужен, так же, как не нужны были его реформы. Мавр сделал свое дело...

С революцией Столыпин справился. Но справиться с реакцией, воплощенной в самом Государе, ему было не дано. В той ситуации, в которую попал Столыпин весной 1911 года, на высочайшую поддержку рассчитывать не приходилось. Другими словами, отставка премьера была предрешена, ста-

новясь лишь вопросом времени. Летом 1911 года слухи о ней распространялись все шире — наряду со слухами о покушении, готовившемся на Столыпина.

\* \* \*

В конце августа 1911 года Киев должен был стать центром всероссийских торжеств: во-первых, в честь полувекового юбилея крестьянской реформы здесь готовилось открытие памятника царю-освободителю — Александру II; во-вторых, собирались праздновать учреждение в западных губерниях земств. Программа торжеств разрабатывалась тщательно, поскольку посетить их должны были высочайшие особы с соответствующим сопровождением: царская семья, придворные, высшие сановники.

Как всегда в таких случаях остро стояли вопросы безопасности — у киевской охранки было великое множество хлопот, впрочем, достаточно ординарных. Но 26 августа ситуация стала принимать чрезвычайный характер: в этот день в охранку явился Дмитрий Богров, член местной группы анархистов и в то же время платный агент охранки. Богров сообщил сведения особой важности: у него состоялась встреча с некоторыми «видными эсерами»; один из них, назвавшийся Николаем Яковлевичем, заявил, что ему нужно пожить в Киеве, и просил подыскать квартиру. Вскоре последовало новое сообщение, после которого у начальника киевской охранки Н. Н. Кулебко сомнений в исключительной важности дела уже не осталось: Николай Яковлевич прибыл в Киев, он вооружен двумя револьверами и намерения его совершенно ясны — он поручил Богрову узнать приметы (!) Столыпина.

Между тем, 29 августа высочайшие особы с сопровождающими их лицами прибыли в Киев. В этой ситуации следовало, казалось бы, немедленно арестовать террориста или, по крайней мере, установить за ним наблюдение. Ничего этого

сделано не было. Возникло опасение, что при малейшей неосторожности Николай Яковлевич сгинет, и тогда уж Богров будет бессилен помочь своему охранному начальству. Кроме того, со слов Богрова стало известно, что у Николая Яковлевича есть еще и помощница, некая Нина Александровна, которая «проживает неизвестно где» и в случае ареста своего старшего товарища вполне способна осуществить теракт в одиночку. Счастье еще, что Богров знал ее в лицо, также, как и Николая Яковлевича...

В конце концов Кулябко принял предложение Богрова, который готов был постоянно присутствовать в окружении премьера и — узнать убийц, как только они окажутся в поле его зрения. Этот план, несмотря на его явную рискованность — причем рисковать приходилось жизнью главы правительства, — встретил у Кулябко полное понимание. Тут, очевидно, помимо всего прочего, проявилась одна черта, очень характерная для многих деятелей охранки: они стремились обезвредить террориста на месте преступления, предотвратив теракт в самый последний момент. Это было так эффективно! — и к тому же должно было производить сильное впечатление на всех заинтересованных лиц, в том числе и на охранное начальство. Правда, к сожалению, подобное представление никогда практически не удавалось...

Как выяснилось, эффекты любил и главный фигурант всей этой истории. На протяжении трех дней Богров ходил за премьером буквально по пятам, ничего не предпринимая. 1 сентября высочайшие особы и сопровождающие их лица прибыли в киевский оперный театр на торжественное представление «Сказки о царе Салтане». Театр был переполнен... В антракте Богров не спеша, почти вплотную подошел к ложе, где в окружении других министров стоял Столыпин, и выстрелил в него два раза — практически в упор. Первая пуля ранила премьера в руку, пройдя навылет; вторая попала в орден на груди и, изменив направление, прошла через живот, застряв в пояснице.

У Столыпина еще хватило сил и присутствия духа на то, чтобы улыбнуться и сделать успокаивающий жест на публику — ничего страшного, мол, не произошло. Затем ему стало плохо, и он, осенив крестным знамением царскую ложу, упал в кресло. Богров тем временем все так же спокойно повернулся и не спеша, тихим размеренным шагом пошел прочь из оцепеневшего зала. Схватили его уже на выходе.

Столыпина направили в клинику, где он несколько дней боролся со смертью. Торжества в Киеве, между тем, шли своим чередом. Николай II один раз побывал в клинике, но к Столыпину не пошел; матери же, Марии Федоровне, написал, что его «не пустили». Надо думать, что царь особо и не настаивал... Складывается впечатление, что свою антипатию к премьеру он не смог преобороть даже в таких чрезвычайных обстоятельствах. Медицина Столыпину не помогла, хотя, судя по всему, шансы были. После извлечения пули у него началось общее заражение организма. Вечером 5 сентября Столыпин умер.

\* \* \*

Во всей этой трагической истории загадок, конечно, множество. В первую очередь, поражают действия охранки. Впоследствии ответственность за убийство Столыпина возлагали на товарища министра внутренних дел П. Г. Курлова, который курировал вопросы безопасности в ходе торжеств, и его помощников — вице-директора Департамента полиции М. Н. Веригина и начальника дворцовой охраны А. И. Спиридовича. Но главным «героем» в этом деле, конечно, был Н. Н. Кулябко: остальные несли ответственность, он — реально работал.

Так вот, больше всего поражает доверие Кулябко к Богрову — оно было поистине безграничным, хотя абсолютно ни на чем не основывалось. За исключением нескольких доносов на киевских маргиналов-анархистов Богров по охранной линии

ничем себя не проявил. Между тем вопросы к провокатору должны были с самого начала сыпаться, как из рога изобилия: что это за неведомые охранке «видные эсеры»?<sup>14</sup> Почему они за помощью в таком серьезнейшем деле обратились к какому-то мелкому деятелю со стороны; да еще к деятелю с подмоченной репутацией (в своем окружении Богров вызывал все больше подозрений)? И что это за террорист такой, который приезжает убивать главу правительства(!), не зная его примет (он бы еще приметы Николая II начал выяснять...)?

Таких вопросов Богрову, судя по всему, не задавали, хотя они явно напрашивались. Далее: у охранников-профессионалов было золотое правило, о котором, кстати, очень выразительно писал в своих записках вышеназванный Спиридович: даже самого проверенного провокатора не рекомендовалось допускать на место предполагаемого теракта, позволять ему вступать в контакт с предполагаемой жертвой, и так далее. То есть, другими словами — не рекомендовалось делать именно то, что с такой потрясающей доверчивостью делал Кулябко (очевидно, с ведома того же Спиридовича). Хуже того — Богров сопровождал Столыпина практически бесконтрольно; его, судя по всему, даже не обыскивали.

Н. Г. Курлов на страницах своих воспоминаний очень выразительно изображает реакцию Кулябко, находившегося в фойе киевской оперы, когда в зале раздался выстрел: «Ах, Боже мой, — побледнев, проговорил он. — Это стрелял Богров. Он убил Столыпина! Я пропал...». То есть случилось ожидаемое, хотя и считавшееся почему-то невозможным. Последние же слова, как нельзя лучше показывают уровень патриотизма и преданности самодержавию этого охранного деятеля: страшно не то, что Столыпина убили, а то, что Кулябко себе карьеру поломал...

Получивший отставку Кулябко довольно быстро нашел себе достойное место в жизни — он стал торговать швейными

машинками. Вся прочая охранная компания была также отстранена от службы, но, как выяснилось позже, лишь временно. Было начато судебное преследование за халатность, но оно шло вяло и вскоре по распоряжению Николая II его прекратили. Все это вместе взятое заставляло современников, а затем и историков говорить о том, что в убийстве Столыпина была замешана охранка, действовавшая чуть ли не с благословения высшей власти.

Несмотря на все вышеупомянутые факты, эта версия представляется сомнительной по одной, но очень весомой причине. Физическая смерть Столыпина не нужна была ни царю, ни охранникам. Политическая же смерть и так ожидала премьера в ближайшем будущем. Судя по всему, деятели сыска «загорелись» (по удачному выражению историка П. Н. Зырянова), чему немало способствовала та аура обреченности, которая окружала Столыпина с весны 1911 года. Отношение к нему окружающих стало меняться буквально на глазах.

...Хмурым, дождливым утром, в день приезда высочайших гостей в Киев произошла сцена, которую можно считать своеобразным прологом к грядущей трагедии. На привокзальной площади выяснилось, что для Столыпина не нашлось места в приготовленных экипажах. Глава правительства стал нанимать извозчика... Благо городской голова оказался добрым человеком и прекратил этот позор, уступив всесильному недавно премьеру свою коляску...

Челядь перемену ситуации среди господ, как известно, «сердцем чует»; у высокопоставленной же челяди это верхнее чутье развито, очевидно, еще сильнее. Охранка же от челяди недалеко ушла... Богровские доносы, при всей их зыбкости, многое обещали, с ними, по мнению охранников, стоило поработать; безопасность же премьера при этом безоговорочно отодвигалась на второй план. Случись вся эта история на год — два раньше, у Кулябко и К° были бы, очевидно, другие приоритеты.

Более загадочной представляется фигура убийцы Столыпина. Богров был выходцем из вполне благополучной еврейской семьи присяжного поверенного, до главного дела своей жизни он был человеком малозаметным; собственно, можно сказать, что убийство Столыпина вообще стало единственным делом, которым он отметился в своем бытии, а до того жил — небо коптил... Кое-как учился, кое-как служил, в революционном движении участвовал постольку-поскольку — он явно был там фигурой случайной, никакой заметной роли не играл, серьезных связей не имел. Деньги, полученные за доносы, проигрывал в карты...

Истоки единственного совершенного им теракта, возможно, следует искать в психологии или — даже в психике. Во всяком случае знакомые Богрова отмечали такое его определяющее качество, как предельный, доведенный до апогея цинизм, которым он любил бравировать. «Он всегда смеялся над „хорошим и дурным“. Презирая общепринятую мораль, он создавал свою, причудливую и не всегда понятную». Этую «причудливую мораль» он, кстати, продемонстрировал и во время судебного процесса — в обществе с недоумением передавали его несколько нетипичную для революционера фразу: «Мне совершенно все равно, съем я еще несколько тысяч полагающихся мне котлет или не съем».

И вот такой человек убил Столыпина... Кстати, ведь, сопровождая премьера несколько дней подряд, Богров имел возможность убить его в ситуации гораздо более удобной для того, чтобы после этого бежать, скрыться. Однако он предпочел сделать это в торжественной обстановке, на публике, и все его неспешные действия напоминали некий ритуал... Впрочем, если у Богрова и была какая-то тайна — скрытые от посторонних глаз связи, глубинные мысли и настроения, — то ей, очевидно, так и суждено оставаться тайной. Вплоть до Страшного суда.

\* \* \*

После смерти Столыпина царь назначил главой правительства министра финансов Н. Н. Коковцова. Во время аудиенции, обращаясь к новому премьеру, Николай II обронил, между прочим, фразу: «Надеюсь, вы не будете заслонять меня, как это было свойственно вашему предшественнику».

В этой фразе, вне зависимости от желания царя, была некоторая двойственность — ведь, от кого и от чего, собственно, заслонял Николая Александровича Столыпин?.. Невольно вспоминается жест уже смертельно раненного Столыпина, крестным знамением осенившего царскую ложу. Это крестное знамение царской семьи не помогло. Но останься этот глава правительства в живых, может быть, не было бы ужасов ипатьевского подвала. В 1917 году, кстати, Столыпину было бы всего 55 лет...

Царь, конечно, имел в виду нечто совсем другое — самостоятельность Столыпина как премьера, его «непокорство», нежелание угодить... И вот здесь Николай II мог быть абсолютно спокоен: в сентябре 1911 года был убит *единственный* государственный деятель той эпохи, способный отстаивать и проводить в жизнь свои преобразования, не боясь монаршего неудовольствия — точно так же, как не боялся он мести революционеров, осуществляя свои «непопулярные меры». Последний герой империи, способный спасти ее от краха, пал смертью храбрых. Его время кончилось; на смену этому исключительному человеку опять пришли банальные интриганы, расчетливые дельцы и безгласные, подобострастные исполнители. В их руках политический курс, разработанный Столыпиным, был обречен.

Этот курс, собственно, никто не отменял. Для того, как минимум, нужно было предложить что-то другое — кроме топтанья на одном месте, которое от этого многолетнего топтанья все больше напоминало волчью яму... Столыпинскую

политику просто обездушили, свели на нет. В том же 1911 году в Государственном совете окончательно и бесповоротно похоронили местную реформу — не сказав ни единого худого слова об ее покойном вдохновителе. Аграрная реформа, которой Столыпин успел дать необратимый ход, медленно, но верно воплощалась в жизнь — под ее воздействием русская деревня постепенно менялась. Но вот вопрос: могла ли эта реформа, будучи пущенной на самотек, осуществляясь в полной изоляции от других сфер русского бытия, привести к тем результатам, о которых мечтал покойный глава правительства?

Русский «крепкий хозяин», в котором Столыпин надеялся обрести новую опору самодержавной власти, по-прежнему содержался этой властью в состоянии быдла... Что, по мере того, как усиливалась хозяйственная мощь зажиточного крестьянства, раздражало его все больше и больше. Кому же из этих людей, начинавших ощущать свое собственное значение, могло нравиться административное тягло в пользу все того же барина, — который и барином-то, по сути, давным-давно перестал быть, а все куражится. А за ненавистным барином все отчетливей виделся облик Государя... Ненависть к помещику совершенно естественно переносилась на самодержавную власть. Своими реформами Столыпин от лица власти протягивал руку «разумным и сильным» хозяевам. После смерти премьера рука эта сжалась в грозящий кулак — привычный жест самодержавия по отношению к своим непривилегированным подданным. Какой же смысл был этой новой силе русской деревни поддерживать такую власть?

Без последовательных, разносторонних преобразований порядок, наведенный Столыпиным с таким трудом и такими жертвами, был обречен... Неслучайно год смерти Столыпина — 1911 — стал годом нового резкого подъема массового революционного движения. Оживились и профессионалы от подполья, совсем было приунывшие в годы столыпинского

правления. Главный, пожалуй, антипод покойного премьера, заинтересованный во всеобщем развале, В. И. Ленин пишет в связи с этим очень поучительную статью с характерным названием «Последний клапан». Используя образ парового котла, давление в котором постоянно повышается, Ленин сравнивал реформы Столыпина с серьезной, реальной попыткой открыть последний оставшийся клапан в этом кotle, предотвратив тем самым страшный взрыв. Ну, а уж коли и здесь ничего не вышло, торжествовал вождь мирового пролетариата, то котел этот наверняка разнесет к чертовой матери!..

Между тем на страну уже пала тень надвигавшейся войны, которую Столыпин считал совершенно невозможной, гибельной для России, делая, пока был жив, все возможное, чтобы ее предотвратить. В эту войну больная, неустроенная держава готова была ввалиться со всеми своими нерешенными проблемами... Империя обреченно шла навстречу своей погибели, и спасать ее больше было некому.

2009

# ОХРАНКА ДЕЙСТВУЕТ, ОХРАННИКИ РАЗМЫШЛЯЮТ

Борьба самодержавной власти с оппозиционно настроенным обществом пронизывает историю России XIX–начала XX веков. Консервативно настроенная власть явно не поспевала за ходом времени; общество же в своих преобразовательных устремлениях нередко опережало его. И прежде всего это касалось крайне левого, радикального крыла, которое становилось тем яростней и непримиримей, чем медленней и неповоротливее действовало правительство. Нерешенные проблемы русской жизни порождали революционеров — поколение за поколением, эпоха за эпохой: декабристы, революционные демократы, шестидесятники, народники 1870-х и т. д., и т. п., вплоть до большевиков и иже с ними.

Отказываясь от последовательных преобразований, власть неизбежно занимала боевые позиции по отношению к своим оппонентам. Революционеры действовали все организованней, движение их становилось все более массовым — власть принимала свои меры. Так, ответом на первый «революционный взрыв» — восстание декабристов — явилась деятельность III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, созданного Николаем I в 1826 году. Взаимодействуя с Корпусом жандармов, сформированным в то же время, этот орган произвел неизгладимое впечатление на современников; казалось, антиправительственная деятельность была скована им намертво.

Однако III отделению и тесно связанным с ним жандармским органам на местах так и не суждено было стать профессиональными органами политического сыска, несмотря на

целый ряд многообещающих черт в их организации и деятельности. Слишком уж грандиозные задачи поставил перед ними их создатель, последний император крепостной России. Николай I, этот великий охранитель, очень широко трактовал само понятие «антигосударственной деятельности». Он видел ее не только в идейной борьбе, в либеральных и радикальных умствованиях, но и в служебных проступках, пренебрежении церковными обрядами, безнравственном поведении — в любых отступлениях от раз и навсегда определенных норм частной и общественной жизни. В результате новоявленным органам государственной безопасности приходилось принимать на себя массу обязанностей политической полиции, как правило, ей не свойственных. Они должны были не только бороться с противниками существующего строя, но и брать под свою опеку всех благонамеренных россиян, зорко следя за тем, чтобы эта благонамеренность нигде не давала сбоя: чтобы чиновники не воровали, обыватели не спивались, мужья не изменяли женам, богатые не притесняли бедных, бедные не держали зла на богатых и т. д., и т. п.

Подобные задачи всерьез можно было ставить, наверное, только в николаевской России — «тихой», как бы заснувшей стране, упокоенной на прочном крепостном фундаменте, разделенной на обособленные, живущие своей, ни с кем не схожей жизнью сословия... Но вот грянула Крымская война, наступила эпоха реформ, и — «все смешалось в доме Облонских». Общественное движение оживилось небывало, и главную роль в нем стали играть интеллигенты-разночинцы. Выходцы из самых различных сословий, родства, как правило, не помнящие, они традиций не соблюдали и всю Россию склонны были рассматривать как белый лист бумаги, на котором им предстояло начертать план будущего идеального общественного устройства. При этом народ все был отчаянный, скорый на решения и готовый к жертвам — и среди своих и, тем более, среди неприятеля...

III отделение, скованное немыслимой задачей тотального надзора, по сути, проглядело взрыв общественного движения. По мере того как правительство сворачивало реформы, это движение становилось все радикальнее, с одной стороны, все многочисленнее и организованней — с другой. С каждым годом жандармы все в большей степени теряли контроль за событиями, происходившими в России. Изуродованный труп царя-реформатора Александра II, убитого 1 марта 1881 года взрывом бомбы после многомесячной облавы, устроенной на него подпольной революционной организацией «Народной волей», стал горьким свидетельством их полного банкротства.

Вот тогда-то власть и пошла на коренное преобразование охранительной системы, которое дало блестящие в своем роде результаты. Еще до убийства царя III отделение было ликвидировано; все его наследство по сыскной части передано в специальное делопроизводство МВД. В ведение этого министерства перешла и вся разветвленная структура жандармских органов. Но, главное, на местах — в Москве, Варшаве, в Петербурге — создавались «Отделения по охране общественно-го порядка и безопасности», в просторечии — охранка.

Это был своеобразный эксперимент. В то время, как «обычным» жандармам и полицейским полагалось вести ежедневную, будничную борьбу с потрясателями основ, охранка брала на себя роль своего рода лаборатории политического сыска. Охранным отделениям выделялись значительные средства, на службу в них набирались наиболее способные жандармы и «штатские специалисты», и — качество редкое в бюрократическом аппарате Российской империи — здесь всячески поощрялись инициатива и предприимчивость. Были бы результаты...

А они не замедлили прийти. Особенно «заблистал» в 1880-х–1890-х годах московская охранка. Возглавлявшие охранку полковник Бердяев и вслед за ним знаменитый Зубатов подняли на небывалую высоту сыск во всех его проявлениях.

Здесь под началом Евстратия Медникова была создана знаменитая «школа филеров», воспитывавшая приметливых, смышленых шпиков с хорошо отработанными приемами «наружного наблюдения» — от примитивной слежки до целых сыскных феерий с погонями, переодеваниями, переменой внешности, засидками на чердаках, в погребах и т. п. Здесь основательно взялись за данные, поставляемые перлюстрацией, за постоянную, кропотливую, целенаправленную их разработку. Наконец, именно здесь впервые была сплетена и накинута на подполье плотная сеть «секретной агентуры»: к началу XX века в Москве не было, пожалуй, ни одной нелегальной организации, чья деятельность не освещалась бы подробнейшим образом одним или чаще несколькими провокаторами.

На высочайшем канцелярском уровне в московской охранке находились и все дела бумажные. Учет информации, получаемой из разных источников, поставлен был образцово. «Регистрация, — писал В. В. Жилинский, один из исследователей деятельности московской охранки, — была идеальной. Всякий, кто хотя бы только подозревался в чем-либо, попадал на особую регистрационную карточку, на которой проставлялся № дела, и всякую справку на любое лицо можно было получить в несколько минут. Таких регистрационных карточек имеется до миллиона. На этих карточках можно найти имена всех общественных деятелей, высокопоставленных особ, карточку почти всякого интеллигентного человека, который хоть раз в жизни задумывался над политикой». С начала XX века особые «разноцветные» досье составлялись на различные революционные и оппозиционные направления: на красных карточках группировались данные на эсеров, на синих — на эсдеков, на зеленых — на анархистов и т. д. Целые шкафы заполнялись фотокарточками арестованных, подозреваемых, эмигрантов; целые тома — тематическими подборками газетного и журнального материала. Конечным же результатом

всей этой работы, венцом обобщения информации являлись схемы различных нелегальных организаций, подробные, как топографические карты-двуихверстки, — на них были нанесены центральные органы и вспомогательные, указаны все их члены, прослежены всевозможные связи. Неудивительно, что, по признанию многих деятелей подполья, «делать революцию» в Москве в конце XIX—начале XX веков стало чрезвычайно трудно, почти невозможно.

Работа московской охранки была замечена и отмечена высоким начальством. С конца XIX века «москвичей» начинают использовать чуть ли не в масштабах всей России — европейской, по крайней мере. Из «евстраткиных филеров» формируется особый «летучий отряд», которому поручаются наиболее важные дела по части выслеживания, выследивания и вынюхивания. Да и начальник охранки Зубатов с ближайшими сотрудниками постоянно находится в движении от одной «горячей точки» к другой: то в Поволжье «разбирается» с социалистами-революционерами, то в Минске борется с Бундом...

В 1902 году министр внутренних дел В. К. Плеве по рекомендации Зубатова провел последнее серьезное преобразование системы государственной безопасности. Охранные отделения по образцу и подобию московского были созданы во всех губернских городах. Им поручалась вся работа по организации и ведению политического сыска; на долю же «явных» жандармов в губернских управлениях теперь оставались лишь такие дела, как формальное ведение дознаний по политическим преступлениям (материал по которым готовила все также охранка), аресты, содержание под стражей, конвой и т. п. Новые органы в своей деятельности подчинялись начальнику Особого отдела Департамента полиции, которым был назначен сам Зубатов; вместе с ним на повышение пошел и Медников; зубатовские же «птенцы» из московской охранки — жандармские офицеры Спиридович, Сазонов, Петерсен и другие.

гие — разлетелись по всей стране, возглавив охранные отделения в губерниях; так же, вразъезд, на руководящие должности по «наружному наблюдению» отправились и столичные филеры. Охранная сеть, сплетенная в Москве, опутала теперь всю Россию.

Сыск, реформированный Плеве и Зубатовым, представлял собой серьезнейшего противника для революционного движения. «Столичные» охранные методы вполне оправдали себя и в масштабах всей страны. Всероссийская охранка имела подробнейшую, если не исчерпывающую, информацию о всех революционных партиях и организациях, недаром среди их членов трудно отыскать такого, кто хоть раз не побывал бы под арестом, в тюрьме, ссылке.

Но сбором информации и арестами дело отнюдь не ограничивалось. Ведь охранка оказалась в значительно более сложном положении, чем ее предшественники. В конце XIX века Российская империя вступила в полосу затяжного общеполитического кризиса. В стране были миллионы недовольных существующим положением вещей. Революционное движение, которое при Николае I захватило десятки людей, при Александре II — сотни, теперь приобретало массовый характер.

Охранка не могла да и не должна была решать те проблемы, которые порождали это недовольство; ей приходилось пожинать плоды — сражаться с недовольными. Ощущение того, что это дело совершенно безнадежное, что искоренить революционное движение своими силами она ни в коем случае не может, становилось в охранной среде все более сильным; и постепенно, исподволь приходило решение — попытаться взять это движение под контроль, овладеть им, разложить его изнутри. Недаром с конца XIX века главным орудием борьбы охранки с революционерами становится провокация, которая быстро приобретает совершенно поразительный размах.

Провокация целиком и полностью основывалась на деятельности «секретной агентуры», т. е. внештатных сотрудников охранки, поставлявших разнообразные сведения по интересующим ее вопросам.

Официальные инструкции в довольно категоричной форме запрещали секретным сотрудникам принимать сколько-нибудь активное участие в революционной деятельности; имелось в виду, что они должны избегать нарушения законов, исполняя роль пассивных «наблюдателей». Но что мог знать о деятельности той или иной подпольной организации человек, оказывающий ей лишь какое-то косвенное, малосущественное содействие? Напротив, чем теснее агент охранки был связан с подпольем, тем большую ценность представлял он для жандармов-охранников. Приходилось выбирать: или «сочувствие» революционерам — и жалкие крохи информации, или участие в их деятельности — и реальная возможность проникнуть в самые сокровенные тайны подполья. Нет необходимости говорить о том, какой выбор сделала охранка.

Иногда — и не так уж редко — охранка шла на прямое участие в провокациях: через своих сотрудников целенаправленно устраивала подпольные типографии, которые затем сама же и «разыскивала»; переправляла оружие из-за границы для боевых групп, пребывавших у нее под колпаком, и тому подобное. Но обычно этого и не требовалось: достаточно было лишь закрыть глаза на деятельность агента, который сам, вместе со своими сотоварищами-подпольщиками организовывал революционную работу, в то же время подробно информируя своих работодателей-жандармов обо всех своих действиях. И охранка обычно отнюдь не торопилась эти действия пресекать; свои карательные функции она осуществляла в высшей степени осмотрительно. Полученная информация почти никогда не использовалась в полном объеме: подпольные организации не уничтожались целиком — свеча оставалась стоять на окошке, и новые мотыльки, взамен сгоревших,

летели на нее со всех сторон. А самое главное, аресты производились с таким расчетом, чтобы не скомпрометировать того, кто поставил информацию; курочку, несшую золотые яйца, оберегали всеми возможными средствами.

В начале XX века охранка знала о подполье если не все, то очень многое; она держала под надзором большинство революционных организаций, имея ясное представление об их планах и о конкретных действиях; более того, охранка нередко с успехом влияла и на то, и на другое. Но за этот грандиозный сыскной успех приходилось платить страшной ценой: агент охранки Азеф был в то же время главой Боевой организации партии социалистов-революционеров и подготавливал убийство царских министров; агент охранки Малиновский, по сути, возглавлял думскую фракцию большевиков в IV Думе и с незаурядным красноречием пропагандировал с думской трибуны разрушительные идеи. И то была лишь верхушка айсберга: когда после революции на основе архивов охранки газеты начали публиковать списки провокаторов, они заняли целые полосы — сотни, сотни имен... И все эти люди предавали не только своих товарищей по подполью — они, по сути, предавали в то же время и тот строй, которому их наняли служить. Провокационная деятельность неразрывно сплеталась с революционной; разворачая революционное движение, охранка с железной неизбежностью разворачивалась сама. Чем изощреннее становились ее провокационные приемы, тем страшнее была та сила, с которой запущенный жандармами бumerанг бил по охраняемым ею устоям. И хотя, конечно же, отнюдь не деятельность охранки породила кризис самодержавия, она усугубила его донельзя. Система государственной безопасности сработала в конце концов как разрушительная сила.

\* \* \*

Российская империя неудержанно движется к краю пропасти — в начале XX века подобное ощущение становится все более распространенным в кругах тех, кто так или иначе управлял страной. Это ощущение проскальзывает между строк официальных документов, фиксируется в переписке и, конечно же, особенно ярко выражается задним числом — в записках и мемуарах. Объяснения катастрофическому процессу даются, естественно, самые разнообразные — и зачастую именно эти объяснения, исходящие от людей, несущих ответственность за то, что происходило в России, как нельзя лучше убеждают в неизбежности трагического исхода...

В центре нашего внимания произведения, ставшие «классикой» литературы о политическом сыске: записки А. И. Спиридовича, воспоминания В. Д. Новицкого и А. В. Герасимова. Все они составляют, на наш взгляд, нечто единое, своеобразную трилогию: и по своему тематическому единству, и потому, что в них просматривается движение «жандармской мысли», осознание происходящего — с одного уровня на другой. У авторов, как у большинства жандармских офицеров, много общего — потомственное дворянство, военная служба до поступления в корпус и, главное, — безоговорочно верноподданнические взгляды. «...Быв убежденным монархистом, воспитанным в духе полнейшего единодержавия, я представляю из себя человека, всецело преданного русской национальной идее, с которой шло мое служение родине и жизни: эта жизнь и служение сливались в одно громадное целое, беззаветно преданное монархам и отечеству». Под этим высокопарным, но, несомненно, искренним пассажем из воспоминаний Новицкого каждый из его коллег подписался бы не задумываясь. И, тем не менее, несмотря на это, казалось бы, определяющее сходство, наши авторы очень разнятся — вплоть до того, что представляют собой три различных и очень характерных типа,

причем не просто жандармов-«сыскарей», но — государственных людей Российской империи.

Начнем с В. Д. Новицкого, на протяжении многих лет возглавлявшего Киевское жандармское управление, — и не только потому, что он старше своих коллег и описывает, в основном, события, происходившие в последней трети XIX века. Генерал представляется нам фигурой чрезвычайно цельной, мыслившей и действовавшей с максимальной простотой и прямолинейностью. Ему бы родиться пораньше... Мировосприятие Новицкого корнями своими уходит в «спокойную», стабильную дореформенную жизнь, в царствование Николая Павловича, когда теория «официальной народности» была последним словом государственной мудрости, а III отделение собственной канцелярии — свежеиспеченным учреждением.

С точки зрения Новицкого, Российская империя — в принципе спокойная, благоустроенная, счастливая страна без каких-либо серьезных проблем; во всяком случае, в своих воспоминаниях он не касается общих вопросов государственного устройства и социально-экономического бытия России. Но это благополучие, по мнению генерала, как серной кислотой разъедается деятельностью «преступных элементов», которые проявляют себя в двух ипостасях.

Прежде всего это, конечно, революционеры — по мнению Новицкого, люди, вся деятельность которых определяется их исключительной испорченностью: «...дела о них свидетельствовали о полнейшем неуважении личных прав человека и полнейшем забвении чувства собственного достоинства, выражавшихся в убийствах товарищей, лишь заподозренных в обмане отцов, соблазне девиц, ограблении, воровстве и обмане целых обществ неразвитых людей, под видом политических целей, тогда как они были предпринимаемы из личных видов и выгод, для улучшения собственного материального положения и средств». При этом подобные деятели полностью оторваны от народа, а «интеллигентный класс», если и

поддерживает их, то по неразумению своему, не понимая, что «борьба с социалистами была поднята правительством за общество...».

С подобным злом, которое, в принципе, легко искоренимо, необходимо, считает Новицкий, бороться беспощадно, традиционными методами, не вступая с ним ни в какие иные отношения, кроме чисто репрессивных. Именно так, единственно правильным образом, действовали, по мнению генерала, жандармские управления. И, несомненно, одержали бы победу, если бы зло не проникло в ряды самих борцов «с революционным хаосом и анархией»...

Ключевой в воспоминаниях Новицкого является глава «С. В. Зубатов». Этого реформатора политического сыска генерал трактует как чуть ли не главного потрясателя основ Российской империи. «...Зубатов жестоко обманывал и обманул высшие власти, не понявшие еще и того, что в лице Зубатова был злейший противоправительственный деятель, социал-революционер и безусловный террорист...». Вся деятельность его была направлена на то, чтобы разложить изнутри главную опору власти — политическую полицию, оттереть в сторону «честных и преданных», традиционно мыслящих жандармских офицеров — прежде всего на местах, — и, наводнив революционное движение своими людьми — провокаторами, манипулировать им в каких-то не вполне ясных, по Новицкому, но, несомненно, преступных целях.

Подобный «анализ» кризисной ситуации поначалу производит впечатление горячечного бреда. Однако психологически подобная фантастика вполне объяснима: Новицкий настрадался в неравной борьбе с новаторами политического сыска. Революционное движение конца XIX—начала XX века, приобретшее массовый характер и совершенно новые формы, явно вышло за пределы понимания старозаветного генерала. Он совершенно очевидно с ним неправлялся. Новых же методов, предложенных Зубатовым, который стремился не столь-

ко подавить революционное движение, сколько овладеть им с помощью провокаторов, развернуть изнутри, поставить под контроль охранки — всего этого Новицкий вместить не мог... В этом отвращении к «зубатовщине» была, наверное, своего рода моральная правота. Но зубатовцы в начале XX века шли от успеха к успеху, а Новицкому Киевский комитет РСДРП послал к 25-летнему юбилею службы во главе жандармского управления издевательское поздравление «с глубокой благодарностью за полезную деятельность», позволившую социал-демократам «стать на ноги, окрепнуть и развернуть деятельность во всей ее нынешней широте». В то же время главный оппонент генерала, начальник киевской охранки зубатовец А. И. Спиридович, пользуясь своими методами, арестовал главу Боевой организации эсеров Гершуни. Новицкий, судя и по его воспоминаниям, и по запискам самого Спиридовича, ужасно переживал подобную «несправедливость», ревновал, устраивал формально подчиненному ему начальнику охранки сцены и в конце концов вынужден был подать в отставку. В своих мемуарах генерал, естественно, рисует себя жертвой зубатовских интриг, направленных против него — самого честного и бескомпромиссного защитника устоев Российской империи.

Нельзя сказать, что, обратившись к запискам самого А. И. Спиридовича, одного из самых последовательных и удачливых зубатовцев, мы можем найти более глубокие размышления о причинах надвигающегося хаоса. Несомненно, что Спиридович, так же, как и его наставник, куда более трезво, чем Новицкий, оценивал революционное движение, несравнимо больше о нем знал, лучше его понимал. Другими словами, он был в куда большей степени, чем незадачливый начальник, профессионалом, способным успешно решать конкретные задачи политического сыска. Но нам представляется, что профессионализм нередко застипал Спиридовичу глаза — так же, как самому Зубатову и многим его сотрудникам, — за-

ставляя верить, что с помощью провокаций и тому подобных действий можно решить чуть ли не все глобальные проблемы бытия Российской империи.

Особенно ярко этот подход сказывается в отношении Спиридовича к зубатовщине (полицейскому социализму), а затем и к гапоновщине. Все эти в сущности бесперспективные манипуляции рабочей массой оцениваются им безусловно положительно, как искреннее стремление Зубатова «поставить под контроль широкое профессиональное движение в России». И все было бы совсем хорошо, и рабочие обрели бы верноподданнические взгляды, и революции в России не было бы, кабы... Причины конечной и очевидной неудачи в этом «благородном деле» Спиридович указывает различные, но исключительно субъективного характера: недосмотрели, недоработали, не на того человека поставили (Шаевич в Одессе), а главное — начальство никудышное. Вот по отношению к начальству и по своей линии — департамент полиции, — и к высшему — Витте, Плеве, Святополк-Мирский — у Спиридовича претензии самые серьезные. Не смогло это начальство или не захотело оценить светлых идей Зубатова, «все сразу обрушилось на него» при первых неудачах — и погубили прекрасное начинание. Подобные же претензии Спиридович постоянно предъявляет к начальству и в отношении своей непосредственной сыскной деятельности: не дают нормально работать, «правая рука не знает, чего хочет левая», и вообще «походит на сумасшедший дом». Во многих конкретных случаях подобные оценки Спиридовича, наверное, вполне справедливы, но ведь и начальство-то с ума сходит не случайно... В целом при всем внешнем противостоянии двух авторов их воспоминания схожи в главном: в неумении или нежелании трезво оценить ситуацию. В конечном итоге точка зрения, что Зубатов развалил Российскую империю, не так уж далека от той, что Российская империя пала, поскольку Зубатову и его сотрудникам не дали как следует развернуться...

А. В. Герасимов, один из самых дальних работников сыска, сумевший, в частности, даже Азефа на какое-то время поставить под свой полный контроль, т. е. сделать действительно полезным сотрудником, в своих оценках кризисной ситуации выказывает, по нашему представлению, куда более глубокое понимание сути дела. Прежде всего он здраво оценивает органичность революционных потрясений в России, их обусловленность нерешенными проблемами русской жизни. И оценка Герасимовым представителей высшей власти тесно связана с тем, понимают они эту взаимосвязь или нет. Так, Плеве, импонирующего ему решительностью и профессионализмом — «Он был крупный человек и знал, куда шел и чего хотел», — Герасимов оценивает все же отрицательно, исходя из полной бесперспективности избранного им пути. «Плеве был одуванчен тогда одной идеей: никакой революции в стране нет, все это выдумки интеллигентов. Широкие массы рабочих и крестьян глубоко монархичны. Надо выявить агитаторов и без колебаний расправиться с революционерами». (Это ведь точка зрения Новицкого, да и Спиридович недалеко от нее ушел.)

Но куда страшнее этой «упертости» Плеве, по мнению Герасимова, та слабость и неуверенность, которой характеризовалась внутренняя политика при его преемниках. «С ужасным концом Плеве начался процесс быстрого распада центральной власти в империи, который чем дальше, тем больше усиливается. Все свидетельствовало об охватившей центральную власть растерянности». Именно эта «растерянность», не будучи главной причиной революции, чрезвычайно способствовала ее развитию. По твердому убеждению Герасимова, власть не должна уступать революции, делая все возможное, чтобы противостоять ее давлению. Здесь он сторонник решительных жестких мер — и не только в теории: именно Герасимов в качестве начальника Петроградской охранки с блеском провел ликвидацию Совета рабочих депутатов, проведя в два

дня несколько сотен обысков и арестов. Герасимов убежден: уступки революционному движению неизбежно приводят к его дальнейшему развитию, вплоть до полного хаоса... Порядок нужно наводить любой ценой.

Но затем, для того, чтобы сделать его прочным, — «желательны реформы». Исходя из этого соображения, Герасимов с видимой симпатией описывает деятельность Витте в 1905 году, что в охранных кругах случай уникальный. Но главный герой Герасимова — это, безусловно, Столыпин. «Уже во время первого свидания Столыпин произвел на меня самое чарующее впечатление как ясностью своих взглядов, так и смелостью и решительностью своих выводов». Работа под руководством этого главы правительства «принадлежит, — писал Герасимов, — к самым светлым, самым лучшим моментам моей жизни». Все это более чем естественно: и темперамент, и, главное, убеждения начальника и подчиненного полностью совпадали. Под знаменитыми словами Столыпина: «революция болезнь не наружная, а внутренняя, и вылечить ее только наружными средствами невозможно» — Герасимов, вне всяких сомнений, готов был подписать обеими руками. Желательны реформы...

С этих позиций понятно резко отрицательное отношение Герасимова к «безответственному» черносотенству; понятно восприятие им Распутина и распутинщины как «нового врага, не менее страшного, чем революционеры». Эти силы в конечном итоге взяли верх над кумиром Герасимова. После смерти Столыпина была предопределена и его отставка. Более того, была предопределена революция... Вот эту горькую предопределенность Герасимов, несомненно, ощущал очень хорошо и хорошо сумел передать в своих воспоминаниях. Ключевым в этом отношении в них является, пожалуй, следующий эпизод: в 1909 г. Столыпин «с удивлением и большой горечью» рассказал Герасимову, как при высочайшей аудиенции в ответ на его слова о том, что революция окончательно подав-

лена и царю лично не грозит уже никакая опасность, Николай «с раздражением» заявил: «Я не понимаю, о какой революции вы говорите. У нас, правда, были беспорядки, но это не революция... Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые...».

Мне представляется, что воспоминания Герасимова вплотную подводят нас к пониманию того, в какой сложной, практически безысходной ситуации оказались деятели политического сыска, среди которых было немало умных, дальних людей, в начале XX века. Им приходилось вести борьбу, в которой они были заведомо обречены на поражение. Как бы успешно охранники ни проводили ту или иную операцию, ликвидируя тех или иных противников режима, с революцией им справиться было не дано. Она порождалась объективными причинами, которые, по сути своей, были вне ведения, вне компетенции политической полиции. Охранка-то в это время работала очень хорошо: владела почти исчерпывающей информацией о своих противниках, умело манипулировала ими, в большинстве случаев успешно решала поставленные перед собой конкретные задачи. Но для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно было выкорчевывать корни революции — решить проблемы русской жизни... Эту задачу должна была выполнить государственная власть — вся, в совокупности всех своих структур и отдельных функционеров, — которая оказалась к этому совершенно неспособна.

1991, 1998

## В СУМЕРКАХ

В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в одном из аристократических особняков Петрограда был убит «Святой Черт» — страшный, отвратительный Распутин, проклинаемый с думской трибуны и со страниц газет как исчадие ада, как источник и средоточие всех бед, терзавших страну. Известие о его смерти вызвало взрыв ликования и в столичных салонах великосветской знати, и в среде политической оппозиции, и на фронте — офицеры Ставки Главнокомандующего, не стесняясь присутствием царя, заказывали шампанское... Теперь все должно было пойти на лад: армия начнет бесперебойно получать боеприпасы, в Петроград пойдут эшелоны с продовольствием и топливом и, самое главное, царь, наконец, протянет руку Думе...

Прошло два с небольшим месяца, и в России начались события, которые в короткий срок развалили армию, покончили и с царем, и с Думой, и ввергли страну в кровавую трясину гражданской войны. Убийство Распутина — как и всякое убийство — ничего не решило и ничему не помогло. Нужно было долго дышать воздухом заживо разлагавшейся империи, чтобы возлагать такие надежды на очередной труп — один из многих, отметивших собой скорбный путь России... Трагедия приближалась к своему неизбежному концу, и в особняке Юсуповых был разыгран один из ее последних актов.

Разбираться в сюжете этой трагедии будут долго: помимо того, что она сложна и противоречива, лики ее подлинных героев — последних царя и царицы — залиты жирной липкой грязью. Победителям было мало уничтожить царскую семью

физически, они стремились отравить самую память о ней; авторы многочисленных «историко-психологических» этюдов, продолжавшие дело дискредитации царской власти, начатое еще в последние годы ее существования, действовали первом не менее лихо и уверенно, чем Юровский со товарищи огнестрельным оружием. «Загадка Распутина» — т. е. вопрос о причинах возвышения «святого старца» и о степени влияния его на царскую семью — решалась ими с такой простотой и выразительностью, которая присуща лишь площадной ругани: безвольный, приурковатый Николай — царь-идиотик, царь-дегенерат; истеричная, растленная Александра и хитрый, властный мужик, подминающий под себя царскую чету с помощью всех возможных и невозможных средств — гипноза, дурманящей травки, небывалой мужской силы... В то же время историки-монархисты, творящие в эмиграции, пытаясь противостоять этому мутному потоку, как правило, вообще отбрасывали прочь «распутинскую легенду», заквашенную и выпеченную, по их мнению, злоказненной жидо-масонской интеллигенцией. Распутин в их изображении — не более чем безобидный шут, приживал, знахарь, пользующий больного царевича... Дегтя заборных надписей они противопоставят золото и лазурь иконописи, без единого темного пятнышка царские лики в их изображении...

Сложна история; история переломных эпох сложна стократно. Пусть простит меня читатель за эту тривиальную истину, но «дискуссия с закрытыми ушами», которая на протяжении десятилетий велась заочно и до широкого читателя практически не доходила, сейчас выплеснулась на страницы самых разнообразных изданий: противники безжалостно кosterят, как им представляется, друг друга; на деле же под их молодецкими ударами корчится прошлое, и без того истерзанное донельзя. Историческую истину, конечно же, не сыскать и нам на этих двух десятках страниц, и не о том речь: хочется лишь напомнить читателю о трагической сложности

всей этой истории, в которой грязь затопила лазурь, а золото тускло просвечивает сквозь самые черные пятна...

Узел русской трагедии, крепко затянутый «Святым Чертом», был завязан задолго до тех событий, о которых пойдет речь в этом очерке. Ее истоки лежат в глубинном, безысходном противоречии между политической системой самодержавия, оказавшейся неспособной к последовательной эволюции, и медленным, но неотвратимым процессом исторического развития страны. Уже в начале XIX века эта система, при всех своих частных несовершенствах, приобрела законченную форму и — застыла в величавой неподвижности. А ход истории, между тем, заставил отменить крепостное право, провести ряд непоследовательных, но чреватых самыми серьезными последствиями преобразований в сфере судопроизводства, местного самоуправления, формирования армии. «Великие реформы» 1860-х–1870-х годов исподволь крушили устои самодержавия. Последние десятилетия XIX века стали временем быстрого оскудения поместного дворянства; столь же неудержимо и последовательно шел процесс разложения патриархального общинного крестьянства, а между тем именно эти сословия на протяжении веков служили верной опорой царской власти. Оскудевая и разлагаясь, они питали своими соками преемников — тех, кто неудержимо пробивался вперед, на авансцену российской истории: буржуазию, все в большей степени, по мере осознания экономической мощи проявлявшую интерес к государственным делам, и пролетариат, которому нечего было терять, кроме своих цепей... И если до этих времен русская интеллигенция, находившаяся в постоянной политической оппозиции к самодержавию, обитала в полном вакууме, то теперь у нее появлялись самые широкие возможности для приложения своих недюжинных сил — пропаганды, агитации, разъяснений, призывов и т. д.

То, что общее направление развития страны является гибельным для самодержавного строя, было ясно осознано вла-

стью еще в конце XIX века, при Александре III. Суть его царствования определялась политикой контреформ, с помощью которых правительство пыталось нейтрализовать результаты «великих преобразований». Однако исторический процесс необратим — Россию не удалось повернуть вспять; ее лишь остановили, «подморозили», затормозили ход ее развития на полтора десятка лет, а затем — как плотину прорвало... На пути этого потока оказался последний русский царь Николай II, и он встретил удар грудью.

Николай не был наделен сколько-нибудь яркими чертами, его нельзя назвать талантливым человеком, и все же, если попытаться без предубеждения оценить его личность, — остается впечатление неординарности, необыкновенности, по крайней мере в сравнении с его окружением, придворными, министрами и, тем более, политическими противниками. И дело здесь не только в том, что царь был человеком на редкость цельным, твердо сознающим смысл своего существования и не ведавшим сомнений; хоть это и бросается в глаза, но людей, не уступавших ему в этом качестве, не так уже трудно отыскать даже среди того разброда и шатания, который охватил россиян в начале XX века. Главное, в основе этой цельности лежала глубокая, искренняя, истовая вера в Бога, вера, давным-давно утраченная значительным большинством образованных русских людей.

Торжественные слова коронационной молитвы «Боже Отцов и Господи Милости, Ты избрал мя еси Царя и Судию Людям Твои...», которые он произнес 14 мая 1896 года, были для Николая не пустой формальностью, не данью обветшальной традиции, а жизненным кредо, определявшим и оправдывавшим все его душевные движения, действия — всю его судьбу... В день коронации он добровольно принял на себя тяжкое бремя ответственности за судьбы России — единоличной ответственности перед Господом, разделить которую он был не в праве ни с кем, никогда, ни при каких обстоятельствах...

Столь свято, как в свое божественное призвание, Николай верил и в промысел Божий: на избранном пути он готов был безропотно принять — и принимал любые испытания. Рожденный в день поминовения Иова Многострадального — о чем он не раз вспоминал, — Николай терпел неудачи во всех начинаниях, но до самого конца оставался верен своей теплой вере. Уж если и сравнивать с кем последнего царя, так с мужиком, который, раз за разом теряя свое достояние от пожара, засухи, града, стиснув зубы, продолжает тянуть лямку, искренне веря, что так надо, что иначе нельзя, что все это посыпает Господь... Несомненно, именно вера порождала поразительное самообладание царя, позволившее ему сохранить человеческое достоинство в самых катастрофических ситуациях: в разгар первой революции, в день отречения, в Ипатьевском доме...

Относясь подобным образом к своей миссии, царь требовал того же и от приближенных. Он ни в малейшей степени не обладал властной силой своего отца, державшего в страхе Божием министров, великих князей, двор, всю страну. Напротив, в личном общении Николай производил впечатление человека мягкого, уступчивого, не способного отстаивать свою точку зрения: он всегда уходил от споров, никогда не делал выговоров, тщательно избегал каких бы то ни было сцен. У Николая было одно в высшей степени характерное качество, которое он отлично осознавал: почти физическая неспособность высказать свое неудовольствие в глаза собеседнику, принести огорчение и расстройство. Обычный прием Николая при расставании с членами своего правительства и другими приближенными навлек на него множество упреков в лицемерии и коварстве: отставке нередко предшествовала ласковая беседа с обреченным сановником, в которой царь выражал полное удовлетворение его деятельностью, и затем, уже из вторых рук или из официальной бумаги, составленной, за редким исключением, в самых милостивых выражениях, заинтересованное лицо узнавало о своей отставке.

А отставки в это царствование следовали одна за другой — Николаю было трудно угодить. По сути дела, тот своеобразный процесс, который позже, в последние, «распутинские» дни получил название «министерской чехарды», свои истоки брал в самых первых годах его правления. У Николая почти не было постоянных сотрудников, которым он доверял безоговорочно, — т. е. таких, которые искренне разделяли бы его взгляды на сущность государственного строя в России; таких, которые не за страх, а за совесть принимали бы точку зрения В. Н. Ламсдорфа, занимавшего в начале века пост министра иностранных дел: «Моя обязанность заключается в том, чтобы сказать государю, что я о каждом предмете думаю, а затем государь решит — я должен стараться, чтобы решение государя было выполнено».

С такими министрами царь чувствовал себя спокойно... Но на дворе стоял XX век, когда даже в среде высшей бюрократии подобные взгляды все в большей степени казались анахронизмом. Для этого времени куда более характерной фигурой был знаменитый С. Ю. Витте, который в ответ на искреннее исповедание веры одним из самых близких царю по духу сановников Д. С. Сипягину с нескрываемым ехидством писал: «Вы говорите: царь самодержавен — он создает законы для подданных, а не для себя; я — ничто, я только докладчик. Царь будет решать, ему никаких правил не нужно; тот, кто требует правил, желает ограничить царя; тот, кто сомневается, что царь, а не я, будет решать, полагает, что значит царь сам не может решать; тот, кто хочет ограничить число и форму решений, хочет отделить царя от подданных... Ваша теория, дорогой, милый, крепко любимый Дмитрий Сергеевич, имеет много общего с непогрешимостью папы...»

Сам Витте в «непогрешимость папы» совершенно не верил. Он отлично сознавал неизбежность, а следовательно, и необходимость перемен; всегда стремился к максимальной свободе и независимости в своих действиях... Именно поэтому

му он, несмотря на весь свой ум и ловкость, на все свои бюрократические таланты, был обречен... Николай подобных деятелей в лучшем случае терпел по необходимости, стремясь избавиться от них при первом удобном случае. Любая фигура, заслонявшая трон, была для царя неприемлема, точно так же, как неприемлемы были и любые действия, ведущие к принципиальным переменам существующего строя. Ведь здесь речь шла о самом главном, заветном — Символе Царской Веры, в защите которого Николай был непоколебим. Соотечественники чаще всего говорили в связи с этим о злоказненном упрямстве царя — внешне такого кроткого, «с глазами лани»; иностранные же наблюдатели, может быть, более спокойные и объективные, трактовали это качество несколько иначе: немецкий адмирал фон Тирпиц, например, писал о «стальных мускулах» Николая; французский президент Лубэ, развивая ту же, по сути, мысль, отмечал, что «под личиной робости, немного женственной, царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет».

\* \* \*

Однако Николай с каждым годом все более должен был ощущать свое неизбывное одиночество. По мере развития событий, усиления кризисных явлений, безудержного роста революционного движения и оппозиции всех сортов, значительная часть правящей бюрократии приходила к мысли о необходимости уступить духу времени, пойти хотя бы на самые скромные перемены во внутреннем строе империи, — т. е. «левела» и тем самым становилась неприемлемой для Николая. Это было особенно прискорбно потому, что подобную эволюцию претерпевали, как правило, люди честные и искренне озабоченные будущим России. Сотрудники же «верноподданные», подобные Сипягину, который при всей своей

умственной простоте был человеком исключительно порядочным, составляли редкое исключение. Сплошь и рядом под личиной «без лести преданных» монархистов скрывались деятели беспринципные, вожделеющие власти, почестей, богатства и не стесняющиеся в достижении своих целей никакими средствами... Люди честные все чаще представлялись царю политически ненадежными; люди «верные» — сплошь и рядом оказывались взяточниками, казнокрадами, политическими авантюристами... С каждым годом в душе Николая росло чувство недоверчивости к окружающим, к своим сотрудникам — неслучайно многие современники писали о подозрительности как одной из отличительных черт его характера.

Ни малейшей отдушины не находил царь и при дворе, где он, казалось бы, должен был быть окружен близкими по духу людьми. Что касается непосредственно придворных той поры, то, очевидно, прав был издатель «Нового времени» А. С. Суворин, человек знающий и толковый, писавший в дневнике: «У нас нет правящих классов. Придворные — даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд». Но особенно характерным было то, что Николай довольно быстро попал в почти полную изоляцию в семействе Романовых... От своих ближайших родственников, великих князей, он практически не видел сочувствия — одни только дополнительные тяготы. Помимо довольно обычных в этом кругу амурных похождений, нередко совершенно невозможного, скандального характера, и весьма свободного обхождения с казенными средствами, царские дядя и двоюродные братья с каждым годом все в большей степени проникались оппозиционным духом, который, казалось бы, был им совсем не к лицу... Проявлялся сей дух в самых разнообразных и своеобразных формах: Николаевичи интриговали, Михайловичи флиртовали с оппозицией, Владимировичи открыто высказывали собственные притязания на престол и все вместе, совокупно со своими супругами, сплетничали, сплетничали, сплетничали... В годы мировой войны

именно эта среда стала одним из главных источников тех грязных слухов, которые сыграли роковую роль в судьбе империи.

Таким образом, бросив вызов времени во имя сохранения традиционного строя во всей его полноте и целостности, Николай оказался без помощи и поддержки. А между тем его положение год от году становилось все более сложным. В конце XIX–начале XX века в стране шел бурный процесс так называемого «классового самосознания», охвативший, прежде всего, пролетариат и буржуазию, которые, с легкой руки оппозиционной интеллигенции, политизировались не по дням, а по часам. В столицах и провинции создавались подпольные и полуподпольные организации, разрабатывались теоретические программы, развертывалась широкая агитация в массах — одним словом, закладывались основы будущих политических партий. И лидеры каждого из многочисленных направлений общественного движения имели свои, абсолютно точные рецепты спасения России; они отлично знали, что нужно русскому народу и как эти нужды удовлетворить. Они горели желанием проверить свои теоретические разработки на практике, — а для этого прежде всего нужно было управлять страной... Вопрос о власти — т. е. о замене самодержавия чем-то иным, конституционной монархией или республикой, — стал определяющим для русской жизни начала века.

Свое единовластие Николай отстаивал чрезвычайно последовательно. Лишь в 1905 году, в разгар революции, когда всеобщая политическая забастовка грозила перерасти в столь же всеобщее и потому почти наверняка непреодолимое восстание, царь пошел на уступки, да и то только после трагической беседы со своим дядей великим князем Николаем Николаевичем, которому он предложил возглавить военную диктатуру: Николай Николаевич, называемый при дворе без особых на то оснований «единственным настоящим мужчиной в царской семье», заявил, что застрелится на глазах у племянника,

если тот не выкинет белый флаг... 17 октября царь подписал манифест, по которому населению даровались гражданские свободы и выборный законодательный орган — Государственная Дума.

Это событие, без сомнения, было одним из самых тягостных в жизни царя, быть может еще более тягостным, нежели отречение от престола, когда он окончательно сбросил со своих плеч бремя власти и снял с себя всякую ответственность перед Господом. Сейчас же, вынужденный к тому силою вещей, нарушая обет, данный во время коронации, царь в своем дневнике сделал характерную запись: «Это страшное решение, которое я принял тем не менее совершенно сознательно. После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, усмири Россию». В ответ на «утешения» Витте, главного автора манифеста, докладывавшего, что Дума обеспечит опору и помочь царской власти, Николай с редким для него раздражением возразил: «Не говорите мне этого, Сергей Юльевич, я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага...»

Свое отношение к Думе царь сохранял до конца; противоборство с ней составляло один из главных политических сюжетов последнего царствования. Даже «ручная» столыпинская III Дума не вызывала в нем никаких теплых чувств. Из всех депутатов «своими по сердцу» он считал только крайне правых, которые и в Думу-то прорывались в основном затем, чтобы дискредитировать этот орган, призывая к восстановлению традиционного строя во всей его полноте. Однако консервативный элемент в России был чрезвычайно слаб; и слабость эта оказывалась прежде всего в том, что он проявлял себя наиболее ярко не в позитивной работе по устроению русской жизни, а в буйных хулиганско-погромных выходках, носивших, по сути своей, антигосударственный характер. Ненадежная это была опора... Манифест помог справиться с революцией; но после октябрьских дней 1905 года еще глубже стала

пропасть между Россией и той самодержавно-патриархальной Русью, которую лелеял в своем сердце последний царь.

Именно в это трагическое для него время он начинает все чаще обращаться за поддержкой к единственному человеку, который был ему по-настоящему близок, — к своей супруге, царице Александре Федоровне. Духовная близость объединяла царскую чету изначально; недаром их брак был заключен по любви — редчайшее явление в царствующих домах Европы... Николай познакомился с дочерью великого князя Гессенского Алисой во время ее визитов в Россию — она навещала свою старшую сестру Эллу (в православном крещении Елизавету Федоровну), вышедшую замуж за родного дядю будущего царя, великого князя Сергея Александровича. Николай влюбился в молоденькую красавицу; влюбился сильно и, казалось, безнадежно: его родители были категорически против этого брака. Мать сразу же почувствовала к Алисе Гессенской самую жестокую антипатию; отец, исходя из политических расчетов, подыскивал наследнику более подходящую невесту в иных землях... Вот тут-то Николай, может быть, впервые проявил едва ли не главную черту своего характера: тихое, но непреодолимое упорство в достижении тех целей, которые казались ему жизненно важными. Он ждал своего часа несколько лет и все же сумел вырвать у больного уже отца согласие на брак с гессенской принцессой. Бракосочетание состоялось менее чем через неделю после смерти Александра III. Накануне свадьбы невеста крестилась по православному обряду, приняв имя Александры Федоровны; медовый месяц молодые провели в печальной атмосфере панихид и траурных визитов...

Неласково встретил Петербург новую царицу. С легкой руки вдовствующей императрицы, имевшей огромное влияние на столичный высший свет — во всяком случае на придворных дам, которые, собственно, и «делали погоду», — здесь сразу же установилось глубоко неприязненное отношение к Александре.

А. В. Богданович, усердно собиравшая в свой дневник придворные сплетни, уже в 1895 году страницу за страницей заполняет соответствующими записями: молодую царицу «все ненавидят», от нее «все несчаствия», «всегда с ней рядом идет горе», ее называют «горбом царя», в один голос корят ее за избалованность, высокомерие, гордость и прочее, и прочее... Из придворных сфер подобные пересуды легко проникали в общество, а отсюда медленно, но верно расходились в народе, обрастав по пути самыми невероятными подробностями... Между тем наступала эпоха великих потрясений; нескладный, но доселе кое-как державшийся уклад русской жизни рушился на глазах, и многочисленные горести, и без того обременявшие жизнь большинства россиян, становились все более тяжкими... Горе и тревоги порождали ненависть, а ненависть всегда ищет выхода: она не может быть абстрактной, ей нужна ясная цель. Придворные сплетни, в которых уже на второй год нового царствования так недвусмысленно была определена причина «всех несчастий», имели далеко идущие последствия...

Если же разобраться в сути той придворной неприязни, которая густым, удушливым облаком постоянно окутывала царицу, скрывая ее истинный облик, то нетрудно увидеть, что в основе ее лежали такие черты характера, которые могут вызвать скорее сочувствие... Прежде всего, Александра была чрезвычайно серьезным человеком, напрочь лишенным того, что называют «светским легкомыслием», — и этим резко отличалась как от своей свекрови, так и от подавляющего большинства придворных дам. Не охотница до балов и иных развлечений, она, при всей своей несомненной любви к Николаю, смотрела на свое замужество как на миссию, сопряженную с целым рядом многотрудных обязанностей, которые старалась выполнять добросовестным образом.

Поначалу речь шла исключительно об обязанностях семейных, которые по великосветским понятиям давным-давно считались пустой формальностью. Александра стала пример-

ной женой и матерью. Это ей, кстати, тоже не преминули поставить в вину: у молодой царицы-де один разговор — о воспитании детей... Николай же благодаря жене обрел не «светскую», а настоящую, истинную семью — единственный уголок во всей его огромной империи, где он бывал по-настоящему счастлив.

По традиции супруга царя занималась попечительством о бедных; под ее началом находился целый ряд комиссий и комитетов, связанных с этой сферой дел. Как правило, это «руководство» носило сугубо формальный, а нередко — комический характер. Александра и здесь в полной мере проявила присущую ей серьезность и добросовестность, о чем свидетельствует ее сотрудник по попечительству, знаменитый юрист А. Ф. Кони, для которого справедливость была и ремеслом, и неотъемлемым свойством характера. Будучи либералом до мозга костей и, соответственно, весьма неприязненно относясь к царской чете как политик и общественный деятель, он тем не менее признавал, что совместная работа с царицей вызывала у него «чувство нравственного удовлетворения»: «Она живо интересовалась этим делом, и все ее вопросы и замечания были проникнуты большой, хотя и, надо заметить, теоретической обдуманностью». Царица, писал Кони, держалась «самостоятельных взглядов и стояла всегда на разумной и целесообразной стороне... умела прислушаться к правдивому голосу вопреки уверений угодливых советников». Он вспоминал, с какой нетерпимостью относилась Александра к столь характерному для чиновников и светских дам, занятых в попечительстве, «легкому» отношению к этому делу, чреватому многочисленными злоупотреблениями за счет обездоленных. В военные годы царица столь же добросовестно и дельно организовывала помочь раненым.

Постепенно Александра стала занимать определенную позицию и в отношении дел общегосударственных. Позиция эта безоговорочно определялась Символом веры ее мужа. При-

няв православное крещение, царица со свойственной ей последовательностью приняла и новую для себя веру во всей ее полноте. Задушевные взгляды Николая на происхождение самодержавной власти, на ее роль и значение в России стали царице близки и понятны. При этом, обладая сильным умом и энергичным характером, Александра восприняла мировоззрение своего мужа не пассивно, а путем напряженной духовной работы и готова была не только молиться за царя, но и оказывать ему самую деятельную поддержку — поддержку, в которой он нуждался... Таким образом, в годы первой русской революции во внутриполитической жизни России появилась новая и весьма значительная сила, и многим заинтересованным лицам пришлось на себе ощутить ее воздействие. Так, С. Ю. Витте в своих воспоминаниях с нескрываемым раздражением писал: «Когда после 17 октября государь принимал решения, которые я советовал не принимать, я несколько раз спрашивал его величество, кто ему это посоветовал. Государь мне иногда отвечал: «Человек, которому я безусловно верю». И когда я однажды позволил спросить, кто сей человек, то его величество мне ответил: „Моя жена“».

Между царем и царицей установилась та редкая духовная близость, когда друг друга понимают не то что с полуслова — понимают без слов... Но, разделив с царем его взгляды, Александре пришлось разделить и его одиночество, что, впрочем, для нее, парии петербургского двора, было привычным состоянием... Больше того, своей энергией, своим страстным неприятием всего, что выходило за магический круг раз и навсегда определенного самодержавного идеала, царица еще дальше уводила царя от реальной России, в которой этому идеалу уже не было места... Гибельная безнадежность такого отчуждения не могла не ощущаться — пусть и бессознательно — царской четой; приветственные телеграммы с мест в поддержку «православного царя», посылка которых организовывалась небольшой кучкой черносотенцев, служили плохим утешением...

После революции и вызванных ею перемен Николай и Александр все чаще начинают обращать свои взоры к небесам, ожидая помощи и поддержки свыше...

\* \* \*

При всей своей несомненной глубине и искренности, вера царской четы отличалась некоторыми своеобразными чертами, очень характерными, впрочем, для многих и многих православных. На первом месте для царя с царицей стоял церковный обряд, во всей его пышности и благолепии; сущностная сторона православного учения отступала при этом на задний план. Между тем, исполнение обряда не всегда может утолить духовную жажду; не всегда даже истинную веру может уберечь от суеверия. Преклоняя колени перед Господом, царь с царицею слишком буквально понимали слова молитв, слишком много ждали свыше: пророчеств, знамений, чудес... Правда, в их положении только и надежд оставалось, что на чудо...

Впрочем, в те годы это было явление общего порядка: вся атмосфера светского Петербурга была пронизана в равной степени ощущением близкого конца и жаждой чудесного — мистицизмом, как правило, самого дешевого пошиба. Каких только «святых» и чудотворцев не демонстрировали при дворе, в салонах великих князей и столичной аристократии! Из них из всех, пожалуй, только Митя Коляба был действительно «человек Божий, не от мира сего»: юродивый в старорусском духе, глухонемой, полуслепой, кривоногий, с кривым позвоночником и обрубками вместо рук, он не извлекал из своих судорожных движений и томительного мычания никакой иной корысти, кроме скучного пропитания и ветхой одежды. Для всех прочих «сверхъестественные» знания и дарования служили источником куда более значительных благ. Так, например, шарлатан-«ясновидец» француз Филипп, представленный царской чете и произведший на нее самое сильное

впечатление, получил, вопреки всем законам, чин действительного статского советника, а «доктор тибетской медицины» Бадмаев, лечивший высший свет своими таинственными «травками», приобрел огромное закулисное влияние, которым пользовался без зазрения совести для разных темных дел. Но все это были лишь провозвестники, мелкие бесенята, мостиившие путь «Святому Черту», Григорию Ефимовичу Распутину.

В Петербурге Распутин появился в самое подходящее время — в 1905 году<sup>1</sup>, когда начинающаяся революция донельзя усилила у великосветской знати тягу к сношениям с потусторонними силами. О прошлом своем он рассказывал в духе «святого жития»: родился в Сибири<sup>2</sup> (в селе Покровском Тобольской губернии), в крестьянской семье; в юности получил известность по всей округе как вор, хулиган и блудодей, за каковые грехи бывал бит нещадно; к 30-ти годам, под влиянием случайной беседы с проезжим монахом, одумался, покаялся и круто изменил образ жизни; совершил подвиги во славу Божию: неделами молился, не принимая пищи, паломником по святым местам исходил всю Русь, бывал в Иерусалиме; подобно святым, слышал голоса и имел видения; подобно святым, получил свыше дар пророчества и чудотворения...

Громкая слава шла впереди Распутина; ему оказывали покровительство высшие лица духовной иерархии и столичная знать. Особенно поражены были «Божьим человеком» великие князья, дяди царя вышеупомянутый Николай Николаевич и его брат Петр вкупе со своими супругами, черногорскими княжнами Анастасией и Милицей<sup>3</sup>, выделявшимися своею страстью к подобным явлениям даже на фоне шалого петербургского света: именно они в свое время проторили дорогу ко двору «мага» Филиппа; они же в 1907 году добились высочайшей аудиенции для «святого старца».

Французский посол Морис Палеолог, по долгу службы весьма интересовавшийся личностью Распутина и собиравший о нем сведения в великосветском кругу, сообщает, что

перед тем как допустить до себя Распутина царь и царица обратились за советом к одному из главных его покровителей духовнику царицы архимандриту Феофану, которого очень уважали, — ведь за «старцем» уже тогда числились не только подвиги во славу Божию, но и многочисленные скандалы: в Царицыне он лишил невинности монахиню, в Тобольске — обольстил благочестивую даму, в Казани — «изгнал» из публичного дома голую девицу, бичуя ее поясом... Слухи о некоторых из этих похождений, очевидно, дошли до царских ушей. Палеолог передает слова Феофана следующим образом: «Григорий Ефимович — крестьянин, простец. Полезно будет выслушать его, потому что его устами говорит голос русской земли. Я знаю все, в чем его упрекают. Мне известны его грехи: они бесчисленны и большей частью гнусны. Но в нем такая сила сокрушения, такая наивная вера в божественное милосердие, что я готов был бы поручиться за его вечное спасение. После каждого раскаяния он чист, как младенец, только что вынутый из купели крещения. Бог явно отмечает его своей благодатию».

Если Феофан и впрямь произнес нечто подобное, то он дал своему подопечному самую блестящую рекомендацию, на какую тот только мог рассчитывать. Каждое слово было в цель. В дверь царских покоев постучался тот, кого здесь давно ждали, на чье пришествие так надеялись! Царь с царицею, мучительно ощущавшие свою оторванность от народа, получали возможность услышать глас его из уст человека, избранного самим Богом! Царской чете должны были запомниться и слова архимандрита о конечной безгреховности насквозь греховного Григория, о его удивительной способности к постоянному духовному возрождению «через наивную веру в божественное милосердие».

Распутин с лихвой оправдал все ожидания... С первого же свидания он очаровал царскую чету своею «простотою», неуклюжею силой, сквозившей в каждом его движении, — это и

впрямь был настоящий мужик, «простец»... И в то же время на нем незримо почивала благодать Божия — недаром ведь царь с царицею рассыпали в его странной, косноязычной почти речи, в его обрывистых фразах свои собственные заветные мысли: в самодержавии спасение России, нужно всячески оберегать царскую власть, любое ослабление ее грозит гибелью стране и народу... И это говорил, повторяя раз за разом, с присловьями и присказками не придворный холоп, не равнодушный льстец-чиновник, а человек из народа — «Божий человек»! Духовное одиночество царской четы находило чудесное разрешение — им был ниспослан свыше незаменимый друг и советник.

Восприятие Распутина как Божией благодати, как «Друга» — именно так, с прописной буквы, именовался он в переписке царской четы, — еще более усиливалось благодаря некоторым и в самом деле незаурядным способностям Распутина. Этот человек, отличавшийся поразительной жизненной энергией, несомненно, обладал гипнотической силой и умел ею пользоваться, в частности, в лечебных целях (чем нынче нас не удивишь). Царская же семья с 1904 года, с рождением наследника российского престола цесаревича Алексея, жила в состоянии постоянного напряженного страха. Воспитатель наследника, швейцарец П. Жильяр, вспоминал, как он ясно ощутил это при первом же свидании с мальчиком, которого вынесла ему царица: «Она была счастлива и гордилась красотой своего ребенка. Цесаревич был действительно прелестный мальчик с чудными белокурыми локонами и большими серо-синими глазами, оттененными длинными ресницами. У него был свежий цвет лица здорового ребенка, и когда он улыбался, две ямочки показывались на его щеках... Во время этого первого свидания я заметил, как неоднократно императрица прижимала сына к груди, точно охраняя его или боясь за его жизнь. Этот жест и сопровождавший его взгляд обнаруживали ост्रое внутреннее страдание...»

Дело было в том, что прелестный, выгляделший таким здоровым мальчик был поражен опасной неизлечимой болезнью — гемофилией, при которой кровь теряет свою естественную способность свертываться: любой сколько-нибудь сильный ушиб неизбежно приводит к обширному кровоизлиянию, причиняющему страдания и грозящему смертью. Как ни берегли мальчика — он уже в раннем детстве видел смерть в глаза. Не раз царице приходилось сутками не отходить от сына, мучаясь вместе с ним. Трагедия усугублялась тем, что без вины виноватой в ней была сама Александра<sup>4</sup>. Наверное, именно у постели сына она получила ту сердечную болезнь, которая так мучила ее в последние годы жизни. И вот теперь появляется человек, который обладал способностью успокаивать больного ребенка, снимать боль, излечивать ушибы... По некоторым свидетельствам, впервые интерес к Распутину царица проявила именно тогда, когда услышала о его целительной силе.

Распутин в сущности играл в беспрогрышную игру — все козыри были у него на руках. Понять, чего от него ждут в царских покоях, было не так уж и сложно: он прошел уже хорошую школу при великих князьях, отлично ориентировался в дворцовых делах и, конечно же, загодя составил себе ясное представление о тех, с кем ему предстояло увидеться. Нужно отдать должное «старцу»: он великолепно играл свою роль, раз за разом укрепляя то впечатление, которое ему удалось произвести при первом свидании. Самое главное — он стремился крепко-накрепко внушить царю и царице мысль, что все будущее их семьи, наследника, Империи связано с ним, посланцем Божиим, которому открыто будущее, который знает, чем и как надо спасать самодержавие и Россию... И Распутин в этом много преуспел. Если царь при всем своем внимании к словам «старца» сохранял все-таки способность к критическим оценкам и самостоятельным действиям, то царица поверила ему безоговорочно.

Распутин вошел в интимнейший кружок царской семьи, главным членом которого, кроме него, была фрейлина и близкая подруга царицы Анна Вырубова. Его принимали здесь как Друга, посланного Богом: открывали перед ним душу, спрашивали совета, искали утешения. И Распутин советовал и утешал, ласкал и успокаивал царевича, в котором болезнь вызывала повышенную возбудимость. Все это он делал виртуозно, поскольку был в своем роде умен и умел искусно и вовремя пускать в ход свои «сверхъестественные» способности. А самое главное, он почти всегда угадывал, каких слов и действий от него ждут, что было, наверное, при удивительной цельности характера и мировоззрения царской четы, не так уж трудно... Палеолог, со слов царского адъютанта, передает характернейшее высказывание Николая по этому поводу: «...когда у меня забота, сомнение, неприятность, мне достаточно пять минут поговорить с Григорием, чтобы тотчас почувствовать себя укрепленным и успокоенным. Он всегда умеет *сказать мне то, что мне нужно услышать* (курсив мой. — А. Л.). И действие его слов длится целые недели...».

Таким образом, самые глубинные убеждения царской четы, их верность Самодержавной Идее — все это освящалось теперь авторитетом «старца», на котором почивала благодать Божия... Распутин стал совершенно необходим царю и царице: он лечил наследника и молился за него; он духовно облегчал им борьбу с коварными противниками самодержца; он, наконец, сам был залогом победы в этой борьбе. Естественно, что любые слова и действия, направленные на то, чтобы умалить влияние «старца», не говоря уже об изгнании его из столицы, воспринимались Николаем и Александрой как явное недоброжелательство по отношению к *ним самим*, как кощунство, как издевательство над святыней.

\* \* \*

А между тем, сей «старец» был куда как далек от Божией благодати. Его заклятый противник иеромонах Илиодор недаром дал ему прозвание «Святой Черт»: при всем своем «великом постничестве и молениях» Распутин был человеком до мозга костей развращенным и духовно, и физически... Влияние, полученное при дворе, дало Распутину большие деньги, неограниченную возможность гульбы, пьянства и блуда и то ощущение огромной, почти беспредельной власти, которое, судя по всему, значило для него очень много. Кого только не было у него в доме на Английском проспекте — позже на Гороховой — в «часы приема», с десяти до часу: генералы и студенты, высокопоставленные чиновники и крестьяне, светские дамы и кокотки; очень часто к Распутину приходили так называемые инородцы, особенно евреи, пытавшиеся с его помощью обойти многочисленные ограничения в правах, которыми обставлено было все их существование в России. И Распутин благодетельствовал... По свидетельству его секретаря Ариона Симоновича — воспоминания которого, в целом, внушают мало доверия, но содержат некоторые любопытные, очень жизненные подробности, — Распутин многим, особенно мужикам, помогал бескорыстно; дворян же, аристократию ненавидел как сословие и куражился над соответствующими просителями бессовестно; особенно тяжко приходилось дамам из высшего света... Но, как справедливо говорил сам Распутин: «Я ж не насилю их. Они сами шляются ко мне, чтобы я за них хлопотал у царя... Почему мне не брать их? Не я ищу их, а они приходят ко мне...». Трудно себе представить более яркое свидетельство разложения высшего общества, чем это постоянное кружение светских дам перед наглым, по-звериному грубым мужиком. А ведь летели, как мухи на мед...

Почти каждую ночь «старец» кутил — дико, грязно... Он, впрочем, и из оргий умел извлекать выгоду, завязывал самые

тесные отношения с прожигательницами жизни высокого полета — любовницами великих князей, министров и пр.; от этих «ночных бабочек» Распутин, помимо прочего, получал самые разнообразные сведения, необходимые ему в его многогротной деятельности. О расходах он мог не заботиться — об удовлетворении всех прихотей «старца» трогательно заботились банкиры Манус, Рубинштейн, Каминка и пр., которые с легкой руки Симоновича быстро сообразили, какая крупная рыба плывет в их финансовые тенета... Но, может быть, самым жутким было то, что «старец», гуляя и бесчинствуя на глазах у всего Петербурга, безудержно хвастался своим влиянием при дворе, похвалялся царскими подарками — сорочками, вышитыми руками царицы, и пр. «Папа», «мамаша», «старушка» — эти и подобные им «ласковые» прозвища, которыми он награждал Николая и Александру, не сходили с его языка. Напившись до зеленых чертей, он похвалялся делами совершенно невозможными, бесчестил царицу, ее дочерей... Маля царское имя в кабацкой грязи, Распутин безжалостно растаптывал ту самую Идею Самодержавия, истовым защитником которой выступал перед Николаем и Александрой.

Дискредитируя власть, бесчестя дворянство, «святой старец», может быть, наибольший ущерб нанес Церкви. Судя по всему, он не был просто расчетливым проходимцем, наделенным талантами «мага и гипнотизера». Распутин действительно веровал и веровал глубоко, но не по-православному, а по-хлыстовски. Многие, хотя и косвенные, но убедительные данные свидетельствуют о том, что он входил в эту секту, члены которой на своих радениях, доведя себя до душевного и эротического экстаза, вступают в мистическую связь со Святым Духом, снисходящим на них в божественном сиянии. Хлыстовский «святой дух» «накатывал» и на Распутина: надо думать, именно экстатическая вера придавала ему ту небывающую, бесовскую силу, которая так подчиняла себе окружающих<sup>5</sup>.

Хлысты, внешне, «для обличия» принимавшие церковный обряд, ненавидели Православную церковь в той же степени, в какой Церковь всегда преследовала и гнала их. Если Распутин действительно был хлыстом, то это объясняет те пакости, которые он учинял православным иерархам. Именно в церковные дела он, заручившись поддержкой царя и царицы, стал вмешиваться в первую очередь, беззастенчиво издаваясь над Святым Синодом, добиваясь таких перемещений и назначений духовных лиц, которые были ничем не оправданы, кроме его произвола. При этом покровительствовал он почти исключительно людям подлым, глупым или пьяным: «мазурику» Восторгову, Макарию Гневушеву, которого обвиняли в уголовных преступлениях, своему собутыльнику, полуграмотному чернечу Варнаве. Пожаловав последнему, в обход Синода, епископский сан, Распутин говорил царице: «Хоть архиереи и будут обижаться, что к ним, академикам, мужика впихнули, да ничего, наплевать, примирятся...».

Попытки разоблачить Распутина перед царской четой были совершенно безуспешны. Весь трагизм ситуации великолепно передал В. В. Шульгин, идеальный монархист, глубоко переживавший дискредитацию самодержавия и Церкви Распутиным: «Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое, царице кажется, что дух Божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего — сатира из тобольской тайги...».

Появление Распутина окончательно завершило тот трагический процесс отчуждения царской четы, застывшей в величественной идейной неподвижности, от России, которая неудержимо рвалась к переменам. Все от него зависящее сделал «святой старец», чтобы этот процесс оказался необратимым...

Впрочем, строки Шульгина, приведенные выше, относятся к последним годам империи. Довольно долгое время по-

ложение, казалось, не было столь трагичным: о Распутине знал достаточно узкий круг людей, да по столице ходили слухи. Буржуазные политики-думцы, имевшие влияние на значительную часть средств информации, к «старцу» особого интереса не проявляли, им и без него хватало хлопот: нужно было постоянно отбиваться от умного, энергичного Столыпина. Пожалуй, впервые «достоянием гласности» Распутин стал в начале 1910-х годов. Особенно послужил его «славе» скандал 1911 года, когда несколько священнослужителей во главе с саратовским епископом Гермогеном и иеромонахом Илиодором, разобравшись, наконец, с кем они имеют дело, попытались скомпрометировать Распутина, уличив его перед свидетелями в «непотребных деяниях». Процесс уличения носил суровый характер: Гермоген, чья физическая мощь пре- восходила даже распутинскую, буквально измордовал «старца» наперсным крестом, принудив его покаяться и дать клятву не преступать порога царского дворца... Инициаторов сего деяния обвинили в покушении на жизнь «Божьего человека» и разослали по дальним монастырям; Гермогена к тому же пришлось увольнять из Синода. Вот тогда-то имя «старца» впервые всплыло в Думе: лидер октябристов Гучков, которому впоследствии довелось сыграть самую активную роль в «антираспутинской кампании», впервые произнес речь о «закулисных влияниях». Тогда же о Распутине заговорили — в пределах дозволенного — в прессе. «Старец» счел за лучшее на время удалиться из столицы; вспомнив былые годы, Распутин отправился в паломничество в Иерусалим, после чего толки о нем довольно быстро заглохли.

\* \* \*

Но вот в Россию пришла война, которая окончательно погубила самодержавие... Страна оказалась совершенно не готовой к испытаниям военного времени — ни технически, ни ор-

ганизационно, ни политически. Она ввалилась в мировую мясорубку со всеми своими заботами и тяготами, со всей своей внутренней неустроенностью, с ворохом нерешенных проблем. В подобном состоянии воевать нельзя было ни с кем, тем более с Германией... Недаром Витте еще в начале XX века, накануне Русско-японской войны, будучи министром финансов и потому, может быть, лучше, чем кто-либо другой, представляя себе уровень жизнестойкости империи, утверждал: «В мирное время — проскрипим; придет война — развалимся». Он знал, что говорил... К 1914 году положение не улучшилось — кризис лишь усугубился. И результаты не заставили себя ждать.

После временных успехов в начале военных действий началось «Великое отступление», в ходе которого Россия оставила неприятелю значительную часть Прибалтики и Белоруссии, почти всю Западную Украину. К концу 1915 года, писал Шульгин, Россия «потеряла 8 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противника. Этот ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходился в два русских, показывает, как щедро расходуется русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор всем нам... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей...».

Глубоко справедливые слова... Но в той гибельной ситуации, которая сложилась на второй год войны, «весь правящий» и, особенно, весь «неправящий» класс менее всего готов был к такому абстрактному покаянию; их представителей гораздо больше волновали поиски конкретных виновников создавшегося положения. «Кто должен отвечать за происходящее?» — вот как формулировался «главный вопрос дня» на

страницах прессы и с думской трибуны. И вопрос этот все громче и громче звучал на всю страну — перед лицом наступающего врага и нарастающего революционного движения, в преддверии надвигающейся анархии и разрухи...

Вожди политической оппозиции в России не скрывали своей цели — «заклеймить виновников национальной катастрофы». Но за этим стремлением, порожденным несчастным ходом войны, скрывалось еще и другое — давнее вынужденное стремление к участию в управлении страной. Дума, созданная событиями 1905 года, после столыпинского «переворота» 3 июня 1907 года превратилась в совершенно безвластную говорильню. В то же время эти события ясно показали, что уступки у царя можно вырвать только силой; и вот сейчас, в разгар войны, впервые со времен революции появилась реальная возможность проявить силу, пошатнуть трон... В 1915 году в Думе был организован так называемый Прогрессивный блок, в который вошли фракции буржуазных партий и отколовшиеся от правых националисты. Они объединились под лозунгом «министерства доверия», т. е. такого министерства, в которое войдут государственные деятели, угодные Думе, готовые сотрудничать с нею. Сторонникам же неограниченной монархии в правительстве объявлялась война, — хотя, казалось бы, всем должно было хватать той большой, настоящей войны, в которой Россия терпела такие жестокие поражения... Именно на «министров-монархистов» возлагалась блоком вся полнота ответственности за «национальную катастрофу».

Первой жертвой стал военный министр В. А. Сухомлинов, который после бурной обличительной кампании, развязанной в Думе и на страницах оппозиционной печати, был смешен со своего поста и отдан под суд по обвинению в «противозаконном бездействии и превышении власти, подлогах по службе, лихоимстве и государственной измене». Царь прояв-

вил совершенно непростительную слабость и выдал лично ему очень симпатичного министра головою — очевидно, потому, что правительству тоже нужен был козел отпущения за неудачи на фронте. Сухомлинов, очевидно, имел за собой лишь ту вину, что и великое множество других государственных деятелей самодержавной России: по своим деловым и моральным качествам совершенно не соответствовал своему посту. Но дело даже не в этом... Когда Э. Грей, министр иностранных дел Англии — страны-союзника, — узнал об этом процессе в России, он, не вникая в суть дела, иронически заметил думской делегации в Лондоне: «Ну и храброе же у вас правительство, раз оно во время войны решается судить военного министра». Подобные процессы, в которых власть компрометирует сама себя, действительно, требуют от нее своего рода «храбрости»... А между тем это были лишь цветочки той грандиозной кампании по компрометации власти, которую разворачивал Прогрессивный блок; ягодки только еще наливались соком...

Дело Сухомлина стала для блокистов своего рода шаблоном в их последующей борьбе против власти. В ходе этой борьбы обычно и речи не заходило о политических убеждениях министров, хотя все дело было именно в них: на первый план выдвигались обвинения либо в «неспособности», «продажности или лихоимстве», которые бывали иногда справедливы, но, как правило, не отличались особой доказательностью; либо в государственной измене — эти, последние, никогда не имели под собой и тени серьезных оснований. Вот тут-то оппозиции и пригодился «святой старец»...

С легкой руки деятелей блока имя Распутина в считанные недели стало символом всех зол, истерзавших правительство: и коррупции, и бездарности, и немецкого влияния. «Старец» предстал в роковой для России роли то ли вождя, то ли верного слуги неких «темных сил», очерчиваемых очень туманно,

но, может быть, именно поэтому наводящих особый страх. Ясно было только, что силы эти угнездились «в тени трона» и через голову царя, как марионетками, управляют министрами. Конечные цели сих сил представлялись столь же смутными, как и их очертания, но ближайшие были предельно ясны: поражение России в войне или, на худой конец, позорный, сепаратный мир с Германией. Соответственно и все беды — неудачи на фронтах, срыв снабжения армии и городов, нехватка снарядов и продовольствия, трагическая по своим последствиям неразбериха на транспорте и прочее, и прочее — все это восходило к тому же корню, все это вызывалось кознями Распутина, стоявших за ним злых сил и полностью зависимых от него министров...

В деле Сухомлина имя Распутина почти не фигурировало. Но уже каждый последующий министр, которого «валила» Дума, со зловещей неизбежностью ощущал на своем лбу клеймо — «распутинец». Это представляло большое удобство, поскольку избавляло оппозицию от излишних рассуждений и хлопотных доказательств. Для того, чтобы разоблачить очередного «клеврета темных сил», использующего свое служебное положение во зло России, достаточно было известия, что «старца» видели у него в приемной; что они посещают одних и тех же лиц; даже случайная встреча с Распутиным могла скомпрометировать напрочь.

Насколько основательна была вся эта пропагандистская кампания, проводившаяся оппозицией в Думе и в печати с железной последовательностью? Несомненно, в годы войны влияние Распутина на царскую чету, и без того немалое, выросло еще больше. Так же, как и раньше, он продолжал посещать Царское Село, утешая и вдохновляя царя с царицей на стойкую защиту самодержавных устоев, и вершил свои пакостные дела по светским гостинным, министерским кабинетам, царским кабакам... По-прежнему его окружали самые

разнообразные ходатайства — во время войны распутинское влияние еще больше возросло в цене. Когда в атмосфере надвигающегося распада и разложения запахло выгодными гешефтами, на первый план среди клиентов Распутина выдвинулись те лица, клиентом которых он сам был долгое время: Манус, Рубинштейн и пр. Люди это были все страшненькие — настоящие «акулы капитализма», родиной которых была международная империя финансистов и промышленников; у них давным-давно были налажены теснейшие деловые связи с манусами и рубинштейнами зарубежными, в том числе и германскими; и они, сохранив эти связи во время войны, не гнушились никакими «деловыми операциями», в том числе и преступными с патриотической точки зрения, лишь бы те приносили им соответствующий процент прибыли. То, что с помощью Распутина эти дельцы соблюдали свою выгоду, не раз по условиям военного времени заслужив тюремную решетку, — очень вероятно. А все же видеть в подобной шушерке, пусть даже и крупнокалиберной, те самые «темные силы», манипулировавшие царем и царицей, сознательно и последовательно разваливающие фронт и тыл, предписывающие министрам свою программу действий — право же, для этого не было и нет серьезных оснований... В еще меньшей степени ответственность за катастрофы, произшедшие и надвигающиеся, можно было возлагать на таких мелких, незначительных, лишенных всякого политического смысла людей, составлявших самый интимный круг царской четы, как беззаботно преданная Александра Вырубова или дворцовый комендант Войков, хотя на них и обращался постоянно указующий перст прокуроров от оппозиции.

Хороню отработанный, превратившийся в аксиому тезис «царь, царица, их доверенные лица, министры, которых они назначают, — все это игрушки в руках Распутина и темных сил», тезис, на котором Прогрессивный блок на протяжении

полутора лет строил свою пропагандистскую кампанию, не выдерживает серьезной критики. С Распутиным постоянно советовались, к нему прислушивались — это несомненно. Сего благословения были проведены на свои посты председатель Совета министров Б. В. Штюмер и министр внутренних дел А. Д. Протопопов, вызывавшие самую острую неприязнь у блокистов; с его благословения царь сам занял в 1915 году пост Верховного Главнокомандующего, сместив с него великого князя Николая Николаевича, — что также вызвало взрыв негодования в среде думской оппозиции. Все это несомненно, но... суть дела, очевидно, не в том, чего желал Распутин, а в том, чего желал царь. А царь со свойственной ему с первых лет правления последовательностью назначал министров, в полной лояльности которых был уверен, и смешал тех, в ком заподозривал склонность выступать против его воли и желаний, нарушать Самодержавный принцип, идти на сотрудничество с оппозицией. Точно так же и Николай Николаевич, весьма милостиво принимавший на фронте одного из самых активных деятелей блока Гучкова, ведший с ним таинственные переговоры, вызвал недоверие царя, и он его отправил на Кавказ, заняв самый важный пост в государстве, на который и назначить-то больше было некого...

Иными словами, царь прислушивался к советам Распутина, поскольку последний говорил именно то, что его собеседнику хотелось услышать. О желаниях же Николая, как правило, догадаться было совсем не трудно. Кроме того они, по большей части, совершенно органически совпадали с желаниями самого «святого старца», для которого любой шаг в сторону ослабления царской власти был шагом к погибели... В то же время С. С. Ольденбург в своем капитальном труде о царствовании Николая, исходя из переписки царской четы, приводит десятка два примеров, когда советы Распутина, всегда поддерживаемые царицей, но не совпадающие с наме-

рениями царя, оставались без малейших последствий. Мы же обратим внимание читателя лишь на один эпизод, не вошедший в перечень Ольденбурга, но, может быть, самый характерный: не желая и боясь надвигавшейся войны, Распутин попытался оказать поддержку главному ее противнику в среде сановной бюрократии С. Ю. Витте, которого очень уважал. Последний, будучи с 1906 года удаленным от дел, по-прежнему вожделел к власти и готов был воспользоваться на пути к ней любой оказией. Но царь, видевший в Витте своего рода воплощение всех конституционных зол, подавил эту попытку в самом зародыше — и слушать не захотел, никакие ссылки на Божий промысел не помогли...

При всем том несомненно, что в годы войны Распутин сыграл свою роковую роль в развале власти. Когда царица с горечью писала царю: «Мы стольких знаем, а когда приходится выбирать министров, нет ни одного человека, годного на такой пост — нет настоящих джентльменов...» — то ведь именно Распутин стоял непреодолимой преградой на пути тех немногих монархистов-«джентльменов», которые и годились в министры, но не желали терпеть рядом с троном «Святого Черта». Из-за борьбы с влиянием «старца» и с самим «старцем» вынуждены были оставить свои места такие дельные и в то же время преданные идее самодержавия люди, как обер-прокурор Синода А. Д. Самарин, товарищ министра внутренних дел В. Ф. Джунковский. Выбор суживался донельзя... Но мы видели, что подбор надежных сотрудников был для царя серьезнейшей проблемой чуть ли не с первых дней его царствования. Распутин лишь усугубил ее: теперь Николаю приходилось учитывать при назначении на тот или иной пост лояльность претендента не только по отношению к себе, но и по отношению к «старцу».

Но это ни в коей мере не влияло на общее направление внутренней политики, проводимой царем. Он в годы войны

так же, как и всегда, упорно и последовательно отстаивал свои принципы, свою систему управления Россией, в которой «властной» Думе не было места. Именно он, Николай II, а не Гришка Распутин, был главным препятствием на пути создания «министерства доверия», на пути каких бы то ни было уступок оппозиции. Именно с ним по существу и воевал Прогрессивный блок, но, не имея ни сил, ни желания вести эту борьбу в открытую, прибег к диверсии, утопив царя с царицей в «распутинщине», благо топкой грязи в ней было предостаточно.

\* \* \*

Кампания компрометации верховной власти, открытая оппозицией в 1915 году, толком не изучена, а, право же, в ней многое поучительного. Распутин мифологизировался заживо; этот хитрый мужик, при всей своей экзальтации и мистических склонностях думавший прежде всего о своем благополучии, приобретал черты сверхчеловека, «злого гения России». Его взяла в работу пресса: за Распутиным следили, напрашивались к нему на свидания, собирали всевозможные сплетни. Вот тут-то и пошел в ход запас «информации», собранный светскими дамами; да и господа старались от них не отстать. Любое слово Распутина, произнесенное им в полуписьмовой, блажной болтовне, подхватывалось на лету, ложилось на бумагу и служило основанием для самых далеко идущих выводов.

Грязи, повторяем, и в самом Распутине, и около него было предостаточно; теперь же она обильным потоком хлынула на потрясенную Россию. Газетные заметки, страстные выступления с думской трибуны и, главное, слухи, слухи, слухи, самые жуткие, самые невероятные — все это вместе взятое постепенно складывалось в массовом сознании в достаточно ясную

и внутренне стройную картину, о которой мы уже говорили выше: царь-дегенерат, распутная царица-немка, страшный мужик, взвивший за горло всю страну... И когда в темных кинозалах, где демонстрировалась лента с кадрами награждения царя боевым орденом Св. Георгия, раздавались крики: «Царь с Егорием, царица с Григорием», — думские деятели, очевидно, должны были испытывать чувство удовлетворения — их усилия не пропали даром...

Конечно же, во всей этой вакханалии нельзя видеть только голый политический расчет. Трагизм положения заключался в предельном отчуждении противников друг от друга; через пропасть, их разделявшую, лица человеческого видно не было... В политических отношениях этого времени отсутствовала плодотворная деловая простота; борьба строилась не на ясном понимании вещей, а на домыслах, слухах, фантазиях. Подавляющее большинство общественных деятелей, принимавших в ней участие, искренне уверовало в ими же созданный миф. Увидев распутинскую «развратную, пьяную и похотливую рожу сатира-лешего», оппозиция оказалась обманута и зачарована ею почти в той же степени, в какой царская чета уверовала в Божью благодать, почившую на сем «святом старце».

Ненависть и страх перед Распутиным постепенно приобретали характер маниакальной истерии: все в нем, все зло, все беды от этого воплощения «темных сил». Причем если оппозиция видела в нем главное препятствие на пути «обновления России», то многие убежденные монархисты, ошеломленные размахом антираспутинской кампании, начинали прозревать в «старце» роковую угрозу для дорогого им самодержавия. «Распутинский комплекс» послужил одной из главных причин, толкнувших значительную часть правых националистов во главе с Шульгиным в объятия Прогрессивного блока в Думе. Что же касается правоверных мо-

нархистов-думцев черносотенного пошиба, то они крепились по мере сил; нападками на власть Н. Е. Марков, Г. Г. Замысловский и прочие пытались противостоять, исходя из определяющего принципа своих убеждений: «Царь, пока он царь, — всегда прав».

Но вот и от этой группы откололся один из главных ее лидеров — В. М. Пуришкевич. В своей речи, произнесенной в Думе 19 ноября 1916 года с присущим ему темпераментом, он буквально повторил постоянный припев выступлений своих заклятых противников-блокистов: «Все зло идет от тех темных сил, от тех влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным». Живописуя в дневнике впечатление, произведенное этой речью в Думе и за ее пределами, Пуришкевич ничуть не преувеличивает. Хотя лидер правых и не сказал в ней ничего нового, но сам он был настолько яркой фигурой в черносотенно-монархическом движении, что перемена им фронта вызвала настоящую сенсацию, — и, в частности, в придворных кругах. Как выяснилось позже, именно эта речь стала отправной точкой в подготовке последнего покушения на Распутина.

Пуришкевич был родом из Бессарабии, из богатой дворянской семьи. Надо сказать, что западные губернии, захваченные чертою оседлости, вообще дали России чуть ли не большинство черносотенных и националистических лидеров. Свои крайние взгляды Пуришкевич достаточно ярко проявил уже в молодости; именно как крайне правый он 35-ти лет от роду прошел во II Думу от Бессарабии и затем последовательно избирался в Думы III и IV созывов. Характеризуя свою политическую позицию в «российском парламенте», в котором депутаты рассаживались соответственно своей партийной принадлежности справа налево — от черносотенцев до эсеров и эсдеков, — Пуришкевич говорил: «Если бы я выбирал место соответственно своим взглядам, мне пришлось бы сидеть

на барьере», т. е. на правом фланге ему места уже не хватало... Как и для всякого последовательного черносотенца — сторонника неограниченного самодержавия, для Пуришкевича Дума сама по себе была попущением Божеским — органом для России противоестественным и опасным, постоянным источником самой зловредной пропаганды; участвовать в ее работе имело смысл только в целях борьбы с этой пропагандой. И Пуришкевич вел себя во время думских заседаний ответственным образом: постоянно устраивал скандалы, прерывал выступавших, выкрикивал оскорбительные реплики. В то же время он сам был неплохим оратором и на трибуне производил впечатление: небольшого роста, с совершенно голым черепом и маленькой рыжеватой бородкой, с резкими судорожными жестами, крикливыми голосом и мимикой на грани кривляния, он всем своим обликом как нельзя лучше соответствовал сути своих злых, нетерпимых выступлений. Дневник Пуришкевича очень хорошо передает общий стиль и тон его нервной, почти истерической речи.

Вне Думы он показал себя незаурядным организатором — свидетельством тому «Союз русского народа», самая массовая черносотенная организация, в создании и работе которой Пуришкевич принял самое деятельное участие; «Союз Михаила Архангела», который он создал в 1908 году под единоличным своим руководством, разругавшись с другим вождем союзников, доктором Дубровиным; и, наконец, «Общество русской географической карты» — о нем Пуришкевич рассказывает в своем дневнике<sup>6</sup>. Санитарный поезд, организованный им вскоре после начала войны и стоивший ему огромных средств, единодушно признавался образцовым.

Все это вместе взятое создавало Пуришкевичу огромный авторитет среди единомышленников; прислушивались к нему и в высших сферах. Неудивительно, что его речь от 19 ноября послужила своего рода сигналом для Феликса Юсупова...

Этот отпрыск одного из самых знатных и богатых аристократических родов России<sup>7</sup>, женатый к тому же на двоюродной племяннице царя, княжне Ирине Александровне — именно ее имя послужило приманкой, которой Распутина заманили в юсуповский особняк, — был плоть от плоти петербургского высшего света с его утонченной изысканностью форм и полным духовным бесплодием... Один из историков-монархистов, Кобылин, дает ему следующую, очевидно, справедливую характеристику: «Юсупов играл на гитаре, пел с настроением цыганские романсы, прекрасно играл в теннис и был тем, что теперь называется „play-boy“... Впрочем, он собирался послужить матушке России и в означенное время проходил курс военных наук в Пажеском корпусе, точнее — в своем особняке: преподаватели ходили к нему на дом...».

В высшем свете Юсупов вращался в том кругу, где Распутин — а в равной мере и царицу — ненавидели с особенной силой, полностью разделяя ту точку зрения, что именно они являются корнем всех зол; в частности, он был дружен с главным фрондером среди великих князей, своим тестем Николаем Михайловичем. Именно этого великого князя многие считали вдохновителем Юсупова... Для полноты впечатления можно еще привести несколько строк из дневника Палеолога, написанных после известия об убийстве «старца»: «Князь Феликс Юсупов, двадцати восьми лет, обладает живым умом и эстетическими склонностями; но его дилетантизм слишком склонен к нездоровым мечтам, к литературным образам Порока и Смерти, и я боюсь, что он видел в убийстве Распутина прежде всего сценарий, достойный его любимого автора Оскара Уайльда. Во всяком случае, его инстинкты, лицо, его манеры делают его похожим скорее на героя „Дориана Грея“, чем на Брута или Лорензанно». Если же верить некоторым слухам, ходившим в столичном высшем свете об Юсупове, то он в некотором отношении был похож не только на Дориана

Грея, но и на своего любимого автора: Распутин якобы лечил его от противоестественной склонности к лицам своего пола... Во всяком случае энергичный, деятельный Пуришкевич был совершенно необходим этому любителю «литературных образов Порока и Смерти» для совершения задуманного.

О прочих участниках убийства и сказать-то практически нечего — в том числе и о великом князе Дмитрии Павловиче, фигуре совершенно бесцветной, представлявшей из себя сколок с того же Юсупова. «Высокий статный красавец» — вот вся характеристика, на которую оказался способен в своем дневнике очень расположенный к великому князю Пуришкевич. Ограничимся ею и мы. Следует только отметить, что участие в убийстве Распутина члена семьи Романовых, несомненно, носило принципиальный характер, недаром почти все великие князья горой встали на защиту Дмитрия Павловича, когда царь решал вопрос о наказании убийцам.

Несколько слов следует сказать и о В. М. Маклакове, которого Пуришкевич пытался вовлечь в круг заговорщиков. Маклаков был кадетом, но кадетом единственным в своем роде: если Пуришкевич «сидел на барьере» в отношении всей Думы, то Маклаков такую же — крайне правую позицию занимал в кадетской партии. В то же время он был одним из самых ярких думских ораторов и в своих эффектных речах неоднократно выступал с критикой министров-«распутинцев», даже самого царя. Очевидно, у Пуришкевича, обратившегося к Маклакову с предложением принять участие в убийстве, была мысль и в этом деле организовать что-то вроде блока, показав, в случае разоблачения, сколь различные политические силы стремились избавить Россию от Распутина. Но, как он пишет в дневнике, его собеседник оказался все-таки «типичным кадетом»: дал яд, преподнес каучуковую гирю — одно из орудий убийства, — обещал свое содействие как адвокат, но от «нелегальщины» отказался. Любопытно, что Дмитрий Пав-

лович, узнав об этом отказе, выразил полное свое удовлетворение: хорошо, мол, что эту высоко идейную акцию проведут одни монархисты.

...В ночь с 16 на 17 декабря Григорий Распутин был убит. Это событие подробнейшим образом запечатлено в дневнике Пуришкевича и воспоминаниях Юсупова, публикации которых в наши дни украшают витрины чуть ли не каждого газетного киоска. Мы во все эти подробности вдаваться не будем, отметим только, что, несмотря на все попытки участников преступления героизировать «сей дерзкий акт», оно выглядит столь же грязным и отвратительным, как и любое иное убийство... Если что, помимо невероятной жизненной силы Распутина, и поражает воображение в описаниях этой ночи, так это общая атмосфера жуткой ирреальности, бредового кошмара, окутывавшая «спасителей России». Все происходило как в страшном сне... Пытаясь скрыть следы преступления, убийцы действовали на редкость суетливо и бесполково. И ничего удивительного нет в том, что уже на другой день оно было раскрыто, а еще через день подо льдом Малой Невки у Крестовского острова найден труп Распутина. По свидетельству судебно-медицинской экспертизы, этот человек, будучи травленным, стрелянным,битым гирей по голове, под водой продолжал еще некоторое время жить...

После короткого дознания по убийству, которое не представляло никаких сложностей, убийцы были высланы из Петрограда: Юсупов в свое поместье в Курской губернии; князь Дмитрий — на Кавказский фронт. Пуришкевич, еще раньше покинувший со своим поездом столицу, вообще никаким взысканиям не подвергся. Возможно, такое мягкое наказание убийц было вызвано желанием избежать «великокняжеского бунта» — почти все родственники царя подписали письмо с ходатайством вообще не привлекать к ответственности Дмитрия (на нем Николай наложил резолюцию: «Никому не дано

права убивать»); возможно, на царя произвело впечатление то, какую всеобщую радость и облегчение вызвало известие об этом убийстве. А вероятнее всего, он в очередной раз помянул Иова Многострадального...

Распутина похоронили в царскосельской часовне; в глазах царицы мученическая кончина «старца» была очередным подтверждением его святости. В оставшиеся ей несколько месяцев жития в Царском Селе она часто ходила с Вырубовой на могилу Распутина — молиться...

И все пошло по-прежнему, по той же колее, которая вела к окончательной катастрофе: развал фронта и тыла, нарастающая нехватка топлива и продовольствия, транспортный кризис, обличения министров с думской трибуны... Распутинщина была отвратительным, грязным явлением, которое, конечно же, свидетельствовало о том, что империя тяжело больна, но нарвы, порожденные внутренним болезнетворным процессом, бесполезно удалять хирургическим путем. Еще раз скажем: убийство Распутина ничему не помогло и ничего не изменило. Все уже было решено; уже созрели и готовы были к борьбе те силы, с которыми оказались не способны справиться ни царь, ни Дума. До Февральской революции оставалось два месяца, до Октябрьской — менее года.

...Вот, очевидно, последнее упоминание о «Святом Черте» в той горькой летописи русской жизни, которую вели современники: «Вчера вечером гроб Распутина был тайно перевезен из царскосельской часовни в Парголовский лес, в пятнадцати верстах от Петрограда. Там на прогалине несколько солдат под командой саперного офицера соорудили большой костер из сосновых ветвей. Отбив крышку гроба, они палками вытащили труп, так как не решались коснуться его руками вследствие его разложения и не без труда втащили его на костер. Затем все это полили керосином и зажгли. Сожжение продолжалось больше шести часов, вплоть до зари. Несмотря на ле-

дяной ветер, на томительную длительность операции, несмотря на клубы едкого дыма, исходившего от костра, несколько сот мужиков всю ночь толпами стояли вокруг костра, боязливые, неподвижные, с оцепенением растерянности наблюдая святотатственное пламя, медленно пожиравшее мученика „старца“, друга царя и царицы, „божьего человека“. Когда пламя сделало свое дело, солдаты собрали пепел и погребли его под снегом» (*Морис Палеолог. Дневник. 23/10 марта 1917 г.*).

1990

# МИФ КАК СРЕДСТВО (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Проблема, заявленная в названии, представляется чрезвычайно важной вообще, для России же — в особенности. Миф как средство легитимации использовался здесь властью постоянно и до недавнего времени с неизменным успехом. Однако именно в последние годы стало очевидно, что это оружие в значительной степени сработалось: миф о власти, на протяжении веков обладавший огромной силой воздействия на массы, именно сейчас, на наших глазах, теряет свое обаяние, все в большей степени обретает свойство анекдота (и анекдота скверного) — иными словами, превращается в псевдомиф<sup>1</sup>.

На то есть глубинные органичные причины, в которых я и попытаюсь разобраться. Но для этого неизбежно придется совершить краткий экскурс в прошлое — проследить, хотя бы в общих чертах, историческую судьбу мифа о власти в России. Это тем более необходимо, что, по моему глубокому убеждению, мы не только жили на протяжении многих веков, но и сейчас продолжаем жить в объятиях одного и того же мифа. Он лишь несколько видоизменяется внешне, в полной мере сохраняя свои сущностные черты.

## ГОСПОДСТВУЮЩИЙ МИФ: ЦЕЛЬ — ПОВИНОВЕНИЕ

Этот миф, очевидно, стал оформляться на рубеже XV–XVI вв., одновременно с завершением объединения русских земель

вокруг Москвы, свержением татаро-монгольского ига, зарождением дворянства, началом закрепощения крестьян и т. п. Иными словами, миф о власти родился именно тогда, когда в нем возникла необходимость, — в процессе создания единого, централизованного государства. Этот вполне реальный процесс, охвативший сферу внутренней и внешней политики, социальных и хозяйственных отношений, неизбежно должен был сказаться и в сфере идеологии. В свое время В. О. Ключевский очень хорошо показал постепенность и вместе с тем неизбежность происходивших здесь перемен: «Страна, населенная целым народом, для которого она стала отечеством, соединившимся под одной властью, не могла оставаться вотчинной собственностью носителей этой власти. В Москве заявляли притязание на всю Русскую землю как на целый народ во имя государственного начала, а обладать ею хотели как вотчиной на частном удельном праве. В этом состояло внутреннее противоречие...». И далее: «...С тех пор, как обеспечен был успех московского собирания Руси, в Иване III, его старшем сыне и внуке начинают бороться вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти»<sup>2</sup>.

Младшей ветви дома Рюриковичей, за 200 лет до описываемых событий взявшей старт с ничтожно маленькой площадки — Московского удела, — необходимо было обосновать свое великоледжавие... Именно в это время появляется целый комплекс мифов, на основе которых постепенно складывается единая мифологема, надолго — на века — ставшая определяющей для русской государственности. В самом начале XVI в. возникает «Сказание о князьях Владимирских», утверждавшее вековечность московской династии, возводя ее происхождение к незапамятным для русского человека временам — к древнему Риму, к императору Августу. Практически одновременно с этим Иосиф Волоцкий разрабатывает теорию божественного происхождения царской власти, «созданной по по-

добио небесной»<sup>3</sup>. Наконец, тогда же в посланиях старца Филофея Москва провозглашается Третьим Римом, а московские государи — преемниками византийских императоров в святом деле защиты истинной христианской веры. Иван Грозный не только реализует эти идеи на практике, венчаясь на царство, сам становясь кесарем, но и продолжает развивать их в своей переписке с князем Курбским, доводя до предела, рассматривая любое сопротивление царской власти как оскорбление Божией воли: «Не полагай, что это справедливо — разъярившись на человека, выступать против Бога...»<sup>4</sup>.

Именно Грозный столь же последовательно довел до логического конца и другое определяющее направление мифа. Его знаменитое: «А жаловать мы своих холопов всегда были вольны, вольны были и казнить»<sup>5</sup> — как нельзя лучше выражало идею равенства всех — вне зависимости от сословной принадлежности — перед верховной властью. Самодержавие в процессе своего становления декларировало самое себя как источник высшей справедливости. Вера в подобную «надсловную» справедливость поддерживалась, в частности, такими актами верховной власти, как ее борьба с новгородским боярством при Иване III и со всем боярством в целом при том же Грозном, — в массах возникало устойчивое ощущение, что на богатых и знатных появилась, наконец, управа...

Таким образом, уже на рубеже XV–XVI вв. закладываются основы мифологемы, устойчиво порождающей те настроения, которые в советской историографии определялись как «царистские иллюзии». Царская власть в народном сознании представлялась чуть ли не извечной, уходящей корнями своими в незапамятные времена; она была освящена Божьей волей, в соответствии с которой царь вел своих подданных по особому, Богом избранному — и, следовательно, единственно верному — пути. На этом пути царь побеждал внешних врагов, собирая воедино разобщенные земли, наводил порядок внутри страны, заботясь отнюдь не о тех или иных избранных

сословиях, а о всем народе в целом. Как писал юрист М. Зызыкин, известный в русских эмигрантских кругах 1920-х гг. авторитет по вопросу о легитимности царской власти, «идея царя-строителя земли, царя земского вместе с идеей царя-хранителя веры окончательно преобладает над идеей хозяина-вотчинника»<sup>6</sup>.

В дальнейшем — в трудах Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича и Н. М. Карамзина вплоть до уваровской теории «официальной народности» — шла разработка отдельных положений мифа, тех или иных его деталей — не более того. Главное было сказано уже в XVI в. В это время совершенно четко определилась суть мифа, на протяжении нескольких веков господствовавшего в России: он буквально обожествлял существующую власть, превознося ее не только как лучшую из возможных, но как единственно возможную в России. Эта власть брала на себя полную ответственность за все происходящее в стране. От тех же, кто не входил во властные структуры, требовалось одно: безоговорочное повиновение. С прозрачной ясностью этот основной принцип бытия любого россиянина был сформулирован уже в XIX в., в годы правления Николая I — истинного апофеоза самодержавия — жандармским генералом Л. В. Дубельтом: «...Ежели можно жить где-нибудь счастливо, так это, конечно, в России. Это зависит от себя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь нигде такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в царствии небесном»<sup>7</sup>.

Столь удивительная стабильность и в то же время статичность мифологемы, конечно же, не случайна. Миф пал на «добрую почву». Ведь он был не просто навязан сверху, а имел серьезную и сложную взаимосвязь с реалиями русской жизни: московские князья, а затем русские цари действительно защищали православную веру, собирали земли, наводили порядок. Естественно, попадая в пространство мифа, эти реалии

искажались самым причудливым образом — но, тем не менее, они были... Свою основную задачу — легитимации верховной власти — миф «отрабатывал» как нельзя лучше на протяжении нескольких столетий. Ситуация изменилась лишь к концу XIX и особенно к началу XX века.

## МИФ-ОППОЗИЦИЯ: ЦЕЛЬ — РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЗРЫВ

Пережив реформы 1860-х гг., Россия со стремительной быстротой начала меняться. Процесс перемен все в большей степени принимал обвальный характер: рухнуло крепостное право, на глазах стали расползаться, деформироваться чрезвычайно устойчивые прежде сословные структуры, резко вырос процент городского населения, не менее резко — процент грамотных. Естественно, что все эти перемены оказывали мощное воздействие на мировоззрение как высших слоев, так и народных масс, затрагивали самые глубинные пласти сознания и, в конечном итоге, подрывали самые основы господствующей мифологемы.

Помимо этих вполне объективных обстоятельств, способствовавших крушению старого мифа, были и другие. Чрезвычайно важную роль в этом процессе сыграла российская интеллигенция. Можно сказать, что духовно эта удивительная общность родилась накануне эпохи реформ, в противостоянии с одной из самых ярких и законченных форм господствующей мифологемы — теорией «официальной народности». Главной целью создателей этой теории — прежде всего С. С. Уварова, на протяжении 16 лет занимавшего пост министра народного просвещения при Николае I, — было воздействие на умы образованных людей постулатом «самодержавия, православия, народности», с тем чтобы загнать их в существующие государственные и социальные структуры, заставить безропотно

принять российскую действительность, раствориться в ней... Новорожденная же интеллигенция в лице своих лидеров — Белинского, Грановского, Герцена — решительно противостояла этому напору, стремясь вырваться из объятий традиционного мифа, увести за собой образованное общество, а в отдаленной перспективе — и весь народ.

На эту характернейшую черту — рождение и становление интеллигенции в постоянной борьбе, во все нарастающем противостоянии с властью — следует обратить особое внимание. Вспомним, что в николаевской России весь пафос господствующей мифологемы заключался в предельной идеализации существующего положения вещей. Основной же, стержневой идеей зачинавшейся интеллигентской мифологии, вне зависимости от ее позитивного содержания, был революционный акт, разрушение и низвержение существующего. В отличие от мифологии власти, разрабатывавшейся на основе реального бытия России, интеллигентская мифологема была результатом весьма болезненного и опасного процесса — отчуждения от российской действительности. Именно эту черту Герцен справедливо выделял как главную у всех своих единомышленников в 1840-е гг.: «Глубокое отчуждение от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое»<sup>8</sup>. Доказательством тому служат слова Белинского, подобных которым людьми 1840-х было сказано и написано во множестве: «Говорят: отрицание убивает верование. Нет, не убивает, а очищает его». Только через отрицание можно прийти к «той истинной любви к Отечеству», которая «должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества...»<sup>9</sup>.

Итак, к «идеалу человечества» через непримиримое отрицание существующего — реальной России. Подобный подход был характерен для подавляющего большинства русской ин-

теллигенции — на всех уровнях сознания, на всех уровнях деятельности. При этом «идеалы» — различные у разных интеллигентских групп — всегда были достаточно туманны и умозрительны; отрицание же — максимально конкретным и жестким. Именно на нем заквашивалась принципиально новая мифологема, определявшая путь ко всеобщему благоденствию — грандиозный революционный катаклизм, переворот, который изменит все. «...И будет новая земля и новое небо» — в данном случае это цитата не из Апокалипсиса, а из Белинского<sup>10</sup>.

Особенно ярко эта капитальнейшая черта новой мифологии проявилась в первое пореформенное десятилетие, когда определяющей фигурой русской общественной жизни стал нигилист, когда в честь духовного и социального отщепенства слагались восторженные гимны: «Есть люди, поклявшиеся жить свободно... Они не хотели смешаться с толпою и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни была им невыносима... Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики... Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, воображающие, что им неизменно нужно выполнить какое-то призвание, совершить какое-то священное действие, защитить какое-нибудь знамя...»<sup>11</sup>.

Естественно, что интеллигенция разрабатывает и позитивную сторону своей мифологии. На рубеже 1860-х–1870-х гг. появляются народники с их идеалами общины и народовластия, в 1880-х — марксисты, сделавшие ставку на рабочий класс; постоянно, с эпохи реформ, существуют либералы, видевшие панацею от всех бед в законности и конституции. В наши задачи, естественно, не входит анализ политических программ по реальному переустройству России. Отметим лишь, что все они носили групповой характер, разделялись лишь частью интеллигенции и, главное, находили очень слабый отклик в народных массах. А вот надежда (нередко под-

сознательная) на кардинальный перелом, переворот, взрыв как на единственную в своем роде социальную силу, способную разрушить ненавистное бытие и открыть путь в светлое будущее, — подобная надежда согревала большую часть интеллигенции.

## В ТИСКАХ МИФОЛОГЕМ

Таким образом, реальная Россия попадала в воистину железные тиски, созданные двумя мифами диаметрально противоположной направленности. Один, господствующий, трактовал истерзанную серьезными проблемами страну как край всеобщего благоденствия и был нацелен на сохранение существующего положения вещей, постулируя беспрекословное повиновение власти. Другой, революционный, обещал это благоденствие после грандиозного переворота во всех сферах русской жизни, нацеливая массы на отчаянную борьбу с властью за это предполагаемое светлое будущее. В жуткий зазор, образованный непримиримыми мифологемами, неизбежно попадали те, кто пытался рассуждать взвешенно и прагматично, исходя именно из реалий русской жизни. Хорошо известна печальная (с карьерной точки зрения) судьба либеральной бюрократии 1860-х — М. Т. Лорис-Меликова, С. Ю. Витте, пытавшихся решать проблемы путем постепенных, последовательных преобразований. Невостребованность или непопулярность, в свою очередь, была уделом тех представителей интеллигенции, которые пытались противодействовать революционным идеям в своей среде, — таких как Б. Н. Чичерин в 1860-е гг. или П. Б. Струве в начале XX в.<sup>12</sup>.

Естественно, что царское правительство приняло интеллигенцию за абсолютное зло, а та ответила своему противнику полной взаимностью. Уже в 1860-е гг. ее представители начинают действовать по принципу «клин клином вышибают».

Вся мощная негативная сила созданного ею мифа о «революционном обновлении» была направлена на ниспровержение господствующей мифологемы. В сфере реального бытия это нашло свое яркое выражение в той беспощадной охоте на царя-реформатора, которую развязывают народовольцы. И точно так же господствующая власть начинает трактовать образованное общество как источник чуть ли не всех зол, обрушивая на него разнообразные репрессии.

В конце XIX и особенно в начале XX в. борьба мифов становится поистине сокрушительной. И в этой борьбе все преимущества были на стороне революционной мифологемы — хотя бы потому, что она воспевала никому не ведомое будущее, обличая настоящее. Господствующий же миф, направленный на идеализацию переживавшей страшный кризис реальной России, все в большей степени изживал себя, превращаясь в псевдомиф, искусственно навязываемый сверху. Все большая часть россиян теряет «царистские иллюзии», приобретая новые, попадая под обаяние мифа «революционного обновления». В 1905–1907 гг. эта борьба выплескивается на улицы и площади российских городов, определяя собой содержание митинговых речей и газетной публицистики — уже в легальной, расходящейся многими тысячами экземпляров печати; ход забастовок и думских заседаний. Подавление революции отнюдь не было идентично восстановлению власти старого мифа. Напротив, он все в большей степени терял свое обаяние, терял поклонников и в годы несчастной для страны войны сгинул, казалось, окончательно — вместе с последним царем и всей верной ему старой Россией. Революционная мифологема одержала безоговорочную победу.

Новая власть сумела использовать миф «революционного обновления» в полную силу. Нет сомнений, что и сами лидеры большевиков были поначалу захвачены ими. Свидетельством тому могут быть и ленинские мечты об отмирании государства, и соответствующие меры большевистского правительства в

первые послереволюционные дни: замена армии ополчением, полная ликвидация карательных структур старого режима, выборность судей и проч. Да и знаменитый декрет о «рабочем контроле» вполне отвечал духу новой мифологемы. Далее, как известно, реальный ход событий заставил большевиков создать грандиозную армию, организовать ВЧК, поставить всю промышленность под безоговорочный контроль государства. Миф в то же время продолжал жить и воздействовать на массы.

Через ужасы Гражданской войны, голод, холод, нищету, через беспощадную борьбу с врагами — в царство справедливости и всеобщего благоденствия... Нехитрая формула была быстро усвоена значительной частью населения страны и послужила не только основой легитимации власти большевиков, но и оправданием всех вышеназванных ужасов и жестокостей, в значительной степени идущих именно от нее — как неизбежной искупительной платы за будущее благоденствие.

То, что этот миф был тогда «живым», находил опору в сознании масс в не меньшей степени, чем в свое время миф о «добром царе», доказывает сама судьба новой власти, не имевшей, казалось бы, никаких шансов победить своих многочисленных врагов — и победившей; выбраться из практически полной, невероятной разрухи — и в короткий срок успешно восстановившей экономику. Естественно, что в этом очерке мы не будем выяснять соотношение между сущностью мифа и реальной политикой большевиков, но то, что новая мифологема сыграла роль из ряда вон выходящую, — в этом, на наш взгляд, не может быть сомнений. Массовые проявления геройства в годы гражданской войны на фронтах и «революционного энтузиазма» — тогда же — в тылу и после, в годы восстановления хозяйства, постоянная поддержка со стороны масс, которую большевики ощущали, невзирая на свою, нередко изуверскую, политику, все это трудно объяснить только ненавистью к белым, гением Ленина, хорошей организацией но-

вой власти и пр. Многие события тех лет вообще плохо поддаются рациональному объяснению — как это бывает всегда, когда в историю вторгается мифологема — да еще с такой силой.

Итак, миф о Богом избранном царе, хозяине земли русской, воплощении порядка и законности, ведущем свой народ по единственному верному пути, сменил миф о трудовом народе, который, совершив Великую революцию, в лице лучших своих представителей взял власть в свои руки — с тем чтобы идти опять-таки по единственному верному пути в светлое будущее... Самое уязвимое звено этой мифологемы было в определении «лучших представителей» — как известно, «диктатура пролетариата» изначально представляла собой диктатуру партии, в руководстве которой представительство от рабочих имело чисто декоративный характер. Но это противоречие легко снималось формулой «последовательных защитников интересов трудящихся», страдавших за эти интересы при царском режиме, сражавшихся за них в годы Гражданской войны. С другой стороны, в массы последовательно внедрялась мысль о духовной и более того — бытовой близости с ними вождей, и прежде всего самого Ленина: да, это гениальный человек, но одновременно с этим он «прост как правда», предельно скромен в своих потребностях и т. п. Ну и, наконец, период диктатуры постулировался как переходный к тем благословенным временам, когда «каждая кухарка сможет управлять государством».

Таким образом, миф работал — до поры до времени...

## СКРЫТОЕ РОДСТВО

Здесь необходимо сделать небольшое отступление: хорошо известно, что большевистские лидеры, воспользовавшиеся в полной мере плодами победы над старой властью, не только

составляли незначительную часть «идейной» интеллигенции, но и изначально играли в ее среде роль своего рода изгоев. Если попытаться выяснить причины этой духовной изоляции — которая, впрочем, большевиков не только не смущала, но, скорее, наполняла гордостью, — то основной из них, на наш взгляд, будет следующая: в отличие от большинства прочих представителей этой общности большевики никогда ни в грош не ставили так называемые демократические начала — выборность, свободу дискуссий, автономность личности и т. п.

Я ни в коем случае не собираюсь идеализировать в этом отношении интеллигенцию в целом. Ее вполне реальные и постоянно проявлявшиеся доктринерство, интеллектуальное высокомерие, снобизм и т. п. — все это имело место, и все это — тема для особого разговора. Но в *идеале* интеллигенция была настроена на взаимопонимание с себе подобными, на терпимость и поиски компромисса, на уважение к личности. Большеликами же все эти качества изначально воспринимались как нечто сугубо отрицательное, как проявление «гнилой» интеллигентности.

Роль Ленина в консолидации подобной силы невозможно переоценить. Вождь, как известно, был беспощаден к идейным врагам и совершенно безапелляционен в их определении. Чуткий и дальний современник, хорошо знавший Ильича и на себе испытавший, что означает его принципиальность, совершенно справедливо, на мой взгляд, проводил сравнение между Лениным и лидером меньшевиков Мартовым: «Это два разных психологических типа. С тем и другим пришлось обсуждать одни и те же вопросы, а какая разница в подходах к ним. Мартов прежде, чем их откинуть, хочет понять. Ленин же... считает, что надо лепить бубновый туз, даже не разбираясь; Мартов говорит — нужен не наскок, а серьезная критика; Ленин же, очертив вокруг себя круг, все, что вне его, топчет ногами, рубит топором. И опять, уже не первый раз, меня уку-

сила мысль: большевик ли я?..»<sup>13</sup>. Конец цитаты не случаен: вождь подбирал партию под себя. Горе инакомыслящим...

Подобные деятели, беспощадные и несгибаемые, были среди интеллигенции всегда — и всегда были в меньшинстве. Ленин, вне всяких сомнений, был законным продолжателем той линии, которая пунктиром пробивается через все русское общественное движение XIX—начала XX вв.: Пестель, Нечаев, Ленин... Представители этого направления решительно отбрасывали (или отодвигали на задний план) идеи народовластия, парламентаризма, правового государства и пр. Вместе со всей интеллигенцией они стремились к революционному взрыву — и вместе с тем желали этим взрывом управлять. Речь шла не только и не столько о том, чтобы «освободить массы от векового гнета», сколько о том, чтобы задать им нужное — с точки зрения идеологов — направление, не стесняясь при этом применения насилия. Для нас чрезвычайно важно отметить, что в данном случае создатели новой мифологии обнаруживали совершенно неожиданную, на первый взгляд, взаимосвязь с поклонниками старой: ведь в сущности, уничтожая последнего царя со всей его семьей, они в конечном итоге стремились занять его место... В большевистской интерпретации «революционное обновление» в конце концов неизбежно должно было привести к новому «доброму Царю» (Вождю, Хозяину — как угодно, но обязательно с большой буквы), который, обладая всей полнотой власти, будет собирать земли, защищать пределы, а главное — наводить порядок внутри страны. Новая мифологема в большевистской интерпретации таким образом не уничтожала старую невозвратно, а становилась лишь средством к тому, чтобы «перехватить» старый миф, использовать его в своих целях. Эта мина замедленного действия должна была сработать неизбежно...

## СТАЛИНСКИЙ СПЛАВ

Конечно же, почти с самого начала господства большевиков в России миф «революционного обновления» прикрывал чрезвычайно жесткую и прямолинейную политику большевиков во всех сферах — в управлении государством, социальных отношениях, экономике. Но какое-то время эти в глаза бросавшиеся противоречия достаточно успешно объяснялись большевистским руководством всем и в первую очередь самому себе — тяжелым положением в стране, чрезвычайно низкой стартовой площадкой в «светлое будущее»: в стране разруха, темное, несознательное население преобладает, враги — внутренние и внешние — навязывают новой власти беспощадную войну и т. п. Поэтому «раскрепощение масс», всеобщие свобода и благоденствие, предполагаемые «революционным обновлением», — все это откладывалось... ненадолго, вплоть до скорой и неизбежной победы мировой революции: «И добивают / последних буржуёв на Амазонке / отряды Коминтерна...»<sup>14</sup>.

Достаточно вспомнить, с каким искренним нетерпением лидеры большевиков в 1918 г. ожидали известий о начале мировой революции, которая, в соответствии с их насквозь мифологизированной идеологией, неизбежно должна была начаться сразу же после революции в России. Суровая необходимость «строить социализм в одной отдельно взятой стране» стала, очевидно, одним из первых ударов по новой мифологеме.

Вторым, еще более чувствительным ударом стало неизбежное отступление от «революционных завоеваний», принятые в годы НЭПа. Эта политика, к которой большевики прибегли не от хорошей жизни, была антимифологична по своей сути. Более того, она косвенным образом подрывала самую идею «революционного обновления» — ведь волей-неволей лидеры большевиков признали, что невозможно построить социализм без отступления в капитализм, т. е. без воз-

вращения на путь постепенного, последовательного, «рационального» развития экономики. НЭП, в сущности, был уступкой здравому смыслу, которого не выносит никакая мифология. В середине 1920-х гг. революционная мифологема затрещала по всем швам, а с нею — и тотальное господство большевиков. При нормальном развитии страны без революционных эксцессов и рывков в «светлое будущее» власть большевиков представлялась совсем не обязательной, более того, ненужной — она, по сути, теряла свою легитимность.

Неудивительно, что из двух концепций экономического развития — прагматичной и рациональной Бухарина, являвшейся, по существу, последовательным развитием НЭПа, и насквозь мифологичной, возвращающейся на новом уровне к «революционному обновлению» Троцкого — большевистское руководство после недолгих сомнений решительно выбрала последнюю. Stalin, уничтожив обоих идеологов-соперников, пошел по пути, предложенному Троцким, создав в результате квазисоциалистического монстра. При этом он сумел реанимировать миф «революционного обновления», сплавив его воедино с возрожденным старым мифом о «добром царе» — в данном случае Хозяине.

Нужно отметить, что возвращение к традиционной мифологеме произошло не только вследствие ее несомненной жизненности, укорененности в народном менталитете; немалую роль здесь сыграли и личные проблемы Сталина, возникшие в ходе борьбы за власть. Революционная мифологема не лучшим образом соответствовала личным качествам этого человека — «наиболее выдающейся посредственности нашей партии», по характеристике Троцкого. Зато как рыба в воде в ее пространстве должен был чувствовать себя Троцкий — пламенный трибун, глашатай перманентной революции, обладавший мощным интеллектом и исключительным личным обаянием. После смерти Ленина Троцкий имел все основания претендовать на роль единоличного лидера — в рамках рево-

люционной мифологемы ему просто не было равных. Ведь она требовала от Вождя именно таких качеств... Троцкий легко и непосредственно мог возглавить первое в мире социалистическое государство. Сталину же необходимо было провести «предварительную работу», создать своего рода миф в мифе — свой собственный образ, образ Хозяина... Ему необходимо было укрыться за мощным пропагандистским щитом, за обезличенным партийно-государственным аппаратом, уйти в надзвездные выси, управлять с Олимпа... Легитимация власти Сталина предполагала ее отчуждение от масс, придание ей сакрального характера.

В исторической литературе отмечен тот момент, с которого начался этот поразительно интересный процесс, — знаменитая речь Сталина 26 января 1924 г., на траурном заседании II съезда Советов, посвященном памяти только что умершего Ленина. «Своей формой и языком речь... очевидно, обязана влиянию духовного образования, полученного Сталиным в юности. Ее отличал библейский слог. Структурно речь напоминала антифон: каждая последующая заповедь Ленина чередовалась с однообразными ответами от имени тех, кто поклонялся ему...»<sup>15</sup>.

Этот неожиданный, казалось бы, переход к совершенно не свойственной, более того — неприемлемой прежде для большевиков «сакральной» риторике был, конечно же, неслучайен. «Многим большевикам, — замечает тот же исследователь, — подобная ритуальная экзальтация лидера, должно быть, показалась столь же чуждой, какой она была для самого Ленина. Но для тех, кто вырос в условиях России, не зная западных традиций, эта речь могла задеть некоторые знакомые, полу забытые струны их души...»<sup>16</sup>. Проще говоря, эта речь знаменовала собой начало возврата «к России» — к старому, традиционному мифу. Следом за речью последовало захоронение в мавзолее и вся последующая сакрализация Ленина, создание его культа.

По разным причинам, в суть которых мы входить здесь не будем, создание культа Ленина было поддержано всеми его «наследниками»<sup>17</sup>. Для главного же и, как вскоре выяснилось, единственного «законного» из них — Сталина — культ Ленина, конечно же, никогда не был самоцелью. «Это был двойной культ, при котором Ленин и Stalin как два прославляемых вождя оказывались неразрывно связанными с исторической судьбой русского коммунизма... Взяв на себя инициативу в деле создания народного культа Ленина, Stalin выразил глубоко скрытые мысли и (возможно, подсознательно) подготовил почву для будущего культа второго вождя»<sup>18</sup>, причем этот культ — «второго вождя» — очень скоро подмял под себя культ вождя первого<sup>19</sup>. Вслед за сакрализацией власти, по мере того как идея мировой революции выдыхалась все в большей степени и Советский Союз поневоле приходилось воспринимать как единственную надежную опору «нового строя», — по мере этого революционный миф все в большей степени приходилось вписывать в исторический контекст «особого пути» России. Разгром школы М. Н. Покровского, добросовестнейшим образом обслуживавшей мифологему «революционного обновления», был одним из первых признаков поворота в этом направлении. В 1930-х гг. все явственное проявляется интерес Сталина к «великим предшественникам», Петру I и особенно Ивану Грозному, — речь идет о своего рода преемственности... Но в полную силу этот процесс разворачивается во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Он ярко проявил себя в возрождении «патриотических традиций», величании российских полководцев, трактовавшихся ранее как «прислужники самодержавия», официальных восторгах перед «российским гением» — все великие изобретения, как выяснилось в период борьбы с космополитизмом, были сделаны в России, изображавшейся в первые послереволюционные годы безоговорочно отсталой страной, и т. п.

В результате всех этих трансформаций возник своеобразный мифологический сплав. Советский Союз оказывался естественным продолжением царской России — он шел впереди всех прочих государств и народов, прокладывая путь в светлое социалистическое будущее. На этом пути им руководил Хозяин — гениальный вождь, не совершающий ошибок, обладающий сверхчеловеческой мудростью, денно и нощно пекущийся о благе всего государства в целом и каждого его гражданина в отдельности, беспощадно истребляющий его врагов, и т. д. и т. п. Безоговорочное повиновение Хозяину представлялось единственным верным образом действия на этом пути.

Революционная мифологема обрела принципиально новые очертания, «обогатившись» старым, традиционным мифом, который врос в нее так жеочно, как в свое время на Руси традиционное язычество — в православие. Старый миф, так глубоко вошедший в народное сознание, в процессе приспособления его к новым условиям также видоизменился. Его основные составляющие доводятся до предела, почти до изнеможения. В самом деле — раньше самодержавие определялось как власть от Бога; теперь в стране, где официально господствует атеизм, ее глава сам, по сути дела, становится Богом... Царская власть трактовалась как изначальная, от века господствующая в России; Сталин, став не только главным, но единственным воплощением новой власти, претендовал чуть ли не на бессмертие. Россия шла единственным верным путем, храня и оберегая истинную веру, готовя народ к Царству Небесному; Советский Союз должен был стать воплощением Царства Божия на земле.

Революционный миф в сочетании с традиционным приобретал все более жуткие, противоестественные черты — и тем не менее жил, действовал, работал, подчиняя себе реальную жизнь, коверкая ее, превращаясь в воплощенный кошмар...

## От мифа к анекдоту

Но именно это безумное напряжение «усовершенствованной» мифологемы полагало ей предел. Слишком ужочно она была увязана — не с государственной системой, идеологией или другой сферой бытия, имеющей сколько-нибудь значительное протяжение во времени, а с быстротечной жизнью одного вполне конкретного человека. Сталин воспользовался покоряющей силой мифа в полной мере, высосав из него все соки. Со смертью Хозяина мифология, сконцентрированная на его личности, неизбежно должна была потерять свою творящую силу. Казалось бы.

Однако еще несколько десятилетий она продолжала существовать и оказывать мощное воздействие на реальную жизнь, хотя и существование это, и влияние начинают приобретать все более сомнительный, ложный характер. Происходило это, очевидно, потому, что Хозяин оставил после себя целую когорту хозяйствиков — партийно-хозяйственную номенклатуру. При жизни Сталина эта когорта в значительной степени обслуживала его, после смерти — стала работать на себя.

И сразу же ей пришлось решать вопрос о легитимации собственной власти, причем вопрос этот, как известно, решался в отчаянной междоусобной борьбе.

В силу вышеизложенных причин те представители номенклатуры, которые попытались воспользоваться господствующим мифом без каких-либо перемен, объявив себя наследниками Сталина, борьбу проиграли — у Хозяина, живого Бога, достойных наследников быть не могло по самой сути мифологемы. Выиграл Хрущев, объявивший себя наследником Ленина...

Как показали последующие события, ничего принципиально нового ни в мифологии, ни в какой другой сфере номенклатура породить не могла, поскольку лишена была творческой силы по определению, по самим принципам отбора в

свою среду. Однако рамки старой мифологемы еще позволяли проводить некоторые маневры. И Хрущев сумел-таки смахнуть с нее, максимально усилив революционный аспект мифологии за счет традиционного. Речь шла о том, чтобы очистить сплав мифологем, совершенный при Сталине, от его культа, вернувшись к подлинному золоту «революционного обновления».

В результате получалось некое подобиеialectического развития мифа — точнее, его имитация. Stalin исказил ленинские заветы во всех мыслимых сферах — государственного управления, партийного строительства, экономической, культурной и пр. Суть искажения — привнесение в революционную идеологию (мифологию) своего культа, глубоко чуждого ей по существу. Отсюда многочисленные ошибки, ненужные жертвы, неоправданные потери на пути социалистического строительства. Тем не менее советский народ продолжал движение в избранном направлении и много в том преуспел. Избавившись же от последствий культа, он устремится вперед неудержимо и вскоре вступит в вожделенное коммунистическое будущее.

И в этой интерпретации мифологема в очередной раз сработала. Восстановление «ленинских норм» в государственном управлении и партийном строительстве — при всей условности этого понятия признание необходимости удовлетворить насущные нужды «трудового человека» не только в коммунистическом завтра, но и в социалистической действительности, апелляция к сознательности народных масс, к их трудовому энтузиазму — все это вызвало поддержку и понимание. Именно в качестве «наследника Ленина» Хрущев обошел своих недоброжелателей, достиг вершин власти и сумел закрепиться там. Но первом его мифологических изысков стала, несомненно, третья Программа КПСС — программа построения коммунизма в 20 лет... Миф «революционного обновления» достиг высшей точки своего развития.

Какое-то время работало и это усовершенствование, превращавшее миф в откровенно ненаучную фантастику. Особенno поражали, конечно, четкие, конкретные сроки... Но, как справедливо отмечали исследователи этого периода истории, «в самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось — по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя»<sup>20</sup>.

Однако долго эта вера держаться не могла. У мифологии свои законы. Для того чтобы воздействовать на народные массы, она, очевидно, должна находиться в живой взаимосвязи с реальным положением дел. Так, большевики во главе с Лениным заявляли о том, что совершают грандиозный революционный переворот — и действительно в корне изменили социальные, экономические и прочие отношения в стране (хотя, как выяснилось впоследствии, эти перемены привели совсем не к тем результатам, которые были обещаны). Сталин, возрождая миф о добром и благом царе — хозяине, действительно хозяином был (хотя не благим и не добрым). Создание же совнархозов и переустройство парторганизаций по производственному принципу — пожалуй, самые значительные из хрущевских «реформ» — принять за построение коммунизма мог только человек, очень не адекватно воспринимающий реальность...

В сущности Хрущев сотворил с революционным мифом то же, что Сталин — с традиционным: напряг его до невозможности, выпил из него все живые соки и тем самым лишил творящей силы. К тому же он не выполнил поставленную задачу — очистить революционную мифологему от «накипи сталинизма»: на месте великого и страшного культа он создал свой, маленький и потешный, превратив саму идею «хозяина» в посмешище. Все это вместе взятое подрывало возможность мифа как средства легитимации власти — не только самого Хрущева, но и руководимой им и в конце концов сожравшей его номенклатуры.

Долгий период правления Брежнева, на наш взгляд, выпадает из мифологического пространства. Власть Брежнев получил без всякой опоры на ту или иную трансформацию мифологемы — он был поставлен номенклатурой, имевшей реальную власть, поскольку полностью эту номенклатуру устраивал и всю свою деятельность направлял прежде всего на удовлетворение ее интересов. По справедливому замечанию одного из своих референтов, Брежnev «был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата»<sup>21</sup>.

Естественно, что ни Брежнев, ни номенклатура без мифологии обойтись не могли. Но и в этой сфере так же, как и во всех прочих, властвовали застой и гниение... По сути, последние два десятилетия советской власти (до начала перестройки) шло бесконечное повторение давно уже пройденного, причем привычная мифологема выхолащивалась поистине беспощадно. Вместо всемогущего Хозяина она предлагала стране «коллективный разум» группы лиц, истинные «достиинства» которых были известны чуть ли не всему населению; вместо «революционного обновления», создания царства всеобщей справедливости и благоденствия — возможность насладиться вдосталь реалиями «развитого социализма», вызывавшими все большую тоску и раздражение. В эти годы миф окончательно вырождается, формализуется до предела, превращается в псевдомиф. Своеобразным символом этой трансформации является анекдотическая фигура самого Генерального секретаря, произносящего по бумажке, шамкая, совершенно безликие тексты. Какой уж тут миф... Поистине «кошмарный сон пропагандиста»<sup>22</sup>.

Поскольку же свято место пусто не бывает — в нашей державе, во всяком случае, — умирающий миф получает свою оппозицию, причем питательной средой для «контрмифов» является все та же интеллигенция — битая-перебитая, изменившаяся во многих отношениях почти до неузнаваемости и все-таки сохранившая определенное духовное средство со-

своими дореволюционными предшественниками. Именно в это время идет в рост диссидентское движение; да и за его формальными пределами на пресловутых кухнях муссируются новые мифы о некоем «истинном марксизме», загубленном номенклатурой, с одной стороны, и о столь же «истинной демократии» (западной) — с другой; возрождаются старые, в частности, об особом пути России, на котором социализм поленински лишь временное испытание. Но естественно, что в условиях тотальной слежки, цензуры, расправ с инакомыслящими вся эта «оппозиционная» мифология пребывала в зачаточном состоянии. Таким образом, на какое-то недолгое время в этой сфере возникла своего рода лакуна, мертвая зона, в которую и ворвался Горбачев со своей идеей «перестройки».

## ПЕРЕСТРОЙКА — ПЕРЕДЫШКА?

Первые годы правления Горбачева, на мой взгляд, вполне выдерживают сравнение с недолгими периодами преобладания либеральной бюрократии в царском правительстве, с периодом НЭПа — т. е. с теми временами, когда прагматический, рациональный подход к делу рассеивал мифологический туман — как правило, на очень недолгий срок, потому что жить и работать в России, а тем более управлять ею вне мифологии и сложно, и очень опасно. Очевидно, для того чтобы победить миф, необходимо было обладать целым рядом редких, если не исключительных, качеств: способностью трезво оценивать ситуацию и в случае необходимости сознательно идти на серьезные жертвы во имя достижения главной цели; чувством ответственности за свои дела; готовностью спокойно принимать неудачи и непонимание со стороны тех, на кого работаешь. А главное, нужно было постоянно преодолевать соблазн использовать — пусть и во благо — такое заманчивое, такое привычное в этих широтах и такое опасное оружие мифа...

Для достижения целей, которые ставили перед собой Горбачев и выдвинувшая его наиболее здравомыслящая часть номенклатуры, традиционная мифология, собственно, была не нужна. Ведь так же, как и в конце 1850-х—начале 1860-х, в начале 1880-х, в 1920-х гг. речь шла не о сохранении — любыми средствами — существующего порядка вещей и не о стремительном рывке в будущее с обязательным низвержением в бездну «проклятой действительности», а о спокойной, планомерной работе по преобразованию этой действительности путем последовательных реформ. Горбачев и его окружение стремились «всего-навсего» вывести страну из застоя с наименьшими потерями, преобразовав казавшийся незыблемым социалистический строй так, чтобы он получил возможность нормально развиваться.

Подобные прагматические установки явно противоречили духу российской мифологии, само подчеркнуто скромное понятие «перестройка» никак не вписывалось в мифологический контекст — так же, впрочем, как и естественная манера держаться нового главы государства, обыденный, чуждый всякой высокопарности стиль его выступлений. Даже характерные речевые огрехи Горбачева, ставшие вскоре мишенью для более или менее злобных издевательств, поначалу лишь усиливали общее впечатление человечности, производимого этой фигурой, явно находившейся вне мифологического пространства. И тем более характерно, что очень скоро Горбачев и его сотрудники разделили печальные судьбы всех российских и советских деятелей, пытавшихся это пространство покинуть, попав в беспощадные жернова враждебных мифологем.

С одной стороны, после первых взрывов энтузиазма, когда стало очевидно, что привычный строй жизни колеблется, расплывается, теряет устойчивые очертания, произошла реанимация советской мифологии, которая в данных условиях еще больше трансформировалась, приобретя безоговорочно

консервативный, традиционный характер. Публикация в центральной прессе статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» стала одним из первых и чрезвычайно ярких проявлений этого. Хотя взгляды, высказанные в статье, по мере того как перестройка заходила в тупик, обретали все больше сторонников в массах, сейчас очевидно, что эта публикация отвечала прежде всего интересам консервативно настроенной номенклатуры<sup>23</sup>. В дальнейшем, по мере развития событий, она консолидировалась, привлекала к себе все больше сторонников и в конце концов дала своеобразное «партийно-патриотическое» движение, главной целью которого было сохранение существующего строя. В восприятии представителей этого движения Горбачев стал символом предательства «идеалов социализма». Более того, его втягивали-таки в мифологическое пространство, но уже в образе Врага, страшного злодея — то ли главы жидомасонов, то ли наймита США, а то и того круче...<sup>24</sup>

В консервативных кругах, по сути дела, шла интенсивная работа по реанимации старого мифа со всеми привычными идеалами, постулируемыми им: Хозяин (необходимо найти), порядок (нужно восстановить во что бы то ни стало), особый путь (Запад сгнил и влияет на нас тлетворно) и — главное — повинование (разбаловались, управы на вас нет и т. д.). На этой основе происходит, на первый взгляд, совершенно невозможное, а на самом деле предопределенное характером мифологемы и потому абсолютно органичное слияние так называемых коммунистов с так называемыми патриотами. И для тех и для других хозяин, порядок, повинование — понятия определяющие, первичные, независимо от конкретики, которая в них вкладывается. С самого начала перестройки это был достаточно серьезный — хотя, поначалу, и негласный противник. В значительной степени именно для борьбы с ним Горбачев и открыл «шлюзы гласности», вызвав тем самым настоящий пропагандистский потоп.

В сущности, во второй половине 1980-х гг. повторилась ситуация начала века, когда интеллигенция, имея достаточно смутную и абстрактную в позитивном отношении программу деятельности, всю свою энергию, накопившуюся за долгие годы вынужденного молчания, выплеснула в безудержной критике прошлого и настоящего... Из массы публицистических материалов того времени, слившихся в мощный обличительный поток, следовал, собственно, один неизбежный вывод: 70 лет советской власти — это безоговорочно черный период в истории России, исполненный насилия над объективными процессами развития, кровавыми безобразиями по отношению к отдельным людям и целым народам. То, что создано за эти годы, не имеет права на существование и должно быть беспощадно уничтожено. Речь снова шла о революционном перевороте, о «новой земле и новом небе» — на этот раз капиталистических...

Так же, как и в начале века, все это писалось — и говорилось на митингах, ставших практически перманентными, с большой искренностью и убедительностью; так же, как и тогда, все эти обличения обладали мощным воздействием на массы, поскольку касались того, что действительно угнетало, наводило тоску, мешало нормально жить и работать. Будущее рисовалось обличителями крайне неясно, зато раскрашивалось в голубые и розовые тона — при условии как можно более решительных и радикальных перемен. У защитников советского строя не было никаких шансов на победу в этой информационно-публицистической войне, тем более что «пламя гласности» поначалу усиленно раздувалось самой властью, очевидно, видевшей в нем надежное прикрытие для своей реформаторской деятельности.

Однако прошло совсем немного времени и это пламя опалило самого творца перестройки... В том же 1988 г. Горбачева и его окружение начинают упрекать в слабости, непоследовательности и наконец просто в нежелании проводить «настоя-

щие» — т. е. максимально радикальные — преобразования. Проходит совсем немного времени, и «прорабы перестройки», само появление которых стало возможным только благодаря Горбачеву, начинают шельмовать его как символ предательства и двурушничества, обвиняя в стремлении «свернуть с пути реформ».

Одной из самых значительных вех на крестном пути Горбачева стал знаменитый I съезд народных депутатов. По справедливому замечанию чуткого и объективного наблюдателя, выборы на этот съезд, «несмотря на всевозможные ограничения, явились невероятным прорывом в демократическом развитии страны», а сам съезд — «явно по воле своего председателя (Горбачева. — А. Л.) стал концом демократии, распределаемой сверху, и началом новой демократии, где все действующие лица должны были чему-то научиться, где со священной власти был окончательно снят покров неприкосновенности»<sup>25</sup>. Сам Горбачев занял на этом съезде свою обычную и, казалось бы, вполне оправданную позицию. «Я буду искать, — заявил он, — какую-то середину, чтобы были и точки зрения представлены, и атмосфера сохранялась. По-моему, это самая главная забота»<sup>26</sup>. И тем не менее — а может быть, именно поэтому — на съезде, в условиях «торжества гласности», Горбачев на глазах — и к радости — всего населения страны, прильнувшего к телевизорам, был буквально сокрушен беспощадными ударами, наносившимися открыто сторонниками радикальных перемен и — исподволь — защитниками «идеалов социализма».

Мифология взяла свое... Поставив себя вне мифа, не сумев — или не захотев — использовать эту мощную силу, Горбачев постепенно становится никому не нужным. И характерно, что августовские события 1991 г., когда беспощадная борьба мифологем обрела реальное воплощение — сторонники одной вывели на улицы Москвы танки, сторонники другой — толпу, — в высшей степени характерно, что эти события

обошлись практически без него, главы правящей партии и государства. А по прошествии совсем недолгого времени исчезли и это государство, и эта партия.

## ХОРАЛ В РИТМЕ ДЖАЗА

Снова, второй раз за столетие, победу одержала революция — именно так, поскольку победители предполагали провести и провели в жизнь изменения, революционные по сути. И в то же время это была победа мифа, поскольку реальные преобразования, надолго обескровившие и все государство в целом, и подавляющее большинство его граждан, пропагандировались как очередной прорыв в «светлое будущее», причем в кратчайшие сроки и без каких-либо серьезных потерь и затрат. И пропаганда эта работала: в миф о будущем, в котором каждая кухарка сможет заниматься бизнесом и получать доходы от капиталовложений, — в этот миф верили, хотя он был сработан грубо и цинично, до наглости — до такой степени, что больше походил на самую обычную ложь.

Столь же грубо был сработан и образ главного носителя этого мифа. Здесь перед «мифологами» вообще встали серьезные проблемы. По мере того как заканчивалась романтическая эпоха митингов и демонстраций, эпоха борьбы с тоталитаризмом и начинался вполне реальный дележ власти, из-за спин «перестроечной» интеллигенции, пламенных трибунов и публицистов все отчетливей выдвигались упитанные фигуры «молодых реформаторов»-радикалов. Все они в основном были плоти от плоти все той же номенклатуры, благодаря чему обладали и связями, и информацией, и капиталами; все они готовы были совершенно беззастенчиво использовать «девятый вал гласности» — обличений, дискредитации власти и существующего строя — в своих интересах, так же как в свое время это сделали большевики.

Но при всем внешнем сходстве ситуаций, сложившихся в 1917 и в начале 1990-х гг., была серьезнейшая разница между теми, кто стремился извлечь из этих ситуаций максимальную выгоду. Большевики, вне всяких сомнений, были сами захвачены революционным мифом и во многом соответствовали ему своими личными качествами, своей судьбой: боролись, страдали, подвергались гонениям... «Реформаторы» же при советской власти в подавляющем большинстве своем принадлежали к привилегированному слою советского общества и «под гнетом тоталитаризма» жили припеваючи. Между тем раскручиваемый ими революционный миф требовал своего воплощения, своего героя, который хоть в какой-то степени, хоть внешне должен был отвечать его сущности.

Найти подобных людей в стране, где на протяжении 70 лет беспощадно подавлялось инакомыслие в любых своих проявлениях, где даже в относительно «мирные» времена застоя счет репрессированных за политические убеждения велся на многие сотни, казалось бы, не представляло особой сложности. Но в том-то и дело, что диссиденты старой школы «реформаторов» не устраивали по вполне понятным причинам: они были, как правило, принципиальны, порядочны и, главное, исполнены веры в «идеалы демократии» — т. е. вкладывали в это слово совсем не то содержание, каким наполняли его «реформаторы», стремившиеся прежде всего к разграблению государственной собственности. Что общего могло быть между ними и всеми этими бывшими правдистами, чекистами, гебистами, выпускниками высших партийной и комсомольской школ, работниками административно-хозяйственных структур? Этим деятелям нужен был свой герой, которого они и слепили, успешно подведя его под покров мифа о «революционном обновлении».

Вся эта фантасмагория сейчас, по прошествии неполных десяти лет со времени ее претворения, плохо понятна даже нам, современникам, самим принимавшим в ней посильное

участие. Что-то скажут и напишут потомки... Им еще предстоит проследить во всех подробностях, как выковывался этот поразительный миф в мифе, миф о Борисе Николаевиче Ельцине, типичнейшем партийно-номенклатурном работнике, чудесным образом превратившемся в борца-реформатора.

Мы же лишь напомним, что этот иконописный лик создавался в основном двумя красками. Прежде всего, Ельцин преподносился как борец с привилегиями. Это был безошибочный ход — сказочное, по советским меркам, житье номенклатуры всегда вызывало сильное чувство в массах. Ельцин же и в выступлениях своих, и в приснопамятной «Исповеди» умело разрабатывал эту жилу. Вспомним: «Может быть, я выскажу небесспорное мнение, но думаю, что перестройка не застопорилась бы даже при всех ошибках, которые были совершены, если бы Горбачев лично мог переломить себя в вопросах спецблаг. Если бы сам отказался от совершенно ненужных, но привычных и приятных привилегий»<sup>27</sup>. Но Горбачеву и его окружению сие было не дано (вспомним опять же усердно раздуваемые СМИ скандалы с «незаконными благами», присваиваемыми горбачевцами, в частности, с бриллиантами Раисы Максимовны, с дачей скромнейшего Н. И. Рыжкова и т. п.). А вот Ельцин отказался, очистился от этой скверны. Сцена его записи в районную поликлинику, изумление и восторг регистратора — «такая пожилая женщина... даже ручку чуть не выронила»<sup>28</sup> — настоящий апофеоз «Исповеди».

Подобный образ действий выводил Ельцина за рамки ненавистной народу номенклатуры, делал его привлекательным — почти родным... У номенклатуры же он, соответственно, вызывал звериную ненависть — она травила борца с привилегиями всеми способами, преследовала, стремилась сжечь со света. Максимально обыгрывая свое смещение с поста первого секретаря Московского горкома партии — действительно проведенное в духе старых традиций, — Ельцин и поддерживающие его «демократические» СМИ создавали другую ипо-

стась «лидера реформаторов» — страдальца за «народное дело». «Как назвать то, когда человека убивают словами, потому что это было похоже на настоящее убийство?.. Да это была стая, готовая растерзать на части»<sup>29</sup>.

При этом из «Исповеди» совершенно невозможно понять, в чем состоит это дело, какова позитивная программа автора — за исключением одной четко сформулированной задачи: необходимо беспощадно сломать старый тоталитарный режим, уничтожить партийно-бюрократическую машину. И все будет хорошо... Поистине мифологическими были эти времена: сознание народа, так же как и в 1917 году, было открыто мифу, способность критически оценивать людей, события — вообще-то в наших краях не очень сильно развитая — казалось, совсем угасла. И новоиспеченные «реформаторы» пользовались этим без зазрения совести... «А ведь власть совсем не такова, какой она представляется правителям. Она такова, какой ее представляет народ. Ему нужен лидер, низвергающий старые, ставшие идолом идеалы. Народ (пополо) хочет, чтобы его желания и требования громко провозглашались его лидером. Так чем же плох „ популизм“ Ельцина?»<sup>30</sup>.

Как бы то ни было, этого громко провозглашенного стремления к ниспровержению «старых идеалов» вполне хватило Ельцину и его «группе поддержки» для того, чтобы прорваться к власти. «Избранный на всеобщих выборах президент России смог превзойти в отношении легитимности президента СССР, получившего свой пост из рук парламентариев...»<sup>31</sup>. Победа же эта, несомненно, была обеспечена исключительно благодаря безудержной эксплуатации революционного мифа. А затем, продолжая в том же духе, президент России развалил СССР — в значительной степени для того, чтобы окончательно оградить себя от конкуренции со стороны его президента...

Эта операция была проведена в рамках все того же мифа «революционного обновления», знаменующего полный раз-

рыв с «проклятым прошлым», — и проведена быстро, лихо и беззастенчиво. А затем, когда Союз был разрушен и «шоковая терапия» отбросила за черту бедности большую часть населения, страна увидела другого Ельцина. Этот Ельцин расстреливал Белый дом и вводил войска в Чечню — боролся с врагами реформ, собирая страну, наводил порядок... «Молодые реформаторы» отступили на заранее подготовленные позиции — в банковские структуры, частные компании, элитарные вузы, — а на первый план вышли генералы типа Грачева, охранники типа Коржакова и пр. С поразительной, поистине кинематографической быстротой миф герое-революционере, освободителе и обновителе был переплавлен в миф о Хозяине... При этом если и в первом из них было немало комического, то второй, в ельцинском исполнении, приобрел откровенно фарсовый характер (впрочем, и за фарс пришлось платить кровью); черты лжемифа, навязываемого сверху, и к тому же весьма неискусно, проявлялись в нем с самого начала. Это было тем более очевидно, что Хозяин все время болел — и болеет — неясными болезнями; паузы в его публичных выступлениях становились — и становятся — все длиннее; скандальных слухов, связанных с ним самим, его близкими, его окружением, распространяется все больше... А мы слишком долго жили при «застое», слишком долго слушали выступления Брежнева и жадно ловили слухи о воровстве и коррупции «на самом верху», чтобы не почувствовать этот ни с чем не сравнимый аромат гниения, развала, безысходности... Запах умирающего мифа.

## ПЕРСПЕКТИВЫ

Таким образом, на наших глазах всего за десяток лет был повторен мифологический цикл, уже пережитый нашей страной в XX веке — причем пережитый тогда всерьез, воплотившийся

в одну из самых великих трагедий в истории человечества. Сейчас же мы «проиграли» его в самой извращенной и прииженной форме. Мифологема, взятая на вооружение большевиками, во всех своих ипостасях привела к страшному кровопролитию, во имя ее были принесены грандиозные жертвы. В постперестроичном же своем воплощении эта мифологема почти сразу приобрела свойства почти что фарсовые, была скомпрометирована донельзя. Правда, теперь мы отделались «малой кровью»: вместо миллионов репрессированных — сотни погибших при защите Белого дома; вместо грандиозных потерь в Отечественной войне — «всего» несколько тысяч погибших — и продолжающих погибать — в Чечне; вместо страшных голодных лет и массовых выселений целых народов — полунищее существование большинства населения и «добровольное» бегство с окраин... Эта «малая кровь», кстати, защитниками новой власти постоянно ставится ей в заслугу.

Оценка реальной деятельности власти — ни нынешней, ни предыдущих — не входит в наши задачи. Мы можем лишь констатировать, что в конце XX в. в России были ниспровергнуты не только социализм в его российском «оформлении», советский строй, коммунистическая идеология и т. п. Совершенно очевидно, что мы присутствуем при серьезнейшем кризисе традиционной мифологии, которая представляется сегодня если и не исчерпанной до дна, то в значительной степени потерявшей свое обаяние для масс. Ждать чего-либо подобного взрывам энтузиазма, как конструктивного, так и деструктивного, сейчас как будто не приходится. Все больше усиливается впечатление, что мы надорвались вместе с нашей мифологией и начинаем стремиться к покоя, порядку, возможности нормально работать и зарабатывать и т. п. Поразительно высокий рейтинг такого почтенного, но ничем особенно не выдающегося человека, как Примаков, объясняется, по-моему, именно этим стремлением — хочется стабильности...

Таковы, по крайней мере, внешние впечатления. Но я слишком долго занимаюсь русской историей, чтобы забыть об удивительном свойстве нашей родной мифологии — возрождаться из пепла подобно фениксу. Да, собственно, и сейчас, я думаю, миф не умер — он затаился, он живет в наших душах и ждет своего часа. Ведь что греха таить, кто из нас в тяжелые минуты — а из них в основном и складывается наша сегодняшняя жизнь — не ловил себя на мысли: «Вот бы появился Он... Сильный, умный, печальник за дела народные, беспощадный к мафии, чиновной сволочи, к продажной прессе (чеченцам, евреям — у кого что...), ко всем прочим врагам, внутренним и внешним — так, чтобы стало по-справедливому...». Как бы мы Его все поддержали — если бы поверили, если бы Он сумел нас убедить... А как показывает история, убедить нас в том, во что мы сами хотим поверить, не так уж и сложно<sup>32</sup>.

1999

# ПРИМЕЧАНИЯ

## ЗАВЕЩАНИЕ СПЕРАНСКОГО

<sup>1</sup> План государственного преобразования графа М. М. Сперанского (введение к Уложению государственных законов 1809 г.). М., 1905.

<sup>2</sup> Хотя следует отметить, что произведению, которое до сих пор считается наиболее значимым в исследовании этой темы, стукнуло полвека. См.: Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М., 1957. Из работ последнего времени см.: Осипов И. Д. Истинная монархия графа М. М. Сперанского // Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. В этом издании, кстати, содержится подробная библиография как опубликованных работ и писем самого Сперанского, так и посвященных ему исследователей.

<sup>3</sup> Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 2004. С. 169.

<sup>4</sup> Окунь С. Б. История СССР: Лекции. Конец XVIII–начало XIX в. Ч. 1. Л., 1974. С. 190.

<sup>5</sup> Вспомню, к слову, что лет десять назад мне уже пришлось работать с рукописью столь же интересной книги В. А. Томсина – об Аракчееве. Тогда меня, признаюсь, чуть покоробили слова о необходимости любви и сочувствия к своему герою – даже такому, как Аракчеев. Сейчас, по прошествии времени, ловлю себя на том, что полностью солидарен с В. А. Томсиновым – без подобного настроя за биографию лучше не садиться...

<sup>6</sup> Корф М. А. Жизнь графа М. М. Сперанского. СПб., 1861. Т. 1–2; Нольде А. Э. М. М. Сперанский. Биография. М., 2004.

## ЦАРЬ И СТАРЕЦ

<sup>1</sup> Имеется в виду старший сын императора Александра II, умерший еще при жизни отца, в 1860 году. Александру I он, соответственно, приходился внучатым племянником.

## МАСТЕР «ТИХОЙ РАБОТЫ»

<sup>1</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. IX. М., 1956. С. 122–123.

<sup>2</sup> Кудрявцев П. Н. Соч. Т. 2. М., 1887. С. 551.

<sup>3</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. В 2 т. Т. 1. М., 1897. С. 16.

<sup>4</sup> В. В. Григорьев, соученик и приятель Грановского, позже писал по этому поводу, очевидно, не слишком преувеличивая: «Многих тогдашних профессоров, отчасти даже знаменитостей, не сделали бы теперь учителями в порядочной гимназии...» // Русская беседа. 1856. Кн. 3. С. 20.

<sup>5</sup> Кудрявцев П. Н. Указ. соч. С. 588.

<sup>6</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 1. С. 23.

<sup>7</sup> Русская беседа. 1856. Кн. 3. С. 34.

<sup>8</sup> Русская старина. 1880. № 4. С. 746.

<sup>9</sup> Там же. С. 746.

<sup>10</sup> Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914. С. 450.

<sup>11</sup> Русская беседа. 1856. Кн. 4. С. 12–14.

<sup>12</sup> Там же. С. 14.

<sup>13</sup> Подробнее о стажировке Грановского в Берлине и поездке его в Австрийскую империю см. в воспоминаниях Я. М. Неверова, опубликованных в приложении к изданию: Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. М., 2010.

<sup>14</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 358.

<sup>15</sup> Там же. С. 343, 351.

<sup>16</sup> Там же. С. 343, 351.

<sup>17</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М., 1980. С. 230–231.

<sup>18</sup> Отечественные записки. 1858. № 8. С. 89–90.

<sup>19</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 366–367, 381.

<sup>20</sup> Отечественные записки. 1858. № 8. С. 92.

<sup>21</sup> Чичерин Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 45.

- <sup>22</sup> Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья. М., 1961. С. 43. Далее ссылки на них даются в тексте с указанием страницы в круглых скобках.
- <sup>23</sup> Грановский Т. Н. Соч. Ч. I. М., 1866. С. 343–345.
- <sup>24</sup> Лекции Т. Н. Грановского по истории позднего средневековья. М., 1971. С. 30.
- <sup>25</sup> Там же. С. 202.
- <sup>26</sup> Лекции Т. Н. Грановского по истории позднего средневековья. С. 92–93.
- <sup>27</sup> Там же. С. 248.
- <sup>28</sup> Отечественные записки. 1858. № 8. С. 93–94.
- <sup>29</sup> Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. Т. 8. М., 1959. С. 390.
- <sup>30</sup> Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 11.
- <sup>31</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. II. С. 126.
- <sup>32</sup> Там же. С. 122–123.
- <sup>33</sup> Грановский Т. Н. Соч. Ч. II. С. 419–420.
- <sup>34</sup> Отечественные записки. 1858. № 8. С. 93–94.
- <sup>35</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Пошхонская старина. Л., 1975. С. 453–454.
- <sup>36</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. IX. С. 40.
- <sup>37</sup> Цит. по: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 176.
- <sup>38</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 259.
- <sup>39</sup> Там же. С. 252–255.
- <sup>40</sup> Вышеизложенную сцену из воспоминаний Анненкова Достоевский воспроизводил в ходе своей полемики с Грановским по поводу пушкинского праздника в 1880 году — воспроизводил, естественно, предельно саркастически, с самыми безжалостными характеристиками не только западников-цинико-защитников, но и «защитников» народа: «Явились и защитники бабы, но какие защитники, и с какими возражениями им пришлось бороться!» (См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. М., 1984. С. 156–161).
- <sup>41</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 171.
- <sup>42</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 421–422.
- <sup>43</sup> Цит. по: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1983. С. 45–46.

- <sup>44</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. IX. С. 112.
- <sup>45</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. XII. М., 1963. С. 159–160.
- <sup>46</sup> Пассек Т. П. Из дальних лет. Т. 2. М., 1963. С. 303–304.
- <sup>47</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. II. С. 111–112, 122, 125.
- <sup>48</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 201.
- <sup>49</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. IX. С. 127.
- <sup>50</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 7. СПб., 1892. С. 115.
- <sup>51</sup> Там же. С. 120.
- <sup>52</sup> Москвитянин. 1843. № 12. С. 523–524, 526.
- <sup>53</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. II. С. 319–320.
- <sup>54</sup> Там же. С. 319.
- <sup>55</sup> Там же. С. 324.
- <sup>56</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. С. 462–463.
- <sup>57</sup> Барсуков Н. П. Указ. соч. Кн. 7. С. 116.
- <sup>58</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. II. С. 326.
- <sup>59</sup> Там же. Т. IX. С. 127.
- <sup>60</sup> Подробнее о личных взаимоотношениях представителей «образованного меньшинства» см: Левандовский А. А. Т. Н. Грановский в русском общественном движении. М., 1989.
- <sup>61</sup> Соловьев С. М. Избранные труды. Записки М., 1983. С 322–323.
- <sup>62</sup> Там же. С. 324.
- <sup>63</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 392.
- <sup>64</sup> Звенья. Сборник V. С. 753.
- <sup>65</sup> Анненков П. В. Указ. соч. С. 531.
- <sup>66</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 391.
- <sup>67</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. I. С. 224–225.
- <sup>68</sup> Наиболее известной историей подобного рода было дело профессора эстетики И. Мельмана, убежденного кантианца, разворачивавшееся в середине 1790-х годов и закончившееся высылкой главного героя этой истории из России. (См. об этом подробнее: Левандовский А. А. Указ. соч. С. 191–193.)
- <sup>69</sup> Анненков П. В. Указ. соч. С. 519.
- <sup>70</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 392.
- <sup>71</sup> Герцен А. И. Собр. соч. Т. IX. С. 130.
- <sup>72</sup> См. об этом, в частности: Шмурло Е. Очерк жизни и научной деятельности К. Н. Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1899. С. 58.

<sup>73</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 428.

<sup>74</sup> Соловьев С. М. Указ. соч. С. 333.

<sup>75</sup> Грановский Т. Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. С. 418.

<sup>76</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. I. С. 257–258.

<sup>77</sup> Характерно, что в 1851 году Грановский уже избирался на должность декана историко-филологического факультета, но министерство просвещения не утвердило выбор профессуры: деканом был назначен С. П. Шевырев.

<sup>78</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. С. 458.

<sup>79</sup> См. об этом подробнее: Левандовский А. А. Указ. соч. С. 219–221.

<sup>80</sup> Собрание Общества любителей российской словесности за 1891 год. М., 1891. С. 134–135.

<sup>81</sup> См. об этом подробнее: Левандовский А. А. Железный век. М., 2000. С. 67–74.

### ЗАПАДНИК НА СЦЕНЕ

<sup>1</sup> См.: Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. М., 1984. Т. I. С. 359–360.

<sup>2</sup> Там же. Т. 2. С. 112.

<sup>3</sup> Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 2. М., 1954. С. 343.

<sup>4</sup> Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 169.

<sup>5</sup> Цит. по: Михаил Семенович Щепкин... Т. 2. С. 101.

<sup>6</sup> От лица московских друзей Герцена Щепкин предлагал свернуть «ненужную», с их точки зрения, деятельность Большой типографии и уехать в Америку: «...ничего не пиши, дай себя забыть, и тогда года через два — три мы начнем работать, чтоб тебе разрешили въезд в Россию». (Там же. С. 104). Напомним, что эта беседа происходила на пике жестокой николаевской реакции — «мрачное семилетье», как позже назвали этот период (1848–1855), было в самом разгаре.

<sup>7</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. М., 1976. С. 57.

<sup>8</sup> Белинский В. Г. Указ. соч. С. 103–104.

<sup>9</sup> Цит. по: Михаил Семенович Щепкин... Т. 2. С. 102.

<sup>10</sup> Там же. Т. 2. С. 73.

## ЭНЕРГИЯ ПРОРЫВА

<sup>1</sup> Напомню, что в начале XIX века грамотные на Руси составляли 1% с небольшим от всего многомиллионного населения. Ясно, что за вычетом представителей тех сословий, грамотность которых подразумевалась по определению — помещиков, духовенства и, отчасти, купечества — на долю трудовой массы населения не оставалось ничего... К 1861 году процент грамотных вырос, в общем-то, ничтожно — до 4% с небольшим.

<sup>2</sup> Конечно же, и в это время бывали волнения, убийства помещиков, поджоги усадеб. Но все эти проявления недовольства носили локальный характер; власть с помощью своих хорошо отлаженных структур, как правило, быстро и умело подавляла подобные «беспорядки» в зародыше... И знаменитую, часто цитируемую фразу А. Бенкendorфа из отчета III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии: «Крепостное право есть пороховой погреб под государством» — в контексте общей государственной стабильности следует, наверное, воспринимать как приглашение Николая I к размышлению, а не как призыв к немедленным действиям. Двери погреба пока что были надежны заперты и хорошо охранямы.

<sup>3</sup> Чиновничий подход к делу наиболее ярко проявлялся как раз в снабжении русской армии в Крыму — то, что оно было сказочно безобразным, зависело далеко не только от отсутствия железных дорог... На снабжение это отпускались огромные средства — и тем не менее, рацион защитников Севастополя нередко ограничивался ржаными сухарями, перетертymi в крошку, которую перед едой размачивали в воде; раненые в госпиталях зимой обогревали помещение своим дыханием; обозные лошади выгрызали друг другу гривы — с голодухи, за полным отсутствием фуражса. На автора статьи, в частности, сильное впечатление произвел эпизод из воспоминаний одного артиллерийского офицера, командовавшего в Севастополе батареей, состоявшей в основном из орудий нестандартного калибра. В снарядах к ним вскоре после начала осады было официально отказано за, якобы, полным отсутствием их на военных складах. По счастью, пишет автор, на его батарее служил унтер-офицер, имевший родство, оказавшееся спасительным: ему приходился кумом смотритель одного из этих складов... Так, «по

блату», тайком, проблемы с нестандартными снарядами успешно решались на протяжении всей осады.

<sup>4</sup> Николай I, чрезвычайно переживавший за несчастный ход военных действий, простудился на смотре; простуда, на которую царь не обращал внимания, перешла в пневмонию... Умирал Николай тяжело, и в обществе ходили упорные слухи, что он потребовал у лейб-медика Мандта яд, чтобы покончить со своими мучениями.

<sup>5</sup> Из массы возможных примеров приведу лишь один, по-моему, выразительный. В. Г. Короленко, проведший детство в украинском захолустье — городе Ровно, вспоминал, какое сильное впечатление на местных обывателей производил спившийся чиновник, имевший уникальную способность «прослушивать» телеграфные столбы... Так вот, ему удалось «прослушать» официальные переговоры между новым русским царем Александром Николаевичем и французским императором Наполеоном III, который, оказывается, освобождение крепостных выставлял главным условием при заключении мира. Александр Николаевич при этом «говорил робко» и со всем соглашался...

<sup>6</sup> Сохранилась трогательная в своем роде запись современника — свидетеля беседы Александра II и знаменитого хирурга Н. И. Пирогова, только что вернувшегося из Крыма. Пирогов со свойственной ему прямотой и резкостью говорил о тех жутких злоупотреблениях, с которыми ему приходилось сталкиваться в Севастополе. Царь отказывался верить... «Государь не верил, выходил из себя и говорил: „Неправда, не может быть!“ и возвышал голос. А Пирогов, так же возвысив голос, отвечал: „Правда, Государь, когда я сам это видел!“ — „Это ужасно!“ — воскликнул, наконец, царь и едва удержался от слез...» Царь, здесь, ведет себя совсем не «поп-николаевски», без свойственной умершему отцу величественной монументальности; согласитесь, очевидная искренность Александра II, его способность вести разговор на равных, непосредственность реакции — все это в какой-то степени объясняет, каким образом ему удалось разобраться в ситуации и дать ход реформам.

<sup>7</sup> Самые бюрократы, заседавшие в этих комитетах, дело понимали тонко... Один из них, М. А. Корф, с явным самодовольствием приводит в дневнике свою реплику соседу, шепотом ужаснувшемуся сложности крепостного вопроса: тронешь ничтожную частность — ползет целое. Как быть?.. «Как быть? — отвечал я ему. — А не тро-

гать ни частей, ни целого. Так мы, по крайней мере, дольше простоянем».

<sup>8</sup> Известно, что когда Николаю I предложили нормировку барщины и оброка, проведенную им в 1847 году в украинских губерниях, распространить на губернии русские, царь дал весьма выразительный ответ: «Хотя я всевластный и самодержавный, я на это не пойду: я не могу ссориться с моим дворянством» (ополяченное и окатоличенное украинское дворянство — шляхту Николай I, очевидно, своим не считал и потому готов был несколько ограничить эксплуатацию им украинских крестьян).

<sup>9</sup> В контексте этой статьи особое внимание следует обратить на записку К. С. Аксакова, в которой очень четко была сформулирована славянофильская точка зрения на то, как следует управлять Россией: «Сила власти — царю, сила мнения — народу». Та же система управления, которая господствовала в России, царя возводила в ранг божества, а его подданных низводила до звериного уровня. Аксаков с большой силой и выразительностью отстаивал свободу слова, утверждая, что свобода эта неизбежно приводит к торжеству истины и отрицать это есть безбожие... Согласитесь, что почитать все это самодержцу было очень и очень полезно.

<sup>10</sup> Характерно, что при огромном количестве противников крестьянской реформы в образованной среде — то есть, среди людей, умеющих читать и писать, — в русской периодике практически не было открытых и последовательных выступлений в защиту крепостных отношений. Это действительно было небезопасно — могли если не убить, то изувечить... Духовно.

<sup>11</sup> Эта речь была настолько неожиданной и шокирующей не только для московских дворян, но и для всей бюрократической верхушки, что подвигла тогдашнего министра внутренних дел С. С. Ланского на некоторое нарушение этикета. По возвращении Александра II в Петербург он решился прямо попросить у царя подтверждения в отношении сказанной им фразы — слухам министр, очевидно, не поверил. «Да, — отвечал Александр, — я сказал это и не жалею». В сущности, это было первым и очень ярким проявлением нового подхода царя к необходимым преобразованиям.

<sup>12</sup> Так, еще при Александре I было отменено крепостное право в соседних с этим регионом Лифляндии и Эстляндии — совершенно нечувствительно для всей остальной Российской империи.

## ВЗРЫВНАЯ СИЛА СУДЕБНЫХ УСТАВОВ

- <sup>1</sup> Полное название — «Присутственный день в уголовной палате».
- <sup>2</sup> «Несчастными народ вообще зовет всех ссылаемых в Сибирь» (Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля. СПб. — М., 1881. Т. 2. С. 538).

## Уязвленные души

- <sup>1</sup> Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 3. М., 1978. С. 154.
- <sup>2</sup> «Заря», 1869, № 7.
- <sup>3</sup> Жуковская Е. И. Записки. М., 2001. С. 257–258.
- <sup>4</sup> Чуковский К. И. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934. С. 231–232.
- <sup>5</sup> Катков М. Н. О нашем нигилизме (по поводу романа Тургенева) // Русская социально-политическая мысль XIX–нач. XX века. Приложение. М., 2000. С. 188–189.
- <sup>6</sup> Помяловский Н. Г. Сочинения. Л., 1980. С. 438–439.
- <sup>7</sup> Там же. С. 451.
- <sup>8</sup> Левитов А. И. Сочинения. М., 1956. С. 411–412.
- <sup>9</sup> Решетников Ф. М. Между людьми. М., 1985. С. 156.
- <sup>10</sup> Цит. по: Полное собрание сочинений Н. Г. Помяловского. Т. 2. СПб., 1912. С. 4.
- <sup>11</sup> Там же. С. 47.

## МИСТИФИКАТОРЫ ОТ ОХРАНЫ

- <sup>1</sup> Следует отметить, что сам Витте очень быстро вернулся в нормальное для себя состояние, при котором разум у него полностью преобладал над чувством; в деятельности «Дружины» он практически никакого участия не принимал.
- <sup>2</sup> Помимо общей иронической оценки тех особенностей, которыми отличалось образование светской «золотой молодежи», Салтыков этим изящным оборотом намекал еще и на служебные занятия их руководителя: летом 1881 г. И. И. Воронцов-Дашков был назначен главноуправляющим Государственным коннозаводством.

В «Письме к тетеньке» глава «Дружины», положивший начало своей карьере в кавказских войнах, был выведен под именем Амалат-бека.

<sup>3</sup> Княжеский титул вместе с княжеством Сан-Донато был «по случаю» куплен дядей Демидова и перешел к нему по наследству; в салтыковском «Письме» соответственно упоминается «тот самый маркиз Сампантре».

<sup>4</sup> См.: Исследования по отечественному источниковедению. М.-Л., 1964. Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 2. Л., 1969; Т. 3. Л., 1970.

## Под железной пятой

<sup>1</sup> Карташев А. В. Воссоздание святой Руси. М., 1991. С. 71–72.

<sup>2</sup> Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 367.

<sup>3</sup> Известно, что нечто подобное замысливал несчастный внук Петра Великого — Петр III. Скорее всего, та удивительная легкость, с которой его супруга, Екатерина, постоянно демонстрировавшая свое уважение к Церкви и духовенству, совершила переворот, не в последнюю очередь объяснялась этими диковинными планами.

<sup>4</sup> Устав духовной консистории. СПб., 1841. С. 1, 6.

<sup>5</sup> Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо? // Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 5. Л., 1982. С. 19.

<sup>6</sup> Там же. С. 26.

<sup>7</sup> Знаменский П. В. История русской Церкви. М., 1996. С. 348.

<sup>8</sup> Елпатьевский С. Я. Крутые годы. М.-Л., 1929. С. 73.

<sup>9</sup> Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. М., 1960. С. 66.

<sup>10</sup> Некрасов Н. А. Указ. соч. С. 25.

<sup>11</sup> Энгельгардт А. Н. Указ. соч. С. 66.

<sup>12</sup> Там же. С. 66.

<sup>13</sup> Елпатьевский С. Я. Указ. соч. С. 74.

<sup>14</sup> Энгельгардт А. Н. Указ. соч. С. 66.

<sup>15</sup> Елпатьевский С. Я. Указ. соч. С. 78.

<sup>16</sup> Энгельгардт А. Н. Указ. соч. С. 277.

<sup>17</sup> Елпатьевский С. Я. Указ. соч. С. 124–125.

- <sup>18</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 4. М., 1957. С. 32, 34.
- <sup>19</sup> Там же. С. 43.
- <sup>20</sup> Там же. С. 32.
- <sup>21</sup> Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 237.
- <sup>22</sup> Цит. по: Иванов П. Тайна святых. М., 1993. С. 521.
- <sup>23</sup> Там же.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> Православное обозрение. <название публ.?>. 1863. Т. 10. С. 368.
- <sup>26</sup> Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 5. М., 1985. С. 61.
- <sup>27</sup> Там же. С. 65.
- <sup>28</sup> Там же. С. 68–70.
- <sup>29</sup> Там же. С. 619–621.
- <sup>30</sup> Там же. С. 63.
- <sup>31</sup> Карташев А. В. Очерки по истории русской Церкви: В 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 320.

### ГРАД СОКРОВЕННЫЙ...

- <sup>1</sup> См.: Успенский Г. И. Крестьянин и крестьянский труд. В кн.: Сочинения Глеба Успенского: В 2 т. Т. 2. СПб., 1889.
- <sup>2</sup> Комарович В. Л. Китежная легенда. Опыт изучения местных легенд. М.-Л., 1936.
- <sup>3</sup> В устных вариантах сказания, воспроизведенных в различных записях и публикациях в XIX веке, Китеж «ушел под воду» или скрылся под землей. Именно поэтому, боясь нарушить покой сокровенного города, местное население наложило заповедь на окрестности Светлояра: здесь не рубили деревья, не рвали цветы; лишь немногие смельчаки отважились купаться в озере. См., например: Короленко В. Г. В пустых местах // Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1953. С. 45.
- <sup>4</sup> Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 561.
- <sup>5</sup> Эта интереснейшая секта до сих пор изучена весьма слабо. На наш взгляд, наиболее содержательной публикацией на эту тему все еще является статья А. И. Розова «Странники, или Бегуны в русском расколе» // Вестник Европы. 1872. № 11, 12. См. также: Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. М., 1971. С. 201–225. Автор этой работы, много сделавший для исследования рацио-

налистических сект и учений, становится совершенно невозможным, когда речь заходит об учениях мистического характера, — он беспощадно коверкает их, подменяя стремление к спасению души пафосом социальной утопии. За это время, пока сборник готовился к печати, ситуация изменилась — вышло в свет серьезное и обстоятельное исследование А. И. Мальцева «Староверы-странники в XVIII–первой половине XIX в.» (Новосибирск, 1996); однако интересующая нас проблема в этой книге не затрагивается.

<sup>6</sup> Древняя и новая Россия. 1887. № 11. С. 271–272.

<sup>7</sup> Гиппиус З. Н. Алый меч. СПб., 1906. С. 369.

<sup>8</sup> Пришвин М. М. У стен града невидимого. М., 1912. С. 3.

<sup>9</sup> Чета Мережковских, например, узнала о Светлояре со слов некоего «молодого профессора В., отчасти знакомого с теми местами». Характерно написание Гиппиус названия сокровенного града «Ките́ж», т. е. явно со слуха. З. Н. Гиппиус. Указ. соч. С. 351.

<sup>10</sup> Дурылин С. Н. Церковь града невидимого. Сказание о граде Ките́же. М., 1914. С. 3–7. Сам Дурылин один из тех деятелей «серебряного века», которые были всерьез захвачены религиозными исследованиями. Пройдя через Религиозно-философские собрания, будучи близок к А. М. Добролюбову, он, в конце концов, в 1920 году принял священнический сан.

<sup>11</sup> Характерно, что так же, как и Гиппиус (см.: Гиппиус З. Н. Указ. соч. С. 351).

<sup>12</sup> Москвитянин. 1843. № 12. С. 511.

<sup>13</sup> Несколько страниц, посвященных «светлоярскому действу» в знаменитом романе П. И. Мельникова-Печорского «В лесах» требуют, очевидно, особой оценки; во всяком случае, в канву нашей статьи они никак не укладываются прежде всего потому, что в данном случае Мельников занимал скорее официальную, нежели интеллигентскую, позицию. Кроме того, эти страницы, несмотря на обстоятельность сообщаемых писателем сведений, буквально頓ут в море разнообразного интереснейшего материала о раскольниках, которым насыщен роман.

<sup>14</sup> Короленко В. Г. В пустынных местах (Из поездки по Ветлуге и Керженцу) // Короленко В. Г. Указ. соч. Т. 3. М., 1953. С. 136, 145.

<sup>15</sup> Там же. С. 136.

<sup>16</sup> Гиппиус З. Н. Указ. соч. С. 373.

<sup>17</sup> Там же. С. 375.

<sup>18</sup> Пришвин М. М. Указ. соч. С. 96.

<sup>19</sup> Гиппиус З. Н. Указ. соч. С. 380.

<sup>20</sup> Мережковский Д. С. Не мир, но меч. К будущей критике христианства // Мережковский Д. С. Полное собр. соч. Т. X. М., 1910. С. 80–82.

### «УМИРИТЕЛЬ СТУДЕНТОВ»

<sup>1</sup> Маслин М. А. С. Н. Трубецкой как русский философ // Кн. С. Н. Трубецкой. Курс древней философии. М., 1997. С. 3.

<sup>2</sup> Это сходство, должно быть, бросалось в глаза современникам. Вскоре после смерти князя в газете «Рассвет» появилась анонимная статья, так и называвшаяся: «Грановский и Трубецкой» (см.: Кн. С. Н. Трубецкой — передовой боец за правду и свободу русской науки. СПб., 1906. С. 131).

<sup>3</sup> Можно было бы составить обширный список профессоров, которые по многим своим качествам явно могли претендовать на роль студенческих кумиров или даже пребывали в этой роли, но недолгое время... В него вошли бы Н. И. Крылов, Н. И. Костомаров, Б. Н. Чичерин, А. Г. Захарын и многие другие. Несоответственно высокими критериями в том или ином отношении — в мировоззрении, манере поведения, проявления личных интересов — влияло на их популярность самым гибельным образом, а иногда и вообще заставляло отказываться от профессорской деятельности. Один из самых знаменитых случаев подобного рода — история с В. О. Ключевским, освистанным студентами за речь, произнесенную им в Обществе истории и древностей российских в память Александра III в 1894 году.

<sup>4</sup> Магистерская диссертация, защищенная Трубецким в 1889 г., называлась «Метафизика в древней Греции», а докторская (1900 г.) — «Учение о Логосе в его истории».

<sup>5</sup> Антология русской классической социологии. М., 1995. С. 53.

<sup>6</sup> Там же. С. 51–52.

<sup>7</sup> Вопросы философии и психологии. 1906. № 1 (81). С. 148.

<sup>8</sup> Там же. С. 149.

<sup>9</sup> Последней по времени организацией, сходной с Историко-филологическим обществом, было, очевидно, Научно-литературное об-

щество при Петербургском университете, закрытое в 1886 г. после неудачного покушения на Александра III, в подготовке которого принимали участие некоторые его члены.

<sup>10</sup> Интересные сведения, особенно в связи с экскурсией в Грецию, организованной Трубецким для членов Общества, см. в воспоминаниях А. Ин. Анисимова в «Вопросах философии и психологии» (1906. № 1 (81)).

<sup>11</sup> Вопросы философии и психологии. 1906. № 1 (81). С. 165.

<sup>12</sup> Анисимов рассказывает, как однажды «сорвался» князь, услышав в одном из докладов слово «социализм», произнесенное в самом безобидном контексте. «Ведь это завтра будет в „Московских ведомостях“», — писал он Анисимову (см. там же. С. 167).

<sup>13</sup> Цит. по: Вопросы философии и психологии, 1906. № 1 (81). С. 179–180.

<sup>14</sup> См. там же. С. 183.

<sup>15</sup> Собрание сочинений кн. С. Н. Трубецкого: В 6 т. Т. 1. М., 1907. С. 12.

<sup>16</sup> Не говоря уже о многочисленных откликах в прессе, речь Трубецкого становилась известна самым широким массам населения несколько необычными для России путями: некоторые земские управы вывешивали текст речи вместе с ответом царя на стенах правления или рассылали ее крестьянам. (См.: Революционное движение в России весной и летом 1905 г. Ч. 1. М., 1955. С. 643.)

<sup>17</sup> См.: Революционное движение в России... Ч. 1. С. 57–58, 63; Леонтьевич В. В. История либерализма в России. М., 1995. С. 410–411; Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 286.

<sup>18</sup> Леонтьевич В. В. Указ. соч. С. 409.

<sup>19</sup> Вопросы философии и психологии, 1906, № 1 (81). С. 5.

<sup>20</sup> Цит. по: Революционное движение в России... Ч. 2. С. 248.

<sup>21</sup> Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 37.

<sup>22</sup> Имеется в виду Совет университета.

<sup>23</sup> См.: Собрание сочинений кн. С. Н. Трубецкого. С. 14.

<sup>24</sup> Всероссийская политическая стачка. С. 28.

<sup>25</sup> Кн. С. Н. Трубецкой — передовой боец... С. 26–27.

<sup>26</sup> Там же. С. 28.

<sup>27</sup> Всероссийская политическая стачка... С. 344.

<sup>28</sup> С. Н. Трубецкой — передовой боец... С. 51.

<sup>29</sup> Вопросы философии и психологии. 1906. № 1 (81). С. 195–196.

<sup>30</sup> Там же.

<sup>31</sup> Всероссийская политическая стачка... С. 272.

## ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ ИМПЕРИИ

<sup>1</sup> До этого, в течение нескольких лет Столыпин был ковенским губернским предводителем дворянства.

<sup>2</sup> Отец П. А. Столыпина выиграл в карты имение Колноберже, не-далеко от Ковно (ныне – Каунас). Это имение настолько понравилось всему семейству Столыпиных, что оно перебралось туда на постоянное жительство.

<sup>3</sup> Конституционно-демократическая партия (сокращенно – к.-д., кадеты), состоявшая в основном из представителей либеральной интеллигенции, настроенных на самую серьезную оппозицию самодержавной власти.

<sup>4</sup> Между тем, судили эсеры строго и мстили беспощадно. Так, в частности, в ноябре 1905 года в резиденции саратовского губернатора был убит генерал В. В. Сахаров, посланный в помощь Столыпину и действовавший в борьбе с крестьянскими волнениями, очевидно, гораздо более прямолинейно.

<sup>5</sup> Теракт был совершен группой так называемых максималистов, отколовшейся в это время от партии эсеров (социалистов-революционеров). Максималисты были людьми, на терроре помешавшимися, сдерживающие инстинкты у них отсутствовали напрочь. То, что совершенный подобным образом (а другого в той ситуации и быть не могло) теракт неизбежно приведет к гибели ни в чем не винных людей – к «случайным жертвам», по терминологии самих террористов – максималисты понимали совершенно отчетливо. Однако, по показанию одного из членов группы, «после многих мучительных переживаний... мы сочли это неизбежным».

<sup>6</sup> Хотя, кстати, вызванные разными причинами покушения провокаторов на своих руководителей – офицеров охранки – были не такой уж редкостью.

<sup>7</sup> В Орловском централе был карцер, одной из стен которого являлась огромная печь – в смежном помещении, тюремной кухне, на ней постоянно готовили. В небольшом по площади карцере темпе-

ратура, соответственно, почти всегда была под 40°. Заключенных помещали в такие условия на несколько дней, иногда — неделю.

<sup>8</sup> Указ о военно-полевых судах был принят без обсуждения в I Думе, вскоре после ее роспуска. Статья 87 нового российского законодательства, принятого в начале 1906 года, позволяла правительству подобные действия — но при жестком условии: после созыва новой Думы подобный указ в течение двух месяцев должен был быть вынесен на ее рассмотрение — иначе он становился недействительным. II Дума открыла свои заседания 20 февраля 1907 года, но Столыпин даже и не стал пытаться провести через нее военно-полевые суды. Таким образом, 20 апреля деятельность этих судов прекратилась — ровно через 8 месяцев после их учреждения.

<sup>9</sup> Октябристы (полное название «Союз 17 октября») — умеренно-либеральная партия, состоящая в основном из крупных фабрикантов и помещиков, склонных вести свое хозяйство по новым, капиталистическим путям. Октябристы не скрывали своих монархических настроений и готовы были довольствоваться незначительными уступками со стороны власти.

<sup>10</sup> Смотри по этому поводу замечательный рассказ М. А. Булгакова «Звездная сыпь» из цикла «Записки юного врача».

<sup>11</sup> По очень приблизительным подсчетам, из 30 тысяч помещичьих хозяйств начала XX века только около 600, то есть 2% могло претендовать на то, чтобы называться капиталистическими.

<sup>12</sup> Предшественник Столыпина — граф Витте, занявший пост премьера в конце 1905 года, вспоминал, как самые реакционно настроенные коллеги-сановники и придворные хватали его в это время «за полы сюртука», умоляя успокоить Россию, крестьянство... При этом выражалась готовность к любым жертвам: «Всю землю отдадим, в усадьбах будем жить, как на даче — только успокойте...».

<sup>13</sup> Как-то раз, принимая депутатию от «Союза русского народа», наиболее массовой и влиятельной черносотенной организации, царь демонстративно подчеркнул свое отношение к ней, приковав на грудь себе и наследнику престола, маленькому царевичу Алексею, значок — символ «союзников» — Георгия Победоносца, пронзающего змея.

<sup>14</sup> Эсеры, кстати, в это время в связи с разоблачением Азефа переживали серьезнейший внутренний кризис; партия разлагалась на

глазах, в ней шли бесконечные споры о методах революционной борьбы, и активной террористической деятельности в это время эсеры практически не вели.

## В СУМЕРКАХ

<sup>1</sup> До этого Распутин побывал в Петербурге в 1904 году — принял благословение от чрезвычайно популярного во всех слоях общества «целителя душ и тел человеческих» проповедника отца Иоанна Кронштадтского, причем произвел на него сильное благоприятное впечатление, и вернулся к себе.

<sup>2</sup> По разным сведениям, в 1871 или 1872 году.

<sup>3</sup> По некоторым данным, «черногорки», как их обычно называли, первые «открыли» Распутина для высшего света; встретив «святого старца» на богомолье в Киеве, они решили представить его царю и царице. Другие источники свидетельствуют, что в Петербург Распутина «выписал» духовник царицы архимандрит Феофан, и уже с его легкой руки «старец» попал в гостиные великих князей, а оттуда — ко двору.

<sup>4</sup> Гемофилия передается по наследству только мужчинам и только от матерей, которые сами никогда ей не болеют. Одной из главных причин гемофилии являются, очевидно, частые браки между близкими родственниками, что было так характерно для династических браков европейских правящих домов. В данном случае болезнь шла еще от бабки Александры, английской королевы Виктории. Большинство больных гемофилией по вполне понятным причинам умирают в детском возрасте, что, однако, отнюдь не является общим правилом: среди европейских родственников Александры несколько больных дожили до 30-летнего возраста, а ее племянник, сын Генриха Пруссского, — до 56 лет.

<sup>5</sup> Как известно, Андрей Белый в 1908—1909 годах, когда вся мрачная слава Распутина была еще впереди, написал роман о хлыстах — «Серебряный голубь», в котором гениально провидел, какая мрачная сила может заполнить духовный вакуум разлагавшейся империи. Впоследствии он имел все основания писать, с излишней, может быть, самокритичностью отмечая, что роман этот «неудачный во многом, удачен в одном: из него торчит палец, указываю-

щий пока еще на пустое место; но это место скоро займет Распутин».

<sup>6</sup> Это общество, кстати, после Октябрьской революции стало первой контрреволюционной организацией в Петрограде, и Пуришевич, соответственно, — руководителем первого контрреволюционного заговора; он действительно был человеком дела. В конце 1917 года заговор был раскрыт, но поскольку все это происходило до начала «красного террора», Пуришевич отдался несколькими месяцами заключения; затем принимал самое активное участие в белом движении и в 1920 году умер от тифа в Новороссийске.

<sup>7</sup> Полный титул его был: князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон.

### МИФ КАК СРЕДСТВО (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

<sup>1</sup> Об отличии псевдомифа от мифа истинного нам еще придется говорить ниже. Подробнее же смотри об этом: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 333–338.

<sup>2</sup> Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. III. М., 1988. С. 120–121.

<sup>3</sup> См.: Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 134–135.

<sup>4</sup> Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981. С. 123.

<sup>5</sup> Там же. С. 136.

<sup>6</sup> Зызыкин М. Царская власть. София, 1921. С. 29.

<sup>7</sup> Голос минувшего. 1913, № 3. С. 151–152.

<sup>8</sup> Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. VIII. М., 1958. С. 348.

<sup>9</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. С. 225.

<sup>10</sup> Там же. Т. 9. М., 1982. С. 215.

<sup>11</sup> Цит. по: Шестидесятники. М., 1984. С. 167.

<sup>12</sup> Об особом характере российского либерализма, о его «левизне», нежелании искать компромиссные решения см.: Леонтович В. В. История либерализма в России. М., 1995. С. 484–486.

<sup>13</sup> Валентинов Н. Недорисованный портрет. М., 1993. С. 205–206.

<sup>14</sup> Кабиров Тимур. Избранные послания. СПб., 1998. С. 34.

<sup>15</sup> «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!» И так раз за разом: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам... Кля-

немся тебе, товарищ Ленин...» — много раз. Kapp Э. История Советской России. Т. 4. М., 1989. С. 258.

<sup>16</sup> Там же. С. 259.

<sup>17</sup> Чрезвычайно любопытно и поучительно в этом отношении письмо Крупской (которую всерьез к «наследникам» относить, конечно, не приходится), опубликованное в «Правде» 30 января 1924 г. и обращенное ко всем почитателям умершего вождя: «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим... Хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки...» (цит. по: Kapp Э. Указ. соч. С. 335). Эти, несомненно, в высшей степени искренние строки выдержаны в духе «классической» революционной мифологемы, в центре которой народный вождь, «простой, как правда», живущий одной с народом жизнью, понятный ему и доступный... В ближайшие годы этой мифологеме предстояло измениться почти до неузнаваемости.

<sup>18</sup> Такер Р. Сталин. Путь к власти. М., 1991. С. 258–259.

<sup>19</sup> «К 1933 г. культ Ленина находился в низшей точке, тогда как культ Сталина расцвел пышным цветом» (Тумаркин Н. Ленин жив! СПб., 1997. С. 223).

<sup>20</sup> Вайль Петр, Генис Александр. 60-е. М., 1996. С. 13.

<sup>21</sup> Цит. по: Медведев Рой. Личность и эпоха. Политический портрет Брежнева. Книга I. М., 1991. С. 310.

<sup>22</sup> Там же. С. 283.

<sup>23</sup> См.: Верт Н. История Советского государства. М., 1992. С. 443.

<sup>24</sup> В начале 1990-х годов мне попалась в руки брошюрка Миколы Олейника — в свое время преуспевающего советского писателя, — в которой Горбачев объявлялся Антихристом. Не больше не меньше...

<sup>25</sup> Къеза Дж. Переход к демократии. М., 1993. С. 207–208.

<sup>26</sup> Цит. по: Къеза Дж. Указ. соч. С. 91.

<sup>27</sup> Ельцин Б. Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990. С. 120.

<sup>28</sup> Там же. С. 127.

<sup>29</sup> Там же. С. 139.

<sup>30</sup> Из послесловия некоего Владимира Тихонова к «Исповеди» в издании Союза советских писателей (*Ельцин Б. Н. Указ. соч. С. 185*).

<sup>31</sup> *Верт Н. Указ. соч. С. 458.*

<sup>32</sup> Статья была написана в сентябре 1999 года, когда Путин казался одной из многих проходных, более или менее случайных фигур в большой политике. С тех пор многое изменилось. Но у меня, кажется, есть все основания не переписывать последние строки — оставить все как есть...

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	5
Корень зла (пролог) .....	7
<b>ЧАСТЬ I. ВЕЛИКИЕ НАДЕЖДЫ</b>	
1.	
Цена просвещения .....	17
Воспитание наследника .....	33
Завещание Сперанского .....	51
Царь и старец .....	67
Образцовый государь .....	95
2.	
Цветение ржи .....	129
Мастер «тихой работы» .....	132
Западник на сцене .....	198
<b>ЧАСТЬ II. ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ</b>	
Энергия прорыва .....	209
Самоуправление в контексте самовластья .....	224
Взрывная сила Судебных уставов .....	236
Уязвленные души .....	255
Подростковый возраст .....	271
«Тонконогие» в деревне .....	296
Конец реформатора .....	357
Мистификаторы от охраны .....	379

<b>ЧАСТЬ III. ВЕЛИКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ</b>	
Ходынка .....	429
Под железной пятой.....	440
Град сокровенный... ..	460
«Умиритель студентов».....	473
Последний герой империи .....	493
Охранка действует, охранники размышляют.....	558
В сумерках .....	574
Миф как средство (вместо эпилога) .....	614
Примечания .....	648

По вопросам, связанным с приобретением книг  
Издательства Ивана Лимбаха, обращайтесь  
к нашим торговым партнерам:

**ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ:**

**ЗАО «Книжный клуб 36.6»**  
тел.: (495) 926-4544, Москва

**ООО «Мир интеллектуальной книги»**  
тел.: (495) 786-3635, Москва

**Торговый дом Фигурновой**  
тел.: (499) 346-0318, Москва

**ООО «Книготорговая компания „Берроунз“»**  
тел.: (495) 971-4792, Москва

**ООО «Университетская книга-СПб»**  
тел.: (812) 640-0871, Санкт-Петербург

**Торговый Дом «Гуманитарная Академия»**  
тел.: (812) 430-9921, Санкт-Петербург

**КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:**  
**«Порядок слов»**

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15  
ул. Караванная, д. 12 (3-й этаж Дома кино)  
тел.: (812) 310-5036

**«Книжный окоп»**

Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 11/5  
тел.: (812) 323-8584

**Магазин издательства «Дмитрий Буланин»**  
Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 9  
тел.: (812) 490-6499

**Магазин «Борхес»**

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32-34 (левый двор)

**Книжный салон Филологического факультета СПбГУ**  
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11  
тел.: (812) 328-9511

**«Классное чтение»**

Санкт-Петербург, 6-я линия, д. 15  
тел.: (812) 328-6213

**Книжный клуб «Квилт»**  
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 13/2  
тел.: (812) 232-3307

**«Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера)**  
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 28  
тел.: (812) 448-2357

**«Фаланстер»**  
Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 12/27  
тел.: (495) 749-5721

**«Фаланстер» (филиал)**  
Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6  
тел.: (495) 926-3042

**Магазин «Циолковский»**  
Москва, Новая пл., д. 3/4, подъезд 7д  
тел.: (495) 628-6442

**Лавка «Книга Максима» (МГУ)**  
Москва, Лен. горы, 1-й корп. гуманитарных факультетов, середина 1-го этажа  
тел.: (985) 768-0393

**«Первая строка»**  
Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 1  
тел.: (495) 223-5810

**«Галерея книги „НИНА“»**  
Москва, ул. Бахрушина, д. 28  
тел.: (495) 959-2094

**«Гилея»**  
Москва, Тверской бульвар, д. 9  
тел.: (495) 925-8166

**«Книжный Клуб»**  
Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54а, ТЦ «Петровский Пассаж»  
тел.: (4732) 55-1198

**Книжный магазин «Пиотровский»**  
Пермь, ул. Луначарского, д. 51А  
тел.: (912) 485-7935

**ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:**  
[www.books.ru](http://www.books.ru)  
[www.figurnova.ru](http://www.figurnova.ru)  
[www.labirint-shop.ru](http://www.labirint-shop.ru)  
[www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)  
[www.bookkiosk.ru](http://www.bookkiosk.ru)

Андрей Левандовский

# ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

Редактор *И. Г. Кравцова*

Корректор *О. И. Абрамович*

Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкин*

Подписано к печати 14.11.2011 г. Формат 60×88<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Гарнитура Octava. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ № 4032.

Издательство Ивана Лимбаха.

197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 28.

E-mail: [limbakh@limbakh.ru](mailto:limbakh@limbakh.ru)

[WWW.LIMBAKH.RU](http://WWW.LIMBAKH.RU)

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП «Типография „Наука“».

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-89059-151-7



9 785890 591517